



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

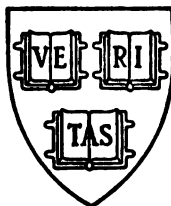
- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

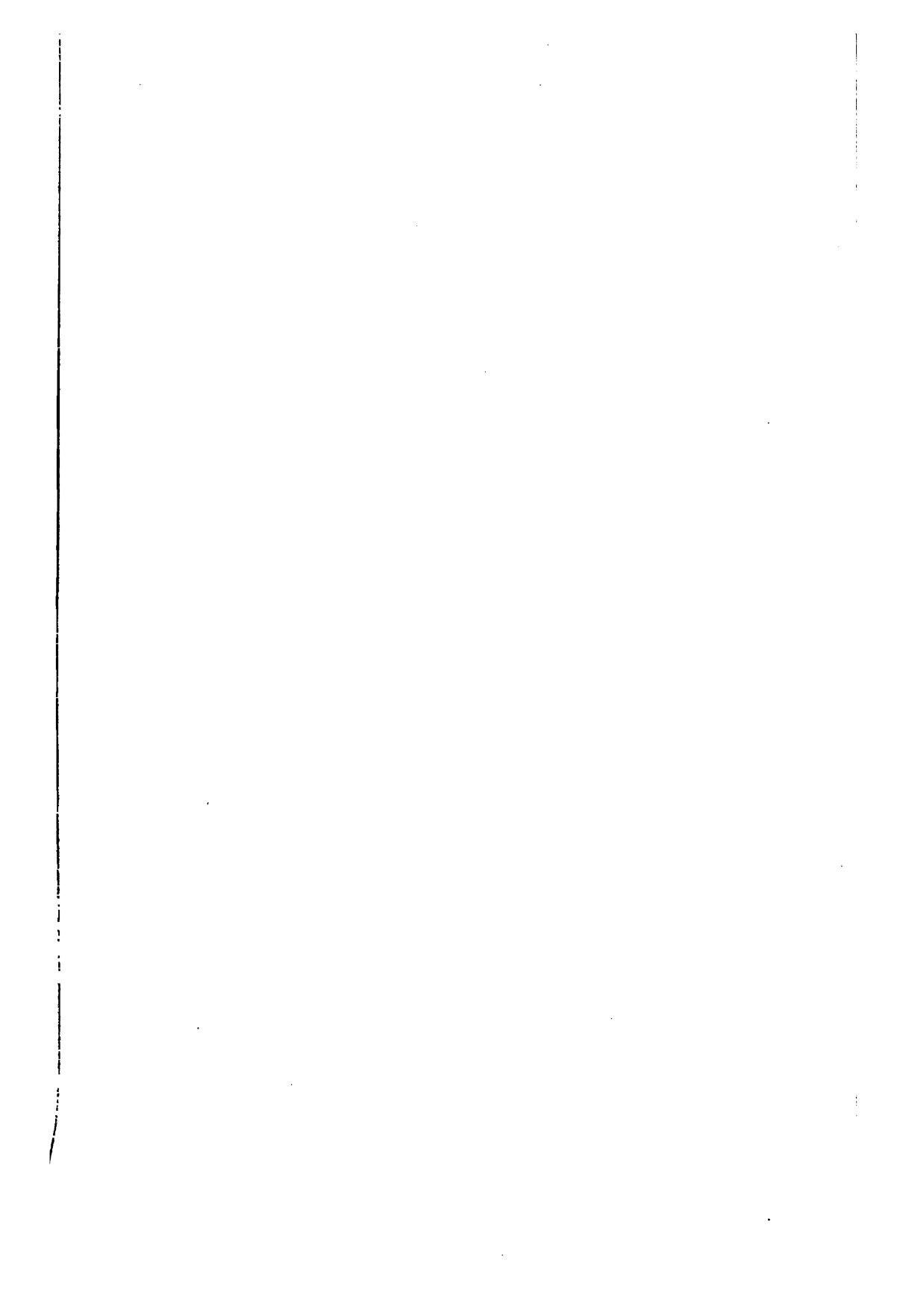
Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

Slav 4130.100A

Harvard College Library

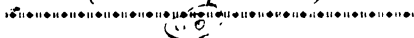


**BOUGHT WITH MONEY
RECEIVED FROM THE
SALE OF DUPLICATES**



Л. Мельшинъ.

(П. Ф. Гриневичъ).



ОЧЕРКИ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Пушкинъ. — Некрасовъ. — Фетъ. —
Тютчевъ. — Надсонъ. — Современныя
миніатюры. — О старомъ и новомъ
настроеніи.

ИЗДАНИЕ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА

„РУССКОЕ БОГАТСТВО“.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Н. Н. Клобукова. Лыговская ул., № 34.

1904.

Slav 4130.100

✓

A

HARVARD COLLEGE LIBRARY

BOUGHT FROM

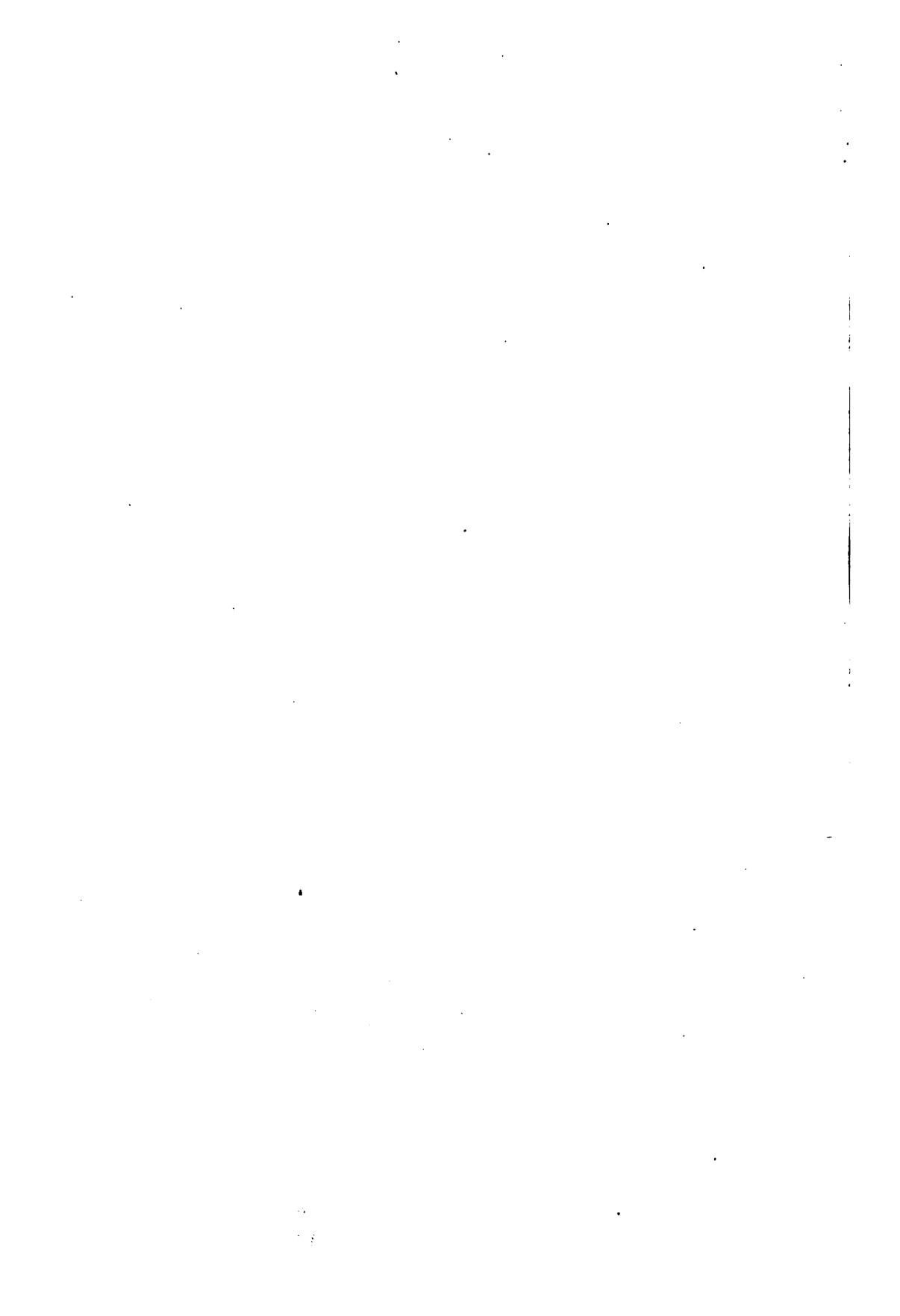
DUPLICATE MONEY

April 29, 1938

4

С л о в о а в т о р а .

Большая часть собранных здѣсь статей и замѣтокъ первоначально была напечатана въ „Русскомъ Богатствѣ“ подѣ псевдонимомъ *Гриневича*, или безъ всякой подписи. Въ настоящее время почти всѣ онѣ подверглись переработкѣ: все, что на страницахъ журнала вызывалось соображеніями минуты, выброшено; въ другихъ мѣстахъ сдѣланы дополненія, примѣчанія, поправки.



Пѣвецъ гуманной красоты.

(1799 — 1899).

Русская литература справляла уже столѣтнюю годовщину рожденія Пушкина. Большинство работавших послѣ него писателей,—писателей самыхъ различныхъ величинъ и направленій,—единодушно сходилось въ высокой оцѣнкѣ его значенія. Гоголь опредѣлялъ Пушкина, какъ чрезвычайное и, можетъ быть единственное явленіе русскаго духа; Аполлонъ Григорьевъ называлъ представителемъ „всего нашего душевнаго“, „нашимъ всѣмъ“; по Достоевскому, Пушкинъ былъ первымъ русскимъ человѣкомъ, отыскавшимъ для насъ „великій и возжелѣнный исходъ“, слѣдовательно, чѣмъ-то вродѣ Моисея новыхъ дней по мнѣнію Тургенева, онъ былъ центральнымъ художникомъ эпохи стоявшимъ очень близко къ средоточію русской жизни; Бѣлинскій, съ своей стороны, думаетъ, что Пушкинъ обладалъ міровой творческой силой и уступалъ лишь двумъ или тремъ изъ величайшихъ геніевъ поэзіи; Добролюбовъ называетъ его честью своей родины; Чернышевскій—однимъ изъ тѣхъ людей, чья память будетъ безсмертна за ихъ служеніе музамъ и разуму; наконецъ, Гончаровъ говоритъ, что Пушкинъ для русскаго искусства былъ тѣмъ же, чѣмъ Ломоносовъ для русскаго просвѣщенія вообще. Мы могли бы значительно увеличить списокъ подобныхъ отзывовъ разныхъ знаменитостей и извѣстностей родного слова. Даже самъ Писаревъ, объявившій Пушкина „колоссально неразвитымъ“ человѣкомъ, а за произведеніями его отрицавшій всякое общественное значеніе, не рѣшался оспаривать чисто-художественную красоту его стиховъ и называлъ „великимъ стилистомъ“.

Если критики и романисты, за однимъ единственнымъ исключеніемъ, отзывались о Пушкинѣ съ такимъ благоговѣйнымъ восторгомъ, то что же говорить о поэтахъ-стихотворцахъ? Достаточно вспомнить кольцовскій „Лѣсъ“ („сила гордая, доблесть царская“), или лермонтовское „На смерть Пушкина“ („дивный геній“, „наша слава“). Некрасовъ, считавшійся антиподомъ Пушкина въ поэзіи, такъ выразился объ его стихахъ:

Неподражаемые звуки!
 Когда бы съ Музою моею
 Я былъ немного поумнѣй,—
 Клянусь, пера бы не взялъ въ руки!

Словомъ, и въ прозѣ, и въ стихахъ Пушкинъ равно былъ признаваемъ царемъ родного искусства. Гласъ народа не гласъ ли Божій?.. И что же можно сказать о Пушкинѣ новаго, послѣ тѣхъ бумажныхъ горъ, какія о немъ исписаны? Теперь, столько лѣтъ спустя послѣ кончины поэта, не долженъ ли всякій русскій не только любить его, но и имѣть о немъ вполне ясное, определенное понятіе? Казалось бы, такъ. Но на дѣлѣ, думается намъ, такое понятіе рѣдко у кого имѣется. Имена Лермонтова, Гоголя, Некрасова, Тургенева, Достоевскаго, Толстого, Щедрина и даже многихъ меньшихъ величинъ сразу будятъ въ нашемъ сознаніи тотъ или другой, но всегда ясно выраженный образъ и кругъ идей; имя же Пушкина, величайшее имя русской литературы, вызываетъ у большинства представленіе лишь чего-то большого, но довольно-таки смутнаго и неопредѣленнаго. Въ самомъ дѣлѣ, никто не станетъ отрицать въ настоящее время огромное историческое значеніе Пушкина для нашей литературы, равно какъ звучность, пышность и вмѣстѣ простоту пушкинскаго стиха, но многимъ ли этотъ поэтъ дорогъ и близокъ, какъ поэтъ, взятый внѣ извѣстнаго историческаго момента? Кто вразумительно объяснить, за что именно и теперь, и долго еще, всегда можно будетъ любить Пушкина, читать и заучивать наизусть?

Слава Пушкина имѣетъ у насъ свою печальную исторію. Общество, какъ извѣстно, охладѣло къ нему еще при его жизни. Трагически окончившаяся дуэль только на время разогрѣла утраченныя поэтомъ симпатіи; шли годы—и любовь къ Пушкину принимала все болѣе и болѣе академическій характеръ, потому что такіе энтузіасты поэзіи, какъ Бѣлинскій, Жуковскій или Гоголь, даже и въ литературной средѣ всегда считались единицами.

Прекрасное по времени анненковское изданіе сочиненій Пушкина (1855—1857 гг.) на короткій срокъ опять привлекло къ нимъ общее вниманіе, вызвавъ сочувственныя статьи Дружинина, Григорьева, Чернышевскаго, Добролюбова, но это уже былъ своего рода succès d'estime: не такая наступала эпоха, чтобы главныя силы души вкладывать въ искусство... Не прошло и десяти лѣтъ, какъ уже могли появиться знаменитыя статьи Писарева, въ прахъ низвергавшія авторитетъ Пушкина и имѣвшія среди молодежи огромный успѣхъ, отзывы котораго врядъ ли и теперь еще совершенно замерли. Статьи эти сдѣлали то, что въ теченіе слѣдующаго пятнадцатилѣтія Пушкинъ былъ почти что забытъ; если бы не обязательное чтеніе въ школахъ, то подростающія поколѣнія, конечно, знали бы и читали его не больше, чѣмъ какого-нибудь Державина... 1880-й годъ (годъ открытія памятника Пушкину въ Москвѣ) явился, казалось, поворотнымъ пунктомъ въ исторіи пушкинскаго культа, но на дѣлѣ поворотъ этотъ былъ только кажущимся. Извѣстная рѣчь Достоевскаго вовсе не ради Пушкина вызвала общій „безумный“ восторгъ аудиторіи, да и тотъ скоро разсѣялся, когда выяснилось, что произошло простое недоразумѣніе... И послѣ того на цѣлыхъ семъ лѣтъ Пушкинъ снова былъ сданъ въ академическій архивъ!

Настоящимъ, а не призрачнымъ только, „поворотнымъ пунктомъ“ долженъ быть признанъ 1887 годъ, когда, благодаря прекратившемуся монопольному праву изданій (до тѣхъ поръ очень дорогихъ), поэзія Пушкина стала, наконецъ, достояніемъ широкихъ круговъ общества.

Такова, въ короткихъ чертахъ, грустная исторія пушкинской славы на Руси... Въ ней замѣчается какая-то двойственность: съ одной стороны—восторженное отношеніе критики, съ другой—холодное равнодушіе общества. Спрашивается, откуда же эта двойственность? Почему общество русское до самыхъ послѣднихъ лѣтъ такъ несправедливо-небрежно относилось къ одному изъ своихъ величайшихъ писателей?

Объясненія этого интереснаго факта, по нашему мнѣнію, нужно искать въ характерѣ и особенностяхъ той оцѣнки, какую давала Пушкину руководящая критика, имѣвшая всегда такое значительное вліяніе на чувства и мнѣнія русскаго общества. Какъ мы уже замѣтили, критическая литература о Пушкинѣ справедливо можетъ гордиться не только обиліемъ, но и блескомъ сво-

ихъ именъ. Но для того, чтобы двинуться хоть на одинъ шагъ впередъ, какъ въ разрѣшеніи поставленнаго выше вопроса, такъ и въ правильномъ пониманіи самой пушкинской поэзіи, необходимо, не ослабляясь этимъ блескомъ, отдать себѣ ясный отчетъ въ томъ, что сдѣлано по отношенію къ великому поэту его комментаторами. Проверка старыхъ, хотя и прочно установившихся литературныхъ мнѣній, особенно когда рѣчь идетъ о такомъ перворазрядномъ явленіи, какъ Пушкинъ, во всякомъ случаѣ никогда не можетъ быть названа излишней и бесполезной. „Людей, подобныхъ Пушкину,—писалъ послѣ его смерти Полевой,—должно пересушивать каждое поколѣніе, каждый вѣкъ, въ силу своего уложенія: критика не есть непременно осужденіе и наказаніе бездарности, и Пушкину нечего бояться приговора самаго строгаго“. Почти въ тѣхъ же словахъ выразился затѣмъ Бѣлинскій:

«Пушкинъ принадлежитъ къ вѣчно живущимъ и движущимся явленіямъ, не останавливающимся на той точкѣ, на которой застала ихъ смерть, но продолжающимъ развиваться въ сознаніи общества. Каждая эпоха произноситъ о нихъ собственное сужденіе, и какъ бы вѣрно ни поняла она ихъ, но всегда оставить слѣдующей за нею эпохѣ сказать что-нибудь новое и болѣе вѣрное, и ни одна и никогда не выскажетъ всего».

I.

Появленіе въ 1820 году поэмы „Русланъ и Людмила“ привѣтствовано было общимъ восторгомъ. Смѣшная выходка въ „Вѣстникѣ Европы“ какого-то „жителя бутырской слободы“, назвавшего эту поэму плоской шуткой старины, „грубой и отвратительной“, представляла чуть ли не единственное исключеніе. Въ слѣдующемъ году появилась ода „Наполеонъ“, заключительная строфа которой, по свидѣтельству Бѣлинскаго, какъ освѣжительная гроза, раздалась надъ полемъ русской литературы, заросшимъ сорными травами общихъ мѣстъ, и многіе поэты, престарѣлые и возмужалые, съ удивленіемъ прислушивались къ этимъ стихамъ, поднимая встревоженные головы вверхъ, словно туси на громъ... Затѣмъ послѣдовалъ „Кавказскій Плѣнникъ“—и слово „великій поэтъ“ пронеслось въ публикѣ... Никогда еще подобная слава не выпадала такъ быстро на долю русскаго писателя! Старыя школы лжеклассицизма и карамзинскаго сентиментализма, которыхъ

не могли совершенно уничтожить ни Жуковский, ни Батюшковъ,— съ появленіемъ новой поэтической звѣзды—рухнули сразу и безвозвратно. Многіе воображаютъ,—говоритъ Чернышевскій,—будто борьба противъ Пушкина очень долгое время такъ же занимала перья современныхъ журналистовъ, какъ въ послѣдствіи—противъ натуральной школы. На самомъ дѣлѣ этого не было; по крайней мѣрѣ, лучшіе критики эпохи судили о Пушкинѣ не голословно, не пошло и не мелочно, и такія, напр., дикія мнѣнія, будто содержаніе VII главы „Евг. Онѣгина“ заимствовано поэтомъ изъ романа Булгарина „Иванъ Выжигинъ“, составляли исключеніе очень рѣдкое. Вѣрно, однако,—соглашается Чернышевскій,—что оцѣнка дѣятельности поэта, столь полнаго силы, жизни и движенія, не могла быть полной, пока значительная часть его дѣятельности скрывалась еще въ будущемъ; поэтъ не могъ быть настоящимъ образомъ оцѣненъ по своему значенію и вліянію на судьбу литературы, пока это вліяніе не выразилось положительными фактами. И вотъ почему современная Пушкину критика уступаетъ въ глубинѣ критикѣ послѣдующей.

Этотъ авторитетный отзывъ избавляетъ насъ отъ необходимости подробно пересматривать критику 20-хъ годовъ. Будемъ, поэтому, кратки.

Конечно, муза Пушкина въ зрѣлыя свои годы страшно развилась и выросла, сравнительно съ юношескимъ періодомъ „Кавказскаго плѣнника“, „Бахчисарайскаго фонтана“ и „Братьевъ-разбойниковъ“; тѣмъ не менѣе, она и тогда уже отличалась необычайной сложностью поэтическихъ мотивовъ и составныхъ элементовъ. Важно опредѣлить: какой же, собственно, изъ этихъ элементовъ покорилъ ей сердца современниковъ? За что именно они полюбили ее?

Врядъ ли возможно какое-нибудь сомнѣніе въ томъ, что въ началѣ, при появленіи „Руслана и Людмилы“, это была *только* свободная поэтическая форма, плѣнительно подѣйствовавшая на публику послѣ вычурной риторики предшествующаго періода. Для насъ, въ настоящее время, въ „Русланѣ и Людмилѣ“ почти все кажется условнымъ, далекимъ отъ жизни, чуждымъ всякой опредѣленной окраски мѣста и времени, но въ 1820-мъ году поэма казалась самой жизнью и вызывала одно *восхищеніе*. „Русланомъ и Людмиллой“ была такимъ образомъ подготовлена почва; настоящую же славу далъ Пушкину *свободный духъ* слѣдующихъ его

чувствовалъ, что настоящее призваніе его, какъ поэта, иное, но онъ тогда же понялъ и то, что послѣдовать голосу природы—значить утратить любовь публики... Уже въ 1824 году онъ меланхолически заявляетъ: „Блаженъ, кто про себя тайлъ—души высокія созданья—и отъ людей, какъ отъ могилъ,—не ждалъ за чувство воздаянъ!“ И онъ начинаетъ буквально слѣдовать этой пессимистической мысли: написаннаго въ слѣдующемъ году „Бориса Годунова“ онъ держитъ подъ спудомъ цѣлыхъ шесть лѣтъ, объясняя друзьямъ свою медлительность опасеніемъ, что „Борисъ“ поразитъ русскую публику непривычной новизной драматическихъ приѣмовъ и тѣмъ повредитъ судьбамъ русской драмы... Объясненіе, по меньшей мѣрѣ, странное!

Предчувствіе не обмануло поэта, и холодность публики къ недавнему еще любимцу росла съ половины 20-хъ годовъ съ удивительной быстротою. Никто не хотѣлъ понять того, что Пушкинъ-поэтъ не совершаетъ, въ сущности, никакой „измѣны“ лучшимъ завѣтамъ молодости, что съ поэзіей его происходитъ лишь то самое, что случилось съ картиной генія въ его же чудномъ стихотвореніи „Возрожденіе“: изъ-подъ чуждыхъ красокъ временныхъ увлеченій выступали художественные образы вѣчной правды, красоты и человѣчности. Между тѣмъ, близорукіе поклонники прежняго Пушкина видѣли въ немъ въ эту пору нѣчто вродѣ покаившагося декабриста *)...

*) Прежде всего, никогда и раньше, въ годы юности, Пушкинъ не раздѣлялъ вполне идей и настроенія декабристовъ. «При всей своей симпатіи къ освободительнымъ стремленіямъ эпохи,—говоритъ современный намъ историкъ,—Пушкинъ не былъ охваченъ такимъ глубокимъ и, главное, такимъ безраздѣльнымъ увлеченіемъ общественными интересами, какое переживали нѣкоторые его сверстники. Для этого, не говоря уже о различныхъ вліяніяхъ, отвлекавшихъ его въ сторону, въ его собственной природѣ, можетъ случиться, слишкомъ преобладали чисто художественные инстинкты и слишкомъ сильна была жажда разнообразія жизненныхъ впечатлѣній. Соответственно этому опредѣлилась и роль гражданскихъ мотивовъ въ его творчествѣ данной поры. Симпатія къ безправному крѣпостному и признаніе за нимъ человѣческаго достоинства, рѣзкій протестъ противъ обскурантизма и произвола, вольнолюбивыя мечты и смѣлыя надежды,—всѣ эти главные мотивы общественнаго движенія вошли и въ поэзію Пушкина... Въ цѣломъ, однако. Пушкинъ едва ли могъ бы назваться поэтомъ-гражданиномъ, пѣвцомъ скорби и боли современнаго ему поколѣнія. Мотивы гражданского гнѣва и скорби далеко не занимали первенствующаго мѣста въ свѣтлой, жизнерадостной поэзи пѣвца «Руслана и Людмилы» и, сравнительно, даже рѣдко звучали въ

произведеній. Впечатлѣніе еще усиливалось бродившими въ обществѣ слухами о поведеніи юнаго автора, навлекшемъ на него гнѣвъ администраціи, его задорными стихами и эпиграммами, не попадавшими въ печать, но, тѣмъ не менѣе, всѣмъ извѣстными, наконецъ, самимъ фактомъ его ссылки. Духъ недовольства дѣйствительностью, должно быть, въ самомъ воздухѣ носился тогда въ Европѣ, не исключая и нашей Россіи; не находя себѣ внѣшняго исхода, этотъ вольнолюбивый духъ выливался въ мрачной хандрѣ и разочарованности. Разумѣется, во всемъ этомъ было много простой подражательности, и какъ въ послѣдствіи „лишнимъ людямъ“, а еще позже „кающимся дворянамъ“, такъ въ тѣ времена маленькимъ Байронамъ счета не было не только въ столицахъ, но и въ уѣздныхъ захолустяхъ. Особенной глубины не было, конечно, и въ пушкинскомъ протестѣ или разочарованности, но отъ нихъ вѣяло юношеской искренностью, они выражались въ неслыханныхъ по красотѣ и звучности стихахъ, и Пушкинъ совершенно серьезно казался тогдашней молодежи сѣвернымъ Байрономъ (тѣмъ болѣе, что о настоящемъ рѣдко кто имѣлъ понятіе). Такія вещи, какъ „Кинжалъ“, ода „На вольность“, „Погасло дневное свѣтило“, „Черная шаль“, „Я пережилъ свои желанья“, переходили изъ рукъ въ руки, изъ устъ въ уста и вызывали общія восхищенія; „Кавказскій плѣнникъ“ съ своимъ героемъ, который

Свобода! лишь одной тебя
Еще искалъ въ подлунномъ мірѣ,—

могъ только утвердить первоначальную популярность поэта, какъ пѣвца молодой Россіи; первая пѣсня „Евг. Онѣгина“ окончательно ее закрѣпила.

Между тѣмъ, въ самой *природѣ* пушкинскаго таланта было, въ сущности, очень мало элементовъ борьбы и протеста, и, къ счастью поэта, онъ рано почувствовалъ, что стоитъ на ложной дорогѣ. Ни грозный мечъ Тиртея, ни живописный плащъ байроновскаго Чайльдъ Гарольда—одинаково не шли къ его мягкой, свѣтлой, жизнерадостно-граціозной музѣ. Правда, дѣйствительность окутала вскорѣ грустнымъ флеромъ эту свѣтлую жизнерадостность, но сдѣлала она это по-своему, и изъ Пушкина вышелъ не авторъ „Манфреда“ и „Донъ-Жуана“, а—„Русалки“, „Скупого рыцаря“ и „Каменнаго гостя“. Повторяемъ, Пушкинъ рано по-

чувствовалъ, что настоящее призваніе его, какъ поэта, иное, но онъ тогда же понялъ и то, что послѣдовать голосу природы—значить утратить любовь публики... Уже въ 1824 году онъ меланхолически заявляетъ: „Блаженъ, кто про себя таилъ—души высокія созданья—и отъ людей, какъ отъ могилъ,—не ждалъ за чувство воздаянья!“ И онъ начинаетъ буквально слѣдовать этой пессимистической мысли: написаннаго въ слѣдующемъ году „Бориса Годунова“ онъ держитъ подъ спудомъ цѣлыхъ шесть лѣтъ, объясняя друзьямъ свою медлительность опасеніемъ, что „Борисъ“ поразитъ русскую публику непривычной новизной драматическихъ приемовъ и тѣмъ повредитъ судьбамъ русской драмы... Объясненіе, по меньшей мѣрѣ, странное!

Предчувствіе не обмануло поэта, и холодность публики къ недавнему еще любимцу росла съ половины 20-хъ годовъ съ удивительной быстротою. Никто не хотѣлъ понять того, что Пушкинъ-поэтъ не совершаетъ, въ сущности, никакой „измѣны“ лучшимъ завѣтамъ молодости, что съ поэзіей его происходитъ лишь то самое, что случилось съ картиной генія въ его же чудномъ стихотвореніи „Возрожденіе“: изъ-подъ чуждыхъ красокъ временныхъ увлеченій выступали художественные образы вѣчной правды, красоты и человѣчности. Между тѣмъ, близорукіе поклонники прежняго Пушкина видѣли въ немъ въ эту пору нѣчто вродѣ покаившагося декабриста *)...

*) Прежде всего, никогда и раньше, въ годы юности, Пушкинъ не раздѣлялъ вполне идей и настроенія декабристовъ. «При всей своей симпатіи къ освободительнымъ стремленіямъ эпохи,—говоритъ современный намъ историкъ,—Пушкинъ не былъ охваченъ такимъ глубокимъ и, главное, такимъ безраздѣльнымъ увлеченіемъ общественными интересами, какое переживали нѣкоторые его сверстники. Для этого, не говоря уже о различныхъ вліяніяхъ, отвлекавшихъ его въ сторону, въ его собственной природѣ, можетъ статься, слишкомъ преобладали чисто художественныя инстинкты и слишкомъ сильна была жажда разнообразія жизненныхъ впечатлѣній. Соответственно этому опредѣлилась и роль гражданскихъ мотивовъ въ его творчествѣ данной поры. Симпатія къ безправному крѣпостному и признаніе за нимъ человѣческаго достоинства, рѣзкій протестъ противъ обскурантизма и произвола, вольнолюбивыя мечты и смѣлыя надежды,—всѣ эти главные мотивы общественнаго движенія вошли и въ поэзію Пушкина... Въ цѣломъ, однако. Пушкинъ едва ли могъ бы назваться поэтомъ-гражданиномъ, пѣвцомъ скорби и боли современнаго ему поколѣнія. Мотивы гражданского гнѣва и скорби далеко не занимали первенствующаго мѣста въ свѣтлой, жизнерадостной поэзіи пѣвца «Руслана и Людмилы» и, сравнительно, даже рѣдко звучали въ

произведеній. Впечатлѣніе еще усиливалось бродившими въ обществѣ слухами о поведеніи юнаго автора, навлекшемъ на него гнѣвъ администраціи, его задорными стихами и эпиграммами, не попадавшими въ печать, но, тѣмъ не менѣе, всѣмъ извѣстными, наконецъ, самимъ фактомъ его ссылки. Духъ недовольства дѣйствительностью, должно быть, въ самомъ воздухѣ носился тогда въ Европѣ, не исключая и нашей Россіи; не находя себѣ вишняго исхода, этотъ вольнолюбивый духъ выливался въ мрачной хандрѣ и разочарованности. Разумѣется, во всемъ этомъ было много простой подражательности, и какъ въ послѣдствіи „лишнимъ людямъ“, а еще позже „жающимъ дворянамъ“, такъ въ тѣ времена маленькимъ Байронамъ счета не было не только въ столицахъ, но и въ уѣздныхъ захолустьяхъ. Особенной глубины не было, конечно, и въ пушкинскомъ протестѣ или разочарованности, но отъ нихъ вѣяло юношеской искренностью, они выражались въ неслыханныхъ по красотѣ и звучности стихахъ, и Пушкинъ совершенно серьезно казался тогдашней молодежи сѣвернымъ Байрономъ (тѣмъ болѣе, что о настоящемъ рѣдко кто имѣлъ понятіе). Такія вещи, какъ „Кинжалъ“, ода „На вольность“, „Погасло дневное свѣтило“, „Черная шаль“, „Я пережилъ свои желанья“, переходили изъ рукъ въ руки, изъ устъ въ уста и вызывали общія восхищенія; „Кавказскій плѣнникъ“ съ своимъ героемъ, который

Свобода! лишь одной тебя
Еще искалъ въ подлунномъ мірѣ,—

могъ только утвердить первоначальную популярность поэта, какъ пѣвца молодой Россіи; первая пѣсня „Евг. Онегина“ окончательно ее закрѣпила.

Между тѣмъ, въ самой природѣ пушкинскаго таланта было, въ сущности, очень мало элементовъ борьбы и протеста, и, къ счастью поэта, онъ рано почувствовалъ, что стоитъ на ложной дорогѣ. Ни грозный мечъ Тиртея, ни живописный плащъ байроновскаго Чайльдъ Гарольда—одинаково не шли къ его мягкой, свѣтлой, жизнерадостно-граціозной музѣ. Правда, дѣйствительность окутала вскорѣ грустнымъ флеромъ эту свѣтлую жизнерадостность, но сдѣлала она это по-своему, и изъ Пушкина вышелъ не авторъ „Манфреда“ и „Донъ-Жуана“, а—„Русалки“, „Скупого рыцаря“ и „Каменнаго гостя“. Повторяемъ, Пушкинъ рано по-

чувствовалъ, что настоящее призваніе его, какъ поэта, иное, но онъ тогда же понималъ и то, что послѣдовать голосу природы—значить утратить любовь публики... Уже въ 1824 году онъ меланхолически заявляетъ: „Блаженъ, кто про себя танцъ—души высокія созданья—и отъ людей, какъ отъ могилъ,—не ждалъ за чувство воздаянья!“ И онъ начинаетъ буквально слѣдовать этой пессимистической мысли: написаннаго въ слѣдующемъ году „Бориса Годунова“ онъ держитъ подъ спудомъ цѣлыхъ шесть лѣтъ, объясняя друзьямъ свою медлительность опасеніемъ, что „Борисъ“ поразитъ русскую публику непривычной новизной драматическихъ приѣмовъ и тѣмъ повредитъ судьбамъ русской драмы... Объясненіе, по меньшей мѣрѣ, странное!

Предчувствіе не обмануло поэта, и холодность публики къ недавнему еще любимцу росла съ половины 20-хъ годовъ съ удивительной быстротою. Никто не хотѣлъ понять того, что Пушкинъ-поэтъ не совершаетъ, въ сущности, никакой „измѣны“ лучшимъ завѣтамъ молодости, что съ поэзіей его происходитъ лишь то самое, что случилось съ картиной генія въ его же чудномъ стихотвореніи „Возрожденіе“: изъ-подъ чуждыхъ красокъ временныхъ увлеченій выступали художественные образы вѣчной правды, красоты и человѣчности. Между тѣмъ, близорукіе поклонники прежняго Пушкина видѣли въ немъ въ эту пору нѣчто вроде показавшагося декабриста *)...

*) Прежде всего, никогда и раньше, въ годы юности, Пушкинъ не раздѣлялъ вполне идей и настроенія декабристовъ. «При всей своей симпатіи къ освободительнымъ стремленіямъ эпохи,—говоритъ современный намъ историкъ,—Пушкинъ не былъ охваченъ такимъ глубокимъ и, главное, такимъ безраздѣльнымъ увлеченіемъ общественными интересами, какое переживали нѣкоторые его сверстники. Для этого, не говоря уже о различныхъ вліяніяхъ, отвлекавшихъ его въ сторону, въ его собственной природѣ, можетъ статься, слишкомъ преобладали чисто художественные инстинкты и слишкомъ сильна была жажда разнообразія жизненныхъ впечатлѣній. Соответственно этому опредѣлилась и роль гражданскихъ мотивовъ въ его творчествѣ данной поры. Симпатія къ безправному крѣпостному и признаніе за нимъ человѣческаго достоинства, рѣзкій протестъ противъ обскурантизма и произвола, вольнолюбивыя мечты и смѣлыя надежды,—всѣ эти главные мотивы общественного движенія вошли и въ поэзію Пушкина... Въ цѣломъ, однако. Пушкинъ едва ли могъ бы назваться поэтомъ-гражданиномъ, пѣвцомъ скорби и боли современнаго ему поколѣнія. Мотивы гражданского гнѣва и скорби далеко не занимали первенствующаго мѣста въ свѣтлой, жизнерадостной поэзии пѣвца «Руслана и Людмилы» и, сравнительно, даже рѣдко звучали въ

произведеній. Впечатлѣніе еще усиливалось бродившими въ обществѣ слухами о поведеніи юнаго автора, навлекшемъ на него гнѣвъ администраціи, его задорными стихами и эпиграммами, не попадавшими въ печать, но, тѣмъ не менѣе, всѣмъ извѣстными, наконецъ, самимъ фактомъ его ссылки. Духъ недовольства дѣйствительностью, должно быть, въ самомъ воздухѣ носился тогда въ Европѣ, не исключая и нашей Россіи; не находя себѣ внѣшняго исхода, этотъ вольнолюбивый духъ выливался въ мрачной хандрѣ и разочарованности. Разумѣется, во всемъ этомъ было много простой подражательности, и какъ въ послѣдствіи „лишнимъ людямъ“, а еще позже „жающимъ дворянамъ“, такъ въ тѣ времена маленькимъ Байронамъ счета не было не только въ столицахъ, но и въ уѣздныхъ захолустьяхъ. Особенной глубины не было, конечно, и въ пушкинскомъ протестѣ или разочарованности, но отъ нихъ вѣяло юношеской искренностью, они выражались въ неслыханныхъ по красотѣ и звучности стихахъ, и Пушкинъ совершенно серьезно казался тогдашней молодежи сѣвернымъ Байрономъ (тѣмъ болѣе, что о настоящемъ рѣдко кто имѣлъ понятіе). Такія вещи, какъ „Кинжалъ“, ода „На вольность“, „Погасло дневное свѣтило“, „Черная шаль“, „Я пережилъ свои желанья“, переходили изъ рукъ въ руки, изъ устъ въ уста и вызывали общія восхищенія; „Кавказскій плѣнникъ“ съ своимъ героемъ, который

Свобода! лишь одной тебя
Еще искалъ въ подлунномъ мірѣ,—

могъ только утвердить первоначальную популярность поэта, какъ пѣвца молодой Россіи; первая пѣсня „Евг. Онегина“ окончательно ее закрѣпила.

Между тѣмъ, въ самой природѣ пушкинскаго таланта было, въ сущности, очень мало элементовъ борьбы и протеста, и, къ счастью поэта, онъ рано почувствовалъ, что стоитъ на ложной дорогѣ. Ни грозный мечъ Тиртея, ни живописный плащъ байроновскаго Чайльдъ Гарольда—одинаково не шли къ его мягкой, свѣтлой, жизнерадостно-граціозной музѣ. Правда, дѣйствительность окутала вскорѣ грустнымъ флеромъ эту свѣтлую жизнерадостность, но сдѣлала она это по-своему, и изъ Пушкина вышелъ не авторъ „Манфреда“ и „Донъ-Жуана“, а—„Русалки“, „Скупого рыцаря“ и „Каменнаго гостя“. Повторяемъ, Пушкинъ рано по-

чувствовалъ, что настоящее призваніе его, какъ поэта, иное, но онъ тогда же понялъ и то, что послѣдовать голосу природы—значить утратить любовь публики... Уже въ 1824 году онъ меланхолически заявляетъ: „Блаженъ, кто про себя таилъ—души высокія созданья—и отъ людей, какъ отъ могилъ,—не ждалъ за чувство воздаянья!“ И онъ начинаетъ буквально слѣдовать этой пессимистической мысли: написаннаго въ слѣдующемъ году „Бориса Годунова“ онъ держитъ подъ спудомъ цѣлыхъ шесть лѣтъ, объясняя друзьямъ свою медлительность опасеніемъ, что „Борисъ“ поразитъ русскую публику непривычной новизной драматическихъ приѣмовъ и тѣмъ повредитъ судьбамъ русской драмы... Объясненіе, по меньшей мѣрѣ, странное!

Предчувствіе не обмануло поэта, и холодность публики къ недавнему еще любимцу росла съ половины 20-хъ годовъ съ удивительной быстротою. Никто не хотѣлъ понять того, что Пушкинъ-поэтъ не совершаетъ, въ сущности, никакой „измѣны“ лучшимъ завѣтамъ молодости, что съ поэзіей его происходитъ лишь то самое, что случилось съ картиной генія въ его же чудномъ стихотвореніи „Возрожденіе“: изъ-подъ чуждыхъ красокъ временныхъ увлеченій выступали художественные образы вѣчной правды, красоты и человѣчности. Между тѣмъ, близорукіе поклонники прежняго Пушкина видѣли въ немъ въ эту пору нѣчто вродѣ покаившагося декабриста *)...

*) Прежде всего, никогда и раньше, въ годы юности, Пушкинъ не раздѣлялъ вполне идей и настроенія декабристовъ. «При всей своей симпатіи къ освободительнымъ стремленіямъ эпохи,—говоритъ современный намъ историкъ,—Пушкинъ не былъ охваченъ такимъ глубокимъ и, главное, такимъ безраздѣльнымъ увлеченіемъ общественными интересами, какое переживали нѣкоторые его сверстники. Для этого, не говоря уже о различныхъ вліяніяхъ, отвлекавшихъ его въ сторону, въ его собственной природѣ, можетъ статься, слишкомъ преобладали чисто художественные инстинкты и слишкомъ сильна была жажда разнообразія жизненныхъ впечатлѣній. Соответственно этому опредѣлилась и роль гражданскихъ мотивовъ въ его творествѣ данной поры. Симпатія къ безправному крѣпостному и признаніе за нимъ человѣческаго достоинства, рѣзкій протестъ противъ обскурантизма и произвола, вольнолюбивыя мечты и смѣлыя надежды,—всѣ эти главные мотивы общественнаго движенія вошли и въ поэзію Пушкина... Въ цѣломъ, однако. Пушкинъ едва ли могъ бы назваться поэтомъ-гражданиномъ, пѣвцомъ скорби и боли современнаго ему поколѣнія. Мотивы гражданского гнѣва и скорби далеко не занимали первенствующаго мѣста въ свѣтлой, жизнерадостной поэзии пѣвца «Руслана и Людмилы» и, сравнительно, даже рѣдко звучали въ

произведеній. Впечатлѣніе еще усиливалось бродившими въ обществѣ слухами о поведеніи юнаго автора, навлекшемъ на него гнѣвъ администраціи, его зазорными стихами и эпиграммами, не попадавшими въ печать, но, тѣмъ не менѣе, всѣмъ извѣстными, наконецъ, самимъ фактомъ его ссылки. Духъ недовольства дѣйствительностью, должно быть, въ самомъ воздухѣ носился тогда въ Европѣ, не исключая и нашей Россіи; не находя себѣ внѣшняго исхода, этотъ вольнолюбивый духъ выливался въ мрачной хандрѣ и разочарованности. Разумѣется, во всемъ этомъ было много простой подражательности, и какъ въ послѣдствіи „лишнимъ людямъ“, а еще позже „кающимся дворянамъ“, такъ въ тѣ времена маленькимъ Байронамъ счета не было не только въ столицахъ, но и въ уѣздныхъ захолустьяхъ. Особенной глубины не было, конечно, и въ пушкинскомъ протестѣ или разочарованности, но отъ нихъ вѣяло юношеской искренностью, они выражались въ неслыханныхъ по красотѣ и звучности стихахъ, и Пушкинъ совершенно серьезно казался тогдашней молодежи сѣвернымъ Байрономъ (тѣмъ болѣе, что о настоящемъ рѣдко кто имѣлъ понятіе). Такія вещи, какъ „Кинжалъ“, ода „На вольность“, „Погасло дневное свѣтило“, „Черная шаль“, „Я пережилъ свои желанья“, переходили изъ рукъ въ руки, изъ устъ въ уста и вызывали общія восхищенія; „Кавказскій плѣнникъ“ съ своимъ героемъ, который

Свобода! лишь одной тебя
Еще искалъ въ подлунномъ мірѣ,—

могъ только утвердить первоначальную популярность поэта, какъ пѣвца молодой Россіи; первая пѣсня „Евг. Онѣгина“ окончательно ее закрѣпила.

Между тѣмъ, въ самой *природѣ* пушкинскаго таланта было, въ сущности, очень мало элементовъ борьбы и протеста, и, къ счастью поэта, онъ рано почувствовалъ, что стоитъ на ложной дорогѣ. Ни грозный мечъ Тиртея, ни живописный плащъ байроновскаго Чайльдъ Гарольда—одинаково не шли къ его мягкой, свѣтлой, жизнерадостно-граціозной музѣ. Правда, дѣйствительность окутала вскорѣ грустнымъ флеромъ эту свѣтлую жизнерадостность, но сдѣлала она это по-своему, и изъ Пушкина вышелъ не авторъ „Манфреда“ и „Донъ-Жуана“, а—„Русалки“, „Скупого рыцаря“ и „Каменнаго гостя“. Повторяемъ, Пушкинъ рано по-

чувствовалъ, что настоящее призваніе его, какъ поэта, иное, но онъ тогда же понялъ и то, что послѣдовать голосу природы—значить утратить любовь публики... Уже въ 1824 году онъ меланхолически заявляетъ: „Блаженъ, кто про себя тайлъ—души высокія созданья—и отъ людей, какъ отъ могилъ,—не ждалъ за чувство воздаянья!“ И онъ начинаетъ буквально слѣдовать этой пессимистической мысли: написаннаго въ слѣдующемъ году „Бориса Годунова“ онъ держитъ подъ спудомъ цѣлыхъ шесть лѣтъ, объясняя друзьямъ свою медлительность опасеніемъ, что „Борисъ“ поразитъ русскую публику непривычной новизной драматическихъ приѣмовъ и тѣмъ повредитъ судьбамъ русской драмы... Объясненіе, по меньшей мѣрѣ, странное!

Предчувствіе не обмануло поэта, и холодность публики къ недавнему еще любимцу росла съ половины 20-хъ годовъ съ удивительною быстротою. Никто не хотѣлъ понять того, что Пушкинъ-поэтъ не совершаетъ, въ сущности, никакой „измѣны“ лучшимъ завѣтамъ молодости, что съ поэзіей его происходитъ лишь то самое, что случилось съ картиной генія въ его же чудномъ стихотвореніи „Возрожденіе“: изъ-подъ чуждыхъ красокъ временныхъ увлеченій выступали художественные образы вѣчной правды, красоты и человѣчности. Между тѣмъ, близорукіе поклонники прежняго Пушкина видѣли въ немъ въ эту пору нѣчто вроде показавшагося декабриста *).

*) Прежде всего, никогда и раньше, въ годы юности, Пушкинъ не раздѣлялъ вполне идей и настроенія декабристовъ. «При всей своей симпатіи къ освободительнымъ стремленіямъ эпохи,—говоритъ современный намъ историкъ,—Пушкинъ не былъ охваченъ такимъ глубокимъ и, главное, такимъ безраздѣльнымъ увлеченіемъ общественными интересами, какое переживали нѣкоторые его сверстники. Для этого, не говоря уже о различныхъ влияніяхъ, отвлекавшихъ его въ сторону, въ его собственной природѣ, можетъ статься, слишкомъ преобладали чисто художественные инстинкты и слишкомъ сильна была жажда разнообразія жизненныхъ впечатлѣній. Соотвѣтственно этому опредѣлилась и роль гражданскихъ мотивовъ въ его творчествѣ данной поры. Симпатія къ безправному крѣпостному и признаніе за нимъ человѣческаго достоинства, рѣзкій протестъ противъ обскурантизма и произвола, вольнолюбивыя мечты и смѣлыя надежды,—все эти главные мотивы общественного движенія вошли и въ поэзію Пушкина... Въ цѣломъ, однако, Пушкинъ едва ли могъ бы назваться поэтомъ-гражданиномъ, пѣвцомъ скорби и боли современнаго ему поколѣнія. Мотивы гражданского гнѣва и скорби далеко не занимали первенствующаго мѣста въ свѣтлой, жизневѣдственной поэзии пѣвца «Руслана и Людмилы» и, сравнительно, даже рѣдко звучали въ

Непониманіе и охлажденіе читателей, естественно, вызывало раздраженіе и въ поэтѣ. Порою оно прорывается у него въ гнѣвной и преувеличенно-рѣзкой декламациі по адресу „непросвѣщенной черни“; еще чаще выражается въ наружномъ презрительномъ спокойствіи, которое, однако, никого не въ силахъ обмануть. Печать глубокаго уныніа лежитъ, напр., на величаво-безстрастномъ, по внѣшности, сонетѣ 1830 года: „Поэтъ, не дорожи любовію народной!“ Поэту рекомендуется здѣсь оставаться твердымъ и спокойнымъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ почему-то долженъ быть и „угрюмымъ“; поэтъ называется царемъ, но жить почему-то принужденъ „одинъ“... Довольно странное царство и не совсѣмъ обычное спокойствіе!

Горделивое презрѣніе Пушкина къ мнѣніямъ толпы походитъ иногда на самое обыкновенное малодушіе. Начиная съ „Бориса Годунова“, лучшія его поэмы и стихотворенія держатся по нѣскольку лѣтъ въ портфелѣ, въ совершенно законченномъ, видимомъ, и отдѣланномъ видѣ. Изъ мелкихъ пьесъ довольно назвать такой общепризнанный шедевръ пушкинской поэзіи, какъ „Для береговъ отчизны дальной“, написанный въ 1830 г. и увидѣвшій свѣтъ лишь послѣ смерти поэта, въ 1841 г.! На нѣкоторыхъ другихъ стихотвореніяхъ, попадавшихъ въ печать при жизни автора, онъ выставилъ ложное указаніе — „съ иностраннаго“, или же, какъ-бы прося у публики снисхожденія,—подзаголовокъ: „Шалость“. Такъ именно предполагалось, напр., озаглавить извѣстное стихотвореніе „Бѣсы“... Врядъ ли все это можно объяснить одной строгостью поэта къ самому себѣ. Нельзя также не вспомнить отвѣта Пушкина Гулянову, приславшему ему въ

ней» (В. А. Мякотинъ, «Изъ исторіи русскаго общества»). Съ другой стороны, если подъ конецъ жизни поэта «въ его чисто публицистическія воззрѣнія вкрались слишкомъ замѣтныя уступки духу времени», то «общее гуманное направленіе, развитое сознаніе личнаго достоинства, признаніе общественнаго блага цѣлью всякой власти, всѣ эти воззрѣнія, выработанныя Пушкинымъ при дѣятельномъ участіи той среды, гдѣ уваженіе къ человеку вообще становилось руководящимъ принципомъ, навсегда остались его принадлежностью, какъ человека и писателя». — «Для современниковъ, какъ и для потомства, Пушкинъ былъ важенъ прежде всего великимъ художественнымъ значеніемъ своей поэзіи, въ цѣломъ всегда сохранявшей высокій и благородный характеръ. Общіе идеалы поэта, въ ней выразившіеся и тѣсно связанные съ тою общественной средой, какая окружала его юность, несомнѣнно, оказывали воспитательное вліяніе на дальнѣйшія поколѣнія».

1830 г., по случаю предствовавшей свадьбы поэта, анонимное поздравленіе въ стихахъ. „Вниманья слабаго предметъ уединенный,— съ горечью жалуется въ своемъ отвѣтѣ Пушкинъ,—къ доброжелательству досель я не привыкъ, и страненъ мнѣ его привѣтливый языкъ“. Со стороны Пушкина, конечно, это было большимъ преувеличеніемъ, въ особенности относительно перваго періода его поэтической дѣятельности, но для насъ важенъ фактъ, что въ данный моментъ, т. е. за семь лѣтъ до смерти, онъ чувствовалъ себя отвергнутымъ, непонимаемымъ, окруженнымъ со всѣхъ сторонъ явнымъ и тайнымъ зложелательствомъ...

II.

Но не одно охлажденіе публики давало знать себя Пушкину въ послѣдніе годы жизни: „неотразимыя обиды“ то и дѣло наносила его самолюбію и та самая журнальная критика, которая, какъ мы видѣли, „не пошло и не мелочно“ оцѣнила его поэтический восходъ. Еще рѣзче и суровѣе относилась къ его созрѣвшему таланту нарождавшаяся новая критика.

На другой годъ послѣ смерти великаго поэта Бѣлинскій писалъ:

Мнимый періодъ паденія таланта Пушкина начался для близорукаго прекраснѣйшаго съ того времени, какъ онъ началъ писать свои сказки *). Въ самомъ дѣлѣ, эти сказки были неудачными попытками поддѣлаться подъ русскую народность, но, несмотря на то, и въ нихъ былъ виденъ Пушкинъ, а въ «Сказкѣ о рыбацкѣ и рыбкѣ» онъ даже возвысился до совершенной объективности и сумѣлъ взглянуть на народную фантазію орлинымъ взоромъ Гете. Но если бы сказки и *всѣ* были дурны, одной элегіи «Безумныхъ лѣтъ» (1824) достаточно было, чтобъ показать, какъ смѣшны и жалки были безпокойства добрыхъ людей о паденіи поэта; но... да и кто не былъ, въ свою очередь, добрымъ человѣкомъ?..

Въ этомъ „но“ слышится своего рода покаяніе... Дѣло въ томъ, что—какъ это ни странно—Бѣлинскій самъ былъ однимъ изъ этихъ добрыхъ людей, „смѣшныхъ и жалкихъ“ въ своемъ безпокойствѣ. Такъ, въ „Литературныхъ мечтаніяхъ“, помѣщенныхъ въ „Молвъ“ 1834 года и, несомнѣнно, читанныхъ великимъ поэтомъ, Бѣлинскій писалъ:

*) Бѣлинскій ошибается: въ дѣйствительности, гораздо раньше этого времени.

«Пушкинъ царствовалъ десять лѣтъ. «Борисъ Годуновъ» былъ послѣднимъ великимъ его подвигомъ; во 2-й части полнаго собранія стихотвореній замерли звуки его гармонической лиры. Теперь мы не узнаемъ Пушкина; онъ умеръ или, можетъ быть, только обмеръ на время. Можетъ быть, его уже нѣтъ, а, можетъ быть, онъ и воскреснетъ: этотъ вопросъ, это гамлетовское «быть или не быть» скрывается во мнѣ будущарю. По крайней мѣрѣ, судя по его сказкамъ, по его поэмѣ «Анджело» и по другимъ произведеніямъ, обрѣтающимся въ «Новосельи» и «Библіотекѣ для чтенія», мы должны оплакивать горькую, невозвратимую потерю. Гдѣ теперь эти звуки, въ коихъ сливались, бывало, то разгулье удалое, то сердечная тоска, гдѣ эти вспышки пламеннаго и глубокаго чувства, потрясавшаго сердца, сжимавшаго и волновавшаго груди?—Увы! мы читаемъ теперь стихи съ правильной цезурой, съ богатыми и полубогатыми приемами, съ піитическими вольностями...—И однако жъ (заключалъ Бѣлинскій), не будемъ слишкомъ поспѣшны и опрометчивы въ нашихъ заключеніяхъ; предоставимъ времени рѣшить этотъ запутанный вопросъ. О Пушкинѣ судить нелегко. Вы, вѣроятно, читали его элегію: «Безумныхъ лѣтъ»? Вы, вѣроятно, были потрясены глубокимъ чувствомъ, которымъ дышитъ это созданіе?—Пусть скажутъ, что это пристрастіе, идолопоклонство, дѣтство, глупость, но я лучше хочу вѣрить тому, что Пушкинъ мистифируетъ «Библіотеку для чтенія», чѣмъ тому, что его талантъ погасъ. Я вѣрю, думаю, и мнѣ отраднѣе вѣрить и думать, что Пушкинъ подаритъ насъ новыми созданіями, которыя будутъ выше прежнихъ».

Это называется—позолотить пиллюлю... Въ слѣдующемъ затѣмъ (35) году, по поводу выхода въ свѣтъ IV части стихотвореній Пушкина, Бѣлинскій написалъ:

Вообще очень мало утѣшительнаго можно сказать объ этой части. Конечно, въ ней виденъ закатъ таланта, но таланта Пушкина; въ этомъ закатѣ есть еще какой-то блескъ, хотя слабый и блѣдный...—Самыя его сказки (онѣ, конечно, рѣшительно дурны, конечно, поэзія не касалась ихъ!), но все-таки онѣ цѣлой головой выше всѣхъ попытокъ въ этомъ родѣ другихъ нашихъ поэтовъ. Мы не можемъ понять, что за странная мысль овладѣла имъ и заставила тратить свой талантъ на эти поддѣльные цвѣты...

Холодно были приняты критикой „Борисъ Годуновъ“, „Скупой Рыцарь“ и „Капитанская дочка“; не особенно дружелюбнаго привѣтствія удостоился въ нѣкоторой части журналовъ и оконченный „Евгеній Онѣгинъ“: такъ, Надеждинъ въ „Телеграфѣ“ опредѣлилъ этотъ романъ, какъ блестящую игрушку, какъ поэтическое вѣсело...

Мы уже приводили объясненіе Чернышевскаго, почему сужденія критиковъ о пушкинской поэзіи, при жизни поэта, не могли быть всесторонними и особенно глубокими: въ лучшемъ случаѣ они не шли дальше признанія ея поэзіей великой, народной и истинно-русской. Одной изъ первыхъ и наибо-

лѣ серьезныхъ попытокъ общей характеристики Пушкина была статья Гоголя „Нѣсколько словъ о Пушкинѣ“ (1832 г.). Не будучи сильнымъ мыслителемъ, Гоголь обладалъ несомнѣннымъ путемъ художественной правды, Пушкина же прямо боготворилъ и считалъ своимъ учителемъ; онъ не могъ поэтому не бросить въ этой статьѣ нѣсколько мѣткихъ и глубоко-вѣрныхъ замѣчаній,—хотя бы о томъ, напр., что истинная національность состоитъ не въ точномъ описаніи сарафана, а въ проникновеніи въ самый духъ народа, или—о томъ, что чѣмъ предметъ обыкновеннѣе, прозе, тѣмъ выше долженъ быть поэтъ, извлекающій изъ него необыкновенное и въ то же время совершенно истинное. Большую честь проникательности Гоголя дѣлаетъ и то, что онъ одинъ изъ немногихъ призналъ наиболѣе совершенными позднѣйшія произведенія Пушкина, гдѣ отъ грознаго и импонирующаго величія Кавказа поэтъ перешелъ къ обыкновеннымъ равнинамъ средней Россіи, глубже предавшись изученію жизни и нравовъ родного народа. Но этимъ и ограничилась критическая прозорливость Гоголя...

Какъ опредѣлилъ онъ нравственный обликъ пушкинской музы? Въ чемъ увидалъ ея индивидуальныя особенности?

„Пушкинъ—явленіе чрезвычайное, быть можетъ, единственное явленіе русскаго духа: это русскій человѣкъ въ его развитіи, въ какомъ онъ, можетъ быть, явится черезъ двѣсти лѣтъ“. Фраза эта, быть можетъ, очень красива, но—и только; врядъ ли за ней скрываются особенно глубокія мысли, тѣмъ болѣе, что въ другой, позднѣйшей статьѣ Гоголь говоритъ совсѣмъ другое: „Поэзія наша (въ томъ числѣ и Пушкинъ) не выразила намъ нигдѣ русскаго человѣка вполнѣ,—ни въ томъ *идеалѣ*, въ какомъ онъ долженъ быть, ни въ той *дѣйствительности*, въ какой онъ нынѣ есть“.—Произведенія Пушкина,—говоритъ далѣе первая статья,—проникнуты русскимъ (а не нѣмецкимъ?) духомъ; самая жизнь его была русская, тотъ же разгулъ и то же раздолье и т. д., и т. д., въ духѣ довольно таки кваснаго патріотизма. Затѣмъ слѣдуютъ пространныя разсужденія о національности. Поэтъ можетъ быть и тогда національнымъ, когда описываетъ чужой міръ, но глядитъ на него глазами своего народа, чувствуетъ и говоритъ такъ, что соотечественникамъ его кажется, будто это чувствуютъ и говорятъ они сами. Но спрашивается: что же значить глядѣть глазами своего народа? Какъ именно думаетъ о чу-

жихъ мірахъ русскій народъ? Какъ говорятъ и чувствуютъ русскіе люди? Эти вопросы Гоголь оставляетъ, по своему обыкновению, въ туманѣ; для него важнѣе всего видимая глубина мысли—красивая фраза. Такими фразами, вообще, кишитъ его статья, и онѣ-то и подкупали нерѣдко послѣдующихъ критиковъ... Напр., по его мнѣнію, сочиненія Пушкина такъ же тихи и безпорывны, какъ русская природа, которая въ нихъ дышетъ. Но почему же русская природа безпорывна? Почему въ русскихъ степяхъ, уходящихъ въ безконечную даль, или въ широкихъ разливахъ русскихъ рѣкъ слѣдуетъ видѣть меньше порыва, чѣмъ, напр., въ альпійскихъ вершинахъ, уходящихъ въ высь? И развѣ порывъ не есть также одна изъ основныхъ чертъ великорусскаго характера? Развѣ и пушкинская поэзія, знакомая съ „тихой сердечной тоской“, совершенно чужда „удалому разгулю“?

Въ заключеніе, Гоголь высказываетъ такую странную мысль: для полного пониманія прелестной пушкинской антологіи нужно быть сибаритомъ, который уже пресытился грубыми и тяжелыми яствами и ѣсть птичку не болѣе наперстка... Вотъ и все, что нашелъ возможнымъ сказать о Пушкинѣ его великій „ученикъ“!

Правда, въ 1832 г. Гоголь не зналъ еще многихъ лучшихъ произведеній Пушкина, увидавшихъ свѣтъ уже послѣ смерти поэта; имѣется другая, позднѣйшая его статья (1846) „Въ чемъ же, наконецъ, существо русской поэзіи“, гдѣ онъ говоритъ, между прочимъ, и о Пушкинѣ. Однако, несмотря на любопытныя частности, по существу въ этой статьѣ нѣтъ ничего новаго. Гоголь задаетъ самъ себѣ рядъ вопросовъ: зачѣмъ, къ чему была поэзія Пушкина? Какое новое направленіе мысленному міру дала она? Что сказала нужное своему вѣку? Зачѣмъ Пушкинъ данъ былъ міру и что доказалъ собою? Вопросы поставлены довольно правильно и, во всякомъ случаѣ, крайне интересно, но у Гоголя они играютъ, къ сожалѣнію, лишь роль красивой риторической фигуры. Пушкинъ, оказывается, данъ былъ міру на то, чтобъ доказать собою, что такое самъ поэтъ—и ничего больше... Эта туманная фраза представляетъ несомнѣнный отголосокъ того, что говорилъ передъ тѣмъ Бѣлинскій въ V главѣ своего большого трактата о Пушкинѣ (объ его „паѣосѣ“). Даже приводимыя далѣе сравненія съ иностранными поэтами почти буквально повторяютъ разсужденія великаго критика и отличаются тѣхъ же недостатками... Оригинально у Гоголя только слѣдующее мѣсто: „Что было пред-

метомъ его (Пушкина) поэзіи?—Все стало ея предметомъ и ничего въ особенності. Намѣтъ мысль (!) передъ безчисленностью его Предметовъ. Чѣмъ онъ не поразился и передъ чѣмъ остановился? Отъ заоблачнаго Кавказа“ и т. д., и т. д.,—цѣлый рядъ громкихъ и бессодержательныхъ фразъ.

Черезъ два года послѣ первой критической статьи Гоголя появились „Литературныя Мечтанія“ Бѣлинскаго. Въ нихъ молодой критикъ съ восторгомъ отзывался о первомъ періодѣ поэтической дѣятельности Пушкина. „Онъ перепробовалъ всѣ тоны, всѣ лады, всѣ аккорды своего вѣка; онъ заплатилъ дань всѣмъ великимъ современнымъ событіямъ, явленіямъ и мыслямъ, всему, что могла чувствовать тогда Россія; въ его пѣсняхъ трепетали всѣ нервы жизни“. Однако, оцѣнка пушкинской поэзіи этими общими выраженіями восхищенія и удивленія и ограничивается: въ чемъ именно заключались аккорды, лады и тоны отраженнаго Пушкинымъ вѣка, каковы были „нервы“ русской жизни, въ чемъ было, наконецъ, индивидуальное отличіе Пушкина, какъ поэта, отъ какого-нибудь Байрона или Гете (кромѣ того, что онъ былъ *русскій*)—ничего этого мы такъ и не узнаемъ изъ „Литературныхъ мечтаній“, напечатанныхъ еще при жизни поэта.

Какъ мы уже упоминали, трагическая кончина Пушкина вызвала въ обществѣ и въ печати цѣлый взрывъ былого къ нему сочувствія. Всѣ наперерывъ называли его великимъ, національнымъ, истинно-русскимъ поэтомъ. Чувство, несомнѣнно, было исполнѣ искренно, и, однако, нельзя сказать, чтобы въ эти исключительные дни критика обнаружила болѣе глубокое пониманіе пушкинской музыки. Въ „Галатѣѣ“, въ большой статьѣ, посвященной Пушкину, утверждалось, напр., что настоящимъ родомъ его таланта было граціозное, а отнюдь не грандіозное: въ „Полтавѣ“ поэтъ попытался на восковыхъ крыльяхъ подняться къ солнцу—и разыгралъ плачевную роль Икара... Тотъ же авторъ глубокомысленно заявлялъ:

«Пушкинъ не поэтъ всего человѣчества, какъ вздумалось сказать о немъ одному изъ его записныхъ панегиристовъ, а поэтъ русскій, и по преимуществу поэтъ такъ называемаго большого свѣта, или, что все равно, поэтъ будуарный; онъ не возносился, или очень рѣдко возносился къ небу и не оставилъ ничего такого, что подходило бы къ гимнамъ (?), если не отнесемъ къ этому роду его подражаній корану». А въ другой газеткѣ писали: «Мы любимъ Пушкина только за гладкій, бойкій стихъ и за сладость, сообщенную имъ русскому поэтическому языку; онъ первый между нашими легкими поэтами».

Правда, такіе мѣднолобые отзывы, достойные того крыловскаго судьи, который судилъ соловья, были сравнительной рѣдкостью даже и въ тѣ времена; но и въ болѣе серьезныхъ органахъ, среди горячихъ похвалъ безвременно погибшему поэту, рѣшительно нельзя отыскать ничего, кромѣ прежнихъ общихъ фразъ о его величіи, народности, да отдѣльных болѣе или менѣе тонкихъ и вѣрныхъ замѣчаній. Такъ, „Библ. для Чт.“ говорила: „Тихое уныніе Пушкина не разорветъ души, не измучитъ сердца; и въ самыхъ горькихъ жалобахъ его дышитъ надежда, живетъ упованіе. И грусть мила, и плакать легко подъ эти чудныя пѣсни“. Отмѣтимъ еще большую статью Шевырева въ „Москвитинѣ“ 1841 г. Въ общемъ статья эта не идетъ дальше чисто-внѣшнихъ похвалъ „чудесамъ русскаго стиха“, обнаруженнымъ въ произведеніяхъ Пушкина. Довольно характерно, между прочимъ, для критика его мнѣніе о „Мѣдномъ Всадникѣ“. Авторъ выражаетъ намѣреніе „взглянуть мыслящимъ взоромъ въ глубь произведенія“, — и что же открываетъ тамъ этотъ мыслящій взоръ?

«Соотвѣтствіе между хаосомъ природы, которое видите вы въ потокахъ столицы, и между хаосомъ ума, пораженнаго утратою... Здѣсь, по нашему мнѣнію,—говоритъ Шевыревъ,—главная мысль (!), зерно и единство художественнаго созданія; но мы не можемъ не прибавить, что этотъ превосходный мотивъ, достойный гениальности Пушкина, не былъ развитъ до конечной полноты и потерялся въ какой-то неопредѣленности эскизованнаго, но мастерскаго исполненія».

Намъ, въ свою очередь, думается, что для отысканія такого внѣшняго, чисто-школьнаго „соотвѣтствія“ не надо было и внутрь произведенія углубляться, да еще окомъ мыслящаго человѣка!

Тѣмъ удивительнѣе, что дальше этотъ же самый Шевыревъ обмолвился глубокимъ замѣчаніемъ, которое и Бѣлянскому сдѣлало бы честь. А именно, по поводу „Каменнаго Гостя“ онъ пишетъ:

«Какъ поразительна тотчасъ послѣ преступнаго поцѣлуя внезапность появленія статуи! Какъ глубоко значительна эта быстрая смѣна преступленія наказаніемъ! Эта сцена совершенно убѣждаетъ насъ въ томъ, что Пушкинъ глубоко понималъ тѣсную, неразрывную связь изящнаго съ нравственнымъ, особенно въ поэзіи поди человеческой, въ драмѣ. Какъ много-смысленно разрѣшается въ этихъ двухъ стихахъ вся разгульная жизнь разврата: Статуя. Дай руку. Донъ-Жуанъ. Вотъ она... О, тяжело пожатье каменной десницы!»

Эта замѣчательная въ устахъ Шевырева тирада дополняется еще другой, высказанной по поводу „Дубровскаго“:

Этотъ разбойникъ, зачавшійся въ человѣкѣ честномъ и благородномъ, есть плодъ разбойничества общественнаго, прикрытаго закономъ. Всякое нарушеніе правды подъ видомъ суда, всякое насиліе власти, призванной къ устроению порядка, всякое грабительство общественное, посягающее на истинѣ, порождаютъ разбой личный, которымъ гражданинъ обиженный мститъ за неправды всего тѣла общественнаго. Вотъ та глубоко-нравственная идея, которая, хотя не высказана отдѣльно, но сама собою яснѣетъ изъ поѣсти Пушкина и придаетъ ей великую значительность.

Вотъ, прибавимъ мы отъ себя, точка зрѣнія, на которой слѣдовало бы стоять всѣмъ критикамъ пушкинской поэзіи, точка зрѣнія, которая какъ-бы напрашивается при чтеніи этихъ удивительно-ясныхъ созданій, всегда сочетающихъ *изящное съ нравственнымъ*, но которой, къ сожалѣнію, ни одинъ изъ критиковъ (не выключая, какъ увидимъ, и Бѣлинскаго) не примѣнилъ до сихъ поръ къ анализу Пушкина во всей широтѣ и во всемъ объемѣ. У сухого педанта Шевырева вѣрная постановка вопроса, да и то по частному поводу, прорвалась, очевидно, совершенно случайно и вслѣдъ затѣмъ потонула среди обычнаго критическаго пустословія *).

III.

Намъ пора перейти къ критикѣ Бѣлинскаго и начать съ его статьи, появившейся годъ спустя послѣ смерти Пушкина. Это было время, когда нашъ великій критикъ находился въ разгарѣ увлеченія гегелевской философій и готовъ былъ все существующее, все „дѣйствительное“ признать разумнымъ. „Дѣйствительность, — писалъ онъ, — есть чудовище, вооруженное желѣзными когтями и огромной пастью съ желѣзными челюстями. Ранѣ или поздно, пожретъ она всякаго, кто живетъ съ ней въ разладѣ и идетъ ей наперекоръ. Чтобы освободиться отъ нея и высто

*) Впрочемъ, не лишены интереса еще нѣкоторыя замѣчанія Шевырева. Такъ, онъ находитъ сходство у Пушкина съ Державинимъ въ описаніяхъ осенней природы: «Та же яркая кисть, та же иронія и шутка, та же внезапность переходовъ отъ мыслей къ мыслямъ, то же употребленіе словъ простонародныхъ». Мысль эта значительно полнѣе развита потомъ Бѣлинскимъ. — Вліяніе Байрона Шевырскъ признаетъ скорѣе вреднымъ, нежели полезнымъ, для чисто-объективнаго таланта Пушкина, всецѣло увлеченнаго міромъ внѣшнимъ и какъ бы созданнаго для эпоса и драмы.

ужаснаго чудовища увидать въ ней источникъ блаженства, для этого одно средство — сознать ее“. Въ неистовый восторгъ привело его величавое внѣшнее спокойствіе послѣднихъ произведеній Пушкина, и онъ поспѣшилъ объяснить ихъ въ смыслѣ полнаго примиренія поэта съ дѣйствительностью.

Посмертныя сочиненія Пушкина, — писалъ онъ, — представляютъ совершенно новый періодъ высшей, просвѣтленной художественной дѣятельности Пушкина. Но этому самому, они не для всѣхъ доступны, и въ этомъ самомъ заключается причина поспѣшнаго приговора толпы о паденіи поэта. Въ самомъ дѣлѣ, чтобы постигнуть всю глубину этихъ гениальныхъ картинъ, разгадать вполне ихъ таинственный смыслъ и войти во всю полноту и свѣтлосварность ихъ могучей жизни, должно пройти чрезъ мучительный опытъ внутренней жизни и выйти изъ борьбы прекраснѣйшаго въ гармонію просвѣтленнаго и примиреннаго съ дѣйствительностью духа. Повторяемъ: примиреніе путемъ объективнаго созерцанія жизни — вотъ характеръ этихъ послѣднихъ произведеній Пушкина.

И Бѣлинскій доказываетъ вѣрность своего положенія ссылкой на коротенькую „Молитву“ Пушкина, оставляя въ сторонѣ крупныя произведенія, вроде „Каменнаго гостя“, „Русалки“ и „Дубровскаго“, изъ которыхъ врядъ ли удалось бы ему вывести подобное же заключеніе.

Яростное увлеченіе своеобразно понятой формулой Гегеля продолжалось у Бѣлинскаго, какъ извѣстно, до 1840 года, когда смѣнилось болѣе трезвыми и соответствующими „расейской“ дѣйствительности взглядами; и вотъ, въ написанной вскорѣ затѣмъ въ формѣ діалога статья: „Русская литература въ 1841 году“ (напечатанной въ 42 году) мы уже не встречаемъ и тѣни прежняго навязыванія Пушкину примиренія съ дѣйствительностью. *see meditation*

Поэзія П — на, — говоритъ критикъ, — насквозь проникнута содержаніемъ какъ граненый хрусталь лучемъ солнца. — Какъ вѣрна у него всякая мысль, всякое чувство, такъ вѣренъ и всякій образъ, каждая фраза, ~~каждое~~ слово. Кромѣ грусти, какъ основного мотива пушкинской поэзіи, ~~она~~ *есть* бодрость, мощнаго выхода изъ нея не въ какое-нибудь тепленькое утѣшеніе, а въ ощущение собственной силы, какъ самой характеристической черты ея, — наполненность ея состоитъ еще во внѣшнемъ спокойствіи, при внутренней подвижности, въ отсутствіи одолавающей страстности. У Пушкина диссонансъ и драма всегда внутри, а снаружи все спокойно (критикъ отмѣчаетъ при этомъ не совѣтъ вѣрный фактъ, будто герои Пушкина никогда не кончаютъ самоубійствомъ). По формѣ Пушкинъ былъ соперникъ всякому поэту въ мірѣ; но по содержанію не сравнится ни съ однимъ изъ мировыхъ поэтовъ, выравнившихъ собою моментъ всемірно-историческаго развитія человѣчества. И это нисколько не идетъ къ униженію великаго гения Пушкина.

*mind
contender*

Поэту принадлежить форма, а содержаніе — исторіи и дѣйствительности его народа.

Спрашивается, однако: сказано ли здѣсь Бѣлинскимъ что-либо новое по существу, сравнительно съ тѣмъ, что уже раньше писали о Пушкинѣ—и онъ самъ, и другіе критики? Отвѣтилъ ли онъ на тѣ вопросы, которые ставитъ Гоголь? Врядъ-ли. Характеристика опять-таки чисто внѣшняя, даже и не пытающаяся проникнуть въ глубину пушкинского духа. Позже, въ большомъ своемъ трактатѣ о Пушкинѣ (1843 — 1846), критикъ, „чуждый ложнаго стыда“, не побоялся чистосердечно признаться, что не могъ раньше выполнить передъ читателями обѣщанія дать подробный разборъ сочиненій Пушкина *„вслѣдствіе сознанія неясности и неопредѣленности собственнаго понятія о значеніи этого поэта.“*

Но и помимо авторскаго сознанія очевидно, что до 43 года пониманіе Бѣлинскимъ духа пушкинской поэзіи отличалось полною неопредѣленностью. Мы должны поэтому съ особеннымъ вниманіемъ отнестись къ его большому (последнему по времени) изслѣдованію, гдѣ, какъ самъ онъ, повидимому, думалъ, ему удалось, наконецъ, вполне выяснитъ себѣ и другимъ характеръ и фязіономію Пушкина, какъ поэта. И не потому только мы должны сдѣлать это, что Бѣлинскій считается величайшимъ изъ нашихъ критиковъ (вѣдь и величайшіе мыслители не свободны бываютъ отъ ошибокъ), а потому, главнымъ образомъ, что эти статьи его играли руководящую роль во всей послѣдующей литературѣ о Пушкинѣ, да и до сихъ поръ считаются лучшимъ изъ всего, что было когда-либо написано о великомъ поэтѣ. Писаревъ, взявшійся 20 лѣтъ спустя сокрушить величіе Пушкина, имѣлъ въ виду, главнымъ образомъ, характеристику его, сдѣланную Бѣлинскимъ; Дружининъ, Добролюбовъ, Чернышевскій, Тургеневъ, всѣ послѣдующіе критики Пушкина, за исключеніемъ, быть можетъ, одного Достоевскаго да г. Мережковскаго (мечтавшихъ быть оригинальными), всѣ брали за исходную точку тѣ же знаменитыя статьи, и если расходились съ ними, то развѣ только въ частностяхъ. Статьи Бѣлинскаго имѣютъ, такимъ образомъ, историческое значеніе...

Выскажемъ теперь же нашу мысль. Никто изъ русскихъ критиковъ такъ не любилъ Пушкина, какъ Бѣлинскій, никто не потратилъ столько таланта и душевныхъ силъ, въ разные періоды

жизни пытаюсь дать вѣрную и глубокую оцѣнку любимаго поэта; и тѣмъ не менѣе, по какой-то странной ироніи судьбы, именно на Пушкинѣ, а не на какомъ другомъ писателѣ, всегда вѣрный критическій даръ измѣнилъ великому критику, и до конца дней ему такъ и не удалось вполне разгадать сущность его поэзіи. Въ статьяхъ Бѣлинскаго, разумѣется, есть превосходныя подробности, отдѣльныя въ высшей степени тонкія замѣчанія; что инстинктомъ онъ понималъ Пушкина глубоко-вѣрно, это доказывается многими мѣстами его сочиненія, вырвавшимися прямо изъ сердца, въ порывѣ вдохновенія, и нуждавшимся въ одномъ только, чтобы авторъ сдѣлалъ ихъ центральной, исходной точкой изслѣдованія. Но Бѣлинскій почему-то не сдѣлалъ этого, и брошенные вскользь блестящія мысли остались чѣмъ-то вродѣ попутной пристройки къ другому зданію, обширному, роскошному, но возведенному въ ложномъ, искусственномъ стилѣ...

Мы прежде всего и обратимся къ тому, что въ статьяхъ Бѣлинскаго кажется намъ замѣчательно глубокимъ и оригинальнымъ и что, будучи мало развито и обосновано, проходитъ обыкновенно для большинства читателей почти незамѣченнымъ. Вотъ что пишетъ онъ въ гл. V о лирическихъ произведеніяхъ Пушкина:

Чувство, лежащее въ ихъ основаніи, всегда такъ тихо и кротко, не смотря на его глубину, и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ человѣчно, *чужданно* (курсивъ самого Бѣлинскаго)! Общій колоритъ поэзіи Пушкина и въ особенности лирической — внутренняя красота человѣка и дѣлющая душу гуманность. (Къ этому прибавимъ, что если всякое человеческое чувство уже прекрасно потому самому, что оно человеческое (а не животное), то у Пушкина всякое чувство еще прекрасно, какъ *чувство изящное* (курсивъ опять Бѣлинскаго). Мы здѣсь разумѣемъ не поэтическую только форму, которая у Пушкина всегда въ высшей степени прекрасна: это не просто чувство человѣка, но чувство человѣка-художника, человѣка-артиста. Есть всегда что-то особенно благородное, кроткое, нѣжное, благоуханное и граціозное во всякомъ чувствѣ Пушкина. Въ этомъ отношеніи, читая его творенія, можно превосходнымъ образомъ воспитать въ себѣ человѣка, и такое чтеніе особенно полезно для молодыхъ людей обоаго пола.

Именно эта идея, по нашему мнѣнію, и должна лечь въ основаніе всякаго серьезнаго изслѣдованія о Пушкинѣ; идею эту Бѣлинскому слѣдовало наивозможно полнѣе развить и обосновать, а онъ, къ сожалѣнію, посвятилъ ей всего нѣсколько строкъ. И мало того: для доказательства ея онъ не находитъ ничего лучшаго, какъ выписать стихотвореніе: „Ты вянешь и молчишь“, и затѣмъ воскликнуть: „Это сама прелесть, сама грація, полная

души и нѣжности, страстная и плѣнительная, выражаясь любимымъ эпитетомъ Пушкина! — Совершенно вѣрно, но... вѣдь это ужъ изъ другой оперы. Прекрасная и плодотворная мысль о гуманности, о воспитательномъ значеніи Пушкина, такъ мало разъясненная и доказанная, начинается мало-по-малу расплываться и исчезать въ сознаниіи читателя; да и самъ критикъ какъ бы забывается уже о ней и опять начинается стучаться въ пустое мѣсто, восторгаясь чисто-художественной стороной Пушкина...

На пространствахъ нѣсколькихъ сотъ страницъ Бѣлинскій всего лишь раза три-четыре возвращается далѣе къ отмѣченной нами мысли, каждый разъ посвящая ей не болѣе нѣсколькихъ строкъ. Такъ, по поводу стихотвореній — „Когда твои младыя лѣта“ и „Брожу ли я“ онъ замѣчаетъ, что чувство гуманности доходитъ въ нихъ до какого-то внутренняго просвѣтленія; въ „Бахчисарайскомъ фонтанѣ“ находитъ великую и глубокую мысль (съ которою, однако, молодой поэтъ, будто бы, не справился) — перерожденіе дикой души черезъ высокое чувство любви; въ „Галубѣ“, по его мнѣнію, глубоко-гуманная мысль выражена въ образахъ столько же отчетливо-вѣрныхъ, сколько и поэтическихъ, — трагическая коллизія между отцомъ и сыномъ, т. е. между обществомъ и *человѣкомъ*; наконецъ, „Каменный гость“ (вспомните, читатель, отзывъ Шевырева) показываетъ, что оскорбленіе не условной, но истинно-нравственной идеи всегда влечетъ за собою наказаніе, разумѣется, нравственное же... Отмѣтимъ еще нѣсколько прекрасныхъ заключительныхъ строкъ:

Къ особеннымъ свойствамъ его (Пушкина) поэзіи принадлежитъ ея способность развивать въ людяхъ чувство изящнаго и чувство *гуманности* (курсивъ Б.), разумѣя подъ этимъ словомъ безконечное уваженіе къ достоинству чловѣка, какъ чловѣка. Не смотря на генеалогическіе свои предразсудки, Пушкинъ по самой натурѣ былъ существомъ любящимъ, симпатичнымъ, готовымъ отъ полноты сердца протянуть руку каждому, кто казался ему «человѣкомъ». Не смотря на его пылкость, способную доходить до крайности, при характерѣ сильномъ и мощномъ, въ немъ было много дѣтски-кроткаго, мягкаго и нѣжнаго. И все это отразилось въ его изящныхъ созданіяхъ. Придетъ время, когда онъ будетъ въ Россіи поэтомъ классическимъ, по твореніямъ котораго будутъ образовывать и развивать не только эстетическое, но и нравственное чувство.

Обращаемъ вниманіе читателей на подчеркнутое нами начало этой тирады: гуманность пушкинской поэзіи, въ конечномъ выводѣ статей Бѣлинскаго, признается лишь *однимъ изъ особенныхъ*

свойствъ, а не основнымъ элементомъ, не душою этой поэзіи. Отсюда становится понятнымъ, почему Бѣлинскій такъ мало удѣлилъ мѣста развитію своей идеи о гуманномъ значеніи пушкинской музыки: въ его глазахъ это была лишь частность, любопытная и симпатичная подробность, и главные усилія своего анализа онъ считалъ нужнымъ направить на опредѣленіе *пушкинскаго пафоса*, который видѣлъ совѣтъ въ другомъ. И вотъ огромное сочиненіе, въ 300 страницъ объемомъ, посвящается этому другому, „одному же изъ особенныхъ свойствъ“, которое мы, съ своей стороны, считаемъ дѣйствительнымъ пафосомъ пушкинской поэзіи, удѣляется всего нѣсколько строкъ, почти цѣликомъ нами выписанныхъ, мало обоснованныхъ и потому мало поразившихъ читателя, почти не оказавшихъ вліянія на послѣдующую критику. Мудрено ли, что Писаревъ отказывался впослѣдствіи повѣрить на слово Бѣлинскому, также какъ и самому Пушкину, утверждавшему въ „Памятникѣ“, что „чувства добрыя“ онъ лирой пробуждалъ...

Но въ чемъ же видитъ Бѣлинскій „пафосъ“ поэзіи Пушкина? Въ чемъ заключается эта центральная идея его изслѣдованія?

Въ Гомерѣ,—говоритъ онъ,—насъ всего болѣе поражаетъ разлитое въ его поэзіи древне-эллинское міросозерцаніе; въ Шекспирѣ прежде всего виденъ глубокій сердцевѣдецъ; въ Байронѣ—колоссальная личность поэта, его титаническая смѣлость, гордость мыслей и чувствъ; Шиллеръ—трибунъ правъ человѣчества, страстный поклонникъ всего прекраснаго и высокаго; Гете—могучій властелинъ внутренняго міра души человѣческой; нашъ Пушкинъ... Да, что же такое представляетъ нашъ Пушкинъ?

Въ Пушкинѣ,—заявляетъ Бѣлинскій,—вы прежде всего увидите художника, вооруженнаго всѣми чарами поэзіи, призваннаго для искусства, какъ для искусства, исполненнаго любви и интереса ко всему эстетически-прекрасному, любящаго все (?) и потому терпимаго ко всему. Отсюда всѣ достоинства, всѣ недостатки его поэзіи, и если вы будете разсматривать его съ этой точки зрѣнія, то съ удвоенной полнотою насладитесь его достоинствами и оправдаете его недостатки, какъ необходимое слѣдствіе, какъ оборотную сторону его же достоинствъ...

Съ этой точки зрѣнія и разсматриваетъ Бѣлинскій Пушкина. Слѣдуя его великому авторитету, вотъ уже болѣе полувѣка и

всѣ мы глядимъ на Пушкина такимъ именно образомъ; цѣлыя поколѣнія юношества воспитывались и, вѣроятно, долгое еще время будутъ воспитываться въ такомъ взглядѣ на величайшаго изъ русскихъ поэтовъ. Мы всѣ настолько привыкли къ этому взгляду, что онъ уже не представляется намъ страннымъ *). А между тѣмъ, стоитъ только на минуту отрѣшиться отъ полувѣкового гипноза, какъ невольно встанетъ вопросъ: что же это за удивительное опредѣленіе поэта? Художникъ, вооруженный всѣми чарами поэзіи... Но развѣ Шекспиръ, Байронъ, Гете не были, въ свою очередь, величайшими художниками, чародѣями поэзіи? Неужели же Бѣлинскій хочетъ сказать, что у тѣхъ великихъ виртуозовъ художественной формы послѣдняя стояла на второмъ планѣ, являясь лишь средствомъ выраженія извѣстнаго идейнаго содержанія,—у нашего же Пушкина прекрасная форма составляетъ *все*, кромѣ нея у него нѣтъ никакого своего, пушкинскаго содержанія? Выходитъ — похоже на то: Бѣлинскій называетъ Пушкина „исключительно“ художникомъ и утверждаетъ, что такимъ онъ и долженъ былъ явиться по самому ходу нашего литературнаго развитія. Однако, чуткій умъ Бѣлинскаго не могъ, повидимому, не видѣть самъ, что въ опредѣленіи этомъ не все обстоитъ благополучно, что есть въ немъ какая-то странность, и критикъ пытается смягчить эту странность разнаго рода оговорками и ограниченіями. Пушкинъ оказывается, далѣе, уже не *исключительно* художникомъ, а только художникомъ *по преимуществу*, т. е. поэтомъ прежде всего формы и лишь потомъ—содержанія. Къ сожалѣнію, нельзя сказать, чтобы и это ограниченіе вносило въ дѣло особенную ясность. Если идейное содержаніе, хотя и въ болѣе скромныхъ размѣрахъ, чѣмъ у другихъ европейскихъ поэтовъ, оказывается, было всетаки у Пушкина, то на него-то, думается намъ, Бѣлинскій и долженъ былъ обратить главное вниманіе своего критическаго анализа, въ немъ-то, а отнюдь не во внѣшней формѣ (какъ бы ни была эта послѣдняя прекрасна) и долженъ былъ отыскивать пагосъ пушкинской поэзіи. Бѣлинскій не сдѣлалъ этого. Разъ ступивъ на зыбкую почву схоластическихъ опредѣленій старой риторической школы, онъ неизбежно долженъ былъ впасть въ противорѣчіе съ самимъ собою. Съ одной стороны, онъ признаетъ за произведеніями Пуш-

*) Изъ всѣхъ послѣдующихъ критиковъ одинъ только Писаревъ отмѣтилъ эту странность.

кина великое воспитательное и гуманизирующее значеніе, а съ другой, зачисляя поэта въ ряды служителей искусства для искусства, отнимаетъ у него всякое иное значеніе, кромѣ чисто историческаго, и пишетъ:

«Назначеніе его было завоевать, усвоить навсегда русской землѣ поэзію, какъ искусство, такъ, чтобы русская поэзія имѣла *потомъ* возможность быть выраженіемъ всякаго направленія, не боясь перестать быть поэзіею и перейти въ рифмованную прозу; естественно, что Пушкинъ долженъ былъ явиться исключительно художникомъ». И въ другомъ мѣстѣ еще яснѣе: «Пушкинъ принадлежитъ къ той школѣ искусства, которой пора уже миновала совершенно въ Европѣ, и которая даже у насъ не можетъ (больше) произвести ни одного великаго поэта. Духъ анализа, неукротимое стремленіе изслѣдованія, страстное, полное вражды и любви мышленіе сдѣлались теперь жизнію всякой истинной поэзіи. Вотъ въ чемъ время опередило поэзію Пушкина и большую часть его произведеній лишило того животрепещущаго интереса, который возможенъ только какъ удовлетворительный отвѣтъ на тревожные, болѣзненные вопросы настоящаго».

Двойственность отношенія Бѣлинскаго къ Пушкину обнаруживается, между прочимъ, въ его разсужденіяхъ по поводу стихотворенія „Чернь“. Съ одной стороны, критикъ усматриваетъ здѣсь *profession de foi* Пушкина, какъ поэта-художника исключительно, и признаетъ законность и даже „благородство“ его негодованія на чернь, на тѣхъ „жалкихъ и смѣшныхъ глупцовъ“, которые въ самомъ вдохновенномъ произведеніи не видятъ поэзіи, если не находятъ въ немъ общихъ нравоучительныхъ мѣстъ“; а съ другой стороны, онъ не прочь и самому поэту прочесть нотацію за его презрѣніе къ черни-народу, указывая ему, что съ этимъ презрѣніемъ онъ рискуетъ остаться единственнымъ читателемъ своихъ произведеній...

Повторяемъ, Бѣлинскій и самъ, повидимому, чувствовалъ противорѣчивость и туманность своихъ опредѣленій. По крайней мѣрѣ, въ написанной нѣсколько позже рецензіи о поэзіи Лермонтова онъ еще разъ возвращается къ Пушкину и, повторивъ прежнія свои утвержденія, что онъ былъ „художникъ по преимуществу“, что его назначеніемъ было осуществить на Руси идею поэзіи, какъ искусства, считаетъ нужнымъ прибавить: „Этотъ дивный человѣкъ былъ художникомъ не только въ стихѣ своемъ, но и въ своемъ чувствѣ. Есть люди, у которыхъ самыя возвышенныя, самыя благородныя чувства имѣютъ въ себѣ что то тяжелое, грубое.—Преобладающій характеръ чувства Пушкина—

художественная красота, виртуозность, если можно такъ выразиться, при гибкости и силѣ. Чувство Пушкина изящно само по себѣ, взятое отдѣльно отъ его выраженія; и выраженіе его, по одному уже этому, не могло не быть изящно. Такимъ образомъ, раньше Бѣлинскій говорилъ лишь о красотѣ чувствъ пушкинской поэзіи; теперь онъ считаетъ уже нужнымъ говорить о красотѣ его чувствъ, какъ *человѣка*, независимо отъ ихъ выраженія въ поэзіи. Но Бѣлинскому слѣдовало бы при этомъ доказать, что чувства другихъ великихъ поэтовъ, — Гете, Байрона, Шиллера — не отличались художественной красотой при гибкости и силѣ, а имѣли въ себѣ что-то тяжелое и грубое...

Надѣмся, что теперь вполне выяснилась читателямъ основная ошибка Бѣлинскаго. Въ его статьяхъ превосходно отмѣчена органическая связь поэзіи Пушкина съ предшествующей и послѣдующей литературой, доказана ея историческая необходимость и выяснено историческое значеніе; но анализировать такъ же хорошо *внутреннюю* красоту и силу пушкинской поэзіи (взятой независимо отъ ея мѣста въ исторіи литературы), Бѣлинскій, къ сожалѣнію, не сумѣлъ. Взглядъ его на Пушкина, какъ на поэта, и по существу своему представляется намъ невѣрнымъ.

Такъ какъ поэзія Пушкина, — говоритъ онъ, — вся заключается преимущественно въ поэтическомъ созерцаніи міра, и такъ какъ она *безусловно признаетъ его настоящее положеніе, если не всегда утѣшительнымъ, то всегда необходимо-разумнымъ* (курсивъ нашъ), — поэтому она отличается характеромъ болѣе созерцательнымъ, нежели рефлектирующимъ. Муза Пушкина умѣетъ глубоко страдать отъ диссонансовъ и противорѣчій жизни; но она смотритъ на нихъ съ какимъ-то самоотрицаніемъ (*resignation*), какъ бы признавая ихъ роковую неизбежность и не нося въ душѣ своей идеала *лучшей дѣйствительности и въры въ возможность ея осуществленія* (курсивъ опять нашъ).

Этотъ несправедливый, по нашему мнѣнію, взглядъ на Пушкина можетъ быть объясненъ у Бѣлинскаго только тѣмъ, что, простившись около 1840 г. съ „философскимъ колпакомъ“ Гегеля, онъ находился теперь въ періодъ усиленнаго боевого настроенія, увлекался протестующей поэзіей Шиллера и Лермонтова, и Пушкинъ, въ силу естественной реакціи, казался ему черезчуръ мягкимъ и терпимымъ. Не желая, однако, произносить слишкомъ строгій приговоръ надъ любимымъ поэтомъ, критикъ искалъ смягчающихъ обстоятельствъ въ свойствахъ его исключительно-художественной натуры...

IV.

Въ серединѣ 50-хъ годовъ появилось извѣстное анненковское изданіе сочиненій Пушкина. Изданіе это для своего времени имѣло огромную цѣнность и значеніе: въ немъ впервые увидѣли свѣтъ многія изъ лучшихъ произведеній великаго поэта; другія явились значительно дополненными или исправленными по подлиннымъ рукописямъ.

Появленіе Пушкина въ этомъ обновленномъ видѣ было цѣлымъ событіемъ для тогдашней литературы, только что успѣвшей очнуться отъ мрачнаго кошмара, который давилъ ее въ первые годы шестого десятилѣтія, и присяжная критика такъ или иначе обязана была выразить о немъ свое мнѣніе. Мы имѣемъ, поэтому, отзывы о Пушкинѣ всѣхъ корифеевъ критики 50-хъ годовъ, Дружинина, Аполлона Григорьева, Чернышевскаго, Добролюбова.

Что касается перваго изъ нихъ, то это былъ настоящій дилетантъ искусства, отличавшійся довольно тонкимъ эстетическимъ вкусомъ и вмѣстѣ полной беззаботностью по части идей общественнаго и политическаго характера. Созданный тѣмъ литературнымъ безвременьемъ, которое водворилось у насъ послѣ смерти Бѣлинскаго и вообще событій 48 года, онъ скользя по поверхности самыхъ серьезныхъ вопросовъ, какъ ловкій танцоръ по паркету балльной залы; это былъ излюбленный писатель свѣтскихъ салоновъ, судившій обо всемъ по джентльменски, неглубоко и банально, но съ видомъ знатока и умѣя сохранять всегда видъ полной независимости и самостоятельности. Вполнѣ естественно, что этому салонному критику не по вкусу пришлось царившая въ то время „натуральная школа“ съ ея грубымъ и не прикрашеннымъ реализмомъ. Не рѣшаясь выступить противъ нея открыто, съ поднятымъ вверхъ забраломъ, Дружининъ всегда готовъ былъ напасть на нее изподтишка, кольнуть, нанести легкій ударъ, не доводя противника до бѣшенства и въ то же время показывая себя рыцаремъ безъ страха и упрека. Онъ и теперь не преминулъ, конечно, воспользоваться великимъ авторитетомъ Пушкина, чтобы подъ его флагомъ произвести вылазку противъ господствующаго въ литературѣ непріятнаго теченія. Съ легкой руки Бѣлинскаго, онъ, разумѣется, гля-

дѣлѣ на Пушкина, какъ на художника исключительно, какъ на вѣрнаго и примѣрнаго жреца искусства для искусства. Выпишемъ изъ его статьи слѣдующую характерную страницу:

Изучая прозу Пушкина, его «Онѣгина», гдѣ изображенъ всеневный бытъ нашъ, какъ городской, такъ и деревенскій, его стихотворенія, внушенные сельскими картинами, сельскимъ бытомъ, мы придемъ къ началу того противодѣйствія, той реакціи, которая такъ нужна въ текущей словесности. Что бы ни говорили пламенные поклонники Гоголя (и мы сами причисляемъ себя не къ холоднымъ его читателямъ), нельзя всей словесности жить на однихъ «Мертвыхъ душахъ», намъ нужна поэзія. Поэзіи мало въ послѣдователяхъ Гоголя, поэзіи нѣтъ въ излишне-реальномъ направленіи многихъ новѣйшихъ дѣятелей. Самое это направленіе не можетъ назваться натуральнымъ, ибо ученіе одной стороны жизни не есть еще натура. Скажемъ нашу мысль безъ обиняковъ: наша текущая словесность изнурена, ослаблена своимъ сатирическимъ направленіемъ. Противъ того сатирическаго направленія, къ которому привело насъ неумѣренное подражаніе Гоголю,—поэзія Пушкина можетъ служить лучшимъ орудіемъ. Очи наши проясняются, дыханіе становится свободнымъ: мы переносимся изъ одного міра въ другой, отъ искусственнаго освѣщенія къ простому дневному свѣту, который лучше всякаго яркаго освѣщенія, хотя и освѣщеніе, въ свое время, имѣетъ свою пріятность. Передъ нами тотъ же бытъ, тѣ же люди, но какъ это все глядитъ тихо, спокойно и радостно! Тамъ, гдѣ прежде по сторонамъ дороги видны были одни сѣренькія поля и всякая дрянь (!) въ томъ же родѣ, мы любуемся на деревенскія картины русской старины, на сохнуція и пестряющія долины, всей душой привѣтствуемъ первые дни весны или поэтическую ночь надъ рѣкою... —Зима, сезонъ отмороженныхъ носовъ и бѣдствій Акакія Акакіевича, для нашего пѣвца и его читателей несетъ съ собою прежнія свѣтлыя картины, мысль о которыхъ заставляетъ биться сердце наше. Мужичокъ съ триумфомъ несется по новому пути на дровняхъ... Буря мглою небо кроетъ... Но и въ дикомъ вѣтѣ зимней бури, съ мятелью, таится своя упоительная поэзія. Счастливы тотъ, кто можетъ отыскать эту поэзію, кто славить своимъ стихомъ зиму съ осенью и въ морозный день поздняго октября сидитъ у огня, воображеніемъ складывая вокругъ себя милыхъ друзей своего сердца... не помня зла въ жизни, прославляя одно благо! Таковъ Пушкинъ съ природой своего края,—и чей языкъ повернется на то, чтобъ обвинить его въ преувеличеніи, въ идилличности? Таковъ онъ и съ жизнью, которая, какъ мы знаемъ, несла ему не одиѣ радости; таковъ онъ съ людьми, часто его не понимавшими и наносившими его сердцу неотразимыя обиды.

На этой длинной, тошнотворно-слащавой выпискѣ можно, пожалуй, и покончить съ Дружининимъ: отъ такого поверхностно-скользящаго ума трудно ожидать какихъ-либо новыхъ, глубокихъ мыслей о поэзіи великаго поэта.

Аполлонъ Григорьевъ являлся представителемъ той группы нашихъ славянофиловъ, которая носила названіе „почвенниковъ“.

Искренній, увлекающійся идеалистъ, не лишенный поэтическаго таланта и отдѣльных счастливыхъ мыслей *), въ своихъ туманно-философскихъ трактатахъ онъ пытался создать какой-то особый видъ „органической“ критики, разрѣшавшейся въ безплодныхъ потугахъ обнять необъятное. Самъ поэтъ, Григорьевъ мечталъ сказать о боготворимомъ имъ Пушкинѣ нѣчто необычайное и неслыханное и началъ съ крикливыхъ возгласовъ о томъ, что всѣ критическія статьи объ этомъ поэтѣ, исключая одного Дружинина (sic!), обличили крайнее безсиліе нашей критики, что надъ Пушкинымъ надобно работать и работать, перевоспитываясь на немъ морально и эстетически (если—оговаривался Григорьевъ—до сихъ поръ мы воспитывались не на немъ, а на Некрасовѣ, Щедринѣ и др.). Начатый такъ громко походъ кончился, какъ и слѣдовало ожидать, самыми плачевными результатами. Никакого новаго слова Григорьевъ о Пушкинѣ не сказалъ, и все дѣло ограничилось разнаго рода парадоксами. Пушкинъ былъ чистымъ, возвышеннымъ и гармоническимъ эхомъ всего (!), все претворяя въ красоту и гармонию. Онъ боролся съ понятіемъ матеріальной полезности, идущимъ отъ общественныхъ теорій XVIII вѣка. Вопросъ о Пушкинѣ мало подвинулся къ своему разрѣшенію со временъ „Литерат. мечтаній“ Бѣлинскаго, а между тѣмъ безъ разрѣшенія этого вопроса мы не можемъ уразумѣть настоящаго положенія нашей литературы, потому что Пушкинъ—наше все, представитель всего нашего душевнаго, особеннаго, такого, что остается нашимъ душевнымъ, особеннымъ послѣ всѣхъ столкновеній съ другими мірами. Пушкинъ пока—единственный очеркъ нашей народной личности, самородокъ, принимавшій въ себя, при всевозможныхъ столкновеніяхъ съ другими особенностями и организмами, все то, что принять слѣдуетъ, отбрасывавшій все, что отбросить слѣдуетъ, полный и цѣльный, но еще не красками, но контурами набросанный образъ нашей народной сущности, образъ, который мы долго будемъ оттѣнять красками. Сфера душевныхъ сочувствій Пушкина не исключаетъ ничего, до него бывшаго, и ничего, что послѣ него было и будетъ правительнаго и органически нашего. Всѣ наши жилы бились въ натурѣ Пушкина, и литература наша развиваетъ только его задачи, въ особенности

*) Отмѣтимъ такую, напр., мысль: «Художникъ долженъ являться носителемъ свѣта и правды, высшимъ представителемъ нравственныхъ понятій своего народа и вѣка».

же типъ и взгляды... Бѣлкина. А Бѣлкинъ Пушкина есть не что иное, какъ простой здравый толкъ и здоровое чувство, кроткое и смиренное, вопиющее законно противъ злоупотребленій нами нашей широкой способности понимать и чувствовать (!). Начавши съ протеста, Пушкинъ кончаетъ „Капитанской дочкой“ и „Повѣстями Бѣлкина“ *), чисто-дѣйствительнымъ, нѣсколько даже низменнымъ воззрѣніемъ на жизнь, смиреніемъ передъ окружающею дѣйствительностью. „Я не знаю, да и знать не хочу, — добавляетъ Григорьевъ, — какіе принципы и какое ученіе сознавалъ Пушкинъ, а знаю, что для нашей русской натуры онъ все болѣе и болѣе будетъ становиться мѣркою принциповъ“. Какихъ же, всетаки, принциповъ и какою именно мѣркою? Такъ какъ критикъ выписываетъ затѣмъ извѣстный отрывокъ изъ „Путешествія Онегина“:

Смирились вы, моей весны
Высокопарныя мечтанья —

то выходитъ, повидимому, что идеаломъ нашимъ и принципомъ долженъ сдѣлаться „щей горшокъ, да самъ большой“... Хорошо, нечего сказать, идеалъ! Славянофильскій критикъ чисто-медвѣжьёю услугу оказываетъ своему любимому поэту, въ серьезъ навязывая ему убѣжденія, высказанныя, конечно, только въ шутку!

Прямой противоположностью Григорьеву былъ Чернышевскій, всегда простой и замѣчательно-ясный въ своихъ критическихъ изслѣдованіяхъ. Къ сожалѣнію, этотъ великій умъ лишенъ былъ, повидимому, непосредственнаго влеченія и любви къ поэзіи, и если онъ всетаки признаетъ огромное значеніе Пушкина, то, главнымъ образомъ, изъ вниманія къ историческимъ заслугамъ; что касается оцѣнки его поэзіи самой по себѣ, то Чернышевскій почти буквально повторяетъ взгляды Бѣлинскаго, авторитетность котораго въ вопросахъ художественности не думаетъ подвергать ни малѣйшему сомнѣнію. Но онъ отдѣляетъ при этомъ опредѣленія великаго критика отъ ихъ нѣсколько туманнаго покровъ и преподноситъ читателямъ въ такой математически-ясной формулировкѣ, отъ которой самъ Бѣлинскій, быть можетъ, отступилъ бы...

Пушкинъ не былъ поэтомъ какого-либо опредѣленнаго воззрѣнія на

*) Напомнимъ читателю, что повѣсти Бѣлкина написаны, въ дѣйствительности, за семь лѣтъ до смерти поэта.

жизнь, не былъ даже поэтомъ мысли вообще. Художественность составляетъ у него не одну оболочку, а зерно и оболочку вмѣстѣ. Его произведенія могущественно дѣйствовали на пробужденіе сочувствія къ поэзіи въ массѣ русскаго общества, они умножили въ десять разъ число людей, интересующихся литературою и черезъ то дѣлающихся способными къ воспріятію высшаго нравственнаго развитія. Великое дѣло свое — ввести въ русскую литературу поэзію, какъ прекрасную художественную форму, Пушкинъ совершилъ вполне, и, узнавъ поэзію, какъ форму, русское общество могло уже идти далѣе и искать въ этой формѣ содержаніе. Тогда началась для русской литературы новая эпоха, первыми представителями которой были Лермонтовъ и, въ особенности, Гоголь...

Что же остается, такимъ образомъ, отъ Пушкина, кромѣ его чисто-историческаго значенія? Изъ уваженія къ авторитету Бѣлинскаго, Чернышевскій не рѣшается прямо отвѣтить на этотъ вопросъ: „очень мало“ — и дѣлаетъ, въ заключеніе, такую, мало обоснованную, оговорку: „Художническій гений Пушкина былъ такъ великъ и прекрасенъ, что хотя эпоха *безусловнаго удовлетворенія чистой формой* для насъ миновала, мы доселѣ не можемъ не увлекаться дивною художественною красотою его созданій. Онъ истинный отецъ нашей поэзіи, онъ воспитатель эстетическаго чувства и любви къ благороднымъ эстетическимъ наслажденіямъ въ русской публикѣ, масса которой чрезвычайно значительно увеличилась, благодаря ему, — вотъ его право на вѣчную славу въ русской литературѣ“.

Замѣчательно, однако, въ устахъ Чернышевскаго признаніе огромныхъ мыслительныхъ способностей Пушкина и высокаго по своему времени образованія. Его вліяніе на развитіе современниковъ онъ называетъ необычайнымъ. И да будетъ же безсмертна, — патетически заключаетъ критикъ, — память людей, которые служатъ музамъ и разуму такъ, какъ служилъ Пушкинъ!

Добролюбовъ писалъ о Пушкинѣ три года спустя послѣ Чернышевскаго, когда закончилось печатаньемъ анненковское изданіе.

Русскіе, любившіе Пушкина, какъ честь своей родины, какъ одного изъ вождей ея просвѣщенія, — такъ начинается рецензія молодого критика, — давно уже пламенно желали новаго изданія его сочиненій, достойныхъ его памяти. Хотя Добролюбовъ несомнѣнно, и себя самого причисляетъ къ тѣмъ, кто глядѣлъ на Пушкина, какъ на честь своей родины, однако, нельзя сказать, чтобы статьи его, посвященныя (цѣликомъ или отчасти) пушкин-

ской поэзіи, отличались тѣмъ же энтузіазмомъ, какъ статьи Бѣлинскаго; намъ кажется даже, что отзывы Чернышевскаго несравненно теплѣе... Добролюбовъ Пушкинъ интересуется лишь постольку, поскольку въ сочиненіяхъ его затрагиваются вопросы общественности и отражается интересъ къ родному народу. Остановившая особенное вниманіе читателей на послѣднемъ періодѣ дѣятельности поэта, отмѣченномъ, повидимому, общественнымъ индифферентизмомъ, онъ подробно рассматриваетъ, между прочимъ, статью Пушкина (найденную въ его посмертныхъ бумагахъ) объ извѣстной книгѣ Радищева и доказываетъ, сбивчивость и противорѣчивость ея положеній. Задавшись ложной тенденціозной мыслью развѣнчать книгу, Пушкинъ, несмотря на живой и умный взглядъ въ частностяхъ, неизбѣжно долженъ былъ прибѣгать къ софизмамъ. Но была ли для него завѣдома ложность его идей? Направленіе, принятое Пушкинымъ въ послѣдніе годы, — говоритъ Добролюбовъ, — вовсе не исходило изъ естественной потребности души, а было лишь слѣдствіемъ слабости характера, не имѣвшаго внутренней опоры въ серьезныхъ, независимо развитыхъ убѣжденіяхъ, и потому скоро павшаго отъ утомленія въ борьбѣ съ вѣшними враждебными вліяніями. Оттого-то въ послѣдніе годы жизни мы видимъ въ немъ какое-то странное боленіе, двойственность, которую можно объяснить только тѣмъ, что, несмотря на желаніе успокоить въ себѣ сомнѣнія, проникнуться какъ можно полнѣе заданнымъ направленіемъ, все-таки онъ не могъ освободиться отъ живыхъ порывовъ молодости, отъ гордыхъ, независимыхъ стремленій прежнихъ лѣтъ.

Что касается великаго историческаго значенія Пушкина, то, по Добролюбову, оно заключается въ томъ, что Пушкинъ первый доказалъ у насъ возможность, не профанируя искусство, изображать дѣйствительность такъ, какъ она есть. Къ сожалѣнію, Пушкинъ не сразу сумѣлъ взяться за это дѣло, да когда и взялся, то далеко не въ совершенствѣ выполнилъ. Натурѣ неглубокой и увлекавшейся больше вѣшностью, Пушкину долго не давалась русская народность; прежде всего и лучше всего дались ему картины родной природы (тогда даже и это было въ диковинку). Но, блистательно овладѣвъ *формой* русской народности (природой, обрядами, обычаями, мѣткими народными словами), *содержаніемъ* ея Пушкинъ до конца не умѣлъ овладѣть. Поэту, желающему быть истинно-народнымъ, слѣдуетъ проникнуться на-

роднымъ духомъ, прожить жизнью родного народа, *стать вровень съ нимъ*, отбросить всѣ предразсудки сословій, книжнаго ученія и пр., почувствовать все тѣмъ простымъ чувствомъ, какимъ обладаетъ народъ: Пушкину этого не доставало!

Это разсужденіе Добролюбова цѣликомъ переноситъ насъ въ ту позднѣйшую эпоху, когда народъ и народные интересы сдѣлались альфой и омегой стремленій, мечтаній, чаяній и надеждъ всей лучшей части литературы и общества, и понятно, что съ этой страстной влюбленностью въ народъ, съ этой фанатической жаждой стать *вровень съ народомъ*, Добролюбовъ, даже и признавая великую историческую заслугу Пушкина, любить его, какъ поэта, не могъ. Пушкинъ, по его мнѣнію, тяготился пустотой и пошлостью окружающей жизни лишь такъ, какъ тяготился ими Онегинъ, съ какимъ-то безсильнымъ отчаяніемъ. Его силъ не хватало на серьезное обличеніе этой жизни, потому что внутри его не было идеи, во имя которой можно бы было предпринять обличеніе. Время требовало новыхъ людей, свѣжихъ и бодрыхъ, и вотъ явился Гоголь. Съ его приходомъ пѣсня Пушкина была окончательно спѣта, и смерть (приводитъ Добролюбовъ жесткія слова Милюкова) только избавила его отъ печальной необходимости увидѣть себя живымъ мертвецомъ посреди того общества, которое прежде рукоплескало каждому его слову...

Таковъ строгій и, конечно, несправедливый приговоръ Добролюбова. Суровый публицистъ 60-хъ годовъ находитъ для Пушкина только одно смягчающее обстоятельство — въ видѣ недостатка прочнаго и глубокаго образованія. Недостатокъ этотъ (какъ будто его не было, даже еще въ большей степени, у Гоголя!) препятствовалъ, по его словамъ, Пушкину сознать прямо и ясно, къ чему надо стремиться, чего искать, во имя чего приступить къ рѣшенію общественныхъ вопросовъ.

При всей жесткости подобнаго отзыва, нельзя все же не замѣтить, что Добролюбовъ признавалъ за нашимъ поэтомъ не одну красивую форму, но и значительное идейное содержаніе, позволившее ему въ теченіе нѣкотораго періода идти впереди своего вѣка, и въ этомъ отношеніи добролюбовская критика должна быть поставлена выше критики Чернышевскаго. Ошибка Добролюбова заключалась лишь въ томъ, что онъ хотѣлъ приложить къ Пушкину мѣрку обыкновенныхъ общественныхъ дѣятелей,

тогда какъ суду его подлежалъ поэтъ высшаго порядка, не временнаго только, а вѣковаго значенія.

Семь лѣтъ спустя (1865 г.) появились въ „Русскомъ Словѣ“ знаменитыя статьи Писарева о Пушкинѣ. Это было время, когда общественное движеніе, начавшееся при Чернышевскомъ и Добролюбовѣ, уже понесло не одну жестокую утрату въ борьбѣ съ реакціей и, какъ большая рѣка, встрѣтившая на пути неодолимыя преграды, разбилось на нѣсколько самостоятельныхъ руслъ. Однимъ изъ такихъ частныхъ, но наиболѣе шумныхъ потоковъ была писаревская критика съ ея проповѣдью освобожденія личности путемъ изученія естественныхъ наукъ и выработке трезвыхъ реальныхъ взглядовъ. Было бы, однако, грубой ошибкой думать, что „писаревщина“ вела современную молодежь къ общественному индифферентизму: измѣнялась лишь боевая тактика, общій же вѣкъ 60-мъ годамъ идеалъ народнаго и общественнаго блага ни на минуту не терялся изъ виду. Такой, по крайней мѣрѣ, внутренний смыслъ имѣла широкая популярность писаревскихъ идей.

Само собой разумѣется, что это страстное, полное всякой злободневности время меньше всего склонно было къ увлеченію „чистой поэзіей“, „искусствомъ для искусства“, „художествомъ по преимуществу“, какъ опредѣлила поэзію Пушкина предшествующая критика. Провѣрить за-ново установившееся опредѣленіе, съ любовью перечитать и переизучить Пушкина ни у кого не находилось ни досуга, ни охоты; да и откуда, въ самомъ дѣлѣ, взялась бы такая охота? Сознательной любви къ Пушкину, какъ мы видѣли, не могли внушить подрастающимъ поколѣніямъ ни Вѣлинскій, ни Дружининъ съ Григорьевымъ, ни Чернышевскій съ Добролюбовымъ. Слава Пушкина все болѣе и болѣе принимала сухой, казенно-оффиціальныя характеръ, и основательное знакомство съ его произведеніями оставалось только у образованныхъ людей отживающаго поколѣнія; молодежь, въ большинствѣ случаевъ, знала его лишь по неудачнымъ школьнымъ образцамъ, вродѣ стихотвореній „Чернь“ или „Клеветникамъ Россіи“, и немудрено, что, напр., тургеневскій Базаровъ приписывалъ Пушкину не существующіе воинственные стихи: „На бой, на бой за честь Россіи!“ Такимъ образомъ, статьи Писарева явились лишь преувеличенно-рѣзкимъ выраженіе того общаго равнодушія, которымъ давно уже пользова-

лась поэзія Пушкина. Равнодушіе это было до того велико, что нельзя даже сказать, чтобы писаревскія статьи вызвали слишкомъ большой шумъ въ литературѣ: немного чисто-формальнаго негодованія, немного двусмысленнаго хихиканья — и нигдѣ настоящаго отпора, отвѣта по существу. Такого отвѣта не послѣдовало и въ позднѣйшіе годы. Прочно установившаяся за Писаревымъ репутація литературнаго *enfant terrible* давала „солидную“ части критики отличный предлогъ замалчивать его разрушительные походы; а между тѣмъ, не говоря ужъ о томъ, что, оставленные безъ всякаго отпора, статьи Писарева приобрѣтали въ глазахъ молодежи славу неуязвимости, — надо говорить правду — въ нихъ было много и дѣльных замѣчаній, указаній на слабыя стороны взглядовъ Бѣлинскаго на Пушкина. Къ сожалѣнію, одного имени Писарева было достаточно, чтобы „солидная“ критика не придавала значенія ни одному его слову; и, наоборотъ, молодежь принимала на вѣру каждое слово его поверхностныхъ въ общемъ и легкомысленныхъ разсужденій. На слѣдовавшемъ за Писаревымъ литературномъ поколѣніи вліяніе его отразилось прежде всего тѣмъ, что оно почти уже совсѣмъ не интересовалось Пушкинымъ и ничего новаго не сказало о немъ вплоть до послѣднихъ дней (т. е. за тридцать слишкомъ лѣтъ!); не безъ писаревского вліянія явилось, быть можетъ, и то обстоятельство, что специально-стихотворная форма сдѣлалась такъ мало популярна въ русскомъ обществѣ...

То, что было бы небезполезнымъ тридцать лѣтъ назадъ, совершенно излишне въ настоящую минуту. Время сдѣлало свое дѣло, и хотя мы лично не видимъ, чтобы современная молодежь больше прежняго любила поэзію, не видимъ и того, чтобы Пушкинъ находилъ себѣ въ ней достойную оцѣнку, но все-таки думаемъ, что теперь даже и гимназисты въ состояніи понять, въ чемъ заключалась ошибка Писарева по отношенію къ великому поэту: не всѣ вопросы въ мірѣ можно рѣшать съ помощью остроумія, смѣлости и прямолинейной логики здраваго смысла... Полемизировать съ Писаревымъ заднимъ числомъ не приходится, тѣмъ болѣе, что это и не входитъ въ нашу задачу. Цѣль настоящаго очерка — прослѣдить въ литературѣ исторію развитія *правильнаго* пониманія пушкинской поэзіи, Писаревъ же глумится надъ всякой попыткой серьезнаго отношенія къ ней, онъ отрицаетъ за Пушкинымъ всякое даже историческое значеніе, при-

знаявая лишь заслугу усовершенствованія русскаго стиха (передъ чѣмъ Писаревъ не особенно склоненъ умиляться). Поэтому мы въ краткихъ лишь словахъ напомнимъ читателямъ подробности знаменитыхъ статей.

Начинаетъ Писаревъ съ разбора романа „Евгеній Онѣгинъ“. Если бы человѣческое брюхо, — говоритъ онъ, — не имѣло предѣловъ, то онѣгинская скука не могла бы существовать. Бѣлинскій любитъ Онѣгина по недоразумѣнью, но со стороны Пушкина тутъ нѣтъ никакихъ недоразумѣній. Онѣгинъ и самъ Пушкинъ — это одно и то же (!). Если движеніе общества впередъ должно состоять въ томъ, чтобы общество выясняло себѣ свои потребности, изучало и устраняло причины своихъ страданій, клеймило презрѣніемъ свои пороки, то „Евгеній Онѣгинъ“ не можетъ быть названъ ни первымъ, ни великимъ, ни, вообще, какимъ бы то ни было шагомъ впередъ въ умственной жизни нашего общества. Весь романъ — не что иное, какъ яркій и блестящій апофеозъ самаго безсмысленнаго *status quo*. Если вѣрить поэту, то даже крѣпостное право доставляло весьма много пользы и удовольствія какъ помѣщикамъ, такъ и мужикамъ... Чтобы нарисовать дѣйствительно-историческую картину, надо быть не только внимательнымъ наблюдателемъ мелочей, но еще, кромѣ того, и замѣчательнымъ мыслителемъ; надо изъ окружающей васъ пестроты лицъ, мыслей, словъ, радостей, огорченій, глупостей и подлостей выбрать именно то, что сосредоточиваетъ въ себѣ весь смыслъ данной эпохи, что накладываетъ свою печать на всю массу второстепенныхъ явленій. Такую громадную задачу на самомъ дѣлѣ выполнилъ для Россіи 20-хъ годовъ Грибоѣдовъ; что же касается Пушкина, то онъ даже и близко не подошелъ къ этой задачѣ.

Переходя, во второй статьѣ, къ лирикѣ Пушкина, Писаревъ прежде всего останавливается на опредѣленіи Бѣлинскимъ „поэта по натурѣ“ и высказываетъ знаменитое мнѣніе, что поэтомъ можно такъ же сдѣлаться, какъ и всякимъ другимъ специалистомъ на поприщѣ умственныхъ занятій. Если талантъ поэта заключается въ придумываньи мыслей и втискиваньи ихъ въ словесную форму, то, стало быть (?), всякій, кто умѣетъ *хорошо* придумать и *хорошо* втиснуть, можетъ сдѣлаться замѣчательнымъ поэтомъ. Остроумный критикъ какъ бы и не замѣчаетъ этого маленькаго словечка „хорошо“, въ которомъ и заключается весь

секретъ поэзіи. Порѣшивъ такимъ образомъ съ поэтами вообще, Писаревъ переходитъ къ Пушкину. Здѣсь онъ, дѣйствительно, съ большимъ искусствомъ отмѣчаетъ и разбиваетъ слабые пункты опредѣленія „паеоса“ Пушкина, даннаго Бѣлинскимъ, и затѣмъ, съ меньшимъ искусствомъ, пользуется своей побѣдой надъ критикомъ и для того, чтобы высмѣять и уничтожить поэта. Силлогизмъ Писарева очень простъ: взгляды Бѣлинскаго на Пушкина таковы-то и таковы-то. Этотъ взглядъ нелѣпъ потому-то и потому-то. Слѣдовательно, нелѣпъ и Пушкинъ со всей его хвалебной поэзіей.

Въ результатѣ, Пушкинъ оказывается истертымъ въ мелкій порошокъ! Если повѣрить ему, то поэты рождаются на свѣтъ для того, чтобы никогда ни о чемъ не думать и говорить исключительно о томъ, что не требуетъ ни малѣйшаго усилія мысли. Поэтъ отказывается отъ тѣхъ битвъ, которыя требуютъ умственнаго труда, и охотно кидается въ битвы, въ которыхъ не нужно ничего, кромѣ безсмысленнаго рифмованнаго крика. Но любопытно,—продолжаетъ Писаревъ,—что въ основаніе своего нерукотворнаго памятника Пушкинъ кладетъ резоны, цѣликомъ заимствованные изъ осмѣяннаго и оплеваннаго имъ міросозерпанія „тупой черни“. Когда поэту приходится предъавлять свои права на безсмертіе, тогда онъ по-неволѣ принужденъ заговорить серьезнымъ языкомъ мыслящаго реалиста (Пушкинъ оказывается слѣдовательно, способнымъ на это?!). Но уже поздно. Общество его спроситъ: какія же добрыя чувства вы пробуждали? Привязанность къ друзьямъ и товарищамъ дѣтства? Но развѣ же эти чувства нуждаются въ пробужденіи? Развѣ есть люди, неспособные любить своихъ друзей? Или любовь къ красивымъ женщинамъ? Къ хорошему шампанскому? Презрѣніе къ полезному труду, уваженіе къ благородной праздности? Равнодушіе къ общественнымъ интересамъ? Неподвижность мысли во всѣхъ основныхъ вопросахъ міровоззрѣнія?

Въ заключеніе, Писаревъ высказываетъ увѣренность, что въ „такъ называемомъ“ великомъ поэтѣ онъ сумѣлъ показать читателямъ легкомысленнаго версификатора, опутаннаго мелкими предразсудками, погруженнаго въ созерцаніе мелкихъ личныхъ ощущеній и совершенно неспособнаго анализировать и понимать великіе общественные и философскіе вопросы вѣка...

V.

Огромный промежутокъ времени отъ статей Писарева до 1880 года, когда открытіе пушкинскаго памятника въ Москвѣ сопровождалось такимъ шумомъ рѣчей и литературныхъ споровъ, по справедливости слѣдуетъ назвать въ отношеніи къ Пушкину сплошной безплодной пустыней. Кажется, за всѣ эти годы можно отмѣтить, какъ заслуживающія нѣкотораго вниманія, только критическія замѣтки Страхова, появившіяся въ разныхъ изданіяхъ конца 60-хъ и начала 70-хъ годовъ. По мнѣнію консервативнаго критика, Пушкинъ до 37-лѣтняго возраста сумѣлъ ужиться съ русскимъ обществомъ, характерными свойствами котораго всегда были холодность и недоброжелательство. Онъ обязанъ былъ этимъ исключительно своему замѣчательному *душевному здоровью*, отразившемуся и въ его произведеніяхъ. Другой его особенностью была необыкновенная *красота душевныхъ чувствъ*, та самая красота, отъ которой зависѣло и зависить все обаяніе его поэзіи. Пушкинъ не воспѣлъ ни единого злого и извращеннаго движенія человѣческой души, и каждое чувство, имъ воспѣтое, имѣетъ неподобную мѣру красоты и здоровья. Поэтому Пушкина слѣдуетъ считать великимъ воспитателемъ своего народа; онъ заставлялъ звучать въ сердцахъ читателей наилучшія струны, какія только могли въ нихъ отзываться.

Замѣчаніе о душевномъ здоровьи, характеризующемъ поэзію Пушкина, кажется намъ и новымъ, и глубоко вѣрнымъ; но спрашивается: то лучшее, что пробуждаетъ въ насъ эта поэзія, заключается ли въ одномъ только здоровьи и красотѣ чувства? Бѣлинскій прибавлялъ къ этому еще слово *гуманность*, и хотя не развилъ, къ сожалѣнію, своей мысли, но однимъ этимъ словомъ, думается намъ, поставилъ вопросъ и шире, и правильнѣе. Страховъ тоже ограничился голословнымъ и бѣглымъ замѣчаніемъ о воспитательномъ значеніи Пушкина для народа.

Утвержденіе Тургенева на московскомъ празднествѣ 1880 года, будто общество русское и молодежь начинаютъ въ послѣднее время возвращаться къ пушкинскому культу и изученію произведеній Пушкина, прозвучало полной неожиданностью: до такой степени было далеко оно отъ истины! На самомъ дѣлѣ, Пушкина меньше чѣмъ когда-либо помнили и читали въ концѣ

семидесятихъ годовъ. Впрочемъ, что касается рѣчи Тургенева, то мы вообще должны сознаться, что, при всемъ искусствѣ внѣшней обработки, она кажется намъ не согрѣтой искреннимъ чувствомъ, полной всякихъ противорѣчій и странностей. Одна изъ такихъ странностей (двусмысленность отношенія знаменитаго романиста къ поэзіи Некрасова) была тогда же отмѣчена, на страницахъ „Отеч. Записокъ“, Н. К. Михайловскимъ. Съ одной стороны, Тургеневъ какъ-бы ‚распаркивается передъ музой мести и печали, называетъ ее поэзіей „дентробѣжной“, „отрипательной, какъ жизнь въ движеніи“, и признаетъ историческую законность временнаго увлеченія ею русской молодежи, а съ другой — въ сомнительномъ возвратѣ этой послѣдней къ „центральной поэзіи Пушкина“, „положительной, какъ жизнь на покой“, онъ видитъ радостный фактъ, знаменующій собою возвратъ къ поэзіи вообще. Выходитъ такъ, какъ будто некрасовская поэзія, только что удостоенная почтительнаго реверанса, собственно говоря, и не поэзія вовсе, а такъ себѣ—какая-то временная затычка... *).

О самомъ Пушкинѣ Тургеневъ тоже высказался безъ достаточной прямоты и ясности. Какъ и Бѣлинскій, онъ называетъ его первымъ русскимъ художникомъ-поэтомъ, причемъ даетъ ори-

*) Между прочимъ, въ якобы полномъ собраніи соч. И. С. Тургенева изданномъ въ 1898 году редакціей «Нивы», отсутствуетъ очень любопытное письмо Тургенева въ «С.-Петерб. Вѣдом.» (1870 г., 8 января) по поводу помѣщенной передъ тѣмъ въ «Отеч. Зап.» и очень раздражившей Тургенева статьи объ сго другѣ—поэтѣ Полонскомъ. Вотъ нѣсколько строкъ изъ этого письма: «...Что касается до критика «Отеч. Зап.», то ограничусь тѣмъ, что выражу ему одно мое убѣжденіе, надъ которымъ онъ, вѣроятно, вдоволь посмѣется. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что, въ его глазахъ патронъ его, г. Некрасовъ, неизмѣримо выше Полонскаго, что даже странно сопоставлять эти два имени, а я убѣжденъ, что любители русской словесности будутъ перечитывать лучшіе стихи Полонскаго, когда самое имя г. Некрасова покроется забвеніемъ. Почему же это? А просто потому, что въ дѣлѣ поэзіи живуча только одна поэзія, и что въ бѣлыхъ ниткахъ сшитыхъ, всякими пряностями приправленныхъ, мучительно высиженныхъ измышленіяхъ «скорбной» музы г. Некрасова ея-то, поэзія-то, и нѣтъ на грошъ, какъ нѣтъ ея, напр., въ стихахъ уважаемаго и почтеннаго А. С. Хомякова, съ которымъ,—спѣшу прибавить,—г. Некрасовъ не имѣетъ ничего общаго». Такимъ образомъ рѣчь, произнесенная въ 80 году, уже много позже извѣстнаго примиренія Тургенева съ Некрасовымъ и даже послѣ смерти послѣдняго, содержитъ въ себѣ явные слѣды стариннаго мнѣнія Тургенева о «музѣ мести и печали»: историческій смыслъ и значеніе она имѣетъ, но настоящей поэзіей все-же названа быть не можетъ!

гинальное опредѣленіе художества, какъ воплощенія идеаловъ, лежащихъ въ основѣ народной жизни и народнаго духа. Справедливо указавъ затѣмъ на бесплодность и неумѣстность попытокъ поддѣлываться подъ народный тонъ и отмѣтивъ тотъ фактъ, что ни одинъ изъ великихъ европейскихъ поэтовъ не читается, собственно, простонародьемъ, и что всякое искусство есть вершина, къ которой надо приблизиться, ораторъ дѣлаетъ выводъ, что истинныхъ народныхъ поэтовъ правильнѣе называть національными. Однако, на естественно возникающій отсюда вопросъ—національный ли (въ смыслѣ всемірности) поэтъ нашъ Пушкинъ, Тургеневъ прямо не отвѣчаетъ и, ни словомъ не упоминая больше о воплощенныхъ имъ народныхъ идеалахъ, распространяется лишь о прелести и простотѣ пушкинскаго языка, о прямотѣ и честности его ощущеній, „этой хорошей чертѣ всѣхъ хорошихъ русскихъ людей“ и т. д., и т. д. Пушкинъ не успѣлъ всего дѣлать, да и не могъ, къ тому же, избѣжать общей участи художниковъ-поэтовъ-начинателей. Въ обществѣ русскомъ возникли вскорѣ неожиданныя и вмѣстѣ вполне законныя стремленія, небывалыя и неотразимыя потребности; явились вопросы, на которые нельзя было не дать отвѣта... Не до поэзіи, не до художества стало тогда! Міросозерцаніе Пушкина показалось узкимъ, его горячее сочувствіе нашей, иногда официальной, славѣ—устарѣлымъ, его классическое чувство мѣры и гармоніи—холоднымъ анахронизмомъ. (Изъ бѣлораморнаго храма, гдѣ поэтъ являлся жрецомъ, люди пошли на шумныя торжища, гдѣ именно нужна метла... и метла нашлась.) Изъ дальнѣйшаго ясно, что Тургеневъ имѣетъ въ виду Некрасова и всю, вообще, натуральную школу.

Путанность мысли очевидная: при чемъ тутъ Пушкинъ и его общая „всѣмъ начинателямъ-художникамъ“ судьба, будто бы помѣшавшая ему сдѣлаться въ полномъ смыслѣ слова національнымъ и всемірнымъ поэтомъ? Послѣдняго Тургеневъ, впрочемъ, не утверждаетъ прямо: онъ „не дерзаетъ“ отнять у Пушкина этотъ титулъ, хотя, съ другой стороны, „не рѣшается“ и дать его.

Если ужъ такой крупный и умный писатель, какъ Тургеневъ, котораго всѣ считали прямымъ и чуть-ли не единственнымъ наслѣдникомъ пушкинской музыки, наговорилъ о Пушкинѣ и по его поводу столько пустяковъ, то чего же было ожидать отъ дру-

гихъ многочисленныхъ ораторовъ торжества? Большинство ихъ, по остроумному выраженію Гл. И. Успенскаго, точно привязанные веревкой къ великому имени Пушкина, крутились вокругъ него и на всѣ лады празднословили, ежесекундно повторяя это имя и увѣряя публику въ его гениальности, многосторонности, широтѣ, теплотѣ и прочихъ безчисленныхъ свойствахъ огромнаго дарованія; но никто, рѣшительно никто не счелъ нужнымъ объяснить „идеалы и заботы, волновавшія умную голову Пушкина, при помощи разнозначущихъ заботъ, присущихъ настоящей минутѣ“; въ концѣ концовъ еле-еле сумѣли объяснить значеніе Пушкина въ прошломъ, отдаливъ это значеніе въ глубь прошлаго, поставивъ внѣ послѣдующихъ и настоящихъ теченій русской жизни и мысли.

И вотъ, вышелъ, наконецъ, Достоевскій, произнесшій свою пресловутую рѣчь, ставшую тотчасъ же цѣлымъ событіемъ. Тотъ же Г. И. Успенскій, изобразивъ огромное впечатлѣніе произведенное этой рѣчью на всѣхъ присутствующихъ (въ томъ числѣ и на него самого), превосходно объяснилъ намъ, какое жестокое недоразумѣніе произошло при этомъ: публика аплодировала „всечеловѣку“ Достоевскаго, а на дѣлѣ этотъ всечеловѣкъ,—благодаря разнымъ искусно вставленнымъ словечкамъ, которыя въ живой рѣчи прошли мимо ушей слушателей,—былъ всего только... „всезайцемъ“! Публикѣ показалось, что Достоевскій симпатизируетъ „вѣчному скитальцу“, впервые затронутому въ литературѣ Пушкинымъ, и видитъ въ немъ всечеловѣческую черту русскаго духа, а на дѣлѣ Достоевскій осмѣивалъ этого скитальца, казнилъ и поучалъ: „Смирись, о гордый человѣкъ! Поработай со смиреніемъ на родной нивѣ“! Такимъ образомъ Достоевскій вполнѣ сознательно *укралъ* свой шумный успѣхъ, искусно поигравъ на струнахъ и нервахъ извѣстнаго общественнаго настроенія, къ которому, къ тому же, самъ относился, вообще, съ явной враждою... Конечно, у всѣхъ еще въ памяти, съ какой горькой и мѣткой ироніей нарисовалъ Успенскій фантастическую картину того, какъ на другой день послѣ торжества являлись къ Достоевскому съ выраженіемъ глубокой признательности и генералъ, мужъ пушкинской Татьяны, и его несчастная племянница, ушедшая на фельдшерскіе курсы, и Аксаковъ, и лохматый социалистъ и, наконецъ, сама Татьяна...

Оставимъ, однако, въ сторонѣ „злобу дня“, создавшую эфе-

мерный успѣхъ рѣчи Достоевскаго, и посмотримъ, что, собственно, новаго и оригинальнаго сказалъ онъ о Пушкинѣ и его поэзіи. Самъ Достоевскій резюмировалъ въ послѣдствіи въ „Дневникъ Писателя“ содержаніе своей рѣчи въ слѣдующихъ трехъ пунктахъ, которыхъ, для краткости, и мы станемъ придерживаться: 1) Изъ всѣхъ міровыхъ геніевъ Пушкинъ проявилъ наибольшую способность всемірной отзывчивости и полнѣйшаго перевоплощенія въ геніи чужихъ націй (Шекспиръ, напр., чужіе народы передѣлывалъ на англійскій ладъ). Способность эта, по мнѣнію Достоевскаго, есть способность всецѣло русская, національная, которую Пушкинъ дѣлитъ со всѣмъ народомъ нашимъ... Такъ, народъ русскій не изъ одного, будто бы, утилитаризма принялъ петровскія реформы, а „несомнѣнно уже ощутивъ своимъ предчувствіемъ, почти тотчасъ же, нѣкоторую дальнѣйшую, несравненно болѣе высшую цѣль“. Слѣдовательно, и назначеніе русскаго человека, безспорно, всеевропейское, всемірное... Положеніе и выводъ вполне въ духѣ Достоевскаго: не спрашивайте у нихъ ни логики, ни, тѣмъ болѣе, фактовъ. Какое дѣло Достоевскому до того, что народъ русскій принялъ петровскія реформы изъ простаго повиновенія, не думая ни объ утилитаризмѣ, ни о предчувствіяхъ? Его дѣло—проникать за предѣлы вещей, угадывать и пророчествовать. Стать настоящимъ русскимъ, стать вполне русскимъ,—витіиствуетъ онъ,—можетъ быть, и значить только, въ концѣ концовъ, стать братомъ всѣхъ людей, всечеловѣкомъ, если хотите! Но, казалось бы, кому же другому и быть настоящимъ русскимъ, какъ не самому автору этихъ патріотическихъ вѣщаній? Ужъ онъ-то самъ, разумѣется, умѣлъ считать братьями *всѣхъ людей*, быть всечеловѣкомъ? Но одно дѣло—красивыя слова, вызванныя подходящимъ случаемъ, а другое—убѣжденіе, вытекающее изъ натуры человека. Въ той же статьѣ, о которой мы уже упоминали, Н. К. Михайловскій указываетъ, что въ другихъ своихъ писаніяхъ Достоевскій ограничивалъ это „всѣхъ людей“ однимъ *арійскимъ племенемъ*, и, напр., „жидамъ“, какъ семитамъ, всегда готовъ былъ всякую пакость учинить „во славу Божію“...

Послѣ такого разъясненія „всецеловѣчности“ Достоевскаго, что же остается вообще отъ перваго пункта, которому самъ онъ придавалъ, очевидно, наиглавнѣйшее значеніе? Что Пушкинъ испанцевъ изображалъ, какъ испанцевъ, а не турокъ, древнюю

царицу Клеопатру, какъ таковую, а не какъ Іоанну д'Аркъ или Екатерину Медичи, Магомета, какъ Магомета, а не Будду и т. д.; но все это вѣдь чисто-виѣшніе признаки великаго таланта *реальной школы*, и утверженіе, что признаки эти во всей новѣйшей литературѣ Европы свойственны одному Пушкину, по меньшей мѣрѣ, подлежитъ еще безпристрастному обслѣдованію.

2) Пушкинъ первый отмѣтилъ въ лицѣ Алеко и Онѣгина самую болѣзную язву образовавшагося у насъ послѣ великой петровской реформы общества—его оторванность отъ народа, его невѣріе въ родину, отрицаніе Россіи и себя самого — Но на это необходимо замѣтить, что невѣріе пушкинскаго Алеко или Онѣгина въ Россію и отрицаніе ими самихъ себя (?)—быть можетъ, и имѣвшія мѣсто въ дѣйствительности,—въ поэмахъ Пушкина совсѣмъ не трактуются, и центръ тяжести этихъ поэмъ, по замыслу поэта, лежитъ вовсе не въ оторванности ихъ героев отъ народа. А слѣдовательно, бесполезно и говорить о величій заслугъ Пушкина въ этомъ направленіи.

Остается, такимъ образомъ, пунктъ 3) Онъ первый изъ русскихъ писателей далъ художественные типы красоты русской, вышедшей прямо изъ духа русскаго, обрѣтавшейся въ народной правдѣ, въ почвѣ русской (Татьяна, Пименъ и пр.). Въ этомъ замѣчаніи много вѣрнаго, но очень мало новаго, такого, чего гораздо раньше Достоевскаго не говорили бы всѣ критики Пушкина, начиная съ Бѣлинскаго. Оригинально и ново лишь то, что Достоевскій переноситъ очень простой вопросъ на метафизическую почву „русскаго духа“, „народной правды“, „нашей почвы“ и другихъ излюбленныхъ идеекъ нашихъ славянофиловъ-почвенниковъ, во главѣ которыхъ стоялъ когда-то Аполлонъ Григорьевъ (кстати сказать, и работавшій въ журналѣ бр. Достоевскихъ). Слова „русскій“ и „народный“, вообще, такъ и пестрятъ эту неопредѣленно-туманную, выпренне-крикливую рѣчь, а вѣдь кто только не выкрикивалъ у насъ этихъ словъ и какого только смысла не вкладывалось въ нихъ!

Такимъ образомъ, одного, самаго главнаго, не было въ хитро составленной рѣчи Достоевскаго: простоты и искренности. Не было ихъ, впрочемъ, и во всемъ праздникѣ 1880 года. Даже извѣстная своимъ простодушіемъ муза Полонскаго, словно, заразилась общимъ настроеніемъ, и въ прочитанныхъ тогда же стихахъ этотъ поэтъ, совершенно серьезнымъ тономъ, давалъ Пушкину

чисто-комическое опредѣленіе (позже, въ собраніи стихотвореній, правда, выкинутое):

Ночь и Лысая гора...

И, выслушивая всѣ эти риторическія ухищренія и витіевато-неискреннія хвалы, не разъ, должно быть, повернулись въ гробу кости правдивѣйшаго изъ поэтовъ, который, по словамъ Ап. Григорьева, былъ въ то же время и простѣйшимъ изъ людей, какихъ только зналъ міръ.

VI.

Дѣйствительно—новая эра пушкинской славы началась, какъ мы сказали въ самомъ началѣ этой статьи, не съ 80-го, а лишь съ 87 года, когда Пушкинъ нашелъ себѣ новаго, болѣе простого и чуткаго судью въ лицѣ широкихъ слоевъ общества и народа, достояніемъ которыхъ, наконецъ, сталъ. Этотъ нелицепріятный судья уже высказалъ свое мнѣніе о величайшемъ русскомъ поэтѣ, раскупивъ нѣсколько милліоновъ экземпляровъ его сочиненій; на всемъ пространствѣ грамотной Россіи имя Пушкина становится постепенно извѣстнымъ не въ силу одной только школьной обязанности звать его имя.

— Простой, невыспренній, но вѣрный и глубокій взглядъ на поэзію Пушкина, въ зачаточномъ видѣ заключавшійся еще въ статьяхъ Бѣлинскаго, все чаще и чаще сталъ проникать съ этихъ поръ и въ самую литературу. Такова была, въ особенности, замѣчательная статья С. Н. Южакова „Любовь и счастье въ произведеніяхъ русской поэзіи“, напечатанная еще въ томъ же 87 г. (въ „Сѣверномъ Вѣстникѣ“ первоначальной редакціи).

Сдѣлавъ любопытный анализъ большихъ поэмъ Пушкина, критикъ справедливо замѣчаетъ: „Можно смѣло сказать, что ни одинъ великій поэтъ не далъ для уясненія и очеловѣченія вопроса любви столько, сколько—Пушкинъ. Пушкинская поэзія—это по истинѣ школа человѣческой и человѣчной любви“. — „Пушкинъ первый представилъ оригинальный и законченный идеалъ любви и счастья и первый примѣрилъ его къ условіямъ современности, указалъ роковую коллизію идеала и факта.—Любовь претворяетъ въ счастье всякое человѣческое содержаніе жизни; подъ ея благословеніемъ всякій трудъ становится удовольствіемъ. Но сама она не приноситъ содержанія жизни, а потому не можетъ дать и счастья

„лишнему человѣку“, котораго жизнь фатально лишила содержания и способнаго удовлетворить труда. Онъ потому и лишній, что для него данная среда и данный строй жизни не даютъ ни того, ни другого. — Положеніе, занятое Пушкинымъ въ вопросѣ о любви, тѣмъ и благотворно, и велико, что онъ очистилъ его отъ всякихъ анакреонтическихъ и пасторальныхъ элементовъ, раскрылъ задачу счастья въ задачѣ свободы и равноправности и съ истинно гениальною смѣлостью указалъ несомнѣстимость этой задачи съ тѣми условіями жизни, которыя себѣ постаралось устроить человѣчество. — Формулу счастья въ любви и процессъ очеловѣченія и нравственнаго просвѣтленія черезъ любовь — вотъ что далъ намъ Пушкинъ и своимъ „Онѣгинымъ“, и своими первыми поэмами. Это и теперь не состарилось; и теперь такое пониманіе любви и счастья еще ново... Тогда же это было чистое откровеніе, и не мудрено, если русское общество съ такимъ энтузіазмомъ встрѣтило своего перваго великаго поэта“.

Въ исторіи пушкинской критики статья г. Южакова являлась также настоящимъ откровеніемъ, хотя касалась она, къ сожалѣнію, не специально Пушкина и въ литературѣ прошла, по видимому, не замѣченной.

Не въ схоластическомъ направленіи старыхъ риторикъ и пиитикъ, а только въ намѣченномъ г. Южаковымъ направленіи, очевидно, можно было придти къ правильному пониманію „паэоса“ пушкинской поэзіи: оставалось только взгляды почтеннаго критика-соціолога на „положеніе, занятое Пушкинымъ въ вопросѣ о любви“, распространить на всѣ стороны его поэзіи.

Изъ интересныхъ, солидныхъ статей, посвященныхъ Пушкину въ 90-хъ годахъ, слѣдуетъ упомянуть еще изслѣдованія А. Н. Пыпина („Вѣстн. Евр. 95 г.) и В. Д. Спасовича (соч., т. III).

Но перваго изъ этихъ авторовъ интересуется, главнымъ образомъ, историко-общественное значеніе Пушкина, а втораго — спеціальныя вопросы о байронизмѣ нашего великаго поэта и объ его отношеніяхъ къ Мицкевичу и Петру Великому. Отмѣтимъ у г. Спасовича лишь нѣкоторыя странности общаго характера. Съ одной стороны, недовольство Пушкина жизнью, какъ результатъ вспышекъ *чисто минутной* досады, не было, по словамъ критика, похоже на пессимизмъ, а съ другой — онъ же увѣряетъ, будто къ концу жизни Пушкинъ „утвердился въ своемъ антигуманномъ взглядѣ на людей“. Въ другомъ мѣстѣ высказывается на этотъ счетъ еще

и третье мнѣніе: „Застывшимъ слѣдомъ на лицевой маскѣ Пушкина было *напускное* презрѣніе къ роду человѣческому, которое, вслѣдствіе душевныхъ страданій (не напускныхъ?), появилось у Пушкина и затѣмъ уже не покидало его, потому что сдѣлалось обыкновенной *складкой ума*“. У читателя получается, въ концѣ концовъ, противорѣчивое и путанное представленіе о взглядѣ Пушкина на жизнь и людей,—быть можетъ, впрочемъ, оттого только, что критикъ неточно выразилъ свою мысль.

Говоря, далѣе, о душевной неглубокости Пушкина, какъ о коренномъ, природномъ отличіи его отъ Байрона, г. Спасовичъ, несомнѣнно, хватается черезъ край. Такъ, стихотвореніе „Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ“ по идеѣ онъ признаетъ мрачнымъ; но этотъ мракъ разсѣвается, по его словамъ, у Пушкина золотымъ лучомъ солнца, и плачь о неизбежности смерти переходитъ въ *милѣйшую, но приторную идиллію* („И пусть у гробового входа“ и пр.). Признаемся, мы впервые встрѣчаемъ такой придирчивый и несправедливый отзывъ объ этомъ искреннѣйшемъ, глубоко-трогательномъ стихотвореніи Пушкина, и, судя по этому маленькому образчику, думаемъ, что врядъ ли г. Спасовичъ способенъ былъ бы вѣрно понять и оцѣнить вообще его поэзію.

Но если литература наша не отличалась въ послѣдніе годы особымъ обиліемъ серьезныхъ и цѣнныхъ произведеній, посвященныхъ Пушкину, то произведеніями вздорными и крикливо-витіеватыми она всегда была богата болѣе, чѣмъ достаточно. Какъ извѣстно, въ послѣднія полтора десятилѣтія прошлаго вѣка, отмѣченныя въ жизни глубокимъ упадкомъ общественности, литература наша опозорена была жалкими попытками развѣнчать тѣ гуманно-идейныя стремленія, которыя вдохновляли ее въ 60-хъ и 70-хъ годахъ, и вознести на пьедесталъ такъ называемую теорію искусства для искусства, себѣ довлѣющаго, равнодушнаго и даже враждебнаго къ страданіямъ народа, влюбленнаго въ какую-то абсолютную, нездѣшную, аристократически-холодную красоту. И не даромъ же наша критика, начиная съ самого Бѣлинскаго, столько говорила о Пушкинѣ, какъ о художникѣ по преимуществу, какъ о жрецѣ искусства для искусства, рожденномъ исключительно для звуковъ сладкихъ и молитвъ: бездушные, надутые собой и своимъ невѣжествомъ, эстеты нашихъ

въ сущности, не чѣмъ инымъ, какъ поэтическимъ предтечей его, г. Минскаго *)...

Не стали бы мы говорить и о книгѣ г. Мережковского „Вѣчные спутники“, памятуя, что и г. Мережковский не такъ еще давно являлъ совсѣмъ другую литературную физиономію. Но такъ какъ здѣсь мы имѣемъ дѣло не съ какимъ-нибудь стихотвореніемъ или газетнымъ фельетончикомъ, а съ большой статьей о Пушкинѣ, претендующей изображать цѣлое, стройно развитое, міровоззрѣніе, то приходится, хотя бы ради полноты нашего обзора, познакомить читателя съ главными положеніями и г. Мережковского. Начинаетъ онъ свою статью съ разнosa современной критики за ея отказъ признать цѣнность и правдивость пресловутыхъ записокъ г-жи Смирновой; въ этомъ фактѣ, по его мнѣнію, лишній разъ выразился первородный грѣхъ русской критики—ея культурная неотзывчивость (?); но грѣшитъ она, оказывается, еще и многими другимъ:

упадкомъ художественнаго вкуса, эстетическаго и философскаго образованія, который, начиная съ 60-хъ гг., продолжается до нынѣ и вызванъ проповѣдью утилитарнаго искусства, проповѣдью такихъ критиковъ, какъ Добролюбовъ, Чернышевскій, Писаревъ. Одичаніе вкуса и мысли, продолжавшееся полвѣка, не могло пройти даромъ для русской литературы. Слѣдъ мутной волны черни, нахлынувшей съ такою силою, чувствуется и понынѣ. Авторитетъ Писарева поколебленъ, но не палъ. Грубо-утилитарная точка зрѣнія Писарева, въ которой чувствуется раздраженіе дикаря передъ созданіями непонятной ему культуры, теперь анахронизмъ: эта точка зрѣнія замѣняется болѣе умѣренной—либерально-народнической.

Изъ этой краснорѣчивой тирады уже сразу видно, съ кѣмъ имѣешь дѣло: съ „эстетически и философски образованнымъ“ критикомъ, для котораго недавно еще дорогія русской литературѣ слова—народъ и свобода („либерально-народническая точка зрѣнія“) не указъ. Посмотримъ же, что скажетъ намъ о Пушкинѣ этотъ широко просвѣщенный умъ.

Въ сущности вся послѣдующая исторія русской литературы,—вѣщаетъ онъ—есть исторія довольно робкой и малодушной борьбы за пушкинскую культуру съ нахлынувшей волною демократическаго варварства, исторія могущественнаго, но односторонняго воплощенія его идеаловъ, медленнаго угасанія, паденія, смерти Пушкина въ русской литературѣ.

*) Мы почти угадали: перевернувшись съ легкостью акробата, г. Минскій (купно съ другимъ поэтомъ-декадентомъ—г. Сологубомъ) заявилъ на страницахъ «Міра Искусства», что кромѣ нихъ, «символистовъ», никто въ русской литературѣ не имѣетъ права торжествовать юбилей Пушкина...

И, чтобы не оставалось въ читателяхъ тѣни сомнѣнія въ томъ, что подъ демократическимъ варварствомъ разумѣются здѣсь не одни только взгляды на искусство, которое Чернышевскимъ богохульно принесено было въ жертву живой жизни, г. Мережковский продолжаетъ: „Русская литература, которая и въ дѣйствительности вытекаетъ изъ Пушкина, и сознательно считаетъ его своимъ родоначальникомъ, измѣнила главному его завѣту: да здравствуетъ солнце, да скроется тьма!“

Читатель въ недоумѣніи: какъ! это литература-то 60-хъ годовъ, наша великая освободительная литература, измѣнила подобному завѣту? Она избрала девизомъ—да скроется солнце, да здравствуетъ тьма? Въ добромъ ли вы здравіи, почтеннѣйшій?.. Но г. Мережковский величаво, пренебрежительнымъ жестомъ, отстраняетъ вмѣшательство изумленного читателя и декламаторски-повышеннымъ тономъ продолжаетъ: „Какъ это странно! Начатая самымъ свѣтлымъ, самымъ жизнерадостнымъ изъ новыхъ геніевъ (а что же „чумное пятно“ вашего единомышленника, г. Минскаго?), русская поэзія сдѣлалась поэзіей мрака, самоистязанія, жалости, страха смерти“. Лермонтовъ, Гоголь, Достоевскій, Тургеневъ и особенно Левъ Толстой, бѣжавшій отъ ужаса смерти въ жалость, оказываются „только рядомъ ступеней, по которымъ мы сходили все ниже и ниже въ страну тѣни смертной“. Захлебываясь отъ восторга, критикъ говоритъ объ аристократичности духа Пушкина, не знавшаго „жалости“, и о томъ, что въ своей „Черни“ онъ какъ бы отвѣчаетъ современному вождю ея—Льву Толстому: „Не для житейскаго волненія“ и пр. „Но жаль,—добавляетъ г. Мережковский,—что эти слова слышитъ чернь. Ея звѣриныя уши не созданы для откровенности геніевъ. Не должно объ этомъ говорить на площадяхъ; надо уйти въ святое мѣсто. И поэтъ ушелъ“ („Ты царь—живи одинъ!“).

Взглядъ г. Мережковского на Пушкина, повидимому, уясненъ для насъ окончательно... Однако, прислушаемся еще немного къ его разсужденіямъ.

Въ Львѣ Толстомъ, стоящемъ на низшей ступени русскаго искусства, „поселился самый пронирыливый изъ современныхъ бѣсовъ—бѣсъ равенства, бѣсъ малыхъ, безчисленныхъ, имя которымъ легіонъ“. Это современный типъ „безумнаго (?) галилеянина“. Послѣ этого немало удивило насъ признаніе критика, что въ лицѣ германскаго философа Ничше воплотилось проти-

воположное начало безумнаго же... язычества. Почему, въ самомъ дѣлѣ „безумнаго“, а не божественнаго, не единственно-разумнаго? Для насъ казалось всетаки не подлежащимъ сомнѣнію, къ которому изъ этихъ двухъ началъ отнести г. Мережковскій Пушкина съ его аристократичностью духа, жизнерадостностью, презрѣніемъ къ черни и пр., и пр. Но эстетически и философски-образованный критикъ и тутъ преподнесъ намъ сюрпризъ. Оказалось, что „въ первобытномъ смыслѣ (?)“ Пушкинъ былъ болѣе христіанинъ, нежели Гете или Байронъ: христіанство его было естественно и бессознательно. Онъ былъ въ одно время — галилеяниномъ и язычникомъ, аристократомъ и демократомъ, Толстымъ и Ничше, „и ночью и Лысой горой“,—гармоническимъ соединеніемъ всѣхъ противорѣчій, какія только могутъ придти въ голову всѣмъ эстетически и философски образованнымъ критикамъ, вмѣстѣ взятымъ. И все это потому, молъ, что глубина русскаго духа не исчерпывается однимъ лишь христіанскимъ смиреніемъ и самопожертвованіемъ, иначе откуда бы взялась эта „Божія гроза“, это великолѣпіе, этотъ избытокъ воли, удали, веселья, которыя чувствуются въ Пушкинѣ и его любимомъ героѣ, Петрѣ Великомъ? Русскій духъ есть вмѣстѣ—и христіанская, и языческая мудрость, изъ коихъ первая заключается въ бѣгствѣ отъ людей въ природу, уединеніи въ Богѣ, а вторая тоже въ бѣгствѣ, но... въ уединеніи въ самомъ себѣ, въ своемъ перерожденномъ и обожествленномъ я...

О, бѣдный „русскій духъ“! Какъ только терпишь ты всѣ эти поклепы доморощенныхъ русскихъ философовъ?

Заключительный выводъ г. Мережковского таковъ:

«Пушкинъ, какъ галилеянинъ, противопоставляетъ первобытнаго челоуѣка современной культурѣ. Той же современной культурѣ, основанной на власти черни, на демократическомъ понятіи равенства и большинства голосовъ, противопоставляетъ онъ, какъ язычникъ, самовластную волю единого творца или разрушителя, пророка или героя».

Довольно, закроемъ книгу г. Мережковского!

VII.

При оцѣнкѣ каждаго крупнаго писателя критикъ можетъ представляться двоякаго рода задача: одна — дать, по возможности, всестороннюю его характеристику, возстановляя всѣ, даже

мелкія и второстепенныя, черты его литературной фізіономіи. Для такой задачи имѣть почти равную цѣну и значеніе все, когда-либо написанное авторомъ. Но критика, преслѣдующая другую, менѣе сложную, хотя, быть можетъ, и не менѣе важную, цѣль — дать не всеисчерпывающую, а только опредѣляющую характеристику поэта, должна считаться лишь съ его типическими чертами, оставляя въ сторонѣ все случайное, мимолетное, менѣе характерное для автора.

Для Пушкина, по нашему мнѣнію, прежде всего слѣдуетъ установить одно, такъ сказать, отрицательное качество: природѣ его таланта менѣе всего была свойственна поэзія борьбы и политическихъ страстей. Въ его произведеніяхъ нечего, поэтому, искать и какого-либо опредѣленнаго знамени, къ нимъ нельзя предъявлять никакихъ тенденціозныхъ требованій. Въ отношеніи красоты и силы стиха, юношескія стихотворенія Пушкина—„Кинжалъ“, „Вольность“, „Деревня“, конечно, настолько превосходны, что одни могли бы составить славу какого-нибудь второстепеннаго поэта, вродѣ, напр., Рылѣева; и однако, попробуйте сравнить ихъ съ такими стихотвореніями того же періода (1819—21 г.), какъ, напр., „Возрожденіе“, „Увы! зачѣмъ она блистаетъ“, или конецъ оды „Наполеонъ“:

Искуплены его стяжанья
И зло воинственныхъ чудесъ
Тоскою душевнаго изгнанья
Подъ сѣнью чуждою небесъ.
И знойный островъ заточенья
Полночный парусъ посѣтитъ
И путникъ слово примиренья
На ономъ камнѣ начертить,
Гдѣ, устремивъ на волны очи,
Изгнанникъ помнилъ звукъ мечей,
И льдистый ужасъ полуночи,
И небо Франціи своей;
Гдѣ иногда въ своей пустынѣ,
Забывъ войну, потомство, тронъ,
Одинъ, одинъ, о миломъ сынѣ
Въ уныньи горькомъ думалъ онъ.
Да будетъ омраченъ поворомъ
Тотъ малодушный, кто въ сей день
Безумнымъ возмутитъ укоромъ
Его развѣнчанную тѣнь!

Какое гармоническое сочетаніе прекрасной формы и благороднаго содержанія! Вотъ истинно-пушкинскій пафосъ, очевидно, вышедшій изъ сокровеннѣйшихъ глубинъ высоко-гуманной души поэта и, потому, глубоко захватывающій и читателя! Далеко не такое впечатлѣніе производить, напр., прославленная „Деревня“.

Почто въ груди моей горитъ безплодный жаръ,
И не данъ мнѣ въ удѣлъ *вѣтхости* грозный даръ?

Въ лучшихъ, истинно-поэтическихъ произведеніяхъ такой риторики у Пушкина не встрѣчается... Характерно также, что въ первой половинѣ „Деревни“ поэтъ рисуетъ намъ идиллическую картину:

Вездѣ сяды довольства и труда,

а во второй, гдѣ настраиваетъ себя на негодующій ладъ, жалуется на „рабство *точее, влачащееся по браздамъ*“. Уже это одно противорѣчіе указываетъ на нѣсколько искусственную приподнятость либеральнаго настроенія поэта... Въ одномъ случаѣ передъ нами — холодно-торжественная казенная красота, въ другомъ — настоящая, дивно-очаровательная поэзія.

Авторомъ „Наполеона“ могъ быть только Пушкинъ и никто другой, авторомъ „Кинжала“ и „Вольности“ — любой изъ его талантливыхъ сверстниковъ-поэтовъ. — Мы говорили уже, что самъ Пушкинъ, очевидно, скоро почувствовалъ эту разницу и съ тѣхъ поръ почти не возвращался въ своей поэзіи къ революціоннымъ темамъ; но и тѣ три-четыре боевыхъ стихотворенія зрѣлой поры, тенденція которыхъ имѣла противоположный характеръ, не смотря на доставшуюся имъ громкую славу въ потомствѣ, по нашему мнѣнію, не болѣе для него характерны.

Мы имѣемъ въ виду „Клеветникамъ Россіи“ и „Бородинскую годовщину“, написанныя по поводу польскаго мятежа 1831 г., а также стихотвореніе „Чернь“; хотя послѣднее касается и мирныхъ вопросовъ искусства, но должно быть отнесено къ группѣ боевыхъ мотивовъ, въ виду своего задорнаго тона и страстно-воинственнаго языка. Разсматривая эти знаменитыя стихотворенія, нельзя не вспомнить того, что говоритъ Добролюбовъ о послѣднемъ періодѣ дѣятельности Пушкина: „Направленіе, принятое имъ въ послѣдніе годы, вовсе не исходило изъ естественной потребности души его, а было только слѣдствіемъ слабости характера, не имѣвшаго внутренней опоры въ серьезныхъ, не-

зависимо развитыхъ убѣжденійхъ, и потому скоро павшаго отъ утомленія въ борьбѣ съ внѣшними вліяніями. Оттого-то въ послѣдніе годы мы видимъ въ немъ какое-то странное бorenіе, какую-то двойственность; не смотря на желаніе успокоить въ себѣ сомнѣнія, проникнуться какъ можно полнѣе заданнымъ направленіемъ, все-таки онъ не могъ отрѣшиться отъ живыхъ порывовъ молодости, отъ гордыхъ, независимыхъ стремленій юныхъ лѣтъ“. Добролюбовъ доказываетъ эту свою мысль ссылкой на статью Пушкина о книгѣ Радищева: въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ея звучитъ страстное раздраженіе поэта противъ несчастнаго автора опальной книги, а между тѣмъ — не могъ же Пушкинъ, съ его умомъ и сердечной чуткостью, написать эти страницы вполне искренно, съ серьезно продуманнымъ убѣжденіемъ...

Правда, что касается „Черни“, то идея этой пьесы довольно часто встрѣчается въ произведеніяхъ Пушкина, особенно зрѣлой поры, когда началось охлажденіе къ нему публики; но она несомнѣнно, являлась каждый разъ результатомъ раздраженія, а не вытекала свободно изъ природы поэта. Включать, поэтому, „Чернь“ въ число характерныхъ образцовъ пушкинской поэзіи было бы, кажется намъ, несправедливо. За что, въ самомъ дѣлѣ могли бы мы любить поэта, типичной чертой котораго было бы это великолѣпное презрѣніе къ народу и ко всему на свѣтѣ, кромѣ какихъ-то невѣдомыхъ и ни для кого ненужныхъ „звуконъ сладкихъ и молитвъ“? Молитвъ кому и о чемъ, если онъ такъ безсердечно-равнодушно обрекаетъ своихъ братьевъ „бичамъ, темницамъ, топорамъ“? Это-ли тотъ симпатичный, гуманный поэтъ, котораго рекомендовалъ намъ Бѣлинскій, какъ лучшаго воспитателя юношества? Благожелательная критика дѣлала, правда, и до сихъ поръ дѣлаетъ попытки комментировать разбираемое стихотвореніе совсѣмъ иначе, разумѣя подъ „черню“ не трудящіеся классы народа, а—„небольшой кружокъ знати и властей съ Бенкендорфомъ во главѣ“, „людей формально образованныхъ и потому могущихъ вкрявь и вкось судить о поэзіи, но, по внутреннимъ причинамъ, неспособныхъ цѣнить ея истинное значеніе, требующихъ отъ нея рабской службы практическимъ цѣлямъ“. Увы! при всемъ нежеланіи остаться въ числѣ „отсталыхъ упрямецъ“, толкующихъ „Чернь“ по своему, мы думаемъ, что такому благожелательному толкованію мѣшаетъ самый текстъ и прямой смыслъ стихотворенія.

Молчи, безсмысленный народъ,
Поденщикъ, *рабъ* нужды, заботъ!—

обращается поэтъ къ „черни“, — и какъ могло бы относиться такое обращеніе къ графу Бенкендорфу и другимъ членамъ „знати и властей“? Да и врядъ ли въ интересахъ гр. Бенкендорфа и ему подобныхъ было сѣтовать на то, что поэзія Пушкина больше склоняется въ сторону „сладкихъ звуковъ“, нежели изобличаетъ ихъ злобу, безстыдство, малодушіе, рабство и глупость, чего требуетъ отъ поэта „чернь“ стихотворенія.. Нѣтъ, другъ Платонъ, *magis amica veritas!*—и стихотвореніе „Чернь“ навсегда останется, въ нашихъ глазахъ, свидѣтельствомъ одного изъ печальнѣйшихъ и антипатичнѣйшихъ заблужденій великаго поэта...

Но, къ счастью, поэтическій обликъ Пушкина долженъ быть характеризованъ не „Чернью“ и другими родственными ей стихотвореніями; существованіе пятенъ на солнцѣ—фактъ, но и при нихъ солнце остается солнцемъ!

Для полученія опредѣляющей характеристики Пушкина, какъ поэта, его воззрѣній на міръ и на жизнь, его морали, всего умственного и душевнаго облика, необходимо прежде всего обратиться къ разсмотрѣнію большихъ поэмъ и романовъ. Съ нихъ мы и начнемъ.

VIII.

Въ „Русланъ и Людмилъ“, разумѣется, нечего отыскивать какого-либо глубокаго философскаго смысла. Сказка эта была не болѣе, какъ проба молодого пера, и все обаяніе ея заключалось въ легкости красиваго, звучнаго стиха, въ свободѣ поэтической формы. Самъ Пушкинъ никогда не придавалъ ей иного значенія. Другое дѣло—первыя поэмы: „Кавказскій плѣнникъ“, „Бахчисарайскій фонтанъ“ и „Братья разбойники“. Не смотря на всю свою слабость по сравненію съ позднѣйшими произведеніями Пушкина, онѣ уже являются не сладкими только звуками, а серьезной попыткой молодого поэта осмыслить окружающій хаосъ жизни, отвѣтить такъ или иначе на вѣковѣчные вопросы бытія.

Въ „Кавказскомъ Плѣнникѣ“ (1821) авторъ поставилъ себѣ двѣ задачи: изобразить настроеніе современной русской моло-

дежи и освѣтить, согласно своему пониманію, великую проблему любви. Относительно первой изъ этихъ задачъ самъ Пушкинъ въ послѣдствіи признавался, что онъ насилу сладилъ съ характеромъ героя, и не мѣшаетъ къ этому прибавить, что довольно плохо сладилъ. Бѣлыя нитки, которыми спитъ этотъ образъ русскаго Чайльдъ-Гарольда, видны ясно. „Свобода! онъ одной тебя еще искалъ въ подлунномъ мірѣ“, патетически говоритъ поэтъ о своемъ героѣ; но что это за свобода—вопросъ остается открытымъ. Поклонникъ ея отправляется на Кавказъ покорять свободныхъ горцевъ, и ни ему самому, ни его пѣвцу не приходится даже въ голову подумать объ этомъ странномъ расхожденіи дѣла съ красивымъ словомъ... Образъ плѣнника, вообще страдаетъ неясностью: съ одной стороны, у него глубокое разочарованіе во всѣхъ прелестяхъ жизни, что-то вродѣ настоящаго философскаго пессимизма: „Людей и свѣтъ извѣдалъ онъ, узналъ невѣрной жизни цѣну, въ сердцахъ друзей нашелъ измѣну, въ мечтахъ любви—безумный сонъ“; онъ „бурной жизнью погубилъ надежду, радость и желанье“, а съ другой стороны—причина всей этой меланхоліи оказывается очень простая—нераздѣленная любовь къ какой-то гордой сѣверной красавицѣ... Значить, „желанье“ не вовсе еще погублено!

Какъ бы то ни было, Пушкину удалось, несомнѣнно, при всѣхъ противорѣчіяхъ и неясности главнаго образа, выразить въ немъ основныя черты настроенія тогдашней русской молодежи,—„эту, какъ говоритъ Бѣлинскій,—тоску юношей по своей утраченной юности, это разочарованіе, которому не предшествовали никакія очарованія, эту апатію души во время ея сильнѣйшей дѣятельности, это кипѣніе крови при душевномъ холодѣ, это чувство пресыщенія, послѣдовавшее не за роскошнымъ пиромъ жизни, а смѣнившее собою голодъ и жажду“. Лучшимъ доказательствомъ этой удачности служить тотъ восторженный пріемъ, какой встрѣтилъ въ обществѣ „Кавк. плѣнникъ“. Недовольнъ былъ, повидимому, только самъ поэтъ—по крайней мѣрѣ, въ началѣ вскорѣ „Евгеніи Онѣгинъ“ онъ вернулся къ изображенію того же героя. Что плѣнникъ и Онѣгинъ — одно лицо, показываетъ, хотя бы, слѣдующій монологъ плѣнника, обращенный къ черкешенкѣ и поразительно напоминающій извѣстную отвѣдь Евгенія Татьянѣ:

Забудь меня: твоей любви,
 Твоихъ восторговъ я не стою.
 Безцѣнныхъ дней не трать со мною,
 Другого юношу зови.
 Его любовь тебѣ замѣнить
 Моей души печальный хладъ;
 Онъ будетъ вѣренъ, онъ оцѣнитъ
 Твою красу, твой милый взглядъ.

 Несчастный другъ, зачѣмъ не прежде
 Явилась ты моимъ очамъ,
 Въ тѣ дни, какъ вѣрилъ я надеждѣ
 И упоительнымъ мечтамъ!

Но характеръ Онѣгина обрисованъ болѣе опытной и увѣренной рукой и потому выступаетъ яснѣе. При всѣхъ своихъ свѣтскихъ недостаткахъ и порокахъ, это человѣкъ твердый, умѣющій таить душевныя страданія и не ныть по-пустому; наоборотъ, плѣнникъ представляетъ въ этомъ отношеніи что-то очень блѣдное и слабое (не смотря на свою внѣшнюю храбрость). Онъ до того безхарактеренъ и слабоволенъ, что, не имѣя въ душѣ и тѣни намѣренія обмануть несчастную черкешенку, позволяетъ себѣ, тѣмъ не менѣе, „во тьмѣ ночной лобзать ее нѣмымъ лобзаньемъ, сгорая нѣгой и желаньемъ“, тѣша себя мечтой, что обнимаетъ другую—любимую женщину... Онѣгинъ не унизился бы до такой пошлости! Мы не думаемъ также, что объяснить эту слабохарактерность героя слѣдуетъ сознательнымъ желаніемъ Пушкина отбѣнить разницу между любовью простодушной дикарки и культурнаго, развитеннаго всякими сомнѣніями человѣка. Нѣкоторые критики, вообще, любятъ отыскивать у Пушкина и подчеркивать его неодобреніе европейской культурѣ; но мы воздержимся отъ такихъ сомнительныхъ обобщеній и выводовъ. Правдоподобіе всего кажется намъ то объясненіе, которое далъ самъ поэтъ: онъ не сумѣлъ справиться въ „Кавк. плѣн.“ съ сложнымъ и не совѣмъ для него яснымъ образомъ героя.

Но не однимъ только главнымъ характеромъ ограничивается сходство ранней поэмы Пушкина съ лучшимъ произведеніемъ зрѣлой поры его творчества. Сходство между ними доходитъ до мелочей: всѣ главныя подробности романа между плѣнникомъ и черкешенкой съ большой точностью повторяются потомъ въ „Евгеніи Онѣгинѣ“ и только освѣщаются нѣсколько иначе. Сама черкешенка является прототипомъ Татьяны. Отбросьте національ-

ныя черты той и другой дѣвушки, или, вѣрнѣе, окружающую ихъ національную обстановку—и получится разительное сходство характеровъ: та же сила и цѣльность натуры, то же *требованіе отъ жизни полноты счастья и полноты любви...*

Въ письмѣ своемъ къ Онѣгину Татьяна говоритъ, что могла бы ограничиться малымъ,—надеждой

Хоть рѣдко, хоть въ недѣлю разъ
Въ деревнѣ нашей видѣть васъ,
Чтобъ только слышать ваши рѣчи,
Вамъ слово молвить и потомъ
Все думать, думать объ одномъ,

но это, конечно, самообманъ: на дѣлѣ ея бурная и гордая душа не могла бы удовольствоваться такой иллюзіей любви. Когда Онѣгинъ упалъ въ послѣдствіи къ ея ногамъ, уже дѣйствительно любя, она отказалась отъ этой любви потому, что жаждала чувства полнаго и смѣлаго, не таящагося ни передъ людьми, ни передъ Богомъ, а такого чувства она уже не могла дать, считая себя не въправѣ дать. Та же цѣльность натуры и въ черкешенкѣ; отъ любви она также требуетъ полноты чувства, и разница здѣсь лишь въ общихъ понятіяхъ, создавшихся подъ вліяніемъ иной среды и иныхъ условій жизни. Для Татьяны, рядомъ съ любовью и даже выше ея, существуетъ еще идея долга (пусть невѣрно понятаго—это неважно), для черкешенки нѣтъ ничего, кромѣ любви. Когда плѣнникъ, тронутый ея самоотверженіемъ, въ порывѣ минутнаго чувства, восклицаетъ:

Я твой навѣкъ, я твой до гроба!
Ужасный край оставимъ оба,
Бѣги со мной!—

она гордо ему отвѣчаетъ:

Возможно-ль? Ты любишь другую...

и предпочитаетъ погибнуть *). То же дѣлаетъ въ послѣдствіи и Татьяна, хотя вѣшной трагической развязки ея жизни поэтъ и не нарисовалъ намъ **).

*) Кромѣ черкешенки «Кавказскаго Плѣнника», еще героиня «Русалки» кончаетъ у Пушкина самоубійствомъ (мотивъ одинъ и тотъ же—несчастная любовь).—Упустивъ изъ виду эти два случая, Бѣлинскій утверждалъ, будто герои Пушкина никогда не убиваютъ себя.

**) Въ статьѣ «Любовь и счастье въ произведеніяхъ русскихъ поэтовъ»,

Идея „Бахчисарайскаго Фонтана“ (1822) слишкомъ бьетъ въ глаза, чтобы требовалось ея подробное выясненіе. Подъ вліяніемъ нераздѣленной любви къ прекрасной, чистой дѣвушкѣ, въ дикомъ татаринѣ умираетъ животное и начинается зарождаться человѣкъ.

Ея уныніе, слезы, стоны
Тревожатъ хана краткій сонъ,
И для нея смягчаетъ онъ
Гарема строгіе законы.

Начальный моментъ перерожденія черезъ любовь обрисованъ прекрасно, но, къ сожалѣнію, на этомъ началѣ поэтъ и остановился; остальная часть превосходно задуманной поэмы—сплошная мелодрама, впрочемъ, оправдываемая восточными нравами и характерами и искупаемая прелестью описаній.

Къ третьей изъ юношескихъ поэмъ, „Братьямъ-Разбойникамъ“, Бѣлинскій отнесся почему-то отнѣнно строго, заявивъ, что все въ ней ложно, натянуто, все мелодрама и даже... мало поэзіи. Придирчивость великаго критика простирается на этотъ разъ до того, что онъ указываетъ на два плохихъ, будто бы, стиха, между тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ они нисколько не хуже многихъ подобныхъ же стиховъ въ наиболѣе совершенныхъ произведеніяхъ Пушкина. Намъ лично „Братья-Разбойники“ кажутся прелестной и, по времени, довольно реально написанной поэтической картинкой. Но вкусы на этотъ счетъ, конечно, различны, и гораздо важнѣе, что и въ этой небольшой картинѣ, какъ почти всегда у Пушкина, пробивается свѣтлая, гуманная идея. Въ разбойникѣ, рассказывающемъ повѣсть своей жизни, всѣ человѣческія чувства давно окаменѣли и замерли, но одно изъ нихъ, чувство братской любви, еще тлѣетъ въ озвѣрѣлой душѣ, какъ искра въ остывшемъ пеплѣ.

Иногда шажу морщины:
Мнѣ страшно рѣзать старика,
На беззащитныя сѣдины
Не подымается рука.

о которой мы уже упоминали, г. Южакъ дѣлаетъ ни на чемъ, по нашему, мнѣнію, не основанное предположеніе, будто плѣнникъ тоже любитъ черкешенку, и спрашиваетъ: «Почему же, любя другъ друга, они взаимно и поочередно отвергаютъ одинъ другого?» Отвѣтъ г. Южакова: «плѣннику нужно равенство, сочувствіе своей душевной жизни во всемъ ея объемѣ»—намъ представляется произвольнымъ.

Я помню, какъ въ тюрьмѣ жестокой,
 Больной, въ цѣпяхъ, лишенный силъ,
 Безъ памяти, въ тоскѣ глубокой
 За старца братъ меня молилъ.

Правда, не Богъ знаетъ чего стоитъ это „иногда“, но въ этой-то умѣренности изображенія нравственнаго просвѣтленія ярче всего, думается намъ, и сказалось глубокое чутье правды великаго поэта, его боязнь всякой фальши и мелодрамы. Возможности настоящаго, полного перерожденія преступной души онъ не отрицаетъ, но, не чувствуя въ себѣ достаточно силъ изобразить такое перерожденіе въ реальныхъ чертахъ и краскахъ, отмѣчаетъ его только, какъ возможность.

Шумъ, крикъ... Въ ихъ сердцѣ дремлетъ совѣсть,
 Она проснется въ черный день.

Такимъ образомъ, уже въ самыхъ раннихъ поэмахъ Пушкинъ является передъ нами не безсознательно поющей птицей, а широко и гуманно мыслящимъ поэтомъ. Но съ лѣтами духъ его ширится, мысль крѣпнѣетъ, и въ „Цыганахъ“, написанныхъ всего два года спустя послѣ „Бахчис. Фонтана“ (1824), мы видимъ уже писателя, сдѣлавшаго огромный шагъ впередъ.

Поэмѣ этой особенно посчастливилось у критиковъ. О „Цыганахъ“ говорили, писали и спорили, можетъ быть, больше, чѣмъ о какой-либо другой поэмѣ Пушкина. Основной тонъ всѣмъ этимъ разсужденіямъ былъ заданъ, какъ всегда, Бѣлинскимъ, полагавшимъ, что въ лицѣ Алеко Пушкинъ хотѣлъ создать апофеозъ поборника правъ человѣческаго достоинства, но вмѣсто того сдѣлалъ страшную сатиру на него и на всѣхъ ему подобныхъ, которые изо всѣхъ силъ громятъ порочныя страсти общества, а сами живутъ и гибнутъ рабами собственной всепоглощающей страсти—эгоизма. Въ нѣсколько иной формѣ, но, въ сущности, то же самое высказалъ впослѣдствіи и Достоевскій, съ особеннымъ стараніемъ подчеркнувшій стихъ:

Ты для себя лишь хочешь воли!

и призывавшій гордеца Алеко, этого вѣчнаго скитальца земли русской, смириться. Другимъ излюбленнымъ мотивомъ комментаторовъ „Цыганъ“ было противопоставленіе Пушкинымъ „гнилой“ европейской культуры и ея не менѣе гнилыхъ людшекъ—здоровой средѣ и культурѣ нашего простого народа. Коммента-

торы эти совершенно какъ бы забывали, что въ поэмѣ Пушкина изображается вовсе не народъ русскій, а дикіе кочевые цыгане; не важенъ былъ для нихъ и вопросъ о томъ, могъ ли Пушкинъ вообще рекомендовать просвѣщенному человѣчеству въ качествѣ идеала—первобытный бытъ дикарей съ его невѣжествомъ и другими прелестями. Критикамъ этого рода важно одно: разнести, во что бы ни стало, Европу, а какой цѣной и во имя чего—стоитъ ли объ этомъ думать! Они искренно ненавидятъ Европу, но спросить ихъ—за то ли, что обличаетъ въ ней Алеко, самъ представитель европейской культуры:

Люби стыдятся, мысли гонять,
Торгуютъ волею своей,
Главы предъ идолами клонять
И просить денегъ да цѣпей!

Присмотримся, однако, поближе къ герою поэмы.

Алеко порываетъ съ воспитавшимъ его обществомъ и, преслѣдуемый „закономъ“, скрывается въ цыганской кочевой кибиткѣ. Мы видѣли только что, какими мрачными красками рисуетъ онъ это общество; но кто же такой самъ онъ, этотъ вольнолюбивый протестантъ, „поборникъ правъ человѣческаго достоинства“? Еще задолго до убійства Земфиры, въ которомъ фактически выразилась полная неспособность Алеко къ жизни въ новыхъ общественныхъ условіяхъ, поэтъ рисуетъ намъ его, какъ человѣка ревниваго, мстительнаго, эгоистичнаго. Самъ Алеко такъ характеризуетъ себя старику-цыгану:

.... Я, не споря,
Отъ правъ моихъ не откажусь,
Или хоть мщеніемъ наслажусь.
О, нѣтъ! Когда бъ надъ бездной моря
Нашелъ я спящаго врага,
Клянусь, и тутъ моя нога
Не пощадила бы злодѣя:
Я въ волны моря, не блѣднѣя,
И беззащитнаго-бъ толкнулъ;
Внезапный ужасъ пробужденья
Свирѣпымъ смѣхомъ упрекнулъ,
И долго мнѣ его паденья
Смѣшенъ и сладокъ былъ бы гулъ.

Не очевидно ли, что передъ нами продуктъ, вполне достойный создавшей его среды. Характеристика сдѣлана такими рѣз-

кими штрихами, что не может и сомнѣнія быть въ отрицательномъ отношеніи поэта къ своему герою. Если это сатира, то сатира вполне преднамѣренная, а не случайно лишь, по какому-то недоразумѣнію, вышедшая изъ „апофеоза“. Двойное убійство, совершенное Алеко, не является для читателей неожиданностью—они давно уже подготовлены къ этой страшной развязкѣ.

Основываясь на заключительныхъ стихахъ поэмы, Бѣлинскій высказываетъ догадку, что послѣ убійства въ Алеко зашевелился, наконецъ, человѣкъ. Возможно; но для цѣли поэмы это не имѣетъ особеннаго значенія. Цѣль уже достигнута. Основная идея поэмы вырисовывается намъ въ такомъ видѣ: личность тѣсно связана съ своей соціальной средой и, перенесенная въ новую обстановку, остается тѣмъ же, чѣмъ и была. Иными словами: *личность нельзя перевоспитать отдельно отъ соціального строя*. Отнюдь не относясь отрицательно къ основамъ европейской культуры, къ лучшимъ завоеваніямъ просвѣщенія и цивилизаціи, отнюдь не видя идеала общественной жизни въ „свободномъ“ бытѣ кочевыхъ дикарей, поэтъ, думается однако, выбралъ этотъ бытъ преднамѣренно, изъ желанія лучше отгнѣнить свою гуманную идею, свое отвращеніе къ укоренившемуся строю нашей жизни съ его кодексомъ фальшивыхъ и античеловѣчныхъ понятій.

Но въ такомъ случаѣ,—спросить, быть можетъ, читатель,—какой смыслъ имѣетъ „Эпилогъ“ поэмы:

..... Счастья нѣтъ и между вами,
Природы бѣдные сыны!
И подъ издранными шатрами
Живутъ мучительные сны;
И ваши сѣни кочевья
Въ пустыняхъ не спаслись отъ бѣдъ,
И всюду страсти роковыя,
И отъ судебъ защиты нѣтъ.

Критика давно уже отмѣчала странность этихъ заключительныхъ строкъ, не имѣющихъ никакой видимой связи съ содержаніемъ поэмы. Впрочемъ, какой-то мудрецъ,—изъ тѣхъ, что склонны умиляться рѣшительно передъ каждой строкой, принадлежащей великому писателю,—видѣлъ здѣсь высочайшую степень просвѣтлѣнія, „что-то греческое“... Мы, съ своей стороны, отказываемся видѣть какой-либо особенный смыслъ въ этихъ, въ сущности,

бессодержательныхъ стихахъ, чисто-механически пришитыхъ къ поэмѣ: быть можетъ, они были прибавлены поэтомъ изъ постороннихъ поэзіи соображеній, вродѣ, напр., желанія благополучнѣе проскочить сквозъ цензурныя сциллы и харибды...

IX.

Слѣдуя хронологическому порядку, мы должны перейти теперь къ „Борису Годунову“, къ этой первой русской драмѣ, достойной этого имени и, потому, имѣющей огромное историко-литературное значеніе. Въ поэтической дѣятельности самого Пушкина она играетъ особую роль, отмѣчая начало того періода, когда произведенія его озарились такимъ удивительнымъ внутреннимъ спокойствіемъ. Въ свое время многихъ изъ пламенныхъ поклонниковъ Пушкина спокойствіе это огорчило и даже оттолкнуло, будучи понято, какъ равнодушіе небожителя къ тревогамъ и страданіямъ земли, тогда какъ на дѣлѣ оно вытекало изъ гордой увѣренности поэта въ томъ, что правда въ концѣ-концовъ восторжествуетъ, человѣческое достоинство побѣдитъ. Воображеніе Пушкина постоянно преслѣдовала *идея возмездія*, таинственной карающей силы, рождающейся въ глубинахъ самой преступной души, но какимъ-то непостижимымъ для ума путемъ вліяющей и на внѣшнія событія: сила эта,—что-то вродѣ преобразованнаго рока древнихъ драмъ,—казнить не только преступившаго нравственный законъ, но часто влечетъ гибель и тѣхъ, кто, будучи самъ по себѣ невиненъ, связанъ съ преступникомъ узами крови или симпатій. Какъ оправдать, чѣмъ объяснить эту идею, владѣвшую такимъ отъ природы яснымъ, чуждымъ всякаго мистицизма духомъ, какъ Пушкинъ? Конечно, только однимъ: *его безграничной вѣрой въ силу добра и торжество правды, вѣрой въ человека и высокую красоту его души.*

Ни въ одномъ произведеніи Пушкина идея эта не выразилась съ такой силой и въ такой степени, какъ въ „Борисѣ Годуновѣ“.

Какъ извѣстно, Бѣлинскій ставилъ въ вину и Карамзину, и слѣпо принявшему его взглядъ Пушкину, что безъ достаточныхъ историческихъ основаній они признали Годунова убійцей царевича Дмитрія и всѣ его несчастія и самую гибель мелодраматически объяснили нечистой совѣстью, какъ послѣдствіемъ этого

злѣдѣнія. Собственное объясненіе Бѣлинскаго заслуживаетъ полнаго вниманія: историческій моментъ обязывалъ Бориса быть геніальнымъ царемъ, а не просто лишь умнымъ человекомъ, и въ этомъ, и только въ этомъ, заключалась причина его трагедіи. Но если возможно предъявить подобную претензію къ историку, то несправедливо дѣлать это по отношенію къ поэту. Единственная обязанность его передъ исторіей—дать исторически-правдоподобную картину быта, нравовъ и психики изображаемой эпохи, въ остальномъ онъ долженъ быть свободенъ. И драма Пушкина, какъ поэтическое воплощеніе въ живые, исторически-правдивые образы идеи нравственнаго возмездія, представляетъ въ своемъ родѣ неподобную вещь.

Страсть всей жизни Бориса, любовь къ власти, получила удовлетвореніе: онъ шестой годъ уже царствуетъ. Однако, душа его, полная безпокойства преступной совѣсти, не знаетъ счастья. Сердце народа почему-то не лежитъ къ вѣнценосному убійцѣ. Нѣтъ ему удачи ни въ государственныхъ предпріятіяхъ, ни даже въ семейной жизни. Все это наполняетъ тревогой суевѣрную душу Бориса и заставляетъ предчувствовать „небесный громъ и горе“. Такова психологическая завязка трагедіи. И вотъ, неожиданно приходитъ изъ-за границы извѣстіе о самозванцѣ. Буря, поднимающаяся въ Борисѣ при имени Димитрія, изображена въ разговорѣ его съ Шуйскимъ чисто-шекспировскими чертами:

Ц а р ь. Димитрія!.. Какъ? этого младенца?

Димитрія!.. Царевичъ, удались.

Ш у й с к і й (*про себя*). Онъ покраснѣлъ: быть бурѣ!..

Ө е о д о р ь. Государь,

Дозволишь ли?..

Ц а р ь. Нельзя, мой сынъ, поди.

(Өедоръ уходитъ).

Димитрія!..

Ш у й с к і й (*про себя*). Онъ ничего не знаетъ.

Ц а р ь. Послушай, князь: взять мѣры сей же часъ.

Чтобъ отъ Литвы Россія оградилась

Заставами; чтобъ ни одна душа

Не перешла за эту грань; чтобъ заяцъ

Не пробѣжалъ изъ Польши къ намъ; чтобъ воронъ

Не пролетѣлъ изъ Кракова. Ступай.

Ш у й с к і й. Иду.

Ц а р ь. Постой. Не правда-ль, эта вѣсть

Затѣйлива? Слыхалъ ли ты когда,

Чтобъ мертвые изъ гроба выходили

Допрашивать царей, царей законныхъ,
 Назначенныхъ, избранныхъ всенародно,
 Увѣчанныхъ великимъ патриархомъ?
 Смѣшно? А? Что? Что-жъ не смѣешься ты?

Ш у й с к і й. Я, государь?..

Въ слѣдующихъ сценахъ Борисъ продолжаетъ отчаянно защищать свою власть и ея законность. Но рокъ уже отяготѣлъ надъ нимъ. Легкомысленный и, въ сущности, симпатичный самозванецъ, избранный волею судьбы, какъ орудіе мщенія, побѣдоносно подвигается впередъ, несмотря на малочисленность войскъ, неоднократное ихъ пораженіе, собственные, наконецъ, ошибки. Борисъ бесѣдуетъ съ своимъ любимцемъ Басмановымъ.

Ц а р ь. Онъ побѣжденъ, какая польза въ томъ?
 Мы тщетно побѣдой увѣчались:
 Онъ вновь собралъ разсѣянное войско
 И намъ со стѣнъ Путивля угрожаетъ.
 Что дѣлають, межъ тѣмъ, герои наши?
 Стоять у Кромъ, гдѣ кучка казаковъ
 Смѣется имъ изъ-подъ гнилой ограды.
 Вотъ слава! Нѣтъ, я ими недоволенъ:
 Пошлю тебя начальствовать надъ ними,
Не родъ, а умъ постигаю въ воеводы;
Пушай ихъ спсѣ о мьстничествѣ тужить!
Пора презрѣть мнѣ ропотъ знатной черни
И тибельный обычай уничтожить.

Б а с м а н о в ъ. Ахъ, государь, стократъ благословенъ
 Тотъ будетъ день, когда Разрядны книги
 Съ раздорами, съ гордыней родословной
 Пожретъ огонь.

Ц а р ь. День этотъ недалекъ.

Эта бесѣда является какъ бы отвѣтомъ Пушкина на замѣчаніе Бѣлинскаго: когда историческая личность хочетъ основать свою славу, могущество и счастье на преступленіи противъ нравственнаго идеала, то отъ руки исторической немезиды не можетъ спасти его даже и гениальность! Борисъ питаетъ въ душѣ замыслы, достойные великаго государственнаго человѣка, но сердце его остается злобнымъ и умъ безнравственнымъ: „нѣтъ, милости не чувствуетъ народъ,—говорить онъ,—твори добро—не скажетъ онъ спасибо. Грабь и казни—тебѣ не будетъ хуже!“ Эти слова высказываются громко, въ присутствіи Басманова, какъ вопль отчаянія, сознанія, что часъ расплаты недалекъ и ничѣмъ

неотвратимъ. Внезапно Борисъ занемогаетъ и видитъ передъ собой смерть.

Могъ ли Борисъ Пушкина въ послѣднемъ предсмертномъ монологѣ явиться инымъ, чѣмъ какимъ былъ въ теченіе всей драмы? Нѣтъ, матеріалъ драмы не давалъ достаточныхъ внутреннихъ мотивовъ для настоящаго нравственнаго перерожденія; какъ великій художникъ, Пушкинъ почувствовалъ это и устоялъ противъ соблазна представить въ заключеніе подобную мелодраму: его Борисъ умираетъ Борисомъ.

.....О, Боже, Боже!

Сейчасъ явлюсь передъ Тобой—и душу

Мнѣ некогда очистить покаяньемъ!

Но чувствую, мой сынъ, ты мнѣ дороже

Душевнаго спасенья...

И не только сынъ, но и тронъ, власть, если не для себя самого, то хоть для своего потомства. Въ послѣдней бесѣдѣ съ царевичемъ Теодоромъ онъ преподаетъ ему совѣты, вполне достойные искушеннаго въ интригахъ политика...

Борисъ погибъ, но попорченная разъ идея правды не можетъ тотчасъ же остановиться въ своемъ мщеніи: должны пасть безвинной жертвой также и его сынъ Теодоръ, и жена Марія.

Однако, что же это за торжество правды!—готовъ воскликнуть возмущенный читатель: какой же смыслъ имѣетъ эта гибель неповинныхъ ни въ чемъ страдальцевъ? Какъ могъ не почувствовать этой вопіющей несправедливости самъ Пушкинъ? Нѣтъ, читатель, великій поэтъ отлично ее чувствовалъ, и въ заключительныхъ строкахъ трагедіи уже можно провидѣть кару исторіи за это новое злодѣйство.

Мосальскій. Народъ! Марія Годунова и сынъ ея Теодоръ отравили себя ядомъ. Мы видѣли ихъ мертвые трупы. (*Народъ въ ужасъ молчитъ*). Что же вы молчите? Кричите: да здравствуетъ царь Дмитрій Ивановичъ! (*Народъ безмолвствуетъ*).

Написанная три года спустя „Полтава“ (1828) по внутреннему смыслу тѣсно примыкаетъ къ „Борису Годунову“. Въ историческомъ отношеніи поэма эта подвергалась также строгимъ осужденіямъ. Пушкина упрекали въ томъ, что онъ, будто бы, невѣрно изобразилъ Мазепу низкимъ честолюбцемъ и темнымъ интриганомъ, для котораго не было ничего святого въ мірѣ

(хотя никто не привелъ вѣскихъ историческихъ свидѣтельствъ въ пользу и противнаго мнѣнія).

Немногимъ, можетъ быть, извѣстно,

.

Что онъ не вѣдаетъ святыни,

Что онъ не помнитъ благостыни,

Что онъ не любитъ ничего,

Что кровь готовъ онъ лить, какъ воду,

Что презираетъ онъ свободу,

Что вѣтъ отцизны для него.

Въ этой общей характеристикѣ, несомнѣнно, взяты сильно преувеличенный тонъ: это портретъ не живого человѣка, а какого-то демона... Однако, въ защиту Пушкина слѣдуетъ сказать, что, за исключеніемъ этихъ шести ультра-романтическихъ стиховъ первой пѣсни, на всемъ остальномъ протяженіи поэмы онъ является, по своему обыкновенію, вполне реальнымъ художникомъ, и въ его Мазепѣ мы видимъ живое лицо, правда, омраченное пороками, но не чуждое нѣкоторыхъ и чисто-человѣческихъ чертъ. Честолюбіе и жестокая мстительность—его главные демоны; но служить онъ этимъ низкимъ демонамъ не съ легкимъ сердцемъ. Рѣшась, въ примѣръ другимъ, казнить Кочубея, „Мазепа мраченъ, умъ его смущенъ жестокими мечтами“. По своему, онъ, несомнѣнно, любитъ и Марію и терзается мыслью, что ей придется выбирать между нимъ и отцомъ. Совѣсть его неспокойна,—звѣзды ночи глядятъ на него, какъ „обвинительныя очи“, и на крикъ пытаемаго въ башнѣ Кочубея Мазепа отвѣчаетъ не менѣе ужаснымъ крикомъ, выражающимъ, очевидно, не торжество удовлетворенной мести... Съ мѣста казни онъ удаляется, терзаясь „какой-то страшной пустотой“; послѣ побѣга Маріи, запершись въ ея свѣтлицѣ, сидитъ всю ночь, „нездѣшней мукою томимъ“.

Въ психологіи и судьбѣ Мазепы заключается основная идея поэмы, довольно близкая къ идеѣ „Бориса“: *человѣкъ не можетъ безнаказанно строить свое счастье на систематическомъ лицемеріи, обманѣ и лжи*. Правда жизни въ концѣ концовъ торжествуетъ и караетъ. Всѣ самыя смѣлыя мечты измѣнника, повидимому, близки къ осуществленію: заклятые враги казнены, Петръ одураченъ, побѣдоносный шведскій полководецъ идетъ къ Полтавѣ... И вотъ немощный, хилый еще вчера старикъ встаетъ

съ одра мнимой болѣзни, поднимаетъ знамя бунта и готовится пожинать лавры своего іезуитства. Однако, счастливъ ли, спокоенъ ли Мазепа? Нѣтъ, душу его томятъ мрачныя предчувствія, и, словно сознавая, что надъ нимъ уже тяготѣетъ рокъ, онъ не вѣритъ въ возможность побѣды. Орудіемъ мстящей правды является великій русскій царь.

Выходитъ Петръ. Его глаза
Сіяютъ. Ликъ его ужасенъ.
Движенія быстры. Онъ прекрасенъ.
Онъ весь какъ Божія гроза.

Какая сила въ этихъ быстрыхъ, отрывистыхъ предложеніяхъ! Какъ слышится тутъ близость и неотвратимость роковой развязки! И она идетъ съ неудержимой ничѣмъ стремительностью катящейся внизъ съ горы снѣжной лавины:

....Близокъ, близокъ мигъ побѣды.
Ура! мы ломимъ... гнутся шведы;
Еще напоръ—и врагъ бѣжить.
И слѣдомъ конница пустилась,
Убійствомъ тупятся мечи,
И падшими вся степь покрылась,
Какъ роемъ черной саранчи.

Поэма, собственно говоря, окончена. Ночевка Мазепы близъ хутора Кочубея и послѣднее свиданіе съ сумасшедшей Маріей, въ сущности, лишніе и нѣсколько даже мелодраматическіе штрихи. Жизнь Мазепы, частная и историческая, разбита навсегда и безповоротно: „онъ скачетъ съ бѣглымъ королемъ, и страшно взоръ его сверкаетъ, съ роднымъ прощаясь рубежомъ“.—Прошло столѣтъ, и что же досталось на долю человѣка, воздвигавшаго зданіе своего счастья на зыбкой почвѣ обмана и преступленій? Одно холодное и темное забвеніе.

Лишь въ торжествующей святынѣ
Разъ въ годъ аваемой донинѣ,
Грози, гремить о немъ соборъ...

„Полтава“ подвергалась нападкамъ критики не только съ исторической точки зрѣнія, но и еще болѣе—съ художественной. Находили, что слишкомъ ярко бьетъ въ глаза двойственность поэмы: съ одной стороны, передъ читателемъ разворачивается грандіозная историческая панорама—борьбы, добраго генія мо-

лодой Россіи, Петра Великаго, съ Карломъ XII и съ темными силами мазепинскаго бунта, съ другой—вниманіе отвлекается частной и совершенно несоизмѣримой по значенію съ первой темой любовной исторіей Мазепы съ малороссійской красавицей. Въ особенную вину ставилось Пушкину, между прочимъ, то, что названіемъ „Полтава“ онъ какъ-бы давалъ читателямъ право ожидать эпической поэмы съ Петромъ Великимъ въ качествѣ главнаго героя, а на дѣлѣ далъ какое-то хаотическое произведеніе, гдѣ можно найти всего понемножку *). Какой бы, однако, строгій приговоръ ни вынесли „Полтавѣ“ ревнители законовъ эпитического искусства, поэма эта навсегда останется, по нашему мнѣнію, однимъ изъ лучшихъ украшеній русской поэтической литературы. Нѣкоторые частные ея недостатки настолько выкупаются массой достоинствъ, что положительно тонутъ среди нихъ и остаются незамѣтными. Прекрасный образъ Маріи, сильной характеромъ и любовью,—„какъ цѣломудріемъ, гордой своимъ позоромъ“,—одинъ изъ лучшихъ въ длинной галлерей женскихъ портретовъ Пушкина. Это одна изъ варіацій типа черкешенки: съ гибелью любви для Маріи жизнь теряетъ всякую прелесть и всякій смыслъ, и она сходитъ съ ума. Тѣ мѣста поэмы, гдѣ появляется Петръ Великій, рѣшительно выше похвалъ. Простодушная довѣрчивость царя (свойство истиннаго героя) къ прослужившему ему двадцать лѣтъ вѣрой и правдой Мазепѣ; его гнѣвъ на измѣнника и раскаяніе въ жестокой расправѣ съ невинными Искрой и Кочубеемъ; участіе въ Полтавской битвѣ; наконецъ, отношеніе къ побѣжденнымъ шведамъ,—все это обрисовываетъ Петра во весь ростъ и такими красками, которыя никогда не забываются. Передъ нами не просто портретъ, а, словно, изъ желѣза или гранита изсѣченная статуя...

Но величавый образъ Петра имѣетъ не одно лишь художественное значеніе. Это постоянное тяготѣніе Пушкина къ вели-

*) Именно по поводу «Полтавы» Надеждинъ въ «Вѣстникѣ Европы» (1829 г.), за подписью «Съ патріаршихъ прудовъ», наговорилъ по адресу Пушкина много жесткихъ и прямо даже грубыхъ вещей: «Для *генія* не довольно смастерить *Евгенію*»; «Пушкина по всѣмъ правамъ нужно назвать *геніемъ* на каррикатуры», и потому самое лучшее его твореніе—«Графъ Нулинъ»... «Привыкнуши зубоскалить», онъ не выдерживаетъ критики тамъ, гдѣ пытается быть серьезнымъ, какъ, напр., въ «Полтавѣ». Слѣдуетъ рядъ самыхъ мелкихъ и подчасъ недобросовѣстныхъ придирокъ историческаго, художественнаго, а всего больше грамматическаго свойства.

кому преобразователю Россіи достойно особеннаго вниманія: кромѣ „Полтавы“, поэтъ посвятилъ ему еще одну изъ своихъ лучшихъ поэмъ, затѣмъ неоконченный романъ въ прозѣ, также обѣщавшій быть замѣчательной вещью, и нѣсколько превосходныхъ мелкихъ стихотвореній. Наконецъ, Пушкинъ собиралъ матеріалы для исторіи Петра Великаго... Почему же не какая-нибудь другая историческая фигура занимала въ такой степени его воображеніе и привлекала симпатіи? Воспѣвалъ же одинъ изъ знаменитыхъ поэтовъ позднѣйшаго періода—Ивана Грознаго, умилялся мыслію о томъ, что

. быть можетъ, никогда
На свѣтѣ пламеннѣй души не появлялось,

и пророчилъ, что „день“ этого тирана еще наступитъ на Руси?.. Пушкинъ прошелъ мимо Ивана, какъ прошелъ мимо и многихъ другихъ прославленныхъ фигуръ родной исторіи, и до послѣдняго издыханія воспѣвалъ могучій образъ Петра. Что же плѣняло его въ этомъ образѣ? Неужели же только внѣшняя мощь и слава?

Говорятъ, будто въ послѣдніе годы жизни Пушкинъ переживалъ серьезное колебаніе въ своихъ бывшихъ отношеніяхъ къ великому реформатору; г. Спасовичъ находитъ, напримѣръ, образчикъ такого колебанія въ поэмѣ „Мѣдный Всадникъ“. Сынъ извѣстнаго поэта, кн. П. П. Вяземскій, свидѣтельствуешь, будто въ не пропущенномъ цензурой первоначальномъ текстѣ этой поэмы, въ рѣчи чиновника Евгенія, обращенной къ Мѣдному Всаднику, существовало одно полное энергичнаго негодованія мѣсто (стиховъ въ 30), гдѣ посылались проклятія не только Петру, но и всей европейской цивилизаціи...

Намъ думается, однако, что всѣ эти мнѣнія и свидѣтельства слѣдуетъ принимать cum grano salis. Дѣло въ томъ, что Пушкинъ никогда не относился къ своему любимому герою съ дѣтски-слѣпой любовью, а всегда вполнѣ сознательно, хорошо будучи освѣдомленъ не только объ его положительныхъ, но также и отрицательныхъ сторонахъ. Доступъ къ архивамъ давалъ ему возможность непосредственнаго ознакомленія, по историческимъ документамъ, съ доходившею до свирѣпости жестокостію личнаго характера Петра: документы эти, говоритъ Анненковъ,—свидѣтельствуя о величіи царя, вмѣстѣ съ тѣмъ и ужасали, такъ какъ

почти съ каждаго листа ихъ капала живая человѣческая кровь... Вотъ что значитъ, между прочимъ, въ замѣткахъ Пушкина къ „Исторіи Петра Великаго“: „Достойна удивленія разность между государственными учрежденіями П. В. и временными его указами. Первыя суть плоды ума обширнаго, исполненнаго доброжелательства и мудрости; вторыя, нерѣдко жестокія, своенравныя и, кажется, писаны кнутомъ. Первыя были для вѣчности, или, по крайней мѣрѣ, для будущаго; вторыя—вырвались у нетерпѣливаго, самовластнаго помѣщика. NB. Это внести въ исторію Петра, обдумавъ“ *). Въ этихъ строкахъ виденъ твердый и глубоко продуманный взглядъ философа, а никакъ не увлекающагося поэта, который, увидавъ кровь тамъ, гдѣ предполагалъ увидѣть одни цвѣты, въ ужасѣ закрылъ бы рукой глаза и по-институтски бѣжалъ прочь. Пушкинъ, очевидно, умѣлъ глубоко проникнуть въ корень вещей и за вѣшной самовластной жестокостью Петра видѣть то, что было для него всего дороже—грядущее обновленіе варварскаго отечества. Поэтъ видѣлъ, что могучая и многосторонняя дѣятельность „чудотворца-исполина“ одухотворена была одной идеей, оставлявшей далеко позади не только его личное „я“, но и самый его вѣкъ, идеей, которая съ роковой силой влекла его впередъ, заставивъ пожертвовать—пускай даже безъ настоятельной нужды—собственнымъ сыномъ.

Что касается свидѣтельства кн. Вяземскаго о какомъ-то не пропущенномъ цензурой монологѣ изъ „Мѣдн. Всадника“, то это несомнѣнный мифъ. Общеизвѣстный фактъ, что хорошіе стихи, бѣгло прочитанные въ рукописи или прослушанные въ чтеніи, въ печати всегда кажутся потомъ слабѣе и блѣднѣе: наша собственная фантазія расцвѣчаетъ ихъ небывало-яркими красками... То же самое могло случиться и съ кн. Вяземскимъ; не трудно вообразить, какое глубокое впечатлѣніе произвели на молодого человѣка слѣдующіе стихи поэмы, прочтенные въ рукописи:

*) Время написанія этой замѣтки въ точности неизвѣстно, но почти тѣ же мысли о Петрѣ Великомъ высказывалъ Пушкинъ еще въ кишиневскихъ (1822 г.) историческихъ наброскахъ: «Геній его вырывался за предѣлы своего вѣка», но онъ «не страшился народной свободы, несминуемаго слѣдствія просвѣщенія, ибо довѣрялъ своему могуществу и презиралъ человѣчество, можетъ быть, болѣе, чѣмъ Наполеонъ»; «всѣ состоянія, окованныя безъ разбора, были равны предъ его дубинкою (курсивъ Пушкина)».

. Онъ узналъ
 И мѣсто, гдѣ потопъ игралъ,
 Гдѣ волны хищныя толпились,
 Бушующа злобно вкругъ него,
 И львовъ, и площадь, и того,
 Кто неподвижно возвышался
 Во мракѣ мѣдною главою,
 Того, чьей волей роковой
 Надъ моремъ городъ основался...
 Ужасенъ онъ въ окрестной мѣлѣ!
 Какая дума на челѣ!
 Какая сила въ немъ сокрыта!
 А въ семь конь какой огонь!
 Куда ты скачешь, гордый конь,
 И идъ опустишь ты копыта?
 О, мощный властелинъ судьбы!
 Не такъ ли ты надъ самою бездною,
 На высоту, уздой жемчужной
 Россію вздернулъ на дыбы?
 Кругомъ подножія кумира
 Безумецъ бѣдный обошелъ
 И взоры дикіе навелъ
 На ликъ державца полуміра.
 Стѣснилась грудь его. Чело
 Къ рѣшеткѣ холодной прилегло,
 Глаза подернулись туманомъ.
 По сердцу пламень пробѣжалъ,
 Вскипѣла кровь... Онъ мрачно сталъ
 Предъ горделивымъ истуканомъ—
 И, зубы стиснувъ, пальцы сжавъ,
 Какъ обуянный силой черной:
 „Добро, строитель чудотворный!“
 Шепнулъ онъ злобно, задрожавъ:
 „Ужо тебѣ!...“ И вдругъ стремглавъ
 Бѣжать пустился...

и т. д.

Подчеркнутые нами въ этомъ отрывкѣ стихи не пропускались
 въ началѣ цензурой, и еще въ статьяхъ Бѣлинскаго о Пушкинѣ,
 гдѣ цитируется какъ разъ это самое мѣсто, ихъ нѣтъ. Да и
 остальное значительно смягчалось и ослаблялось; такъ, у Бѣлин-
 скаго читаемъ:

... И львовъ, и площадь, и Того,
 Кто неподвижно возвышался
 Во мракѣ мѣдной головой
 И съ распростертою рукою

Какъ будто градомъ любовался.
 Безумецъ бѣдный обошелъ
 Кругомъ скалы съ тоскою дикой
 И надпись яркую прочелъ,
 И сердце скорбію великой
 Стѣснилось въ немъ. Его чело
 Къ рѣшеткѣ холодной прилегло,
 Глаза подернулись туманомъ,
 По членамъ холодъ пробѣжалъ,
 И вздрогнулъ онъ—и мрачно сталъ
 Предъ дивнымъ русскимъ великаномъ.
 И, перстъ свой на него поднявъ,
 Задумался... Но вдругъ стремглавъ
 Бѣжать пустился...

и т. д.

Про эти исправленные, страха ради іудейска, стихи можно по справедливости сказать: и то, да не то!.. Мы удивляемся одному, что князю Вяземскому пропускъ показался всего только въ тридцать стиховъ, а не въ цѣлую сотню *)!

Въ неизмѣнномъ тяготѣніи симпатій Пушкина къ Петру мы видимъ не что иное, какъ одну изъ сторонъ высокаго гуманизма его натуры. Гуманность въ широкомъ смыслѣ этого слова,—по вѣрному толкованію Бѣлинскаго,—есть безконечное уваженіе къ достоинству человѣка, какъ человѣка. Такимъ образомъ, понятіе это обнимаетъ собою и личную нравственность, и все то, что ведетъ къ улучшенію формъ общественной жизни, свободу и просвѣщеніе. Если личная нравственность и частные интересы вступаютъ въ столкновеніе съ требованіями общественнаго блага, то правильно понятая гуманность требуетъ, чтобы ихъ принесли въ жертву этому послѣднему: такой именно смыслъ имѣетъ поэма Пушкина „Мѣдный Всадникъ“ (1833), проникнутая свѣтомъ высокой внутренней гармоніи.

Красуйся, градъ Петровъ, и стой
 Неколебимо, какъ Россія!
 Да умирится же съ тобой
 И побѣжденная стихія!

*) Пущенная кн. Вяземскимъ легенда, однако, упорно держится въ нашей литературѣ. Въ упомянутой уже интересной книгѣ «Изъ исторіи русскаго общества» В. А. Мякотинъ также приводитъ ее, въ доказательство того, что къ концу жизни поэта, будто бы, «ослабляется прежнее благоговѣйное отношеніе его къ Петру В.»

Вражду и плѣнъ старинный свой
Пусть волны финскія забудутъ
И тщетной злобою не будутъ
Тревожить вѣчный сонъ Петра!

X.

Логическая и поэтическая связь „Мѣднаго Всадника“ съ „Полтавой“, а „Полтавы“ съ „Борисомъ Годуновымъ“ заставила насъ говорить объ этихъ произведеніяхъ раньше „Евгенія Онѣгина“. Впрочемъ, „любимое дитя фантазіи поэта“ (какъ называется этотъ романъ Бѣлинскій) писалось цѣлыхъ десять лѣтъ (1822—31), и послѣднее творческое соур de main было сдѣлано Пушкинымъ уже въ тридцатыхъ годахъ, такъ что приурочить его къ одному опредѣленному моменту и невозможно.

На фонѣ широкой бытовой картины двадцатыхъ годовъ, картины, которая и сама по себѣ имѣла бы огромное литературное значеніе, поэтъ опять ставитъ здѣсь передъ читателемъ вопросъ о любви, которому всегда придавалъ такое серьезное и важное значеніе въ человѣческой жизни. Мы уже говорили о томъ, что первоначальнымъ эскизомъ „Евгенія Онѣгина“ можно назвать юношескую поэму „Кавказскій Плѣнникъ“, герой которой является прототипомъ Онѣгина, а героиня—Татьяны. Характеры эти, по видимому, глубоко интересовали Пушкина, и теперь онъ снова возвращается къ нимъ, рисуя въ болѣе широкихъ рамкахъ и ставя въ нѣсколько иныя положенія. Черкешенку замѣнила Татьяна, дѣвушка, обладающая не менѣе цѣльной натурой, но развивавшаяся не въ дикой инородческой средѣ, а въ простотѣ русскихъ провинціальныхъ нравовъ. Многіе изъ комментаторовъ Пушкина готовы были увидать въ лицѣ Татьяны пушкинскій идеалъ русской женщины; нетрудно было бы доказать въ такомъ случаѣ узость и даже реакціонность взглядовъ Пушкина на женщину. Но дѣло въ томъ, что нѣтъ рѣшительно никакихъ основаній считать Татьяну „идеаломъ“ Пушкина въ прямомъ смыслѣ этого слова. Одно только не подлежитъ сомнѣнію, что онъ симпатизируетъ ей, какъ сильной и непосредственной натурѣ; но, поэтъ-реалистъ, всегда до болѣзненности чуткій къ художественной правдѣ, онъ счелъ своей обязанностью нарисовать не какую-то идеальную отвлеченность, а живую личность, которой были бы свойственны всѣ недостатки и заблужденія среды и эпохи. Свѣт-

ская барышня, его Татьяна невѣжественна и суевѣрна не меньше своей няни: она вѣритъ въ вѣщіе сны, въ святочные гаданья, въ непререкаемость авторитета Мартына Задеки; ради слезъ старухи-матери, она считаетъ нравственно - возможнымъ торговать собственнымъ сердцемъ и совѣстью, связать свою молодую жизнь съ нелюбимымъ старикомъ. Все это такія черты, которыя Пушкинъ, судя по всему, что мы о немъ знаемъ, не могъ признавать идеальными, но, великій художникъ, онъ чувствовалъ необходимость надѣлать ими „любимое дитя своей фантазіи“,—и получилось чудо искусства, удивительно жизненный и вмѣстѣ плѣнительный образъ. Да, плѣнительный, не смотря ни на что. Полюбивъ Онѣгина, Татьяна не останавливается ни передъ чѣмъ: ни принятая приличія, ни собственная стыдливость не удерживаютъ ее отъ героическаго рѣшенія—первой открыть свое чувство. Ту же силу характера видимъ мы въ ней и впоследствии, когда, сохранивъ любовь къ Евгению и встрѣтивъ съ его стороны взаимность, она добровольно отрекается на этотъ разъ отъ счастья во имя того, что считаетъ своимъ долгомъ. Пусть ея фраза—

Но я другому отдана,
Я буду вѣкъ ему вѣрна,—

съ современной точки зрѣнія, представляетъ извращенное понятіе долга, звучитъ дико, чтобы не сказать больше, — важенъ самый фактъ, что человѣкъ способенъ жертвовать своимъ счастьемъ во имя идеи долга. Измѣнится среда, расширится кругозоръ и понятіе долга получить иное содержаніе...

„Содержаніе поэтическаго типа этой дѣвушки,—говоритъ проф. Кирпичниковъ въ статьѣ о Пушкинѣ, въ энциклоп. словарь Брокгауза и Ефрона,—великая заслуга Пушкина, имѣвшая важное историческое значеніе: отсюда тургеневскія женщины и женщины „Войны и мира“, отчасти и позднѣйшее стремленіе русскихъ женщинъ къ подвигу“.

Не *отсюда*, конечно, стремленіе русскихъ женщинъ къ подвигу, но мы согласны съ проф. Кирпичниковымъ, что въ этомъ стремленіи выразилась та же душевная черта, которая характеризуетъ и Татьяну Ларину.

Въ личности этой дѣвушки и въ ея романѣ съ Евгениемъ выраженъ Пушкинымъ его взглядъ на любовь, какъ на главный элементъ жизни; но центральный смыслъ произведенія заключается

все-таки не въ героинѣ, а въ героѣ и его страданіяхъ. Страданія Онѣгина!—восклицалъ Писаревъ:—да вѣдь вся ихъ причина—ограниченность объема человѣческаго желудка? И можно-ли серьезно говорить о страданіяхъ этого свѣтскаго хлыща, когда почти въ то же время другой великій поэтъ русскій изобразилъ намъ настоящаго героя съ его „миллионъ“ дѣйствительныхъ, настоящихъ „терзаній“? Писаревъ былъ бы тысячу разъ правъ, если-бы Пушкинъ изобразилъ намъ своего Онѣгина стоящимъ на какомъ-то пьедесталѣ, безконечно выше всей окружающей его среды, въ ореолѣ какихъ-либо непонятыхъ мученій и несправедливаго гоненія. Но ничего подобнаго Пушкинъ не сдѣлалъ. Напротивъ, онъ надѣлилъ Евгенія всѣми недостатками, пороками и слабостями свѣтской среды и заставилъ его, изъ одной боязни ядовитыхъ толковъ этой среды, убить молодого пріятеля, убить дико и бессмысленно, безъ всякаго серьезнаго повода и мотива. Одно только оставилъ онъ Онѣгину: недюжинный умъ и простую порядочность поведенія, и ужъ, конечно, онъ не характеризовалъ бы его словами „добрый малый“, если бы думалъ представить настоящимъ героемъ. Вспомнимъ, какъ обрисовалъ Лермонтовъ своего Печорина, это дальнѣйшее видоизмѣненіе и развитіе онѣгинскаго типа: Печоринъ ни въ какомъ случаѣ не „добрый малый“,—онъ окруженъ ореоломъ таинственности, непризнанной гениальности... Въ Онѣгинѣ же все въ высшей степени ясно и просто, ничто не выходитъ изъ рамокъ обыденной жизни съ ея обыкновенными, средняго роста людьми. Не разъ утверждали, будто въ Онѣгинѣ Пушкинъ изобразилъ самого себя; возможно, что и дѣйствительно онъ находилъ въ себѣ (какимъ былъ въ эпоху молодости) нѣкоторыя онѣгинскія черты. Однако, значить ли это, что онъ хотѣлъ ихъ идеализировать? Мы не думаемъ также, что въ Онѣгинѣ слѣдуетъ видѣть сатирическій типъ. Это просто—ярко и безпристрастно очерченный характеръ современнаго „добраго малаго“, которому поэтъ, если хотите, даже симпатизируетъ, но въ лицѣ котораго хочетъ изобразить весь ужасъ жизни, лишенной не только идеала, но и всякаго человѣческаго содержанія.

„Евгеній Онѣгинъ“ начатъ былъ значительно раньше „Цыганъ“, а оконченъ значительно позже ихъ, и намъ кажется, что въ Евгеніи и Алеко, главныхъ герояхъ того и другого произведенія, выразилось приблизительно одно и то же настроеніе авто-

ра, одна и та же мысль. Въ самихъ характерахъ героевъ можно найти много общаго: Алеко—варіація романтическая, Онѣгинъ—реальная. Оба одинаково тяготятся пустотой и пошлостью окружающей жизни, но Алеко въ концѣ концовъ находитъ мнимое средство излѣчить свою душевную тоску, и, порвавъ съ ненавистнымъ обществомъ, уходитъ въ цыганскій таборъ; менѣе театральный Онѣгинъ, столь же презирая и ненавидя общество, продолжаетъ жить въ немъ, быть рабомъ всѣхъ установленныхъ приличій и условій свѣта, и не видитъ даже возможности какого-либо протеста, хотя въ душѣ, какъ и у Алеко, у него копошится какой-то несознанный идеалъ, стремленіе къ какой-то лучшей, болѣе осмысленной долѣ.

Когда бы жизнь домашнимъ кругомъ
Я ограничить захотѣлъ...

.....
Когда-бъ семейственной картиной
Плѣнился я хоть мигъ единый

.....
Нашедъ мой прежній идеалъ,
Я, вѣрно-бъ, васъ одну избралъ
Въ подруги дней моихъ печальныхъ,
Всего прекраснаго въ залогъ,
И былъ бы счастливъ...сколько могъ.

Такъ исповѣдуются Онѣгинъ передъ Татьяной, въ отвѣтъ на ея простодушное признаніе въ любви. Но—

Мечтамъ и годамъ нѣтъ возврата,
Не обновлю души моей!

„Прежній идеалъ“, идеалъ мирной семейной жизни съ любимымъ человекомъ, утраченъ. Но хочетъ ли Онѣгинъ сказать этимъ, что этотъ утраченный идеалъ замѣнили для него шатанье по баламъ, званье въ театрахъ и обѣды въ ресторанахъ съ цыганками, что эту жизнь признаетъ онъ „кругомъ“ болѣе широкимъ и цѣннымъ? Конечно, нѣтъ. Уже въ первой главѣ романа мы видимъ его глубоко разочарованнымъ въ „мертвящемъ упоеньи свѣта“. Такимъ образомъ, всѣ прежніе идеалы разбиты и осмѣяны, и ничто не замѣнило ихъ, кромѣ неотступной хандры, результата полной безнадёжности.

Какъ и Алеко, Онѣгинъ—въ полномъ смыслѣ слова дитя своего общества, и для него также нѣтъ никакой надежды на воз-

рожденіе. Алеко, правда, обольщался мыслью, что дѣло въ томъ только, чтобы сумѣть бросить общество и стать въ новыя условія жизни, но дѣйствительность разбила эту мечту; Онѣгинъ тоже ошибочно объясняетъ свои страданія своей душевной охлажденностью и усталостью, тѣмъ, что онъ „не созданъ для блаженства“, и естественно поэтому, что когда въ сердцѣ его вспыхиваетъ, наконецъ, страсть къ Татьянѣ, изъ скромной сельской барышни преобразившейся въ гордую и окруженную общимъ поклоненіемъ княгиню, то онъ думаетъ, что это—возрожденіе.

....Видѣть васъ,
Повсюду слѣдовать за вами,
Улыбку устъ, движеніе глазъ
Ловить влюбленными глазами,
Внимать вамъ долго, понимать
Душой все ваше совершенство,
Предъ вами въ мукахъ замирать,
Блѣднѣть и гаснуть—*вотъ блаженство!*

Но Татьяна проникательнѣе его. Безсознательно продолжая любить Онѣгина, она отлично понимаетъ всю „обидность“ для нея его страсти, понимаетъ, что и на этотъ разъ онъ является опять лишь „чувства мелкаго рабомъ“.

...Мой позоръ
Теперь бы всѣми былъ замѣченъ
И могъ бы въ обществѣ принести
Вамъ соблазнительную честь.
.....
...Что къ моимъ ногамъ
Васъ привело? Какая малость!
.....
*А мнѣ, Онѣгинъ, пышность эта,
Постылой жизни мишура,
Мои успѣхи въ вихрѣ свѣта,
Мой модный домъ и вечера—
Что въ нихъ?*

Въ этомъ маленькомъ „а мнѣ“ сколько сказано! Сколько презрѣнія въ немъ къ Онѣгину, увѣренности, что для него вся эта постылая мишура жизни—не совсѣмъ мишура, что, какъ ни сознавая Онѣгинъ *умомъ* всю бессмыслицу и пошлость свѣтской жизни, на дѣлѣ онъ никогда не сможетъ порвать съ нею и останется рабомъ навсегда *).

*) Между прочимъ, довольно странное объясненіе отношеній Татьяны

Да, Онѣгинъ—рабъ своей среды и эпохи, рабъ по воспитанію, привычкамъ, склонностямъ; но умомъ и душевными запросами, хотя и слабо сознанными, онъ возвышается надъ своимъ вѣкомъ, и въ его бессознательномъ недовольствѣ („хандрѣ“) Пушкинъ выразилъ первый зарождающійся протестъ самого общества противъ безъидейности и антигуманной безсодержательности своего существованія.

XI.

Въ поэмѣ „Галубъ“ (1829) Пушкинъ возвратился къ воспитанію имъ въ молодости Кавказу, и здѣсь, въ прелестной рамкѣ горной природы, на фонѣ дикихъ черкесскихъ нравовъ, нарисовалъ яркую картину столкновенія человѣчной по натурѣ личности съ безчеловѣчнымъ по традиціямъ и привычкамъ обществомъ. Поэма, къ сожалѣнію, не окончена, и мы можемъ лишь приблизительно гадать, въ какой именно формѣ и въ какихъ подробностяхъ была бы развита далѣе интересная тема (оставшіеся въ рукописяхъ „планы“ чересчуръ кратки и неопредѣленны). Не даетъ ли право названіе „Галубъ“ предполагать, что главнымъ героемъ поэмы, по замыслу Пушкина, долженъ былъ явиться не юный Тазитъ, а его престарѣлый отецъ? Не думалъ ли Пушкинъ представить здѣсь нравственное просвѣтленіе отца-звѣря черезъ борьбу съ сыномъ-человѣкомъ? Кромѣ заглавія, не указываютъ ли на такой именно замыселъ и слова старика, воспитателя Тазита, обращенныя къ Галубу въ самомъ началѣ поэмы:

къ Онѣгину находимъ у г. Южакова. Онъ дѣлаетъ, прежде всего, ничѣмъ не доказываемое предположеніе, что Онѣгинъ любитъ Татьяну и во время первой встрѣчи съ нею; затѣмъ отказъ Татьяны отъ любви (при второй встрѣчѣ) объясняетъ такъ: «Любить значитъ жить, а жить человѣкъ не можетъ внѣ общества. Жизнь вдвоемъ хороша лишь въ пасторальныхъ идилліяхъ, а въ дѣйствительности это—*pop sans*, котораго не перенесетъ никакая любовь, потому что никакая любовь не въ состояніи наполнить собою *все* существованіе человѣка. Въ положеніи Татьяны, чтобы дать волю любви, надо выйти изъ общества, надо жизнь домашнимъ кругомъ ограничить, а чтобы выйти изъ общества, надо впередъ примириться съ потерей любви, потому что жизнь не терпитъ такого ограниченія». По нашему мнѣнію, Татьяной вовсе не руководили такія сложныя размышленія о будущемъ счастья или несчастья съ Онѣгинымъ; мы вѣримъ ей на слово, что балы, театры и прочая «ветошь маскарада» не были для нея тождественны съ «жизнью».

Труды мои ты самъ оцѣнишь—
Хвалиться ими не могу.

Пушкинъ ничего не ронялъ даромъ, изъ любви къ многоглаголанью, и всякій штрихъ, даже и самый мелкій, имѣетъ въ его произведеніяхъ свой смыслъ и цѣлесообразность.

Въ 1830 году написанъ Пушкинымъ „Скупой рыцарь“. По краткости дѣйствія (всего только три сцены) и въ то же время полнотѣ развитія основной идеи, по совершенству сочетанія ея съ формой, не позволяющему подмѣнить и тѣни какого-либо морализированія, наконецъ, по красотѣ и чисто-пластической ясности стиха, сцены эти являются, быть можетъ, лучшимъ изъ всего, когда-либо написаннаго Пушкинымъ въ драматической формѣ. Самъ Пушкинъ далъ имъ подзаголовокъ „Изъ Ченстоновой трагедіи“; однако, даже записные знатоки англійской литературы не могли отыскать въ ней драматурга Ченстона, и можно считать не подлежащимъ сомнѣнію, что настоящимъ авторомъ „Скупого рыцаря“ былъ самъ Пушкинъ.

Баронъ (скупой рыцарь) предается своей пагубной страсти, сознательно подавляя въ себѣ все человѣческое и отказываясь отъ полноты жизни и счастья:

Кто знаетъ, сколькихъ горькихъ воздержаній,—
говоритъ онъ,

Обузданныхъ страстей, тяжелыхъ думъ,
Дневныхъ заботъ, ночей безсонныхъ мнѣ
Все это стоило? Иль скажетъ сынъ,
Что сердце у меня обрѣсло мохомъ,
Что я не зналъ желаній, что меня
И совесть никогда не грызла?..

Такое уродство неизбежно должно было привести къ трагической развязкѣ.

Та же идея необходимости разносторонняго и гармоническаго развитія человѣческой личности не менѣе рельефно выражена въ драматическихъ же сценахъ „Моцартъ и Сальери“. Въ лицѣ Моцарта мы видимъ, въ изображеніи Пушкина, человѣка, живущаго полною жизнью; искусство является для него лишь частью общаго цѣлаго, хотя, быть можетъ, и наиболѣе драгоцѣнной. Искусство и все свѣтлое въ жизни тѣсно слиты для него между собою, и потому-то гений и злодѣйство, въ его представленіяхъ, вещи несо-

вмѣстимыя... Въ Сальери, наоборотъ, одна изъ сторонъ жизни уродливо развита въ ущербъ другимъ: искусство для него безконечно выше и жизни, и самой правды, и весьма естественно, что Моцартъ кажется ему недостойнымъ жрецомъ божества.

О, небо!

Гдѣ-жъ правота, когда священный даръ,
Когда безсмертный геній—не въ награду
Любви горящей, самоотверженія,
Трудовъ, усердія, моленій посланъ,
А озаряетъ голову безумца,
Гуляки празднаго?..

Вотъ почему онъ, „Сальери гордый“, никогда прежде не унижавшійся до чувства зависти (даже когда явился „великій“ Глюкъ), теперь весь отдается мучительной страсти, которая и доводитъ его до убійства друга. Но эта страсть не есть, собственно, зависть въ примитивномъ видѣ.

Немногимъ произведеніямъ Пушкина посчастливилось въ такой мѣрѣ, какъ написанному въ томъ же 1830 году „Каменному Гостю“: критика очень рано оцѣнила его идейное значеніе и признала шедевромъ художественнаго творчества. Бѣлинскій называлъ эту драму богатѣйшимъ, роскошнѣйшимъ алмазомъ въ поэтическомъ вѣнкѣ Пушкина. „Для кого существуетъ,—писалъ онъ,—искусство, какъ искусство, въ его идеалѣ, въ его отвлеченной сущности, для того „Каменный Гость“ не можетъ не казаться безъ всякаго сравненія, лучшимъ и высшимъ, въ художественномъ отношеніи, созданіемъ Пушкина... Какая дивная гармонія между идеею и формою! Какой стихъ, прозрачный, мягкій...“ и пр., и пр. Надо, однако, сознаться, что анализъ драмы, даваемый вслѣдъ затѣмъ Бѣлинскимъ, не вполне оправдываетъ этотъ восторженный приговоръ.

Мы приводили уже мнѣніе Шевырева о томъ, что въ „Каменномъ Гостѣ“ ярче всего выразилось глубокое пониманіе Пушкинымъ неразрывной, тѣсной связи изящнаго съ нравственнымъ; приблизительно то же говоритъ и Бѣлинскій: „Донъ-Жуанъ посвятилъ свою жизнь наслажденію любовью, не отдаваясь однако-жъ ни одной женщинѣ исключительно. Это путь ложный.—Оскорбленіе не условной, но истинно-нравственной идеи влечетъ за собой наказаніе, *разумѣется, нравственное же*“. Но въ чемъ видитъ критикъ „нравственное“ наказаніе Донъ-Жуана въ драмѣ „Каменный Гость“?

„Самымъ естественнымъ наказаніемъ Донъ-Жуана могла бы быть истинная страсть къ женщинѣ, которая или не раздѣляла бы этой страсти, или сдѣлалась бы ея жертвою. Кажется, Пушкинъ это и думалъ сдѣлать: по крайней мѣрѣ, такъ заставляетъ думать послѣднее, изъ глубины души вырвавшееся у Донъ-Жуана, восклицаніе: „О, донна Анна!“—когда его увлекаетъ статуя“ *).

Это было бы, конечно, прекрасно, если бы не *казалось* только, а было такъ въ дѣйствительности; но точно ли Донъ-Жуанъ любить донну Анну настоящей человѣческой любовью? Правда, онъ краснорѣчиво увѣряетъ ее, что не любилъ донинѣ ни одной изъ многочисленныхъ своихъ любовницъ; но недурно отвѣчаетъ ему на эти увѣренія и податливая вдова командора:

И я повѣрю,

Чтобъ Донъ-Жуанъ влюбился въ первый разъ,

Чтобъ не искалъ во мнѣ онъ жертвы новой!

Донъ-Жуанъ. Когда бъ я васъ обманывать хотѣлъ,

Признался ль бы, сказать бы я то имя,

Которое не можете вы слышать?

Гдѣ жъ видны тутъ обдуманность, коварство?

Донна Анна. Кто знаетъ васъ?

Вотъ именно: кто знаетъ Донъ-Жуана!.. Еще меньше можно основываться на его заключительномъ крикѣ, который можетъ выражать и простой ужасъ.

Такимъ образомъ, внутренней драмы въ душѣ героя, въ противность своему обыкновенію, поэтъ совсѣмъ на этотъ разъ не показалъ намъ, а ограничился казнью его чисто-внѣшней. Правда, въ послѣднемъ отношеніи Пушкинъ былъ связанъ легендой, но высшая тайна искусства, которою онъ обладалъ въ совершенствѣ, заключается въ умѣнн и чисто-внѣшнія положенія озарять свѣтомъ глубокаго внутренняго смысла. Въ „Каменномъ Гостѣ“, къ сожалѣнію, этого искусства не видно, или оно видно въ слабой степени. О внутреннемъ смыслѣ драмы (попранный нравственный идеалъ, въ концѣ-концовъ, мстить за себя) мы можемъ лишь догадываться, принимая его, такъ сказать, на вѣру, потому что

*) Г. Южакъ высказывается на этотъ счетъ еще категоричнѣе: «Донъ-Жуанъ полюбилъ донну Анну, *ее*, а не наслажденіе своими и ея душевными движеніями, но счастью положена неодолима преграда прежню жизнью и былыми преступленіями. Донъ-Жуанъ карается, въ сущности, внутренней своей логикой».

знаемъ Пушкина во всемъ объемѣ его поэтического творчества; но принадлежи „Каменный Гость“ какому-либо неизвѣстному въ другихъ отношеніяхъ автору, и драма казалась бы намъ замѣчательной лишь по необычайной красотѣ стиховъ, отдѣльных сценъ и характеровъ...

Гармоничнымъ сочетаніемъ идеи съ формой „Каменнаго гостя“ бесконечно превосходить, на нашъ взглядъ, „Русалка“ (1832 г.). Драма эта и по формѣ не менѣе прекрасна: поэтическая прелесть подробностей усиливается въ ней чисто-сказочнымъ и въ то же время истинно-національнымъ колоритомъ и характеромъ цѣлаго. Превосходный анализъ этой драмы былъ сдѣланъ г. Южаковымъ. Низкая измѣна князя, какъ громомъ, поражаетъ чистое, благородное сердце любившей его дѣвушки; но, погибая физически въ холодныхъ волнахъ Днѣпра, она чудесно сохраняетъ въ себѣ живую душу и превращается въ царицу русалокъ. Прежній человѣчный образъ, впрочемъ, уже утраченъ (разочарованіе въ лучшей святынѣ сердца не проходитъ безслѣдно для сильныхъ и цѣльныхъ натуръ), и восемь долгихъ лѣтъ она все помышляетъ о мести. Между тѣмъ, постепенно, медленнымъ, но вѣрнымъ путемъ, происходитъ метаморфоза и съ душой погубившаго дѣвушку князя: годы и тяжелый опытъ жизни просвѣтляютъ ее. Встрѣча съ сумасшедшимъ мельникомъ, отцомъ погибшей, и цѣлый рядъ нахлынувшихъ воспоминаній о свѣтломъ прошломъ, о томъ прошломъ, когда его встрѣчала, „свободнаго, свободная любовь“, довершаютъ дѣло перерожденія, и князь, никогда не бывшій и прежде совершенно бездушнымъ эгоистомъ, становится человѣкомъ. Онъ жаждетъ свиданія съ русалкой. Возникаетъ въ высшей степени любопытный вопросъ: какъ встрѣтитъ его теперь утратившая человѣческій образъ, мечтающая о мщеніи дѣвушка?—Бѣлинскій считалъ гибель князя дѣломъ предрѣшеннымъ и неизбѣжнымъ; но г. Южаковъ, писавшій о „Русалкѣ“ въ 87 г., не признавалъ этой неизбѣжности. По его мнѣнію, Пушкинъ именно потому и оставился на этомъ мѣстѣ, не кончивъ драмы, что его любящей душѣ была органически антипатична такая развязка...

Ровно десять лѣтъ спустя на страницахъ „Русскаго Архива“ появилось такъ называемое зувское окончаніе „Русалки“ Пушкина, которое большинствомъ критиковъ признано было подложнымъ. Г. Южаковъ былъ однимъ изъ немногихъ, допустившихъ въ записи Зуева возможность пушкинской основы, хотя и сильно

прикрытой чуждыми Пушкину наслоениями и искажениями. Нѣкоторые стихи, по его мнѣнію, довольно близко воспроизводятъ погибшій подлинный текстъ, другіе же, хотя воспроизводятъ его и крайне неудовлетворительно, имѣютъ всетаки цѣну, какъ вѣрное изложеніе сюжета. Лично намъ доводы г. Южакова, въ свое время изложенные имъ на страницахъ „Русскаго Богатства“ (1897 г., № 3), кажутся достаточно убѣдительными.

Во всякомъ случаѣ, одного, повидимому, нельзя отрицать: зувеское окончаніе даетъ художественно-правдивое разрѣшеніе той трагической коллизіи, на которой останавливается общеизвѣстный текстъ „Русалки“, и, кромѣ того, оно подтверждаетъ высказанную г. Южаковымъ еще въ 87 г. догадку, что Пушкинъ не хотѣлъ примириться съ гибелью своего очеловѣчившагося героя. Русалка слишкомъ много страдала; она поняла, что и князю тоже „нѣрадостно жилось“, и она простила:

Увидѣла... Забыты оскорбленія,
Замолкла мечь поруганной любви...
Простила все... Не наглаголюсь... Какъ прежде,
Любовью жаркой, страстной сердце бьется
И ждуть уста твой поцѣлуй желанный,
Истомный, сладкій, прежній поцѣлуй!
Но поцѣлуй мой—смерть. Прощай, бѣги,
Будь счастливъ, князь, съ подружкой молодою,
Меня и дочь навѣки позабудь...
Будь счастливъ!

(Скрывается съ русалочкой подъ волнами).

Князь. Нѣтъ, не разлучусь съ тобой,
Жить безъ тебя, безъ нашего ребенка
Не въ силахъ... Лучше смерть въ твоихъ объятыхъ!
(Бросается въ Днѣпръ).

Рядомъ съ другими прямо невозможными виршами зувеской записи—такіе стихи положительно напоминаютъ, думается намъ, Пушкина...

Прибавимъ еще, что въ пользу такого именно конца говоритъ и одна изъ „Пѣсенъ западныхъ славянъ“ („Янышъ-королевичъ“), несомнѣнно послужившая Пушкину сюжетомъ для его „Русалки“. Въ ней также нѣтъ вѣшняго окончанія, но общій кроткій тонъ пѣсни даетъ, кажется, право догадываться о примирительной развязкѣ.

Размѣры нашей, и безъ того уже разросшейся, статьи не позволяютъ подвергнуть столь же подробному разсмотрѣнію повѣ-

сти и романы Пушкина, написанные прозой. Мы остановимся лишь на „Капитанской дочкѣ“, которая представляет, быть можетъ, лучшее произведеніе Пушкина послѣ „Евгенія Онегина“, какъ по захватывающему интересу сюжета и широтѣ замысла, такъ и по удивительной прелести и простотѣ формы. На мрачномъ фонѣ уже далекой отъ насъ исторической эпохи здѣсь нарисована такая реальная и вмѣстѣ вѣчная правда жизни, какой послѣ Пушкина достигали только немногіе изъ нашихъ гениальныхъ романистовъ. Въ лицѣ капитана Миронова, его жены Василисы Егоровны, кривого поручика Ивана Игнатьевича, комичнаго дядьки Савельича, наконецъ, самой капитанской дочки Маши поэтъ выводитъ цѣлый рядъ людей простыхъ, необразованныхъ, безконечно скромныхъ, но цѣльныхъ и крѣпкихъ, какъ сталь, полныхъ героической преданности идеѣ долга, сообразно ихъ понятіямъ объ этой идеѣ, и готовности положить за нее жизнь. Пушкинъ первый изъ нашихъ писателей вывелъ также изъ моды романтическую манеру изображенія людей или ангелами добра, или демонами зла, отказался и въ звѣрѣ-человѣкѣ видѣть одного только звѣря. Своему Пугачеву онъ придалъ примиряющія человѣчныя черты; природный мелодраматическій злодѣй Швабринъ также не выдерживаетъ вполнѣ своей гнусной роли, и любовь къ Машѣ въ немъ перевѣшиваетъ въ концѣ концовъ чувство мстительности.

Каждая строка „Капитанской дочки“ даетъ чувствовать, что писатель, умѣвшій создать подобное произведеніе, глубоко вѣрить въ жизнь и любить людей, и настроеніе, навѣваемое имъ на читателя, таково, что у послѣдняго самъ собою возникаетъ вопросъ: откуда же всѣ эти ужасы, откуда эта злоба, если на свѣтѣ такъ много хорошихъ сердецъ, если и въ самыхъ даже дурныхъ и порочныхъ людяхъ столько добрыхъ и человѣчныхъ чертъ?..

XII.

Таково идейное содержаніе крупнѣйшихъ по объему произведеній Пушкина, насколько оно выясняется при бѣгломъ и чуждомъ всякихъ тенденціозныхъ натяжекъ анализѣ. Содержаніе это, поистинѣ, огромно, и скорѣе можно бы было заподозрить тенденціозность въ желаніи, во что бы то ни стало, опредѣлить Пушкина, какъ поэта исключительно художественной формы. Намъ

кажется, смѣло можно утверждать, что по широтѣ и возвышенности воззрѣній на жизнь и на человѣка Пушкинъ не уступаетъ ни одному изъ такъ называемыхъ мировыхъ гениевъ поэзіи, будетъ ли то Шекспиръ, Гете или Байронъ. У каждого изъ нихъ найдутся, конечно, свои индивидуальныя черты, которыми не обладалъ Пушкинъ, но такія же, свойственныя только ему одному, особенности есть и у нашего великаго поэта. Шекспира, по преимуществу, интересовала психологія страстей, Гете—ненасытность стремленія современнаго человѣка къ знанію, Байрона—идея политической свободы; Пушкинъ является пѣвцомъ человѣчности въ лучшемъ смыслѣ этого слова, въ смыслѣ безконечнаго уваженія (повторимъ еще разъ опредѣленіе Бѣлинскаго) къ достоинству человѣка, какъ человѣка. Изъ этого именно чувства исходятъ воѣ взгляды Пушкина на важнѣйшія проблемы бытія и счастья.

Счастье человѣка и достоинство человѣческой личности должны быть мѣриломъ вещей; всестороннее развитіе лучшихъ свойствъ человѣческой души, удовлетвореніе всѣхъ нравственно-законныхъ потребностей—вотъ полнота счастья, и нарушеніе этого основнаго закона, аскетизмъ такъ же, какъ и распущенность, одинаково чужды и враждебны этому свѣтлому, гуманному мировоззрѣнію („Скуп. рыц.“, „Моц. и Сал.“, „Пик. Дама“). Съ другой стороны, такое понятіе счастья не только не исключаетъ, но даже обнимаетъ собою идею нравственнаго долга, которая для сильной и цѣльной натуры можетъ быть выше и дороже всего (Петръ Вел., капитанъ Мироновъ, Татьяна). Идеаль человѣчности бодрствуетъ даже надъ тѣми, кто не признаетъ его власти, и всякое попраніе этого идеала въ концѣ концовъ жестоко мститъ за себя; на идеѣ справедливости должно, поэтому, строиться не только личное благо, но и прочное историческое зданіе („Кам. Гость“, „Бор. Годуновъ“, „Полтава“). Любовь для Пушкина—главный моментъ счастья, и потому разочарованіе въ любви для многихъ изъ его героевъ равносильно полной гибели (черкешенка, героиня „Русалки“ кончаютъ самоубійствомъ, Марія „Полтавы“—сумасшествіемъ); любовь творитъ, съ другой стороны, чудеса, смиряя въ человѣкѣ звѣрскія чувства, облагораживая падшую душу (Гирей, Дубровскийъ, князь „Русалки“), и естественно, что такое высокое чувство должно быть свободно („Цыганы“, „Кавк. пл.“, „Арапъ П. Вел.“).

Эту общую характеристику Пушкина, какъ пѣвца человѣчности, удивительно подтверждаетъ анализъ его лирики.

Здѣсь возстаетъ передъ нами во всей своей чудной красотѣ внутренний, личный міръ поэта, исторія его сердца, трогательная повѣсть свѣтлыхъ стремленій и тайныхъ страданій. Красота этого внутреннего міра есть красота гуманности... Съ особенной полнотою она выражена въ стихотвореніяхъ, посвященныхъ любви. Жизнь безъ этого лучшаго изъ чувствъ—то же, что жизнь „безъ божества, безъ вдохновенія“; сердце поэта сгораетъ жаждой любви—„оттого, что не любить оно не можетъ“. Любовь въ представленіи Пушкина чувство по-преимуществу человѣческое, равно далекое отъ грубой животной чувственности и отъ неестественной идеальности платонизма; поэтому оно изящно во всѣхъ своихъ проявленіяхъ, и тамъ, гдѣ напряженіе любовной страсти, какъ, напримѣръ, въ чувствѣ ревности, достигаетъ стадіи сомнительно человѣчной, муза Пушкина въ лучшихъ своихъ созданіяхъ предпочитаетъ умолкать, ограничиваясь однимъ намекомъ (таково знаменитое „но если“... въ стихотвореніи „Ненастный день потухъ“). Въ отношеніяхъ Пушкина къ любви особенно поражаетъ замѣчательное сочетаніе реальности и глубокаго чистосердечія съ возвышенностью. Изъ равнодушныхъ свѣтскихъ устъ слышится онъ вѣсть о смерти когда-то горячо любимой женщины и не думаетъ драпироваться въ мантию отчаянія, не хочетъ скрывать отъ себя и другихъ, что и самъ равнодушно принялъ эту печальную новость. Быть можетъ, это было только минутное опѣпенѣніе, мнимое спокойствіе—все равно: поэтъ уже негодуетъ на себя, его возмущаетъ мысль о недолговѣчности сильнѣйшей изъ человѣческихъ привязанностей! И какъ трогательно-просто выражено имъ это негодованіе: не въ длинной краснорѣчивой тирадѣ а всего лишь въ двухъ словахъ, въ двухъ коротенькихъ эпитетахъ („для бѣдной легковѣрной тѣни“)!.. Нѣтъ, любовь, которую Пушкинъ считаетъ достойной человѣка, не должна кончаться даже за громомъ, она переживаетъ физическую смерть.

Твоя краса, твои страданья
Исчезли въ урнѣ гробовой,
Исчезъ и поцѣлуй свиданья..
Но жду его — онъ за тобой!

(См. также «Заклинаніе»).

Въ высшей степени характерны отношенія поэта къ природѣ.

Сама по себѣ, взятая отдѣльно отъ человѣка, она представляется ему мертвой, „равнодушной“, и посвящаемыя ей стихотворенія (число которыхъ, сравнительно, невелико), поражая превосходной живописью, оставляютъ вмѣстѣ съ тѣмъ впечатлѣніе нѣкотораго внутреннего холода („Туча“, „Обвалъ“). Чтобы пояснить нашу мысль, напомнимъ Лермонтова, въ стихотвореніяхъ котораго природа сама по себѣ является живымъ одухотвореннымъ существомъ, имѣющимъ собственныя радости и огорченія („Утѣсь“, „Сосна“, „Дубовый листокъ“, „Тучи“). Это совершенно отдѣльный отъ человѣка міръ, полный дивныхъ тайнъ и вѣчной гармоніи: „Пустыня внемлетъ Богу, и звѣзда съ звѣздой говорить“. Съ людьми онъ находится часто въ прямой враждѣ („Три пальмы“, „Дары Терека“), и чувствовать себя въ немъ свободно могутъ только натуры сильныя, исключительныя... Такою натурой обладалъ, напр., самъ поэтъ, и ему лично природа, даже въ самыхъ грозныхъ явленіяхъ, не только не импонируетъ, но представляется какъ бы родной сестрой, съ которою онъ взаимно дѣлится тайнами („Мцыри“, „Я не хочу, чтобъ свѣтъ узналъ“). Въ лермонтовскихъ описаніяхъ природы насъ поражаетъ роскошная, горячая образность и бурная, страстная жизнь; у Пушкина, напротивъ, мы видимъ всегда ясную, величаво-простую и, повторяемъ, нѣсколько холодную живопись. Достаточно было бы сравнить для этого пушкинскую „Тучу“ съ лермонтовскими „Тучками“.

Словно самъ чувствуя свое настоящее призваніе—пѣвца человѣческой жизни и „неполной радости земной“ (выраженіе Лермонтова), Пушкинъ всего охотнѣе озаряетъ свои ландшафты присутствіемъ человѣка, и тогда они согрѣты у него удивительной сердечностью чувства („Вновь я посѣтилъ“, „Зимній вечеръ“, „Зимняя дорога“, „Монастырь на Казбекѣ“). Любовь къ природѣ тѣсно сплетается у него съ любовью къ жизни, и красота человѣка для него выше всякой иной красоты. Быть можетъ, нѣсколько мадригально, но довольно характерно выразилось это свойство его души въ извѣстномъ стихотвореніи „Буря“:

Прекрасно море въ бурной мглѣ
И небо въ блескахъ, безъ лазури,
Но вѣрь мнѣ: дѣва на скалѣ
Прекраснѣй волнъ, небесъ и бури!

Считаемъ излишнимъ оговариваться, что любовь Пушкина къ человѣку выражалась у него не въ абстрактной, а въ живой и

конкретной формѣ любви къ родному народу и къ родному быту, и что въ этомъ смыслѣ онъ справедливо можетъ быть названъ національнымъ поэтомъ.

Какъ на одну изъ характернѣйшихъ особенностей пушкинской лирики, нельзя не указать на отуманивающее ее облако грусти, тѣмъ болѣе примѣтное, чѣмъ поэтъ становится зрѣлѣе. Можно ли, однако, признать эту грусть результатомъ развивавшагося въ немъ антигуманнаго отношенія къ людямъ (мнѣніе г. Спасовича), пессимистическаго взгляда на жизнь вообще? Намъ кажется, думать такъ—значить совершенно не понимать Пушкина. Въ русской литературѣ, конечно, нельзя указать другого писателя, по природѣ своей болѣе жизнерадостнаго, болѣе любящаго жизнь и вѣрящаго въ людей! Грусть, проникающая его произведенія, объясняется не какими-либо философскими взглядами, а тѣми давленіями „расейской дѣйствительности“, о которыхъ повѣствуетъ намъ біографія поэта и которыя пропитывали ядомъ горечи его чистую, для любви и радости рожденную душу. Да, Пушкинъ не только любилъ жизнь, но и проникнутъ былъ сознаніемъ важности и серьезности ея значенія; мысль о безплодно и безумно потраченныхъ лучшихъ годахъ молодости никогда не покидала его. Вспомнимъ чудное стихотвореніе, написанное на эту тему:

И съ отвращеніемъ читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуясь, и горько слезы лью,
Но строкъ печальныхъ не смываю.
Я вижу въ праздности, въ неистовыхъ пирахъ,
Въ безумствѣ гибельной свободы,
Въ неволѣ, въ бѣдности, въ чужихъ степяхъ
Мои утраченные годы.

Двѣ дорогія погибшія тѣни вспоминаются ему, — въ былые дни его ангелы-хранители.

Но оба съ крыльями и съ пламеннымъ мечомъ,
И стерегутъ... и мстятъ мнѣ оба,
И оба говорятъ мнѣ мертвымъ языкомъ
О тайнахъ вѣчности и гроба!

Таковъ симпатичный и глубоко-человѣчный образъ поэта, даваемый самымъ бѣглымъ и неполнымъ обзоромъ мотивовъ его

лирики. Резюмируя въ двухъ словахъ все сказанное въ нашей статьѣ, мы можемъ заключить: *гуманная красота*—вотъ предметъ поэзіи Пушкина.

Закончимъ нѣсколькими словами о критикахъ Пушкина. Во главѣ ихъ болѣе полушѣка стоитъ Бѣлинскій, давшій дѣйствительно превосходную оцѣнку историко-литературнаго значенія великаго поэта. Но если сколько-нибудь справедлива и основательна та характеристика, которую мы пытались дать Пушкину, какъ поэту, заслуживающему не только уваженія историка литературы, но и любви современныхъ и грядущихъ поколѣній читателей, то, надѣмся, мы имѣли полное право назвать ошибочнымъ слѣдующій взглядъ Бѣлинскаго:

Муза Пушкина умѣетъ глубоко страдать отъ диссонансовъ и противорѣчій жизни; но она смотритъ на нихъ съ какимъ-то самоотрицаніемъ (*resignatio*), какъ бы признавая ихъ роковую неизбежность и не нося въ душѣ своей идеала лучшей дѣйствительности и вѣры въ возможность его осуществленія.

Бѣлинскаго обмануло на этотъ разъ его великое художественное и нравственное чутье! Несравненно правильнѣе кажется намъ совершенно противоположный выводъ, къ которому сорокъ лѣтъ спустя пришелъ г. Южаковъ, писавшій слѣдующее: „Пушкинъ вѣровалъ въ совершенствованіе человѣка и человѣческаго общества, въ прогрессъ и развитіе. Трагическая развязка у него всегда исходитъ изъ столкновенія высшихъ стадій развитія съ низшими, и хотя *видимо* нерѣдко торжествуютъ низшія, а высшія гибнутъ, но эта гибель искупается возвышеніемъ низшихъ стадій. Жертвы поднимаютъ своихъ губителей, и въ общемъ сумма блага и человѣчности увеличивается“.

Впрочемъ, гораздо раньше и лучше всѣхъ критиковъ оцѣнилъ свое значеніе самъ великій поэтъ нашъ, когда, въ пророческомъ провидѣніи своей грядущей славы, писалъ почти наканунѣ смерти:

Я памятникъ себѣ воздвигъ нерукотворный,
Къ нему не заростетъ народная тропа.

.....
И долго буду тѣмъ любезенъ я народу,
Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ,
Что въ мой жестокий вѣкъ возславилъ я свободу
И милость къ падшимъ призывалъ.

Муза мести и печали.

(1877—1902 г.).

Замолкни, муза мести и печали!

Н. Некрасовъ.

Кто живетъ безъ печали и гнѣва,
Тотъ не любитъ отчизны своей.

Н. Некрасовъ.

I.

Неудачный литературный дебютъ.

25 іюля 1839 года петербургскій цензоръ Фрейгангъ подписалъ къ выпуску въ свѣтъ тетрадь стихотвореній, имѣвшихъ общій заголовокъ „Мечты и звуки“. Автору ихъ было всего лишь 17 лѣтъ отъ роду, хотя передъ тѣмъ онъ успѣлъ уже напечатать, за полной своей подписью—Н. Некрасовъ, цѣлый рядъ стихотвореній въ „Сынѣ Отечества“, въ „Литературной Газетѣ“ и въ „Прибавленіяхъ къ Ивалиду“. Нѣкоторые изъ этихъ юношескихъ опытовъ даже обратили на себя вниманіе любителей поэзіи.

Послѣ цензурнаго разрѣшенія можно было приступить къ печатанію книги, но, какъ рассказывалъ впослѣдствіи самъ Некрасовъ, имъ овладѣли тревожныя сомнѣнія, и онъ рѣшилъ показать раньше свою рукопись признанному королю тогдашнихъ поэтовъ—Жуковскому. Послѣдній отнесся къ юному собрату съ теплымъ сочувствіемъ, увидавъ въ его стихахъ несомнѣнные задатки поэтическаго дарованія,—однако, печатать книгу не совѣтовалъ. Къ сожалѣнію, было уже поздно: среди знакомыхъ Некрасова была уже открыта на сборникъ его стиховъ подписка, и часть полученныхъ отъ нея денегъ издержана.

— Въ такомъ случаѣ,—сказалъ Жуковскій,—не выставляйте, по крайней мѣрѣ, полнаго вашего имени на книгѣ. Ограничьтесь инициалами.

Совѣтъ этотъ Некрасовъ принялъ къ свѣдѣнію, и въ началѣ слѣдующаго года „Мечты и звуки“ явились въ свѣтъ за скромной подписью Н. Н.

Книгъ выходило въ тѣ времена, сравнительно, немного, и кругъ вопросовъ, которыхъ журналы имѣли право касаться, былъ до чрезвычайности узокъ; почти о каждой напечатанной книжкѣ, какъ бы ничтожно ни было ея значеніе, непременно появлялись, поэтому, болѣе или менѣе пространныя рецензіи. „Мечты и звуки“ Некрасова не составили исключенія изъ общаго правила и вызвали цѣлую кучу отзывовъ: въ „Литерат. Газетѣ“, въ „Отечеств. Запискахъ“, въ „Современникѣ“, въ „Сѣв. Пчелѣ“, даже въ „Русскомъ Инвалидѣ“ и въ „Журн. Мин. Нар. Просвѣщенія“ (изъ видныхъ органовъ промолчалъ, кажется, одинъ только „Сынъ Отечества“ Полевого, быть можетъ, потому, что на его страницахъ Некрасовъ по преимуществу печаталъ свои стихи). Въ „Журн. М. Н. Пр.“ стихотворецъ Менцовъ, очевидно знавшій о возрастѣ автора „Мечтаній и звуковъ“, далъ одинъ изъ наиболѣе сочувственныхъ отзывовъ: рецензентъ исходилъ изъ того мнѣнія, что при разборѣ сочиненій столь юнаго поэта задача критики не въ опредѣленіи ихъ литературной цѣнности и значенія, а лишь въ рѣшеніи вопроса—есть ли у поэта признаки таланта, общаетъ ли онъ въ будущемъ создать произведенія, достойныя вниманія и памяти. „И потому да не дивятся читатели,—замѣчалъ Менцовъ,—если мы будемъ судить г. Некрасова (критикъ считалъ возможнымъ разоблачить инициалы) снисходительнѣе, нежели, можетъ быть, слѣдовало бы: похвалами умѣренными и справедливыми мы имѣемъ цѣлью ободрить его прекрасный талантъ и поощрить къ дальнѣйшимъ трудамъ въ пользу отечественной словесности“. Далѣе рецензентъ осыпалъ похвалами отдѣльныя пьесы сборника, защищалъ юнаго автора отъ возможныхъ упрековъ въ подражательности и, въ заключеніе, предрекалъ Некрасову завидную извѣстность и почетное мѣсто въ исторіи русской литературы, подѣ тѣмъ, впрочемъ, условіемъ, если онъ будетъ „развивать свое природное дарованіе изученіемъ твореній поэтовъ, признанныхъ великими отъ всего просвѣщеннаго міра, и чтеніемъ лучшихъ Теорій Изящнаго“.

Такою же мягкостью проникнута была и коротенькая записка „Современника“, написанная, вѣроятно, самимъ Плетневымъ.

Здѣсь не только *мечты и звуки*, какъ выразился поэтъ, но и мысли, и чувства, и картины. Книжка, заключающая въ себѣ почти одни лирическія стихотворенія, исполнена разнообразія. Въ каждой пьесѣ чувствуется созданіе мыслящаго ума или воображенія. Наша эпоха такъ скудна хорошими стихотвореніями, что на подобныя явленія смотришь съ особеннымъ удовольствіемъ. У г. Н. Н. замѣтна только нѣкоторая небрежность въ отдѣлкѣ стихотвореній.

Плетневъ, несомнѣнно, тоже хорошо зналъ, кто скрывается подъ таинственными инициалами; но авторъ третьей рецензій, помѣщенной въ „Сѣв. Пчелѣ“, прямо заявляетъ, что имя поэта ему „вовсе неизвѣстно“, что оно, „кажется, въ первый разъ является въ нашей литературѣ“. И, тѣмъ не менѣе, подобно „Журналу М. Н. П.“, рецензентъ „Сѣв. Пчелы“ начинаетъ съ положенія, что снисходительность—одно изъ главныхъ условій критики, имѣющей передъ собою первые опыты юношескаго пера, особенно когда въ нихъ примѣтно дарованіе, которое впоследствии можетъ развернуться; дарованіе же Н. Н., по мнѣнію критика, не подлежитъ никакому сомнѣнію и возбуждаетъ самыя пріятныя надежды. Какъ и Менцовъ, онъ ставитъ лишь на видъ юному поэту необходимость „образовать свой талантъ долгимъ изученіемъ искусства и непрерывнымъ наблюденіемъ за самимъ собою.

Къ сожалѣнію, не такъ легко и снисходительно отнеслись къ „Мечтамъ и звукамъ“ анонимный критикъ „Литерат. Газеты“ (гдѣ Некрасовъ не разъ помѣщалъ передъ тѣмъ свои стихи) и самъ Бѣлинскій въ „Отеч. Запискахъ“. Оба отзыва до того сходны по мыслямъ, по тону и самому слогу, что и въ первомъ изъ нихъ можно было бы заподозрить перо Бѣлинскаго (тѣмъ болѣе, что послѣдній сотрудничалъ и въ „Литерат. Газетѣ“), если бы не существовало прямыхъ указаній на принадлежность этой рецензій Галахову или Каткову.

«Особенность подобныхъ г-ну Н. Н. поэтовъ и писателей вообще, — говорилось въ рецензій, — заключается въ томъ, что они *суть ничто* до тѣхъ поръ, пока не издадутъ полнаго собранія своихъ сочиненій: тогда они становятся *нѣчто*». «Названіе *Мечты и звуки* совершенно характеризуетъ стихотворенія г. Н. Н.: это не поэтическія созданія, а *мечты* молодого чело-

вѣка, владѣющаго стихомъ и производящаго звуки правильные, стройные, но не поэтическіе».

Почти то же и почти въ тѣхъ же выраженіяхъ высказалъ и Бѣлинскій въ „Отеч. Зап.“. Если проза можетъ еще удовлетворяться гладкой формой и банальнымъ содержаніемъ, то „стихи, рѣшительно не терпятъ посредственности“. Читая такіе стихи, вы чувствуете иногда, что авторъ ихъ человѣкъ, несомнѣнно, благородный и искренній, но въ то же время видите, что эти благородныя чувства

«такъ и остались въ авторѣ, а въ стихи перешли только отвлеченныя мысли, общія мѣста, правильность, гладкость и—скука. Душа и чувство есть необходимое условіе поэзіи, но не ими все оканчивается: нужна еще творческая фантазія, способность внѣ себя осуществить внутренній міръ своихъ ощущеній и идей и выводить во внѣ внутреннія видѣнія своего духа».—«Прочтешь книгу стиховъ, встрѣтишь въ нихъ все знакомыя и истертыя чувствованія, общія мѣста, гладкіе стишки и много-много, если наткнешься иногда на стихи, вышедшія изъ души въ кучѣ рюмованныхъ строчекъ,—воля ваша, это чтеніе или, лучше сказать, работа для рецензентовъ, а не для публики, для которой довольно прочесть о нихъ въ журналѣ извѣстіе вроде: выѣхалъ въ Ростовъ».

Мы потому съ такой подробностью остановились на шумѣ, вызванномъ въ литературѣ первымъ поэтическимъ выходомъ Некрасова, что шумъ этотъ, несомнѣнно, оказалъ большое и существенное вліяніе на дальнѣйшую судьбу поэта. Авторитетный отзывъ Бѣлинскаго, высказанный въ мартѣ мѣсяцѣ 1840 г., сразу заглушилъ всѣ сочувственные голоса; и о „Мечтахъ и звукахъ“ установилось съ тѣхъ поръ прочное мнѣніе, какъ о книжкѣ стиховъ, до послѣдней степени ничтожныхъ и безталанныхъ.

Интересъ книжки въ томъ,—читаемъ въ энциклопедическомъ словарѣ Брокгауза и Ефрона (въ статьѣ С. А. Венгерова),—что мы здѣсь видимъ Некрасова въ сферѣ совершенно ему чуждой, въ роли сочинителя балладъ съ разными страшными заглавіями вроде «Злой духъ», «Ангелъ смерти», «Воронъ» и т. п. «Мечты и звуки» характерны не тѣмъ, что являются собраніемъ плохихъ стихотвореній Некрасова и какъ-бы *нижней* стадіею въ творчествѣ его, а тѣмъ, что они *никакой* *стадіи* (курсивъ словаря) въ развитіи таланта Н. собою не представляютъ. Некрасовъ, авторъ книжки «Мечты и звуки», и Некрасовъ позднѣйшій—это два полюса, которыхъ нѣтъ возможности слить въ одномъ творческомъ образѣ.

На самого поэта приговоръ Бѣлинскаго и Галахова (или Каткова?) подѣйствовалъ, между тѣмъ, самымъ угнетающимъ обра-

зомъ: съ этого, по крайней мѣрѣ, момента,—какъ будто увѣрившись въ своей поэтической бездарности,—онъ въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ пишетъ стихи только юмористическаго характера, главнымъ же образомъ пытается силы въ области прозы. Какъ извѣстно, въ роли беллетриста и критика Некрасовъ далеко не пошелъ, и въ смыслѣ непосредственной цѣнности литературное творчество его за пятилѣтіе 1840—44 г. является совершенно безплоднымъ. Другое дѣло—незримая, подспудная, такъ сказать, работа таланта, когда, сдерживаемый насильно въ извѣстныхъ рамкахъ, онъ судорожно бился въ поискахъ своей настоящей дороги: въ такомъ смыслѣ и указанные годы имѣли огромное значеніе для опредѣленія основного характера некрасовской поэзіи. Объ этомъ, впрочемъ, ниже; теперь же остановимся на минуту на возникающемъ невольно вопросѣ: насколько былъ правъ, или неправъ Бѣлинскій въ суровомъ осужденіи первыхъ поэтическихъ опытовъ Некрасова? И вѣрно ли держащееся до сихъ поръ мнѣніе, будто опыты эти не стоятъ рѣшительно ни въ какой связи съ позднѣйшимъ обликомъ „музы-мести и печали“?

Взятая сама по себѣ, книжка „Мечты и звуки“, несомнѣнно, очень слаба, такъ что у Бѣлинскаго (къ тому же, только что переѣхавшаго изъ Москвы въ Петербургъ и не подозревавшаго, что Некрасовъ такъ еще зеленъ) было очень мало данныхъ для того, чтобы отнестись къ ней иначе, чѣмъ онъ отнесся. Другое дѣло—критика нашихъ дней. Для насъ „Мечты и звуки“,—если бы это была и дѣйствительно вполнѣ бездарная въ художественномъ отношеніи вещь,—имѣютъ интересъ совершенно особаго рода: это—первый опытъ поэта съ могучими поэтическими силами, и крайне любопытно знать, нѣтъ ли въ этомъ опытѣ, хотя бы и въ зачаточномъ видѣ, элементовъ того настроенія, которое такъ ярко сказалось въ его позднѣйшемъ творествѣ. Подходя къ вопросу съ такой точки зрѣнія, рассматривая „Мечты и звуки“ съ высоты 62 лѣтъ, мы должны признать черезчуръ суровымъ приведенный выше отзывъ С. А. Венгерова. Прежде всего, нельзя сказать, что въ „Мечтахъ и звукахъ“ Некрасовъ является въ роли сочинителя страшныхъ балладъ, такъ какъ балладъ этихъ (не по заглавію только страшныхъ) въ книжкѣ ничтожное меньшинство, всего 2—3 изъ общаго числа 44 пьесъ; а затѣмъ нужно замѣтить, что уже самая нелѣпость содержанія и прими-

тивность формы обличаютъ ихъ принадлежность къ наиболѣ раннему, отроческому періоду творчества Некрасова. Со словъ сестры поэта извѣстно, что, покидая 16-лѣтнимъ мальчикомъ отцовскій домъ, онъ увезъ съ собою толстую тетрадь съ *дѣтскими* стихотворными упражненіями („За славой я въ столицу торопился“—вспоминалъ онъ самъ на смертномъ одрѣ). Это было 20 іюля 1838 года, а съ сентябрьской книжки „Сына Отечества“ за тотъ же годъ стихи Некрасова уже стали печататься.

Позволительно такъ же предположить, что молодой поэтъ, уже сумѣвшій передъ тѣмъ написать незаурядное стихотвореніе „Жизнь“, и помѣстилъ-то эти баллады въ свой сборникъ единственно ради внѣшняго его округленія, а быть можетъ, и ради... умиловленія безмѣрно строгой тогда цензуры. Слѣды ея властной руки можно видѣть въ этомъ сборникѣ не въ видѣ только разбросанныхъ тамъ и сямъ точекъ. Такъ, въ стихотвореніи „Поэзія“ читаемъ:

Я владѣю чуднымъ даромъ,
Много власти у меня,
Я взволную грудь пожаромъ,
Брошу въ холодъ изъ огня;
Разорву покровы ночи,
Тьму вѣковъ разоблачу,
Проникать земныя очи
Въ міръ надзвѣздный научу...
Вооложу вѣнецъ лавровый
На достойнаго жреца,
Или въ мигъ запру въ оковы
Покосителя вѣнца.

Не надо обладать особенной проницательностью, чтобы догадаться, что послѣдній стихъ въ первоначальномъ текстѣ читался, по всей вѣроятности: „Я носителя вѣнца“, и что печатной своей нелѣпостью онъ обязанъ мнительности цензора Фрейганга, которому всякій „вѣнецъ“ (хотя бы то былъ вѣнецъ Нерона) казался чѣмъ-то неприкосновеннымъ. Быть можетъ, объ этой именно остроумной цензорской поправкѣ вспоминалъ Некрасовъ двадцать пять лѣтъ спустя, когда въ уста не въ мѣру ретиваго стража печати вкладывалъ слѣдующее признаніе:

Да! меня не коснутся упреки,
Что я платы за трудъ васъ лишалъ.
Оставляя я страницы и строки,

Только вредную мысль исключать.
 Если ты напишешь: «Равнодушно
 Губернатора встрѣтилъ народъ»,
 Исключу я три буквы: «Ра-душно»
 Выйдеть... Что же? Три буквы не счесть! *)

Если, за одно со „страшными“ балладами, исключить изъ сборника и нѣкоторое количество просто безцвѣтныхъ и безсодержательныхъ дѣтскихъ стиховъ, вродѣ „Турчанки“ (у которой кудри—„вороновыя перья, черны, какъ геній суетвѣрья, какъ скрытой будущности даль“), или „Ночи“ („Ахъ туда, туда, туда—къ этой звѣздочкѣ унылой чародѣйственнойноу силой занеси меня, мечта“!), то большинство пьесъ книги окажется проникнуто весьма опредѣленнымъ взглядомъ на жизнь, на достоинство и призваніе человѣка, поэта въ особенности,—взглядомъ, который ни въ какомъ случаѣ нельзя назвать „полюсомъ, противоположнымъ“ позднѣйшей некрасовской поэзіи.

Вотъ, напр., діалогъ, въ которомъ душа, въ отвѣтъ на соблазны тѣла, гордо заявляетъ:

Прочь, искушатель! Не напрасно
 Безсмертьемъ я освящена!

 И хоть однажды, трупъ безсильный,
 Ты мнѣ уступишь торжество!

Въ другомъ стихотвореніи великолѣпный нѣкогда, а теперь разрушенный Колизей находитъ утѣшеніе въ мысли, что хотя онъ и погибъ, но уже много столѣтій стоитъ, не обрызганный живой человѣческой кровью. Или—стихотвореніе „Мысль“:

Спать дряхлый міръ, спать старецъ обветшалый...

 Скрой безобразье наготы
 Опять подъ мрачной ризой ночи!
 Поддѣльнымъ блескомъ красоты
 Ты не мои обманешь очи.

*) Тургеневъ вспоминаетъ: «Особеннымъ юморомъ отличался цензоръ Ф., тотъ самый, который говаривалъ: «Помилюте, я всё буквы оставлю, только духъ повытравлю». Онъ мнѣ сказалъ однажды, съ чувствомъ глядя въ глаза: «Вы хотите, чтобъ я не вымарывалъ? Но посудите сами: я не вымараю—и могу лишиться 3,000 р. въ годъ, а вымараю—кому отъ этого какая печаль? Были словечки, нѣтъ словечекъ... Ну, а дальше? Какъ же мнѣ не марать?! Богъ съ вами!» («Литерат. и жит. воспом.»)—Очевидно, Тургеневъ имѣлъ въ виду того же Фрейганга.

Все это выражено, правда, по-дѣтски, въ неяркихъ и подчасъ аляповатыхъ стихахъ; однако, сквозить во всемъ этомъ серьезное, вдумчивое отношеніе къ жизни; уже и здѣсь передъ нами не просто лишь созерцательная поэтическая натура, непосредственно и безразлично отдающаяся „всѣмъ впечатлѣніямъ бытія“, а мыслящій поэтъ, предъявляющій къ жизни свои требованія и запросы.

Вотъ какія негодующія строки находимъ, напр., въ стих. „Жизнь“:

Изъ тихой вечера молитвъ и вдохновеній
Разгульной оргіей мы сдѣлали тебя

(т. е. — жизнь),

И губительно парить надъ нами злобы геній,
Еще въ зародышѣ все доброе губя.
Себялюбивое, корыстное волненье
Обуреваетъ насъ, блаженства ищемъ мы,
А къ пропасти ведетъ порокъ и заблужденье
Святою вѣрою нетвердые умы.
Поклонники грѣха, мы не рабы Христовы;
Намъ тяжекъ крестъ скорбей, даруемый судьбой;
Мы не умѣемъ жить, мы сами на оковы
Мѣняемъ всѣ дары свободы золотой.

..... Искусства намъ не новы:
Не сдѣлавъ ничего, спѣшимъ мы отдохнуть;
Мы любимъ лишь себя, намъ дружелюбие — оковы,
И только для страстей открыта наша грудь.
И что же, что онѣ безумнымъ намъ приносятъ?
Презрительно смѣясь надъ слабостью земной,
Священнаго огня намъ искру въ сердце бросать
И сами же заляютъ его нечистотой!
За наслажденіями, по ихъ дорогѣ смрадной,
Слѣпые, мы идемъ и ловимъ только тѣнь;
Терзаютъ нашу грудь, какъ коршунъ кровожадный,
Губительный порокъ, бездѣйственная лѣнь.
И послѣ буйнаго минутнаго безумья,
И чистый жаръ души, и совѣсть погубя,
Мы съ тайнымъ холодомъ не вѣрья и раздумья
Проклятью предаемъ неистово тебя!

Стихи эти, конечно, явно навѣяны страстнымъ обвиненіемъ, которое великій поэтъ бросилъ передъ тѣмъ въ лицо русскому обществу („Дума“ Лермонтова появилась въ янв. книгѣ „Отеч. Зап.“ того же 39-го года, т. е. за полгода всего до цензурскаго разрѣшенія „Мечтаній и звуковъ“); нельзя, однако, отрицать, что

въ „Жизни“ Некрасова слышится и оригинальная нота, искренній религиозный пафосъ; нѣкоторые стихи не лишены и извѣстной красоты и силы выраженія. Во всякомъ случаѣ, такъ можетъ „подражать“ далеко не всякій 17-лѣтній поэтъ...

Самую миссію поэта юный Некрасовъ понимаетъ въ возвышенномъ, почти экзальтированномъ смыслѣ:

Кто духомъ слабъ и немощенъ душою,
Ударовъ жребія могучею рукою
Безстрашно отразить въ чьемъ сердцѣ силы нѣтъ,
Кто у него пощады вымоляетъ,
Кто передъ нимъ колѣна преклоняетъ,
Тотъ не поэтъ!

Кто юныхъ дней губительныя страсти
Не подчинилъ разсудка твердой власти,
Но, волю давъ и чувствамъ, и страстямъ,
Пошелъ, какъ рабъ, во слѣдъ за ними самъ,
Кто слезы лилъ въ годину испытанья
И трепеталъ подъ игомъ тяжкихъ бѣдъ
И не сносилъ безропотно страданья,
Тотъ не поэтъ!

На Божій міръ кто смотритъ безъ восторга,
Кого сей міръ въ душѣ не вдохновлялъ,
Кто предъ грозой разгнѣваннаго Бога
Съ мольбой въ устахъ во прахъ не упалъ,
Кто у одра страдающаго брата
Не пролилъ слезъ, въ комъ состраданья нѣтъ,
Кто продаетъ себя толпѣ за злато,
Тотъ не поэтъ!

Любви святой, высокой, благородной
Кто не носилъ въ груди своей огня,
Кто на порокъ презрительный, холодный
Смѣнилъ любовь, святыни не храня;
Кто не горѣлъ въ горнилѣ вдохновеній,
Кто ихъ искалъ въ кругу мірскихъ суетъ,
Съ кѣмъ не бесѣдовалъ въ часы ночные геній—
Тотъ не поэтъ!

Не думаемъ, чтобы эти мысли были плодомъ одного только подражанія романтической школѣ: въ значительной степени это искреннія юношескія мечты о высокомъ призваніи писателя. Изъ другого стихотворенія („Изгнанникъ“) мы узнаемъ, что уже рано дѣйствительность грубою рукой прикоснулась къ свѣтлымъ мечтаніямъ поэта, и онъ „очутился на землѣ“.

Ты осужденъ печать изгнанья
Носать до гроба на челѣ,—

сказалъ ему тогда таинственный голосъ:

Ты осужденъ цѣной страданья
Купить въ странѣ очарованья
Рай, недоступный на землѣ!

И поэтъ не теряетъ бодрости; онъ даже полюбилъ свой крестъ:

Теперь отрадно мнѣ страдать,
Полами жесткой власяницы
Несчастій потъ съ чела стирать!

За туманно-романтической формой, какъ-будто, чувствуется здѣсь и нѣчто автобіографическое (печальное дѣтство; разрывъ съ отцомъ, бросившій юношу-поэта почти нищимъ на мостовую большого города), какъ-будто слышится искренняя нота горделивой увѣренности, что, и „очутившись на землѣ“, онъ не утратилъ стремленія къ идеалу: хотя бы „цѣной страданья“, онъ придетъ все же въ обѣтованную землю!

Красавица, не пой веселыхъ пѣсень мнѣ!—

читаемъ въ другой пѣснѣ, интересной въ томъ отношеніи, что здѣсь впервые выступаетъ образъ матери Некрасова, воспѣтый имъ позже въ такихъ чудныхъ, трогательныхъ стихахъ:

Онѣ плѣнительны въ устахъ прекрасной дѣвы,
Но больше я люблю печальные напѣвы...

Унылый тонъ этихъ напѣвовъ,—объясняетъ поэтъ, — въ особенности милъ ему потому,

Что въ первый жизни годъ родимая съ тоской
Смиряла имъ порывъ ребяческаго гнѣва,
Качая колыбель заботливой рукой;
Что въ годы бурь и бѣдъ завѣтною молитвой
На томъ же языкѣ молилась за меня;
Что, побѣжденъ житейской битвой,
Во власть ей отдался я, плача и стена...

Слѣдуетъ еще отмѣтить печать глубокой религіозности, характеризующей сборникъ „Мечты и звуки“. Въ каждомъ почти стихотвореніи встрѣчаемъ упоминаніе о Богѣ, о молитвѣ, о необходимости „путь къ знаньямъ вѣрой освѣтить“ и „разлюбить родного сына за отступленье отъ Творца“. Духъ сомнѣнія пред-

ставляется юному Некрасову злымъ духомъ, и онъ совѣтуетъ не ввѣрять сердца „его всегда недоброму внушенью“.

Порывъ души въ избыткѣ бурныхъ силъ,
Святой восторгъ при взглядѣ на творенье,
Размахъ мечты въ полетѣ вольныхъ крылъ,
И юныхъ думъ кипучее паренье
И юныхъ чувствъ не омраченный пылъ —
Все осквернить печальное сомнѣнье!

Напомнивъ еще разъ читателю, съ какой точки зрѣнія оцениваемъ мы „Мечты и звуки“, резюмируемъ теперь наше общее впечатлѣніе. Книжка эта является, по нашему мнѣнію, не столько продуктомъ сознательнаго литературнаго подражанія романтической школѣ, сколько—зеркаломъ дѣтски-неопытной и наивной, но глубоко-искренней, религиозно и поэтически настроенной юной души. Слабые въ художественномъ отношеніи, стихи эти обнаруживаютъ, тѣмъ не менѣе, богатый запасъ нетронутой душевной силы и свѣжаго чувства. Позднѣйшему, знаменитому Некрасову,—кромѣ плохой формы,—положительно нечего въ нихъ стыдиться: по альтруистически-повышенному настроенію своему „Мечты и звуки“ являются именно подготовительной, „низшей стадіей“ его творчества, отнюдь не звучащей въ немъ диссонансомъ. И намъ кажется, что знакомство съ этой дѣтской книжкой Некрасова дѣлаетъ, какъ-будто, менѣе страннымъ фактъ „внезапнаго“, какъ обыкновенно думаютъ, превращенія посредственнаго рассказчика и куплетиста въ первостепеннаго лирика.

Отмѣтимъ, въ заключеніе, одну любопытную черту, касающуюся внѣшней формы стиховъ сборника „Мечты и звуки“. Оказывается, что уже въ эту раннюю пору Некрасовъ не питалъ такого исключительнаго пристрастія къ ямбу, какъ Пушкинъ и поэты его школы: изъ 44 пьесъ сборника ямбомъ написана лишь половина, другая половина—амфибрахіемъ, дактилемъ и хореемъ (нѣтъ только излюбленнаго впоследствии Некрасовымъ анапеста). Встрѣчаются уже и столь характерныя для позднѣйшаго Некрасова трехсложныя рифмы:

Мало на долю мою бесталанную
Радости сладкой дано;
Холодомъ сердце, какъ въ бурю туманную,
Ночью и днемъ стѣснено.
Въ свѣтѣ какъ лишній, какъ тѣмъ опозоренный,
Вѣчно одинъ я грущу...

Довольно часты также рискованныя рифмы, которыми поэтъ и въ послѣдствіи не брезговалъ: „буду—минуту“, „слѣпо — небо“, „брата—отрада“ и т. п.

II.

Грустное дѣтство. Мать и отецъ.—Удаленіе изъ гимназій.

• Кто же былъ этотъ юноша-идеалистъ, потерпѣвшій такое жестокое крушеніе при первой же попыткѣ выйти въ тревожное литературное море?

Некрасову не исполнилось еще и семнадцати лѣтъ, когда лѣтомъ 1838 года онъ явился на улицахъ Петербурга съ тетрадкой стиховъ въ карманѣ (значительная часть ихъ годъ спустя вошла въ книжечку „Мечты и звуки“), а, между тѣмъ, испытать и пережить ему пришлось уже больше, чѣмъ иному взрослому человѣку. Къ сожалѣнію, фактическія подробности его дѣтской жизни біографамъ поэта извѣстны довольно смутно: въ точности не знаютъ даже, гдѣ онъ родился, сколько лѣтъ провелъ въ Ярославской гимназій (кто пишетъ—два года, кто—шесть), изъ какого класса и почему, собственно, вышелъ; въ какомъ, наконецъ, году пріѣхалъ въ Петербургъ *).

Зато общій характеръ дѣтскихъ лѣтъ ярко очерченъ самимъ поэтомъ въ массѣ его произведеній.

На фонѣ младенческихъ воспоминаній Некрасова ярко вырисовываются—необыкновенно характерная для тогдашней русской жизни фигура отца, грубаго и невѣжественнаго самодура-помѣщика (средней руки), и матери, молодой образованной женщины съ тонкой душевной организаціей и кроткимъ любящимъ сердцемъ.

Ты увлеклась армейскимъ офицеромъ,
Ты увлеклась красивымъ дикаремъ!
Не спорю—онъ приличенъ по манерамъ,
Природный умъ я замѣчала въ немъ;
Но нравъ его, привычки, воспитанье..
Умѣетъ ли онъ имя подписать?

Съ такими словами обращается (въ поэмѣ „Мать“) къ своей бѣглицѣ-дочери бабка поэта, варшавская аристократка Закрев-

*) Самъ Некрасовъ называлъ 1837 годъ (годъ смерти Пушкина), но точное указаніе его сестры (20 іюля 1838 г.), повидимому, болѣе соответствуетъ дѣйствительности.

ская *),—и, кажется, портретъ этотъ вполне отвѣчалъ дѣйствительности. Да и чѣмъ инымъ могъ, въ самомъ дѣлѣ, быть заурядный армейскій офицеръ двадцатыхъ годовъ, выросшій въ условіяхъ крѣпостного права? Если даже самъ поэтъ, въ сравнительно позднее время, воспитывался, окруженный псарями, музыкантами, „крѣпостными любовницами, гаэрами и слугами“, въ домѣ, жизнь котораго текла „среди пировъ, бессмысленнаго чванства, разврата грязнаго и мелкаго тиранства“, то можно вообразить, какова была среда, окружавшая старика-Некрасова, дѣдъ котораго (воевода) и отецъ (штыкъ-юнкеръ въ отставкѣ), богатѣйшіе помѣщики края, проиграли въ карты нѣсколько тысячъ „душъ“ крестьянъ. И если ихъ потомокъ-поэтъ сумѣлъ съ годами „страхнута“ съ души своей тлетворные слѣды поправшей все разумное ногами, гордившейся невѣжествомъ среды“, то, по его собственному свидѣтельству, „живую душу“ спасла въ немъ мать, бывшая несомнѣнно рѣдкимъ, необычнымъ явленіемъ въ тогдашнемъ русскомъ обществѣ, случайной его, экзотической гостьей. У Некрасова-отца такой матери, конечно, не было... Онъ не представлялъ, правда, чего-либо исключительнаго, чудовищнаго на фонѣ той мрачной эпохи; онъ былъ лишь типичнымъ помѣщикомъ двадцатыхъ—тридцатыхъ годовъ, въ достаточной степени умѣвшимъ отравлять жизнь не только своимъ крѣпостнымъ, но и собственной семьѣ, хотя, надо сознаться, сынъ не пожалѣлъ темныхъ красокъ для его обрисовки: дикарь, угрюмый невѣжда, деспотъ

*) Въ «Кіевской Старинѣ» напечатана выписка изъ метрической книги, Успенской церкви, Винницкаго повѣта, о бракѣ въ 1817 г. 28-го егерскаго полка, 3-й бригады, адъютанта поручика Алексѣя Сергѣева сына Некрасова греко-россійскаго исповѣданія съ дочерью титул. совѣтника Андрея Семенова Закревскаго *Еленою, того же исповѣданія*, по учиненіи троекратнаго извѣщенія и по взятіи обыска.—Эта выписка, по мнѣнію нѣкоторыхъ критиковъ, разрушаетъ легенду о польскомъ происхожденіи матери Некрасова... Но намъ кажется, что это крайне скороспѣлый выводъ: вѣдь въ православіе мать Некрасова могла перейти передъ самую свадьбу; да и «легенда» принадлежитъ самому поэту, который, конечно, не фантазировалъ, а основывался на точномъ семейномъ преданіи, на воспоминаніяхъ ранняго дѣтства и на знаменитомъ письмѣ, содержаніе котораго онъ рассказываетъ въ одной изъ задушевнѣйшихъ своихъ поэмъ («Мать») и которое онъ, несомнѣнно, держалъ въ рукахъ, уже будучи юношей («Я разобралъ хранимые отцомъ твоихъ работъ, твоихъ бумагъ остатки и надъ однимъ задумался письмомъ. Оно съ гербомъ, оно съ бордюромъ узкимъ, исписанъ листъ то польскимъ, то французскимъ порывистымъ и страстнымъ языкомъ» и пр.).

и даже палачъ—такъ и мелькаютъ въ тѣхъ мѣстахъ стихотвореній и поэмъ Некрасова, которыя посвящены воспоминаніямъ объ отцѣ. „Твой властелинъ“,—обращается онъ, уже умирая самъ, къ покойной матери:

.наслѣдственные нравы
То покидать, то буйно проявляя;
Но если онъ въ безумныя забавы
Въ недобрый часъ дѣтей не посвящалъ,
Но если онъ разнузданной свободы
До роковой черты не доводилъ,—
На стражѣ ты надъ нимъ стояла годы,
Покуда мракъ въ душѣ его царилъ.

А въ поэмѣ „Несчастные“ находимъ и болѣе подробную картину (хотя въ общемъ герой этой поэмы и не можетъ быть отождествленъ съ авторомъ, но изображеніе его дѣтства и юности, несомнѣнно, автобіографично).¹

Рога трубятъ ретиво,
Пугая ранній сонъ дѣтей,
И воютъ псы нетерпѣливо...
До солища сѣли на коней—
Ушли... Орды вооруженной
Не видятъ глазъ, не слышатъ слухъ.
И бѣдный домъ, какъ осажденный,
Свободно переводитъ духъ.

.
Осаду не надолго сняли...
Вотъ вечеръ—снова рогъ трубить.
Примолкнувъ, дѣти побѣжали,
Но мать остаться имъ велитъ;
Изъ взоръ умылъ, невнятенъ лепетъ...
Опять содомъ, тревога, трепетъ!
А ночью свѣчи зажжены,
Обычный пиръ кипитъ мятежно,
И блѣдный мальчикъ, у стѣны
Прижавшись, слушаетъ прилежно
И смотритъ жадно (узнаю
Привычку дѣтскую мою)...
Что слышитъ? Пѣсни удачны
Подъ топотъ пляски удадой;
Глядитъ, какъ чаши круговыя
Пустьбуютъ быстрой чередой;
Какъ на лету куски хватаютъ
И ротъ захлопываютъ псы...

.

Смѣются гости надъ ребенкомъ,
И чей-то голосъ говорить:
«Не правда-ль, онъ всегда глядитъ
Какимъ-то травленнымъ волченкомъ?
Пооди сюда!» *Блудитъ мать*;
Волченочъ смотритъ—и ни шагу.
«Упрямство надо наказать—
Пооди сюда!»—Волченекъ тягу...
«А-ту его!» Тяжелый сонъ...

Николай Алексѣевичъ, первенецъ въ семьѣ, былъ, повидимому, много старше своихъ многочисленныхъ братьевъ и сестеръ, и одинокое дѣтство его протекало въ невыносимо-душной нравственной атмосферѣ. Чтобы получить объ ней понятие, достаточно прочесть „Родину“, или другое стихотвореніе того же періода— „Въ невѣдомой глуши“, которое авторъ, по не совсѣмъ понятнымъ для насъ мотивамъ, не хотѣлъ признавать оригинальнымъ. Первоначально стихотвореніе было озаглавлено: „Изъ Ларры“, позже— „Подражаніе Лермонтову“, причемъ въ авторскомъ экземплярѣ сдѣлано было такое примѣчаніе: „Сравни: Арбенинъ (въ драмѣ *Маскарадъ*). Не желаю, чтобы эту поддѣлку раннихъ лѣтъ считали, какъ черту моей личности“. И еще слѣдовало ироническое добавленіе: „Былъ влюбленъ и козырнулъ“. Понимай: порисовался демоническимъ плащомъ сильнаго, много испытывающаго, во всемъ разочаровавшагося человѣка...

Позволительно, однако, усомниться въ полной справедливости этого примѣчанія. Прежде всего, въ монологахъ лермонтовскаго героя отыщется всего лишь 5—6 строкъ, имѣющихъ болѣе или менѣе рельефное сходство съ некрасовской пьесой:

Въ кругу обманщицъ милыхъ я напрасно
И глупо юность погубилъ...

И вдругъ во мнѣ забытый звукъ проснулся!
Я въ душу мертвую свою

Взглянулъ—и увидалъ, что я ее люблю,
И стыдно молвить... *ужаснулся!*

И снова ревность, бѣшенство, любовь
Въ пустой груди бушуютъ на просторѣ;
Изломанный челнокъ, я снова брошенъ въ море!
Вернусь ли къ пристани я вновь?

И еще въ другомъ монологѣ:

О дняхъ, отравленныхъ волненіемъ
Порочной юности моей,

Съ какимъ глубокимъ отвращеньемъ
 Я мыслю на груди твоей!
 Такъ, прежде я тебѣ цѣны не зналъ, несчастный;
 Но нынче черствая кора
 Съ моей души слетѣла—мнѣ прекрасный
 Мнѣ глазамъ открылся не напрасно,
 И я воскресъ для жизни и добра («Маскарадъ»).

Сходство некрасовскаго стихотворенія съ первымъ изъ этихъ монологовъ Арбенина очень слабое, чисто-формальное; настроенія передъ нами глубоко-различны: въ душу Арбенина любовь вносить ужасъ и смятеніе; у Некрасова, напротивъ, она означаетъ возрожденіе и надежду:

. . . Для жизни и волненій
 Въ груди проснулось сердце вновь,
 Вліянье раннихъ бурь и мрачныхъ впечатлѣній
 Съ души изгладила любовь!

Мотивъ второго отрывка изъ „Маскарада“, несомнѣнно, тотъ же, что и у Некрасова, но у послѣдняго разработанъ онъ съ такими пластически-реальными подробностями и въ такомъ оригинальномъ освѣщеніи, что „подражаніемъ“ его стихи трудно назвать: скорѣе, это—сходство настроеній, вытекшихъ изъ одинаковыхъ общественныхъ условій времени... Возможно, что Некрасова смущали слѣдующіе стихи его пьесы:

Я въ мутный ринулся потокъ
 И молодость мою постыдно и безумно
 Въ развратъ безобразномъ сжегъ.

И дѣйствительно, по отношенію къ личной біографіи поэта это совершенная неправда (а въ ней-то, собственно, и выразилось подражаніе Арбенину): если и были въ молодости Некрасова не совсѣмъ безгрѣшныя увлеченія, то, конечно, во сто разъ больше было въ ней непосильно-тяжелаго труда, мученій бѣдности, благородныхъ юношескихъ стремленій... За то начало стихотворенія даетъ, повидимому, вполне вѣрную картину растлѣвающаго вліянія на юную душу—отцовскаго дома съ его рабовладельческими нравами и инстинктами:

Въ невѣдомой глуши, въ деревьяхъ полудикой,
 Я росъ средь буйныхъ дикарей,
 И мнѣ дала судьба, по милости великой,
 Въ руководители псарей.

Вокругъ меня кипѣлъ развратъ волною грязной,
 Боролись страсти нищеты
 (т. е. разоренныхъ и озлобленныхъ рабовъ-крестьянъ),
 И на душу мою той жизни безобразной
 Ложились грубыя черты.
 И прежде, чѣмъ понять разсудкомъ неразвитымъ,
 Ребенокъ, могъ я что-нибудь,
 Проникъ уже порокъ дыханьемъ ядовитымъ
 Въ мою младенческую грудь.

Вѣдь это почти то же, что рассказывается и въ знаменитой „Родиной“, гдѣ Некрасовъ, несомнѣнно уже, говоритъ о самомъ себѣ:

И вотъ они опять, знакомыя мѣста,

 Гдѣ было суждено мнѣ Божій свѣтъ увидѣть,
 Гдѣ научился я терпѣть и ненавидѣть,
 Но, ненависть въ душѣ постыдно притая,
 Гдѣ иногда бывалъ помѣщикомъ и я;
 Гдѣ отъ души моей, довременно-растлѣнной,
 Такъ рано отлетѣлъ покой благословенный,
 И не ребяческихъ желаній и тревогъ
 Очонь томительный до срока сердце жегъ...

Какія тяжелыя, поистинѣ кошмарныя воспоминанія вынесъ поэтъ изъ своего дѣтства, видно изъ заключительныхъ строкъ той же „Родины“:

И съ отвращеніемъ кругомъ кидая взоръ,
 Съ отравой вижу я, что срубленъ темный боръ и т. д.

Послѣ этого отнюдь не кажется преувеличеніемъ страдальческій крикъ:

Всему, что, жизнь мою опутавъ съ первыхъ лѣтъ,
 Проклятемъ на меня легло неотразимымъ,
 Всему начало здѣсь, въ краю моемъ родимомъ!

По счастью, въ томъ же родномъ краю и въ томъ же раннемъ дѣтствѣ Некрасова лежитъ начало и всему, что было благословеніемъ его жизни. Это — обольстительно-свѣтлый образъ рано умершей мученицы-матери, навсегда воплотившей для него идеалъ любви и гуманности! Безъ преувеличенія можно сказать, что болѣе трогательнаго, поэтическаго образа не знаетъ не только русская поэзія, но, быть можетъ, и вся русская литература... Смягчая и просвѣтляя мрачныя звуки некрасовской

лиры, образъ этотъ не разъ спасалъ и самого поэта отъ конечнаго паденія...

Повидайся со мною, родимая,
Появись легкой тѣнью на мигъ!
Всю ты жизнь прожила, нелюбимая,
Всю ты жизнь прожила для другихъ.
Съ головой, бурямъ жизни открытою,
Весь свой вѣкъ подъ грозою сердитою
Простояла ты, грудью своей
Защищая любимыхъ дѣтей.

.....
Я пою тебѣ пѣснь покаянія,
Чтобы кроткія очи твои
Смыли жаркой слезою страданія
Всѣ позорныя пятна мои!
Чтобъ ту силу свободную, гордую,
Что въ мою заложила ты грудь,
Укрѣпила ты волею твердою
И на правый поставила путь.
Треволненія мірскаго далекая,
Съ неземнымъ выраженьемъ въ очахъ,
Русокудрая, голубоокая,
Съ тихой грустью на блѣдныхъ устахъ,
Подъ грозой величаво-безгласная
Молода умерла ты, прекрасная,
И такой же явилась ты мнѣ
При волшебнo-свѣтящей лунѣ.
Да! я вижу тебя, блѣднолицую,
И на судъ твой себя отдаю.
Не робѣть передъ правдой-парицею
Научила ты музу мою:
Мнѣ не страшны друзей сожалѣнія,
Не обидно враговъ торжество,
Изреки только слово прощенія
Ты, чистѣйшей любви божество!

.....
Увлекаемъ безславною битвою,
Сколько разъ я надъ бездною стоялъ,
Поднимался твоею молитвою,
Снова падалъ—и вовсе упалъ!..
Выводи на дорогу тернистую!
Разучился ходить я по ней,
Погрузился я въ тину нечистую
Мелкихъ помысловъ, мелкихъ страстей.
Отъ ликующихъ, правдно болтающихъ,
Обагряющихъ руки въ крови,
Уведи меня въ станъ погибающихъ
За великое дѣло любви!

Читатель, конечно, десятки разъ перечитывалъ эту безконечно-трогательную молитву-жалобу—и, тѣмъ не менѣе, мы увѣрены, онъ не посѣтуетъ на насъ за длинную выписку...

Вотъ, между прочимъ, что рассказываетъ по поводу „Рыцаря на часъ“ Н. К. Михайловскій въ февр. кн. „Русск. Бог.“ за 1897 г. (съ тѣмъ бѣльшимъ удовольствіемъ цитируемъ эту страницу, что она вкраплена въ статью, посвященную совсѣмъ другому писателю и не вошедшую до сихъ поръ ни въ одно отдѣльное собраніе сочиненій): „Мимоходомъ сказать, какая странная судьба этого изумительнаго стихотворенія Некрасова, которое, если бы онъ даже ни одной строки больше не написалъ, обезпечивало бы ему „вѣчную память“, и которое едва-ли кто-нибудь, по крайней мѣрѣ, въ молодости, могъ читать безъ предсказанныхъ поэтомъ „внезапно хлынувшихъ слезъ съ огорченнаго лица“. Мнѣ вспоминается одинъ вечеръ или ночь зимою 1884 или 1885 года. Я жилъ въ Любани, ко мнѣ пріѣхали изъ Петербурга гости, большею частью уже не молодые люди, въ томъ числѣ Г. И. Успенскій. Поговорили о петербургскихъ новостяхъ, о томъ, о семъ; потомъ кто-то предложилъ по очереди читать. Г. И. Успенскій выбралъ для себя „Рыцаря на часъ“. И вотъ: комната въ маленькомъ деревянномъ домѣ; на улицѣ, занесенной снѣгомъ, мертвая тишина и непроглядная тьма; въ комнатѣ, около стола, освѣщеннаго лампой, сидитъ нѣсколько человѣкъ, повторяю, большею частію не молодыхъ; Глѣбъ Ивановичъ читаетъ; мы всѣ слушаемъ съ напряженнымъ вниманіемъ, хотя наизусть знаемъ стихотвореніе. Но вотъ, голосъ чтеца слабѣетъ, слабѣетъ и—обрывается: слезы не дали кончить... Простите, читатель, это маленькое личное воспоминаніе. Но вѣдь оно, пожалуй, даже не личное. По всей Россіи вѣдь разсыпаны эти маленькіе деревянные домики на безмолвныхъ и темныхъ улицахъ; по всей Россіи есть эти комнаты, гдѣ читаютъ (или читали?) „Рыцаря на часъ“ и льются (или лились?) эти слезы... А между тѣмъ, въ извѣстномъ сборникѣ г. Зелинскаго критическихъ статей о Некрасовѣ, доведенномъ до 1877 г., т. е. до года смерти поэта, вы найдете всего пять упоминаній о „Рыцарѣ на часъ“, да и то, во-первыхъ, очень бѣглыхъ, а, во-вторыхъ, одно изъ нихъ относится къ рѣчи свящ. Горчакова на могилѣ поэта, а другое къ некрологической статьѣ Достоевскаго. А вѣдь стихотвореніе написано въ 1860 г. Что

же это значить? То ли, что многочисленные враги Некрасова не смѣли коснуться этой блестящей безпощадною искренностью поэтической жемчужины, а еще болѣе многочисленные друзья и почитатели благоговѣйнымъ молчаніемъ выражали свое уваженіе къ интимной сторонѣ житейской драмы, воплощенной въ этомъ воплѣ души?.. Во всякомъ случаѣ, „неизвѣстный другъ“, приславшій Некрасову въ трудную минуту его жизни ободряющее стихотвореніе, былъ правъ, когда, перечисливъ обращаемые къ поэту упреки, прибавлялъ:

Но отчего-жъ весь міръ сильнѣй любить
Мнѣ хочется, стихи твои читая?
И въ нихъ обманъ, а не душа живая?
Не можетъ быть!..

Для насъ важно сейчасъ констатировать, что эта способность будить въ читателяхъ „благіе порывы“, въ свою очередь, заложена была въ душу Некрасова его матерью.—Полька по происхожденію и воспитанію, противъ воли родителей вышедшая за русскаго офицера, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ походной жизни она очутилась въ чужой ей до тѣхъ поръ, грубой обстановкѣ заолустнаго помѣщичьяго дома, окруженная „роемъ подавленныхъ и трепетныхъ рабовъ“, и здѣсь, одинокая, оскорбленная въ лучшихъ чувствахъ, увядала, какъ та сказочная царевна, которую жестокій колдунъ держитъ и терзаетъ въ плѣну. Но въ сказкѣ,— съ горечью говорить Некрасовъ въ своихъ „Несчастныхъ“,— придетъ благородный витязь, убьетъ злого волшебника и вмѣстѣ съ ключьями его негодной бороды броситъ къ ногамъ освобожденной красавицы свою руку и сердце; дѣйствительность была ужаснѣе. Безъ конца и безъ надежды на освобожденіе, „любя, прощая, чуть дыша“, „святая женская душа“ цѣлыхъ двадцать лѣтъ провела въ своей пустынѣ,—всю молодость, всю жизнь!

По счастью, мать Некрасова умѣла не только плакать и „легкой тѣнью“ бродить по липовымъ аллеямъ грѣшневскаго сада; не умѣя бороться активно, она въ высокой степени обладала способностью борьбы пассивной, она была „горда и упорна“ (качество, всецѣло унаслѣдованное и ею сыномъ-первенцемъ). Она могла терпѣть, нести свой крестъ „въ молчаніи рабы“, но жила и дѣйствовала всетаки по своему, такъ, какъ подсказывало

ей любящее сердце. Ея сынъ и пѣвецъ рассказываетъ, что, осужденная сама на страданія, за страданія же полюбила она и свою новую родину.

Несчастна ты, о родина, я знаю,—

влагаетъ онъ въ ея уста обращеніе къ Польшѣ начала тридцатыхъ годовъ:

Весь край въ крови, весь заревоиъ объять,
Но край, гдѣ я люблю и умираю,
Несчастіе, несчастіе стократъ!

И въ продолженіе двадцати долгихъ лѣтъ она была ангеломъ-хранителемъ не только для собственныхъ дѣтей, но и для крѣпостныхъ рабовъ. „Ты не могла голодному дать хлѣба, ты не могла свободы дать рабу; но лишній разъ не сжало чувство страха его души, но лишній разъ изъ трепета и праха онъ поднималъ взоръ бодрѣе къ небесамъ“. И не можетъ быть никакого сомнѣнія въ томъ, что сѣмена любви къ несчастному поработенному народу посѣяны были въ душѣ нашего поэта именно рукою его страдальцы-матери. Рисуя впоследствии (въ „Пирѣ на весь міръ“) симпатичный образъ семинариста-поэта Гриши, Некрасовъ, быть можетъ, не объ одномъ Добролюбовѣ вспоминалъ, когда писалъ:

И скоро въ сердцѣ мальчика
Съ любовью къ *бѣдной матери*
Любовь ко всей вахлачинѣ
Слилась—и лѣтъ пятнадцать
Григорій твердо зналъ уже,
Что будетъ жить для счастья
Убогаго и темнаго
Родного уголка...

Если не жить для счастья убогаго и темнаго люда, то работать для него, несомнѣнно, мечталъ и юноша-Некрасовъ. Гуманное вліяніе матери заключалось не въ одномъ лишь примѣрѣ, но и въ непосредственномъ воздѣйствіи. Она была человекомъ образованнымъ; на поляхъ оставшихся послѣ ея смерти польскихъ книгъ, привезенныхъ когда-то съ далекой родины, сынъ ея—поэтъ нашелъ впоследствии рядъ замѣтокъ, обнаруживавшихъ пытливый умъ и глубокий интересъ къ предмету чтенія. Уходя мыслью къ временамъ ранняго дѣтства, онъ припоми-

наетъ, какъ въ зимнія сумерки, у догорающаго камина, она держала его на колѣняхъ и ласковымъ, мелодическимъ голосомъ рассказывала, подъ завываніе вьюги, сказки „о рыцаряхъ, монахахъ, короляхъ“.

Потомъ, когда читалъ я Данте и Шекспира,
Казалось, я встрѣчалъ знакомыя черты:
То образы изъ ихъ живого міра
Въ моемъ умѣ напечатлѣла ты.

Такимъ образомъ, и первая искра любви къ поэзіи была загорена въ душу Некрасова также матерью (извѣстно, что семи лѣтъ отъ роду онъ уже писалъ стихи, и даже сохранилось его дѣтское четверостишіе, обращенное къ матери).

Изъ всего этого видно, что чуткая, нервно-впечатлительная душа будущаго поэта, на зарѣ сознательной жизни, находилась подъ двумя рѣзко противоположными вліяніями; и, быть можетъ, эти-то вліянія и послужили фундаментомъ при созданіи загадочно-сложнаго, полнаго такихъ удивительныхъ контрастовъ, характера поэта и его одновременно — реальной и идеалистической музы.

Мы проходимъ мимо гимназическаго періода жизни Некрасова, такъ какъ въ литературѣ имѣются пока лишь глухія, отрывочныя и часто противорѣчивыя свѣдѣнія объ этихъ годахъ. Каковы были его учителя, товарищи? Какой уровень знаній и нравственнаго развитія давала тогдашняя ярославская гимназія своимъ ученикамъ? Какъ жили, что дѣлали и читали эти послѣдніе внѣ стѣнъ учебнаго заведенія? Возстановить полную картину этихъ лѣтъ жизни Некрасова врядъ ли уже удастся. Одно не подлежитъ сомнѣнію, что пребываніе въ гимназіи въ значительной степени сняло съ Некрасова гнетущія путы отцовскаго деспотизма и рано развило въ его характерѣ черту самостоятельности. Въ родительскую деревню онъ пріѣзжалъ въ эти годы только на рождественскія, пасхальныя и лѣтнія каникулы, все же остальное время жилъ съ младшимъ братомъ въ городѣ на частной квартирѣ, пользуясь почти безграничной свободой. Правда, къ нему съ братомъ приставленъ былъ крѣпостной дядька, но надзоръ этотъ ограничивался лишь матеріальной стороной жизни молодыхъ барчуковъ, а никакъ не умственной или нравственной. Существуетъ указаніе (опирающееся, кажется, на рассказъ сестры поэта), будто Некрасовъ-гимназистъ злоупотреблялъ этой свободой, участвуя въ товарищескихъ пирушкахъ и

другихъ нездоровыхъ развлеченійхъ, учась плохо и къ гимназическому начальству относясь непочтительно; между прочимъ, онъ писалъ сатирическіе стихи на учителей,—обстоятельство, повліявшее, будто бы, и на невольное удаленіе его изъ четвертаго или пятаго класса...

Семейное преданіе это не слѣдуетъ, однако, принимать съ абсолютнымъ довѣріемъ. Извѣстно, вѣдь, какъ относится обыкновенно семья къ исключенному изъ училища юношѣ: обвиняютъ во всемъ его одного; охотно преувеличиваются и раздуваются до грандіозныхъ размѣровъ его шалости, его распушенность... Что послѣдняя не доходила у Некрасова до чего-нибудь отталкивающего, безобразнаго, порукой служатъ намъ тѣ же „Мечты и Звуки“, составившіеся, главнымъ обвазомъ, изъ стихотвореній, писанныхъ въ гимназическіе годы и, однако, проникнутыхъ свѣтлымъ идеализмомъ и глубокимъ религіознымъ чувствомъ. Не такова была натура Некрасова, чтобы систематически предаваться лѣни, шелопайству и, тѣмъ болѣе, распутству. Шестнадцатилѣтнимъ юношей очутился онъ на еще большей свободѣ, въ Петербургѣ, совсѣмъ уже вдали отъ родительскаго глаза,—и это ничуть не помѣшало ему (даже если и бывали временами увлеченія и ошибки) упорно трудиться и идти по разъ намѣченному пути. Природная искра Божія и идеалистическое вліяніе матери, очевидно, были крѣпкимъ щитомъ противъ всѣхъ недобрыхъ и темныхъ силъ жизни.

III.

Тяжелая рабочая юность. Не умирающій идеаль.—Смерть матери.

За тяжелой порою дѣтства и отрочества, омраченной раннимъ знакомствомъ со всей грязью и ужасомъ крѣпостного строя русской жизни, послѣдовала еще болѣе безрадостная и мрачная юность. Вскорѣ она затмила собою самыя ужасныя воспоминанія раннихъ лѣтъ, и, какъ это часто случается, юношѣ начало даже казаться, что позади остались одни лишь „ручейки, долины, холмики, лѣски и все, чѣмъ въ долѣ беззаботной въ деревнѣ счастливъ земледѣль, чему-бъ теперь опять охотно душой предаться я хотѣлъ“ („Мечты и Звуки“).

Я былъ несчастливъ,—

сравниваетъ онъ дальше свою долю съ долей земляка—товарища, тоже попавшаго въ Петербургъ:

Я пилъ дольше
Очарованье бытія,
За то потомъ и плакалъ больше,
И громче жаловался я.

Какъ извѣстно, благодаря ссорѣ съ отцомъ,—сынъ богатаго сравнительно помѣщика, Некрасовъ очутился одинъ—одиношенекъ на улицахъ огромнаго города въ положеніи почти нищаго; но на психологическую сторону этого превращенія какъ-то мало обращалось до сихъ поръ вниманія. По исключеніи изъ гимназіи, поэту грозила серьезная опасность пойти по слѣдамъ предковъ, въ ранніе годы поступавшихъ въ военную службу и тамъ, въ душной атмосферѣ казармы, доканчивавшихъ свое воспитаніе или, лучше сказать, развращеніе, начатое въ рабовладѣльческой усадьбѣ. Военщина являлась въ тѣ времена не только послѣднимъ прибежищемъ для всѣхъ недорослей изъ дворянъ, неудачниковъ на другихъ путяхъ жизни, но и окружена была въ глазахъ обывателя извѣстнымъ ореоломъ, какъ одна изъ наиболѣе завидныхъ жизненныхъ карьеръ. О такой карьерѣ для сына мечталъ отецъ; толкали юношу на проторенный путь и матеріальныя затрудненія родителей; семья ихъ все росла, а денежные средства, благодаря широкимъ привычкамъ главы дома, все таяли: на продолжительную и значительную поддержку изъ дому Некрасовъ рассчитывать, поэтому, не могъ. И вотъ, лѣтомъ 1838 г., его отправили съ рекомендательнымъ письмомъ къ жандармскому генералу Полозову въ Петербургъ, для поступленія на казенный счетъ въ одинъ изъ кадетскихъ корпусовъ.

Въ Петербургъ Некрасовъ явился, письмо Полозову передалъ, но—вмѣсто корпуса—сталъ готовиться къ экзаменамъ въ университетъ и, какъ бы бросая вызовъ ненавистному прошлому, въ сентябрьской книжкѣ „Сына Отечества“ напечаталъ первое свое стихотвореніе „Мысль“:

Спитъ дряхлый міръ, спитъ старецъ обветшалый!...

Біографы поэта утверждаютъ, что все это вышло случайно: Некрасовъ познакомился, молъ, съ студентомъ Глушицкимъ, и

тотъ такъ „увлекъ его разсказами о преимуществахъ университетскаго образованія“, что мысль о корпусѣ была брошена. Въ дѣйствительности, врядъ-ли произошло это такъ ужъ случайно: вѣдь не Глушицкій же заставилъ Некрасова, почти на другой день по прибытіи въ Петербургъ, понести свои стихи въ журналъ Полевого; очевидно, и самъ поэтъ, не хуже другихъ, понималъ все преимущества интеллектуальной карьеры передъ фронтовой шагистикой. Знакомство съ студенческимъ кружкомъ сыграло, по всей вѣроятности, въ его рѣшеніи лишь роль послѣдней капли, переполнившей чашу.

Впослѣдствіи, уже по смерти Некрасова, Достоевскій, пытаясь найти ключъ къ этому загадочному, „раненому въ самомъ началѣ жизни“ сердцу, писалъ въ извѣстной некрологической статьѣ: „Милліонъ—вотъ демонъ Некрасова... демонъ, который осилилъ, и человекъ остался на мѣстѣ—и никуда не пошелъ“... Достоевскій, какъ это часто случалось съ нимъ, увлекся въ этомъ случаѣ яркимъ парадоксомъ, въ явный ущербъ истинѣ и справедливости *).

Безспорно, Некрасову хорошо знакомъ былъ „мрачный и унижительный бѣсъ,—бѣсъ гордости, жажды самообезпеченія, потребности оградиться отъ людей твердою стѣною и независимо, спокойно смотрѣть на ихъ злость и угрозы“; но неправда, что этотъ унижительный демонъ такъ ужъ безраздѣльно владѣлъ его душою, неправда, что жажда самообезпеченія была центральнымъ двигательнымъ нервомъ духовной жизни Некрасова. Если даже и вѣрно, что въ юности онъ поклялся „не умереть на

*) Характерно, между прочимъ, что Достоевскій, для иллюстраціи своего обвиненія, выбралъ стихотвореніе Некрасова «Секретъ»: суть той мрачной и мучительной половины жизни нашего поэта какъ бы предсказана имъ же самимъ, еще на зарѣ дней его, въ одномъ изъ самыхъ первоначальныхъ стихотвореній... Приводится далѣе цитата, оканчивающаяся стихами: «Да сорокъ лѣтъ минуло времени—въ карманѣ моемъ милліонъ!...»—

«Милліонъ—вотъ демонъ Некрасова,—продолжаетъ Достоевскій:—Этотъ демонъ присосался еще къ сердцу ребенка, ребенка пятнадцати лѣтъ, очутившагося на петербургской мостовой, почти бѣжавшаго отъ отца... Тогда-то и начались, быть можетъ, мечтанія Некрасова, можетъ быть, и сложились тогда же на улицѣ стихи: въ карманѣ моемъ милліонъ».—Такимъ образомъ уродливый герой этой ядовитой сатиры («И вотъ тебѣ, *коршунъ*, награда за жизнь *воровскую* твою!»), съ помощью какой-то непонятной эквилибристики, превращается у Достоевскаго въ самого Некрасова, мечтающаго о милліонѣ!..

чердакъ“, то клятва эта имѣла, конечно, не прямой и грубый смыслъ стремленія къ богатству и наживѣ (какъ толкуютъ друзья—недрузи поэта), а смыслъ болѣе сложный и глубокий: страшно и обидно казалось юношѣ-Некрасову погибнуть въ безвѣстности и безсиліи, со всею ненавистью и любовью, какія бушевали въ его рано оскорбленномъ сердцѣ! Это отнюдь не произвольное толкованіе. Придается огромное значеніе „аннибаловой клятвѣ“ Тургенева, выразившаго свой протестъ противъ крѣпостного права въ свойственной ему формѣ мягкихъ художественныхъ образовъ, которые такъ восхищаютъ насъ въ „Запискахъ Охотника“; но развѣ же можно сравнивать этотъ „прекраснодушный“, въ сущности, протестъ съ дѣйствительно пламеннымъ протестомъ Некрасова, всю жизнь буквально горѣвшаго „святымъ безпокойствомъ“ за судьбы народа? Здѣсь передъ нами всеобъемлющая страсть, о которой поэтъ имѣлъ бы право сказать словами лермонтовскаго героя:

Я зналъ одной лишь думы власть,
Одну, но пламенную страсть:
Она, какъ червь, во мнѣ жила,
Изгрызла душу и сожгла!
Я эту страсть во тѣмѣ ночной
Вскормилъ слезами и тоской...

Эта страсть проникла въ душу Некрасова еще въ раннемъ отрочествѣ, на волжскомъ берегу, при видѣ шедшихъ бичевою и пѣвшихъ заунывные пѣсни бурлаковъ.

О, горько, горько я рыдалъ,
Когда въ то утро я стоялъ
На берегу родной рѣки,
И въ первый разъ ее называлъ
Рѣкою рабства и тоски!
Что я въ ту пору замышлялъ,
Созвавъ товарищей-дѣтей,
Какія клятвы я давалъ --
Пускай умретъ въ душѣ моей,
Чтобъ кто-нибудь не осмѣялъ! *)

*) Не смотря на подзаголовокъ «Дѣтство Валежникова», сразу видно, что въ poemѣ «На Волгѣ» Некрасовъ рисуетъ собственное дѣтство. По первоначальному плану, стихотвореніе это составляло часть большой поэмы «Рыцарь на часъ», и пѣса, теперь извѣстная подъ этимъ заглавіемъ, называлась въ прежнихъ изданіяхъ: «Изъ поэмы Рыцарь на часъ, гл. VI: Валежниковъ въ деревнѣ».

Но, говорить,—„демонъ самообезпеченія“ всетаки очень рано присосался къ сердцу Некрасова и отравилъ его навсегда... Какъ, однако, странно поведеніе этого „демона“! Цѣлыхъ восемь лѣтъ (1838—1846) человѣкъ подвергается опасности зачахнуть отъ непосильной и неблагодарной работы, даже буквально умереть съ голоду, а между тѣмъ—стоило ему вернуться на лоно благонамѣренности и, помирившись съ отцомъ, поступить въ корпусъ, и онъ снова былъ бы сытъ, обезпеченъ, и будущее улыбалось бы ему въ видѣ, можетъ быть, блестящей военной карьеры. „Онъ былъ бы, если бы захотѣлъ,—говоритъ Н. К. Михайловскій,—блестящимъ генераломъ, выдающимся ученымъ, богатѣйшимъ купцомъ. Это мое личное мнѣніе, которое, я думаю, впрочемъ, не удивить никого изъ знавшихъ Некрасова“. Однако, мы знаемъ, что за всѣ годы своей тяжелой юности онъ ни разу не подумалъ ни объ одной изъ подобныхъ возможностей „самообезпеченія“... Рисуя въ послѣдствіи въ „Несчастныхъ“ душевное состояніе юноши, заброшеннаго въ столичный омутъ, поэтъ писалъ:

Счастливъ, кому мила дорога
 Стяжанья, кто ей вѣренъ былъ
 И въ жизни ни однажды Бога
 Въ пустой груди не ощутилъ.
 Но если той тревоги смутной
 Не чуждо сердце—пропадешь!
Въ глухую полночь, безпріютный,
По стогнамъ города пойдешь.

Такъ именно и было съ Некрасовымъ. Не „дорога стяжанья“ плѣняла его; душой его владѣла иная властная сила, иная „смутная тревога“, въ видѣ страстной любви къ литературѣ (единственно возможной въ тѣ времена формъ служенія родинѣ и народу), и, не смотря на всѣ частныя ошибки и, быть можетъ, даже паденія, сила эта всегда брала въ его душѣ верхъ. Ниже мы помѣщаемъ записку Г. З. Елисеева, чрезвычайно интересно и оригинально освѣщающую эту сторону личности Некрасова; пока же ограничимся сказаннымъ и вернемся къ юнымъ годамъ поэта, къ тѣмъ обстоятельствамъ, при которыхъ окончательно сформировались его личность и поэзія.

Первые годы пребыванія Некрасова въ Петербургѣ совпали съ однимъ изъ самыхъ печальныхъ и мрачныхъ періодовъ рус-

ской журналистики вообще, и петербургской въ особенности. Впослѣдствіи самъ Некрасовъ такъ охарактеризовалъ его:

Въ то время пусто и мертво
Въ литературѣ нашей было.
Скончался Пушкинъ—безъ него
Любовь къ ней публики остыла.
Ничья могучая рука
Ее не направляла къ цѣли;
Лишь два задорныхъ поляка
На первомъ планѣ въ ней шумѣли...

И въ самомъ дѣлѣ, со смертью Пушкина литературный діапазонъ сразу рѣзко понизился... Лучшіе элементы приуныли и пали духомъ, худшіе—подняли голову и обнаглѣли... Что касается общества, то оно еще помнило, какъ рассказываетъ Тургеневъ въ „Лит. и жит. воспоминаній“, „ударъ, обрушившійся на самыхъ видныхъ его представителей лѣтъ двѣнадцать передъ тѣмъ; и изъ всего того, что проснулось въ немъ впослѣдствіи, особенно послѣ 55 г., ничего даже не шевелилось, а только бродило,—глубоко, но смутно—въ нѣкоторыхъ молодыхъ умахъ. Литературы, въ смыслѣ живого проявленія одной изъ общественныхъ силъ, находящагося въ связи съ другими, столь же и болѣе важными проявленіями ихъ—не было, какъ не было прессы, какъ не было гласности, какъ не было личной свободы; а была словесность—и были такіе словесныхъ дѣлъ мастера, какихъ мы уже потомъ не видали“.

Дѣйствительно, не только въ талантливыхъ, но даже и въ геніальныхъ представителяхъ литературы въ концѣ 30-хъ годовъ не было недостатка: загоралась яркая звѣзда Лермонтова; къ голосу Бѣлинскаго уже прислушивалась вся юная Россія; Гоголь былъ признаннымъ главою „натуральной школы“; живъ еще былъ и Жуковскій... Но Бѣлинскій лишь въ самомъ концѣ 39 г. перѣхалъ изъ Москвы въ Петербургъ, и въ письмахъ отсюда къ московскимъ пріятелямъ долгое время жаловался на полное одиночество. Жуковскій жилъ при дворѣ и отъ журнальнаго міра всегда стоялъ въ сторонѣ. Лермонтовъ,—когда не находился въ ссылкѣ,—вращался также въ высшемъ обществѣ и къ литературѣ относился съ показнымъ пренебреженіемъ. Наконецъ, Гоголь въ которомъ въ это время начинался уже печальный внутренній

переломъ въ сторону піэтизма, жилъ большею частью въ Римѣ и лишь рѣдкими наѣздами бывалъ въ Москвѣ и Петербургѣ.

Во времена Пушкина—кромѣ него самого, издававшего „Современникъ“,—во главѣ журналистики стоялъ такой даровитый и смѣлый боецъ за правду, какъ Полевой, но къ концу 30-хъ годовъ отъ этого смѣлаго бойца уже оставалась одна жалкая тѣнь. Жизнь заставила его пойти на компромиссы, и, сильно подавшись вправо, сдѣлавшись поставщикомъ псевдопатріотическихъ драмъ и фактическимъ редакторомъ грече-булгаринскаго „Сына Отечества“, онъ близко подошелъ къ направленію „Сѣверной Пчелы“. Духъ „двухъ задорныхъ поляковъ“, т. е. Булгарина и Сеньковского, занялъ вообще въ эти годы непропорціонально-большое мѣсто въ петербургской журналистикѣ. Несомнѣнно, Сеньковский былъ чище Булгарина, даровитѣе и умнѣе, но умъ его, по остроумному выраженію баснописца Крылова, былъ „какой-то дурацкій“, свободный отъ всякихъ принциповъ. Его, гремѣвшая въ 30-хъ годахъ и имѣвшая до 7000 подписчиковъ, „Библиотека для чтенія“ сѣяла въ умахъ читателей легкомысленное, „веселое“ отношеніе рѣшительно ко всѣмъ явленіямъ литературы и жизни... Въ этомъ смыслѣ рука объ руку съ „Библ. для Ч.“ шли довольно многочисленные въ эти годы альманахи, сборники и другіе полу-лубочныя изданія, единственною причиною возникновенія которыхъ былъ расчетъ издателей-барышниковъ на пробуждавшуюся въ русской публикѣ охоту къ чтенію. Пушкинскій „Современникъ“, въ рукахъ корректнаго, но скучноватаго профессора эстетики Плетнева, влачилъ жалкое существованіе; „Отеч. же Записки“, послѣ продолжительнаго перерыва возобновленныя въ январѣ 1839 г., лишь съ конца этого года, съ перѣездомъ Бѣлинскаго въ Петербургъ, когда и всѣ его московскіе пріятель (Боткинъ, Грановскій, Кудрявцевъ, Герценъ) перекочевали въ этотъ журналъ, стали приобрѣтать постепенно значеніе боевого либеральнаго органа.

Въ такое-то время явился въ Петербургъ Некрасовъ, полный радужныхъ юношескихъ мечтаній и горячей вѣры въ литературу, какъ въ единственно-возможную въ то время форму разумной и свободной дѣятельности. Неопытный новичокъ-провинціалъ, мало развитой въ литературномъ смыслѣ юноша, онъ не умѣлъ еще разбираться въ тогдашнихъ литературныхъ партіяхъ и направленіяхъ, и, по всей вѣроятности, какой-нибудь Гречъ или Сень-

ковский ничѣмъ ровно не отличался въ его глазахъ отъ Полевого или Краевского. По крайней мѣрѣ, стихи Некрасова начали появляться безразлично въ „Литерат. Газетѣ“, „Библіотекѣ для Чт.“ „Сынѣ Отечества“, „Прибав. къ Инвалиду“ и пр.; только собственное природное чутье привело его въ концѣ концовъ въ кружокъ Бѣлинскаго. Но случилось это, къ сожалѣнію, не такъ скоро...

„За славой я въ столицу торопился“,—вспоминалъ позже самъ поэтъ. И дѣйствительно, едва успѣвъ напечатать въ журналахъ десятокъ, другой дѣтскихъ стихотвореній, едва успѣвъ ознакомиться съ дешевыми лаврами и дорогими терніями литературной дороги (въ видѣ холода, голода и одиночества въ большомъ городѣ), ровно годъ спустя по прибытіи въ Петербургъ, онъ уже сдалъ въ цензуру книжечку своихъ стихотвореній. Въ біографіяхъ Некрасова сообщается обыкновенно, что къ этому времени нужда уже настолько выпустила его изъ когтей, что онъ сумѣлъ даже сдѣлать кой-какія сбереженія для выпуска въ свѣтъ книги. Но это, конечно, недоразумѣніе. Деньги на изданіе собраны были Бенецкимъ по подпискѣ, и настоящая нужда Некрасова съ осени 39 г., т. е. съ поступленія его въ вольнослушатели университета и окончательнаго разрыва съ отцомъ, еще только начиналась: съ этого именно времени, въ теченіе двухъ-трехъ лѣтъ, шла непрерывная борьба за существованіе въ буквальный смыслъ слова,—съ ночевками въ ночлежныхъ пріютахъ, жизнью въ сырыхъ углахъ и подвалахъ, корпѣньемъ за черной литературной работой, едва спасавшей поэта отъ голодной смерти *).

О неудачномъ литературномъ дебютѣ Некрасова мы уже говорили **). Собственныхъ признаній поэта насчетъ впечатлѣнія, какое произвело на него это событіе, у насъ, къ сожалѣнію,

*) Въ воспоминаніяхъ Бѣлоголоваго о гр. Лорисъ-Меликовѣ, который въ юности (именно въ началѣ 40-хъ годовъ) жилъ одно время съ Некрасовымъ, приводится любопытное показаніе гр. Лориса о томъ, что мать поэта изрѣдка, тайкомъ отъ мужа, присылала сыну небольшія суммы денегъ.

**) До чего мало знакомы у насъ съ біографіей Некрасова, показываетъ слѣдующая цитата изъ одной юбилейной статьи: «Мечты и Звуки—такъ назывался первый сборникъ, доставившій Некрасову нѣкоторую известность и порядочную матеріальную выгоду. Но уже раньше того (?) онъ писалъ въ самыхъ разнообразныхъ жанрахъ, стихами и прозою, начиная съ *водоливей* и заканчивая юридическими разборами ученыхъ книгъ» («Научное Обозр.», 1903, янв.).

нѣтъ. Все говоритъ, однако, за то, что здоровое критическое чутье Некрасова, сила его большого природнаго ума подсказали ему, что если приговоръ Бѣлинскаго и былъ нѣсколько рѣзокъ по формѣ, то по существу заключалъ въ себѣ много правды: на почвѣ абстрактныхъ лирическихъ изліяній Некрасовъ не могъ бы пойти далеко. Несравненные художники, Пушкинъ и Лермонтовъ умѣли превращать въ настоящіе брилліанты поэзіи все, къ чему ни прикасались. Такъ, Лермонтовъ, уже въ очень ранніе годы, не смотря на поверхностное знакомство съ жизнью, на основаніи лишь „внутреннихъ видѣній своего духа“ (выраженіе Бѣлинскаго) могъ создавать вещи вродѣ „Ангела“ или „Паруса“, не уступающіе позднѣйшимъ его шедеврамъ. Но это—завидное право генія, являющагося, можетъ быть, разъ въ столѣтіе... На свое счастье, Некрасовъ рано понялъ это; онъ принялъ свою неудачу, какъ вполне заслуженную, и съ чисто-юношескимъ ригоризмомъ рѣшилъ, что онъ совсѣмъ не поэтъ. По крайней мѣрѣ, мы знаемъ, что послѣ плачевнаго опыта съ „Мечтами и Звуками“ онъ надолго оставилъ лирику, а къ самой этой книжкѣ отнесся съ безпоощадной свирѣпостью: всѣ уцѣлѣвшіе отъ продажи экземпляры (а они составляли, вѣроятно, значительнѣйшую часть изданія) немедленно уничтожилъ; во всѣ позднѣйшія изданія своихъ стихотвореній никогда не включалъ изъ „Мечтаній и Звуковъ“ ни одной пьесы, и до конца жизни не любилъ даже вспоминать о нихъ. Наконецъ, ни малѣйшаго непріязненнаго чувства не сохранилъ онъ и къ своему неумолимо-строгому судѣ Бѣлинскому, къ которому, наоборотъ, съ перваго же дня личнаго знакомства сталъ относиться съ благоговѣніемъ самаго преданнаго и вѣрнаго ученика (и благоговѣніе это донесъ до могилы). Можно думать, что, вращаясь въ студенческихъ кружкахъ Петербурга, Некрасовъ уже и въ моментъ выпуска своей злополучной книги хорошо зналъ имя Бѣлинскаго и высоко его цѣнилъ,—оттого и принялъ такъ къ сердцу приговоръ великаго критика.

Чего, однако, стоило этому гордому, замкнутому, „съ самаго начала жизни раненому“ сердцу такое безмолвное и, повидимому, спокойное отреченіе отъ завѣтной юношеской мечты? Объ этомъ, повторяемъ, свѣдѣній мы не имѣемъ, хотя и не трудно представить себѣ внутреннюю бурю, пережитую поэтомъ. Инстинктъ тянулъ къ литературѣ и поэзіи, продолжая, быть можетъ, подска-

зывать: „здѣсь твое признаніе, законное мѣсто!“ А рассудокъ и опытъ жизни говорили другое: „Стой! ты—не поэтъ, а всего только мечтатель... Войти въ этотъ храмъ ты недостойнъ“.

Это была, разумѣется, тяжелая внутренняя драма; въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ рефлексія одерживала верхъ надъ инстинктомъ, и Некрасовъ шелъ по дорогѣ литературнаго чернорабочаго. Но, съ другой стороны, именно въ томъ обстоятельствѣ, что онъ не бросилъ все-таки литературы, сказалась могучая сила инстинкта настоящего таланта. Въ лицѣ Некрасова мы имѣемъ яркій примѣръ того, что значить крупное литературное дарованіе: точно стихійная сила, рано или поздно оно неудержимымъ потокомъ прорвется наружу, не смотря ни на какія искусственныя преграды и плотины! Не смотря на всю тяжесть нужды, Некрасовъ нигде не пошелъ отъ литературы. Не удалось въ качествѣ признаннаго жреца войти въ храмъ,—онъ остался у воротъ храма, въ качествѣ простого подметальщика сора, рецензента, куплетиста, фельетониста, лишь бы быть *возлѣ* литературы! Даже умирая съ голоду, не покидалъ онъ своего поста, пока, наконецъ, терпѣніе, упорный трудъ, горячая любовь, случай (въ видѣ знакомства съ Бѣлинскимъ), а главное—развернувшійся постепенно талантъ не вывели на широкую дорогу славы...

Въ біографіяхъ Некрасова этотъ періодъ его жизни признается однимъ изъ самыхъ темныхъ. Если не считать отрывочныхъ разсказовъ самого поэта о нѣкоторыхъ исключительныхъ моментахъ его тогдашняго житья-бытья (вродѣ скитаній по ночлежнымъ домамъ и кухмистерскимъ низшаго разбора), да его же краткаго признанія, что онъ „попалъ въ такой литературный кружокъ, въ которомъ скорѣе можно было отупѣть, чѣмъ развиваться“, то мы, дѣйствительно, не имѣемъ ровно никакихъ біографическихъ свѣдѣній за время отъ 1840 до 1845 года. Но если, съ другой стороны, перебрать все написанное Некрасовымъ за эти 4—5 лѣтъ (за всю жизнь онъ написалъ, по собственному признанію, до 300 печ. листовъ *прозы*, и, конечно, значительная доля ихъ падаетъ на юношескіе годы), то станетъ вполне ясно, что бѣдному юношѣ было въ это время не до „жизни“ въ настоящемъ смыслѣ этого слова! Нужно отъ души пожелать, чтобы нашелся, наконецъ, добросовѣстный изслѣдователь, который взялъ бы на себя трудъ внимательно перечестъ всю груду юношескихъ писаній Некрасова и прослѣдить, насколько они вызваны были заботой о

насущномъ кускѣ хлѣба, и насколько отразилась въ нихъ внутренняя жизнь поэта. Кромѣ многочисленныхъ пародій и юмористическихъ куплетовъ (изъ которыхъ въ общеизвѣстное собраніе стихотвореній вошелъ только „Говорунъ“), Некрасовымъ между 1840—1843 гг. написаны слѣдующіе рассказы и повѣсти *): „Макаръ Осиповичъ Случайный“, „Безъ вѣсти пропавшій пѣнта“, „Утро въ редакціи“, „Пѣвица“, „Въ Сардиніи“, „Двадцать пять рублей“, „Ростовщикъ“, „Капитанъ Кукъ“, „Необыкновенный завтракъ“, „Помѣщикъ 23 лѣтъ“, „Карета, предсмертныя записки дурака“, „Жизнь Александры Ивановны“, „Опытная женщина“, „Жизнь и люди (философическая сказка)“; затѣмъ слѣдовали водевили и драмы: „Актёръ“, „Шила въ мѣшкѣ не утаишь“, „Оеоктистъ Онуфріевичъ Бобъ“, „Мужъ не въ своей тарелкѣ“, „Дѣдушкины попугаи“, „Вотъ что значитъ влюбиться въ актрису“, „Материнское Благословеніе“, „Похожденія Петра Столбикова“. Но вся эта беллетристическая производительность должна, кажется, померкнуть передъ массой написанныхъ Некрасовымъ театральнхъ и литературныхъ рецензій. О количествѣ ихъ можно судить по тому обстоятельству, что за *одинъ* 1841 годъ и въ *одной* только „Литерат. Газетѣ“ г. Горленко насчиталъ ихъ больше тридцати, а между тѣмъ, Некрасовъ писалъ рецензіи постоянно, изъ года въ годъ, помѣщая ихъ почти во всѣхъ литературныхъ журналахъ 40-хъ годовъ, въ „Русскомъ Инвалидѣ“, „Прибавленіяхъ къ Инвалиду“, „Библіотекѣ для чтенія“, „Отеч. Запискахъ“, „Пантеонѣ“ и даже „Финскомъ Вѣстникѣ“!

Много работалъ также Некрасовъ въ качествѣ фельетониста... Но всего этого мало: нужда привела его и къ лубочнымъ издателямъ (Иванову и Полякову), для которыхъ онъ сочинилъ нѣсколько азбукъ и сказокъ. Въ числѣ послѣднихъ извѣстна большая „русская народная сказка въ стихахъ“ (больше 2000 стиховъ) „Баба-Яга, костяная нога“. Состояла она изъ восьми главъ: въ первыхъ двухъ авторъ пытается подражать манерѣ „Руслана и Людмилы“, въ остальныхъ — народнымъ сказкамъ Пушкина.

Дѣйствительной народности въ этой „народной“ сказкѣ, также

*) Свѣдѣнія эти взяты изъ статьи г. В. Горленко «Литературные дебюты Некрасова» («От. Зап.» 1878 г., дек.), дающей, къ сожалѣнію, лишь очень краткій и далеко не полный перечень и характеристику прозаическихъ опытовъ Некрасова.

какъ и поэзіи—ни капли; содержаніе вполне нелѣпое, форма—примитивная *). Невольно приходитъ въ голову, что „Баба-Яга“ писана Некрасовымъ не въ Петербургѣ, въ 1841 г., а еще въ Ярославлѣ, двумя-тремя годами раньше, теперь же, въ минуту жизни трудную, лишь слегка, быть можетъ, подправлена и пущена на книжную толкучку...

Подъ гнетомъ этого безпросвѣтнаго, черного труда проходили годы, лучшіе годы молодости...

Кажется, лѣтомъ 1842 года въ жизни Некрасова случилось знаменательное событіе—примиреніе съ отцомъ и поѣздка въ родное Грешнево. За время четырехлѣтняго отсутствія поэта, тамъ произошло много печальнаго. Умерла, прежде всего, любимая сестра его, трагическую судьбу которой рисуютъ слѣдующія строки изъ „Родины“:

И ты, дѣлившая съ страдальцей безгласной
И горе, и позоръ судьбы ея ужасной,
Тебя ужъ также нѣтъ, сестра души моей!
Изъ дома крѣпостныхъ любовницъ и псарей
Гонимая стыдомъ, ты жребій свой вручила
Тому, котораго не знала, не любила...
Но, матери своей печальную судьбу
На свѣтѣ повторивъ, лежала ты въ гробу
Съ такой холодною и строгою улыбкой,
Что дрогнулъ самъ палачъ, заплакавшій ошибкой.

Другихъ подробностей тяжелой драмы не сохранилось, но легко представить себѣ, что переживала несчастная мать, сама давно уже сгоравшая и таявшая, какъ свѣча. Повидимому, незадолго до ея смерти въ домѣ произошла какая-то дикая, грубая

*) Вотъ небольшой образчикъ. Баба-Яга пытается соблазнить героя Булата:

Да и чмокъ его тутъ въ губы...
Чуть Булатъ съ досады зубы
Тутъ колдунѣ не разбилъ:
«Чтобы чортъ тебя любилъ!—
Закричалъ онъ,—я не стану...
Я люблю одну Любану».
Ха-ха-ха! Да хи-хи-хи
И пустилась во смѣхи:
«Полно, миленькій дружочекъ,
Мой прекрасный жизненочекъ,
Чѣмъ же я тебѣ худа?

Гдѣ же лучше красота?
Ротъ немножко широконекъ,
Носъ изрядно великонекъ,
На макушкѣ есть рога,
Словно кость одна нога,
Да немножко ухо длинно,
Но за то вѣдь я невинна!
Вотъ что главное, дружокъ...»
И опять Булата чмокъ!
Чуть не вылъ Булатъ со злости...

сцена, быть можетъ, одна изъ многихъ, какія бывали между бѣдной страдалицей и ея властелиномъ; на это есть намекъ въ „Рыцарѣ на часъ“: „И гроза надъ тобой разразилась, ты, не дрогнувъ, ударъ приняла!..“ Самъ „палачъ“ не выдержалъ своей роли и, въ позднемъ раскаяніи, упалъ къ ногамъ замученной имъ женщины: „Ты побѣдила! У ногъ твоихъ дѣтей твоихъ отецъ...“

Некрасова вызвали изъ Петербурга; но, по всей вѣроятности, письмо отца написано было въ успокоительномъ тонѣ, позволявшемъ думать, что непосредственно-близкой опасности больной не грозитъ: по крайней мѣрѣ, поэтъ не поторопился выѣхать—и получилъ вскорѣ извѣстіе, что все уже кончено. Мать Некрасова умерла 29 іюля 1841 года, и когда слѣдующимъ лѣтомъ онъ собрался посѣтить Грешнево, на могилѣ ея уже лежала плита съ вырѣзанной на ней надписью, а въ домѣ сдѣланы были перестройки и заведены новые порядки.

У той плиты, гдѣ ты лежишь, родная,
Припомнилъ я, волнуясь и мечтая,
Что могъ еще увидѣться съ тобой—
И опоздалъ!.. И жизни трудовой
Я предавъ былъ, и страсти, и невзгодамъ,
Захлеснутъ былъ я невскою волной...

Встрѣча съ отцомъ имѣла наружно-мирный характеръ. Къ 20-лѣтнему юношѣ уже нельзя было относиться, какъ къ мальчику, и возможно, что старикъ и ~~испытывалъ~~ теперь даже нѣкоторое почтеніе къ сыну, къ его твердости и умѣнью стоять на собственныхъ ногахъ. „Съ усталой головой, ни живъ, ни мертвъ (я голодалъ по-долгу), но горделивъ—пріѣхалъ я домой“, находимъ въ poemѣ „Мать“ воспоминаніе объ этой побѣдѣ на родину.

Послѣ смерти жены отецъ Некрасова прожилъ еще около 20 лѣтъ, но поэтъ уже рѣдко воспоминаетъ объ этомъ позднѣйшемъ періодѣ его жизни, а если и воспоминаетъ, то съ несравненно большей мягкостью; иногда прорываются даже, какъ-будто, теплыя нотки:

Буря воетъ въ саду, буря ломится въ домъ..
Я боюсь, чтобъ она не сломила
Старый дубъ, что посаженъ отцомъ,
И ту иву, что мать посадила...

(1863 г.).

Мой черный конь, съ Кавказа приведенный,

Умень и смѣлъ,—какъ вихорь, онъ летитъ;
 Еще отцомъ къ охотѣ приученный,
 Какъ вкопанный, при выстрѣлѣ стоитъ.

(1874 г.)

IV.

Гуманная школа Бѣлинскаго.—Неизгладимое вліяніе режима „ежевыхъ рукавицъ“. Герой-раба.

Мы подошли къ событію, сыгравшему въ исторіи развитія нравственной личности Некрасова не меньшую, если не большую, роль, чѣмъ любовь къ матери: такимъ событіемъ было—знакомство съ Бѣлинскимъ...

Впервые великій критикъ обратилъ на нашего поэта вниманіе, какъ на автора нѣкоторыхъ понравившихся ему рецензій, должно быть, еще въ 1842 году; но долгое время ихъ встрѣчи и бесѣды были мимолетны и незначительны. Некрасовъ уже давно преклонялся передъ Бѣлинскимъ, но природная замкнутость и застѣнчивость мѣшали ему сдѣлать первый шагъ къ болѣе тѣсному сближенію; онъ глядѣлъ на себя, какъ на скромнаго литературнаго работника, а Бѣлинскій былъ въ это время уже въ апогеѣ своей славы и въ „Отеч. Зап.“ занималъ мѣсто главнаго редактора.

Сближеніе началось, кажется, лишь съ осени 1844 г., когда Некрасовъ собиралъ матеріалъ для задуманнаго имъ въ то время литературнаго сборника „Физиологія Петербурга“, для котораго и Бѣлинскій, въ числѣ другихъ писателей, далъ статью „Петербургъ и Москва“. Между прочимъ, Бѣлинскаго сильно заинтересовалъ (еще въ рукописи) назначенный для этого сборника очеркъ самого Некрасова „Петербургскіе Углы“, одинъ изъ лучшихъ прозаическихъ опытовъ поэта, посвященный жизни трущобныхъ обитателей и написанный въ духѣ и манерѣ „натуральной школы“. Интересъ былъ тѣмъ сильнѣе, что до Бѣлинскаго, конечно, дошли уже въ это время слухи о лично пережитомъ Некрасовымъ періодѣ нищеты и голоданія, и въ „Петербургскихъ углахъ“ онъ видѣлъ не столько художественное произведеніе, сколько глубоко выстраданную жизненную правду. „Съ этихъ поръ.—разсказываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ Ив. Панаевъ,—Некрасовъ съ каждымъ днемъ болѣе сходилъ съ Бѣлинскимъ, разсказывалъ ему свои

горькія литературныя походы, свои разсчеты съ редакторами различныхъ журналовъ... Онъ произвелъ на Бѣлинскаго съ самаго начала пріятное впечатлѣніе. Послѣдній полюбилъ его за его рѣзкій, нѣсколько ожесточенный умъ, за тѣ страданія, которыя онъ испыталъ такъ рано, добываясь куска насущнаго хлѣба, и за тотъ смѣлый, практическій взглядъ не по лѣтамъ, который онъ вынесъ изъ своей труженической и страдальческой жизни, и которому Бѣлинскій всегда мучительно завидовалъ... Ни въ комъ изъ своихъ пріятелей Бѣлинскій не находилъ ни малѣйшаго пракческаго элемента и, преувеличивая его въ Некрасовѣ, смотрѣлъ на него съ какимъ-то особеннымъ уваженіемъ*. Бѣлинскій полагалъ, впрочемъ, что Некрасовъ навсегда останется полезнымъ литературнымъ труженикомъ—не больше. Даже въ слѣдующемъ (45 г.), когда Некрасовъ напечаталъ уже во II части „Физиологія“ свою сатиру въ стихахъ „Чиновникъ“, Бѣлинскій, осыпая ее въ печати похвалами, какъ „одно изъ тѣхъ въ высшей степени удачныхъ произведеній, въ которыхъ мысль, поражающая своей вѣрностью и дѣльностью, является въ совершенно соотвѣтствующей ей формѣ“,—ни однимъ еще словомъ не обмолвился о *поэтическомъ* талантѣ автора. И только позже, въ „Обзорѣ русской литературы за 1845 г.“, онъ называетъ „Чиновника“, „Соврем. Оду“ и „Старушкѣ“ *) „счастливыми вдохновеніями таланта“... Но, кажется, передъ этимъ Бѣлинскій прочелъ уже въ рукописи стихотвореніе „Въ дорогѣ“, которое, по свидѣтельству Панаева, привело его въ полный восторгъ: „У Бѣлинскаго засверкали глаза, онъ бросился къ Некрасову, обнялъ его и сказалъ чуть не со слезами на глазахъ:—Да знаете ли вы, что вы поэтъ—и поэтъ истинный?..“

Съ этого момента, а особенно послѣ знаменитой „Родины“, Бѣлинскій начинаетъ возлагать на Некрасова, какъ на поэта, большія надежды, и отношенія его къ автору оригинальныхъ стихотвореній принимаютъ нѣжный, почти любовный оттѣнокъ...

Посмотримъ же, чѣмъ былъ Бѣлинскій для Некрасова. „Онъ видѣлъ во мнѣ,—вспоминалъ въ послѣдствіи самъ поэтъ,—богато одаренную натуру, которой недостаетъ развитія и образованія. И вотъ около этого-то держались его бесѣды со мною, имѣвшія для меня значеніе поученія“. А какимъ обаяніемъ вѣяло на Не-

*) Забытое въ настоящее время стихотвореніе.

красова отъ личности Бѣлинскаго, видно хотя бы изъ разсказа Достоевскаго объ его первомъ знакомствѣ съ Некрасовымъ по поводу „Вѣднхъ Людей“: „Въ полчаса мы Богъ знаетъ сколько переговорили, съ полслова понимая другъ друга, съ восклицаніями, торопясь, говорили и о поэзіи, и о Гоголѣ, цитируя изъ „Ревизора“ и изъ „Мертвыхъ Душъ“, но главное—о Бѣлинскомъ. „Я ему сегодня же снесу вашу повѣсть, и вы увидите... Да вѣдь человѣкъ-то, человѣкъ-то какой! Вотъ вы познакомитесь, увидите, какая это душа!“—восторженно говорилъ Некрасовъ, трясая меня за плечи обѣими руками...—О знакомствѣ его съ Бѣлинскимъ я мало знаю, но Бѣлинскій его угадалъ съ самаго начала и, можетъ быть, сильно повліялъ на настроеніе его поэзіи. Не смотря на всю тогдашнюю молодость Некрасова и на разницу лѣтъ ихъ, между ними, навѣрное, ужъ и тогда бывали такія минуты и уже сказаны были такія слова, которыя вліяютъ навѣкъ и связываютъ неразрывно“. Или, вотъ, какой разговоръ Некрасова съ Добролюбовымъ передаетъ въ своихъ воспоминаніяхъ Панаева-Головачева:

Жаль, что вы сами не знали этого человѣка! Я съ каждымъ годомъ все сильнѣе чувствую, какъ важна для меня потеря его. Я чаще сталъ видѣть его во снѣ, и онъ живо рисуется передъ моими глазами. Ясно припоминаю, какъ мы съ нимъ вдвоемъ, часовъ до двухъ ночи, бесѣдовали о литературѣ и о разныхъ другихъ предметахъ. Послѣ этого я всегда долго бродилъ по опустѣлымъ улицамъ въ какомъ-то возбужденномъ настроеніи, столько было для меня новаго въ высказанныхъ имъ мысляхъ... Вы, вотъ, вступили въ литературу подготовленнымъ, съ твердыми принципами и ясными цѣлями. А я?... Заняться своимъ образованіемъ у меня не было времени, надо было думать о томъ, чтобы не умереть съ голоду! Я попалъ въ такой литературный кружокъ, въ которомъ скорѣе можно было оступѣть, чѣмъ развиваться. Моя встрѣча съ Бѣлинскимъ была для меня спасеніемъ... Чтобы ему пожить подольше! Я бы былъ не тѣмъ человѣкомъ, какимъ теперь! — Некрасовъ произнесъ послѣднюю фразу дрожащимъ голосомъ, быстро всталъ и ушелъ въ кабинетъ.

Къ воспоминаніямъ Панаевой во многихъ частностяхъ позволительно относиться cum magno grano salis, но въ данномъ случаѣ показаніе ея нисколько не стоитъ въ противорѣчій съ отзывами Некрасова о Бѣлинскомъ, разсѣянными во многихъ мѣстахъ его стихотвореній и поэмъ *).

*) «Памяти пріятеля» (1853 г.); «О погодѣ» (1859); «Ликуетъ врагъ» (1866); «Медвѣжья Охота» (1867); «Кому на Руси жить хорошо» (1873); не

всѣмъ извѣстную, знаменитую тираду изъ „Медвѣжьей Охоты“, обращенную къ „многострадальной тѣни“ великаго „учителя“, научившаго русское общество „гуманно мыслить“. Но есть у Некрасова еще одно произведеніе, въ главномъ героѣ котораго изображенъ, думается намъ, также Бѣлинскій: это—Кротъ во II части „Несчастныхъ“. Если никто не замѣчаетъ обыкновенно поразительнаго сходства этой фигуры съ личностью Бѣлинскаго, то, конечно, лишь благодаря Достоевскому, который пустилъ въ обращеніе совсѣмъ иное толкованіе: „Однажды, въ 63, кажется, году,—разсказываетъ онъ въ „Дневникѣ Писателя“, — отдавая мнѣ томикъ своихъ стиховъ, Некрасовъ указалъ мнѣ на одно стихотвореніе, „Несчастные“, и внушительно сказалъ: я тутъ объ васъ думалъ, когда писалъ это (т. е. объ моей жизни въ Сибири),—это объ васъ написано“. На этомъ основаніи и сложилось распространенное до сихъ поръ мнѣніе, будто Кротъ Некрасова—Достоевскій... Но, во-первыхъ,—и по разсказу самого Достоевскаго, — Некрасовъ отнюдь не сказалъ, что именно въ образѣ Крота изобразилъ его: онъ только *вообще* думалъ о горькой судьбѣ Достоевскаго, сочиняя „Несчастныхъ“ (что и безъ его признанія не подлежитъ, конечно, сомнѣнію). Что касается Крота, то съ авторомъ „Записокъ изъ Мертваго Дома“ въ немъ положительно ничего нѣтъ общаго.

Напомнимъ читателю, что „Несчастные“ писались въ 1856 г., задолго до возвращенія Достоевскаго изъ Сибири, когда въ литературѣ онъ былъ извѣстенъ еще только какъ авторъ „Бѣдныхъ Людей“, „Двойника“, „Хозяйки“ и другихъ разсказовъ, въ которыхъ объ его будущемъ *учительствѣ* не было еще и помина. Личнымъ же своимъ характеромъ, нелюдимымъ, болѣзненно-самолюбивымъ, онъ, какъ извѣстно, не внушилъ особенной любви членамъ кружка, въ которомъ вращался до своего ареста, въ томъ числѣ и Некрасову. Другое дѣло—Бѣлинскій...

Прежде всего — наружность послѣдняго. Вотъ какъ описываетъ ее великій мастеръ такого рода описаній, Тургеневъ: „Это былъ человѣкъ средняго роста, на первый взглядъ довольно не-

вошедшая до сихъ поръ въ собраніе стихотвореній Некрасова поэма «Бѣлинскій».—На смертномъ уже одрѣ, поэтъ не разъ вспоминаетъ своего учителя и записываетъ въ дневникѣ отъ 16 іюня 1877 г.: «Любимое стихотвореніе Бѣлинскаго было—

Въ степи мірской, печальной и безбрежной...»

красивый и даже нескладный, *худощавый, съ впалой грудью и по-
нурой головой...* Всякаго, даже не медика, немедленно поражали
въ немъ всѣ главные признаки чахотки, весь такъ наз. *habitus*
этой злой болѣзни... *Густые блондурые волосы падали клокомъ*
на бѣлый, прекрасный, хоть и низкій лобъ. Я не видалъ глазъ
болѣе прелестныхъ, чѣмъ у Бѣлинскаго. *Голубые, съ золотыми*
искорками въ глубинѣ зрачковъ, эти глаза, въ обычное время
полузакрытые рѣсницами, расширялись и сверкали въ минуты
одушевленія; въ минуты веселости взглядъ ихъ принималъ плѣни-
тельное выраженіе пріятливой доброты и безпечнаго счастья.
Голосъ у Бѣлинскаго былъ слабъ, съ хрипотою, но пріятенъ;
говорилъ онъ съ особенными удареніями и придыханіями, „упор-
ствуя, волнуясь и спѣша“...

Не тотъ же ли это портретъ, что и въ poemѣ Некрасова:

Рука нетвердая въ трудѣ,
Какъ спицы ноги, дѣтскій голосъ
И, словно лень, пушистый волосъ
На головѣ и бородѣ.

.....
Корить, грозить! Дыханье трудно,
Лицо сурово, какъ гроза,
И какъ-то бѣшено и чудно
Блестятъ глубокіе глаза.

Подобно Бѣлинскому, и Кротъ погибаетъ отъ злой чахотки:
„почти два года, изъ тюрьмы не выходя, онъ разрушался“... Это
внѣшнія черты сходства, но внутреннія еще поразительнѣе.

Пусть рѣчь его была сурова
И не блистала красотой,
Но обладалъ онъ тайной слова,
Доступнаго душѣ живой.

.....
Онъ насъ учить не тяготился,
Онъ съ нами братски подѣлился
Богатствомъ сердца своего!

.....
Не на конѣ, не за сохою
Провелъ онъ свой недолгій вѣкъ,—
Въ трудъ ученья, но душою,
Какъ мы, былъ русскій человекъ.
Онъ не жалѣлъ, что мы не нѣмцы,
Онъ говорилъ: «Во многомъ насъ

Опередили иноземцы,
 Но мы догонимъ въ добрый часъ!
 Лишь Богъ помогъ бы русской груди
 Вздохнуть пошире, повольнѣй,—
 Покажетъ Русь, что есть въ ней люди,
 Что есть грядущее у ней!..

Развѣ это не Бѣлинскій?.. Даже однимъ и тѣмъ же выраженіемъ „святое безпокойство“ характеризуетъ Некрасовъ своего Крота въ „Несчастныхъ“, какимъ въ „Медвѣжьей Охотѣ“—Бѣлинскаго. Литературныя и историческія пристрастія обоихъ точно также одинаковы: „вѣщія пѣсни“ Кольцова, великія дѣянія великаго Петра, „отца Россіи новой“...

Онъ видѣлъ слѣдъ руки Петровой
 Въ основѣ cadaго добра.

Но особенно ярко бросается въ глаза сходство Крота съ Бѣлинскимъ въ изображеніи его конца:

Но онъ надежѣ вѣрилъ мало,
 Едва бродя, едва дыша.
 И только насъ бодрить хватало
 Въ немъ силъ... Великая душа!
 Его страданья были горды,
 Онъ ихъ упорно подавлялъ,
 Но иногда изнемогалъ
 И плакалъ, плакалъ... Камни тверды,
 Любой попробуй... Но огня
 Добудешь только изъ кремня!
 Таковъ онъ былъ...
Въ день смерти съ ложа онъ воспрянулъ.
 И снова силу обрѣла
 Нѣмая грудь—и голосъ грянулъ!
 Мечтаньемъ чуднымъ окрылилъ
 Его Господь передъ кончиной,
 И онъ подъ небо воспарилъ
 Въ красѣ и легкости орлиной.
 Кричалъ онъ радостно: «Впередъ!»—
 И гордъ, и ясенъ, и доволенъ...
 Ему мерещился народъ
 И звонъ московскихъ колоколенъ;
 Восторгомъ взоръ его сіялъ,—
 На площади, среди народа,
 Ему казалось, онъ стоялъ
 И говорилъ...

Вѣдь это вполне реальное, яркое изображеніе предсмертныхъ минутъ Бѣлинскаго! „Присутствовавшіе при его смерти рассказывали,—пишетъ г. Пыпинъ въ своемъ извѣстномъ сочиненіи „Бѣлинскій, его жизнь и переписка“,—что Бѣлинскій, лежавшій уже въ постели безъ сознанія, за нѣсколько минутъ до кончины вдругъ быстро поднялся съ сверкавшими глазами, сдѣлалъ нѣсколько шаговъ по комнатѣ и проговорилъ невнятнымъ, прерывающимся голосомъ, но съ энергіей, какія-то слова, обращенныя къ русскому народу, говорившія о любви къ нему... Его поддерживали, уложили въ постель, и черезъ нѣсколько минутъ онъ умеръ“.

Однако, быть можетъ, спросятъ: что за странная фантазія пришла Некрасову въ голову—послать Бѣлинскаго въ каторгу, изобразить на мрачномъ фонѣ клейменнаго острожнаго міра, когда всѣмъ извѣстно, что умеръ онъ у себя въ постели, въ Петербургѣ, окруженный близкими, женою и друзьями?.. Да; но извѣстно также и другое: Достоевскій, арестованный одиннадцать мѣсяцевъ спустя, осужденъ былъ въ каторгу, главнымъ образомъ, за чтеніе и распространеніе письма Бѣлинскаго къ Гоголю... Слѣдовательно, думать о великомъ покойномъ учителѣ во время писанія „Несчастныхъ“ Некрасову представлялось, во всякомъ случаѣ, не меньше поводовъ, чѣмъ о Достоевскомъ...

„Я находился въ такомъ литературномъ кружкѣ, въ которомъ скорѣе можно было отупѣть, чѣмъ развиваться; встрѣча съ Бѣлинскимъ была для меня спасеніемъ“. Это признаніе поэта подтверждается, какъ данными его біографіи и свидѣтельствами современниковъ, такъ, въ особенности, и всѣмъ ходомъ и развитіемъ его поэтической дѣятельности. Гуманная школа Бѣлинскаго наложила на мысль и душу поэта глубокій отпечатокъ. Къ 48 году (году смерти Бѣлинскаго) окончательно опредѣлился тотъ дѣйствительный „демонъ“ Некрасова, который всегда доминировалъ какъ въ жизненной его дѣятельности, такъ и въ поэтическихъ настроеніяхъ. Можно сказать, что до встрѣчи съ великимъ учителемъ онъ лишь инстинктомъ любилъ народъ, инстинктомъ стремился для него работать, какъ человѣкъ, самъ много страдавшій и вынесшій, какъ человѣкъ, превосходно изучившій и сумѣвшій понять душу народную со всѣми ея тѣневыми и свѣтлыми сторонами; но интеллектуальную формулу этой любви и толчокъ къ активной работѣ во имя ея Некрасовъ получилъ, несомнѣнно,

отъ Бѣлинскаго. Идеи великаго критика упали на богатую почву высокоодаренной натуры поэта, обладавшаго—преимущественно передъ всѣми членами кружка — глубокимъ знаніемъ и пониманіемъ народной жизни, и дали роскошный плодъ въ видѣ не одной только поэзіи: въ журнальной дѣятельности Некрасова, сыгравшей, по мнѣнію критики, ничуть не меньшую роль въ исторіи русской интеллигенціи, чѣмъ его стихи, точно также явствен-но виденъ могучій духъ „неистоваго Виссаріона“...

Къ сожалѣнію,—потому ли, что благотворное вліяніе пришло нѣсколько поздно и оборвалось слишкомъ рано, потому ли, что сложная природа Некрасова не поддавалась одной какой-либо опредѣленной окраскѣ,—онъ навсегда остался во власти глубокихъ противорѣчій, отъ которыхъ самъ, разумѣется, прежде всего и больше всего страдалъ.

На мнѣ года гнетущихъ впечатлѣній
Оставили неизгладимый слѣдъ...

Идеалистъ, преданный, какъ никто другой, дѣлу служенія родинѣ и народу, онъ всю жизнь оставался рабомъ среды и привычки, любилъ жизнь ради самой жизни и дорожилъ ея „минутными благами“. Конечно, и во времена Некрасова встрѣчались рыцари безъ страха и упрека, подобные Бѣлинскому или, позже, Добролюбову, но это были люди—въ подлинномъ смыслѣ слова „не отъ міра сего“, съ юныхъ лѣтъ порвавшіе съ грубой матеріальной „существенностью“ и витавшіе въ свѣтлой области идеала. Изъ всѣхъ сверстниковъ своихъ и соратниковъ Некрасовъ по преимуществу былъ человѣкомъ живой дѣйствительности, и меньше, чѣмъ кого другого, его можно разсматривать и судить внѣ, такъ сказать, времени и пространства. „Мы выросли въ ежовыхъ рукавицахъ“, выразился Г. З. Елисеевъ о своемъ и некрасовскомъ поколѣніи, и сыновьямъ позднѣйшей эпохи грѣшно было бы не принять въ расчетъ этого обстоятельства при оцѣнкѣ работы своихъ предшественниковъ. Крѣпостное право бросало свою мрачную тѣнь на всѣ рѣшительно явленія дореформенной жизни; въ душной атмосферѣ вѣчнаго страха, унынія и рабской подавленности росли, жили и дѣйствовали цѣлыя по-колѣнія.

Недолгая насъ буря укрѣпляетъ,
Хоть ею мы мгновенно смущены,

*Но доляя навѣки поселяетъ
Въ души привычки робкой тишины!..*

Геройство всегда было и будетъ завидной долей лишь отдѣльныхъ единицъ. Некрасовъ не могъ претендовать, да никогда и не претендовалъ на титулъ героя: напротивъ, онъ всегда усиленно казнилъ себя за душевную дряблость, усиленно подчеркивалъ недостатки свои, какъ гражданина.

Народъ! народъ! Мнѣ не дано геройства
Служить тебѣ,—плохой я гражданинъ.

Повинную голову и мечъ не сѣчетъ.. На голову же Некрасова сыпались и до сихъ поръ продолжаютъ сыпаться безконечныя обвиненія, вплоть до довольно-таки курьезныхъ. Онъ жилъ приблизительно такъ же, въ той же обстановкѣ и съ тѣми же барскими замашками, какъ и очень многіе изъ его товарищей по профессіи, и къ Тургеневу, напримѣръ, никто не предъявляетъ обвиненія въ томъ, что онъ любилъ комфортъ, не тачалъ самъ себѣ сапоговъ и не ходилъ за сохою, какъ Левъ Толстой. Но то, что прощается большинству, Некрасову, оплакивавшему народную нищету и горе, вѣняется въ преступленіе... „Есть неумолимые, которые не прощаютъ и непремѣнно желаютъ *развѣнчать* Некрасова. Должно быть, ихъ собственная совѣсть чиста, какъ зеркало, въ которое они могутъ спокойно любоваться на свои добродѣтели и гражданскіе подвиги. Должно быть, ихъ головы увѣнчаны безспорными лаврами“ (Н. К. Михайловскій, „Литературныя воспоминанія“, т. I *)). Не вступая съ подобными господами въ споръ, отошлемъ читателя къ статьѣ, изъ которой взята только что приведенная цитата: болѣе глубокаго и тонкаго проникновенія въ сложную природу души Некрасова въ русской литературѣ нѣтъ. Намъ хотѣлось бы только прибавить кое-что по поводу „тѣни, которая четверть вѣка назадъ (а теперь уже 37 лѣтъ назадъ) пала на личность поэта и затуманила ее въ глазахъ самыхъ горячихъ поклонниковъ“.

Дѣло происходило, какъ извѣстно, въ 1866 году, когда надъ „Современникомъ“ и даже,—думалось тогда многимъ,—надъ всей русской литературой нависла грозная туча. Людямъ нашего

*) Отмѣтимъ кстати и другую статью Н. К. Михайловскаго, посвященную Некрасову, но, къ сожалѣнію, не вошедшую пока въ собраніе его сочиненій: «Р. Б.» 1898 г., № 1.

поколѣнія трудно и представить себѣ ту мрачную пелену панического страха, которая, по единогласному свидѣтельству современниковъ, окутала въ тѣ дни даже неробкія сердца и недюжинные умы; „sauve qui peut“—было общимъ крикомъ. Къ сожалѣнію, многія любопытныя и поучительныя подробности тѣхъ событий еще не могутъ быть разсказаны, и мы прочтемъ ихъ когда-нибудь на страницахъ „Русской Старины“... Въ этотъ-то моментъ всеобщей растерянности и заботы о спасеніи дрогнулъ и Некрасовъ,—и рука его „исторгла у лиры невѣрный звукъ“... Но первый пароксизмъ испуга прошелъ, опасность миновала, оказавшись не столь грозной, какъ ее рисовало напуганное воображеніе, и поэту пришлось испытать по каплѣ всю горькую чашу—зло-радства враговъ, упрековъ друзей и собственной совѣсти...

И вы, и вы отпрянули въ смущеніи,
Стоявшіе безсмѣнно предо мной,
Великія страдальческія тѣни,
О чьей судьбѣ такъ горько я рыдалъ,
На чьихъ гробахъ я преклонялъ колѣни
И клятвы мести грозно повторялъ.

Неизвѣстно въ точности, какое впечатлѣніе произвело complimentary обѣденное стихотвореніе на самого графа Муравьева: разсказывали, будто онъ отвернулся отъ поэта... Вообще, если Некрасовъ рассчитывалъ отвести грозу, главнымъ образомъ, отъ своего „Современника“, то онъ горько ошибся: журналъ былъ вскорѣ закрытъ. Однако, вотъ что писалъ по этому поводу Г. З. Елисеевъ *):

„Намъ понятно то глубокое негодованіе, которое кипѣло въ груди автора каждый разъ при мысли, что Некрасовъ говорилъ въ клубѣ стихи въ честь М., въ которыхъ призывалъ карающую руку... Понятно потому, что, можетъ быть, первыя чувства гражданской доблести въ Х. были пробуждены и воспитаны музою Некрасова, и вотъ теперь... онъ слышитъ отъ этой самой музы вмѣсто утѣшенія и благословенія проклетіе! Тѣмъ не менѣе, такое отношеніе автора къ Некрасову мы признаемъ крайне не-

*) Записка эта, хранящаяся у Н. К. Михайловскаго, имѣетъ форму отвѣта на письмо Х—ва (горячаго когда-то поклонника поэта), полное горькихъ и даже жестокихъ упрековъ за «невѣрный звукъ лиры». Письмо было получено Елисеевымъ (или, быть можетъ, самимъ Некрасовымъ) съ далекаго востока еще въ началѣ 70-хъ годовъ, отвѣтъ же Елисеева писанъ долго спустя послѣ смерти Х—ва, вѣроятно, уже въ концѣ 80-хъ.

справедливымъ и жестокимъ. Извѣстно, что въ томъ мракѣ... ни одна публичная мысль, ни одно публичное слово, а тѣмъ болѣе дѣло не могли явиться безъ компромиссовъ. А у Некрасова на рукахъ было большое публичное дѣло, дѣло расширения и упроченія за прессою свободнаго слова, съ цѣлью дать возможно широкое распространеніе въ обществѣ новой идеѣ. Изъ всѣхъ писателей 40-хъ годовъ Некрасовъ одинъ съ самаго перваго появленія этой идеи предался ей вполне и сдѣлался неизмѣннымъ ея носителемъ и служителемъ и остался такимъ до конца жизни. На это посвятилъ онъ весь свой громадный талантъ, дѣйствуя какъ поэтъ и какъ журналистъ. Теперь даже трудно опредѣлить, чѣмъ онъ болѣе принесъ пользы: своими ли поэтическими произведеніями, или своей журнальной дѣятельностью. Въ то время, когда стихи его разсѣвали всюду „святое недовольство“ и возбуждали въ молодыхъ умахъ горячіе порывы къ обновленію, журналъ указывалъ источники зла и тѣ пути, которыми нужно было идти для его истребленія, и гдѣ, и въ чемъ искать новаго дѣла; около журнала группировались вѣрные борцы за новую идею, дѣлавшіе всегда первые смѣлые шаги впередъ. Недаромъ „Современникъ“ сдѣлался любимѣйшимъ журналомъ публики и въ особенности молодежи; недаромъ ни на одинъ журналъ не сыпалось столько обвиненій и тайныхъ доносовъ со стороны ретроградовъ и столько гоненій и притѣсненій со стороны цензуры, какъ на „Современникъ“. Съ назначеніемъ Муравьева все ставилось на карту. Передъ чѣмъ могъ остановиться, чего не могъ сдѣлать этотъ человѣкъ, который иногда осмѣливался не являться во дворецъ, несмотря на неоднократныя требованія, отзываясь дѣлами и недосугомъ? *). И вотъ, для умиловленія этого человѣка, способнаго и готоваго уничтожить всю новую литературу и остановить движеніе новой идеи на нѣсколько десятковъ лѣтъ, Некрасовъ принесъ въ жертву свое самолюбіе, написавъ въ его честь и прочитавъ публично въ клубѣ стихотвореніе. Говорятъ: Некрасовъ всетаки не спасъ этимъ „Современника“... Но тѣ, которые говорятъ такъ, забываютъ, что дѣло шло не о спасеніи одного „Современника“, а о сохраненіи возможности существованія новой идеи, о предупрежденіи гоненія на литературу, какъ на литературу только... Законность и необходимость принесенной Некрасовымъ жертвы, навѣрное, будетъ выяснена для всѣхъ исторіей нашего времени. Къ сожалѣнію, Некрасовъ былъ не настолько великъ, чтобы, сознавая необходимость своего поступка, оставаться равнодушнымъ къ близорукимъ толкамъ современной толпы о своемъ поступкѣ. Толки эти мучили его всю жизнь. Всѣмъ извѣстно написанное имъ въ 1866 году

*) По другимъ свѣдѣніямъ, императоръ Александръ II не любилъ Муравьева, и, благодаря этому, послѣдній не могъ дать полную волю своимъ реакціоннымъ стремленіямъ. П. Я.

прекрасное стихотвореніе „Ликуетъ врагъ, молчить въ недоумѣннй вчерашній другъ, качая головой“, гдѣ онъ изображаетъ себя оттолкнутымъ отъ всѣхъ, къ кому лежали его симпатіи, и попавшимъ черезъ свое (клубное) стихотвореніе въ дружбу къ толпѣ *безличныхъ*, которые „спѣшать въ объятія къ новому рабу и пригвождаютъ жирнымъ поцѣлуемъ несчастнаго къ позорному столбу“. Сокрушеніе о своемъ поступкѣ Некрасовъ высказывалъ и впоследствии въ нѣсколькихъ стихотвореніяхъ и лично говорилъ о немъ всѣмъ симпатизирующимъ ему лицамъ, стараясь оправдать его или объяснить необходимостью тогдашнихъ обстоятельствъ. Даже передъ смертью, мучимый страшною болѣзнью, едва дышавшій и говорившій, онъ не переставалъ приносить покаяніе... Такъ давила и мучила его жертва, принесенная имъ въ пользу своего великаго дѣла.

„Но что руководило Некрасовымъ при его поступкѣ: мысль о дѣлѣ, которому онъ служилъ, или о тѣхъ личныхъ выгодахъ, которыя были сопряжены съ этимъ дѣломъ? И если послѣднее, то не заслуживаетъ ли его поступокъ справедливаго порицанія, и не были ли тѣ страданія, которыя онъ испыталъ за него, вполнѣ заслуженной карой? На этотъ вопросъ можно отвѣчать другимъ вопросомъ. Могъ ли бы Некрасовъ имѣть столько враговъ, сколько онъ ихъ имѣлъ, если бы сталъ пѣть другія пѣсни и служить другому, противоположному дѣлу? Наглядное, блестящее доказательство того, какъ перемѣна идейнаго фронта можетъ обогатить и возвеличить даже и не такого талантливаго, какъ Некрасовъ, но бойкаго и ловкаго литератора, каждый можетъ видѣть на примѣрѣ Суворина. Этотъ робкій чижъ скромно чирикалъ свои либеральные фельетоны у Корша, завидуя славы и блеску такого сокола-соловья, какъ Катковъ. Но вдругъ у него родилось желаніе направить свое чириканье во славу (сильныхъ и сытыхъ міра сего). Онъ попробовалъ—и на него полились деньги и слава. Онъ теперь признанъ политическимъ мурдецомъ...

„Чего же бы, какихъ почестей и какого богатства не достигъ Некрасовъ, при его громадномъ умѣ и талантѣ, если бы захотѣлъ хотя бы нѣсколько умѣрить свое направленіе? Но онъ не пошелъ этой дорогой. А не пошелъ потому, что не могъ пѣть фальшиво; это не былъ скворецъ, наученный пѣть по-соловьиному, или чижикъ, робко чирикающій ходячія пѣсенки, а—дѣйствительный соловей, который могъ пѣть только своимъ голосомъ и пѣть то, что хватало его за живое. Талантъ Некрасова былъ вполнѣ самобытный, соединенный съ замѣчательною силою и крѣпостью ума. Некрасовъ нигдѣ почти не воспитывался—онъ не окончилъ курса даже въ гимназій, —не могъ читать ни на одномъ иностранномъ языкѣ, а между тѣмъ критическій умъ его былъ такъ силенъ, что никто лучше его не могъ оцѣнить значенія каждой новой мысли, являвшейся въ литературѣ по наукамъ

соціальнымъ; при этомъ равно тонко было и его эстетическое чутье, такъ что можно смѣло сказать, что онъ былъ лучшимъ критикомъ для всѣхъ статей, которыя помѣщались въ его журналѣ. Это самое критическое чутье давало ему возможность замѣчать каждое выдающееся дарованіе, появлявшееся въ другихъ журналахъ, и вербовать его въ сотрудники своего изданія, что онъ и дѣлалъ. Но еще болѣе вѣрно это критическое чутье руководило имъ въ области явленій міра политическаго. Вспомнимъ, что при самомъ первомъ появленіи новыхъ вѣяній, почувствовавшихся въ обществѣ вскорѣ послѣ Крымской войны, Некрасовъ тотчасъ понялъ новое положеніе вещей, круто порвалъ съ своими сверстниками—литературными дѣятелями 40-хъ годовъ, набралъ себѣ новыхъ сотрудниковъ по журналу и сталъ во главѣ новаго литературнаго движенія. До какой степени это характеризуетъ не только тонкость критическаго чутья Некрасова, но и симпатію его къ новой идеѣ, это мы можемъ видѣть изъ примѣра многихъ его современниковъ, какъ-то—Писемскаго, Достоевскаго, самого Тургенева, который, не смотря на свою замѣчательную чуткость ко всѣмъ новымъ вѣяніямъ, безтактно выступилъ въ то время на борьбу съ новой идеей въ своихъ „Отпахъ и Дѣтяхъ“. Все это показываетъ, насколько былъ проницателенъ и твердъ умъ Некрасова въ распознаваніи и оцѣнкѣ проходящихъ передъ нимъ явленій и вѣяній политическаго міра. Онъ ясно понималъ ветость и ничтожность дореформеннаго строя, видѣлъ невозможность его долгаго существованія и не могъ не быть борцомъ за новую идею. Только во имя ея онъ могъ слагать свои пѣсни, только ея дѣло онъ могъ нести такъ усердно всю жизнь, какъ онъ его несъ. Правда, онъ не былъ теоретикомъ, у него не было предвзятаго опредѣленнаго міросозерцанія, но онъ, навѣрное, пошелъ бы за новою идеею до тѣхъ поръ, пока она не создала бы лучшаго строя жизни, возможнаго для разумнаго человѣческаго существованія. Говоря все это, мы, однако же, никакъ не думаемъ возводить Некрасова въ герои въ томъ смыслѣ, какъ обыкновенно понимаютъ это слово *). Некрасовъ не пошелъ бы на смерть, на страданія за дѣло новой идеи, которое онъ несъ на себѣ: мы не должны забывать, что онъ воспитанъ былъ въ ежовыхъ рукавицахъ дореформенной эпохи. Это былъ, если угодно, герой, но герой-рабъ, который поставилъ себѣ цѣлью добиться во что бы то ни стало свободы, упорно преслѣдуетъ эту цѣль,—по временамъ, примѣняясь къ обстоятельствамъ, дѣлаетъ уступки, но на своемъ главномъ пути постоянно держитъ ее въ умѣ; понимаетъ, что такимъ только образомъ онъ можетъ ея добиться, а, кромѣ того, понимаетъ, что въ той средѣ, которая его окружаетъ, не найдется такихъ людей, какъ онъ; хотя, быть мо-

*) Все дальнѣйшее, кромѣ двухъ-трехъ заключительныхъ фразъ, было уже цитировано Н. К. Михайловскимъ въ его статьѣ о Некрасовѣ.

жетъ, есть не мало лицъ изъ тронутыхъ новой идеей, которыя гораздо выше, т. е. самоотверженнѣе и чище, лицъ, которыя готовы пожертвовать за нее жизнью, но не найдется такихъ героев-рабовъ, которые бы такъ упорно шли въ теченіе десятковъ лѣтъ, шагъ за шагомъ, по тому тернистому пути, по которому идетъ онъ, подвергаясь изо дня въ день разнымъ мелкимъ мученіямъ и перенося сдѣлки со своей совѣстью. Герой-рабъ могъ признаваться, что его рука иногда у „лиры звукъ невѣрный исторгала“, что, „жизнь любя, къ ея минутнымъ благамъ прикованъ онъ привычкой и средой“, что онъ „къ цѣли шелъ колеблющимся шагомъ и для нея не жертвовалъ собой“. Но дѣйствительный герой не могъ дѣйствовать въ то время на журнальномъ поприщѣ. Мы, однако, не должны забывать, что каждый герой долженъ оцѣниваться по условіямъ времени и цѣлямъ. Для каждаго времени является свой *мужъ потребенъ*. Герой тотъ, кто понялъ условія битвы и выигралъ побѣду. Хорошъ и тотъ герой, который умираетъ за свое дѣло, такъ сказать, мгновенно, всецѣло, публично, запечатлѣвая передъ всѣми своею смертію свои убѣжденія; хорошъ и другого рода герой, герой-рабъ, который умираетъ за свое дѣло въ теченіе десятковъ лѣтъ, умираетъ, такъ сказать, по частямъ, медленною смертію въ ежедневныхъ мелкихъ пыткахъ отъ внѣшнихъ мелкихъ гоненій и стѣсненій, отъ сдѣлокъ съ своею совѣстью, умираетъ никѣмъ не признанный въ своемъ героизмѣ и даже подъ общимъ тяжелымъ обвиненіемъ или подозрѣніемъ отъ толпы въ измѣнѣ дѣлу. По условіямъ нашей жизни, у насъ могъ выработаться въ литературѣ только герой-рабъ. Скажемъ болѣе: только такой герой и могъ вынести дѣло новой идеи при первомъ ея появленіи и утвержденіи въ обществѣ... Покойный Х. не понялъ, что герой-рабъ позволилъ своей рукѣ „у лиры звукъ невѣрный исторгнуть“ единственно для того, чтобы урвать и сдѣлать менѣе тернистымъ путь для героев иного типа, героев будущего“.

Для людей нынѣшняго поколѣнія, выросшихъ въ совсѣмъ иной общественной атмосферѣ, покажутся, навѣрное, странными нѣкоторыя изъ мыслей Елисеева. Но вѣдь онъ самъ же и оговорился, что рисуетъ образъ хотя и героя, но—„героя-раба“... Отлично, разумѣется, понималъ Елисеевъ все нравственное превосходство героя—свободнаго человѣка; но было бы несправедливо отрицать своеобразное „величіе“ въ той спокойной твердости, съ которою онъ громко признается: „да, наше поколѣніе шло рабей дорогой въ своей великой цѣли,—потому, что иной дороги мы не видѣли“.

И Елисеевъ, этотъ „аскетъ текущей жизни и непосредственныхъ практическихъ результатовъ“ (какъ опредѣляетъ его Н. К. Михайловскій), человѣкъ съ исключительной идейной и

душевной цѣльностью, былъ вполне послѣдователенъ въ примѣненіи своихъ теоретическихъ взглядовъ къ жизни. Оставляя въ сторонѣ оцѣнку этихъ взглядовъ самихъ по себѣ, мы хотѣли бы только выяснитъ вопросъ о томъ, насколько нарисованный Елисеевымъ образъ „героя-раба“, дѣйствительно, подходилъ къ Некрасову. Было ли, точно, сознательнымъ жертвоприношеніемъ поведеніе его въ 1866 году? Н. К. Михайловскій, говоря о запискѣ Елисеева, осторожно замѣчаетъ: „Я не иду такъ далеко, я думаю, что Некрасовъ тогда просто растерялся, испуганный надвигавшейся грозой, тѣмъ болѣе страшной, что неизвѣстно было, какъ и куда она направитъ свои удары. Испугался онъ, можетъ быть, частью за журналъ, но главнымъ образомъ, я думаю, за себя лично“.

Не рѣшаясь, въ свою очередь, идти „такъ далеко“, мы думаемъ только, что для самого Некрасова въ моментъ опасности могли быть не вполне ясны руководившіе имъ мотивы. Во всякомъ случаѣ, апологія поэта, написанная Елисеевымъ, кажется намъ чрезвычайно важной не по однимъ лишь крайне интереснымъ подробностямъ, но и по существу, какъ голосъ не адвоката только, но и свидѣтеля, человѣка, который самъ, подобно Некрасову (хотя и въ значительно меньшей степени), „прошелъ черезъ цензуру незабываемыхъ годовъ“. Изъ всѣхъ сотрудниковъ и единомышленниковъ Некрасова Елисеевъ (который и родился даже въ одномъ съ нимъ 1821 году), конечно, наиболѣе походилъ на него по тѣсному, кровному соприкосновенію съ живой дѣйствительностью, такъ что, выслушивая Елисеева, мы выслушиваемъ отчасти какъ бы самого поэта... Упоминая о предсмертныхъ попыткахъ Некрасова высказаться, Н. К. Михайловскій особенно подчеркиваетъ то обстоятельство, что оправдательно-покаянныя рѣчи поэта имѣли „затрудненный“ характеръ,—какъ-будто онъ „не могъ ни другимъ рассказать, ни самому себѣ уяснить ту смѣсь добра и зла“, изъ которой состояла его жизнь и дѣятельность. Но не могла ли зависѣть эта „затрудненность“ отчасти и оттого, что Некрасовъ своимъ тонкимъ, пронизательнымъ чутьемъ угадывалъ огромное психическое различіе между собою и младшими своими сотрудниками? Не боялся ли онъ, что, при всемъ уваженіи и любви къ нему людей младшаго поколѣнія, въ нѣкоторыхъ вещахъ они никогда съ нимъ не столкнутся и не поймутъ его, а если и поймутъ, то не посочувствуютъ? Этотъ страхъ и могъ сковывать

его языкъ, холодитъ душу. Съ Елисеевымъ онъ чувствовалъ себя, вѣроятно, проще и высказывался прямѣе...

Но, имѣя такъ много общаго другъ съ другомъ, эти два человека въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ были глубоко различны. Елисеевъ рисуется намъ натурой цѣльной, какъ бы высѣченной изъ одного куска; Н. К. Михайловскій характеризуетъ его такъ: „демократизмъ Елисеева былъ не дѣломъ только принциповъ и убѣжденій, а самихъ инстинктовъ“, онъ былъ „какъ бы самъ народъ, собственными усиліями пробившійся къ свѣту и достигшій верховъ самосознанія“; онъ „проще и непосредственнѣе относился поэтому къ народу“ („Литер. воспом. и соврем. смута“, т. I). Некрасовъ, при всей глубинѣ и искренности своей любви къ народу, при всемъ несравненномъ знаніи народной жизни и психики, лишенъ былъ такой непосредственности. Елисеевъ всегда чувствовалъ себя равноправнымъ членомъ того народа, для котораго всю жизнь работалъ; Некрасовъ никогда, въ сущности, не переставалъ чувствовать себя баринкомъ-интеллигентомъ, находящимся въ неоплатномъ долгу передъ народомъ...

Эта черта, которую Успенскій называлъ „больной совѣстью“, болѣе приближала Некрасова къ поколѣнію младшему, нежели старшему. Герой-рабъ, не чуждый порой самой трезвой и даже черствой положительности, умѣлъ въ то же время до страсти, до злобы ненавидѣть эту свою положительность, и болѣе „тяжкой работы совѣсти“, чѣмъ его скорбно-покаянныя пѣсни, вплоть до 70-хъ годовъ, русская литература не знала. Въ глазахъ юныхъ современниковъ Некрасова покаянная нота его поэзіи была не недостаткомъ „величія“ въ характерѣ поэта, а, напротивъ, лучшимъ правомъ его на безсмертіе. Къ сожалѣнію, выяснить все огромное значеніе „музы мести и печали“ для самой жизни русской сможетъ лишь болѣе или менѣе отдаленная исторія; она же произнесетъ и окончательный приговоръ Некрасову, какъ чело-вѣку и гражданину.

V.

Поэтъ находитъ свое призваніе.

Какъ мы уже видѣли при разборѣ книжки „Мечты и звуки“, свою литературную дѣятельность Некрасовъ началъ въ тонѣ

вполнѣ серьезномъ, далеко отъ шутки и юмора. Исключеніе составляетъ одна только юмористическая пьеса „Пиръ вѣдьмы“:

Скачетъ вѣдьма на ухватѣ,
Ѣдетъ чортъ на помелѣ...

За то со времени фіаско, постигшаго этотъ первый сборникъ, Некрасовъ въ продолженіе цѣлыхъ пяти лѣтъ не напечаталъ,—насколько намъ извѣстно,—ни одного серьезнаго лирическаго стихотворенія, и хотя стиховъ продолжалъ писать и печатать множество, но все это были—шутки, пародіи, обличительные куплеты. Мы уже пытались объяснить настроеніе поэта, обусловившее подобный характеръ его творчества за указанный періодъ. Нельзя отрицать, что эти сатирическіе опыты юнаго Некрасова отличались временами неподдѣльнымъ остроуміемъ; въ нихъ встрѣчались ѣдкія выходки, самый стихъ былъ легокъ и своеобразенъ. Вотъ, напримѣръ, два маленькихъ отрывка изъ „Портретной Галлерей“, впоследствии забракованной авторомъ и преданной забвенію:

I.

Онъ у насъ осямое чудо—
У него завидный нравъ.
Неподкупенъ, какъ Іуда,
Храбръ и честенъ, какъ Фальстафъ.
Онъ съ татаринкомъ—татаринъ,
Онъ съ евреемъ самъ еврей,
Онъ съ лакеемъ—важный баринъ,
Съ важнымъ бариномъ—лакей!

II.

Было года мнѣ четыре,
Какъ отецъ сказалъ:
«Вздоръ, дитя мое, все въ мірѣ,
Дѣло—капитальъ». —
И совѣтъ его премудрой
Не остался такъ:
У родителя на утро
Я укралъ пятакъ...

Большой фельетонъ въ стихахъ „Говорунъ“,—эта пустѣйшая болтовня пустѣйшаго героя обо всемъ, что только взбредетъ въ голову,—читается также безъ скуки, даже, пожалуй, съ нѣкоторымъ удовольствіемъ; мѣстами невольно думаешь: „сколько труда и искусства потрачено на подобный вздоръ!“ Однако, Некрасову случалось уже касаться и болѣе серьезныхъ темъ. Заслуживаетъ, напримѣръ, вниманія сатира „Женщина, какихъ много“.

Она росла среди перинъ, подушекъ,
Дворовыхъ дѣвокъ, мамушекъ, старушекъ,
Подобострастныхъ, битыхъ и босыхъ...
Ее поддерживали съ уваженіемъ,
Ей ножки цѣловали съ восхищеніемъ
Въ избыткѣ чувствъ почтительно-нѣмыхъ...

Сложилась барышня, потомъ созрѣла
И стала на свободѣ жить безъ дѣла,
Невыразимо презирая свѣтъ.
Она слыла дѣвицей идеальной,
Имѣла взглядъ глубокий и печальный,
Сидѣла подъ окошкомъ по ночамъ
И на луну глядѣла неотвязно...
Болтала лихорадочно-несвязно,
Торжественно молчала по часамъ.

И вдругъ пошла за барина простого,
За русака дебедаго, степного!

На мужа негодую благородно,
Ему дѣтей рожала ежегодно
И двойней разрѣшилась, наконецъ.
Печальная, чувствительная Текла
Своихъ людей не безъ отрады сѣкла;
Играла въ дурачки до пѣтуховъ,
Гусями занималась да скотиной,—
И было въ ней передъ ея кончиной
Безъ малаю четырнадцать пудовъ...

Передъ читателемъ — характерный типъ провинціальной барыни крѣпостной эпохи; въ этомъ портретѣ каждый штрихъ дышетъ жизнью и правдой. Одинъ только заключительный, явно утрированный стихъ непріятно рѣжетъ ухо. Къ сожалѣнію, приходится сказать, что такого рода шаржъ не есть случайное явленіе въ юношескихъ сатирахъ Некрасова, и, напримѣръ, въ упомянутомъ выше стихотвореніи „Было года мнѣ четыре“ онъ принимаетъ даже прямо чудовищные размѣры. У героя пьесы умираетъ отецъ:

Я не вынесъ тяжелой раны,
Я на трупъ упалъ
И, обшаривъ всѣ карманы,
Горько зарыдалъ,—

зарыдалъ не объ уtratѣ отца, а о томъ, что карманы его оказались пусты...

Не этими, однако, частными недостатками обуславливалось ничтожное значеніе некрасовской сатиры ранняго періода. Важнѣе было то, что для читателя оставалось все время неяснымъ, во имя какой общей идеи осмѣиваетъ и вышучиваетъ она людскія слабости и пороки; это было именно только вышучиванье,

а не грозная, бичующая сатира, одушевленная (какъ, напр., позже въ „Размышленіяхъ у параднаго подъѣзда“) чувствомъ гражданскаго негодованія, согрѣтая искренней скорбью о торжествѣ зла и неправды. Такой сатиры мы не видимъ даже и въ столь восхитившемъ въ свое время Бѣлинскаго „Чиновникѣ“, или въ „Современной одѣ“, которою открывается обыкновенно собраніе Некрасовскихъ стихотвореній... Пьесы это, несомнѣнно, талантливыя; въ общей концепціи ихъ видна уже рука искуснаго мастера; отдѣльные стихи поражаютъ силой, оригинальностью и легко остаются въ памяти, но, за всѣмъ тѣмъ, „Чиновникъ“ и „Современная ода“ не сатиры въ настоящемъ значеніи слова, а лишь хорошія обличительныя стихотворенія: въ нихъ нѣтъ еще главнаго—поэзіи...

Погоня за насущнымъ кускомъ хлѣба, спѣшность работы, привычка глядѣть на себя, какъ на литературнаго чернорабочаго, съ котораго и спрашивать много нечего, низводятъ въ эту пору Некрасова, при всемъ его талантѣ, до уровня писателя-ремесленника, который унижался до такихъ, напримѣръ, „пародій“:

И скучно, и грустно!.. И некого въ карты надуть
 Въ минуту карманной невзгоды.
 Жена?.. Но что пользы жену обмануть—
 Вѣдь ей же отдашь на расходы.

Но уже близился глубокий внутренній переломъ. Къ срединѣ 40-хъ годовъ Некрасовъ пересталъ терпѣть острую, доходившую до нищеты, нужду; у него уже составилось нѣкоторое литературное имя,—теперь легче было доставать работу, легче было и бороться съ кулаками-редакторами и издателями. Явился сравнительный досугъ, и съ нимъ—возможность серьезно думать и работать. Въ этотъ-то благоприятный моментъ Некрасовъ и сблизился съ Бѣлинскимъ, услышалъ его страстную, полную зажигающаго убѣжденія, проповѣдь... Общая идея, по которой все время тосковала душа будущаго печальника горя народнаго, и отсутствіе которой такъ плачевно отзывалось на его произведеніяхъ, была, наконецъ, отыскана, формулирована. Горячимъ солнечнымъ лучемъ упала она въ дремавшую душу поэта, освѣтила и разбудила къ жизни могучія природныя силы. Некрасовъ нашелъ, наконецъ, свое признаніе, свою музу, ту „блѣдную, въ крови, кнутомъ избѣченную музу“, на которую, по его собственному выра-

женію, „не русскій взглянетъ безъ любви“... Появилось знаменитое стихотвореніе „Въ дорогѣ“, нѣчто неслыханное до тѣхъ поръ, какъ по формѣ, такъ и по содержанію.

Начало народнической струи въ русской литературѣ принято обыкновенно связывать съ „Деревней“ и „Антономъ Горемыкой“ Григоровича, но съ несравненно большимъ правомъ могло бы претендовать на такую роль стихотвореніе Некрасова, раньше напечатанное и, къ тому же, талантливѣе выразившее новую идею. Извѣстный критикъ Аполлонъ Григорьевъ, очень долго отрицавшій въ Некрасовѣ всякій поэтический талантъ, признавался впоследствии, что пьеса „Въ дорогѣ“ *ударила по сердцамъ съ невидомою силой*... По его словамъ, она совместила въ одну поэтическую форму цѣлую эпоху прошедшаго, забросила сѣти и въ будущее; въ ней не поддѣлка подъ народную рѣчь, а рѣчь человѣка изъ народа, съ народнымъ сердцемъ, зачала Кольцова. Даже враждебный Некрасову Эдельсонъ, видѣвшій, наоборотъ, въ этомъ стихотвореніи фальшивую народную рѣчь, признавалъ нарисованное Некрасовымъ положеніе трогательнымъ и вызывающимъ сильное впечатлѣніе, „гуманное по своей сущности“. Мнѣніе Бѣлинскаго мы уже знаемъ. Но если такъ встрѣчено было стихотвореніе Некрасова литературной критикой, то читателями середины сороковыхъ годовъ оно принято было, какъ настоящее откровеніе... И удивительнаго тутъ ничего нѣтъ, если и теперь даже, когда мрачная эпоха рабства отошла въ область преданія, и русскимъ обществомъ такъ уже много пережито, „Въ дорогѣ“ все еще производитъ неотразимо-глубокое впечатлѣніе. Очевидно, поэту удалось затронуть живой, до сихъ поръ еще болѣзненный нервъ... То новое, чѣмъ было поражено здѣсь воображеніе общества, заключалось не только въ изображеніи новой (крестьянской) среды, не только въ мысли о томъ, что и мужики тѣ же люди съ живой, способной страдать отъ притѣсненій душою: рядомъ съ картиною огромнаго общественнаго зла, передъ читателемъ пріоткрывался душевный міръ интеллигентнаго человѣка, который чувствовалъ себя къ этому злу прикосновеннымъ.

— Скучно! Скучно!.. Ямщикъ удалой,
Разгони чѣмъ-нибудь мою скуку,—
Пѣсни, что ли, пріятель, запой
Про рекрутскій наборъ и разлуку,—

уже этотъ начальный аккордъ, сразу дававшій почувствовать, что проѣзжаго барина грызетъ не простая скука, а—тоска, ищущая отрады въ сближеніи съ народнымъ горемъ, долженъ былъ электрическимъ токомъ проходить по душѣ современнаго читателя.

— Ну, довольно, ямщикъ, разогналъ
Ты мою неотвязную скуку!—

саркастически прерываетъ баринъ грустный рассказъ ямщика,— и какъ много сказано въ этихъ двухъ коротенькихъ желчныхъ строчкахъ, заканчивающихъ пьесу! Нѣсколько позже, въ стихотвореніи „Въ деревнѣ“ у Некрасова прорывается та же горестная нота:

Плачешь старухи... А мнѣ что за дѣло!
Что и жалѣть, коли нечѣмъ помочь?

За видимой злостью слышится здѣсь тотъ же стонъ человѣка, сляцагагося заглушить червяка неспокойной совѣсти; это какъ бы первый намекъ на то великое душевное смятеніе, — „больную совѣсть кающагося дворянина“, — которое съ такой яркостью и силой выражено было во многихъ позднѣйшихъ стихотвореніяхъ Некрасова.

Новое настроеніе, охватившее нашего поэта, не было чѣмъ-то случайнымъ, мимолетнымъ: почти одновременно съ пьесой „Въ дорогѣ“, въ промежутокъ какихъ-нибудь полутора лѣтъ (1845 — 1846), имъ было написано болѣе десятка замѣчательныхъ, проникнутыхъ однимъ и тѣмъ же духомъ, стихотвореній, въ миніатюрѣ отражавшихъ какъ бы всю некрасовскую поэзію, намѣчавшихъ почти всѣ главные мотивы, подробно развитые и разработанные поэтомъ впоследствии *).

Въ „Тройкѣ“, „Огородникѣ“, „Псовой охотѣ“ и „Родинѣ“ передъ нами проходятъ яркія картины жизни деревенской крѣпостной Россіи. Героиня „Тройки“, въ сущности, та-же Груша („Въ дорогѣ“); въ судьбѣ этихъ двухъ молодыхъ женщинъ, также какъ и въ несчастномъ романѣ огородника, поэтъ раскрываетъ все безобразіе рабскихъ понятій о бѣлой и черной кости, раздѣленныхъ непроходимой пропастью сословныхъ предразсудковъ. Живой, человѣческой души, по этимъ понятіямъ, нѣтъ; безъ жа-

*) «Тройка», «Огородникъ», «Псовая охота», «Родина», «Въ невѣдомой глуши», «Пьяница», «Отрадно видѣть», «Старушкѣ», «Когда изъ мрака заблужденія», «Передъ дождемъ», «Секретъ».

лости и пощады приносится она въ жертву интересамъ кастовой выгоды и такъ называемой чести. Мрачное, злобное міровоззрѣніе, отравляющее кругомъ себя атмосферу и развращающее мысль и чувство всѣхъ, кто приходитъ съ нимъ въ соприкосновеніе, — одинаково раба и рабовладѣльца!

Но уже въ эту раннюю пору, когда Некрасовъ впервые отдался захватившей его волнѣ новыхъ мыслей и чувствъ, вопросъ обновленія „старого міра“ представлялся ему въ очень широкихъ рамкахъ; онъ видѣлъ зло не въ одномъ только крѣпостномъ правѣ и являлся защитникомъ отнюдь не одного крестьянскаго сословія, а всѣхъ оскорбленныхъ, всѣхъ обездоленныхъ.

Сгораешь злобой тайною...
На скудный твой нарядъ
Съ насмѣшкой не случайно
Всѣ, кажется, глядятъ.
Все, что во снѣ мерещится,
Какъ-будто бы на зло
Въ глаза вотъ такъ и мечется,
Роскошно и свѣтло!
Все поводъ къ искушенію.

Все дразнить и язвить
И руку къ преступленію
Нетвердую манить,
Ахъ! если бъ часть ничтожную!
Старушку полѣчить...
Но мгла отвсюду черная
Навстрѣчу бѣдняку...
Одна открыта торная
Дорога къ кабаку!

Такъ рисуетъ поэтъ въ стихотвореніи „Пьяница“ душевное состояніе бѣдняка, озлобленнаго зрѣлищемъ несправедливыхъ общественныхъ контрастовъ. Какъ и въ другомъ стихотвореніи того же періода — „Отрадно видѣть, что находитъ порой хандра и на глупца“, мы впервые встрѣчаемъ здѣсь характерную и оригинальную ноту некрасовской поэзіи, ноту злобы, той „злобы тайной“, которая терзаетъ сердце приниженаго человѣка, составляя мучительную отраду его безпросвѣтнаго существованія.

Обликъ „неласковой и нелюбимой музы“, „печальной спутницы печальныхъ бѣдняковъ, рожденныхъ для труда, страданія и оковъ“, вырисовывается передъ нами уже въ рѣзко определенныхъ, своеобразныхъ чертаніяхъ.

Со всей силой возмущеннаго чувства протестуетъ поэтъ противъ „безсмысленнаго мнѣнія“ толпы, „пустой и лживой“, безсильно стонущей въ тискахъ нужды и горя и въ то же время готовой клеймить презрѣніемъ всякаго, кто въ жизненной борьбѣ является не палачемъ, а жертвой. Стихотвореніе „Когда изъ мрака заблужденія“ (даже на взглядъ враждебныхъ Некрасову критиковъ — „превосходное“) было чуть-ли не первой въ русской лите-

ратурѣ реабилитаціей падшей подъ гнетомъ нищеты и несчастій женщины. Приблизительно въ то же время написано и одобренное Бѣлинскимъ стихотвореніе „Старушкѣ“, направленное вообще противъ „моральнаго вздора“ опутавшихъ общество условій и предразсудковъ, отнимающихъ у него долю возможнаго счастья. Пьеса не была, однако, включена авторомъ ни въ одно изданіе стихотвореній, да и въ журналѣ появилась не за полной подписью. Причина понятна: въ смыслѣ обработки „Старушкѣ“ оставляетъ желать очень многаго *). Объясняется это, быть можетъ, тѣмъ, что тема стихотворенія, хотя и вполне реальная, не была подсказана Некрасову лично пережитымъ чувствомъ: вѣдь поэту было всего 23 года... Могучій лиризмъ Некрасова—и онъ самъ прекрасно чувствовалъ это—получалъ настоящій размахъ лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда вдохновлялся живой, конкретной дѣйствительностью.

Таково оригинальное и сложное содержаніе стихотвореній, появившихся въ 1845—46 году и, несомнѣнно, глубоко поразили современнаго читателя. Очевидно, новыя мысли и чувства бурей прошли по душѣ поэта, заставивъ зазвучать сразу всѣ ея струны...

Осудивъ и сознавъ кровную связь съ роднымъ народомъ, Некрасовъ сразу нашелъ всѣ нужныя краски и для изображенія родной природы. Какъ пейзажистъ, уже въ 1846 году онъ является передъ нами съ своей особенной, ни на кого другого не похожей манерой.

*) Напечатано въ августовской книжкѣ „Отеч. Зап.“ за 1846 годъ.

Когда еще твой локонъ длинный
Вился надъ розовой щекой,
И я былъ юноша невинный,
Чистосердечный и пустой,—
Ты помнишь: кой-о-чемъ мечтали
Съ тобою мы по вечерамъ,
И не забыла ты—давали
Свободу полную глазамъ.
И много высказалось взоромъ
Желаній тайныхъ, тайныхъ думъ;
Но побѣдилъ моральнымъ вздоромъ
Въ насъ сердце искаженный умъ.
И разошлись мы полюбовно,

И страсть разсѣялась, какъ дымъ...
И чрезъ полжизни хладнокровно
Опять сошлись мы—и хранимъ
Молчанье тягостное...

Такъ-то!

Когда-бъ къ избытку силъ молодыхъ
Побольше разума и такта (?)—
Не такъ бы вялъ и горько-тихъ
Былъ часъ случайной поздней встрѣчи,
Не такъ бы сжала насъ печаль,
Иной тоской звучали-бъ рѣчи,
Иначе было-бъ жизни жалъ...

15 мая 1846 г. Н. Н.—въ..

Сторожъ вкругъ дома господскаго ходить,
 Злобно зѣваетъ и въ доску колотить.
 Мракомъ задернуты небо и даль,
 Вѣтеръ осенній наводитъ печаль;
 По небу тучи урюмя гонять,
 По полю листья—и жалобно стонеть..
 Стало свѣтать
 Чудная даль открывается' взору:
 Рѣчка внизу, подъ горою, бѣжитъ,
 Инею зелень долины блеститъ,
 А за долиной, сѣлка бѣловатой,
 Лѣсъ, освѣщенный зарей полосатой...

 Падаетъ сизый туманъ на долину,
 Красное солнце зашло вполвину,
 И показался съ другой стороны
 Очеркъ безжизненно-блѣдной луны...
 Въ полѣ, завидѣвъ табунъ лошадей,
 Ржетъ жеребецъ подъ однимъ изъ псарей...

Заумный вѣтеръ гонить
 Стаи тучъ на край небесъ,
 Ель надломленная сточетъ,
 Глухо шепчетъ темный лѣсъ.
 На ручей, рябой и пестрый,
 За листкомъ летать листокъ,
 И струей сухой и острой
 Набываетъ холодокъ.

Полумракъ на все ложится;
 Налетѣвъ со всѣхъ сторонъ,
 Съ крикомъ съ воздуха кружится
 Стая галокъ и воронъ.
 Надъ проѣзжей таратайкой
 Спущенъ верхъ, передъ закрытъ;
 И «пошелъ»!—привставъ съ нагайкой,
 Ямщику денщикъ кричитъ,

Конечно, такого рода описаній природы не найдешь ни у Жуковского, ни у Пушкина съ Лермонтовымъ, ни даже у Кольцова. Все это очень мало походить на „Краснымъ полымемъ заря вспыхнула“, или: „Въ небесахъ торжественно и чудно“... Краски Некрасова буднично-сѣры, образы удивительно-просты, прозаически реальны; отдѣльные углы рисуемой картины кажутся порой грубыми и неэстетичными... И, однако, странное дѣло: читатель чувствуетъ себя захваченнымъ, покореннымъ этой сѣрой, но безконечно-милой красотою сѣвернаго пейзажа; родная природа живетъ и дышетъ передъ его глазами, и невольно хочется воскликнуть: „Здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ“!...

VI.

Основные черты некрасовскаго лиризма.—Мелкіе недостатки и великія достоинства.

Долго зрѣвшее вдохновеніе вылилось въ могучемъ и широкомъ аккордѣ. Какъ мы только что видѣли, Некрасовъ сразу затронулъ почти всѣ главные мотивы своей поэзіи. Нельзя, однако, сказать, чтобы въ слѣдующіе затѣмъ годы муза его отличалась особенной плодovitостью. Выпадали періоды, когда онъ писалъ по одному, много—по три небольшихъ стихотворенія за цѣлый годъ (счастливымъ исключеніемъ былъ только 1853 годъ, къ которому относится цѣлыхъ двѣнадцать пьесъ). Напавъ на настоящую дорогу, сознавъ настоящее свое призваніе, поэтъ все еще, казалось, не былъ въ себѣ увѣренъ, и съ крайней осторожностью, почти робостью пользовался своимъ поэтическимъ даромъ. Впрочемъ, слѣдуетъ принять и то въ расчетъ, что для русской литературы это были исключительно тяжелые годы, меньше всего благоприятствовавшіе расцвѣту такой именно музы, какъ Некрасовская („Музы гордой и несчастной, кипѣвшей злобою безгласной“)...

...Нѣкій образъ посѣщать
 Меня въ часы работы сталъ:
 Съ перомъ, со склянкою чернилъ
 Онъ надъ душой моею стоялъ,
 Воображенъ леденилъ,
 У мысли крылья обрывалъ.

Такимъ образомъ, за первое десятилѣтіе (1845—1854), кромѣ указанныхъ уже нами, можно отмѣтить еще лишь слѣдующія выдающіяся стихотворенія: „Ѣду-ли ночью“, „Муза“, „Маша“, „Извозчикъ“, „Памяти Бѣлинскаго“, „Буря“, „Несжатая полоса“, „Власть“, „Свадьба“, „Блаженъ незлобивый поэтъ“ и „Внимая ужасамъ войны“. Все это, сравнительно, небольшія по объему вещи. Но зато въ теченіе слѣдующихъ десяти лѣтъ (1855—1864), открывшихъ собою новую эру для жизни всей Россіи, Некрасовъ обнаруживаетъ почти лихорадочную дѣятельность. Онъ приступаетъ къ созданію широкихъ картинъ общественной и народной жизни, и первымъ блестящимъ опытомъ этого рода является поэма „Саша“. Большія вещи чередуются съ множествомъ мел-

кихъ лирическихъ пьесъ. Рядомъ съ „Несчастливыми“, „Поэтомъ и гражданиномъ“, „Тишиною“, „Убогой и нарядной“, „Въ больницѣ“, „Размышленіями у параднаго подъезда“, „О погодѣ“, „На Волгѣ“, „Рыцаремъ на часъ“, „Папашей“, „Дешевой покупкой“, „Крестьянскими дѣтьми“, „Деревенскими новостями“, „Коробейниками“, „Морозомъ Краснымъ Носомъ“, „Ориной“ и „Желѣзной дорогой“ необходимо отмѣтить въ это время: „Праздникъ жизни“, „На родинѣ“, „Замолчки, Муза“, „Школьникъ“, „Прости“, „Забутая деревня“, Тяжелый годъ“, „Въ столицахъ шумъ“, „Ночь“, „Одинокій, потерянный“, „Плачь дѣтей“, „Похороны“, „Свобода“, „Стихи мои“, „Зеленый шумъ“, „Въ полномъ разгарѣ страда деревенская“, „Надрывается сердце“, „Памяти Добролюбова“, „Благодареніе Господу Богу“. Уже изъ этого неполнаго перечня произведеній Некрасова за „шестидесятыя“ годы видно, что десятилѣтіе это было наиболѣе кипучимъ и плодотворнымъ въ его творческой дѣятельности, какъ наиболѣе кипучимъ и плодотворнымъ было оно и въ жизни всей Россіи. Муза Некрасова всегда чутко отражала бѣненіе общественнаго пульса страны.

Съ паденіемъ этого пульса въ срединѣ 60-хъ годовъ, замѣчается временный отливъ и въ поэзіи Некрасова: для нея это — печальный періодъ возрожденія фельетона... Онъ пишетъ: „Притчу о киселѣ“, „Крещенскіе морозы“, „Кому холодно, а кому жарко“, „Газетную“, „Пѣсни о свободномъ словѣ“, „Балетъ“, „Судъ“, „Еще тройку“... Огромный талантъ и въ это время продолжаетъ, однако, вспыхивать яркими искрами,—таковы стихотворенія: „Ликуетъ врагъ“, „Неизвѣстному другу“, „Съ работы“, „Стихотворенія для дѣтей“, „Медвѣжья Охота“.

Зато послѣднее десятилѣтіе жизни поэта (1868 — 1877) отмѣчено новымъ чрезвычайнымъ подъемомъ и ростомъ поэтического творчества: къ этому именно періоду относятся „Русскія женщины“, „Кому на Руси жить хорошо“, „На смерть Писарева“, „Душно безъ счастья и воли“, „Страшный годъ“, „Памяти Шиллера“, „Три элегіи“, „Уныніе“ и, наконецъ, несравненныя „Послѣднія пѣсни“...

Окидывая мысленнымъ взоромъ эту огромную поэтическую работу, раскинутую на пространствѣ тридцати двухъ лѣтъ, поражаешься прежде всего яркой опредѣленностью, если можно такъ выразиться—безспорностью писательской фізіономіи Некрасова. Передъ нами рѣзко очерченная, удивительно-своеобразная инди-

видуальность, которую ни съ какой другой, на самое даже короткое мгновеніе, не смѣшаешь. Лишь очень немногіе изъ самыхъ крупныхъ писателей нашихъ могли бы въ этомъ отношеніи посоперничать съ Некрасовымъ. Даже, напримѣръ, Пушкинъ, при всей исключительности его значенія для русской литературы, остается до сихъ поръ предметомъ разногласій для критики, хотя о сущности его „пагоса“ уже исписаны цѣлыя горы бумаги. Съ одинаковымъ, можно сказать, успѣхомъ пытаются перетянуть его на свою сторону представители прямо враждебныхъ другъ другу литературныхъ партій... То же, или почти то же можно сказать про Лермонтова. Казалось бы, протестующій характеръ его поэзіи не подлежитъ спору. Но противъ чего, собственно, былъ направленъ его протестъ—этотъ вопросъ каждый изъ критиковъ рѣшалъ и рѣшаетъ по своему. Для однихъ „въ поэзіи Лермонтова слышались слезы тяжелой обиды“, вызванныя тѣмъ, что никогда съ такой безцеремонностью, какъ въ николаевское время, права, честь и достоинство человѣка не приносились въ жертву идеѣ бездушнаго, холоднаго формализма. Лермонтовъ, согласно этому мнѣнію, поистинѣ гениально выразилъ всю ту скорбь, какою преисполнены были его современники... Между тѣмъ, одинъ изъ новѣйшихъ критиковъ Лермонтова высмѣиваетъ такое толкованіе его поэзіи. „Можно ли болѣе фальшиво,—спрашиваетъ г. Андреевскій,—объяснять источникъ скорби поэта?! Точно и въ самомъ дѣлѣ послѣ николаевской эпохи, въ періодъ реформъ, Лермонтовъ чувствовалъ бы себя, какъ рыба въ водѣ! *) Точно послѣ освобожденія крестьянъ, и въ особенности въ 60-е годы, открылась дѣйствительная возможность „вѣчно любить“ одну и ту же женщину? Или совсѣмъ искоренилась „месть враговъ и клевета друзей“?.. Современный Лермонтову формализмъ не вызвалъ у него ни одного звука (?) протеста. Обида, которою страдалъ поэтъ, была причинена ему свыше—Тѣмъ, Кому онъ адресовалъ свою ядовитую благодарность“.

Очевидно, не такъ легко найти опредѣляющую сущность и Лермонтовской поэзіи. Относительно Некрасова такого затрудне-

*) Мимоходомъ напомнимъ почтенному критику, что вѣдь и Некрасовъ, въ „земномъ“ характерѣ протеста котораго не можетъ быть сомнѣнія, не сталъ чувствовать себя, «какъ рыба въ водѣ», съ наступленіемъ «эпохи реформъ»...

нія, какъ будто, не существуетъ. Одно имя—и у друзей такъ же, какъ у враговъ, сразу возникаетъ передъ глазами суровый и печальный обликъ писателя, который „лиру посвятилъ народу своему“. Поэтъ самъ далъ своей поэзіи мѣткое и характерное опредѣленіе „музы мести и печали“ — и оно стало ходячимъ. Одна ослѣпительно-яркая, скорбная, гнѣвно-рыдающая нота, не умолкая на протяженіи тридцати слишкомъ лѣтъ, звучитъ въ его стихахъ, „народному врагу проклятія суля, а другу у небесъ могущества моля“. На народѣ сосредоточены всѣ чаянія, тревоги, любовь и печаль Некрасова; счастье народа—всѣ его помыслы,—народа, какъ совокупности всѣхъ трудящихся и обремененныхъ. Но такъ какъ подавляющую массу русскаго народа составляетъ крестьянство, то не мудрено, что поэтъ всего чаще и охотнѣе воспѣваетъ мужицкое горе. Съ теченіемъ времени русскій мужикъ становится для Некрасова какъ бы воплощеніемъ, символомъ человѣческаго страданія, живымъ образомъ русскаго Прометея...

О личныхъ своихъ мукахъ поэтъ, такъ много пострадавшій, столько тяжелаго пережившій, говорить удивительно мало по сравненію съ другими поэтами-лириками, да когда и говоритъ, то большею частью для того только, чтобы заклеить себя, какъ плохого гражданина, рассказать о своихъ ошибкахъ и даже паденіяхъ... И самое большое, чего просить онъ отъ читателя, отъ родины, это—не вѣрить клеветѣ и простить его за дѣйствительныя вины... Много нужно имѣть зложелательства и безстыдства, чтобы Некрасова съ его цѣломудренно-скромной, можно сказать самоотверженной музой обвинять въ желаніи разыгрывать роль „гражданскаго мученика!“

Какъ поэтъ, Некрасовъ—лирикъ по преимуществу, лирикъ, переполненный однимъ сильнымъ и глубокимъ чувствомъ, всегда и всюду одушевленный одной идеей, ни на минуту не выпускающій ея изъ виду. Пишетъ ли онъ коротенькое лирическое стихотвореніе, большую ли эпическую вещь, смѣется ли, плачетъ ли—онъ все тотъ же; даже когда рисуетъ простую картинку природы,—по проникающему ее грустно-щемящему или умиленно-любовному чувству, по какому-то особенному *некрасовскому* тону вы тотчасъ же догадываетесь, что поэтъ ни на секунду не разстается съ своей „сокрушительной думой“.

Поздняя осень. Грачи улетѣли.
Лѣсъ обнажился, поля опустѣли...
Только не сжата полоска одна...

Своеобразный складъ, своеобразная музыка; если бы вы не знали даже наизусть всего стихотворенія, уже этими первыми строчками вы настроены на тонъ грустнаго разсказа. Или, вотъ, отрывокъ изъ „Крестьянскихъ дѣтей“:

Опять я въ деревнѣ. Хожу на охоту,
Пишу мои вѣрши. Живется легко.
Вчера, утомленный ходьбой по болоту,
Забрелъ я въ сарай и заснулъ глубоко.
Проснулся: въ широкія щели сарая
Глядятся веселаго солнца лучи.
Воркуетъ голубка; надъ крышей летая,
Кричатъ молодые грачи.
Летить и другая какая-то птица—
По тѣни узналъ я ворону какъ разъ.
Чу! шопотъ какой-то... А вотъ вереница
Вдоль щели внимательныхъ глазъ.
Все сѣрые, каріе, синіе глазки—
Смѣшались, какъ въ полѣ цвѣты...

Въ этой неподобной картинкѣ грусти и слѣда нѣтъ, но все же это не объективно-спокойный, эпическій разсказъ. Развѣ вы не слышите здѣсь разлитаго въ каждой строчкѣ чувства глубокаго умиленія, того умиленія, которое испытываетъ человѣкъ, разсказывая о самомъ дорогомъ для него и завѣтномъ? И таковъ Некрасовъ всегда. Даже въ произведеніяхъ, по внѣшности строго эпическихъ, посвященныхъ изображенію народнаго быта („Коробейники“, „Кому на Руся жить хорошо“), онъ остается, въ сущности, лирикомъ, разсматривающимъ и природу, и жизнь сквозь призму личнаго чувства. Въ этомъ отношеніи любопытно сравнить Некрасова, напримѣръ, съ Пушкинымъ.

Лира Пушкина—дивный инструментъ, рѣшительно при всякомъ прикосновеніи издающій гармоническіе звуки. Всѣ явленія міра, какъ въ зеркалѣ, отражаются въ чуткой душѣ поэта, и онъ переливаетъ ихъ въ яркіе поэтическіе образы, часто совершенно независимые отъ собственныхъ его настроеній. Такъ, картины временъ года въ „Евгеніи Онѣгинѣ“ никакого видимаго отношенія не имѣютъ къ внутреннему міру героевъ романа: онѣ вполне объективны и безстрастны. Сейчасъ же послѣ трагической смерти Ленскаго идетъ такое описаніе весны:

Гонимы вешними лучами,
 Съ окрестныхъ горъ уже снѣга
 Сбѣжали мутными ручьями
 На потопленные дуга.
 Улыбкой ясною природа
 Сквозь сонъ встрѣчаетъ утро года;
 Сияѣя, блещутъ небеса.
 Еще прозрачные лѣса
 Какъ будто пухомъ зеленѣютъ;
 Пчела за данью полевой
 Летитъ изъ кельи восковой.
 Долины сохнутъ и пестрѣютъ,
 Стада шумятъ и соловей
 Уже пѣлъ въ безмолвіи ночей.

Поистинѣ „красою вѣчною сияетъ равнодушная природа“!.. Или — какъ объективна, напр., пушкинская „Туча“ („Послѣдняя туча разсѣянной бури“): знаменитое стихотвореніе, какъ извѣстно, внушено была поэту счастливо промчавшейся надъ его головой грозой изъ III отдѣленія, а между тѣмъ, въ самой пьесѣ уже не видно этого личнаго чувства. Вотъ это-то умѣнье поэта какъ бы отрѣшиться отъ собственной личности и ея внутреннего міра и есть первое, необходимѣйшее условіе эпического творчества. У Некрасова такого умѣнья почти не было; въ его произведеніяхъ все тѣснѣйшимъ образомъ связано съ общимъ душевнымъ строемъ автора...

Возьмите, напр., картину вырубки лѣса въ некрасовской поэмѣ „Саша“. Тутъ все до того отражаетъ субъективное настроеніе юной героини, что читатель проникается даже злобой къ „явившимся съ топорами“ мужикамъ!.. Эту сравнительную односторонность, эту недостаточную широту поэтической воспримчивости, быть можетъ, слѣдуетъ признать крупнымъ недостаткомъ Некрасова, какъ поэта, но въ немъ же, въ этомъ „недостаткѣ“, нужно искать и причину его огромной силы, секретъ необычайной власти надъ чуткими и отзывчивыми сердцами. Поэтъ пушкинскаго типа врядъ ли могъ бы съ такимъ блестящимъ успѣхомъ выполнить поэтическую миссію эпохи освобожденія...

Подобно миеическому Антею, который дѣлался неодолимо-сильнымъ, прикасаясь ногами къ матери-землѣ, Некрасовъ поднимается во весь ростъ своего могучаго таланта всякій разъ, какъ поетъ о горѣ народномъ; напротивъ, удаляясь отъ этого главнаго вдохновляющаго источника, онъ какъ-будто ослабѣваетъ,

утрачиваетъ свои чары. „Чиновника“, Современную оду“, „Колыбельную пѣсню“, „Нравственнаго человѣка“, „Прекрасную партію“, всѣ сатиры 65—67 гг., „Недавнее время“, большую сатирическую поэму „Современники“ мы знали бы, можетъ быть, не больше, чѣмъ многія остроумныя стихотворенія Минаева и Курочкина, если бы не подкупающее, гипнотизирующее имя Некрасова... Что голосъ поэта, дѣйствительно, получаетъ полную свою силу лишь вдохновляемый впечатлѣніями и идеями извѣстнаго порядка, лучше всего доказывается слѣдующимъ. Въ нѣкоторыхъ изъ только что названныхъ, сравнительно слабыхъ, вещей Некрасовъ вдругъ, точно по мановенію волшебнаго жезла, изъ юмориста средняго таланта превращается снова въ перворазряднаго лирика и создаетъ лучшіе свои шедевры. Вспомните, читатель, то мѣсто въ „Балетѣ“, вяломъ и фелъетонно болтливомъ, гдѣ на сцену выходитъ въ крестьянской рубахѣ Петипа — „и театръ застоналъ“.

Все—до ластовицъ бѣлыхъ въ рубахѣ—
 Было вѣрно: на шляпѣ цвѣты,
 Удаля русская въ каждомъ размахѣ,—
 Не артистка—волшебница ты.
 Все слилось въ оглушительномъ «браво»,
 Дань народному чувству платя,
 Только ты, моя муза, лукаво
 Улыбаешься... Полно, дитя!
 Неумѣстна здѣсь строгая дума,
 Неприлична гримаса твоя...
 Но молчишь ты, скучна и угрюма...
 Что-жъ ты думаешь, муза моя?
 На конекъ ты попала обычный,
 На умѣ у тебя мужика,
 За которыхъ на сценѣ столичной
 Петипа пожинаешь вѣнки.
 И ты думаешь: Гурія рая!
 Ты мила, ты воздушно-лгска,
 Такъ танцуй же ты «Дѣву Дуная»,
 Но въ покоѣ оставь мужика!
 Въ мерзлыхъ лапоткахъ, въ шубѣ нагольной,
 Весь заиндѣвѣвъ, самъ за себя,
 Въ эту пору онъ пляшетъ довольно...

Прямикомъ черезъ рѣки, поля
 Ёдутъ путники узкой тропкою:
 Въ бѣломъ саванѣ смерти земля,

Небо хмурое, полною мглою.
 Отъ утра до вечерней поры
 Все оди́ предъ глазами картины:
 Видишь, какъ, обнажая бугры,
 Вѣтеръ снѣгомъ заноситъ лощины,
 Видишь, какъ подъ кустомъ иногда
 Припорхнеть эта милая пташка,
 Что отъ насъ не летитъ никуда
 (Любитъ скудный нашъ сѣверъ, бѣдняжка!).
 Или, щелкая, стая дроздовъ
 Пролетитъ и посадитъ на ели;
 Слышишь дикіе стоны волковъ
 И визгливое пѣнье мятели...
 Снѣжно, холодно... Мгла и туманъ...
 И по этой унылой равнинѣ
 Шагъ за шагомъ идетъ караванъ
 Съ сѣдоками въ промерзлой овчинѣ.

Это ѣдутъ мужики изъ города, гдѣ сдали въ солдаты сыно-
 вей, и везутъ домой страшную кладь—крестьянское горе:

Гдѣ до солнца идетъ за порогъ
 Съ топоромъ на работу кручина,
 Гдѣ на бѣлую скатерть дорогъ
 Позднимъ вечеромъ свѣтитъ лучина,
 Тамъ найдется кому эту кладь
 По суровымъ сердцамъ разобрать,
 Тамъ она пріютится, попрячется,
 До другого набора проплачется!..

Эта картина безъисходнаго мужицкаго горя на сумрачномъ
 фонѣ зимней русской природы—даже и у Некрасова одна изъ
 наиболѣе сильныхъ, а, между тѣмъ, вкраплена она въ одно изъ
 самыхъ посредственныхъ стихотвореній...

Еще болѣе замѣчательна бурлацкая пѣсня „Въ гору“ („Хлѣ-
 бушка нѣтъ!“), распѣваемая разбойничьимъ хоромъ „героевъ
 времени“ въ остроумной мѣстами, но въ общемъ прозаической и
 растянутой сатирической поэзіи „Современники“.

Итакъ, мы не отрицаемъ извѣстной односторонности поэтиче-
 ской восприимчивости Некрасова, односторонности, вытекающей
 изъ всего душевнаго строя поэта. Съ точки зрѣнія требованій „чи-
 стаго искусства“ это, конечно, болѣе или менѣе существенный не-
 достатокъ. Но, подобно тому, какъ въ живомъ человѣческомъ лицѣ
 наибольшую прелесть составляетъ иногда то, что меньше всего
 отвѣчаетъ отвлеченнымъ требованіямъ эстетики, въ Некрасовѣ,—

какъ мы уже сказали,—теоретическій недостатокъ является нерѣдко источникомъ силы и обаянія поэта. Говоря такъ, мы вовсе не думаемъ, конечно, утверждать, что поэзія Некрасова свободна рѣшительно отъ всякихъ изъясновъ и недочетовъ; напротивъ, ихъ очень много... Мы знаемъ это ничуть не хуже его многочисленныхъ недруговъ, отыскивающихъ малѣйшій предлогъ, чтобы отнять у своего идейнаго противника самый титулъ поэта. Мы только твердо увѣрены, что Некрасову не страшна никакая критика, и что наши потомки будутъ еще читать и любить его произведенія въ то время, когда не останется уже и слѣда отъ крикливой славы тѣхъ геніевъ, которыхъ намъ ставили и ставятъ въ примѣръ настоящей красоты и величія. Мы даже думаемъ, что, добросовѣстно отмѣтивъ недостатки Некрасова, мы тѣмъ лучше сумѣемъ понять, чѣмъ въ дѣйствительности силенъ Некрасовъ, что есть въ его поэзіи великаго и непреходящаго.

Безъ обиняковъ слѣдуетъ, прежде всего, признать тотъ прискорбный фактъ, что періодъ долгой подневольной работы, писанія фелъетоновъ, водевилей, мелодрамъ, пародій и юмористическихъ куплетовъ не прошелъ для нашего поэта безнаказанно, испортивъ до нѣкоторой степени его природное чутье художественной мѣры и такта и отучивъ тщательно работать надъ воплощеніемъ поэтическаго образа въ стихотворную форму. У насъ есть блестящій образчикъ того, чего могъ достичь Некрасовъ, слѣдующаго собственному правилу:

Стихъ, какъ монету, чеканъ
Строго, отчетливо, честно;
Правилу слѣдуй упорно—
Чтобы словамъ было тѣсно,
Мыслимъ просторно!

Мы имѣемъ въ виду „Бурю“ („Долго не сдавалась Любушка-сосѣдка“). Напечатанное первоначально въ „Современникѣ“ 1850 г., стихотвореніе это было длинно и безцвѣтно; въ печати его осмѣяли... Но три года спустя Некрасовъ передѣлалъ пьесу, сокративъ больше, чѣмъ на половину, снабдивъ болѣе пѣвучимъ метромъ и расцвѣтивъ удивительно жизненными красками: „Буря“ стала неузнаваемой! Къ сожалѣнію, такую виртуозность въ обработкѣ формы поэтъ проявлялъ далеко не всегда; обыкновенно онъ почти не дѣлалъ поправокъ въ напечатанномъ разъ текстѣ, оставляя безъ вниманія всѣ указанія и насмѣшки критики.

Примѣровъ не только стилистическихъ, но и поэтическихъ промаховъ Некрасова можно привести не мало. Однимъ изъ самыхъ важныхъ, на нашъ взглядъ, является уже много разъ отмѣченное критикой центральное мѣсто въ стихотвореніи „Бду-ли ночью“. Эта превосходная въ общемъ вещь пользовалась и пользуется вполне заслуженной популярностью; чего стоятъ хотя бы первыя строки:

Бду ли ночью по улицѣ темной,
Бури-ль заслушаюсь въ пасмурный день,—
Другъ беззащитный; больной и бездомный,
Вдругъ предо мной промелькнетъ твоя тѣнь!

Тутъ опять сказывается обычная способность Некрасова нѣсколькими словами, сразу создать у читателя извѣстное душевное настроеніе: вы не прочли еще слѣдующаго стиха, а сердце уже стѣснилось „мучительной думой“. И вотъ, въ этомъ-то удивительномъ стихотвореніи Некрасовъ допустилъ психологически-невыроитную мелодраму: молодая, гордая женщина, сейчасъ же послѣ смерти ребенка, въ виду его еще не остывшаго трупа и на глазахъ у больного мужа, „принаряжается, будто къ вѣнцу“ и идетъ на улицу продавать себя... Для чего? Для того только, чтобы купить „гробикъ ребенку и ужинъ отцу“. Но для этого такъ немного нужно, что было бы, конечно, достаточно—продать „вѣнчальный“ нарядъ! Если бы моментъ былъ выбранъ поэтомъ нѣсколько иной, если бы, напр., мать отправилась на улицу, видя страданія своего ребенка и надѣясь еще спасти его, мы бы ее поняли; но то положеніе, которое изображаетъ Некрасовъ, не вызываетъ къ себѣ ни малѣйшаго сочувствія, потому что оно по существу фальшиво. Разумеетсяъ, ни одна въ мірѣ женщина такъ не поступитъ...

Той же мелодрамой, немислимой въ живой дѣйствительности, слѣдуетъ назвать и ту сцену во II части „Несчастныхъ“, гдѣ каторжники хоромъ отпѣвають „въ бѣшеное веселье“ своего умирающаго товарища. Совсѣмъ не такъ ведутъ себя въ подобныя минуты русскіе арестанты (вспомнимъ, на примѣръ, сцену смерти Михайлова въ „Зап. изъ Мертваго дома“ Достоевскаго)... Не говоримъ уже о томъ, что нигдѣ въ Россіи каторжныхъ не держатъ въ подземельяхъ (у Некрасова дѣйствіе происходитъ вечеромъ—значитъ, не въ рабочее время). Въ тѣхъ же „Несчастныхъ“ Кротъ заинтересовываетъ арестантовъ разсказами о Петрѣ

Великомъ. Казалось бы, достаточно посвятить этимъ рассказамъ два-три, много—пять вечеровъ, у Некрасова же „сто вечеровъ до поздней ночи онъ говорилъ намъ про него“! Впрочемъ, въ цифрахъ нашъ поэтъ вообще не знаетъ мѣры. Чиновникъ изъ „Филантропа“ (напечатаннаго въ 53 г.) рассказываетъ про себя „Минетъ сорокъ лѣтъ зимой, какъ я щеку сталъ подвязывать, отморозивши хмѣльной“. Дѣйствіе рассказа относится этимъ фактомъ ко времени нашествія французовъ, а Некрасовъ имѣетъ, конечно, въ виду обличеніе современной ему эпохи. Помѣщикъ изъ „Кому на Руси жить хорошо“ тоже сорокъ лѣтъ безвыѣздно живетъ въ деревнѣ, а между тѣмъ, не умѣетъ отличить ржаного колоса отъ ячменнаго... Въ лютый крещенскій морозъ въ Петербургѣ Некрасовъ на пространствѣ пяти саженой насчитываетъ „до сотни“ отмороженныхъ щекъ и ушей... У присутственныхъ мѣстъ въ томъ же Петербургѣ стоятъ *сотни сотенъ* (значитъ самое меньшее—сорокъ тысячъ!) крестьянскихъ дровней...

Вычурнымъ и неестественнымъ кажется намъ конецъ прелестнаго стихотворенія „Выборъ“, гдѣ дѣвушка, задумавшая наложить на себя руки, ничего лучшаго не находитъ, какъ броситься внизъ головой... съ огромнаго дерева. Въ поэмѣ „Дѣдушка“ сынъ, встрѣчающій возвращеннаго изъ ссылки отца-декабриста, „предъ отцомъ преклонился, *ноги омылъ старику*“... Княгиня Волконская скатывается вмѣстѣ съ кибиткой „съ высокой вершины Алтая“—и ничего, остается жива и здорова (ужъ не подчеркиваемъ, что „вершины Алтая“ стоятъ далеко въ сторонѣ отъ ея дороги). Фигура Савелія, „богатыря святорусскаго“, носитъ явный отпечатокъ гиперболы и шаржа, а сентиментальная исторія съ губернаторшей, точно будто, взята изъ какого-нибудь пасторальнаго романа... Въ главѣ „Счастливые“ (въ той же поэмѣ „Кому на Руси жить хорошо“) бросается въ глаза слѣдующій досадный недосмотръ. Въ пьяную праздничную ночь, расположившись за деревней подъ густой липой, странники „прокликиваютъ кличъ“ въ бродящей кругомъ подвыпившей толпѣ мужиковъ: „Нѣтъ-ли гдѣ счастливаго? На славу угостимъ“! И вотъ, вмѣстѣ съ разными другими счастливыми „пришелъ съ *тяжелымъ молотомъ* каменотесъ-олончанинъ“. Спрашивается: откуда и зачѣмъ взялся у него въ такую пору молотъ? Конечно, онъ явился на сцену единственно для красоты слога... Подобныхъ промаховъ и недосмотровъ у Некрасова не оберешься. Въ пер-

воначально напечатанномъ текстѣ стихотворенія „Въ деревнѣ“ были стихи: „Добрая барыня Марья Романовна на три *молебна* дала“ (зм. „панихиды“)... И еще: „Деньги семнадцать рублей за упокой *его* душеньки подали“ (выходило: за упокой душеньки медвѣдя)... Но эти обмолвки были позже устранены поэтомъ. За то въ „Бурѣ“ такъ и остался навсегда стихъ:

Промочила ножки и хотъ выжми *шубку*,

хотя рѣчь идетъ о лѣтней грозѣ... Но всего досаднѣе недо-
смотръ въ превосходной картинѣ рубки лѣса въ поэмѣ „Сапша“:

Тамъ, изъ-за старой нахмуренной ели,
Красныя грозды калины глядѣли...

Значить, дѣло происходитъ осенью (осенью и производится обыкновенно рубка лѣса); но дальше появляются вдругъ на сцену разбѣвающие желтые рты галчата, которые выводятся только весною...

Прозаическіе обороты и цѣлыя тирады, къ сожалѣнію, нерѣдко врываются у Некрасова диссонансомъ въ самыя безукоризненные вещи, написанныя „безсмертной красоты стихами“. Въ „Рыцарѣ на часъ“, напр., читаемъ:

Даль глубоко-прозрачна, чиста,
Мѣсяцъ полный плыветъ надъ дубровой,
И господствуютъ въ небѣ цвѣта
Голубой, бѣловатый, миловый...

Или, въ замѣчательной по поэтическому, чисто-народному колориту пѣснѣ воеводы-Мороза (въ поэмѣ „Морозъ — Красный Носъ“), обходящаго дозоромъ свои лѣсныя владѣнья, замѣшиваются какимъ-то образомъ такіе грубые стихи:

Безъ мѣлу всю выбѣлю рожу,
А носъ запылаетъ огнемъ,
И бороду такъ приморожу
Къ возжамъ—хоть руби топоромъ!

Наконецъ, въ „Крестьянскихъ дѣтяхъ“ есть такое стихотворное разсужденіе:

Положимъ, крестьянскій ребенокъ свободно
Растетъ, не учась ничему... и т. д.

Этотъ, какъ видитъ читатель, довольно длинный перечень промаховъ и изъяновъ Некрасова, при желаніи, можно бы уве-

личить, но зачѣмъ? Что этимъ было бы доказано? По нашему мнѣнію, только то одно, что высокодаровитый поэтъ, превосходно знавшій русскую дѣйствительность и русскую природу, на зарѣ жизни, когда другіе юноши еще учатся, спокойно и безпрепятственно развивая свои способности, прошелъ уже тяжелую школу черной литературной работы, постоянной спѣшки и лихорадочнаго возбужденія. Не получивъ систематическаго образованія, Некрасовъ, по всей справедливости, можетъ быть названъ гениальнымъ самородкомъ. Указывать на слабости и частныя промахи его, какъ на доказательство того, что онъ не былъ поэтомъ,—нелѣпо, дико. Если бы мы захотѣли привести изъ Некрасова—въ качествѣ не аргумента, а лишь примѣра—какое-нибудь стихотвореніе, отрывокъ высокой художественной цѣнности, мы сильно затруднились бы выборомъ: до того много у Некрасова истинно-поэтическихъ, прекрасныхъ стиховъ, и такъ много каждый изъ насъ знаетъ ихъ наизусть. Но, конечно, читатель съ удовольствіемъ перечитаетъ еще разъ слѣдующія строки, равныхъ которымъ по красотѣ не много знаетъ русская поэзія:

Все роже кругомъ, какъ степь живая,	Какъ ни красна чужая даль,
Ни замковъ, ни морей, ни горъ...	Не ей поправить наше горе,
Спасибо, сторона родная,	Размыкать русскую печаль!
За твой врачующій просторъ!	Храмъ воздыханья, храмъ печали—
За дальнимъ Средиземнымъ моремъ,	Убогій храмъ земли твоей:
Подъ небомъ ярче твоего,	Тяжеле стонувъ не слышали
Искалъ я примиренья съ горемъ—	Ни римскій Петръ, ни Колизей!
И не нашелъ я ничего!..	Сюда народъ, тобой любимый,
Я твой. Пусть ропотъ укоризны	Своей тоски неодолимой
За мною по пятамъ бѣжалъ,	Святое бремя приносилъ—
Не небесамъ чужой отчизны—	И облегченный уходилъ!
Я пѣсни родинѣ слагалъ!	Войди! Христось наложить руки
И нынѣ жадно повѣряю	И сниметъ волею святой
Мечту любимую мою	Съ души оковы, съ сердца муки
И въ умиленіи посылаю	И язвы съ совѣсти больной...
Всему привѣтъ...	Я внялъ... я дѣтски умилился...
Храмъ Божій на горѣ мелькнулъ	И долго я рыдалъ и бился
И дѣтски-чистымъ чувствомъ вѣры	О плиты старыя челомъ,
Внезапно на душу пахнулъ.	Чтобы простилъ, чтобъ заступился,
Нѣтъ отрицанья, нѣтъ сомнѣнья,	Чтобъ осѣнилъ меня крестомъ
И шепчетъ голосъ неземной:	Богъ угнетенныхъ, Богъ скорбящихъ,
Лови минуту умиленья,	Богъ поколѣній, предстоящихъ
Войди съ открытой головой!	Предъ этимъ скуднымъ алтаремъ!
Какъ ни тепло чужое море,	

Напомнимъ еще картину другого возвращенія поэта на родину—въ началѣ поэмы „Саша“; также изображеніе дѣвичьей тоски по миломъ въ „Коробейникахъ“ („Хорошо было дѣти-нушкѣ“), или горя оскорбленной, поруганной женщины-матери въ „Крестьянкѣ“ („Я пошла на рѣчку быстрю“). А какія оригинальныя, чисто-народныя картины родной природы встрѣчаются въ главномъ созданіи Некрасова—„Кому на Руси жить хорошо“.

Весной, что внуки малые,
Съ румянымъ солнцемъ-дѣдушкой
Играють облака:
Вотъ правая сторонushка
Одной сплошною тучею
Покрылась-затуманилась,
Стемнѣла и заплакала!..
Рядами нити сѣрыя
Повисли до земли.
А ближе, надъ крестьянами,
Изъ небольшихъ, разорванныхъ
Веселыхъ облачковъ

Смѣется солнце красное,
Какъ дѣвка изъ сноповъ.
Но туча передвинулась,
Попъ шляпой накрывается —
Быть сильному дождю.
А правая сторонushка
Уже свѣтла и радостна,
Тамъ дождь перестаетъ:
Не дождь—тамъ чудо Божіе,
Тамъ съ золотыми нитками
Развѣшаны мотки...

Мы наиѣренно не называемъ здѣсь стихотвореній, посвященныхъ памяти мученицы-матери, или такихъ, какъ „Ликуетъ врагъ“, „Душно безъ счастья“, „Баюшки баю“ и т. п., чтобы намъ не сказали: въ этихъ вещахъ плѣняетъ васъ не поэзія собственно, а глубина человѣческаго страданія, или высота гражданского чувства... Никакого отношенія къ этому послѣднему не имѣетъ также слѣдующее, мало почему-то извѣстное, но удивительно-поэтическое стихотвореніе:

Тяжелый годъ—сломилъ меня недугъ,
Бѣда застигла, счастье измѣнило;
И не щадить меня ни врагъ, ни другъ,
И даже ты не пощадила!
Истерзана, озлоблена борьбой
Съ своими кровными врагами,
Страдалица! Стоишь ты предо мной
Прекраснымъ призракомъ съ безумными глазами!
Упали волосы до плечъ,
Уста горять, румянцемъ рдѣють щеки,
И необузданная рѣчь
Сливается въ ужасные упреки,
Жестокіе, неправые... Постой!
Не я обрекъ твои младые годы
На жизнь безъ счастья и свободы,

Я другъ, я не губитель твой!
Но ты не слушаешь...

Вѣдь это цѣлая повѣсть разбитаго существованія... Видишь во-очію эту женщину, ожесточенную долгими страданіями и обидами жизни, измученную подозрѣніями, утратившую вѣру въ любовь и дружбу...

Жрецы и поклонники чистаго искусства не любятъ, между прочимъ, Некрасова за его „тенденціозность“. Но, прежде всего, что такое тенденціозность? Стремленіе уложить живую жизнь на Прокрустово ложе предвзятыхъ мнѣній и выводовъ. Разумѣется, каждый писатель, каждый художникъ изображаетъ жизнь такъ, какъ она *ему* представляется, т. е. до извѣстной степени всегда субъективно. Если уголъ его зрѣнія необыченъ, исключителенъ, то мы можемъ получить одностороннее, невѣрное изображеніе жизни; и, однако, тенденціознымъ его можно будетъ назвать лишь въ томъ случаѣ, если художникъ сознательно, намѣренно извратить истину. Такого намѣреннаго, холодно-разсудочнаго извращенія у Некрасова нѣтъ. Это лучше всего можно видѣть на анализѣ его пѣсень „О погодѣ“, чаще всего подвергавшихся нападкамъ критики. Говорятъ: какая сплошная гипербола! Какія кричащія краски! Вотъ — погонщикъ, бьющій полѣномъ замороженную клячу; вотъ — мчащаяся во весь опоръ и задѣвающая за похоронныя дроги коляска: „гробъ упалъ и раскрылся“... Въ немъ оказывается трупъ чиновника, погоравшаго четырнадцать разъ...

*Всѣ больны, торжествуетъ аптека
И варить свои зелья гуртомъ;
Въ иломъ юродъ нѣтъ человека,
Въ комъ бы желчь не кипѣла ключомъ...*

Гипербола, не споримъ, на лицо, сгущенныя, рѣжущія глаза краски—также. И, тѣмъ не менѣе, въ пѣсняхъ „О погодѣ“ мы видимъ сильную, горячую, искреннюю лирику. Все дѣло въ томъ, что авторъ и не имѣлъ вовсе въ этомъ произведеніи въ виду психику и логику здоровыхъ, счастливыхъ людей. Къ ихъ числу не принадлежалъ, конечно, русскій писатель того времени, когда слагались пѣсни о погодѣ (1859 г.), истосковавшійся по идеалу, издерганный жизнью, которая на каждомъ шагѣ съ ожесточеніемъ была по его туго натянутымъ нервамъ. Въ эти томительно-долгіе предразсвѣтныя годы, когда надежды на близкое обновленіе то

разгорались яркимъ пламенемъ, то внезапно гасли и исчезали, жилось особенно тяжело, и Некрасовъ, и безъ того мало отраднаго испытавшій въ жизни, въ пѣсняхъ „О погодѣ“ съ несомнѣнно глубокой искренностью и вѣрностью дѣйствительности выразилъ тогдашнее больное, желчно-озлобленное настроеніе петербургскаго интеллигента, то настроеніе, когда при утреннемъ пробужденіи кажется, что „начинается день безобразный, мутный, вѣтряный, грязный“, когда „злость беретъ, сокрушаетъ хандра, такъ и просятся слезы изъ глазъ“...

Дикій крикъ продавца-мужика
И шарманка съ прозвительнымъ воємъ,
И кондукторъ съ трубой, и войска,
Съ барабаннымъ идущія боемъ,
Понуканье измученныхъ клячь,
Чуть живыхъ, окровавленныхъ, грязныхъ
И дѣтей раздирающій плачь
На рукахъ у старухъ безобразныхъ—
Все сливается, стонетъ, гудеть,
Какъ-то глухо и грозно рокочетъ,
Словно цѣпи куютъ на несчастный народъ,
Словно городъ обрушиться хочетъ!

Вѣдь не надо было обладать умомъ Некрасова, чтобы понимать, что „всѣ“ не могутъ быть больны въ Петербургѣ даже и въ самую ужасную осеннюю погоду; и задумай Некрасовъ написать вещь, искусственно и хладнокровно рассчитанную на эффектъ, онъ, конечно, сумѣлъ бы обойтись безъ подобныхъ lapsus'овъ. Но онъ былъ поэтъ искренняго, могущественно захватывающаго чувства; онъ глубоко переживалъ тѣ настроенія, которыя передавалъ въ своихъ произведеніяхъ, и отсюда-то, быть можетъ, произошли многіе изъ тѣхъ мелкихъ промаховъ, о которыхъ мы выше говорили и которые, при первомъ взглядѣ, такъ поражаютъ въ этомъ quasi-холодномъ, quasi-практическомъ талантѣ. Почти каждое стихотвореніе Некрасова написано кровью и сокомъ нервовъ. Вотъ почему у него совсѣмъ мало вещей *неинтересныхъ*, которыми такъ богаты жрецы чистаго искусства... Недостатки формы отыщутся у Некрасова въ самыхъ безукоризненныхъ (вродѣ даже „Рыцаря на часъ“) произведеніяхъ, но за то и въ самыхъ слабыхъ вы подмѣтите у него достоинства, которыми онъ головой возвышается надъ своими собратьями. Стихи его всегда вытекаютъ изъ живого человѣческаго сердца, изъ бодрой, дѣятельной мысли...

VII.

Некрасовъ, какъ пѣвецъ трудящихся и обездоленныхъ.

„Онъ проповѣдовалъ любовь враждебнымъ словомъ отрицанья“. Съ отрицанія, конечно, и долженъ былъ начать всякій передовой писатель эпохи борьбы за освобожденіе. Но если Некрасовъ и послѣ того, какъ „порвалась цѣпь великая“, вмѣсто ликующихъ гимновъ продолжалъ прежнюю отрицательную работу, будя общество тревожнымъ вопросомъ: „народъ освобожденъ, но счастливъ ли народъ?“—то и въ этомъ отношеніи онъ не занималъ исключительнаго положенія среди нашихъ лучшихъ писателей. По общимъ условіямъ нашей гражданственности только такая работа и была у насъ возможна: развитіе положительной стороны передового міровоззрѣнія встрѣчало всегда неодолимыя препятствія...

„Иныхъ временъ, иныхъ картинъ провижу я начало въ случайной жизни береговъ моей рѣки любимой“,—мечтаетъ поэтъ въ маленькой поэмѣ „Горе стараго Наума:—„освобожденный отъ оковъ, народъ неутомимый созрѣетъ; густо заселить прибрежныя пустыни; наука воды углубить... По гладкой ихъ равнинѣ суда-гиганты побѣгутъ несчетною толпою, и будетъ вѣчень бодрый трудъ надъ вѣчною рѣкою!.. Мечты!.. Я вѣрую въ народъ...“ Если не считать слѣдующихъ затѣмъ строкъ выразительныхъ точекъ, то нарисованную въ приведенныхъ стихахъ картину грядущаго народнаго счастья нельзя не признать довольно-таки смутной... Кого, однако, винить въ этомъ?..

Не разъ упрекали Некрасова въ томъ, что онъ и современную ему дѣйствительность изображалъ одиѣми мрачными, отрицательными красками, не видя въ ней рѣшительно ничего свѣтлаго, отраднаго. Но эти упреки совершенно неосновательны: поэзія Некрасова изображаетъ и то положительное, что было въ русской жизни. Такова хотя бы цѣлая галлерей обаятельныхъ портретовъ народныхъ заступниковъ и печальниковъ, нарисованныхъ поэтомъ въ цѣломъ рядѣ произведеній: Грановскій, Бѣлинскій (непосредственно и въ образѣ Крота въ „Несчастныхъ“), Добролюбовъ, поэтъ-семинаристъ Гриша, Ермаилъ Гиринъ, Саша (этотъ прелестный степной цвѣтокъ, еще не вполне распустившійся),

Дѣдушка, герои и героини стихотвореній „Пророкъ“, „Кузнецъ“, „Ты не забыта“, собственная, наконецъ, мать поэта... Но главнымъ положительнымъ героемъ Некрасова является самъ русский народъ, въ лицѣ его главной составной части — крестьянства... Мы только что привели признаніе поэта: „Мечты!.. Я вѣрую въ народъ“. Въ устахъ Некрасова это не красивая только фраза, а дѣйствительная „мечта“ изстрадавшагося сердца, его послѣднее убѣжище и святыня.

Воспѣвать мужицкія страданія поэтъ началъ, какъ мы видѣли, рано, съ перваго же стихотворенія, создавшаго ему извѣстность; но нота настоящей влюбленности въ народъ зазвучала въ стихахъ его не сразу. Когда, по окончаніи Крымской войны, всѣмъ стало ясно, что идти дальше по пути мрака и застоя Россія не можетъ, не рискуя своимъ историческимъ существованіемъ, общество русское вдругъ поняло, что есть *никто*, чьи интересы въ тысячу разъ важнѣе для блага и счастья родины, чѣмъ интересы небольшой своекорыстной кучки дворянъ. То былъ великій историческій моментъ... Могучая общественная волна подняла и Некрасова; въ поэзіи его, болѣе свободно звучавшей теперь, чѣмъ въ сороковые годы, появились новыя—то гнѣбныя, то восторженныя ноты... Одно за другимъ, стали выходить въ свѣтъ наиболѣе сильныя и характерныя его произведенія *). Къ сожалѣнію, размѣры настоящей статьи не позволяютъ намъ распространиться о томъ, какую видную роль сыграли эти произведенія въ возникновеніи и развитіи того замѣчательнаго идеалистическаго движенія въ нашей литературѣ, которое извѣстно подъ именемъ народничества. Не даромъ такъ любилъ Некрасова одинъ изъ главныхъ его представителей—Г. И. Успенскій **)...

Но какъ же, собственно, рисовалъ себя Некрасовъ выступившаго на историческую сцену „прекраснаго незнакомца“? Не видѣлъ ли онъ въ русскомъ народѣ, подобно славянофиламъ-почвенникамъ, особую мистическую подоплеку, дѣлающую его народомъ-избран-

*) «Тишина», «Размышленія у пар. подъѣзда», «Въ столицахъ шумъ», «Ночь», «На Волгѣ», «Дерев. Новости», «Крестьянскія дѣти», «Похороны», «Коробейники», «Свобода», «Зеленый шумъ», «Въ полномъ разгарѣ страда», «Орина», «Морозъ—Красный носъ», «Жел. дорога», «Съ работы».

**) Быть можетъ, не мѣшаетъ оговориться, что концомъ движенія (въ чистомъ его видѣ) мы считаемъ закрытіе «Отч. Записокъ» въ апрѣлѣ 1884 г.

никомъ, образцомъ и поученіемъ для „гнилого“ Запада? Ради великихъ страданій, выпавшихъ на долю народа, не закрывалъ ли глазъ на его тѣневныя, отрицательныя стороны? Ничего подобнаго. Ни квасного, ни мистическаго элемента нѣтъ и слѣда въ любви Некрасова къ крестьянину, доходящей порою до восторженнаго удивленія, но остающейся всегда здоровой и трезвой.

Въ рабствѣ спасенное
Сердце свободное,
Золото, золото
Сердце народное! —

Вотъ что въ особенности привлекаетъ поэта къ русскому народу: его гуманность, терпимость даже къ врагу, его героическая бодрость въ страданіи.

Его ли горе не скребетъ?
Онъ бодръ, онъ за сохой шагаетъ,
Безъ наслажденія онъ живетъ,
Безъ сожалѣнья умираетъ.
Его примѣромъ укрѣпись,
Сломившійся подъ игомъ горя,
За личнымъ счастьемъ не юнись
И Богу уступай, не споря!

Пресловутое мужицкое терпѣніе, которое въ минуты отчаянія поэтъ самъ клеймитъ не разъ именемъ рабскаго оупѣнія, въ моменты болѣе спокойныя представляется ему свойствомъ того же, спасеннаго въ рабствѣ, „золотого“ сердца. Это — не холопство, не нравственное паденіе, а, напротивъ, результатъ сознанія своей могучей стихійной силы, которую никакое испытаніе сломить не можетъ, беззавѣтная вѣра въ конечное торжество правды, глубокое чувство общественной солидарности, наконецъ, органическое отвращеніе къ насилию, природное добродушіе...

Княгиня Волконская, по дорогѣ къ мужу-декабристу оскорбленная офицеромъ-бурбономъ, заходитъ въ убогую сибирскую церковь и проситъ попа отслужить молебенъ.

За что мы обижены столько, Христось,
За что поруганьемъ покрыты?
И рѣки данно накопившихся слезъ
Упали на жесткія плиты.

Толпа богомольцевъ-простолюдиновъ остается молиться вмѣстѣ съ нею.

Казалось, народъ мою грусть раздѣлялъ,
 Молясь молчаливо и строго,
 И голосъ священника скорбью звучалъ,
 Прося объ изгнанникахъ Бога.
 Убогій, въ пустынѣ зетерянный храмъ!
 Въ немъ плакать мнѣ было не стыдно,
 Участье страдальцевъ, молящихся тамъ,
 Убитой душѣ не обидно!

И въ другой разъ, при мысли о народѣ, изъ измученной груди
 княгини вырываются слѣдующія трогательныя слова, несомнѣнно
 выражающія мысль самого поэта:

Быть можетъ, вамъ хочется дальше читать,
 Да просится слово изъ груди:
 Помедлимъ немного... Хочу я сказать
 Спасибо вамъ, русскіе люди!
 Въ дорогѣ, въ изгнаньи, гдѣ я ни была,
 Все трудное каторги время —
 Народы! я бодрѣе съ тобою несла
 Мое непосильное бремя.
 Пусть много скорбей тебѣ пало на часть, —
 Ты дѣлишь чужія печали,
 И гдѣ мои слезы готовы упасть,
 Твои ужъ давно тамъ упали!..
Ты любишь несчастнаго, русский народъ...

Превосходными образчиками гуманности этого народа и его способности сочувствовать всему живому и страдающему служатъ два прекрасныхъ стихотвореній: „Похороны“ (отношеніе крестьянина къ захожему челоуѣку, который по неизвѣстной причинѣ наложилъ на себя руки) и „Съ работы“ (голодный крестьянинъ прежде всего заботится о томъ, чтобы была накормлена его голодная лошадь). Съ рѣдкимъ добродушіемъ и терпимостью выслушиваютъ некрасовскіе мужики (въ „Кому на Руси ж. х.“) самозащиту помѣщика и попа, которыхъ не имѣютъ, повидимому, особенныхъ причинъ любить и жаловать, а выслушавъ, признаютъ въ этой защитѣ долю правды и рѣшаютъ выключить попа и помѣщика изъ списка предполагаемыхъ счастливицевъ...

Такое пониманіе „сердца народнаго“ не мѣшаетъ Некрасову, какъ мы уже говорили, ясно видѣть всѣ недостатки и даже пороки народа, и прежде всего—его умственную темноту и закорюзлое невѣжество, дѣлающія его способнымъ на поступки, о которыхъ

въ лучшемъ случаѣ только и можно сказать: *sancta simplicitas!* какъ о той старухѣ, которая, желая угодить Богу, принесла вязанку дровъ на костеръ Гуса. Достаточно указать на стихотвореніе „Такъ, служба! самъ ты въ той войнѣ дрался — тебѣ и книги въ руки“, гдѣ разсказывается ужасная исторія идиотски-добродушнаго избіенія мужиками цѣлой семьи плѣнныхъ французъ. Стихотвореніе это подвергалось не разъ ожесточеннымъ нападкамъ „патріотической“ критики, какъ грубая фальшь и чуть ли даже не злостная выдумка на народъ, и поэтъ, очевидно внявъ ей, отнёсъ въ концѣ концовъ пьесу въ отдѣлъ „Приложеній“. Между тѣмъ, въ доказательство того, что сюжетъ ея не придуманъ, что въ „великомъ“ двѣнадцатомъ году подобныя исторіи случаться могли, можно бы привести аналогичную исторію, разсказанную Тургеневымъ въ „Однодворцѣ Овсянниковѣ“ („Зап. Охотника“). Сравнивъ двѣ эти исторіи, мы видимъ, что у Некрасова есть нѣчто, если не оправдывающее, то, по крайней мѣрѣ, объясняющее ужасный поступокъ крестьянъ: они убиваютъ француза, очевидно, въ порывѣ „патріотическаго“ озлобленія:

Поймали мы одну семью,
Отца да мать съ тремя щенками:
Тотчасъ ухлопавъ мусью,
Не изъ фузеи—кулаками!

А дальше въ убійцахъ просыпается человѣческое чувство сожалѣнія, хотя и нашедшее себѣ исходъ въ уродливо-дикомъ, ужасномъ поступкѣ. У Тургенева дѣло происходитъ несравненно проще и, потому, ужаснѣе. Крестьяне Смоленской губерніи, поймавъ „француза“ Лежени, не „тотчасъ ухлопываютъ“ его, а запираютъ на ночь въ пустую сукновальню и лишь на утро приводятъ къ проруби и предлагаютъ „уважить“ ихъ—вырнуть подъ ледъ рѣчки Гнилотеки. Французъ, конечно, упрямится; тогда мужики, не оставляя добродушной насмѣшливости, начинаютъ поощрять его „легкими“ толчками въ шею... Патріотическое озлобленіе до такой степени отсутствуетъ, что когда проѣзжіи помѣщикъ предлагаетъ крестьянамъ въ качествѣ выкупа за Лежени двугривенный на водку, они отвѣчаютъ ему хоромъ: „Спасибо, батюшка, спасибо. Извольте, возьмите его“.

Но если стихотвореніе „Такъ служба!“ далеко отъ идеализаціи русскаго народа, то надо сказать, что оно не единственное у Некрасова. Можно отыскать не мало страницъ въ его произве-

деніяхъ, гдѣ рисуются даже прямо отталкивающіе нравы и типы народныя: „Тройка“, „Проводы“, „Кумушки“, „Власть“ (до его перерожденія), „Крестьянскій грѣхъ“ въ „Пирѣ на весь міръ“; отнюдь не могутъ быть названы идеализированными и такія лица, какъ Ванька и Тихонычъ, главные герои „Коробейниковъ“ (этой лучшей народной поэмы Некрасова).

За всѣмъ тѣмъ, не подлежитъ, конечно, спору, что достоинства народнаго характера безконечно перевѣшиваютъ въ глазахъ нашего поэта всѣ недостатки и пороки. И въ общемъ поэзія Некрасова можетъ быть разсматриваема именно, какъ сплошной восторженный гимнъ трудящимся, рабочимъ слоямъ русскаго народа. Для иллюстраціи этого положенія намъ пришлось бы выписать чуть не половину его книги... Чѣмъ, напимѣръ, инымъ, какъ не гимномъ труду, слѣдуетъ назвать всю поэму „Морозъ-Красный Носъ“? Какой теплотой и любовью дышетъ каждый штрихъ хотя бы этой прелестной, изумительной по реальности красокъ, картинки лѣтней крестьянской работы:

Возили снопы мужики,
А Дарья картофелъ копала
Съ сосѣднихъ полей у рѣки.
Свекровь ея тутъ же, старушка,
Трудилась; на полномъ мѣшкѣ
Красивая Маша, рѣзвуха,
Сидѣла съ морковкой въ рукѣ.
Телѣга, скрипя, подѣзжаетъ—
Савраска глядитъ на своихъ.
И Проклушка крупно шагаетъ
За возомъ сноповъ золотыхъ.
— Богъ помощи! А гдѣ же Гришуха?
Отецъ мимоходомъ сказалъ.
«Въ горожахъ» сказала старуха.
— Гришуха! отецъ закричалъ,
На небо взглянулъ.—Чай, не рано?
Испить бы...—Хозяйка встаетъ
И Проклу изъ бѣлаго жбана
Напится кваску подаетъ.
Гришуха межъ тѣмъ отозвался:
Горохомъ опутанъ кругомъ,
Проворный мальчуга казался
Бѣгущимъ зеленымъ кустомъ.
Бѣжить!.. У, бѣжить пострѣленокъ,
Горитъ подъ ногами трава...
Гришуха черенъ, какъ галчонокъ,

Бѣла лишь одна голова...
Машутка отцу закричала:
— Возьми меня, тятка, съ собой!—
Спрыгнула съ мѣшка и упала,
Отецъ ее поднимаетъ: «Не вой!
Убилась—не важное дѣло.
Дѣвчонокъ не надобно мнѣ,
Еще вотъ такого пострѣла
Рожай мнѣ, хозяйка, къ веснѣ!
Смотри же!..» Жена застыдилась:
— Довольно съ тебя одного!
— (А знала—подъ сердцемъ ужъ билось
Дитя)... «Ну, Машукъ, ничего!»
И Проклушка, ставъ на телѣгу,
Машутку съ собой посадилъ;
Вскочилъ и Гришуха съ разбѣгу,
И съ грохотомъ возъ покатилъ.
Воробушковъ стая слетѣла
Съ сноповъ, надъ телѣгой звилась
И Дарьюшка долго смотрѣла,
Отъ солнца рукой заслонясь,
Какъ дѣти съ отцомъ приближались
Къ дымящейся ригѣ своей,
И ей изъ сноповъ улыбались
Румяныя лица дѣтей...

Во избѣжаніе какихъ-либо недоразумѣній, спѣшимъ повторить сдѣланную уже въ предыдущей главѣ оговорку. „Народъ“, сосредоточивающій на себѣ все вниманіе, всѣ тревоги и чаянія поэта, есть *совокупность всѣхъ трудящихся массъ населенія*, безъ различія классовъ и орудій труда; на Некрасова нельзя смотрѣть, поэтому, какъ на пѣвца и адвоката исключительно крестьянскаго горя. Если послѣднее онъ воспѣвалъ, дѣйствительно, всего чаще и охотнѣе, то объясняется это вполне естественно и просто: крестьянство составляло во времена Некрасова (какъ, впрочемъ, и до сихъ поръ составляетъ) подавляющую по своей численности массу русскаго населенія и, притомъ, являлось главной жертвой царившаго зла (а крѣпостное право—лишь наиболѣе яркимъ его проявленіемъ). Страданія мужика были, такимъ образомъ, въ глазахъ Некрасова какъ бы символомъ страданій всего русскаго народа... Но всѣ забытые, всѣ обездоленные одинаково имѣли въ немъ своего пѣвца и друга... *)

*) Въ высшей степени курьезными представляются намъ утвержденія г. Ашешова («Образованіе» 1902, № 12), будто любовь Некрасова къ народу и вѣра въ него «были смутны и неопредѣленны, ибо были лишь романтическими терминами народничества безъ яснаго анализа по существу».—«Некрасовъ, какъ и романтики народничества, даже тѣ, которые рѣзко подчеркивали свое тяготѣніе къ опредѣленному трудящемуся слою, представленіе о народѣ имѣли слишкомъ общее, быть можетъ, только немногимъ болѣе рельефное, чѣмъ люди 40-хъ годовъ, когда они мечтали объ освобожденіи крестьянъ, какъ массы вообще (!), независимо отъ составляющихъ ее элементовъ».—«Какъ романтикъ неопредѣленной народной скорби, Некрасовъ устарѣлъ. Его тоска не можетъ развивать (?) элементы нашего мировоззрѣнія, стремящагося быть точнымъ и опредѣленно-устойчивымъ».—«По за исключеніемъ этой особенности (неопредѣленности народной скорби и самого народа) у Некрасова все же остается цѣлое колоссальное богатство мотивовъ, въ которыхъ ярко свѣтится любовь не къ народу вообще, а къ обездоленнымъ, несчастнымъ и униженнымъ». Путаница «точныхъ и опредѣленно-устойчивыхъ» взглядовъ самого г. Ашешова въ послѣднихъ, подчеркнутыхъ нами, словахъ выступаетъ особенно ярко.—Любопытны также его чисто-эстетическіе взгляды. «Въ сферѣ любви и личныхъ настроеній Некрасовъ никнетъ» (это, напр., въ «Трехъ элегіяхъ», или «Я посѣтилъ твое кладбище» ?!)... «Его сатиры умрутъ скоро, если еще не умерли» (что же мѣшаетъ строгому критику въ другомъ мѣстѣ называть *классическими* «Размышленія у параднаго подъѣзда»)... «Его мелкія лирическія стихотворенія долговѣчны еще менѣе»... Однимъ росчеркомъ развязнаго пера г. Ашешовъ, очевидно, подписываетъ смертный приговоръ такимъ общепризнаннымъ перламъ русской поэзіи, какъ «Родина», «Ликуеть врагъ», «Не рыдай такъ безумно», «Душно! безъ счастья и воли», «Баюшки-баю», «О, муза, я у двери гроба» и пр. и пр.!

Среди жертвъ челоѣческаго насилія, жестокости и невѣжества, быть можетъ, наиболѣе беззащитной является женщина:

Ключи отъ счастья женскаго,
Отъ нашей вольной подлюшки
Заброшены, потеряны
У Бога самаго!

И русская женщина на всѣхъ ступеняхъ общественной дѣстности нашла въ лицѣ Некрасова одного изъ пламеннѣйшихъ своихъ адвокатовъ. Устами любимаго героя (Гриши) Некрасовъ высказываетъ увѣренность, что затерянные ключи отъ счастья женскаго будутъ все же когда-нибудь разысканы („Еще ты въ семействѣ *покуда* раба, но мать уже вольнаго сына!“).

Нарисованные имъ женскіе образы—одни изъ самыхъ плѣнительныхъ въ русской литературѣ. Прежде всего это—образъ собственной матери поэта, воспѣтой во множествѣ стихотвореній и поэмъ; затѣмъ—Катерина изъ „Коробейниковъ“, Саша изъ поэмы того же названія, Дарья изъ „Мороза“, княгини Трубецкая и Волконская, Матрена Тимофеевна изъ „Кому на Руси жить хорошо“. Далѣе слѣдуютъ героини мелкихъ стихотвореній: „Я посѣтилъ твое кладбище“, „Памяти Асенковой“, „Свобода“, „Въ больницѣ“, „Тяжелый крестъ достался ей на долю“, „Дешевая покупка“, „Въ полномъ разгарѣ страда“, „Пѣсня Любы“...

Рядомъ съ женщиной не мало теплыхъ страницъ посвящено Некрасовымъ и дѣтямъ.

Равнодушно слушая проклятья
Въ битвѣ съ жизнью гибнущихъ людей,
Изъ-за нихъ вы слышите ли, братья,
Тихій плачъ и жалобы дѣтей?—

съ болью и ужасомъ спрашивалъ поэтъ, и въ произведеніяхъ его то и дѣло встрѣчаются—то глубоко-трогательныя картинки изъ дѣтской жизни, то негодующія обращенія къ обществу, которое недостаточно озабочено охраной этихъ безпомощныхъ, беззащитныхъ существъ („Морозъ-Красный Носъ“, „Плачъ дѣтей“, „Несчастные“ I ч., „О погодѣ“, „Крестьянскія дѣти“, „Деревенскія новости“, „Демушка“ и „Волчица“ въ „Кому на Руси жить хорошо“).

Спеціально для дѣтей написанъ имъ цѣлый рядъ всѣмъ извѣстныхъ и столь любимыхъ дѣтьми стихотвореній.

„Любить несчастнаго русскій народъ“, писалъ поэтъ,—и въ его собственной душѣ тоже нашелся уголокъ для несчастныхъ отверженцевъ человѣческаго общества. Кромѣ стихотвореній „Еще тройка“ и „Благодареніе Господу Богу“, у Некрасова есть цѣлая большая поэма („Несчастные“), посвященная ссылкѣ и каторгѣ. Къ сожалѣнію, поэма эта, нестройная въ цѣломъ (первая часть чисто формально связана со второй), страдаетъ крупными частными недостатками. Лицо, отъ имени котораго ведется разсказъ, до конца остается неяснымъ и блѣднымъ; образъ убитой имъ женщины не выдержанъ: въ I ч.—это „ангелъ въ грозѣ и демонъ у пристани желанной“, а во II ч.—„женщина пустая, съ тряпичной дюжинной душой“... Растянутость (особенно первой части) также вредитъ впечатлѣнію. И при всемъ томъ, „Несчастные“, благодаря проникающему ихъ теплomu, гуманному чувству, массѣ поэтическихъ подробностей, а главное — яркой и оригинальной фигурѣ Крота (Бѣлинскаго), до сихъ поръ остаются одной изъ популярнѣйшихъ поэмъ Некрасова. Описывая каторгу задолго до появленія „Записокъ изъ Мертваго Дома“, Некрасовъ, естественно, сдѣлалъ нѣсколько крупныхъ промаховъ въ обрисовкѣ этого совершенно невѣдомаго тогда русскому обществу міра. Замѣчательно, однако, что поэтическимъ чутьемъ онъ сумѣлъ угадать нѣкоторые чрезвычайно жизненные и правдивыя черты изъ быта „Несчастныхъ“. Таково, напримѣръ, страстное стремленіе арестантовъ къ свѣту знанія, ихъ любовно-внимательное отношеніе къ разсказамъ попавшаго въ ихъ среду образованнаго человѣка:

Забыты буйныя проказы,
Наступить вечеръ—тишина,
И стали намъ его разсказы
Милѣй разгула и вина...
Никто сомкнуть не думалъ очи
И не промолвилъ ничего.
Онъ говорить — ему внимаемъ
И, полны новыхъ думъ, тогда
Свои оковы забываемъ
И тяжесть чернаго труда *).

*) Не забыты гуманнымъ поэтомъ даже животныя, такъ много страдающія отъ людской жестокости («На улицѣ», «О погодѣ», «Дѣдушка Мазай и зайцы», «Соловьи», «Морозъ-Красный Носъ», «Съ работы»).

Изъ многочисленныхъ и разнообразныхъ мотивовъ Некрасовской поэзіи отмѣтимъ еще чувство пробуждающагося человѣческаго достоинства у принижennaго и обезличеннаго раба. Впервые былъ затронутъ Некрасовымъ этотъ мотивъ еще въ 1848 г. въ стихотвореніи „Вино“ („Безъ вины меня баринъ посѣкъ, самъ не знаю—что стало со мной...“), и къ нему не разъ возвращался онъ впослѣдствіи: вспомнимъ хотя бы „На постояломъ дворѣ“ („Изъ ночлеговъ“) и своеобразное проявленіе того же чувства въ притчѣ „Про холопа примѣрнаго—Якова вѣрнаго“:

Крѣпко обидѣлъ холопа примѣрнаго,
Якова вѣрнаго
Баринъ, — холопъ закурилъ!

Полное духовное перерожденіе челоѡѡка, нравственно, казалось, совершенно погибшаго, поэтъ рисуетъ намъ отчасти въ „Горѣ стараго Наума“, особенно же ярко въ знаменитомъ „Власѣ“, который какъ бы символизируетъ таящіяся въ русскомъ народѣ огромныя силы...

Рядомъ съ народною жизнью вниманіе Некрасова часто останавливается и на разныхъ теченіяхъ русской общественной жизни, на нарождающихся типахъ интеллигенціи. Въ лицѣ Агарина передъ нами оригинальная разновидность Рудина; въ „Медвѣжьей охотѣ“—насмѣшливая характеристика русскаго „общественнаго мнѣнія“ и „либерализма“; въ „Современникахъ“ — типы всевозможныхъ дѣльцовъ и аферистовъ (еще въ 1846 г. въ стихотвореніи „Секретъ“ Некрасовъ крайне отрицательно отнесся къ зарождавшейся русской „буржуазіи“). Стихотворенія: „Пѣсня Еремушкѣ“, „Она была исполнена печали“, „Пѣсня Любы“, „Я сбросила мертвящія оковы“ и пр. рисуютъ любопытныя общественныя настроенія иного характера. Гриша („Пиръ на весь міръ“) — представитель поколѣнія 70-хъ годовъ, которое несло въ народъ свои знанія и любовь... Поэтъ вѣритъ, что русская интеллигенція посѣтетъ добрыя сѣмена на почвѣ богатаго, но дремлющаго на роднаго духа,—и русскій народъ скажетъ ей „спасибо сердечное“...

Остается отмѣтить рядъ наиболѣе проникновенныхъ и трогательныхъ стихотвореній Некрасова, въ которыхъ онъ высказываетъ свой взглядъ на роль писателя вообще и свое писательское призваніе въ частности. Назначеніе поэта, по его мнѣ-

нію,—„напоминать человѣку высокое призваніе его“, чтобъ „человѣкъ не мертвыми очами могъ созерцать добро и красоту“.

Казни корысть, убійство, святотатство,
Сорви вѣнцы съ предательскихъ головъ!

Таковъ идеаль поэта-гражданина, поэта-бойца, который рисуется Некрасову въ его задумчивѣйшихъ мечтаніяхъ, но который для себя самого онъ считаетъ недостижимымъ:

Мнѣ борьба мѣшала быть поэтомъ,
Пѣсни мнѣ мѣшали быть бойцомъ.

Идея эта съ особенной настойчивостью высказана въ известномъ діалогѣ „Поэтъ и гражданинъ“. Смѣлый призывъ гражданина: „Въ такое время стыдно спать!“ — встрѣчаетъ въ душѣ поэта одно отчаяніе. Въ свободномъ словѣ есть отрада, соглашается онъ,—но дѣло въ томъ, что лира его никогда не была свободной: при первыхъ же звукахъ ей пришлось умолкнуть... А гибнуть—не хватило мужества:

Лукаво жизнь впередъ манила,
Какъ моря вольныя струи,
И ласково любовь сулила
Мнѣ блага лучшія свои.—
Душа пугливо отступила...
.....
Склонила муза ликъ печальный
И, тихо зарыдавъ, ушла.

И поэтъ рѣшаетъ: „шелъ одинъ вѣнокъ терновый къ ея угрюмой красотѣ“...

Самооцѣнка, несомнѣнно, крайне субъективная и несправедливая, но характерно, что она проходитъ яркою нитью черезъ всю поэзію Некрасова. Самодовольство ей чуждо, противно,—черта, дѣлающая нравственный обликъ нашего поэта особенно симпатичнымъ и привлекательнымъ. Только въ очень рѣдкихъ, исключительныхъ случаяхъ съ лиры его срывается гордый, счастливый звукъ: поэтъ сознаетъ, что по мѣрѣ силъ выполнилъ свою великую миссію служенія народу... Таково предсмертное стихотвореніе:

О, муза! я у двери гроба!
Пускай я много виноватъ,
Пусть увеличитъ во сто кратъ
Мои вѣны людская злоба,—

Не плачь! завиденъ жребій нашъ,
 Не наругаются надъ нами:
 Межъ мной и честными сердцами
 Порваться долго ты не дашь
 Живому, кровному союзу!
 Не русскій взглянетъ безъ любви
 На эту блѣдную, въ крови,
 Кнута въ изсѣченную музу...

VIII.

Критики и читатели Некрасова.—Прочность его славы.

Поэтъ не ошибался въ своемъ предсмертномъ провидѣннѣ. Если отыскивались и, быть можетъ, не разъ еще отыщутся отдѣльные судьи, несправедные и немилостивые, то въ общемъ „живой кровный союзъ“ межъ нимъ и всѣми „честными сердцами“ установился прочно, и, нужно думать, съ годами онъ будетъ лишь расти и крѣпнуть. Но Некрасову пришлось вести долгую и тяжелую борьбу для того, чтобы завоевать общее признаніе.

„Если бы дать больше мѣста выдержкамъ изъ отзывовъ критики, то каждый наглядно убѣдился бы, какъ долго и упорно печать наша не признавала всей силы поэтического значенія Некрасова, и какъ публика сама поняла и полюбила поэта. Некрасовъ занялъ самъ съ бою, безъ союзниковъ, свое настоящее положеніе въ русской литературѣ“.

Такъ писалъ въ 1879 г. С. И. Пономаревъ въ послѣсловіи къ первому посмертному изданію стихотвореній поэта, которое онъ редактировалъ. Въ самомъ дѣлѣ, просматривая три части изданнаго г. Зелинскимъ „Сборника критическихъ статей о Некрасовѣ“ (доведеннаго лишь до 1877 г.), мы видимъ, что въ теченіе почти всѣхъ сороковыхъ годовъ критика наша хранила о поэтѣ глубокое безмолвіе, а за слѣдующее десятилѣтіе появилось всего лишь нѣсколько незначительныхъ отзывовъ, въ одномъ изъ которыхъ Эрастъ Благовровъ писалъ: „Трудно найти стихотворца, который былъ бы меньше поэта, чѣмъ Некрасовъ“. Авторъ другого отзыва, Аполлонъ Григорьевъ, заявлялъ (уже въ 1855 г.), что не находитъ поэзіи въ доселѣ напечатанныхъ стихахъ Некрасова, за исключеніемъ лишь стихотворенія къ падшей женщинѣ („Когда изъ мрака заблужденья...“).

Вышедшее въ 1856 г. первое изданіе стихотвореній Некра-

сова было раскуплено публикой съ изумительной быстротою, но въ печати не вызвало ни одной статьи, ни одной самой коротенькой рецензіи!

Объясняется это, конечно, тѣмъ, что „Современникъ“, отражавшій взгляды и настроеніе молодой Россіи, въ сердцѣ которой стихи Некрасова нашли такой сочувственный откликъ, издавался самимъ поэтомъ, и на страницахъ этого журнала похвала Некрасову не могла найти себѣ мѣста. Одинъ только разъ Добролюбовъ (и то не называя имени Некрасова, хотя имѣя въ виду, очевидно, его) высказалъ мнѣніе, что Пушкинъ, Лермонтовъ и Кольцовъ уже нашли себѣ достойнаго продолжателя... Что касается остальныхъ органовъ печати, то они находились въ рукахъ людей поколѣнія отживающаго, понимавшаго поэзію, прежде всего, какъ служеніе „красотѣ“. Само собой разумѣется, что въ такихъ критикахъ поэзія Некрасова въ лучшемъ случаѣ вызывала недоумѣніе...

Только въ началѣ 60-хъ годовъ, когда свѣжая струя общественности широкимъ потокомъ разлилась по всѣмъ уголкамъ обновленной Россіи, отразившись прежде всего на печати, послѣдняя сразу заговорила о Некрасовѣ, какъ о признанномъ уже „владѣтель сердцевъ“ молодого поколѣнія. Въ это время, какъ бы поддавшись общему энтузіазму, перемѣнили о немъ къ лучшему мнѣніе и наиболѣе искренніе представители поколѣнія старшаго, вроде Ап. Григорьева, который съ восторгомъ отзывался теперь о „народномъ сердцѣ“ Некрасова и о „почвенности“ его поэзіи.

Но, вотъ, схлынула живая волна... „Призванная къ порядку“, русская жизнь опять начала замирать и принимать „благообразный“ видъ. Свѣжіе, молодые голоса замолкли, и это опять не замедлило сказаться на отношеніяхъ критики къ Некрасову. Къ тому же, послѣдній самъ не устоялъ въ этотъ тяжелый періодъ на прежней высотѣ и, поскользнувшись, далъ новую пищу злорадству враговъ; клевета „снѣжнымъ комомъ“ покатила по Руси, по родной... Наиболѣе тяжелымъ и мучительнымъ для Некрасова моментомъ былъ 1869 годъ. Гг. Антоновичъ и Жуковский, недавніе друзья, поддавшись чувству мелкаго, самолюбиваго озлобленія, выпустили противъ Некрасова цѣлую обличительную брошюру, „Матеріалы для характеристики современной русской литературы“, гдѣ, развѣнчивая Некрасова, какъ журналиста и человѣка, пытались подкопаться и подъ его поэзію. „Вамъ такъ же

легко перестроить вашу лиру на совершенно новый лад,—развязно обращался г. Антоновичъ къ Некрасову,—какъ вашему другу (?) г. Краевскому легко промѣнять прежній образъ мыслей на новый; вы съ одинаковымъ увлеченіемъ и искусствомъ можете и восхвалять, и порицать одинъ и тотъ же предметъ, вамъ ничего не стоитъ метать громы гражданского негодованія въ какого-нибудь вельможу, швейцаръ котораго отогналъ отъ его подѣзда „деревенскихъ русскихъ людей“, а завтра рабски льстить ему и прославлять его доблести восторженнымъ мадригаломъ; вамъ нужна только тема, какова бы она ни была, а вы ужъ обработаете ее поэтически...“ Словомъ, отрицались въ поэтѣ всякая искренность, всякое убѣжденіе *).

Нечего и говорить, что, не смотря на искусную и сильную отповѣдь И. А. Рождественскаго, въ томъ же году выпустившаго—безъ вѣдома Некрасова—отвѣтную брошюру „Литературное паденіе гг. Антоновича и Жуковскаго“, во враждебномъ Некрасову литературномъ лагерѣ нападки на него встрѣтили самый радостный пріемъ. Страховъ писалъ въ „Зарѣ“: „Наиболѣе значительная часть нашей печати (либеральная) живетъ одною фальшью,

*) Только въ февралѣ 1903 г. г. Антоновичъ счелъ, наконецъ, нужнымъ и возможнымъ покаяться (въ „Журналѣ для всѣхъ“). «Я откровенно сознаюсь,—пишетъ онъ,—что мы ошиблись относительно Некрасова. Вопреки нашимъ опасеніямъ, онъ снова пошелъ твердымъ и бодрымъ шагомъ по своему прежнему пути... Онъ не измѣнилъ себѣ и своему дѣлу, но продолжалъ вести его горячо, энергично и успѣшно,—за что ему честь, слава и вѣчная память въ лѣтописяхъ русской литературы!»—«Общимъ итогомъ и характеромъ своей поэтической дѣятельности Некрасовъ исполнилъ искупилъ свои недостатки. Его огромныя заслуги во много кратъ превышаютъ и покрываютъ его однократное отреченіе; всею своею дѣятельностью онъ заслужилъ полное всепрощеніе». Признанія довольно—таки запоздалыя, но... лучше поздно, чѣмъ никогда. Отмѣтимъ, кстати, странное пониманіе г. Антоновичемъ (въ той же статьѣ) чисто-поэтическихъ заслугъ Некрасова: «Противъ поэзіи Некрасова раздавались и раздаются только голоса тѣхъ, которые судятъ о ней исключительно съ эстетической точки зрѣнія, или даже не съ общеэстетической, а съ узко-эстетической, исключительно *лирической* точки зрѣнія и которые воображаютъ, не только вопреки литературѣ всѣхъ вѣковъ и народовъ, но и вопреки риторикѣ и пѣтикѣ, будто вся поэзія состоитъ только въ лирикѣ. Некрасовъ не лирикъ (?); слѣдовательно, онъ не поэтъ». Оказывается при этомъ, г. Антоновичъ главнымъ призваніемъ лирики считаетъ воспѣваніе красоты, неземныхъ сферъ и заоблачныхъ высей; сюжеты ея пѣсень должны, по его мнѣнію, непременно быть свѣтлы и жизнерадостны... Удивительное пониманіе лирики!

сознательно и постоянно кривить душою. Не раздается ни одного искренняго; прямого голоса; все лукавитъ, іезуитствуетъ, прислуживается (!), все покорно гнетъ передъ чѣмъ-нибудь или передъ кѣмъ-нибудь свою совѣсть и свои помыслы... Книжка гг. Антоновича и Жуковского представляетъ, очевидно, реакцію. Лжи накопилось столько, что, наконецъ, сознание ея начинаетъ прорываться наружу... Обличеніе Некрасова важно для тѣхъ, кто видѣлъ въ немъ нѣкоторое свѣтило либерализма; но многіе, и давно уже, смотрѣли иначе. Самые стихи Некрасова, въ которыхъ такъ много говорится о народныхъ страданіяхъ, давно уже, не смотря на ихъ несомнѣнныя замѣчательныя достоинства, признаны (?) не выражающими полного сочувствія народу, не проникнутыми его дѣйствительнымъ пониманіемъ. Это—сатиры, карикатуры, изліянія хандры и желчи, и лишь изрѣдка правдивыя и неискаженные картины“ (въ качествѣ примѣра того, „какъ мало сходится Некрасовъ съ народомъ въ своихъ сочувствіяхъ и воззрѣніяхъ“, Страховъ указывалъ на пожеланіе поэта, чтобы русскій народъ понесъ съ базара Бѣлинскаго и Гоголя!).

Въ томъ же 69 г. выступилъ съ своими „разоблаченіями“ Тургеневъ, опубликовавшій въ „Вѣстникѣ Европы“ извѣстныя письма Бѣлинскаго... А вслѣдъ затѣмъ тотъ же Тургеневъ, раздраженный недостаточно почтительнымъ, по его мнѣнію, отзывомъ „Отеч. Записокъ“ о поэзіи Полонскаго, выступилъ въ „С.-Петерб. Вѣдомостяхъ“ съ открытымъ письмомъ, въ которомъ говорилось: „Я убѣжденъ, что любители русской словесности будутъ перечитывать лучшіе стихи Полонскаго, когда самое имя г. Некрасова покроется забвеніемъ. Почему же это? А просто потому, что въ дѣлѣ поэзіи живуча только одна поэзія, и что въ бѣлыми нитками сшитыхъ, всякими пряностями приправленныхъ, мучительно высиженныхъ измышленіяхъ „скорбной“ музы г. Некрасова ея-то, поэзія-то, и нѣтъ на грошъ“.

И такіе отзывы, къ стыду русской литературы, нигдѣ не вызвали въ свое время рѣзкаго, негодующаго отпора,—опять-таки, быть можетъ, потому, что всѣ наиболѣе свѣжія литературныя силы группировались вокругъ „От. Зап.“, во главѣ которыхъ стоялъ самъ Некрасовъ. Даже въ серединѣ 70-хъ годовъ не въ рѣдкость было встрѣтить на страницахъ журналовъ недѣльное мнѣніе, будто Некрасовъ пріобрѣлъ себѣ значеніе въ родной литературѣ „только оригинальными, новыми мотивами, а отнюдь не силой и глубиной

содержанія“; или даже—будто „поззія Некрасова вырабатывалась въ либеральныхъ редакціяхъ и служила постоянно какъ бы иллюстраціей направлений, попеременно господствовавшихъ въ известной части журналистики“. О поэмѣ „Кому на Руси жить хорошо“ одинъ критикъ писалъ (и тоже нигдѣ не встрѣтилъ отпора): „поэма эта принадлежитъ къ такимъ, о которыхъ гораздо пріятнѣе было бы хранить молчаніе“.

Слухи о тяжелой болѣзни поэта и послѣдовавшая затѣмъ, въ концѣ 77 г., смерть его вызвали настоящій взрывъ непритворной скорби въ обществѣ и въ молодежи,—тотчасъ же смолкли и всё враждебные голоса въ печати; со страницъ газетъ и журналовъ въ теченіе цѣлаго года не сходили сочувственныя некрологическія статьи и разборы стихотвореній Некрасова; вышли и отдѣльные сборники, посвященные памяти поэта... Но уже въ 78 г., на столбцахъ либерально-буржуазнаго „Голоса“ возобновлено было въ самой рѣзкой формѣ нападеніе: появились, въ пяти огромныхъ фельетонахъ, на шумѣвшія въ свое время „Критическія бесѣды“ Евгенія Маркова... Эти широковыщательныя бесѣды, якобы безпристрастно отмѣчавшія недостатки и достоинства некрасовской поэзіи, а, въ сущности, стремившіяся доказать ея ничтожество и эфемерность, имѣли большой успѣхъ въ тѣхъ кругахъ общества и литературы, которые и до того съ плохо скрываемою непріязнью относились къ необычайной популярности Некрасова. Марковъ задалъ тонъ и собралъ матеріалъ, можно сказать, для всей послѣдующей отрицательной критики, и отзвуки его „Бесѣдъ“ явственно слышались даже двадцать лѣтъ спустя, въ двадцатилѣтнюю годовщину смерти поэта. Мы думаемъ, не мѣшаетъ поэтому (особенно въ виду того, что „Голосъ“ представляетъ теперь библиографическую рѣдкость) изложить съ нѣкоторой подробностью критику Евгенія Маркова.

Некрасовъ,—утверждаетъ критикъ „Голоса“,—поэтъ предшествовавшей освобожденію крестьянъ эпохи. Проникнутый сознаніемъ коренного общественнаго зла, онъ видитъ роковую безобразность даже въ сферахъ жизни, повидимому, не имѣющихъ связи съ крѣпостнымъ бытомъ. У читателя получается впечатлѣніе какого-то предвзятаго намѣренія не останавливаться ни на какихъ другихъ явленіяхъ міра, кромѣ излюбленныхъ (?) авторомъ. Преувеличеніе, неестественность, надутость, сентиментальность и риторика—роковыя послѣдствія такой односторонности...

Этимъ поэтъ вызываетъ и несочувствіе читателя къ той самой средѣ, которая выставляется жертвою безобразія... Защищая русскій народъ противъ Некрасова, Марковъ въ качествѣ примѣра приводитъ стихотвореніе „Родину“, гдѣ, будто бы, чудовищно-невѣрно утвержденіе, что русскіе крѣпостные „завидовали житью послѣднихъ барскихъ псовъ“.. „Кто, напримѣръ, узнаетъ,—патетически восклицаетъ критикъ,—ту охоту, которая обыкновенно наполняла радостью удали не только охотника-барина, но и псарей его, и лошадей, и собакъ (какова собачья идиллія! П. Я.), въ невѣрной и мрачной картинѣ „Псовой охоты“ Некрасова? „Лира“ Некрасова—вообще патологическая лира: пѣсни „О погодѣ“, напримѣръ, не столько поэзія, сколько „воркотня досужаго капризника“... Изображенія народнаго быта, народной души и даже народная рѣчь въ его стихахъ полны фальши, неискренности и тенденціозности. Многочисленные примѣры, приводимые Евгеніемъ Марковымъ, мы опустимъ; упомянемъ лишь объ одномъ, которымъ критики Некрасова пользуются охотно и донинѣ. Въ стихотвореніи „Тишина“, говоря объ окончаніи Крымской войны, поэтъ прибѣгаетъ къ такому образу: *„Прибитая къ землѣ слезами рекрутскихъ женъ и матерей, пыль не стоитъ уже столбами надъ бѣдной родиной моею“*. Г. Андреевскій, слѣдуя примѣру Маркова, подсмѣивался: „Этотъ невообразимый дождь, освѣжившій большую дорогу, совершенно нестерпимъ“ („Литер. Чтенія“ 1891 г.). Между тѣмъ, прекрасная и сильная, на нашъ взглядъ, метафора Некрасова становится вполне понятной, если взять ее въ связи съ слѣдующими стихами изъ той же „Тишины“:

... Надъ Русью безмятежной
 Возсталъ немолчный скрипъ тележный,
 Печальный, какъ народный стонъ;
 Русь поднялась со всѣхъ сторонъ,
 Все, что имѣла, отдавала
 И на защиту высылала
 Со всѣхъ проселочныхъ путей
 Своихъ покорныхъ сыновей...

Какъ извѣстно, изъ этихъ „покорныхъ сыновей“ лишь „немногіе вернулись съ поля“, и поэтъ имѣлъ полное основаніе сравнить съ потоками дождя слезы, пролитые рекрутскими женами и матерями... Казалось бы, надъ чѣмъ тутъ зубоскалить?...

Некрасову по плечу,—продолжаетъ Марковъ,—только сказоч-

ное геройство, баснословный идиотизмъ, голубиное смиреніе, кровожадность тигра. Онъ не постигаетъ среднихъ типовъ *). Искреннимъ мыслителемъ-поэтомъ и безпристрастнымъ наблюдателемъ-художникомъ онъ бываетъ только одинъ часъ изъ десяти натянутого и выдуманнаго сочинительства. Вина всего этого—жизнь въ кружкахъ, которые дѣйствовали не путемъ поэтическаго и художественнаго воспитанія общества, а—логическаго убѣжденія, научнаго знанія, практическихъ интересовъ... Подъ вліяніемъ кружковъ, Некрасовъ поднялъ знамя тенденціозной поэзіи, но, какъ все выдуманное, насильственное, какъ всякій ублюдокъ, она осуждена остаться безъ потомства: „лишенная одушевляющаго огня и искренности, какъ можетъ она холодными процедурами своего творчества зажечь божественную искру въ новомъ организмѣ?..“

Некрасовъ, по мнѣнію Маркова, до того тенденціозенъ, до того свыкъ съ необходимостью громить крѣпостное право, что чуть ли не готовъ отрицать самый фактъ освобожденія (игривая мысль, которую охотно повторяли потомъ гг. Андреевскіе, Платоны Красновы и имъ подобные). Некрасовъ былъ поэтомъ исключительно отрицанія, отрицаніе же есть только преходящій моментъ. Въ творческомъ духѣ поэта были скудны элементы любви (!)... „Побольше любви!“—въ заключеніе укоризненно наставляетъ Марковъ Некрасова, а кстати ужъ и „родственнаго ему“ Щедрина, умѣвшаго только „отрицать“ и совсѣмъ не умѣвшаго любить...

Тому, кто знаетъ Некрасова и Щедрина, конечно, нечего разяснять, какъ много самодовольной узости и приторной фальши скрывалось въ этихъ „либеральныхъ“ назиданіяхъ!

За послѣднія двадцать лѣтъ въ критикѣ появилось мало новаго и интереснаго о некрасовской поэзіи. Слѣдуетъ отмѣтить

*) Некрасовъ изображается здѣсь, какъ ультра-романтикъ. Но вся поэзія его, глубоко-реальная и правдивая, служитъ краснорѣчивымъ опроверженіемъ такого мнѣнія. Упомянемъ лишь объ одной сторонѣ некрасовской поэзіи, которой до сихъ поръ намъ не пришлось коснуться. Это—любовная лирика. У поэтовъ предшествовавшихъ, не исключая Пушкина и Лермонтова, любовь изображается всегда въ праздничные ея моменты, являясь какъ бы принаряженной и приподнятой; Некрасовъ перенесъ любовь съ неба на землю, въ обстановку будничныхъ, реальныхъ человѣческихъ отношеній; онъ рисуетъ чувства людей именно средняго, а не героическаго типа.

развѣ упомянутую уже статью г. Андреевскаго, въ которой, быть можетъ, много злого остроумія и красивыхъ софизмовъ, но конечный выводъ которой таковъ: „Вкладъ Некрасова въ вѣчную сокровищницу поэзіи гораздо меньше его славы, его имени“.

Съ середины 80-хъ годовъ, когда въ литературѣ повѣяло замѣтнымъ охлажденіемъ къ мужику, къ народу,—и имя Некрасова все рѣже и рѣже стало мелькать на страницахъ журналовъ. Выплыли на сцену вопросы личнаго совершенствованія, личной морали; шумно прокатилась мишурная волна „эстетическаго идеализма“ и доморощеннаго декадентства... Увлеченіе марксизмомъ обѣщало, казалось, значительное отрезвленіе,—возвратъ искусства къ реализму, къ социальнымъ интересамъ, хотя и съ перенесеніемъ центра вниманія съ мужика на городского пролетарія; но тутъ случилось нѣчто странное и неожиданное: марксизмъ въ собственномъ, безпримѣсномъ его видѣ почти нисколько не отразился въ нашей художественной литературѣ и въ художественной критикѣ... Заявляли о себѣ и шумѣли одни только марксисты „не настоящіе“, марксисты-индивидуалисты, марксисты-ничшеанцы, марксисты-символисты... Эти господа, понятно, не могли любить Некрасова съ его простой, безхитростной поэзіей, чуждой всякихъ современныхъ кривляній и вычуръ!

Къ счастью, движеніе впередъ, въ сторону все большей демократизаціи литературы и искусства, продолжается безостановочно и непрерывно, и видимые зигзаги и отступленія въ нашемъ общественномъ развитіи не имѣютъ въ послѣднемъ счетѣ особеннаго значенія. Литература у насъ не впервые отстаетъ отъ жизни, и судить о вкусахъ и настроеніи наиболѣе бодрыхъ и жизненныхъ круговъ общества по мнѣніямъ гг. Андреевскихъ, Мережковскихъ, Бердяевыхъ et tutti quanti,—было бы совершенно неосновательно. Некрасовъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть названъ забытымъ и отжившимъ свое время поэтомъ. Стихотворенія его, довольно дорогія по цѣнѣ, раскупаются съ прежней, если не большей быстротою. Но если бы даже на „верхахъ“ нашей много всякихъ видовъ издавшей интеллигенціи, и дѣйствительно, можно было подмѣтить нѣкоторое охлажденіе къ музѣ мести и печали, то жизнь съ каждымъ днемъ все замѣтнѣе выдвигаетъ впередъ новаго, свѣжаго читателя, могучаго какъ своей численностью, такъ и всепобѣждающей вѣрой въ торжество свѣта и правды. Не сегодня—завтра этотъ новый читатель за-

полнить всю жизненную сцену, и никакого сомнѣнія не можетъ быть въ томъ, что для Некрасова онъ явится „читателемъ другомъ“.

Какъ ночные призраки, разлетятся тогда и растають туманомъ всѣ современные „символизмы“, поиски „новой красоты“ и „новыхъ настроеній“. Жажда правды—вотъ настроеніе, которое одно имѣетъ подъ собой твердую почву. Свѣтлое и широкое будущее предстоитъ, поэтому, „музѣ мести и печали“, не устававшей твердить:

Пушай намъ говорить измѣнчивая мода,
Что тема старая—страданія народа,
И что поэзія забыть ее должна,—
Не вѣрьте, юноши: не старѣетъ она!

IX.

Объ изданіяхъ Некрасова.

Не знаемъ, въ какомъ числѣ экземпляровъ выпускались каждый разъ стихотворенія Некрасова при жизни поэта, но за двадцать лѣтъ времени (1856—1877) они выдержали шесть послѣдовательныхъ тиражей. Въ 1902 году вышло уже восьмое *посмертное* изданіе, отпечатанное въ 20 тыс. экземпляровъ. Первое посмертное, вышедшее въ свѣтъ въ февралѣ 1879 г. въ 6000 экз., разошлось въ два года, а въ 1881—1882 гг. выпущены были, одно за другимъ, два дешевыхъ компактныхъ изданія, каждое по 10 тыс. экземпляровъ. То и другое распродано было съ изумительной быстротой... Цѣна слѣдовавшихъ затѣмъ изданій была, къ сожалѣнію, повышена съ 3 до 5 рублей; но и они всѣ долго не залеживались, не смотря на то, что печатались въ 10—15 т. экз. каждое. Такимъ образомъ, въ общемъ, за четверть вѣка, протекающую со дня смерти Некрасова, было выпущено около *ста тысячъ* экземпляровъ его книги, и если принять въ расчетъ, съ одной стороны, ея сравнительно высокую цѣну (въ 2½ раза превышающую цѣну, напр., стихотвореній Надсона), съ другой—прискорбно-продолжительный и лишь въ самое недавнее время, по счастью, окончившійся отливъ вниманія въ русскомъ обществѣ къ долѣ народной массы, то цифра эта представится довольно-таки внушительной...

Очевидно, широкіе круги читающей публики не перестаютъ

питать горячій интересъ къ поэту, надъ гробомъ котораго раздавались восторженные молодые голоса: „Онъ выше, выше Пушкина и Лермонтова!“

„Года минули, страсти улеглись“. Для Некрасова настала уже судъ потомства... Никто, вѣроятно, не скажетъ теперь, что онъ „выше“ Пушкина и Лермонтова, но за то, думаемъ, никто, кромѣ опалѣлыхъ декадентовъ, не раздѣлитъ и мнѣнія знаменитаго художника, „друга юности“, а потомъ „врага“ поэта, несправедливо утверждавшаго, будто „поэзія даже и не почевала въ его стихахъ“; никто не рѣшится теперь назвать эту поэзію гнѣва и печали явленіемъ эфемернымъ, фальшивымъ и дутымъ (мнѣніе, которое не разъ, въ пылу партіозныхъ увлеченій, высказывалось современными Некрасову критиками). Лишь немногіе въ настоящее время не согласятся, что изъ всего легіона русскихъ поэтовъ XIX вѣка одинъ только Некрасовъ по праву можетъ стать рядомъ съ Пушкинымъ и Лермонтовымъ, какъ въ смыслѣ общественнаго значенія своей лирики, такъ и энергіи и силы поэтического вдохновенія.

Къ сожалѣнію, тѣ, кто является посредникомъ между обществомъ и писателемъ, издатели сочиненій Некрасова, заботились все время лишь о собственномъ преуспѣяніи и ровно ничего не сдѣлали, съ своей стороны, для того, чтобы связь между публикой и ея любимымъ поэтомъ росла и крѣпла. Конечно, слова эти не относятся къ давно уже покойной сестрѣ поэта, Аннѣ Алексѣевнѣ Буткевичъ, подъ наблюденіемъ которой вышло первое посмертное изданіе стихотвореній (въ 1879 г.),—изданіе, во всѣхъ отношеніяхъ замѣчательное, сдѣланное любящей и умѣлой рукой. Главное достоинство его составляли обширныя и въ высшей степени цѣнныя примѣчанія С. И. Пономарева, въ основу которыхъ положены были собственноручныя замѣтки поэта, сдѣланныя имъ на поляхъ авторскаго экземпляра предыдущаго изданія стихотвореній. Г. Пономаревъ руководился слѣдующимъ справедливымъ соображеніемъ: „О стихахъ такого жизненнаго содержанія, какъ некрасовскіе, весьма интересно было бы знать многое—и поводы, по которымъ написаны пьесы, и лица, которыхъ очерчиваетъ поэтъ, и то впечатлѣніе, которое возбуждали его произведенія въ нашемъ обществѣ, въ нашей журналистикѣ въ минуту своего появленія и пр. Но вполне удовлетворить этимъ требованіямъ пока невозможно“. Въ настоящее время не-

возможность эта, по всей вѣроятности, значительно уменьшилась, а между тѣмъ—позднѣйшіе издатели Некрасова не только не расширили примѣчаній С. И. Пономарева, но даже и совсѣмъ ихъ устранили... Въ началѣ это сдѣлано было подѣ предлогомъ экономіи мѣста въ дешевомъ однотомномъ изданіи, но потомъ, съ возвратомъ къ изданію дорогому (двухтомному) и переходомъ его въ собственность г. Суворина, „примѣчанія“ были просто забыты... И не вспоминаютъ о нихъ вотъ уже двадцать лѣтъ! Къ чему? Вѣдь книжка и безъ того хорошо расходуется...

Съ той же цѣлью удешевленія, біографія Некрасова, составленная г. Скабичевскимъ, была сокращена въ 1881 году до одной трети, т. е. до блѣднаго краткаго перечня всѣмъ извѣстныхъ фактовъ, и въ такомъ видѣ, безъ малѣйшаго измѣненія, преподносится читателю и до нашихъ дней...

„При всемъ стараніи сдѣлать новое изданіе какъ можно болѣе достойнымъ памяти покойнаго поэта,—писала сестра его въ предисловіи къ изданію 1879 г.,—я не считаю себя вполнѣ достигшею предполагаемой цѣли: *иное было невозможно по недостатку времени, многое оказывалось пока несвоевременнымъ*“.

Ни тѣмъ, ни другимъ мотивомъ г. Суворинъ не могъ бы въ настоящее время отговориться, а между тѣмъ—за столько лѣтъ владѣнія духовнымъ наслѣдствомъ знаменитаго поэта—онъ не только не „старался“ сдѣлать новыя изданія „болѣе достойными его памяти“, но сдѣлалъ ихъ, по сравненію съ изданіемъ 1879 г., положительно менѣе достойными. Въ дѣлѣ изученія текста стихотвореній Некрасова, возстановленія стиховъ, замѣненныхъ точками или искаженныхъ въ угоду „независящимъ обстоятельствамъ“, а также розысканія новыхъ, не напечатанныхъ при жизни поэта пьесъ,—не говоримъ уже о корреспонденціи Некрасова,—имъ ровно ничего не сдѣлано, не смотря на прямое и категорическое утвержденіе А. А. Буткевичъ (а она ли ужъ не знала истиннаго положенія вещей?), что „многое“ оставалось еще сдѣлать... Досадно подумать, что упущено двадцать лучшихъ лѣтъ: сколько рукописей, стихотвореній, вариантовъ могло безслѣдно затеряться за этотъ промежутокъ времени!

Но г. Суворинъ можетъ, пожалуй, указать въ свое оправданіе на первую же страницу I-го посмертнаго изданія, гдѣ поэтъ яснымъ русскимъ языкомъ проситъ своихъ наслѣдниковъ *ничего*, кромѣ указаннаго *имъ* самимъ, не перепечатывать послѣ его смерти.

Справедливо; нужна только маленькая поправка. „Завѣщаніе“ это написано Некрасовымъ еще въ 1864 году и, естественно, должно относиться лишь къ стихамъ, сочиненнымъ до этого года, главнымъ же образомъ—къ сборнику „Мечты и Звуки“ и другимъ, большею частью неудачнымъ, стихотворнымъ опытамъ 1838—1844 г. Если распространить смыслъ некрасовскаго распоряженія и на весь послѣдующій періодъ (1864—1877), то придется, напр., назвать самоуправствомъ поступокъ Салтыкова, черезъ три года послѣ смерти поэта напечатавшаго въ „Отеч. Зап.“ его поэму „Пиръ на весь міръ“, которую при жизни автора цензура не соглашалась пропустить. Повидимому, такъ именно и разсуждаетъ г. Суворинъ: и до сихъ поръ не перепечатывалъ бы онъ этой поэмы въ „Собраніяхъ стихотвореній“, если бы его не предупредила сестра поэта, успѣвшая, незадолго до смерти, распорядиться внесеніемъ „Пира на весь міръ“ въ первое дешевое изданіе... По крайней мѣрѣ, всѣ новыя стихотворенія Некрасова, опубликованныя позже, г. Суворинъ упорно не удостоиваетъ вниманія. Изъ такихъ стихотвореній намъ извѣстны пять слѣдующихъ:

I *).

Время-то есть, да писать нѣтъ возможности.
 Мысль убивающій страхъ—
 Не перейти бы границъ осторожности—
 Голову держать въ тискахъ!
 Утромъ мы наше село посѣщали,
 Гдѣ я родился и взросъ.
 Сердце, подвластное старой печали,
 Сжалось, въ умѣ шевельнулся вопросъ:
 Новое время—свободы, движенія,
 Земства, желѣзныхъ путей...
 Что жъ я не вижу слѣдовъ обновленія
 Въ сѣдной отчизнѣ моей?
 Тѣ же напѣвы, тоску наводящія,
 Съ дѣтства знакомые намъ,
 И о терпѣніи новомъ молящія
 Тѣ же попы по церквамъ.
 Въ жизни крестьянина, нынѣ свободнаго,
 Бѣдность, невѣжество, мракъ.
 Гдѣ же ты, тайна довольства народнаго?
 Воронъ въ отвѣтъ мнѣ прокаркалъ: «дуракъ!»

*) Автографъ хранится въ бумагахъ сенатора Лпхачева.

Я обругалъ его грубымъ невѣжею.
 На телеграфную нить
 Онъ пересѣлъ... «Не доносъ ли депешю
 Хочетъ въ столицу пустить?»
 Глупая мысль, но я, долго не думая,
 Мѣтко прицѣлился. Выстрѣлъ гремитъ:
 Падаеть замертво птица угрюмая,
 Нить телеграфа дрожить...

II **).

Вамъ, мой даръ любившимъ и цѣнившимъ,
 Вамъ, ко мнѣ участіе заявившимъ
 Въ черныи годъ, простертый надо мной,
 Посвящаю трудъ послѣдній мой!
 Я примѣру русскаго народа
 Вѣренъ: *оъ юръ жить—*
 Некручинну быть,—
 И, больной, работаю полгода.
 Я трудомъ смягчаю свой недугъ:
 Ты не будешь строгъ, читатель-другъ!

III **).

Смогли честные, доблестно павшіе,
 Смогли ихъ голоса одинокіе,
 За несчастный народъ вопіявшіе...
 Но разнузданы страсти жестоки!
 Вихорь злобы и бѣшенства носится
 Надъ тобою, страна безотвѣтная:
 Все живое, все честное косится...
 Слышно только, о ночь неразсвѣтная,
 Среди мрака, тобою разлитого,
 Какъ враги, торжествуя, скликаются...
 Такъ на трупъ великана убитаго
 Кровожадные птицы слетаются,
 Ядовитые гады сползаются!

IV **).

Вчерашній день, часу въ шестомъ,
 Зашелъ я на Сѣнную:

*) Автографъ подаренъ былъ поэтомъ студентамъ петербургскаго университета, и въ настоящее время хранится за стекломъ въ университетской библіотекѣ.

**) Подлинникъ затерялся, но сохранилось нѣсколько тождественныхъ списковъ. (См. «Р. Б.» 1898, № 8, «Итоги двухъ юбилеевъ»).

***) Записано со словъ поэта артистомъ М. И. Писаревымъ.

Тамъ били дѣвушку кнутомъ,
 Крестьянку молодую.
 Ни звука изъ ея груди,
 Лишь бичъ свисталъ, играя..
 И Музѣ я сказалъ: «Гляди—
 Сестра твоя родная!»

V.

Средь міра дольнаго
 Для сердца вольнаго
 Есть два пути:
 Възвѣсь силу гордую,
 Възвѣсь волю твердую—
 Какимъ идти.
 Одна просторная
 Дорога—торная..
 Страстей раба,
 По ней громадная,
 Къ соблазну жадная,
 Идетъ толпа.
 О жизни искренней,
 О цѣли высшей
 Тамъ мысль смѣшна;
 Кипитъ тамъ вѣчная
 Безчеловѣчная
 Вражда-война
 За блага бранныя;
 Тамъ души плѣнныя
 Полны грѣха;
 На видъ блестящая,
 Тамъ жизнь мертвящая
 Къ добру глуха..
 Другая, тѣсная,
 Дорога честная.
 По ней идутъ
 Лишь души сильныя,
 Любвеобильныя
 На бой, на трудъ
 За угнетеннаго,
 За обойденнаго..
 Умножь ихъ кругъ,
 Иди къ униженнымъ,
 Иди къ обиженнымъ
 И будь имъ другъ!

Сокращенный вариантъ послѣдней пѣсни извѣстенъ по печатному тексту поэмы „Ширъ на весь міръ“; но и вся поэма эта

печатается до сихъ поръ въ значительно измѣненномъ и сокращенномъ видѣ, съ непонятными пропусками такихъ, напр., пѣсенъ, какъ „Бѣденъ, нечесанъ Калинушѣ“, или „Кушай тюрю, Яша, молочка-то нѣтъ“... Напомнимъ еще, что, по указанію покойнаго Гербеля (см. посмертное изданіе 1879 г., т. IV, стр. CXLVI), Некрасовъ собирался передъ самой смертью взять для новаго изданія своихъ стихотвореній пять юмористическихъ пьесъ изъ „Свистка“, до сихъ поръ остающихся тамъ погребенными. Наконецъ, не слѣдовало бы, по нашему мнѣнію, пропускать и двухъ предсмертныхъ стихотвореній, имѣющихся въ „Примѣчаніяхъ“ С. И. Пономарева, а теперь всѣми забытыхъ: „Пускай чуть слышенъ голосъ твой“ и пѣсни изъ вновь задуманной главы „Кому на Руси жить хорошо“.

Нельзя, въ заключеніе, не посѣтовать на дороговизну изданія, которую, право, не грѣшно бы уменьшить, по крайней мѣрѣ, въ полтора раза... При пятирублевой цѣнѣ надолго еще сохранять свою силу горькія слова поэта:

Тотъ, о комъ пою въ вечерней тишинѣ,
Кому посвящены мечтанія поэта,—
Увы! не внемлетъ онъ и не даетъ отвѣта...

Чудеса „вседневнаго міра“.

Оглянись—и міръ вседневный
Многоцвѣтенъ и чудесенъ.
А. Фетъ.

Въ 1901 году вышло въ свѣтъ, въ изданіи г. Маркса, „Полное собраніе стихотвореній А. А. Фета“, въ трехъ томахъ. Какъ заявляется въ предисловіи, изданіе это, „оставаясь общедоступнымъ по назначенію, по виѣшности (?) и цѣнѣ (5 р.), все же имѣетъ въ виду удовлетворить по возможности и взыскательнымъ требованіямъ научной критики, какъ относительно точности текста и полноты собранія, такъ и въ отношеніи хронологическихъ указаній“.

Задача похвальная; но, къ сожалѣнію, пониманіе редакторомъ изданія, Б. В. Никольскимъ, требованій научной критики оказывается весьма своеобразнымъ. Такъ, въ новомъ изданіи стихотворенія размѣщены въ столь удивительномъ, прямо фантастическомъ порядкѣ, что для разъясненія идеи и плана этого quasi-порядка понадобилась цѣлая дюжина страницъ,—и, однако, не смотря на всѣ краснорѣчивыя разсужденія о „клубахъ“ и „окраинахъ“ фетовскаго творчества“, научная критика, и не очень даже взыскательная, врядъ ли почувствуетъ себя „удовлетворенной“. Довольно сказать, что стихи Фета раздѣлены почтеннымъ редакторомъ на 88 (шутка сказать!) отдѣловъ, съ особыми названіями для каждого, красующимися на отдѣльныхъ бѣлыхъ листкахъ; а нерѣдко новому отдѣлу предшествуютъ и два бѣлыхъ листа: на одномъ выписано общее заглавіе отдѣла (положимъ—„Сердце“), на другомъ стоитъ лишь римская цифра I въ обозначеніе того, что это первый подъ-отдѣлъ, за которымъ послѣдуютъ еще и другія части... „сердца“. Далѣе идутъ: „Грезы“, „Сны“, „Безсон-

ница“, „Природа“, „Снѣга“, „Звѣзды“, „Море“ (это уже не природа?) и т. д., и т. д. Почему бы не помѣстить еще отдѣловъ: „Лужи“ и „Ледяныя Сосульки“?.. Благодаря такой оригинальной системѣ, въ трехъ томахъ „Полнаго собранія“ публика получаетъ 196 страницъ чистой бумаги!

Что касается хронологіи, то, казалось бы, чего естественнѣе (разъ уже стихи размѣщены въ произвольномъ порядкѣ) отмѣчать время написанія каждой пьесы подъ ея текстомъ? Въмѣсто этого, г. Никольскій заставляетъ читателя, ни въ малой даже мѣрѣ не задающагося цѣлями научной критики, а просто лишь любопытствующаго узнать, въ какомъ году сочинена Фетомъ та или другая пьеска, продѣлывать сложную и довольно-таки запутанную процедуру. Положимъ, во II томѣ вы заинтересовались крошечнымъ стихотвореніемъ „Сонъ“ (6 строчекъ). Просмотрѣвъ весь этотъ томъ, заглянувъ и въ первый и убѣдившись, что въ нихъ нигдѣ не указана дата стихотворенія, вы переносите свои поиски въ заключительный томъ изданія (третій) и здѣсь, къ удовольствію своему, дѣйствительно, находите „Хронологическій указатель“. Но вотъ задача: какъ къ нему подступить? Оказывается, указатель занимаетъ ни много, ни мало—35 страницъ мелкаго шрифта, и стихи расположены въ немъ не въ алфавитномъ порядкѣ, а по годамъ написанія; слѣдовательно, для того, чтобы найти интересующее васъ стихотвореніе, вы должны... предварительно знать, когда оно написано! Перелистывая въ уныніи страницу за страницей, вы, однако, открываете, что г. Никольскій предвидѣлъ затрудненіе и въ томъ же III томѣ помѣстилъ и „Алфавитный указатель“. Благодареніе Богу! Здѣсь вы находите:

Сонъ. Снился берегъ мнѣ скалистый... II, 70, № 343.

На минуту вы опять становитесь втупикъ: что сей сонъ означаетъ?.. Но—счастливая догадка!—бросаетесь обратно въ „Хронологическій указатель“. Тутъ, подъ № 343, въ числѣ другихъ 42 №№, стихотвореніе „Сонъ“, дѣйствительно, оказывается занесеннымъ въ рубрику „4 января 1854 года“. Наконецъ-то!..

„Научная критика“ могла бы, пожалуй, замѣтить еще, что не могъ же Фетъ 4 января 1854 г. написать сорокъ два стихотворенія, но простой читатель не станетъ придирается, по горло довольный и тѣмъ, что его хожденія по многочисленнымъ канцеляріямъ и столамъ увѣнчались, въ концѣ концовъ, успѣхомъ; за

то въ другой разъ онъ врядь ли ужъ захочетъ любопытствовать... Да и къ чему? Г. Никольскій приводитъ мудрое соображеніе, что у такого поэта, какъ Фетъ, хронологія почти не имѣетъ значенія: большинство его стиховъ отлично-де могло бы быть написано въ любой странѣ и даже въ любомъ вѣкѣ. Но тогда для чего же почтенный редакторъ и огородъ городилъ?..

Мы уже видѣли, что изъ трехъ томовъ „Полнаго собранія“ добрый томъ составилъ изъ чистой бумаги; но еще больше занимаютъ въ немъ мѣста плохіе переводы (изъ двадцати слишкомъ иностранныхъ поэтовъ), обширный отдѣлъ совершенно непэтическихъ одъ и посланій, а также огромное количество неуклюжихъ и искусственныхъ виршей, написанныхъ Фетомъ въ старости, когда, подъ вліяніемъ чтенія Шопенгауэра и поддаваясь лести окружающихъ, онъ пытался создать нѣчто глубокомысленное и проникновенное. Въ старости онъ писалъ, напримѣръ, такіе стихи (какъ бы пародируя свое же знаменитое „Шопоть, робкое дыханье“):

Это утро, радость эта,
 Эта мощь и дѣя, и свѣта,
 Этотъ синій сводъ,
 Этотъ крикъ и вереницы (?),
 Эти стаи, эти птицы,
 Этотъ говоръ водъ,
 Эти ивы и березы,
 Эти капли, эти слезы,
 Этотъ пухъ—не листь,
 Эти горы, эти доли,
 Эти мошки, эти пчелы,
 Этотъ зыкъ и свистъ (?),
 Эти зори безъ затмѣнья,
 Этотъ вздохъ ночной селѣнья,
 Эта ночь безъ сна,
 Эта мгла и жаръ постели,
 Эта дробь (?) и эти трели,
 Это все—весна!..

Конечно, этотъ фокусный наборъ словъ и образовъ не только къ поэзій, но даже и къ грамматикѣ имѣетъ весьма малое отношеніе; и, тѣмъ не менѣе, благодаря усиліямъ г. Никольскаго, такимъ стихотворнымъ мусоромъ завалены теперь лучшія произведенія фетовской музы. по справедливости признаваемая украшеніемъ русской лирики.

Но у г. Никольскаго свой оригинальный взглядъ на то, что мы называемъ мусоромъ. „Извѣстно,—говоритъ онъ,—какъ медленно росла слава Фета среди непогоды *площадного недоброжелательства* (курсивъ вездѣ нашъ. П. Я.), и какъ постепенно даже теперь расширяется кругъ ея завоеваній. Какъ ни безслѣдно растаетъ со временемъ предубѣжденіе читателей противъ Фета, оно до сихъ поръ еще существуетъ, и до сихъ поръ еще приходится съ нимъ считаться... тщательно остерегаясь, чтобы слабости *великаго лирика* не заслоняли въ глазахъ предубѣжденія великихъ его достоинствъ. Приходится прежде всего раскрыть *все безпредѣльное глубокомысліе, всю мощь и богатство идейнаго содержанія его поэзіи*, чтобы съ первыхъ же страницъ читателю становилась очевидной нелѣпость мнѣнія объ отсутствіи въ ней мысли, о бѣдности ея содержанія.“

Вотъ почему новое изданіе начинается съ стихотвореній Фета позднѣйшаго періода. „Пѣсни молодости“,—по мнѣнію г. Никольскаго,—„лишь эпизодъ въ дѣятельности Фета, лишь проба пера, *почти безсознательное проявленіе того, что безсознательно и твердо выражено имъ въ стихахъ старости*“. Последніе—„глубокомысленнѣ“, въ нихъ ярче просвѣчиваетъ „величіе поэта-философовъ“ (такимъ громкимъ титуломъ награждаетъ г. Никольскій своего любимца). „Изъ всѣхъ лирическихъ поэтовъ, доселѣ жившихъ (!!), ни одинъ до такой степени не сумѣлъ усвоить чисто-философскій духъ и остаться при томъ поэтомъ“.—„Этотъ великій художникъ—какое-то золотое звено, связующее красоту съ истиною, золотой мостъ между философіей и поэзіей“. Этого мало: „Фетъ до такой степени поэтъ будущаго, что съ полнымъ правомъ могъ бы во главѣ своихъ стихотвореній поставить знаменитыя слова Шопенгауэра: черезъ головы современниковъ передаю мой трудъ грядущимъ поколѣніямъ“.

Къ удовольствію нашему, споръ на эту тему является лишнимъ по той простой причинѣ, что въ той же панегирической статьѣ г. Никольскій такъ искусно самъ себя уничтожаетъ, что лучшаго и пожелать ничего нельзя. А именно, онъ пишетъ: „Его (Фета) стихотворенія требуютъ долгаго и вдумчиваго изученія. *Его замыселъ нужно высматривать, какъ папоротникъ въ Иванову ночь... Музу Фета приходится почти только угадывать по его произведеніямъ, какъ Золушку по башмачку*“. Г. Никольскій охотно признаетъ, что это большой недостатокъ: „то, что оправ-

дываетъ иной разъ въ глазахъ читателя недостатки изложенія у философовъ, не можетъ служить извиненіемъ художнику слова“.

Мы скажемъ больше: это есть лучшее доказательство того, что Фетъ-философъ—не поэтъ! Истинная поэзія легко овладѣваетъ умомъ и чувствомъ читателя, а если нужно покрыться седьмымъ потомъ для того, чтобы „высмотрѣть замыселъ“ поэта, то... дѣло его плохо! Поэтъ въ той только мѣрѣ можетъ, безъ ущерба для себя, касаться вопросовъ философскаго умозрѣнія, въ какой вопросы эти органически имъ восприняты, претворены, такъ сказать, въ плоть и кровь его духа. Тогда онъ „мыслить образами“, идущими къ нему безъ усилія; иначе онъ—лишь холодный риторъ, фальсификаторъ поэзіи, какимъ Фетъ (за рѣдкими исключеніями) и былъ въ послѣднія тридцать лѣтъ своей жизни.

Касаясь, далѣе, не однихъ философскихъ, но всѣхъ вообще стихотвореній Фета, редакторъ неваго изданія говоритъ объ ихъ художественной формѣ слѣдующее: „Вопреки площаднымъ сужденіямъ о великихъ, будто бы, достоинствахъ этой формы, позволительно, напротивъ, утверждать, что превозносить форму Фета въ ущербъ сущности его поэзіи могутъ искренно только тѣ, кому послѣдняя недоступна“. Взглядъ этотъ, правда, не новъ—его проводили еще старые панегиристы Фета. Такъ, Василій Боткинъ писалъ въ 50-хъ годахъ, что „надобно кое-что прощать“ Фету, который рѣдко бываетъ „полнымъ художникомъ“. Точно также у Страхова читаемъ: „Фетъ очень небреженъ. Его стихотворенія, не смотря на образцовую краткость, свойственную лирикѣ, часто не имѣютъ полной правильности въ постройкѣ, того отвлеченнаго порядка, который такъ помогаетъ прозаическимъ читателямъ“. Однако, г. Никольскій оставляетъ обоихъ старыхъ критиковъ далеко позади: онъ прямо утверждаетъ (хотя и не подкрѣпляя словъ своихъ примѣрами), что „синтаксисъ Фета—что-то совершенно невѣроятное, а слогъ безпрестанно впадаетъ въ изысканность и даже вычурность“.

„Ужъ эти, эти мнѣ друзья!“ могъ бы сказать покойникъ Фетъ, услыхавъ такую защиту своей поэзіи противъ „площадной“ (читай—либеральной) критики...

Одинъ изъ представителей этого столь презираемаго г. Никольскимъ направленія критики, г. Коробка, подхватываетъ и развиваетъ его мысль („Образованіе“ 1901, № 7--8). Помимо недостатковъ синтаксиса и слога, критикъ „Образованія“ находитъ у Фета существенные недочеты и въ области стихосложенія, видя отсутствіе въ его талантѣ чувства мѣры и правдивости, нарушеніе на каждомъ шагѣ элементарнѣйшихъ требованій эстетики и, приведя многочисленные образчики невозможно-плохихъ стиховъ, заключаетъ, что Фетъ долженъ быть поставленъ въ русской литературѣ развѣ лишь рядомъ... съ г. Бальмонтомъ!

Такимъ образомъ, въ вопросѣ о художественной формѣ Фета почти трогательно согласіе между критиками двухъ враждебныхъ литературныхъ направленій. Слѣдуетъ только оговориться, что мотивы этого согласія діаметрально противоположны. Г. Никольскій, въ стремленіи возвысить Фета-философа и посрамить либеральную критику, признававшую за поэтомъ одни чисто-внѣшнія, „птичьи“ достоинства, соглашается утопить его, какъ художника формы; наоборотъ, критикъ „Образованія“, чтобы вѣрнѣе уничтожить Фета-философа, съ радостью ухватывается за легкомысленную уступку редактора „Полнаго собранія“, мотивируетъ ее, развиваетъ и окончательно развѣнчиваетъ Фета, какъ поэта вообще...

Уже одно то обстоятельство, что критики столь различныхъ эпохъ (Боткинъ писалъ еще въ 50-хъ годахъ), направленій и точекъ зрѣнія согласно находятъ у Фета большіе недостатки формы, показываетъ, что недостатки эти, дѣйствительно, бросаются въ глаза. Не даромъ же Фетъ такъ счастливъ былъ на пародіи и еще, какъ острилъ Тургеневъ, на опечатки... Если задаться цѣлью, какую имѣетъ въ виду г. Коробка, то можно бы, пожалуй, привести и болѣе яркіе и безспорные примѣры.

Прудъ—какъ блестящая сталь,—

воспѣваетъ Фетъ въ одномъ мѣстѣ вечеръ:

Травы—въ рыданіи...

Можно-ль тужить и не жить

Намъ въ обаяніи?

Или, напримѣръ, какъ вычурно и нелѣпо слѣдующее стихотвореніе:

Тѣснѣе и ближе сюда,

Раскрой ненаглядное око!

Ты—въ сердцѣ съ румянцемъ стыда (?!),
 Я—лучъ твой, летящій далеко.
 На горы во мракъ ночномъ,
 На сѣрую тучку заката,
 Какъ кистью, я *этимъ лучомъ*
 (т. е., значить, собою?)
 Наброшу румянца и злата.

Туманности, двусмысленности, вульгаризмы, несуществующія слова и ударенія, дѣйствительно, довольно щедро разсыпаны въ стихахъ Фета (особенно позднѣйшаго періода) и нерѣдко безнадежно портятъ самыя красивыя и граціозныя вещи. У него есть: „гречъ“ вмѣсто „греча“, „распускныя цвѣты“, „раздающійся соловей“, „пахучая страсть“, „овдовѣвшая лазурь“...

Все это такъ; но, во-первыхъ, несомнѣнные курьезы, вроде только что приведенныхъ, встрѣчаются все же въ ограниченномъ количествѣ; что же касается выраженій неизящныхъ, или непонятныхъ по мнѣнію одного, то другому они могутъ казаться вполне удачными. Все это довольно субъективно. Почему, напр., излюбленное выраженіе Фета „звѣзды золотыя рѣсницы“ не только не представляетъ, по словамъ г. Коробки, поэтического образа, но даже лишено всякаго смысла? Если и въ народной пѣснѣ, и у поэтовъ всего міра звѣзды называются „Божьими очами“, если общеупотребительно выраженіе „звѣзды мигаютъ“, то почему бы звѣзднымъ лучамъ не называться и „золотыми рѣсницами звѣздъ“? Пожалуй, это даже красиво и поэтично. „Жгучій мѣсяцъ“, конечно, представляетъ нѣкоторую гиперболу, но и это, опять-таки, не кажется намъ безсмыслицей. Вспомнимъ стихи Пушкина:

Тамъ, гдѣ море вѣчно плещетъ
 На пустынные скалы,
 Гдѣ луна *теплѣе* блещетъ...

О теплотѣ мѣсяца, слѣдовательно, говорить можно въ поэзіи. Высмѣиваются также, какъ совершенно нелѣпыя, слѣдующіе стихи Фета:

Какая грусть! Конечъ адлен
 Опять съ утра исчезъ въ пыли,
Опять серебряныя змыи
Черезъ суробы поползли.
 На небѣ ни клочка лазури,
 Въ степи все гладко и бѣло...

Мы же, съ своей стороны, думаемъ, что картина зимней вьюги, когда по снѣжному полю тамъ и сямъ ползутъ и вьются серебряныя змѣйки, нарисована Фетомъ очень удачно.

А затѣмъ, отъ величія до... г. Бальмонта не одинъ же шагъ, и мы полагаемъ, что, увлекшись пикировкой съ г. Никольскимъ, г. Коробка, въ свою очередь, сильно погрѣшаетъ противъ истины. Его утвержденіе, будто „дѣйствительно-поэтическихъ стихотвореній, колоритно изображающихъ природу и вызываемыя ею настроенія“, наберется у Фета не больше двухъ десятковъ, да и въ тѣхъ „нѣтъ настоящаго лирическаго подъема чувствъ“,—настолько произвольно и странно, что врядъ ли можетъ быть оправдано даже и полемическимъ раздраженіемъ. Въ противовѣсъ этому утвержденію можно бы сослаться на Тургенева, который тоже говорилъ о двадцати стихотвореніяхъ Фета, но говорилъ, что ихъ будутъ помнить и цѣнить и черезъ сто лѣтъ (см. „Сѣверные Цвѣты“, № 2).

Ошибка г. Никольскаго (какъ раньше—Страхова) въ другомъ родѣ: во что бы то ни стало, ему хочется выше лѣса стоячаго, выше облака ходячаго превознести *все*, что только когда-либо было написано Фетомъ, *все или почти все 875 стихотвореній*, включенныхъ въ послѣднее изданіе! Это, молъ, великій лирикъ, черезъ головы современниковъ завѣщающій что-то такое грядущимъ поколѣніямъ!

Надо ли, однако, доказывать всю неосновательность подобной претензіи?

Во главѣ такъ называемыхъ „философскихъ“ стихотвореній г. Никольскій ставитъ пьесу „Измученъ жизнью, коварствомъ надежды“, при всѣхъ ея стилистическихъ недочетахъ дѣйствительно плѣняющую слухъ оригинальнымъ, трудно опредѣлимымъ и, тѣмъ не менѣе, гармоническимъ размѣромъ.

Измученъ жизнью, коварствомъ надежды,
Когда имъ въ битвѣ душой уступаю,
И днемъ, и ночью смежаю я вѣжды
И какъ-то странно порой прозрѣваю.
Еще темнѣе мракъ жизни вседневной,
Какъ послѣ яркой осенней зарницы,
И только въ небѣ, какъ зовъ задушевный,
Сверкаютъ звѣздъ золотыя рѣсницы.
И такъ прозрачна огней безконечность,
И такъ доступна вся бездна эмира,

Что прямо смотрю я изъ времени въ вѣчность
И пламя твое узнаю, солнце міра!

Въ минуту невыносимаго душевнаго страданія, смѣняющагося утомленіемъ, человѣкъ проникается иногда неожиданнымъ, яркимъ сознаніемъ того, что со всѣми своими стремленіями и горестями онъ лишь ничтожный кусочекъ („лишь сонъ мимолетный“) огромнаго цѣлаго, называемаго вселенной, и это чувство сліянія съ нею даетъ на время забвеніе страданій. Тема, несомнѣнно, счастливая, и въ цитированныхъ нами стихахъ душевное настроеніе передано Фетомъ тонко и красиво; тѣмъ не менѣе, никакой философской идеи, которая могла бы быть „завѣщена“ грядущимъ поколѣніямъ, усмотрѣть тутъ положительно невозможно. Не говоримъ уже о томъ, что дальше стихотвореніе становится туманнымъ и искусственнымъ:

И неподвижно на огненныхъ розахъ
Живой алтарь мірозданья курится;
Въ его дыму, какъ въ творческихъ грѣзахъ,
Вся сила дрожить (?) и вся вѣчность снится (?).

„Потомство счастливыхъ современниковъ,—продолжаетъ витійствовать г. Никольскій, — современники, старшіе и младшіе, поневоля (?) знаютъ относительно Фета, что онъ когда-то былъ кавалергардскимъ офицеромъ, потомъ практическимъ помѣщикомъ, бранившимъ, богатѣя, новые порядки; что старъ и младъ когда-то глумились надъ его произведеніями, то провозглашая ихъ пошлостью и порнографіей, то заявляя, что ихъ авторъ — гнусный реакціонеръ, а, стало быть, эти произведенія никуда негодятся; потомство все это или забудетъ, или будетъ разсматривать лишь какъ забавное (?) личное воспоминаніе великаго старца“.

Сколько разнородныхъ вещей намѣшано здѣсь въ одну кучу! Что Фетъ былъ кавалергардомъ (какъ Лермонтовъ — уланомъ), это отнюдь еще не позоръ; но что онъ, богатый помѣщикъ, готовъ былъ со свѣта сжить крестьянъ, гуси которыхъ попортили у него поле, и вообще былъ ярымъ крѣпостникомъ, — врядъ ли можно назвать это „лишь забавнымъ (для кого? для крестьянъ?) личнымъ воспоминаніемъ“. Потомству, если только оно вообще будетъ помнить имя Фета, напоминать подобные факты будетъ и сама его поэзія. Любопытно, на примѣръ, стихотвореніе, обращенное имъ къ Некрасову:

На рынокъ! Тамъ кричитъ желудокъ,
 Тамъ для стоокаго слѣща
 Цѣнный грошовый твой разсудокъ
 Безумной прихоти пѣвца.
 Тамъ сбытъ малеванному хламу,
 На этой затхлои площади,
 Но къ музамъ, къ чистому ихъ храму,
 Продажный рабъ (?!), не подходи!
 Влача по прихоти народа
 Въ грязи низкопоклонный (!) стихъ,
 Ты слова гордаго «свобода»
 Ни разу сердцемъ не постигъ!

И это имѣлъ развязность говорить человѣкъ, который дѣйствительно всю жизнь низкопоклонничалъ передъ сильными міра (объ чемъ свидѣлствуетъ отдѣлъ многочисленныхъ одъ), „свободу“ же обнаруживалъ единственно въ томъ, что людей „толпы“ не называлъ иначе, какъ глупцами и подлецами!

Въ 1857 году Фетъ обращается къ Италіи:

Твоихъ сыновъ паденье и позоръ
 И нищету увидя, содрогаюсь...

Но тщетно стали бы вы искать въ его стихахъ того же періода выраженія хотя бы столь же поверхностнаго и мимолетнаго состраданія къ родному народу, еще стонавшему подъ крѣпостнымъ игомъ. Въ посланіи къ Тургеневу, объясняя, за что „съ такой любовью“ онъ любитъ родину, почему, въ разлукѣ съ нею, сердце его „готово истечь по каплѣ кровью“, онъ не находитъ ничего лучшаго, какъ указать на красоту сѣверной весны:

Синѣй, мечтательнѣй божественныя очи,
 И раздражительнѣй не меркнуція ночи,
 И зеленѣй ея вѣнецъ...

Нѣтъ, панегиристамъ Фета лучше совсѣмъ не упоминать объ его „идеяхъ“ *).

*) А между тѣмъ, въ послѣднее время то и дѣло попадаютъ въ печати не въ мѣру хвалебные отзывы о Фетѣ. Такъ, г. Чешихинъ-Вѣтринскій провозгласилъ въ «Самарской Газетѣ», что Фетъ умѣлъ отзываться *на вся даже самыя возвышенныя* движенія души человѣческой, въ доказательство чего привелъ стихотвореніе «Узникъ»:

*Густая крапива
 Шумитъ подь окномъ.*

*Зеленая ива
 Повисла шатромъ.*

Махровый цвѣтокъ, пышно расцвѣтшій въ теплицѣ помѣщицѣй усадьбы, поэзія Фета, на самомъ дѣлѣ, совершенно безидейна,—и не трудно понять тотъ гнѣвъ, который она не разъ вызывала въ людяхъ 60-хъ годовъ, въ тотъ острый моментъ, когда борьба идей только что вышла изъ тиши литературныхъ кабинетовъ на широкую арену жизни. Теперь для Фета и его литературной дѣятельности уже наступила исторія,—мы можемъ отнестись къ дѣлу хладнокровнѣе и рядомъ съ грубымъ, отталкивающимъ образомъ крѣпостника Шеншина разглядѣть и легкій воздушный очеркъ музы Фета.

Эту разницу между человѣкомъ и поэтомъ безсознательно чувствовалъ, повидимому, и самъ Фетъ, очень сердившійся, когда содержаніе его стиховъ пытались приурочить къ фактамъ его личной жизни, и развивавшій въ частныхъ бесѣдахъ и перепискѣ съ друзьями оригинальную мысль о томъ, что поэзія есть ложь. Въ этомъ парадоксѣ, поскольку онъ относится къ фетовской поэзіи, пожалуй, есть нѣкоторая доля истины. Муза Фета отражаетъ не столько сознательныя, подлежащія этической оцѣнкѣ, сколько неуловимыя, смутныя душевныя состоянія, роднящія человѣка съ неодушевленной природой и лучше всего передаваемыя музыкой. Въ этой именно области Фетъ былъ настоящимъ чародѣемъ искусства, имѣющимъ мало соперниковъ не только въ русской, но, можетъ быть, и во всемірной литературѣ. Пѣвецъ неуловимаго, смутнаго, рѣющаго въ сознаніи, какъ легкая вечерняя греза, онъ можетъ быть непонятенъ и даже смѣшонъ людямъ съ трезвой, положительной складкой ума; Боткинъ, одинъ

Веселыя лодки
Въ дали голубой.
Желѣзо рѣшотки
Выжить подъ пилой.
Бывалое горе
Уснуло въ груди:

Свобода и море
Горятъ впереди.
Прибавилось духа,
Затихла тоска,—
И слушаетъ ухо,
И пилить рука...

Обративъ вниманіе на «веселыя лодки въ дали голубой», г. Чешининъ вообразилъ себѣ, по всей вѣроятности, Шильонскій замокъ, въ которомъ томится какой-нибудь боецъ за свободу, и совершенно упустилъ изъ виду «густую крапиву, шумящую подъ окномъ», — предательскую крапиву, такъ ясно напоминающую запущенный садъ въ русской помѣщицѣй усадьбѣ! Что же это за «узникъ», что за тюрьма? Не простая ли «холодная»?.. Это, въ самомъ дѣлѣ, характерное для Фета стихотвореніе: звучныя рифмы, красивая—если хотите—картинка, и ни одной правдивой, живой черточки!

изъ первыхъ его цѣнителей, справедливо замѣтилъ, что поэзія его „требуешь прежде всего симпатической съ нею настроенности.“ Возьмемъ для примѣра хотя бы слѣдующее стихотвореніе:

Какъ мошки зарею,
Крылатые звуки толпятся;
Съ любимой мечтою
Не хочется сердцу разстаться.
Но цвѣтъ вдохновенья
Печаленъ средь будничныхъ терній;
Былое стремленье
Далеко, какъ отблескъ вечерній.
Но память былого
Все крадется въ сердце тревожно...
О, если бъ безъ слова
Сказаться душой было можно!

При бѣгломъ и равнодушномъ чтеніи, эти удивительно-музыкальныя строки могутъ, пожалуй, затруднить читателя: ему покажется невозможнымъ уловить даже логическую связь между ними... Что это, въ самомъ дѣлѣ, за „крылатые звуки“ и гдѣ они „толпятся“? Не вмѣстѣ ли съ мошками на берегу рѣки или болота? Но тогда при чемъ далѣе „цвѣтъ вдохновенья“? Наконечъ, что значать эти два „но“, поставленные, повидимому, совсѣмъ некстати? Однако, вдумайтесь, перечитайте стихи въ минуту грустныхъ размышленій объ ушедшей свѣтлой молодости, сознанія убывающихъ силъ — и смыслъ музыки вамъ откроется. Вы легко поймете, что крылатые звуки толпятся въ сердцѣ поэта, являясь тѣмъ зерномъ, изъ котораго при благопріятныхъ условіяхъ вырастаетъ „цвѣтъ вдохновенья“. Сердце не въ силахъ разстаться съ несбывшимися грезами юности,—оно стремится воплотить ихъ хоть въ слова, хоть въ художественные образы; но текущая жизнь такъ печальна—слова и образы выходятъ блѣдны, слабы; да и въ душѣ нѣтъ уже бывшей бодрости... А сердце все не хочетъ смириться, „память былого“ все не умираетъ...

О, если бъ безъ слова
Сказаться душой было можно!—

невольно повторяете вы вслѣдъ за поэтомъ. Никакой „философіи“, никакого особенно-глубокаго „замысла“ здѣсь и съ огнемъ не сыщешь, но поэзія это несомнѣнная...

Фетъ пишетъ съ простодушной наивностью ребенка, который

для выраженія своихъ чувствъ и мыслей хватается за первое попавшееся слово (и, конечно, очень часто невольно); какъ ребенокъ же, онъ очень многое пропускаетъ, оставляя подразумеваемымъ, и рѣчь его поэтому производитъ нерѣдко впечатлѣнiе безсвязнаго лепета, къ которому нужно еще подыскивать ключъ. Такимъ ключомъ обыкновенно и бываетъ та „симпатическая настроенность“, о которой говоритъ Боткинъ.

Въ наивной, часто безсвязной рѣчи Фета отразился и внутреннiй мiръ тоже, въ сущности, взрослою ребенка или, скорѣе, дикаря, перенесеннаго въ обстановку современной культурной жизни. Поэтъ обладалъ изумительно-тонкимъ и вѣрнымъ чутьемъ природы. Въ этомъ отношенiи мало сказать, что онъ соперничалъ въ наблюдательности съ первобытнымъ человѣкомъ (довольно вспомнить о множествѣ воспѣтыхъ имъ „примѣтъ“),—онъ органически сливался съ природой, чувствуя себя нераздѣльной частью великаго цѣлаго. Напомнимъ, хотя бы, нѣкоторыя строки извѣстныхъ „Пчелъ“:

Пропадѣ отъ тоски я и льну...

...
Дай, хоть выйду я въ чистое поле,
Иль *совсѣмъ* потеряюсь въ лѣсу!..

...
Нѣтъ, постой же! Съ тоскою моею
Здѣсь (!) разстанусь. Черемуха спитъ.
Ахъ, опять эти пчелы подъ вею!..
И никакъ я понять не умѣю,
На цвѣтахъ ли, съ ушахъ ли звенитъ?

Болѣе полного превращенiя живой человѣческой души въ какой-то растительный организмъ нельзя, кажется, и представить! Но вѣдь таковъ почти весь Фетъ въ лучшихъ его, наивныхъ и искреннихъ, стихотворенiяхъ. Другiе поэты любятъ олицетворять природу, оживлять ее человѣческимъ сознаниемъ и настроенiемъ,—у Фета она живетъ сама по себѣ, отдѣльно и независимо отъ его дѣлъ и стремленiй. Вотъ нарисованная имъ картинка степи вечеромъ:

Клубятся тучи, *мнѣ* въ блескѣ аломъ,
Хотятъ въ ростъ понижиться поля
Въ послѣднiй разъ за третьимъ переваломъ
Пропалъ ямщикъ, звеня и не пыля.
Нигдѣ жилья не видно на просторѣ.

Вдали огня и пѣсни—и не ждешь.
 Все степь да степь. Безбрежная, какъ море,
 Воднуется и наливаетъ рожь.
 За облакомъ до половины скрыта,
Луна свѣтитъ еще не смѣтъ днемъ.
Вотъ жукъ взлетѣлъ и прожужжалъ сердито,
Вотъ лунъ проплылъ, не шевеля крыломъ.
 Покрылись нивы сѣтью золотистой,
 Тамъ перепелъ откликнулся вдали...
 И слышатся, въ изломинѣ росистой
 Вполголоса скрипятъ коростели.
 Ужъ сумракомъ пытайный взоръ обмануть.
 Среди тепла прохладой стало дуть.
Луна чиста. Вотъ съ неба звѣзды глянютъ
И, какъ рѣка, засвѣтитъ млечный путь.

Не даромъ въ этой картинкѣ ямщикъ, т. е. человѣкъ, *пропалъ* изъ вида... Выбросьте отсюда, кстати, и нивы спѣющей ржи—и вы получите единственное въ своемъ родѣ изображеніе природы, прямо поразительное по объективности: вотъ такъ, думается, жила она въ ту отдаленную эпоху, когда покоя земли не смущалъ еще своими мудрствованіями homo sapiens!..

Сліяніе духа съ матеріей для нашего поэта-пантеиста такъ же естественно, какъ и превращеніе матеріи въ духъ. Характерна въ этомъ смыслѣ рисуемая имъ картинка лѣтняго вечера, когда сосны бросаютъ уже въ долину таинственныя, все растущія тѣни, а вершины ихъ озарены еще блескомъ, и кажется, что „и землю чувствуютъ родную, и въ небо просятся онѣ...“

Въ этомъ умѣннѣ проникать въ душевную суть природы Фетъ не знаетъ различія между грандіозными и мелкими явленіями. Съ всепоглощающимъ любопытствомъ разсматриваетъ онъ прихотливый узоръ, нарисованный морозомъ на оконномъ стеклѣ,—легко и свободно чувствуетъ себя и передъ величественной картиной звѣзднаго неба.

Я ль неся къ безднѣ полунощной,
 Иль снымы звѣздъ ко мнѣ неслись?—

съ прелестной наивностью спрашиваетъ онъ въ одной пѣснѣ.

Въ своемъ непосредственномъ воспріятіи впечатлѣній природы и жизни, нашъ поэтъ не знаетъ рефлексіи, тоски и сомнѣній, и если у него и найдется нѣсколько пѣсень съ настроеніемъ явно-пессимистическимъ, то не онѣ являются характерными для

его поэзіи. Да и пессимизмъ этотъ какого-то особаго свойства. Вотъ, напр., прелестное стихотвореніе „Не спрашивай, надъ чѣмъ задумываюсь я“:

*Мнѣ сознаваться въ томъ и тягостно, и больно,—
Мечтой безумною полна душа моя
И въ глубь минувшихъ лѣтъ уносится невольно.
Сіянье прелести тогда въ свой кругъ влекло:
Взглянулъ—и пылкое навстрѣчу сердце растетъ!
Такъ голубь, бурю застигнутый, въ стекло,
Какъ очарованный. крыломъ лазурнымъ бьется.
А нынѣ предъ лицомъ сіяющей красоты
Нѣтъ этой слѣпоты и страсти безотвѣтной,
Но сердце глупое, какъ ветхіе часы.
Коль и забыть порой, такъ все свой часъ завѣтный...
Я помню, отрокомъ я былъ еще. Пора
Была туманная. Сирень въ слезахъ дрожала,
Въ тотъ день лежала мать больна, и со двора
Подруга игръ моихъ надолго уѣзжала.
Не мчались ласточки, звеня передъ окномъ,
И мошекъ не толкались блестящихъ вереницы;
Сидѣли голуби, нахохлившись, рядкомъ
И въ липникъ прятались умолкнувшія птпцы.
А надъ колодеземъ на вздернутомъ шестѣ,
Гдѣ старая бадья болталась, какъ подвѣска,
Закаркалъ воронъ вдругъ, чернѣя въ высотѣ,
Закаркалъ какъ-то зло, отрывисто и рѣзко...
Тотъ плачь давно умолкъ,—кругомъ и смѣхъ, и шумъ,—
Но сердце вѣчно, знать, пугаться не отвыкнетъ:
Гляжу въ твои глаза, люблю ихъ нѣжный умъ—
И трепещу: вотъ-вотъ зловѣщій воронъ крикнетъ!*

Стихи эти приводятся нерѣдко въ доказательство того, что безпечная жизнерадостность Фета сильно преувеличена враждебной ему либеральной критикой, и что и въ его сердцѣ таилась глубокая трещина... Судя по началу пьесы, и дѣйствительно, думаешь, что поэтъ хочетъ сдѣлать какое-то ужасное, гнетомъ лежащее у него на душѣ, признаніе. Однако, если не считать болѣзни матери, о которой упоминается лишь вскользь, за одной скобкой съ отъѣздомъ въ гости „подруги игръ“, то ни о какихъ страданіяхъ или несчастіяхъ въ стихотвореніи нѣтъ рѣчи, и весь ужасъ разсказа (правда, очень милаго) сводится къ тому, что воронъ неожиданно каркнулъ однажды надъ самымъ ухомъ ребенка... Мотивовъ для пессимизма, какъ видитъ читатель, не особенно много!

„Мы рождены для вдохновенья, для звуковъ сладкихъ и молитвъ!“—беретъ Фетъ эпиграфомъ къ своему стихотворенію „Муза“. Вдохновительница поэта отказывается быть „трубой погрома“, вѣстницей человѣческаго страданія, потому что

Страдать? Страдаютъ всѣ! Страдаетъ темный звѣрь!

И, исполняя завѣтъ Музы, Фетъ съ презрѣніемъ относится къ пѣвцамъ человѣческой скорби (ярко въ этомъ смыслѣ упомянутое уже стихотвореніе къ Некрасову).

Однако, передъ нами не стоическій взглядъ человѣка, закаленного въ битвахъ жизни; самъ Фетъ, проведеншій безоблачно-ясную жизнь богатаго барина, изъ всего многообразія человѣческаго горя испыталъ развѣ лишь страданія нераздѣленной любви съ ихъ своеобразною радостью:

Не нужно, не нужно мнѣ проблесковъ счастья,
Не нужно мнѣ слова и взора *участья*,
Оставь... и дозволь мнѣ рыдать!
Къ горячему снова прильнуть изголовью,
Дозволь мнѣ моей *нераздѣльной* любовью,
Забывъ все на свѣтѣ, дышать!
Когда бы ты знала, какимъ сиротливымъ,
Томительно-сладкимъ, безумно-счастливымъ
Я юремъ въ душѣ опьяненъ...

Это—горе соловья, который всю ночь терзается надъ розой; наступаетъ разсвѣтъ, заря отрезвляетъ птицу — „и счастью, и пѣснѣ конецъ!“

Никакого другого смысла не было въ томъ культѣ „страданія“, какой можно сыскать въ стихахъ Фета. Незнакомый самъ съ горечью настоящихъ слезъ, онъ и чужія разсматриваетъ сквозь дымку поэзіи:

Я подъ окномъ сидѣлъ, *влюбленъ*,
Душой и юнъ, и *боленъ*.
Какъ пчелы, звуки вдалекѣ
Жужжали съ колоколенъ.
.....
И гробикъ розовый прошелъ
За громогласнымъ хоромъ.
.....
За гробомъ шла, шатаясь, мать.
Надгробное рыданье...
Но мнѣ казалось, что легко
И самое страданье!

Раздумья Фета легки и мимолетны, какъ тѣ волнистыя облака („мечты почіющей природы“, по его образному выраженію), что пробѣгаютъ порой по ясному утреннему небу.

А счастье гдѣ? Не здѣсь, въ средѣ убогой,

А вонъ оно—какъ дымъ,—

меланхолически заявляетъ онъ, и тотчасъ же, вслѣдъ за этимъ, забывая всякую грусть, взмахиваетъ крыломъ и уносится въ высь, вдаль отъ „убогой среды“:

За нимъ, за нимъ, воздушною дорогой,

И—въ вѣчность улетимъ!

Вѣдь онъ и съ вѣчностью чувствуетъ себя за-просто...

Любовь Фета къ женщинѣ безъидейна, такъ сказать, стихійна. Онъ знаетъ, главнымъ образомъ, чувственную любовь и охотнѣе всего воспріимаетъ ея внѣшнія проявленія — „шопотъ, робкое дыханье“, звуки поцѣлуевъ, дрожь влюбленной руки... „Тебя, одну тебя люблю я и желаю“—больше ему нечего сказать своей возлюбленной...

„Красавица степная съ румянцемъ сизымъ на щекахъ“; „въ благоуханьи простоты цвѣтокъ, дитя дубравной сѣни“—вотъ фетовскій идеалъ женщины. „Чистая красота“ въ его представленіи не только согласима, но и нераздѣльна съ „хитростью“ тактичной и ловкой хозяйки дома.

На двойномъ стеклѣ узоры

Начертилъ морозъ.

Шумный день свои дозоры

И гостей унесъ.

Смолкнулъ яркій говоръ сплетней,

Скучный голосъ дня.

Благодатнѣй и привѣтнѣй

Все кругомъ меня.

Предъ горящими дровами

Сядемъ,—тамъ тепло.

Мѣсяцъ быстрыми лучами

Пронизалъ стекло.

Ты хитрила, ты скрывала,

Ты была умна.

Ты давно не отдыхала,

Ты утомлена.

Полонъ нѣжнаго волненья,

Сладостной мечты,

Буду ждать успокоенья

Чистой красоты.

Жадными глазами ребенка, начинающаго жить, глядитъ Фетъ на все въ окружающемъ мірѣ, и міръ представляется ему залитымъ сплошнымъ свѣтомъ, жизнь кажется вѣчнымъ радостнымъ праздникомъ. Онъ—какъ та ласточка его же стихотворенія, которая „и въ небо просится, и земля хороша—не растался-бъ съ ней!“ Поэтъ знаетъ, что счастье мгновенно, какъ жизнь, какъ

сонъ, но, какъ бабочка-поденка, онъ хочетъ „жизнію упиться
день одинъ, на солнцѣ радостно играя“.

Не спрашивай, откуда появилась,
Куда спѣшу:
Здѣсь на цвѣтокъ я легкій опустилась
И вотъ—дышу.
Надолго ли, безъ цѣли, безъ усилія,
Дышать хочу?
Вотъ-вотъ, сейчасъ, сверкнувъ, раскину крылья
И улечу!

Сынамъ больной и заѣденной рефлексіею эпохи, намъ кажется часто, что Фетъ переоцѣниваетъ жизнь и ея радости; мы готовы съ улыбкой отнестись ко многимъ изъ его восторговъ... Но развѣ въ наше сѣрое, солидное существованіе не вносятъ свѣтлаго луча наивная и шумная жизнерадостность нашихъ дѣтей? Вносятъ его и поэтъ, когда съ искреннимъ, зажигающимъ увлеченіемъ говоритъ:

Оглянись—и міръ всеневный
Многоцвѣтенъ и чудесенъ!

Настоящимъ призваніемъ Фета, его поэтической миссіей и было именно — открывать и передавать намъ поэзію окружающаго міра, который мы видимъ обыкновенно въ такомъ сѣромъ, буднично-прозаическомъ освѣщеніи. Онъ воспѣваетъ природу и человека какъ бы внѣ времени и пространства, жизнь внѣ какихъ-либо опредѣленныхъ социальныхъ условій, ту жизнь, которую равно дышутъ и „царь и рабъ, и червь и богъ“,—и эта поэзія радости и цѣнности земного существованія можетъ являться источникомъ наслажденія для палача и для жертвы, для узника и для его сторожа, для обиженнаго и обижающаго, словомъ, для всякаго, кто только способенъ воспринимать поэтическія впечатлѣнія. Въ этомъ—непререкаемое значеніе поэзіи Фета, значеніе, которое смѣло можемъ признать и мы, какъ бы ни были для насъ чужды и даже антипатичны общественные идеалы поэта.

Эту свою „миссію“ онъ выполняетъ съ удивительнымъ искусствомъ. Реальный, отлично всѣмъ намъ знакомый и порядкомъ наскучившій „всеневный міръ“ превращается подъ его перомъ во что-то фантастическое и чудесное. Мы широко раскрываемъ глаза: да, это то же самое, что и мы всегда видѣли, но откуда взялись эти краски, эти чудеса?..

Сколько разъ, напримѣръ, наблюдали мы деревья, опушенные снѣгомъ, и равнодушно проходили мимо; но фетовская береза, „разубранная прихотью мороза“, невольно приковываетъ наше вниманіе. Она печальна, она, какъ будто, закутана въ траурное кружево, и, тѣмъ не менѣе, „радостенъ для взгляда“ ея печальный нарядъ. Концы вѣтвей висятъ, точно „гроздья винограда“, солнце причудливо играетъ на нихъ, и поэтъ досадуетъ, когда птицы стряхнуть „красу вѣтвей“. Этой удивительной березы мы уже никогда не забудемъ!

Или—что особеннаго въ равнинѣ, занесенной снѣгомъ? Но когда прочитаешь:

*Чудная картина,
Какъ ты мнѣ родна!
Бѣлая равнина,
Полная луна,*

*Свѣтъ небесъ высокихъ,
И блестящій снѣгъ
И саней далекихъ
Одинокій бѣгъ!—*

результатъ ли это музыки стиха, или другого какого секрета поэтического творчества—та же равнина явится совершенно преобразенной передъ глазами...

Слова „дивный“, „чудный“, „волшебный“—любимыя слова Фета. Рисуя горный пейзажъ, онъ говоритъ:

*Какъ будто изъ дѣйствительности чудной
Уносишься въ волшебную безбрежность.*

Всякій другой поэтъ, сохраняя ту же рифму, навѣрное, назвалъ бы дѣйствительность „скудной“, но для Фета она такой никогда не бываетъ. На миломъ лицѣ онъ подмѣчаетъ „рядъ волшебныхъ измѣненій“; на заиндевѣвшемъ оконномъ стеклѣ видитъ чудеснѣйшія письма и рисунки; сугробъ снѣга въ полѣ представляется ему „нѣкимъ мавзолеемъ, изваяннымъ полночью“; простой древесный сукъ—„извилистой и чудной вѣткой“, на которой, „вся въ огнѣ, въ сіяньи изумрудномъ“, качается жарь-птица. Ничего въ природѣ и жизни нѣтъ для него мелкаго, не стоящаго вниманія, и самое незначительное обстоятельство можетъ ассоціироваться въ его умѣ съ чѣмъ-нибудь важнымъ, особеннымъ... Вотъ, напримѣръ, „облакомъ волнистымъ пыль встаетъ вдали. Конный или пѣшій—не видать въ пыли“. Проходитъ минута—„вижу, кто-то скачетъ на лихомъ конѣ“... Кажется, самая заурядная деревенская картинка, воображенія почти совсѣмъ не затрогивающая; но двухъ черточекъ этой картины, отдаленія и

неизвѣстности, совершенно достаточно для Фета, и онъ кончаетъ стихотвореніе удивительнымъ по неожиданности и силѣ аккордомъ:

— Другъ мой, другъ далекій,
Вспомни обо мнѣ!

Однако, сколько бы чудеснаго ни заключалъ въ себѣ міръ для нашего поэта, мистическому элементу въ немъ нѣтъ мѣста. Чудеса Фета ничего общаго съ мистицизмомъ не имѣютъ, и настоящія привидѣнія почти не фигурируютъ въ его стихахъ. Здѣсь, характеризуя Фета, опять-таки приходится сравнить его съ ребенкомъ, для котораго все въ природѣ и жизни—чудо и тайна, но тайна, возбуждающая лишь любопытство, создающая праздничное настроеніе, а отнюдь не поражающая душу ужасомъ. Дѣйствительность похожа на свѣтлый сонъ, а сонъ на свѣтлый призракъ.

Снился берегъ мнѣ скалистый..
Море спало подъ луною,
Какъ ребенокъ дремлетъ чистый..
И, скользя по немъ съ тобою,
Въ дымъ прозрачный и волнистый
Шли алмазной мы стезею.

Въ противоположность другому пѣвцу смутныхъ настроеній, Тютчеву, Фетъ не любитъ останавливаться на мрачномъ и грозномъ въ природѣ; онъ не далъ, напримѣръ, ни одного настоящего изображенія грозы, хотя охотно рисуетъ предшествующій ей, или слѣдующій за нею моментъ („Примѣты“, „Послѣ бури“).

И что-то къ саду подошло,
По свѣжимъ листьямъ барабанить...

Ждешь, что за этимъ разразятся громъ и молнія съ вихремъ и градомъ, но... Фетъ здѣсь и останавливается, благодушно ограничиваясь жизнерадостной картинкой весенняго дождя, съ пахнущими медомъ липами и купающимися въ пескѣ воробьями!

„Быть тронутымъ или потрясеннымъ черезъ посредство произведеній фетовской музыки,—говоритъ Тургеневъ въ одномъ недавно обнаруженномъ письмѣ („Сѣв. Цвѣты“, № 2),—такъ же невозможно, какъ ходить по потолку. И потому, при всей его даровитости, его слѣдуетъ отнести къ *dii minorum gentium*“.

Это, конечно, вѣрно; но будемъ принимать и любить Фета такимъ, каковъ онъ есть, хотя бы онъ и не былъ тѣмъ „великимъ лирикомъ“, какимъ его рисуютъ слѣпые панегиристы. Если забыть (а это необходимо) добрыхъ двѣ трети стихотвореній, вошедшихъ въ послѣднее изданіе г. Маркса, то въ остальномъ,—въ стихахъ, главнымъ образомъ, молодости Фета,—мы имѣемъ источникъ истиннаго художественнаго наслажденія. Порой расцвѣта фетовскаго таланта была, несомнѣнно, дореформенная эпоха. Гулъ внезапно вторгшихся въ русскую жизнь новыхъ идей и понятій словно оглушилъ эту простодушную музу,—она растерялась, начала срываться съ голоса и постепенно умолкла. За періодъ отъ 1865 до 1892 г. (года смерти поэта) можно насчитать не болѣе десятка стихотвореній, равныхъ по достоинству поэтическимъ перламъ первой половины его жизни.

На высотѣ.

(1803—1903).

Забывая страданія жгучія,
Жизни пасмурной скуку и гнетъ,—
О, блаженъ тотъ, чьи крылья могучіи
Высоко направляютъ полетъ!
Тотъ, чьи мысли, какъ птицы свободныи
Горделиво надъ жизнью парятъ,
Для кого дышутъ камни холодные,
Съ кѣмъ ручьи и цвѣты говорятъ!

Бодлеръ.

I.

Сто лѣтъ прошло со дня рожденія Тютчева. Хотя оставленное имъ русской литературѣ наслѣдіе и невелико въ количественномъ отношеніи, но по внутреннимъ достоинствамъ, по глубинѣ, силѣ и оригинальной красотѣ своихъ произведеній этотъ замѣчательный поэтъ мало имѣетъ соперниковъ среди нашихъ лириковъ.

Біографія Тютчева, къ сожалѣнію, мало разработана, и исторія душевной жизни поэта извѣстна намъ, главнымъ образомъ, изъ признаній его музы. Внѣшнія черты этой жизни даютъ, какъ-будто правó утверждать, что протекла она, въ общемъ, легко и безмятежно-ясно. Отъ рожденія и до глубокой старости Тютчевъ былъ, что называется, баловнемъ счастья. Но, можетъ быть, именно это внѣшне-безмятежное существованіе, замкнутое, къ тому же, въ узкомъ кругѣ высшаго свѣта и протекши на половину „за рубежомъ“, являлось своего рода тормозомъ для огромнаго стихійнаго дарованія поэта. Вдали отъ живой почвы родной дѣйствительности, въ значительной степени атрофировались инстинкты общественности, сочувственнаго пониманія истинныхъ нуждъ и интересовъ родного народа. Отсюда недостатки поэзіи Тютчева...

Его родители, богатые помѣщики начала прошлаго вѣка, были глубоко проникнуты патріотически-православными началами. Это не мѣшало имъ, впрочемъ, говорить и думать преимущественно по-французски, а о русской литературѣ не имѣть ни малѣйшаго представленія. Правда, когда будущему поэту исполнилось десять лѣтъ, въ воспитатели къ нему взятъ былъ семинаристъ Раичъ, небезызвѣстный впоследствии литераторъ и переводчикъ, и, быть можетъ, онъ-то и развилъ въ мальчикѣ Тютчевѣ любовь къ стихотворству; но глубоко ли было это случайное литературное влияние—сказать трудно. Мы не знаемъ, чтó представляла собою въ ранней молодости умственная и нравственная личность самого Раича (писателя, какъ извѣстно, совсѣмъ мало одареннаго), каковы были его педагогическіе приемы и способности. Въ возрастѣ 15—18 лѣтъ юный поэтъ слушалъ лекціи въ московскомъ университетѣ, но, къ сожалѣнію, и это обстоятельство не поставило его ближе къ дѣйствительности, такъ какъ во время лекцій при немъ неотступно находился воспитатель,—и привозившій его въ университетъ, и отвозившій домой; такимъ образомъ, свободного соприкосновенія съ университетской жизнью и товарищами-студентами Тютчевъ не имѣлъ... По окончаніи же курса онъ уѣхалъ тотчасъ за-границу, гдѣ и провелъ *цѣлыхъ 22 года*, служа на дипломатическомъ поприщѣ.

Характерно, такимъ образомъ, что писатель, отличающійся такой яркой націоналистической окраской, до сорокалѣтняго возраста не имѣлъ случая познакомиться близко и самостоятельно съ жизнью родного народа и общества; да врядъ ли основательно познакомился онъ съ нею и позже, въ томъ возрастѣ, когда впечатлѣнія человека уже предрѣшаются въ значительной степени составленными ранѣе взглядами и убѣжденіями.

Не мудрено, что экзотическое воспитаніе принесло и экзотическіе плоды. Въ тѣ самые годы, когда Пушкинъ (онъ былъ всего на пять лѣтъ старше Тютчева) писалъ оды „Вольность“ и „Кинжалъ“, Тютчевъ оставался совершенно чуждымъ либеральному теченію; въ то время, какъ Пушкинъ избѣгъ печальной участи декабристовъ, быть можетъ, лишь благодаря невольному удаленію изъ Петербурга, Тютчевъ отнесся къ жертвамъ движенія съ холодной и высокоумной жѣсткостью. Тотчасъ же послѣ 13 іюля 1826 года онъ писалъ:

Народъ, чуждаясь вѣроломства,
 Поносить ваши имена,
 И ваша память для потомства,
 Какъ трупъ, въ землѣ схоронена.
 О, жертвы мысли безразсудной!

Какъ далеко это отъ тѣхъ трогательныхъ утѣшеній, съ какими Пушкинъ почти въ это же время обращался къ своимъ несчастнымъ друзьямъ:

Не пропадетъ вашъ скорбный трудъ
 И думъ высокое стремленье!

Не мало можно найти въ стихахъ Тютчева яркихъ свидѣтельствъ того, что поэтъ былъ равнодушенъ и къ самой родинѣ, которая представлялась ему „сновидѣньемъ безобразнымъ“ и которую онъ всегда готовъ былъ промѣнять на „золотой, свѣтлый югъ“. Не радуется, а скорѣе пугаетъ его „родной ландшафтъ“ подъ дымчатымъ навѣсомъ огромной тучи снѣговой“, и ему кажется, что усталая сѣверная природа спитъ, погруженная въ „сонъ желѣзный“.

Лишь кой-гдѣ блѣдныя березы,
 Кустарникъ мелкій, мохъ сѣдой,
 Какъ лихорадочныя грезы,
 Смущаютъ мертвенный покой.

Да и самъ человѣкъ не живетъ здѣсь, а лишь „спится самъ себѣ“...

Интересно, что въ одномъ и томъ же 1846 году Некрасовымъ и Тютчевымъ написаны стихотворенія, обращенныя къ родинѣ и проникнутыя однимъ и тѣмъ же настроеніемъ — равнодушія и даже отвращенія къ ней. Но въ то время, какъ Некрасовъ съ рѣзкой опредѣленностью мотивируетъ такое отношеніе свое къ „мѣстамъ, гдѣ рой подавленныхъ и трепетныхъ рабовъ завидовалъ жизнью послѣднихъ барскихъ псовъ“, Тютчевъ не находитъ въ своей душѣ ни одинаго звука сочувствія поработанному народу; нѣтъ у него никакихъ и личныхъ мрачныхъ воспоминаній, подобныхъ Некрасовскимъ: напротивъ, дѣтство глядитъ на него изъ отдаленія, какъ „смутный призракъ забытаго, загадочнаго счастья“. Поэтъ просто — выросъ духовно, и дѣтство уже представляется ему „братомъ меньшимъ, умершимъ въ пеленахъ“.

Ахъ, нѣтъ! не здѣсь, не этотъ край безлюдный
 Былъ для души моей родинимъ краемъ,

Не здѣсь расцвѣлъ, не здѣсь былъ величаемъ
 Великій праздникъ молодости чудной!
 Ахъ, и не въ эту землю я сложилъ
 Все, чѣмъ я жить и чѣмъ я дорожилъ!

Одной жизнью и одними страданіями съ родиною поэтъ-аристократъ никогда не жилъ; праздникъ молодости прошёлъ для него на цвѣтушихъ берегахъ Рейпа, среди тревогъ и радостей салонной жизни, среди выпрєнныхъ пареній шеллинговой и гегелевской философіи...

Въ литературѣ не разъ приходилось встрѣчать сопоставленія Тютчева съ Некрасовымъ именно на этой почвѣ—любви къ родному народу и правильнаго пониманія его характера. На нашъ взглядъ, трудно найти въ русской поэзіи два менѣе близкія и родственныя явленія. Основная струна Некрасова — жалость къ реальнымъ человѣческимъ страданіямъ, негодованіе по поводу социальныхъ язвъ современности; ничего этого нѣтъ у Тютчева.

Слезы людскія, о слезы людскія,
 Льетесь вы ранней и поздней порой,—
 Льетесь безвѣстныя, льетесь незримыя,
 Неистощимыя, неисчислимыя,
 Льетесь, какъ льются струи дождевыя
 Въ осень глухую, порою ночной.

Стихи болѣе, чѣмъ прекрасны; и все же приходится сказать, что это какія-то абстрактныя, лишенныя живой скорби и горечи слезы,—одинаково слезы нищаго, какъ и вельможи. Другая, не менѣе извѣстная, пьеска Тютчева того же настроенія — „Пошли Господь свою отраду“—столь же ясно обнаруживаетъ безучастное отношеніе автора къ страданіямъ людей, обусловленнымъ социальнымъ неравенствомъ.

Не для него гостепріимной
 Деревья сѣнью разрослись,
 Не для него, какъ облакъ дымный,
 Фонтанъ на воздухѣ повисъ,—

говорить поэтъ про обдѣленнаго судьбой и людьми бѣдняка, даже не задумываясь надъ тѣмъ, почему же „не для него“, справедливо ли это, и вѣчно ли такъ должно продолжаться. Онъ ограничивается пожеланіемъ, чтобы голодному „послалъ Господь“... Зло социальныхъ условий, въ которыхъ живетъ современное человечество, вообще, не интересуетъ Тютчева, и въ поэзіи его

можно встрѣтить лишь слабыя и очень ужъ неопредѣленные намеки на то, что въ людскомъ обществѣ не все обстоитъ благополучно,— напр., въ стихотвореніи „Какое дикое ущелье“:

Вотъ, я взобрался на вершину,
Сажу здѣсь, радостень и тихъ...
Ты къ людямъ, ключъ, спѣшишь въ долину:
Попробуй—каково у нихъ!

Въ мрачную годовщину севастопольскаго погрома Тютчевъ вспомнилъ, однако, о тяжеломъ положеніи родного народа и написалъ свое знаменитое — „Эти бѣдныя селенья“. Но и тутъ нѣтъ слѣда „гражданской скорби“ или негодованія... Напротивъ, поэтъ умиляется передъ „долготерпѣніемъ“, „смиренной наготою“ и „рабскимъ видомъ“ русскаго народа, находя въ нихъ высшую красоту и поэзію.

Не поймешь и не оцѣнить
Чуждый взоръ иноплеменный,
Что сквозить и тайно свѣтитъ
Въ наготѣ твоей смиренной!

Эта смиренная нагота представляется ему какъ-бы получившей благословеніе отъ самого Христа,—такова воля Божія, и возмущенію здѣсь нѣтъ мѣста... Пьеса эта, несомнѣнно, находится въ связи съ славянофильскими и, вообще, православно-патріотическими взглядами Тютчева. Но мотивы панславизма, вишняго величія Россіи и ненависти къ ея врагамъ, все, что составляетъ содержаніе такъ называемой политической поэзіи Тютчева, мало имѣетъ общаго съ тѣмъ, что мы понимаемъ подъ „гражданскими мотивами“ Некрасова.

Одинъ только разъ, въ ту пору, когда, подъ вліяніемъ неудачнаго исхода войны, и самымъ яркимъ націоналистамъ нашимъ стало очевидно, что нельзя идти дальше по пути узко-классоваго самодовольства и пренебреженія къ насущнымъ интересамъ массъ, Тютчевъ заговорилъ о „свободѣ“, какъ о чемъ-то благотворномъ и желанномъ:

Надъ этой темною толпой
Не пробужденнаго народа
Взойдешь ли ты когда, свобода,
Блеснетъ ли лучъ твой золотой?
Блеснетъ твой лучъ и оживить.
И сонъ разгонитъ, и туманы...

Но радостно-боевое настроеніе не продержалось у Тютчева даже до конца этой маленькой пьески; ему тотчасъ же вспоминаются „старыя, гнилыя раны, рубцы насилій и обидъ, растлѣныя душъ и пустота умовъ“, и онъ съ горечью невѣрія спрашиваетъ: „что ихъ излѣчить, кто прикроетъ?“ Поэтъ некрасовскаго типа отвѣтилъ бы: раны залѣчить болѣе справедливый строй жизни, а умственную и душевную пустоту заполнить духъ просвѣщенія и гражданственности. Уму и сердцу Тютчева, къ сожалѣнію, надежды эти говорили слишкомъ мало, и онъ всё упованія свои возлагаетъ на небо, на „ризу чистую Христа“.

Какъ и всё наши славянофилы 40-хъ годовъ, Тютчевъ глядѣлъ на православіе, какъ на величайшее и единственное сокровище русскаго народа. Законенъ, однако, вопросъ: изъ глубины ли непосредственно вѣрующей души вытекали собственныя правовѣрные убѣжденія поэта? По крайней мѣрѣ, сохранилось письмо его ко второй женѣ, гдѣ онъ откровенно признается, что пріобщается къ порядкамъ взыскательнаго православія лишь мимоходомъ (во время наѣздовъ въ родовую усадьбу) и „въ мѣру своего удобства“. Это не мѣшаетъ ему въ томъ же письмѣ умиляться и находить въ сѣдой старинѣ православія „величіе поэзіи необычайное“... Величіе поэзіи! Для эстетика 40-хъ годовъ признание въ высшей степени характерное!

Совершенно не зная Россіи и, по собственнымъ признаніямъ, не любя ея; охотнѣе и даже свободнѣе выражаясь (за исключеніемъ стиховъ) на французскомъ діалектѣ, въ литературѣ, какъ мы сказали уже, Тютчевъ является крайнимъ націоналистомъ-славянофиломъ.

Умомъ Россію не понять,
Аршиномъ общимъ не измѣрить,
У ней особенная стать —
Въ Россію можно только вѣрить!—

Кто не знаетъ этой, сочиненной Тютчевымъ и такъ пришедшей по вкусу нашимъ „патріотамъ“, высокоумной формулы? Нѣмцевъ, а особенно „родныхъ нѣмцевъ“, живущихъ въ Россіи, Тютчевъ-поэтъ ненавидитъ и презираетъ до глубины души. Усмиреніе польскаго мятежа въ 63 году и дѣятельность гр. Муравьева въ Литвѣ встрѣчаетъ съ яростнымъ восторгомъ и одобреніемъ.

Надъ русской Вильной стародавней
Родные теплятся кресты,

И звономъ мѣди православной
Всѣ огласились высоты.

.....
Преданье ожило святое
Первоначальныхъ лучшихъ дѣсь,
И только позднее былое
Здѣсь въ царство отошло тѣней.

Заподозрѣвать искренность поэта мы не можемъ ни въ малѣйшей степени; написанныя большею частью за границей, въ совершенно свободныхъ условіяхъ, и лишь много позже опубликованныя, многія стихотворенія Тютчева этого рода отличаются неподдѣльнымъ жаромъ и порой истиннымъ вдохновеніемъ. И, тѣмъ не менѣе, чувствуется, что стихи эти не были выраженіемъ глубоко продуманныхъ, задушевныхъ убѣжденій. Семейныя традиціи, вліянія окружающей среды, а главное—двадцатилѣтнее пребываніе за границей въ качествѣ дипломата, т. е. присяжнаго защитника не только русскихъ интересовъ, но и престижа русскаго имени, все это приучило поэта къ мысли, что слѣпой, не разсуждающій патріотизмъ, безъ оговорокъ принимающій все отечественное, все именуемое „русскимъ“,—первая и главная обязанность гражданина. Только ненормальнымъ, экзотическимъ воспитаніемъ Тютчева, который, несомнѣнно, обладалъ яснымъ провицательнымъ умомъ и недюжинной образованностью, можно, думается намъ, удовлетворительно объяснить и тѣ явные порой софизмы, какими полны, напр., его „политическія“ статьи. Банальность и мелкость политическихъ взглядовъ въ этихъ статьяхъ, отпечатокъ какой то казенщины, особенно бросаются въ глаза, когда вспоминаешь *живой* образъ поэта, какимъ его рисуютъ рассказы современниковъ. Осторожный, почти хитрый, искусившійся въ политикѣ дипломатъ-писатель враждебно относится къ праву человѣческаго „я“; *въ жизни*—Тютчевъ отличался, по выраженію Никитенка, „любезностью сердца“, „деликатнымъ, человѣческимъ вниманіемъ къ личному достоинству cadaго“. Въ теоріи—оплотъ реакціи, находившій доброе слово даже для николаевской цензуры, на практикѣ Тютчевъ являлся самымъ горячимъ и надежнымъ заступникомъ русской литературы въ официальномъ мірѣ.

Остановимся, однако, нѣсколько подробнѣе на его немногочисленныхъ, извѣстныхъ намъ, политическихъ статьяхъ. Первая изъ нихъ написана и напечатана въ Мюнхенѣ въ 1844 г.; вторая—докладная записка, поданная Тютчевымъ императору Ни-

колаю въ апрѣлѣ 1848 г., непосредственно послѣ мартовскихъ событій въ Германіи. Идея обѣихъ статей одна и та же. Россія прежде всего—христіанское государство; русскій народъ — христіанскій не только въ силу православія, но еще благодаря „чему-то болѣе задушевному, чѣмъ убѣжденію“. Онъ христіанинъ въ силу способности къ тому самопожертвованію и къ тому смиренію, которыя составляютъ какъ бы основу его нравственной природы; въ противоположность ему, Западъ охваченъ духомъ протеста и освобожденія, враждебнымъ христіанской религіи. „Самовластіе человѣческаго я, возведенное въ политическое и общественное право,—вотъ новое явленіе, получившее въ 1789 году названіе французской революціи“... Въ противовѣсъ этому, Тютчевъ выдвигаетъ единственное „законное“ право—право историческое. Только тому, что опирается на длинный рядъ вѣковъ въ прошломъ, должно принадлежать будущее. Россія свыше призвана охранять священные завѣты вѣнскаго конгресса 1815 года. Правда, общественное мнѣніе Германіи, и особенно ея печать, проникнуты ненавистью къ Россіи и ко всему русскому, но со стороны нѣмецкаго общества это лишь печальное недоразумѣніе... Ненавидѣть Россію за несовершенства ея соціальнаго строя, недостатки администраціи, угнетенное положеніе низшихъ классовъ,—по меньшей мѣрѣ несправедливо: гдѣ же нѣтъ недостатковъ? Развѣ, въ концѣ концовъ, „мы одни на бѣломъ свѣтѣ“, и развѣ Англія, напр., не имѣетъ своей Ирландіи?.. Во всякомъ случаѣ, въ современномъ обществѣ нѣтъ ни одного желанія, ни одной потребности (какъ бы искренни и законны они ни были), которыхъ апокалипсическій звѣрь революціи не исказилъ бы и не превратилъ въ ложь! Но истина восторжествуетъ. Русское общество твердо увѣрено, что Германія еще опомнится и вернется къ только что разрушенной ею политической системѣ, въ которой одной спасеніе. Одно только тревожитъ поэта-дипломата: какъ бы злоторный духъ протеста не перекинулся и на Австрію, гдѣ такъ много родственныхъ и единовѣрныхъ намъ племенъ. „И, Боже милосердый, — патетически заключаетъ онъ,—какова была бы участь этихъ племенъ, еслибы въ борьбѣ съ ненавистными силами они покинуты были единственной властью, къ которой они взываютъ въ своихъ молитвахъ? Нѣтъ, это невозможно... Тысячелѣтнія предчувствія не могли обманывать. Россія, страна вѣрующая, не ощутитъ недостатка вѣры въ

рѣшительную минуту. Она не устрашится величія своего призванія и не отступитъ передъ своимъ назначеніемъ“.

Передъ нами, такимъ образомъ, прямой призывъ къ злополучной венгерской кампаніи, какъ извѣстно, цѣною тысячъ русскихъ жизней спасшей на время Австрію, но не доставившей Россіи ни выгоды, ни славы въ потомствѣ. Свою защиту историческаго права (которое специально для Россіи заключалось, между прочимъ, и въ крѣпостномъ правѣ) Тютчевъ аргументируетъ какими-то тысячелѣтними предчувствіями“, ссылками на русское „общественное мнѣніе“ (котораго и знать не можетъ, проживъ больше двадцати лѣтъ за границей!), наконецъ, на пресловутую, прирожденную, будто бы, нашему народу любовь съ самопожертвованію (карась любить, чтобы его жарили въ сметанѣ)...

Что-то затхлое, мертвое слышится во всемъ этомъ, и тѣмъ большій интересъ пріобрѣтаетъ извѣстное письмо Тютчева (1857 г.) къ члену государственнаго совѣта, а позже—канцлеру Горчакову „О цензурѣ въ Россіи“. Напомнимъ читателямъ, что записка эта отдѣлена отъ предыдущихъ статей Тютчева не только севастопольскимъ крахомъ, обнаружившимъ всю несостоятельность той системы опеки, которую за семь лѣтъ передъ тѣмъ поэтъ отстаивалъ съ такимъ софистическимъ краснорѣчіемъ, но и рядомъ лѣтъ, прожитыхъ имъ на родинѣ, среди пробуждавшагося русскаго общества.

Тютчевъ начинается съ мужественнаго признанія: „Намъ было жестоко доказано, что нельзя налагать на умы безусловное и слишкомъ долгое стѣсненіе и гнетъ, безъ существеннаго вреда для всего общественнаго организма. Видно, всякое ослабленіе и замѣтное умаленіе умственной жизни въ обществѣ неизбѣжно влечетъ за собою усиленіе матеріальныхъ наклонностей и гнусно-эгоистическихъ инстинктовъ. Даже сама власть съ теченіемъ времени не можетъ уклониться отъ неудобства подобной системы. Вокругъ той сферы, гдѣ она соприкасается, образуется громадная умственная пустыня, и правительственная мысль, не встрѣчая извиѣ ни контроля, ни указанія, ни малѣйшей точки опоры, кончаетъ тѣмъ, что приходитъ въ смущеніе и изнемогаетъ подъ собственнымъ бременемъ еще прежде, чѣмъ бы ей суждено пасть подъ ударами злополучныхъ событій. Къ счастью, этотъ жестокій урокъ не пропалъ даромъ. Здравый смыслъ и благодушная природа царствующаго императора (Александра II) уразумѣли, что наступила

пора ослабить чрезвычайную суровость предшествующей системы и вновь даровать умамъ недостававшій имъ просторъ“. Послѣ этого чистосердечнаго признанія странно и удивительно слышать изъ устъ Тютчева слѣдующее сужденіе о николаевской цензурѣ: „Я не питаю особенно враждебнаго чувства къ цензурѣ, хотя она въ эти послѣдніе годы тяготѣла надъ Россіей, какъ истинное общественное бѣдствіе. Признавая ея своевременность и относительную пользу, я, главнымъ образомъ, обвиняю ее въ неудовлетворительности въ смыслѣ нашихъ дѣйствительныхъ нуждъ и интересовъ“.—Онъ не питаетъ враждебнаго чувства къ „истинному общественному бѣдствію“! Что это—отзвукъ стараго, только что потерпѣвшаго жестокое крушеніе, образа мыслей, боязнъ довести идею до ея логическаго конца, или же просто—уклончивый слогъ опытнаго дипломата?..

Любопытно и дальнѣйшее содержаніе письма. Россія наводнена „Колоколомъ“ Герцена и другими революціонными изданіями. Это—фактическая отмѣна цензуры, только сдѣланная во имя вреднаго и враждебнаго вліянія. Съ этимъ зломъ необходимо бороться. И Тютчевъ забываетъ, что „пора даровать умамъ недостающій имъ просторъ“; въ запискѣ о цензурѣ онъ, какъ-будто, и хочетъ, и не хочетъ свободы печати. Русское правительство, по его мнѣнію, нисколько не менѣе церкви призвано печься о душахъ своихъ подданныхъ, и потому, не уничтожая вполнѣ цензуры, оно должно только въ сношеніяхъ съ печатью взять на себя роль серьезнаго руководителя умами; а для этого слѣдуетъ создать „свободную“ правительственную газету... Литературные таланты, думаетъ Тютчевъ, притекутъ къ такому изданію въ изобиліи, потребовавъ лишь гарантіи той доли свободы, какая необходима для серьезной и дѣйствительной борьбы съ подпольными органами. Однако, тутъ же Тютчевъ и оговаривается (какъ бы испугавшись собственной смѣлости), что въ благодарность за оказанное правительствомъ довѣріе издатели новой газеты, естественно, проявятъ сдержанность и умѣренность *еще большія*, чѣмъ всѣ прочія изданія государства... Но если такъ, то зачѣмъ же было и огородъ городить?

Такимъ образомъ, мы видимъ, что общественно-политическіе взгляды Тютчева не отличались ни особенной глубиной, ни даже устойчивостью, и если стихотворенія его на политическія темы производятъ несравненно лучшее, сильнѣйшее впечатлѣніе, то

объяснять это приходится лишь крупнымъ поэтическимъ талантомъ автора. Мы упоминали уже о стихотвореніи „Декабристамъ“. Незрѣлость мысли юнаго поэта, двойственность или какое-то безразличіе настроенія („развратило“ декабристовъ, по мнѣнію Тютчева, то же самое „самовластье“, мечъ котораго поразилъ ихъ)—все это сразу бросается въ глаза,—и однако нельзя не назвать великолѣпными хотя бы, напр, слѣдующихъ стиховъ:

О, жертвы мысли безразсудной!
Вы уповали, можетъ быть,
Что станеть вашей крови скудной.
Чтобъ вѣчный полюсъ растопить?
Едва дымясь, она сверкнула
На вѣковой громадѣ льдовъ:
Зима желѣзная дохнула—
И не осталось и слѣдовъ!

Превосходно также, по силѣ негодованія, стихотвореніе, написанное Тютчевымъ „По случаю приѣзда австрійскаго эрцгерцога на похороны императора Николая“:

Нѣтъ, мѣра есть долготерпѣнью,
Безумству также мѣра есть...
Клянусь его вѣнчанной тѣнью—
Не все же можно перенести!
И какъ не грянетъ отовсюду
Одинъ всеобщій кличъ тоски:
Прочь, прочь австрійскаго Іуду
Отъ гробовой его доски!
Прочь съ ихъ предательскимъ лобзаньемъ!
И весь апостольскій ихъ родъ
Будь заклеименъ однимъ прозваньемъ:
Искаріотъ, Искаріотъ!

Къ 1863 году относятся извѣстныя тютчевскія стихотворенія, внушенныя вторымъ польскимъ возстаніемъ и дѣятельностью въ Вильнѣ гр. Муравьева. Читаешь ихъ—и кажется, что это писалъ не тотъ поэтъ, который въ стихотвореніи „На взятіе Варшавы въ 1831 году“ обращался къ „орлу одноплеменному“, къ „горестной Варшавѣ“ съ слѣдующими благородными словами:

Вѣрь слову русскаго народа:
Твой пепелъ мы свято сбережемъ,
И наша общая свобода,
Какъ фениксъ, возродится въ немъ!

Фениксъ не вышелъ изъ пепла въ многолѣтній періодъ, послѣдовавшій за событіями 1831 года,—Тютчевъ самъ констатировалъ это въ письмѣ къ Горчакову о цензурѣ; и, тѣмъ не менѣе, онъ обращается теперь къ полякамъ со словами:

Нѣтъ, никогда такъ дерзко правду Божью
Людская кривда къ бою не звала!

Они—„предатели“ и даже — „разбойники“... Гр. Муравьеву поэтъ слагаетъ пламенные дифирамбы, а кн. А. А. Суворова, съ неодобреніемъ относившагося, какъ извѣстно, къ суровымъ мѣрамъ виленскаго ген.-губернатора, осыпаетъ злыми сарказмами:

Гуманный внукъ воинственнаго дѣда,
Простите намъ, нашъ симпатичный князь,
Что русскаго чествуемъ мы «людоѣда»,
Мы, русскіе, Европы не спросяся!

Этому настроенію Тютчевъ не измѣняетъ и три года спустя, когда, по случаю смерти того же Муравьева, пишетъ:

На гробовой его покровъ
Мы, вмѣсто всѣхъ вѣнковъ, кладемъ слова простыя:
Не много было-бъ у него враговъ,
Когда бы не твои, Россія!

И, что всего удивительнѣе,—въ это же время, тою же рукою Тютчевъ пишетъ „Два единства“ и „Encyclica“. Онъ возмущается „оракуломъ новыхъ дней“ Бисмаркомъ, провозгласившимъ, что „единство народовъ можетъ быть спаяно лишь кровью и желѣзомъ“; „но мы попробуемъ спаять его любовью“,—самодовольно восклицаетъ поэтъ,—„а тамъ увидимъ, что прочнѣй!“ Не меньше негодуетъ онъ и противъ папы за „роковое слово“, которое должно погубить его: „свобода совѣсти есть бредъ!“.

Словомъ, оставаясь вѣрнымъ собственному парадоксу, онъ отъказывается мѣрить Россію общимъ съ Европой аршиномъ.

II.

Словно самъ сознавая свою отчужденность отъ реальной жизни, Тютчевъ главные усилія своего крупнаго таланта направилъ туда, гдѣ могъ быть всего проникательнѣе и сильнѣе,—въ область философскаго анализа и самоуглубленія.

Мы сказали уже, что Тютчевъ былъ баловнемъ фортуны.

Жизнь его прошла среди всякаго рода житейскихъ удачъ, въ довольствѣ и счастіи. Рѣзкимъ поэтому диссонансомъ кажется, на первый взглядъ, та нерадостная, мрачно-скептическая нота, которая звучитъ въ задушевнѣйшихъ его стихотвореніяхъ. Въ литературѣ встрѣчается, правда, не мало такихъ видимыхъ противорѣчій между жизнью автора и его творчествомъ. Извѣстно, что философъ Гартманъ, внѣшняя жизнь котораго отличалась безоблачнымъ счастьемъ, явился творцомъ системы, проповѣдующей безнадежный пессимизмъ, и, наоборотъ, Дюрингъ, котораго постигло одно изъ величайшихъ бѣдствій—слѣпота зрѣнія,—философъ-оптимистъ. Повидимому, любимцы судьбы, которыхъ уже при рожденіи феи надѣляютъ всеми дарами, часто не получаютъ главнаго дара—умѣнья быть счастливымъ, и, можетъ быть, только подъ ударами жизни, въ борьбѣ крѣпнеть въ человѣкѣ настоящая жизненная энергія, создается бодрое, свѣтлое міросозерцаніе.

Одинъ мрачный призракъ, одинъ тяжелый кошмаръ съ раннихъ лѣтъ тяготѣетъ надъ мечтами и помыслами нашего поэта: мысль о темномъ, безумномъ, беспорядочномъ доміровомъ хаосѣ... Бездна, надъ которою носился нѣкогда Духъ Божій, не исчезла совершенно изъ міра послѣ его созданія. Хаотическое начало, скрывшись подъ яркой жизнерадостной оболочкой внѣшняго міра, оставило неизгладимый слѣдъ и въ глубинѣ нашей собственной души. Меркнетъ день, наступаетъ ночь—и сбрасываетъ съ природы ея златотканый покровъ:

И бездна намъ обнажена
Съ своими страхами и мглами,
И нѣтъ преградъ межъ ей и нами..

Внѣшній міръ уходитъ,—

И человѣкъ, какъ сирота бездомный.
Стоитъ теперь и немоощенъ, и голъ,
Лицомъ къ лицу предъ пропастію темной.
И чудится давно минувшимъ сномъ
Ему теперь все свѣтлое, живое,
И въ чуждомъ, неразгаданномъ ночномъ
Онъ узнаетъ наслѣдье роковое.

Правда, самъ по себѣ хаосъ не есть зло—онъ страшенъ намъ лишь съ точки зрѣнія нашего временнаго человѣческаго сознанія.

Когда пробьѣтъ послѣдній часъ природы.
 Разрушится составъ частей земныхъ.
 Все зримое опять покроютъ воды —
 И Божій ликъ изобразится въ нихъ.

Такимъ образомъ, новое превращеніе всего существующаго въ доміровое хаотическое состояніе есть, собственно, идеальное соединеніе съ Божествомъ и, слѣдовательно, должно быть признано даже желательнымъ. И Тютчевъ, какъ извѣстно, даетъ своему Хаосу нѣжный эпитетъ „родимаго“, а страшную пѣсню о немъ ночной бури сравниваетъ съ „любимой повѣстью“; онъ называетъ „святою“—ночь, это самое страшное, но и самое близкое къ хаосу явленіе природы. Тѣмъ не менѣе, человѣкъ не въ силахъ преодолѣть естественное чувство ужаса передъ нимъ, „древнимъ“, смутнымъ, чудовищно огромнымъ... Не только во мракѣ ночи бродитъ это страшное, хотя и родное людямъ начало зла, оно таится и въ блескѣ дня, подъ безоблачнымъ небомъ, среди аромата цвѣтовъ, и человѣка порой тянетъ къ нему, какъ маленькую птичку къ смертоносному взгляду змѣи.

Люблю сей Божій гнѣвъ! Люблю сіе, незримо
 Во всемъ разлитое таинственное зло!

Какъ земной шаръ оmyвается кругомъ водами океана, такъ наша земная жизнь окружена отовсюду снами и тайнами, и ночью прибой ихъ лишь явственнѣе слышенъ. Вотъ, —

... въ пристани волшебный ожилъ челнъ...
 Приливъ растеть и быстро насъ уносить
 Въ непзмѣримость темныхъ волнъ.
 Небесный сводъ, горящій славой звѣздной,
 Таинственно глядитъ изъ глубины,
 И мы плывемъ, пылающе бездной
 Со всѣхъ сторонъ окружены.

Эта „пылающая бездна“, этотъ міръ сновъ и тайнъ и составляетъ подлинную сущность міра, въ которомъ мы живемъ. Все же прочее, что обыкновенно зовется жизнью, есть лишь свѣтлый призракъ, золотой покровъ, волею боговъ брошенный на бездну для утѣшенія слабыхъ смертныхъ...

И прежде всего, призрачно само „я“—человѣческое, которое мы—въ забывчивости—мыслимъ, какъ нѣчто самостоятельное и независимое. Подобно весеннимъ льдинамъ, плывущимъ по рѣкѣ и такъ ярко сверкающимъ на солнцѣ, всѣ человѣческія индивиду-

дуальности, великія и малыя—одинаково, утратятъ въ концѣ концовъ настоящій свой образъ и сольются въ роковой безднѣ. Личнаго безсмертія нѣтъ, есть лишь безсмертіе родовое:

И снова будетъ все, что есть,
И снова розы будутъ цвѣсть
И терны тожъ...
Но ты, мой бѣдный, блѣдный цвѣтъ,
Тебѣ ужъ возрожденія нѣтъ:
Не расцвѣтешь!
Ты сорванъ былъ моей рукой,
Съ какимъ безумствомъ и тоской—
То знаетъ Богъ...
Останься-жъ на груди моей,
Пока любви не замеръ въ ней
Послѣдній вздохъ!

Жизнь человѣческую можно сравнить даже не съ „свѣтлымъ дымомъ, блестящимъ при лунѣ“, а съ „тѣнью, бѣгущею отъ дыма“. Мы рождены для власти надъ природой,—говорить гордость человѣческая:—свободные, мы—перлъ творенія, но... вотъ, съ поляны поднялся коршунъ, неразумный степной хищникъ. Какъ легко и плавно -взвился онъ! Все выше, выше—и, наконецъ, ушелъ за небосклонъ...

Природа-мать ему дала
Два мощныхъ, два живыхъ крыла;
А я здѣсь, въ потѣ и въ пыли,
Я—царь земли—приросъ къ землѣ!..

Но человѣкъ не одинокъ въ мірѣ, онъ не безпомощная жертва въ борьбѣ съ темной стихіей. Онъ могучъ общеніемъ съ себѣ подобными, и у него есть великое орудіе для этого общенія—слово, котораго лишена неразумная тварь. Такъ ли это?.. Выразить во всей полнотѣ и ясности то, что дѣйствительно происходитъ въ душѣ, наше слово, въ сущности, бессильно:

Какъ сердцу высказать себя?
Другому какъ понять тебя?
Пойметъ ли онъ, чѣмъ ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь!

Не потому ли Тютчевъ, шутиво отказываясь, подъ предлогомъ лѣни, сдѣлать въ сборникѣ своихъ стиховъ необходимыя поправки, въ сущности, вполне серьезно писалъ Погодину:

Въ нашъ вѣкъ стихи живутъ два-три мгновенья,
Родятся утромъ—къ вечеру умрутъ.
Чего жъ тутъ толковать? Рука забвенья
Исправитъ ихъ чрезъ нѣсколько минутъ.

Этимъ, быть можетъ, объясняется въ немъ и недостатокъ заботливости о сохраненіи своихъ произведеній для потомства,—черта столь рѣдкая въ писателѣ...

Но послѣдуюмъ за Тютчевымъ дальше въ его безпощадномъ анализѣ. У человѣка есть мысль и ея роскошное созданіе, наша гордость—наука. Однако, въ концѣ концовъ, такъ ли ужъ огромны успѣхи науки, такъ ли ужъ безконечны ея возможныя въ будущемъ завоеванія? Струя фонтана взлетаетъ вверхъ на огромную высоту и, сверкая на солнцѣ всѣми цвѣтами радуги, обольщается, быть можетъ, мечтой, что не будетъ конца ея гордому полету; а конецъ, между тѣмъ, такъ близокъ. Достигнувъ завѣтной черты, фонтанъ снова „пылью огнецвѣтной ниспастъ на землю осужденъ“. Такъ же жадно рвется къ небу и „смертной мысли водометъ“;

Но длань незримо-роковая,
Твой лучъ упорный предомая,
Свергаетъ въ брызгахъ съ высоты...

Итакъ, мысль, какъ и слово, обладая призрачнымъ могуществомъ, есть лишь призрачное благо.

Дума за думой, волна за волной—
Два проявленія стихій одной!
Въ сердцѣ ли тѣсно, въ безбрежномъ ли морѣ,
Здѣсь—въ заключеніи, тамъ—на просторѣ,
Тотъ же все вѣчный прибой и отбой,
Тотъ же все призракъ тревожно-пустой!

Но, можетъ быть, мостомъ черезъ „пылающую бездну“ могло бы явиться чувство, и прежде всего—любовь?

Съ какою нѣгою, съ какой тоской влюбленный
Твой взоръ, твой страстный взоръ изнемогалъ на немъ!
Безмысленно-нѣма, нѣма, какъ опаленный
Небесной молніи огнемъ,
Вдругъ, отъ избытка чувствъ, отъ полноты сердечной,
Вся трепетъ, вся въ слезахъ, ты повергалась ницъ.
Но скоро добрый сонъ, младенчески-безпечный,
Сходилъ на шелкъ твоихъ рѣсницъ.
И на руки къ нему глава твоя склонялась,
И матери нѣжнѣй тебя легѣлъ онъ...

Къ сожалѣнію, любовь—чувство, менѣе всего прочное...

А днесь?.. О, если бы тогда тебѣ приснилось,
Что будущность для васъ обонхъ берегла:
Какъ уязвленная, ты бѣ съ воплемъ пробудилась,
Иль въ сонъ нной бы перешла!

Мало того, что любовь скоро проходить: она, къ тому же, еще и слѣпая, темная страсть, сама по себѣ злое начало.

О, какъ *убійственно* мы любимъ!
Какъ въ буйной слѣпотѣ страстей
Мы то всего вѣрнѣе губимъ,
Что сердцу нашему милѣй!

И Тютчевъ рассказываетъ потрясающую повѣсть нѣжной, пламенной и вмѣстѣ роковой любви. У нея былъ „волшебный взоръ и рѣчи, и смѣхъ младенчески-живой“. И вотъ, не прошло года, какъ поблекли „розы ланитъ“, угасъ блескъ очей, исчезла очаровательная улыбка устъ... „Все опалили, выжгли слезы горючей влагою своей“... И одно только осталось — „боль ожесточенья, боль безъ отрады и безъ слезъ!“

Не мудрено, что любовь занимаетъ въ поэзіи Тютчева такое третьестепенное, прямо ничтожное мѣсто. Это—явленіе мрачное, сердцецъ „слиянье роковое и поединокъ роковой“, и чѣмъ одно изъ любящихъ сердецъ нѣжнѣе, тѣмъ скорѣе оно изнаеетъ и истаеетъ...

Читатель уже обратилъ, вѣроятно, вниманіе на эпитетъ „роковой“, столь излюбленный Тютчевымъ. Это не случайность, не первое попавшееся слово, которымъ поэтъ замѣняетъ болѣе точное, но не поддающееся выраженію, опредѣленіе. Понятіе о рокѣ, тяготящемъ надъ жизнью человѣка и надъ всѣмъ мірозданіемъ, естественно вытекаетъ изъ глубоко-пессимистической философіи Тютчева.

Изъ края въ край, изъ града въ градъ
Судьба, какъ вихрь, людей мятетъ,
И радъ ли ты, или не радъ—
Что нужды ей?.. Впередъ, впередъ!

Знакомый звукъ доносится до нашего слуха—любви послѣднее прощанье... Оглянуться бы, остановиться, припомнить дорогой образъ... Нѣтъ! раздается грозный голосъ:

Не время выкликать тѣней,
И такъ ужъ мраченъ этотъ часъ!

Усопшихъ образъ тѣмъ страшнѣй,
 'Тѣмъ въ жизни былъ милѣй для насъ!

Слѣпыми стоимъ мы передъ судьбою, и—

Кто смѣетъ молвить: «До свиданья»!
 Черезъ бездну двухъ или трехъ дней?..

Констатируя органическое родство души человѣческой съ міромъ безсознательнаго (мы—„лишь греза природы“, по картинному выраженію Тютчева), поэтъ съ недоумѣніемъ и скорбью останавливается передъ одной неразрѣшимой для него загадкой:

Невозмутимый строй во всемъ,
 Созвучье полное въ природѣ,—
 Лишь въ нашей призрачной свободѣ
 Разладъ мы съ нею сознаемъ.
 Откуда, какъ разладъ возникъ?
 И отчего же въ общемъ хорѣ
 Душа не то поетъ, что море,
 И рошчетъ мыслищій тростникъ?

Образъ этого вѣкового разлада человѣка съ природой Тютчевъ даетъ намъ въ удивительномъ стихотвореніи „Итальянская вилла“. Окруженная кипарисной рощей, больше двухъ столѣтій мирно дремала покинутая людьми, заброшенная вилла.

... И много лѣтъ и теплыхъ южныхъ зимъ
 Провѣяло надъ нею полусонной,
 Не тронувши ея крыломъ своимъ.
 По-прежнему фонтанъ въ углу лепечетъ,
 Подъ потолкомъ гуляетъ вѣтерокъ,
 И ласточка влетаетъ и щебечетъ...
 И спитъ она, и сонъ ея глубокъ.
 И мы вошли: все было такъ спокойно,
 Такъ все отъ вѣка мирно и темно!
 Фонтанъ журчалъ; недвижимо и стройно
 Сосѣдній кипарисъ глядѣлъ въ окно.
 Вдругъ, все смутилось: судорожный трепетъ
 По вѣткамъ кипариснымъ пробѣжалъ;
 Фонтанъ замолкъ, и нѣкій чудный аспектъ,
 Какъ-бы сквозь сонъ, невнятно прошепталъ.
 Что это, другъ! Иль злая жизнь не даромъ,—
 Та жизнь, увя, что въ насъ тогда текла,
 Та злая жизнь съ ея мятежнымъ жаромъ—
 Черезъ порогъ завѣтный перешла?..

Появленіе людей съ ихъ „злою жизнью“ и „мятежнымъ жаромъ“ прервало очарованный сонъ мирнаго уголка. И такъ

всегда и вездѣ. Жизнь природы, со всѣмъ ея величіемъ и очарованіемъ, мертва для большинства людей:

Они не видятъ и не слышатъ,
Живутъ въ семъ мірѣ, какъ впотѣмахъ,
Для нихъ и солнца, зная, не дышутъ,
И жизни нѣтъ въ морскихъ волнахъ.
Лучи къ нимъ въ душу не сходили,
Весна въ груди ихъ не цвѣла,
При нихъ лѣса не говорили,
И ночь въ звѣздахъ нѣма была.
И, языками неземными
Волнуя рѣки и лѣса,
Въ ночи не совѣщалась съ ними
Въ бесѣдѣ дружеской гроза!

Все въ природѣ, къ чему ни прикоснется рука этихъ слѣпыхъ и глухихъ, утрачиваетъ свой первоначально чистый обликъ или же безвозвратно гибнетъ (см. „Не даромъ милосерднымъ Богомъ пугливой птичка создана“). Съ своей стороны, и природа платитъ имъ тою же монетой равнодушія, если не прямой враждебности, только исключительнымъ, гениальнымъ натурамъ (Колумбъ, Наполеонъ) откликаясь сочувственными голосами, открывая имъ свои вѣковыя тайны. Къ числу такихъ счастливыхъ принадлежатъ и поэты... И среди нихъ, — скажемъ мы отъ себя, — лишь очень и очень немногіе обладаютъ такимъ тонкимъ чутьемъ природы, пониманіемъ сокровеннѣйшихъ глубинъ ея жизни, какими блистаетъ муза Тютчева. Здѣсь невольно напрашивается на сравненіе другой замѣчательный пѣвецъ природы и внушаемыхъ ею трудно уловимыхъ настроеній. Въ непосредственности умѣнья сливаться съ природой, сливаться почти до превращенія въ растительный организмъ, Фетъ, думается намъ, превосходитъ Тютчева: зависитъ это, быть можетъ, отъ крайней несложности душевной организаціи Фета, этого старца-ребенка... Тютчевъ, напротивъ, — необычайно сложная и глубокая душа, умъ, философски мыслящій; никогда и ни въ какомъ положеніи не умѣетъ онъ забыть, что несчастный „царь“ природы осужденъ на вѣковѣчный, непримиримый разладъ съ нею... Фетъ, „пропадающій отъ тоски и лѣни“ въ душномъ зноѣ лѣтняго полдня и теряющій въ концѣ-концовъ способность различить — въ ушахъ ли у него раздается звонъ, или то пчела гудитъ на цвѣткѣ, и Тютчевъ, ощущающій въ вечерней тишинѣ, какъ вся природа вхо-

дять въ его „я“, и какъ это „я“ присутствуетъ въ каждой частицѣ природы,—это двѣ величины, несоизмѣримо-различныя.

Мотылька полетъ незримый
Слышенъ въ воздухѣ nocturno...
Часъ тоски невыразимой!
Все во мнѣ, и я во всемъ!
Сумракъ тихій, сумракъ сонный,
Лейся въ глубь моей души,
Тихій, томный, благовонный,
Все залей и утиши!
Чувства мглой самозабвенья
Переполни черезъ край,
Дай вкусить уничтоженья,
Съ міромъ дремлющимъ смѣшай!

Передъ нами мольба, а не картина беззавѣтнаго сліянія съ жизнью природы. Удастся ли поэту достигнуть желанной „мглы самозабвенья“, отрѣшиться отъ своей вѣчно тоскующей, вѣчно рефлексирующей личности,—остается неизвѣстнымъ.

III.

Въ этомъ всесокрушающемъ анализѣ, казалось бы, должна погибнуть всякая радость жизни. Разъ все, чѣмъ гордится человекъ, такъ жалко-ничтожно, и самая личность его сжата такими тѣсными предѣлами, разъ такъ безнадежно оторвался онъ отъ матери-природы и, тѣмъ не менѣе, попрежнему находится во власти ихъ общаго праотца—„хаоса“, то каковъ же смыслъ существованія? Къ чему стремиться? Въ чемъ искать утѣшенія? Единственнымъ логическимъ выводомъ является стремленіе къ небытію...

Какъ птичка раннею зарей,
Міръ, пробулившись, встрепенулся...
Ахъ, лишь одной главы моей
Сонъ благодатный не коснулся!
Хоть свѣжесть утренняя вѣетъ
Въ моихъ всклокоченныхъ власахъ,
На мнѣ, я чую, тяготѣетъ
Вчерашній зной, вчерашній прахъ!
О, какъ произвѣтельны и дики,
Какъ ненавистны для меня—
Сей шумъ, движеніе, говоръ, клики
Младого, пламеннаго дня.

О какъ лучи его багровы,
 Какъ жгутъ они мои глаза!
 Ночь, ночь! о, гдѣ твои покровы,
 Твой тихій сумракъ и роса?..

Но натура сильная, необыкновенно-жизненная, Тютчевъ, къ счастью русской литературы, органически неспособенъ былъ остановиться на такомъ кладбищенскомъ настроеніи. Мрачныя и злыя стороны бытія, безстрашно раскрываемыя его же собственнымъ жестокимъ анализомъ, не импонировали ему настолько, чтобы онъ чувствовалъ себя раздавленнымъ ими, уничтоженнымъ. Въ этой глубоко-скептической душѣ таилось всегда слишкомъ много непосредственной любви къ той самой „неполной радости земной“, которую она такъ безощадно изобличала, къ свѣтлому призраку жизни, „златотканному покрову“, хотя бы послѣдній и не закрывалъ отъ ея глазъ безотрадной сущности міра. Тютчева неодолимо привлекаетъ въ природѣ все грандіозное, мощное, бурное, и, напр., гроза—любимая тема его стихотвореній. „Какъ *веселъ* грохотъ лѣтнихъ бурь!“—говоритъ онъ,—и не мракомъ, а свѣжимъ, свѣтлымъ потокомъ врывается къ намъ въ душу этотъ грозовой вихрь, который

..... опрометчиво-безумно
 Вдругъ на дубраву набѣжить,
 И вся дубрава задрожитъ
 Широколиственно и шумно!

Характерно въ высшей степени, что ни у одного изъ крупныхъ поэтовъ русскихъ не найдется такого количества стихотвореній, посвященныхъ *веснѣ*, какъ именно у Тютчева, поэзія котораго подернута такимъ траурнымъ флеромъ. Внѣшній нарядъ этой поэзіи переливаетъ всѣми цвѣтами радуги, и обиліе въ ней понятій и словъ, имѣющихъ какое-либо отношеніе къ солнцу, утру, дню, веснѣ, молодости, жизни—поражаетъ всякаго, кто только начнетъ знакомиться съ нею.

Люблю грозу въ началѣ мая,
 Когда весенній первый громъ.
 Какъ бы рѣзая и играя,
 Грохочетъ въ небѣ голубомъ.
 Гремятъ раскаты молодые!
 Вотъ дождикъ брызнулъ, пыль летитъ..
 Повисли перлы дождевые,
 И солнце нити золотитъ.

Съ горы бѣжить потокъ проворный,
Въ лѣсу не молкнетъ птичій гамъ,
И гамъ лѣсной, и шумъ нагорный—
Все вторитъ весело громамъ!
Ты скажешь: вѣтрена Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящій кубокъ съ неба,
Смѣясь, на землю пролила!..

Что за ослѣпительная роскошь звуковъ и красокъ, свѣжихъ и молодыхъ, какъ сама весна! А между тѣмъ, это хрестоматическое стихотвореніе взято нами совершенно наудачу. Знаменитыя „Весеннія воды“ отличаются точь-въ-точь тѣми же достоинствами:

Еще въ поляхъ бѣлѣтъ сныгъ,
А воды ужъ весной шумятъ,
Блуждѣтъ и будятъ сонный берегъ,
Блуждѣтъ и блещутъ, и гласятъ.

А за этими гонцами „молодой“ весны „весело толпится румяный, свѣтлый хороводъ тихихъ, теплыхъ майскихъ дней“...

Къ картинамъ утра и дня Тютчевъ питаетъ особенное пристрастіе, но и въ изображеніяхъ ночи рѣдко встрѣтите у него полный мракъ и глухую тишину.

Тихой ночью, позднимъ лѣтомъ,
Какъ на небѣ звѣзды рдѣютъ,
Какъ подъ сумрачнымъ ихъ свѣтомъ
Нивы дремлющія зрѣютъ!
Усыпительно-безмолвны,
Какъ блестятъ въ тиши ночной
Золотистыя ихъ волны,
Ублѣенныя луной!

Никто лучше Тютчева не умѣетъ изображать грозное и чудесное, что таитъ въ себѣ ночь (она, „какъ звѣрь стоокій, глядитъ изъ каждаго куста“; зарницы, „какъ демоны глухонѣмые, ведутъ бесѣду межъ собой“); но сердечныя симпатіи его принадлежать „веселому“, „пышно-золотому“ дню. Удивительно передаетъ онъ ужасъ, внушаемый картиною Альпъ ночью, и радость наступленія утра:

Сквозь лазурный сумракъ ночи
Альпы снѣжныя глядятъ:
Помертвѣлыя ихъ очи

*Людистымъ ужасомъ разятъ.
Властью нѣкой обаянны,
До восшествія зари
Дремятъ, грозны и туманны,
Словно падшіе цари...
Но востокъ лишь заалѣетъ—
Чарамъ гибельнымъ конецъ:
Первый въ небѣ просвѣтитъ
Брата старшаго вѣнецъ.
И съ главы большого брата
На меньшихъ бѣжитъ струя,
И блещитъ въ вѣнцахъ изъ злата
Вся воскресшая семья...*

Восходъ солнца, по его опредѣленію, — „благовѣсть всемірный побѣдныхъ солнечныхъ лучей“. Вотъ смѣлый образъ, какъ нельзя болѣе характерный для Тютчева, съ его любовью къ жизни и свѣту!

Зима, какъ естественный символъ смерти, сравнительно рѣдко фигурируетъ въ стихахъ Тютчева; но онъ любитъ раннюю осень, ту краткую, но дивную пору, когда „весь день стоитъ какъ-бы хрустальный, и мучезарны вечера“, когда повсюду *блещитъ* паутина, „и льется чистая и теплая лазурь на отдыхающее поле“...

Непосредственная радость бытія, того самаго бытія, которое при свѣтѣ философіи представляется столь мало цѣннымъ въ своей призрачности и предѣльности, — у Тютчева чувство интенсивно-живое и глубокое, и прежде всего это — чувство природы и ея безсмертной красоты.

Для нашего поэта природа не мертвая красивая декорація, на фонѣ которой движется человѣческая жизнь; онъ вѣритъ, что „въ ней есть душа, въ ней есть свобода, въ ней есть любовь, въ ней есть языкъ“. Правда, подъ ея прекрасными формами для насъ часто таится смерть; „благоуханія, цвѣты и голоса“ часто являются лишь усладителями послѣдней нашей муки... Но, разъ созерцаніе красоты въ ея непримѣсномъ, чистомъ отъ зла видѣ фатально-недоступно нашимъ чувствамъ и сознанію, то — да здравствуетъ „сей Божій гнѣвъ“! Да здравствуетъ реальная, несовершенная природа! Если за чертой жизни людей ждуть глухія, безмолвныя могилы, то вѣдь и „звѣздные круги“ боговъ равно безмолвны? Предѣльность земного существованія, съ его борьбой, трудомъ и тревогами, не завиднѣе ли, поэтому, мертвенной безконечности, удѣла небожителей?

Пускай Олимпійцы завистливымъ окомъ
 Глядятъ на борьбу непреклонныхъ сердецъ:
 Кто, ратуя, палъ, побѣжденный лишь рокомъ,
 Тотъ вырвалъ изъ рукъ ихъ побѣдный вѣнецъ!

Пессимистъ-философъ, Тютчевъ страстно любитъ жизнь, всѣми силами сердца жаждетъ полноты жизни и мучительно томится „въ однообразьи нестерпимомъ“ своего существованія.

О, небо, если бы хоть разъ
 Сей пламень развился по волѣ,
 И, не томясь, не мучась долѣ,
 Я просіялъ бы и погасъ!

Не тотъ же ли это болѣзненно протестующій крикъ, который десять лѣтъ спустя вырвался изъ груди несчастнаго Полежаева:

Но зачѣмъ же вы убиты,
 Силы мощныя души?
 Или были вы сокрыты
 Для бездѣйствія въ тиши?
 Или не было вамъ воли—
 Въ этой пламенной груди,
 Какъ въ широкомъ чистомъ полѣ,
 Пышнымъ цвѣтомъ расцвѣсти?..

Къ сожалѣнію, какъ мы уже говорили, условія духовнаго развитія Тютчева не могли дать полнаго и правильнаго исхода „мощнымъ силамъ души“; такъ называемая политическая поэзія его вдохновлялась, какъ мы видѣли, не жизненными и не всегда гуманными идеалами.

Какъ бы то ни было, жизнь, со всѣми ея страданіями и сомнѣніями, имѣетъ высокую цѣнность (см. „Весь день она лежала въ забытіи“). Если среди множества подобныхъ себѣ человѣкъ и одиноковъ въ мірѣ, если слово—ненадежное орудіе общенія, то кто можетъ отнять у человѣка сокровища его внутренняго „я“?

Есть цѣлый міръ въ душѣ твоей
 Таинственно-волшебныхъ думъ!

Скептически-трезвый, вѣчно все изслѣдующій, Тютчевъ въ то же время удивительный мечтатель. Его поэзія представляетъ поучительную и трогательную повѣсть неустанныхъ исканій „нетлѣнной красоты“ и „нескудѣющей силы“,—такихъ положеній и мгновеній, когда „все пошлое и ложное уходитъ далеко, все *милоневозможное* такъ близко и легко“.

И въ нашей жизни повседневной
Бываютъ радужные сны—

утверждаетъ поэтъ: неожиданно для себя, видимъ мы вдругъ иную природу, иное солнце; тамъ все лучше, все такъ разнится отъ нашего міра; тамъ, „въ чистомъ пламенномъ эфирѣ душъ такъ радостно-легко“... И когда кончается дивное видѣніе, и мечтатель снова превращается въ „тусклую тѣнь“, которую подхватываетъ теченіе жизни,

...долго звукъ неуловимый
Звучить надъ нами въ вышинѣ,—
И предъ душой, тоской томимой,
Все тотъ же взоръ неотразимый,
Все та-жъ улыбка, что во снѣ...

Это ужъ не просто мечтательность, это какъ-бы тоска по идеалу, правда, неясному и не оформленному, но все же не дающему человеку уйти съ головой въ грязь жизни, вѣчно зовущему его на высоту.

И душа Тютчева, не уставая, паритъ на высотѣ... Прочтите, напр., его великодушную „Бессонницу“.

Часовъ однообразный бой,
Томительная жизни повѣсть,
Языкъ для всѣхъ равно чужой
И внятный каждому, какъ совѣсть!
Кто безъ тоски внималъ изъ насъ,
Среди всемірнаго молчанья,
Глухія времени стenanья,
Пророчески прощальный гласъ?
Намъ мнится: міръ осиротѣлый
Неотразимый рокъ настигъ,
И мы, въ борьбѣ съ природой цѣлой,
Покинуты на насъ самихъ.
И наша жизнь стоитъ предъ нами,
Какъ призракъ, на краю земли
И съ нашимъ вѣкомъ и друзьями
Блѣднѣетъ въ сумрачной дали.
И новое, младое племя,
Межъ тѣмъ, на солнцѣ распаяло,
А насъ, друзья, и наше время
Давно забвеньемъ занесло!
Лишь изрѣдка, обрядъ печальный
Свершая въ полуночный часъ,
Металла голосъ погребальный
Въ тиши оплакиваетъ насъ!

Недаромъ излюбленный Тютчевымъ символъ вѣчной красоты и молодости—горныя вершины. И въ долинахъ блеститъ порой снѣгъ и цвѣтутъ цвѣты, но триумфъ ихъ не долговѣченъ.

А который вѣкъ блѣднѣтъ
Тамъ, на высяхъ снѣговыхъ?
А заря и нынѣ сѣдетъ
Розы свѣжія на нихъ!

Самый тонъ его рѣчи всегда повышенъ, манера торжественна, языкъ временами архаиченъ... Чаше, нежели у Пушкина (всетаки старшаго современника), встрѣчаются у Тютчева слова „сей“, „брегъ“, „пещлѣ“, „младой“ и т. п., а восклицаніемъ „о!“ онъ положительно злоупотребляетъ („О, вѣщая душа моя! О, сердце, полное тревоги! О, какъ ты бьешься...“—„О, этотъ югъ! О, эта Ницца! О, какъ ихъ блескъ меня тревожитъ!“). Но къ Тютчеву, въ общемъ, идетъ эта пророчески-вѣщательная манера, и архаичныя слова и формы, въ большинствѣ случаевъ, не звучатъ въ его устахъ чѣмъ-то досадно-обветшалымъ, а кажутся вполне естественными.

И въ жизни духа есть также свои вершины. Не мысль, не страсть и не искусство возносятся, по мнѣнію Тютчева, красоту личности человѣческой на недостижимую высоту.

Сияетъ солнце, воды блещутъ.
На всемъ улыбка, жизнь во всемъ,
Деревья радостно трепещутъ.
Купаясь въ небѣ голубомъ.
Поютъ деревья, блещутъ воды,
Любовью воздухъ растворенъ,
И міръ, цвѣтушій міръ природы.
Избыткомъ жизни упоенъ.
Но и въ избыткѣ упоенья
Нѣтъ упоенія сильнѣй—
*Одной улыбки умиленія
Измученной души твоей.*

Страданіе и, особенно, „возвышенная стыдливость страданія“, какъ прекрасно выразился Тютчевъ въ одномъ мѣстѣ,—вотъ что внушаетъ ему почти благоговѣйное уваженіе, въ чемъ прежде и больше всего видитъ онъ величіе и достоинство человѣка, превосходство его надъ окружающимъ міромъ неодушевленной природы. Этотъ культъ страданія,—свойственный, какъ извѣстно, многимъ русскимъ писателямъ,—тѣсно сплетается у Тютчева съ

христіанскимъ идеаломъ. Не задолго до смерти онъ пишетъ въ альбомъ А. В. Плетневой:

Чему бы жизнь насъ ни учла,
Но сердце вѣрить въ чудеса:
Есть не скудѣющая сила,
Есть и нетлѣнная краса!
Нѣтъ! увяданіе земное
Цвѣтовъ не тронетъ неземныхъ,
И отъ полуденнаго зноя
Роса не высохнетъ на нихъ.
И эта вѣра не обманетъ
Того, кто ею лишь живетъ:
Не все, что здѣсь цвѣло увянетъ,
Не все, что было здѣсь, пройдетъ!..
Но этой вѣры для немногихъ
Лишь тѣмъ доступна благодать,
Кто въ искушеніяхъ жизни строгихъ,
Какъ вы, умѣлъ, любя страдать,—
Чужіе врачевать недуги
Своимъ страданіемъ умѣлъ,
Кто душу положилъ за други
И до конца все претерпѣлъ.

Среди утратъ и горестей жизни цѣлительное чувство резиньяціи вносить въ душу поэта сознаніе, что человѣкъ есть струйка огромнаго потока жизни, который несется впередъ, „неодолимъ, неудержимъ, и не вернется вспять“.

Душа впадетъ въ забытье—
И чувствуетъ она,
Что воть умчала и ее
Великая волна...

Тютчевъ, однако, не пѣвецъ борьбы. Людская пошлость, по его мнѣнію, безсмертна, и торжество идеала можетъ осуществиться лишь внутри, а не внѣ насъ:

Ахъ, если бы живыя крылья
Души, парищей надъ толпой,
Ее спасали отъ насилья
Безсмертной пошлости людской!..

Что же, спрашивается, можемъ цѣнить въ этой сложной, странной душѣ мы, современники, измученные злобою жизни и,

все же, не устающіе вѣрить, что „пошлости людской“ есть конецъ, и что мало убѣгать отъ нея—надо бороться съ нею?

Поэтъ, самъ какъ-бы осязающій и насъ заставляющій чувствовать бездонный мракъ доміроваго Хаоса, злого и страшнаго, однимъ взмахомъ крыльевъ умѣетъ подняться въ высь, въ царство безконечной лазури и солнца. Между этими рѣзко-различными состояніями души трудно, конечно, отыскать теоретическое примиреніе, и сердце поэта, дѣйствительно, полно вѣчной тревоги, вѣчно бьется „на порогѣ какъ бы двойного бытія“. Тревожная, полная горькихъ диссонансовъ, эта могучая поэзія цѣнна именно тѣмъ, что держитъ мысль и чувство читателя въ постоянномъ напряженіи, зажигая тоской по идеалу...

Въ горделивомъ пареніи надъ жизнью, надъ „безсмертной пошлостью людской“—величіе подобныхъ Тютчеву поэтовъ. Правда, одного паренія слишкомъ мало для торжества надъ пошлостью, но оно—первое и необходимое условіе побѣды!

Пѣвецъ „тревоги юныхъ силъ“.

I.

Къ десятилѣтней годовщинѣ смерти С. Я. Надсона.

Родная сторона, не требуй отъ пѣвцовъ
Величія души героевъ и пророковъ!

Мы только голосъ твой, и если ты
болѣна,

И наша пѣснь болѣна... Въ ней вопль
твоихъ страданій,

Видѣнья твоего болѣзненнаго сна,
Кровь тяжкихъ ранъ твоихъ, тоска
твоихъ желаній!

С. Надсонъ.

На рубежѣ 80-хъ годовъ въ русской литературѣ вырисовываются три замѣчательныя фигуры, проникнутыя общимъ настроеніемъ, взаимно какъ-бы дополняющія одна другую, и если не равныя по силѣ таланта, то одинаково симпатичныя и интересныя: мы разумѣемъ Новодворскаго, Гаршина и Надсона.

Всѣ трое очень похожи другъ на друга даже по внѣшнимъ чертамъ жизни, по ея трагической развязкѣ... Новодворскій и Надсонъ умерли отъ чахотки почти въ юношескомъ возрастѣ, первый 28, второй 24 лѣтъ; Гаршинъ, нѣсколько позже, самъ наложилъ на себя руки въ припадкѣ психическаго растройства. Короткая жизнь Новодворскаго прошла въ сплошныхъ мученіяхъ голода и медленнаго умиранія въ когтяхъ нищеты; недолгій путь Надсона весь омраченъ борьбою съ смертельнымъ физическимъ недугомъ, Гаршина — съ недугомъ душевнымъ. Это все

одинъ и тотъ же грустный мотивъ, съ небольшими лишь варіаціями. Еще поразительнѣе сходство нравственныхъ фізіономій писателей.

Старшій изъ троихъ, Новодворскій, какъ настоящій сынъ того времени, когда молодежь поголовно жаждала слиться съ сермяжнымъ людомъ, принять на себя его грубую оболочку („опроститься“, какъ тогда выражались), отличался внѣшней суровостью и аскетической сухостью, но за этой показной холодностью скрывалось кипучее, благородное сердце. Изъ біографіи его мы знаемъ, какъ любилъ онъ свою мать и сестеръ, какъ выбивался изъ послѣднихъ силъ, чтобы спасти ихъ отъ голодной смерти. Несчастный въ личной жизни, онъ болѣлъ душою не о себѣ, а о родномъ народѣ, вѣчно мучась сознаніемъ своей оторванности отъ простого, темнаго люда, сознаніемъ того, что этотъ людъ безконечно-далеко отстоитъ отъ него по своимъ понятіямъ.

Другой, не менѣе самоотверженный народолюбецъ, добровольно ходилъ за далекій Дунай для того, чтобы пролить тамъ свою кровь такъ же, какъ проливали ее тысячи и десятки тысячъ безвѣстныхъ простолюдиновъ; онъ былъ до того безупречно-чистъ и обаятеленъ, что даже у поэта, никогда не грѣшившаго особенной сердечностью, вырвались при воспоминаніи о немъ такіа задушевные строки:

Я ничего не зналъ прекраснѣй и печальнѣй
Лучистыхъ глазъ его и блѣднаго чела,
Какъ-будто для него земная жизнь была
Тоской по родинѣ недостижимо-дальней!

Столь же прекраснымъ рисуется и образъ третьяго, Надсона, какъ изъ его стиховъ, такъ и изъ біографическихъ данныхъ. Честь же и слава поколѣнію, имѣвшему такихъ представителей!

Глубоко-родственные другъ другу по настроенію и характеру идей, три молодые писателя отмежевали себѣ очень близкія, но вполне своеобразныя области и формы художественнаго творчества. Въ произведеніяхъ Новодворскаго-Осиповича жизнь и страданія молодежи 70-хъ, начала 80-хъ годовъ отразились съ наибольшей конкретностью, можно сказать, непосредственностью, и, быть можетъ, въ этой именно прикованности его образовъ къ текущей дѣйствительности и къ ея временнымъ условіямъ кроется причина, сравнительно, преходящаго успѣха Новодворскаго, какъ художника. Его писательская оригиналь-

ность заключалась въ скорбной насмѣшливости надъ собственнымъ безсиліемъ и неудачливостью, въ скрытомъ подъ юморомъ гнѣвъ противъ всевластной житейской рутины. Элементъ юмора почти вовсе отсутствуетъ въ трагической музѣ Гаршина, которая ушла въ анализъ сокровеннѣйшихъ изгибовъ душевной жизни своей эпохи, интересовалась по преимуществу психіатрическими сюжетами и темами. Наконецъ, Надсонъ явился пѣвцомъ-лирикомъ того-же поколѣнія, смѣнявшихся въ его душѣ настроеній, тревогъ и мечтаній...

Однако, что же это было за поколѣніе, и какія причины обусловливали его тревожное, вѣчно мятущееся, временами почти больное настроеніе? Лежалъ ли недугъ въ его крови, какъ нѣчто фатальное и неисцѣлимое, унаслѣдованное отъ отцовъ? Или, напротивъ, оно явилось на свѣтъ здоровымъ и жизнерадостнымъ, и объ немъ нужно лишь выразиться словами того же Надсона объ его молодости: „замерла, какъ прерванный напѣвъ“?..

Передъ молодымъ русскимъ обществомъ, выросшимъ на почвѣ уничтоженнаго крѣпостного права, лежала великая историческая проблема: сдѣлать освобожденный народъ счастливымъ, довольнымъ... Но великія задачи легко и скоро рѣшаются лишь въ наивныхъ юношескихъ мечтаніяхъ; суровая дѣйствительность часто ставитъ на ихъ пути непреодолимые преграды, о которыхъ разбиваются не только мечты, но порой и самая жизнь благородныхъ мечтателей. Нужно быть стойкомъ по натурѣ, надо обладать выдержкой бойца, закаленнаго въ жизненныхъ испытаніяхъ, чтобы съ яснымъ духомъ и веселымъ лицомъ идти навстрѣчу не только побѣдѣ, но и возможному пораженію. И такіе философы-стойки, конечно, отыскиваются во всякую эпоху и во всякомъ поколѣніи, иногда въ большемъ, иногда въ меньшемъ количествѣ, но подавляющее большинство составляютъ всегда не они, а люди средніе, люди—не герои, люди не практическаго подвига. Мы не хотимъ, впрочемъ, сказать этимъ, что они представляютъ собой нравственно худшіе элементы поколѣнія: нѣтъ, очень часто это бываетъ краса и гордость его—сердца съ утонченной нервной организаціей, съ болѣзненно-страстной жаждой добра, правды, любви...

Вотъ это-то большинство, при встрѣчѣ съ великими жизненными преградами, и не находитъ въ себѣ достаточной силы воли и энергіи и отдается очень скоро рефлексіи, тревогамъ и сомнѣніямъ всякаго рода, заболѣваетъ припадками апатіи и мрачной ипохонд-

рін. Одного начинаетъ терзать неувѣренность въ собственныхъ силахъ и способностяхъ служить великому дѣлу; другой, напротивъ, чувствуя въ себѣ, какъ герой Лермонтова, „силы необъятныя“, не можетъ вѣрить въ самое дѣло, въ возможность быстрого и скорого воплощенія идеала въ жизнь; третій, сознавая необходимость огромныхъ жертвъ со стороны личности, томится жгучею жаждой „личнаго счастья“, жаждой, которая и вступаетъ въ бурный конфликтъ съ призывами долга. Варьируются и усложняются подобнаго рода колебанія и сомнѣнія до безконечности... Вотъ, какую мѣткую характеристику такимъ людямъ своего поколѣнія даетъ, напр., Новодворскій: „Это алчущая правды, вѣчно страдающая, вѣчно рвущаяся къ свѣту ни-пава, ни-ворона... Она родилась между воронами, въ вороньей обстановкѣ; родилась впечатлительной, сердечной, доброй и сразу стала чувствовать себя неладно въ вороньей средѣ. Она задыхается, ищетъ воздуха. А тамъ, у подножія божества, спокойно расположились павы... Неотъемлемая особенность ея характера—неудовлетворенность и стремленіе къ идеалу. Ни вороны, ни павы этого не испытываютъ. У первыхъ ничего подобнаго не зарождалось въ головѣ, а вторыя успокоились на лонѣ какой-нибудь до того широкой (или узкой) идеи, или на такомъ громадномъ запасѣ силы, что передъ нею всѣ сомнѣнія, терзанія—нуль! Нашей ни-павѣ, ни-воронѣ завидно это олимпійское спокойствіе, она такъ энергично рвется къ богинѣ, что, наконецъ, можетъ достать до нея рукою и съ восторгомъ смотреть внизъ, на громадный вороній міръ, копошащійся тамъ, далеко. Но тутъ-то и оказывается, что павой ей никогда не бывать, не потому, чтобы ее ощипали, а просто потому, что въ ней самой много вороньяго: она страстно любитъ вороня... Вотъ и начинаетъ чудить ни-пава, ни-ворона. Она протягиваетъ руку внизъ, зоветъ вороня, несмотря на то, что павамъ это, быть можетъ, вовсе нежелательно; потомъ, видя, что вороны не обнаруживаютъ ни малѣйшаго поползновенія летѣть такъ высоко, она схватываетъ богиню за подолъ платья и тянетъ внизъ, къ воронамъ; когда и эти желанія ни къ чему не приводятъ, она, больная, измученная проклинаетъ и божество, и вороня и умираетъ... ни-павой, ни-вороной“.

Не менѣе характерныя жалобы и признанія можно найти въ произведеніяхъ почти всѣхъ молодыхъ писателей 70-хъ годовъ. Но настоящей жертвой мучительнаго разлада идеала съ жизнью

явился Всеволодъ Гаршинъ. Въ его произведеніяхъ муки сомнѣній принимаютъ уже прямо трагическую форму: достаточно вспомнить „Красный цвѣтокъ“, „Attalea princeps“. Гордая пальма, цѣной жизни пробившаяся къ желанному свѣту и простору, спрашиваетъ, умирая: „Только-то?“... И этотъ отчаянный вопль потрясаетъ до глубины души самаго вѣрующаго читателя. Здѣсь чувствуется правда и сила накипающаго страданія, и никто, конечно, не подумаетъ упрекнуть или обвинить Гаршина въ недостаткѣ вѣры и мужества...

Но погодите, читатель. Время идетъ, лучшіе, даровитѣйшіе люди поколѣнія сойдутъ со сцены,

И полѣзутъ изъ щелей
Мошки да букашки...

Самодовольные фразеры и полоумные выродеи поспѣшатъ охладѣть ко всѣмъ „высокимъ словамъ“ вродѣ любви къ чело-вѣчеству, къ родинѣ, гражданскаго долга и честности и начнутъ мечтать о томъ, „чего не бываетъ на свѣтѣ“, о „черныхъ розахъ“, о „блѣдныхъ, непокрытыхъ ногахъ“ и всей прочей дребедени извращеннаго чувства и фантазіи. И все это будетъ объявлено продуктомъ вновь открытой у чело-вѣчества мозговой линіи, новымъ словомъ новаго искусства! Очевидно, многолѣтнія, искреннія страданія лучшей части общества не могутъ не оставить въ немъ глубокихъ разрушительныхъ слѣдовъ: создается настоящая неврастенія духа, на почвѣ которой и распускаются такъ пышно болотные цвѣты жеманнаго и узколобаго „декадентства“...

Оставимъ, впрочемъ, въ покоѣ этихъ пигмеевъ вырождающагося поколѣнія. Ихъ старшіе братья не рядились въ маски, и не ихъ вина, если въ жизни имъ суждены были одни благіе порывы: любовь ихъ къ родинѣ равнялась выпавшимъ на ихъ долю страданіямъ... Въ этомъ смыслѣ моментъ былъ глубоко-содержательный и въ высокой степени поэтической; ощущалась почти мучительная потребность въ появленіи крупнаго поэта, сына своего времени, который ударилъ бы съ могучей силой по сердцамъ и самъ получилъ бы отъ этихъ благодарныхъ сердецъ неувядаемый вѣнокъ славы... Однако, по бѣдности ли художественныхъ силъ поколѣнія, по тревожной ли неустойчивости общественной психики, или по другой какой причинѣ, гениальнаго писателя, выразителя чувствъ и идей эпохи, русское общество такъ и не дождалось вплоть до

настоящей минуты, и законная доля славы досталась талантамъ болѣе скромнымъ. За Новодворскимъ послѣдовалъ Гаршинъ, за Гаршинымъ—Надсонъ.

Не трудно понять, почему первый изъ нихъ имѣлъ наименьшій успѣхъ при жизни, а теперь уже можетъ быть названъ почти совершенно забытымъ писателемъ. Метафоричность рассказовъ Новодворскаго, множество всяческихъ недомолвокъ, намековъ и много-точій не могли сдѣлать ихъ доступными огромному большинству читающей публики.

Популярность Гаршина несравненно, конечно, значительнѣе, какъ значительнѣе и самый талантъ; нельзя, однако, не признать, что характеръ этого таланта былъ слишкомъ исключителенъ: больной художникъ разрабатывалъ черезчуръ однотонныя, мрачно-исключительныя темы. Только на лирѣ Надсона нашлись струны, отвѣчавшія чувствамъ и мыслямъ огромнаго числа людей его времени; въ его пѣсняхъ отразились горе и радость почти всего поколѣнія—и здѣсь-то, думаемъ мы, лежитъ разгадка того необыкновеннаго успѣха, который выпалъ на ихъ долю.

Въ какихъ-нибудь двѣнадцать лѣтъ книжка стихотвореній Надсона успѣла выдержать четырнадцать изданій, изъ которыхъ восемь посмертныхъ, изданныхъ литературнымъ фондомъ, печатались въ 6000 экземпляровъ каждое. Такимъ образомъ около 50.000 экз. книги, цѣну которой нельзя назвать очень дешевою (2 руб.), разошлось въ десять лѣтъ, другими словами—расходилось по 5 т. ежегодно. Конечно, для Россіи, для нашего книжнаго рынка, никогда не отличавшагося особенной бойкостью, это успѣхъ прямо колоссальный. Немудрено, что надъ объясненіемъ его уже не разъ задумывались и друзья, и враги Надсона, особенно, конечно, послѣдніе. Намъ памятна по этому поводу статейка одного неудавшагося поэта, изъ котораго вышелъ въ послѣдствіи еще менѣе удавшійся критикъ. Выпустивъ собственный сборникъ стиховъ, единственными читателями котораго явились наборщики, онъ задался на страницахъ „Историч. Вѣстника“ глубокомысленнымъ вопросомъ о причинахъ удивительно быстрой распродажи надсоновской книги и рѣшилъ этотъ вопросъ слѣдующимъ оригинальнымъ образомъ: кружокъ либеральныхъ друзей Надсона, сговорившись, раскупаетъ его стихи, изданіе за изданіемъ; мудрый критикъ собственными глазами видалъ по нѣскольку изданій у однихъ и тѣхъ

же лицъ... Словомъ, успѣхъ поэта безусловно искусственный, дутый, поддѣльный...

Съ не менѣе курьезнымъ объясненіемъ встрѣтились мы совсѣмъ недавно въ статьѣ г. Меньшикова (см. № 2 „Кн. Недѣли“ за 1897 годъ), посвященной памяти Надсона. Сущность взгляда этого писателя заключается въ слѣдующемъ. Поэзія была только одною изъ чертъ надсоновской фигуры, и даже не самой выразительной. Не будь намъ ничего извѣстно о личности Надсона, мы сказали бы о его стихахъ: „и зачѣмъ это нынче молодые люди такъ рано печатаются?“ Ровно ничего въ этихъ стихахъ нѣтъ замѣчательнаго, плѣняющаго, ничего неотразимаго, вполне зрѣлаго. Разгадка обаянія Надсона, въ особенности среди молодежи и женщинъ,—въ нравственной красотѣ его образа. По мнѣнію г. Меньшикова, стоило бы всѣмъ увидать и любого изъ благородныхъ людей, существующихъ въ жизни,—и онъ сталъ бы славенъ не меньше, чѣмъ Надсонъ... Безвѣстный Иванъ Ивановичъ прогрѣмѣлъ бы по всей Россіи и даже по всему свѣту (sic!)... Ну, вотъ и Надсонъ: онъ былъ очень хорошій человѣкъ, какъ человѣкъ; но счастливыя и несчастныя случайности выдвинули его изъ толпы, и толпа ахнула отъ удивленія: такъ онъ былъ привлекателенъ... Если бы, однако, живой Надсонъ не былъ показанъ толпѣ, если бы сборникъ его стиховъ былъ найденъ случайно и напечатанъ безъ имени автора, нѣтъ сомнѣнія—ни критика, ни публика не обратили бы на него и десятой доли вниманія... У насъ есть почти совсѣмъ неизвѣстные высокодаровитые поэты, напр., Тютчевъ и Фетъ, которые умерли стариками и не дождались еще и 3-го изданія, — по той причинѣ, что живая личность ихъ была совершенно невидима большинству публики. И если бы не трагическая кончина Пушкина и Лермонтова, сразу выдвинувшая ихъ личность, то извѣстность этихъ великихъ поэтовъ и ихъ поэзіи была бы гораздо меньше...

Да не подумаетъ, прежде всего, читатель, что, пересказывая статью г. Меньшикова, мы придали ей намѣренно юмористическій оттѣнокъ: нѣтъ, приведенныя нами сужденія почти дословно взяты изъ напечатанной въ февр. кн. „Недѣли“ статьи. Не говоря уже о преувеличенной наивности тона, вообще столь свойственной философамъ „Недѣли“, здѣсь все отзывается выдумкой и искаженіемъ бьющихъ въ глаза фактовъ. Начать съ того, что не трагическая кончина *сразу* выдвинула Пушкина и Лермонтова, а

ихо великій талантъ, благодаря которому первый изъ поэтовъ еще задолго до смерти считался уже всѣми признаннымъ создателемъ и главою новой русской поэзіи и литературы; утверждать, что не умри Пушкинъ на дуэли, онъ былъ бы „гораздо меньше извѣстенъ“—по меньшей мѣрѣ странно. Не менѣе странно сравнивать Надсона, пѣвца „раздумья, тревогъ и сомнѣній“ своего времени, съ пѣвцомъ „робкаго дыханья и трелей соловья“, Фетомъ, и незначительную популярность послѣдняго объяснять неизвѣстностью публикѣ его живой личности: г. Меньшиковъ хочетъ, очевидно, представить намъ, какъ свѣтлую и благородную личность, этого крѣпостника-поэта, всю жизнь воевавшего съ крестьянами изъ-за потравъ и другихъ преступленій въ томъ же родѣ...

Врядъ ли также большой эстетическій вкусъ обнаруживаетъ г. Меньшиковъ, утверждая, что въ стихахъ Надсона нѣтъ ничего плѣнительнаго, что будь они напечатаны безъ имени автора, никто на нихъ и вниманія не обратилъ бы. О вкусахъ, правда, не спорятъ, но надо же считаться хоть съ хронологіей фактовъ, о которыхъ берешься судить. Ужъ конечно, академія наукъ, присудившая Надсону еще при его жизни пушкинскую премію, не руководствовалась при этомъ слухами о личныхъ качествахъ поэта, слухами, которые, навѣрное, не были ей даже извѣстны. Г. Меньшиковъ ссылается на собственную память, которая подсказываетъ ему, что когда печатались въ „Словѣ“ и „Отечеств. Зап.“ первые стихи Надсона, то въ *кронштадской* публикѣ гораздо меньше говорили о немъ, чѣмъ, напр., о Фругѣ... Но, во-первыхъ, весьма возможно, что въ какомъ нибудь Вышнемъ-Волочкѣ о Надсонѣ и до сихъ поръ ничего не знаютъ, а восхищаются стихами г. Аполлона Коринфскаго; а во-вторыхъ, время, о которомъ рассказываетъ г. Меньшиковъ, не такъ еще отдаленно, чтобъ мы не имѣли о немъ собственныхъ воспоминаній. Они, эти воспоминанія, говорятъ намъ, что появившееся въ одной изъ первыхъ книжекъ „Слова“ за 81 годъ стихотвореніе Надсона „Другъ мой, братъ мой, усталый, страдающій братъ“ сразу заставило говорить объ авторѣ всѣхъ истинныхъ цѣнителей поэзіи; и когда ровно черезъ годъ, съ январьской книжки „Отеч. Зап.“ 82 г., началъ появляться рядъ новыхъ стихотвореній молодого поэта, они были встрѣчены публикой съ громкимъ восторгомъ, и имя Надсона уже постоянно было съ тѣхъ поръ на устахъ молодежи... Такія стихотворенія, какъ „Завѣса сбро-

шена“, „О любви твоей, другъ мой“, „Позабитые шумнымъ ихъ кругомъ“, „Весенняя сказка“ и др., заучивались наизусть; извѣстность поэта росла очень быстро, и, беря въ руки новую книжку „Отеч. Зап.“, тогдашніе юноши торопились прежде всего раскрыть страницу, на которой было напечатано его новое стихотвореніе. И, тѣмъ не менѣе, среди петербургскаго студенчества никто еще ровно ничего не зналъ о личности автора. Даже два года спустя въ большой публикѣ извѣстно было только одно, что Надсонъ молодой офицеръ, и намъ самимъ случилось однажды наткнуться на нелѣпный слухъ о безпутныхъ оргіяхъ, въ которыхъ, подобно Лермонтову, онъ, будто бы, губилъ свои силы и дарованіе... Личная извѣстность Надсона даже въ литературныхъ кругахъ была долгое время очень невелика: поэтъ отличался большой скромностью, а литература была въ тѣ времена богата фигурами болѣе, чѣмъ онъ, сильными и прославленными...

Однако, мы увлеклись. Серьезно возражать въ этомъ случаѣ г. Меньшикову не стоитъ; смѣшно же, въ самомъ дѣлѣ, доказывать, что можно быть очень хорошимъ человѣкомъ и вмѣстѣ очень посредственнымъ стихотворцемъ. Жизнь и литература имѣютъ между собой тѣсную связь, и, тѣмъ не менѣе, это двѣ совершенно отдѣльныя вещи. Самый добрый, самый прелестный Иванъ Ивановичъ, съ какихъ бы сторонъ ни показывали вы его публикѣ, и съ боковъ, и спереди, и сзади, не „прогремить“ въ литературѣ, если не предъявить ей большого литературнаго дарованія,—и напрасно вы, г. Меньшиковъ, смущаете нашихъ добрыхъ Ивановъ Ивановичей, разжигая въ нихъ славолюбивыя чувства. Надсона знаютъ и любятъ десятки, быть можетъ, даже сотни тысячъ читателей вездѣ, гдѣ только звучитъ русскій языкъ и гдѣ есть интеллигентные русскіе люди, и не могли же всѣ они испытать обаяніе личнаго знакомства съ поэтомъ; его болѣзнь и безвременная смерть могли, конечно, на время обострить симпатіи публики, но надо же и честь знать—надо вспомнить, что прошло уже десять долгихъ лѣтъ со дня кончины поэта, а симпатіи къ нему общества нисколько не уменьшились. Очевидно, нужно искать болѣе глубокихъ причинъ этому явленію, и мы думаемъ, что указали ихъ вѣрно. Тотъ „больной“ моментъ нашей исторіи, который мы вкратцѣ обрисовали, былъ въ ней не однимъ только моментомъ: онъ страшно затянулся, и пѣвецъ настроенія конца 70-хъ, начала 80-хъ годовъ остается и до сихъ

поръ выразителемъ думъ, стремленій и страданій значительной части русской молодежи и общества. Отсюда его не уменьшающаяся до сихъ поръ популярность.

Подобно всему поколѣнію, Надсонъ выступилъ въ путь съ бодрой душой, съ свѣтлой, несокрушимой вѣрой въ идеалы добра, свѣта и любви и въ близость ихъ воплощенія въ жизни. Его юношескія стихотворенія 1878—1879 гг. представляютъ почти сплошной гимнъ этимъ идеаламъ, наивно-страстный призывъ къ людямъ-братьямъ сплотиться подъ знаменемъ труда и борьбы за общее дѣло. Достаточно назвать заглавія этихъ стихотвореній („На зарѣ“, „Идеаль“, „Впередъ“), чтобы видѣть, что отъ нихъ вѣетъ мужествомъ и бодростью. Но и тѣ изъ нихъ, которыя начинаются въ минорномъ тонѣ, кончаются почти всегда бодримъ призывомъ:

Впередъ за міръ и за людей!..

Надеждой и силой вѣетъ даже отъ такого грустнаго посвоей темѣ стихотворенія, какъ „Похороны“:

Пусть же, зарытый землей,
Онъ отдохнетъ отъ труда и волненія,
Этотъ апостолъ труда и терпѣнья
Нашей отчизны родной!

Поэма „Христіанка“ имѣетъ въ виду показать,

Какъ люди въ старину когда-то
Умѣли вѣрить и любить.

Другая поэма, „Іуда“, полна непримиримой ненависти (весьма характерной для кроткаго всегда Надсона) ко всѣмъ измѣнникамъ и предателямъ. Но ярче и сильнѣе всего выразилось это бодрое душевное настроеніе молодого поэта въ знаменитомъ, упомянутомъ уже нами, стихотвореніи „Другъ мой, братъ мой...“ Оно характеризуетъ собой цѣлую полосу русской жизни съ ея наивной молодой восторженностью и не менѣе наивной вѣрой въ могущество идеи, и ужъ это одно обстоятельство,—не говоря о прелестной, безукоризненно-поэтической формѣ, — давало бы право этому стихотворенію войти въ исторію русской литературы...

„Другъ мой, братъ мой...“ написано въ концѣ 1880 г., но

уже много раньше въ поэзію Надсона врывается скорбная нота сомнѣнія и разлада, которая съ этихъ поръ непрерывно растетъ и, наконецъ, подобно темной тучѣ, закрываетъ весь душевный горизонтъ поэта.

Г. Меньшиковъ силится доказать, что скорбь эта была очень не глубокой, вполнѣ наносной и подражательной, что вся бѣда Надсона заключалась въ „дурной школѣ его благороднаго *padre* А. Н. Плещеева“. Стихи Надсона сдѣлались, молъ, „пронзительно-унылыми“ по чистой случайности и недоразумѣнію. По природѣ муза Надсона—его душа—была одна изъ самыхъ безпечныхъ и ясныхъ. Но стоило взяться ему за перо — и онъ начиналъ ныть. Тутъ дѣйствовалъ гипнозъ подражанія: съ одной стороны, „благородный *padre*“ наущалъ, съ другой—„муза мести и печали“ рисовалась, вспоминались стихи: „Сѣйте разумное, доброе, вѣчное“ и пр. Тогдашняя поэзія еще донашивала устарѣлый, варварски-утрированный байронизмъ, который въ наше время выдохся до декаденства...

Что сказать на это, читатель? Мудрецы „Недѣли“, не понимающіе сами, надъ чѣмъ смѣются, хотятъ насъ увѣрить, что современное декаденство (однимъ изъ гнѣздъ котораго является сама-же „Недѣля“) вышло изъ „музы мести и печали“!..

„Унылый пессимизмъ“, утверждаетъ далѣе г. Меньшиковъ, по мѣрѣ возраста, покидаетъ Надсона. Отдавъ дань молодости, онъ непременно отошелъ-бы отъ своихъ *плохихъ* учителей, Некрасова и Плещеева, и усвоилъ бы — въ мѣрѣ своихъ силъ — единственный у насъ безупречный стиль (и дался же этимъ господамъ стиль! О содержаніи они не говорятъ ни слова!) — пушкинскій. Къ этому г. Меньшиковъ прибавляетъ какой-то странный намекъ о признаніяхъ, которыя, будто бы, Надсонъ дѣлалъ въ письмахъ къ друзьямъ (уже не къ самому ли г. Меньшикову?) насчетъ „борьбы“, такъ часто воспѣваемой въ его стихахъ, о признаніяхъ, которыя, молъ, удивять впослѣдствіи его поклонниковъ... На это можно сказать одно: конечно, друзья бываютъ разные, и противъ услужливости нѣкотораго сорта друзей предостерегалъ еще дѣдушка Крыловъ.

Какъ мы уже видѣли, Надсонъ, дѣйствительно, началъ свою литературную карьеру съ „безпечной и ясной душой“, съ жизне-радостнымъ, вѣрующимъ взглядомъ на жизнь и на людей. Мрачныя, разочарованныя нотки, попадающіяся въ его стихахъ еще

почти отроческаго періода, дѣйствительно, отзываются малою глубиной и недостаточной пережитостью, и читателю не нужно обладать особенной прозорливостью, чтобы сразу почувствовать это. Другое совѣмъ дѣло — утверждать, будто съ годами пессимизмъ Надсона все больше и больше покидаетъ его, будто скорбь его поэзіи вообще была скорбью дѣланной и чисто-подражательной; утверждать это — значить, по нашему мнѣнію, совѣмъ не знать надсоновской поэзіи, совѣмъ не имѣть художественнаго чутія, не умѣть различать искренность отъ фальши, ложь отъ истины. Скорбь Надсона, муки обуревавшихъ его тревогъ и сомнѣній съ годами, напротивъ, все растутъ и обостряются; примиренія съ людскою пошлостью такое сердце отыскать не могло; поэтъ, который всего за два, за три мѣсяца до смерти писалъ негодующей рюкою:

Стыдъ гаснеть, совѣсть спитъ... Ни проблеска кругомъ,
Одно ничтожество свой голосъ возвышаетъ! —

не могъ уйти весь, съ головой, въ заботы о „стилѣ“, хотя бы и самомъ безупречномъ. Какими бы открытіями и признаніями самого Надсона въ письмахъ къ „друзьямъ“ ни грозился намъ сладкорѣчивый сотрудникъ „Недѣли“, мы не повѣримъ его пророчествамъ. За небольшой періодъ своей литературной и поэтической дѣятельности, Надсонъ далъ намъ, во всякомъ случаѣ, достаточное количество данныхъ, опредѣляющихъ основной типъ его нравственной природы и поэтическаго таланта; по нимъ можно судить безошибочно и о томъ пути, которымъ онъ пошелъ бы въ будущемъ. И ужъ, разумѣется, это не былъ бы путь русскихъ „парнасцевъ“!

Разсмотримъ же, однако, главные мотивы надсоновской поэзіи и раскроемъ, насколько это возможно въ короткомъ этюдѣ, ихъ внутренній смыслъ и значеніе. Нельзя, конечно, отрицать, что для поэта-художника мотивы эти довольно однотонны; на читателя, который приступаетъ къ чтенію поэта въ поискахъ, главнымъ образомъ, „эстетическаго“ наслажденія, поэзія Надсона очень скоро можетъ нагнать скуку. Но если предъявлять къ писателю другого рода требованія, если имѣть въ виду иную публику, то поэзію Надсона слѣдуетъ признать, напротивъ, даже очень богатой по разнообразію затронутыхъ въ ней мотивовъ и сюжетовъ. Быть можетъ, его не признаетъ

своимъ пѣвцомъ та часть его поколѣнія, которую мы въ самомъ началѣ выдѣлили, какъ исключительную и, по-своему, счастливую группу; но за то все огромное большинство, несомѣнно, нашло въ Надсонѣ самаго полнаго выразителя и истолкователя своей психической жизни.

Среди этихъ плѣняющихъ своей задушевностью мотивовъ первое мѣсто, какъ и у всякаго лирическаго поэта, занимаетъ у Надсона любовь къ женщинѣ. И посмотрите, читатель, какое это хрустально-чистое, благородное чувство—любовь поколѣнія, бывшаго такимъ несчастнымъ въ жизни и заслужившаго отъ своихъ враговъ столько грязныхъ, позорящихъ клеветъ!

Если любить—безконечно томиться
Жаждой объятий и знойныхъ ночей,
Я не любилъ...—

разсказываетъ намъ поэтъ:

Я молился предъ ней
Такъ горячо, какъ возможно молиться!

Все, о чемъ смѣлъ онъ мечтать, было „слово привѣта на чистыхъ устахъ, не оскверненныхъ ни злобой, ни ложью“; его увлекала „гордая мысль къ красотѣ идеала, чтобъ, полюбивъ, безконечно любить“. Не станемъ доказывать дальнѣйшими выписками эту извѣстную всѣмъ и каждому чистоту надсоновской любви, лучшее украшеніе его поэзіи. Достаточно будетъ напомнить еще такое чудное стихотвореніе, какъ „О любви твоей, другъ мой, я часто мечталъ“ и весь рядъ стихотвореній, посвященныхъ памяти рано умершей любимой дѣвушки. Изъ нихъ особенно характерно „Все это было, но было какъ-будто во снѣ“, гдѣ молодой поэтъ терзается мыслью о недолговѣчности человѣческаго чувства и безсиліи самой памяти сохранить дорогой образъ:

Безъ вѣчности чувства
Смысла въ немъ нѣтъ! Если-жъ нѣту любви,
нѣтъ искусства,
Правды, добра, красоты, нѣтъ души у земли!

„Душа у земли“—вотъ чего прежде всего требуетъ Надсонъ отъ жизни и всѣхъ ея даровъ, въ томъ числѣ и любви. Безъ „души“ красота его не плѣняетъ, и въ стихотвореніи „Только утро любви хорошо“ онъ рисуетъ передъ читателемъ безотрад-

ную картину любви безъ связующаго людей общаго дѣла и общихъ убѣжденій (кстати спросить: что бы сдѣлалъ поэтъ съ менѣе чистымъ воображеніемъ изъ этого стихотворенія, гдѣ автору все время приходится скользить по границѣ цинизма, и гдѣ, однако, онъ не пробуждаетъ въ читателѣ ни тѣни грязнаго чувства?). — Ему легче думать, что любимая дѣвушка умерла, нежели знать, что она не раздѣляетъ его взглядовъ на жизнь; послѣ перваго поцѣлуя „подъ липою душистой“ онъ уже говорить своей милой о жертвахъ и борьбѣ, которыя она встрѣтитъ, идя съ нимъ рука объ руку.

Но если счастье знать, что другъ твой не измѣнитъ
Завѣтамъ совѣсти и родинѣ своей,
Что выше красоты въ тебѣ онъ душу цѣнитъ,
Ея отзывчивость къ страданіямъ людей,
Тогда въ моей душѣ нѣтъ за тебя тревоги,
Дай руку мнѣ, дитя, и прочь минутный страхъ:
Мы будемъ счастливы, такъ счастливы, какъ боги
На недоступныхъ небесахъ!..

Конечно, все это въ высшей степени характерно для русской молодежи недавняго времени, представителемъ которой былъ Надсонъ.

Столь же опредѣляющей чертой надсоновской любви является отсутствіе въ ней беззавѣтности, способности безраздѣльно и всецѣло отдаться чувству личнаго счастья и радости; у нашего поэта къ этому чувству всегда примѣшиваются сомнѣнія и тревоги личнаго или общественнаго характера.

Не весь я твой—меня зовутъ
Иная жизньъ, иныя грезы...
Отъ нихъ меня не оторвутъ
Ни ласки жаркія, ни слезы,—

заявляетъ онъ еще въ одномъ изъ самыхъ раннихъ стихотвореній; но тотъ же мотивъ яркою нитью проходитъ и по большинству его болѣе зрѣлыхъ произведеній, посвященныхъ любви. Таковы стихотворенія: „Не гордымъ юношей“, „Не вини меня, другъ мой“ и, особенно, „Позабытые шумнымъ ихъ кругомъ“.

Но несравненно большую роль, чѣмъ любовь къ женщинѣ, играетъ у Надсона любовь къ родинѣ. Любили, конечно, родину и поэты прежнихъ эпохъ, Пушкинъ, Лермонтовъ, Жуковский; но тамъ это была скорѣе барская — спокойная, созерца-

тельная любовь, умиленіе передъ красотами родной природы, любовь „изъ окна кареты“ къ „пьянымъ мужичкамъ“ и т. п.

Съ отрадой, многимъ незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
Съ рѣзными ставнями окно,—

говорится въ знаменитомъ стихотвореніи „Отчизна“. Но Лермонтовъ, разумѣется, ничего не дѣлалъ и не собирался дѣлать для того, чтобы у его „мужичковъ“ было полное гумно и крытая соломой изба; любовь его къ родинѣ была чувствомъ, хотя и глубокимъ, но пассивнымъ, лишеннымъ дѣйственной силы. Не по этой ли причинѣ и звучитъ такъ холодно, даже такъ прозаично для великаго виртуоза формы, какимъ былъ Лермонтовъ, этотъ стихъ: „Съ отрадой, многимъ незнакомой“?..

Некрасовъ былъ первымъ на Руси поэтомъ, въ любовныхъ признаніяхъ котораго родинѣ зазвучала искренняя и глубокая *страсть*. Не „разливы“ только „рѣкъ ея, подобные морямъ“ и даже не „покрытая соломой изба“ и пляшущіе въ праздникъ „мужички“ внушили эту страсть великому поэту-гражданину, а многострадальная судьба, „переполнившая землю“ скорбь родного народа...

О, горько, горько я рыдалъ,
Когда въ то утро я стоялъ
На берегу родной рѣки,
И въ первый разъ ее называлъ
Рѣкою рабства и тоски!..
Что я въ ту пору замышлялъ,
Собравъ товарищей—дѣтей,
Какія клятвы я давалъ—
Пускай умретъ въ душѣ моей,
Чтобъ кто-нибудь не осмѣялъ!

Такихъ клятвъ и такихъ рыданій русская поэзія не знала до Некрасова...

Поколѣнію Надсона, воспитавшемуся на стихахъ „музы мести и печали“ и на завѣтахъ Добролюбова, который, „какъ женщину, любилъ родину“ и училъ „умирать“ за нее, выпало на долю завидное счастье видѣть во-очію плоды этого ученія—самоотверженную борьбу молодыхъ силъ за грядущее обновленіе родины. Но борьба окрыляетъ,—и вотъ почему, при всемъ душевномъ разладѣ, при всей смутѣ налетавшихъ порой сомнѣній, въ пѣсняхъ

Надсона, посвященныхъ родинѣ, въ извѣстной степени отразился героизмъ эпохи. У больного, умирающаго поэта вырываются такіа, полныя огня и страсти, строки:

.....Страна моя родная,
Когда-бъ хоть для тебя я могъ еще пожить!..
Какъ я-бъ любилъ тебя, всю душу отдавая
На то, чтобъ и другихъ учить тебя любить!
Какъ пѣлъ бы я тебя! Съ какимъ негодованьемъ
Громилъ твоихъ враговъ! Твой пѣсъ сторожевой,
Я-бъ жилъ одной тобой, дышалъ твоимъ дыханьемъ,
Горѣлъ твоимъ стыдомъ, болѣлъ твоей тоской!

Переходя къ стихотвореніямъ Надсона, посвященнымъ специально изображенію душевнаго разлада и страданій современной ему молодежи, мы раньше всего должны отмѣтить страстную жажду жизни и счастья, до боли, до слезъ томившую молодого поэта. Эти юношескія признанія столько же интересны, сколько и трогательны. Во всей русской поэзіи, быть можетъ, не сыщется болѣе картиннаго описанія этой „тревоги юныхъ силъ“, чѣмъ въ надсоновскихъ стихотвореніяхъ—„Испытывалъ ли ты, что значить задыхаться“ и „Сегодня всю ночь голубыя зарницы“. Сколько своеобразной музыки въ началѣ второго изъ нихъ:

Сегодня всю ночь голубыя зарницы
Мерцали надъ жаркою грудью земли;
И мчались разрозненныхъ тучъ вереницы,
И мчались и тяжело сходились вдали.
Душна была ночь,—такъ душна, что порою
Во мглѣ становилось дышать тяжело;
И сердце стучало, и знойной волною
Кипѣвшая кровь ударяла въ чело..
Отъ сонныхъ черемухъ, осыпанныхъ цвѣтомъ
И сыпавшихъ цвѣтомъ, какъ бѣлымъ дождемъ,
Съ невинною лаской, съ весеннимъ привѣтомъ
Струился томительный запахъ кругомъ.
И словно какая-то тайна свершалась
Въ торжественномъ мракѣ глубокихъ аллей,
И сладкими вздохами грудь волновалась,
И страсть, трепеща, разгоралась въ ней..
Всю ночь пробродилъ я, всю ночь до разсвѣта,
Обвѣянный чарами нѣги и грѣзъ;
И страстно я жаждалъ родного привѣта,
И женскихъ объятій, и радостныхъ слезъ.
Какъ волны, давно позабытые звуки

Нахлынули въ душу, пылая огнемъ,
И бились въ ней, полныя трепетной муки,
И отклика ждали въ затишьи ночномъ!..

Наряду съ этимъ безпокойнымъ желаніемъ любви и счастья, вступающимъ въ борьбу съ чувствомъ долга (см. вторую половину выписаннаго только что стихотворенія), въ Надсонѣ кипитъ и съ годами, повидимому, все растетъ страстная жажда дѣятельности, жажда вѣры, доходящая до того, что онъ готовъ порой и на самообманъ, готовъ принять жгучія муки, идти „на смерть, на позоръ“,—

Только-бъ полною грудью дышать,
Только-бъ вспыхнулъ отвагою взоръ,
Только-бъ вѣрить, во что-нибудь вѣрить душой!..

Мническій Икаръ, сдѣлавшій себѣ восковыя крылья и взлетѣвшій на нихъ къ самому солнцу, упалъ обратно на землю, сожженный гордымъ свѣтиломъ, но что изъ того?

Пусть это только мигъ, короткий, бѣглый мигъ
И послѣ гибель безъ возврата,
Но за него—такъ былъ онъ чуденъ и великъ—
И смерть—нелюбимая плата!

Все несчастіе людей, подобныхъ Надсону, и заключалось въ томъ, что у нихъ не было такой вѣры, что они не могли вспыхнуть орлиной отвагой!.. И горькими, быть можетъ, даже преувеличенными упреками бичуетъ поэтъ своихъ сверстниковъ въ стихотвореніи „Наше поколѣнье юности не знаетъ“, по содержанію сильно напоминающемъ „Думу“ Лермонтова съ ея знаменитой строфой, такъ поразившей въ свое время Бѣлинскаго:

И ненавидимъ мы, и любимъ мы случайно,
Ничѣмъ не жертвуя ни злобѣ, ни любви,
И царствуетъ въ душѣ какой-то холодъ тайный,
Когда огонь кипитъ въ крови...

Не то же ли самое, почти до буквального повторенія, говорить и Надсонъ:

Чуть не съ колыбели сердцемъ мы дряхлѣемъ.
Насъ томить безвѣрье, насъ грызетъ тоска,
Даже пожелать мы страстно не умѣемъ,
Даже ненавидимъ мы изподтишка...

Въ этомъ сходствѣ людей двухъ поколѣній, раздѣленныхъ между собою пѣлымъ полувѣкомъ, по истинѣ есть что-то фатальное, трагическое...

Долго неосуществляемое завѣтное желаніе, мечта всей жизни съ теченіемъ времени превращается у человѣка въ тайную сердечную рану, которая все болитъ и сочится кровью, пока, наконецъ, душа не оупѣетъ и не перестанетъ ощущать всякую боль. Если давножданное счастье явится послѣ этого къ человѣку, то онъ глядитъ на него грустнымъ взоромъ, и не улыбка озаряетъ преждевременно состарѣвшееся лицо, а горькія, неутѣшныя слезы бѣгутъ по морщинамъ... Такъ преждевременно состарѣлась и душа Надсона, въ безплодныхъ мечтаніяхъ о своемъ радужномъ идеалѣ: онъ пересталъ, наконецъ, ее радовать... Если гаршинская пальма издаетъ свое отчаянное восклицаніе: „только-то?!“ — уже достигнувъ завѣтной пѣли, то отчаяніе Надсона бываетъ временами безотрадно, такъ какъ овладѣваетъ оно поэтомъ въ моментъ далеко еще не законченной борьбы. Съ такимъ страшнымъ психическимъ состояніемъ мы встрѣчаемся въ стихотвореніяхъ: „Грядущее“, „Какъ бѣлымъ саваномъ“, „Когда, спѣша во мнѣ сомнѣніе побѣдить“ и др.

Зачѣмъ бороться, трудиться и жить, когда все, къ чему мы такъ тревожно стремимся путемъ лишеній и скорби, жалко и ничтожно своей „роковой безцѣльностью“? Что изъ того, что нѣкогда воплотится завѣтный идеалъ, свершатся самые несбыточные сны безумцевъ-мечтателей, и человѣкъ станетъ дѣйствительнымъ царемъ природы,—онъ все-таки останется „безсильнымъ трепетнымъ рабомъ“ самого себя, своей ненасытной, вѣчно жаждущей новаго души. Во имя чего же, спроситъ онъ, было пролито столько крови, принесено столько жертвъ? „Нѣтъ, я больше не вѣрую въ вашъ идеалъ“, съ раздраженіемъ восклицаетъ Надсонъ по адресу тѣхъ бодрыхъ изъ своихъ сверстниковъ, которые мечтали о грядущемъ великомъ счастьи человѣчества и считали своимъ нравственнымъ долгомъ для него работать; въ минуту отчаянія идеалъ ихъ представляется ему „пиромъ животнаго, сытаго чувства“, не окупающимъ столько вѣковъ мукъ и тревогъ, „столько праведной крови погибшихъ бойцовъ“.

Жалкій, пошлый итогъ! Каждый честный боецъ
Не отдастъ за него свой терновый вѣнецъ!

Послѣдняя мысль довольно часто посѣщаетъ Надсона; особенно красиво и поэтично выражена она въ другомъ общезвѣстномъ стихотвореніи — „Томясь и страдая во мракѣ ненастья“. Естественный выводъ изъ этихъ ужасныхъ сомнѣній одинъ:

Окаменѣй, замри... Не трать напрасно силы!
Пусть льется кровь волной и царствуетъ порокъ:
Добро ли, зло-ль вокругъ,—забвенье и могилы—
Вотъ цѣль конечная и міровой итогъ!

Жизнерадостная натура поэта, натура дѣятельная и энергичная, къ счастью, мѣшаетъ ему остановиться окончательно на такомъ печальномъ исходѣ, и вотъ вся недолгая жизненная и поэтическая карьера его представляетъ собой рядъ порываній въ высь и паденій съ разбитыми крыльями, горячихъ гимновъ любви и надеждъ и похоронныхъ воплей отчаянія... „Вѣрь въ великую силу любви!“—„Люби людей!“—„Не презирай толпы!“ „Вѣчно буду я бороться и страдать!“ съ искреннимъ пафосомъ восклицаетъ онъ сегодня. „Тщетны къ любви и святинѣ призывы“; „одни не поймутъ, не услышатъ другіе“; „міръ—все тотъ же міръ безсмысленныхъ рабовъ“,—объявляетъ онъ съ неменьшей силой убѣжденія завтра.

Однако, такая быстрая смѣна настроеній, по нашему мнѣнію, отнюдь не доказываетъ, что у Надсона не было опредѣленныхъ прочно выработанныхъ взглядовъ, что онъ былъ флюгеромъ способнымъ склониться когда-нибудь въ сторону реакціонныхъ идей. Послѣднее именно и вывели нѣкоторые читатели и критики изъ стихотворенія: „О, неужели будетъ мигъ“, въ которомъ поэтъ зоветъ человѣчество „назадъ, назадъ“, во мглу среднихъ вѣковъ, „гдѣ даже темныя дѣла своимъ величьемъ поражали“. Такая близорукость критики, какъ видно изъ біографическаго очерка, сильно огорчила нашего поэта, и другое стихотвореніе: „Въ отвѣтъ“ онъ собирался напечатать уже съ оговоркой, что по одной или двумъ пьесамъ нельзя выводить заключеній о всемъ его міровоззрѣніи. И, разумѣется, Надсонъ былъ глубоко правъ. Закаленнѣйшаго бойца могутъ посѣщать минуты сомнѣнія и даже отчаянія, но дѣло въ томъ, что онъ скроетъ эти минутныя вспышки отъ взоровъ требовательной и легко обобщающей толпы. Законное право поэта—дѣлиться съ публикой своими настроеніями, и умѣнье его и способность быть искреннимъ составляютъ наиболѣе цѣнную и симпатичную въ немъ черту.

Мы не задаемся цѣлью въ настоящемъ бѣгломъ очеркѣ исчерпать все содержаніе надсоновской поэзіи и ограничимся этимъ общимъ абрисомъ поэтической и нравственной фیزیоміи молодого писателя. Прибавимъ еще лишь слѣдующее. Хотя главной причиной быстрого и широкаго успѣха этой поэзіи было ея отвѣчающее историческому моменту содержаніе, но, конечно, не оно одно. Надсонъ былъ, кромѣ того, поэтомъ *истиннымъ*, однимъ изъ тѣхъ рѣдкихъ избранниковъ, о которыхъ латинская пословица говорить, что они рождаются, а не дѣлаются... Давно уже русское общество не слыхало такихъ музыкальныхъ и гармоничныхъ стиховъ, какъ тѣ, которые зазвучали съ 82 года на страницахъ „Отеч. Зап.“. Глубоко развитой вкусъ изящнаго, тонкое пониманіе такта и мѣры, умѣнье мыслить яркими и красивыми образами, распоряжаться всѣми звуками и красками богатаго русскаго языка,—все соединилось въ этомъ поэтѣ, чтобы привлечь къ нему не только отзывчивую молодежь, но и болѣе зрѣлую часть общества. Не станемъ пеетрить нашу статью новыми образцами надсоновскихъ стиховъ,—они у всѣхъ въ памяти, у cadaго подъ руками,—мы назовемъ лишь заглавія такихъ художественно исполненныхъ стихотвореній, какъ: „На югъ, говорили друзья мнѣ, на югъ“, „Лазурное утро я встрѣтилъ въ горахъ“, „Чу, кричитъ буревѣстникъ“, или „Завтра вновь полумракъ“...

Большинству читающей публики Надсонъ извѣстенъ только, какъ стихотворецъ, и, навѣрно, лишь очень немногіе изъ поклонниковъ поэта читали его „Литературные очерки“, сборникъ критическихъ фельетоновъ, печатавшихся въ кievской газетѣ „Заря“ за 86 годъ. Сборникъ этотъ, напечатанный въ 1887 г. вторымъ изданіемъ, третьяго до сихъ поръ не дождался. Вотъ лучшее возраженіе г. Меньшикову, утверждающему, будто популярность стиховъ Надсона объясняется прекрасными качествами его живой личности... Не въ этомъ, однако, дѣло. Не будучи какимъ-либо замѣчательнымъ явленіемъ, книжечка Надсона, во всякомъ случаѣ, очень интересна и симпатична, и намъ хотѣлось бы хоть немного познакомить читателя съ ея характеромъ и содержаніемъ. Въ ней заключаются статьи о стихотвореніяхъ Аксакова, Омудевскаго, гг. Голенищева-Кутузова, Случевскаго, г-жи Чюминой, объ отдѣльныхъ произведеніяхъ Гаршина, Кавелина, г-жи Шапиръ, гг. Злато-

вратскаго, Лесевича, Михайловскаго, Короленка, Мамина, Мачтета, Боборыкина, В. В., Буренина, Эртеля и др.; наконецъ, любопытны „Замѣтки по теоріи поэзіи“ и статья „Поэты и критика“. Уже изъ одного голаго перечня заглавій читатель можетъ видѣть, что въ книжкѣ Надсона фигурируетъ почти весь наличный контингентъ писателей того времени, и, слѣдовательно, должны быть затронуты всѣ главные злобы тогдашняго дня; но, кромѣ того, въ книгѣ попадаются не мало цѣнныхъ указаній и намековъ чисто-личнаго, біографическаго свойства (см. напр., стр. 34).

Въ высшей степени любопытны такіа строки: „Молодежь чувствуетъ необходимость въ неотложномъ рѣшеніи вопроса—*какъ жить*, чтобы жить нравственно, сохраняя полный миръ и гармонію съ своей совѣстью. Я самъ принадлежу къ поколѣнію молодому, только что вступившему въ жизнь, я весь дышу его интересами и хорошо знаю, какъ темно и смутно живетъ ему въ наше время, какъ надоѣли ему праздныя слова, какъ горячо чувствуетъ оно свое святое право любить родину и трудиться для нея и не знаетъ, гдѣ найти такое дѣло, которое, *не требуя геройскихъ силъ и самоотверженнаго нравственнаго закала* (курсивъ самого Надсона), пришлось бы по плечу всей массѣ“.

А вотъ горячая тирада, касающаяся литературныхъ нравовъ и вопросовъ и точно вчера только написанная—такъ мало кажется она устарѣвшей: „Литераторъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ понимали это слово въ 40-хъ и 60-хъ годахъ, мало-по-малу сходитъ со сцены; его замѣняетъ дѣятель новаго типа—скорѣе ремесленникъ, чѣмъ публицистъ или художникъ,—отличающійся многими несимпатичными чертами. Для этого новаго типа не существуетъ прежнихъ заветныхъ традицій литературной чести, не позволявшихъ его предшественникамъ ни на іоту поступаться своими убѣжденіями; главнымъ двигателемъ его дѣятельности является гонораръ, а излюбленнымъ кумиромъ, которому онъ служитъ, улица. Задумайтесь хоть надъ исторіей возникновенія „Нови“ съ ея „сотней знаменитыхъ писателей и ученыхъ“—развѣ это не характерное явленіе? Задумайтесь надъ постоянными перемѣнами направленія какъ лицъ, такъ и цѣлыхъ литературныхъ органовъ,—развѣ это не характерное явленіе? Вотъ, напр., молодая поэтесса Ольга Чюмина: сегодня она сотрудница Баталинскихъ „Колосъевъ“, а завтра несетъ свои стихи въ „Вѣстникъ Европы“. Очевидно, она свободна не только отъ всякой кружковой узости, какъ кричатъ разные ли-

тературные ренегаты и торгоши, но и отъ всякихъ убѣжденій, кромѣ того, что—чѣмъ больше гонораръ, тѣмъ лучше“.—„На каждомъ шагѣ читатель натывается на какое-нибудь возмущающее душу литературное неприличіе: тутъ, подъ видомъ рецензіи, ловкій критикъ пишетъ доносъ на своего личнаго врага, тамъ не менѣе ловкій беллетристъ выводитъ въ пасквильномъ видѣ рецензента, давашаго о немъ неблагопріятный отзывъ. Тайны псевдонимовъ раскрываются самымъ наглымъ, самымъ развязнымъ образомъ. Литераторамъ слѣдовало бы серьезно задуматься надъ этимъ явленіемъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ нѣкоторыми органами былъ поднятъ вопросъ о литературномъ судѣ чести. Нельзя не пожалѣть отъ всей души, что у поднявшихъ этотъ вопросъ не хватило энергіи провести его въ жизнь, добиться осуществленія своего проекта на практикѣ“.

Не менѣе любопытенъ взглядъ молодого критика на роль такъ называемой тенденціи въ искусствѣ. „Разница между произведеніями поэтовъ чистаго искусства (Майкова, Фета, Полонскаго) и произведеніями Некрасова только та, что послѣдній шире взглянулъ на поэзію, что онъ не ограничилъ ея рамками красоты, а заставилъ ее служить, кромѣ того, и другимъ, высшимъ чувствамъ человѣческой природы, чувству добра, истины, справедливости“.— „Не трудно видѣть, какой изъ этихъ двухъ школъ принадлежитъ будущность. Тенденціозность есть послѣднее мирное завоеваніе, сдѣланное искусствомъ, есть пока послѣднее его слово. Недалеко время, когда поэзія тенденціозная поглотитъ поэзію чистую, какъ цѣлое свою часть, какъ океанъ поглощаетъ разбившуюся объ утесъ свою же волну“. Эти строки являются прекраснымъ комментариемъ къ многочисленнымъ стихотвореніямъ поэта, рисующимъ его возвышенный взглядъ на задачи и призваніе поэзіи и искусства: „Поэтъ“, „Поэзія“, „Окрыленнымъ мечтой сладковатымъ стихомъ“, „Милый другъ, я знаю“, „Грезы“, „Одни не поймутъ“, „Ровныя плавныя строки“ и мн. др.

Изъ общаго взгляда Надсона на роль литературы вытекаютъ и рѣшительно всѣ отзывы его о современныхъ художественныхъ произведеніяхъ. Отличаясь всегда глубокой искренностью, они грѣшатъ порой излишней прямолинейностью и молодой ригористичностью. Для примѣра укажемъ на разборъ только что появившагося въ № 7 „Р. Мысли“ 1887 г. этюда г. Короленка „Слѣпой Музыкантъ“, въ которомъ Надсонъ видитъ „исключительность сюжета,

отвлеченность его отъ современной жизни съ нуждами и запросами тяжелаго рабочаго дня, съ нашими недугами и упованіями. Вся маленькая драма, нарисованная г. Короленко, развивается въ замкнутомъ кругу личной жизни его героевъ и ихъ специальныхъ интересовъ. Разумѣется, критика не въ правѣ указывать авторамъ на темы для ихъ произведеній: это дѣло личнаго настроенія и міросозерцанія автора; но критика въ правѣ поставить выше по значенію произведеніе, затрагивающее вопросъ болѣе широкій и близкій современности, чѣмъ произведеніе, посвященное вопросу частному, хотя бы и то, и другое отличались одинаковыми достоинствами изложенія“. И Надсонъ ставитъ гораздо выше „Слѣпота Музыканта“ другой рассказъ г. Короленко— „Въ дурномъ обществѣ“. Гражданскія соображенія не мѣшаютъ, впрочемъ, юношѣ-критику признать крупныя, выдающіяся достоинства разбираемаго этюда, указать, что онъ написанъ прекраснымъ, поэтическимъ языкомъ, что природа въ немъ „живетъ и дышетъ“, что многія мѣста разсказа трогаютъ читателя до слезъ, до глубины души...

Такова критическая манера Надсона, прямая, подчасъ строгая, но всегда искренняя, душевная, чуждая ненужныхъ задираній и пустыхъ разглагольствованій.

Книжка тѣмъ болѣе интересна, что написана всего за *какихъ-нибудь полгода* до безвременной кончины автора. Это показываетъ, какую цѣну могутъ имѣть утвержденія „друзей“ поэта, будто подъ конецъ жизни онъ начиналъ отдѣлываться отъ дурной школы Некрасова и Плещеева и склоняться къ „стилю“ россійскихъ парнасцевъ!

Въ послѣдніе годы то и дѣло слышатся и въ публикѣ, и въ критикѣ жалобы (правда, нерѣдко преувеличенныя) на оскудѣніе русской литературы. Оскудѣла беллетристика, захирѣла чуть-ли не еще больше критика, но; конечно, всего сильнѣе завяла стихотворная поэзія. Прошло пять лѣтъ послѣ смерти Некрасова—и на смѣну ему явился поэтъ, представлявшій хоть и малую сравнительно величину, но всетаки величину, — Надсонъ. Со дня смерти послѣдняго прошло уже десять лѣтъ—и вотъ все еще не видно новой, хотя бы только равносильной ему поэтической звѣзды. Тѣ изъ живущихъ нынѣ поэтовъ, которые пытаются остаться вѣрными лучшимъ завѣтамъ русской поэзіи и вообще русской литературы,—или совершенно бездарны, или же обладаютъ очень слабымъ, еле мерцающимъ дарованіемъ, перепѣваютъ старые, давно

извѣстные мотивы, рабски идутъ избитой дорогой (болѣе значительные таланты уже сошли, или сходятъ со сцены). Напротивъ, тѣ поэты, въ стихахъ которыхъ слышится или слышалось присутствіе настоящаго таланта, увы! имѣютъ остуженное сердце и индифферентно настроенный умъ; безсильные кастраты, живые мертвецы, эти юноши-старцы направляютъ свое воображеніе въ сторону больныхъ и, порой, прямо извращенныхъ фантазій, тоскуютъ по какой-то невѣдомой и недостижимой красотѣ, которую часто отождествляютъ со смертью, и относятся съ ироніей къ „такъ называемой“ гражданской скорби. Ихъ пѣсни создаются, точно, не на землѣ, а въ какомъ-то лунномъ мірѣ, проще говоря—являются чисто головною выдумкой и, потому, никого не трогаютъ, ни въ комъ не вызываютъ даже простого любопытства.—Какой-то странный гипнозъ умственнаго и моральнаго упадка простеръ свои мрачныя крылья и на многихъ представителей прежняго, лучшаго времени, продолжающихъ еще дѣйствовать въ литературѣ и задавать ей тонъ. Уважаемые нѣкогда романисты и критики, учившіе молодежь любви къ правдѣ и свѣту, не гнушаются теперь работать въ органахъ, на знамени которыхъ написаны племенная ненависть и равнодушіе къ общественному прогрессу; многіе другіе изъ бывшихъ не такъ давно „передовыми“ открыто перешли въ ряды активныхъ борцовъ реакціи... Безразличное отношеніе къ направленію изданій, въ которыхъ приходится работать, становится характерной чертой не только поэтовъ (больше всего поражающихъ своей безпринципностью), но и многихъ, весьма почтенныхъ въ другихъ отношеніяхъ писателей. На страницы лучшихъ журналовъ все чаще и чаще прокрадываются обмолвки въ духѣ идей „символизма“, суть котораго заключается не въ чемъ иномъ, какъ въ общественномъ индифферентизмѣ...

Что же это значить? Кто виноватъ во всемъ этомъ? Мы думаемъ, что виновата сама же русская интеллигенція, ставшая въ послѣднее десятилѣтіе такой апатичной и равнодушной къ вопросамъ гражданственности. Утомленная, вялая, сонливая даже въ лучшей своей части, она не въ силахъ дать должный отпоръ выросшимъ въ ней реакціоннымъ элементамъ,—и вправдѣ ли она претендовать на современную литературу, отъ которой вѣтъ тѣмъ же утомленіемъ и той же апатіей? Литература—дѣтя жизни, и пока жизнь будетъ сѣра и монотонна, до тѣхъ поръ такова же

будетъ и литература,—публицистика, критика, беллетристика, поэзія. Временами могутъ вспыхивать отдѣльныя случайныя блестики, но общій фонъ останется тусклымъ и блѣднымъ. Явись въ такую пору поэтъ даже съ истиннымъ талантомъ, вырвись изъ его устъ настоящая вдохновенная пѣснь, врядъ ли ударить она по сердцамъ „съ невѣдомою силой“: равнодушное общество пройдетъ мимо,—„одни не поймутъ, не услышатъ другіе“!..

Весьма возможно, что и теперь „во глубинѣ Россіи“ таятся гдѣ-нибудь художники и поэты, которые при иныхъ условіяхъ жизни могли бы разгорѣться въ яркія поэтическія звѣзды.

Но гремѣлъ, когда они родились
Дикій громъ, ручьями кровь лила;
Эти души робкія смутились
И, какъ птицы въ бурю, притаились,
Въ ожиданьи свѣта и тепла...

Измѣнится однако характеръ жизни, кончится эта убивающая общественная апатія—расцвѣтетъ опять и искусство, зазвучать громкія, свободныя пѣсни...

Намъ вспоминается по этому поводу стихотвореніе покойнаго Майкова:

Засуха!.. Воздухъ спитъ, и небеса молчать...
И арфъ золотыхъ безмолвенъ грустный рядъ...
Тѣ арфы—это вы, пѣвцы моей отчизны!

Но если-бы,—размышляетъ объ этихъ арфахъ поэтъ,—

...Если-бъ мимо нихъ промчался вихремъ геній,
И жизни духъ пахнулъ въ родимой сторонѣ,
Навстрѣчу новыхъ силъ и новыхъ откровеній
Какими-бъ звуками откликнулись онѣ!..

Какъ волны въ морѣ смѣняются одна другой, такъ смѣняются и человѣческія поколѣнія. За однимъ десятилѣтіемъ идетъ другое—и часто, совершенно неожиданно-негаданно, приноситъ перемѣну къ лучшему. Жизнь должна первая показать признаки обновленія. И мы и теперь уже со всѣхъ сторонъ слышимъ объ идущемъ намъ на смѣну молодомъ поколѣніи—бодромъ, жизнерадостномъ, проникнутомъ живымъ интресомъ къ вопросамъ научнымъ и общественнымъ... Дай-то Богъ! Пора завершиться, наконецъ, этому страшно долгому мертвому сезону!

Деятнадцатый вѣкъ кончается и, повидимому, не успѣетъ

уже подарить намъ крупнаго поэта, талантомъ и значеніемъ хоть приблизительно равнаго Пушкину, Лермонтову, Некрасову. Но, быть можетъ, въ настоящую минуту и есть уже гдѣ-нибудь подростокъ-юноша, начинающій мыслить и слѣдить за литературой, который въ первомъ-же десятилѣтіи двадцатаго вѣка споетъ намъ тѣ чудныя пѣсни, которыхъ мы ждемъ такъ долго, съ такимъ страстнымъ нетерпѣніемъ!

1897 г.

II.

Нужны ли стихи.—Молодежь и критика.

Лишнее—въ сотый разъ констатировать, что, не смотря на изумительное обиліе стихотворцевъ, мы почти не имѣемъ въ настоящее время поэтовъ.

Бывало, мѣрный звукъ твоихъ могучихъ словъ
Воспламенялъ бойца для битвы;
Онъ нуженъ былъ толпѣ, какъ чаша для пировъ,
Какъ еиміамъ въ часы молитвы,—

обращался Лермонтовъ къ поэту былыхъ временъ, и времена эти не такъ ужъ отъ насъ отдалены: именно такимъ поэтомъ-бойцомъ былъ на Руси самъ Лермонтовъ, а послѣ него—Некрасовъ. Но для какихъ же „битвъ“ могутъ воспалять, хотя бы, „мѣрные звуки“ г. Минскаго, презирающаго всѣхъ людей, „какъ самого себя“, и воспѣвающаго оригинальную свободу—отъ долга, чести и любви къ родинѣ? Празднуя побѣды человѣческаго духа или скорбя объ его пораженіяхъ, обратимъ ли мы нашъ слухъ къ г. Мережковскому, славящему „дерзостный смѣхъ“ надъ всѣмъ, что было до сихъ поръ свято и дорого людямъ? Станемъ ли распѣвать гимны г. Бальмонта—мору, чумѣ, убійству, палачамъ и Нерону? Ничего общаго съ свободной человѣческой поэзіей не имѣетъ эта удушливая, больничная поэзія вампировъ и демоновъ; дунетъ первый предразсвѣтный вѣтеръ—и безъ слѣда исчезнутъ безсильныя ночныя привидѣнія!

Неискренность, оторванность отъ жизни, безпринципность и самовлюбленность нашихъ стихотворцевъ послѣднихъ пятнадцати лѣтъ сдѣлали то, что критика и литературные круги общества стали глубоко равнодушны и къ самой поэзіи. Не перестаютъ

раздаваться сѣтованія, порой даже мало основательныя, на убожество текущей беллетристики, но никогда почти не слышится искреннихъ жалобъ на то, что въ журналахъ не бываетъ больше хорошихъ стиховъ. Вышучиванье декадентскихъ рифмоплетовъ—любимое занятіе рецензентовъ (вѣдь это такая безобидная и вмѣстѣ неистощимая тема), но въ шуткахъ этихъ не чувствуется тоски по истинной поэзии. Къ самимъ стихамъ давно установилось какое то ироническое, почти презрительное отношеніе, и редакторы журналовъ терпятъ ихъ только, какъ „затычку“ свободныхъ лѣвыхъ страницъ. Стихотворная горячка 20-хъ и 30-хъ годовъ, когда образованнѣйшіе русскіе люди готовы были чуть не въ буквальномъ смыслѣ „для звуковъ жизни не щадить“, кажется въ настоящее время чѣмъ-то ребячески-смѣшнымъ и умилительно-наивнымъ. Гдѣ найдешь теперь двухъ литераторовъ, которые, встрѣтившись, битый часъ проговорили бы о стихахъ, а вѣдь, бывало, ночи напролетъ просиживались за чтеніемъ любимыхъ поэтовъ, за толками о Пушкинѣ, Байронѣ, Шиллерѣ... Все чаще и чаще встрѣчаешь образованныхъ людей, которые чистосердечно признаются, что не въ состояніи прочесть подрядъ болѣе пяти-шести небольшихъ, даже и очень хорошихъ, стихотвореній; прочесть въ одинъ пріемъ цѣлый томикъ стиховъ рѣшится врядъ ли многіе... Какъ выводъ изъ всего этого, составилось убѣжденіе, что стихи—подобно тому, какъ нѣкогда басня или ода—отжили вѣкъ и никогда ужъ не возвратятъ себѣ былого обаяніи. Стихотворная, молъ, форма—форма младенческаго состоянія мысли, когда послѣдняя нуждалась въ красивомъ побрякиваньи метровъ и рифмъ для того, чтобы находить доступъ въ крѣпкіе человѣческіе лбы... Это форма, по-преимуществу, искусственная. Въ жизни никто вѣдь не говоритъ стихами; черновыя рукописи поэтовъ исчерканы вдоль и поперекъ пометками и поправками. Гдѣ же тутъ вдохновеніе? Скорѣе тутъ видно хладнокровное обдумываніе, кропотливый трудъ, чуть не математическій расчетъ. При усидчивости, навыкѣ и хорошемъ словарѣ пріемъ (за-границей такіе словари уже существуютъ, были и у насъ попытки) всякій неглупый человѣкъ можетъ сочинять стихи, въ звучности не уступающіе самому Пушкину. Русское общество, слава Богу, вышло изъ первобытнаго состоянія, созрѣло для мысли серьезной и самостоятельной. Не новыхъ Пушкиновыхъ, Лермонтовыхъ и Некрасовыхъ ждетъ оно отъ художественной

литературы XX вѣка, а новыхъ Толстыхъ, Тургеневыхъ, Салтыковыхъ, Достоевскихъ...

Дай, конечно, Богъ, чтобы новый вѣкъ далъ намъ новыхъ Толстыхъ и Салтыковыхъ, но превозносить этихъ великановъ прозы на счетъ Пушкина и другихъ поэтовъ все же нѣтъ, думается, ни надобности, ни повода. А ъ Писаревъ толковать объ „искусственности“ стихотворной формы, искусственности, доходящей до возможности писать стихи чисто механически, значитъ, какъ-будто, забывать, что конечная цѣль стиховъ, какъ и прозы, не одна только красивая форма, но и извѣстное содержаніе. Развѣ неизвѣстно, напр., что въ дѣлѣ музыкальности современный поэтъ г. Бальмонтъ прямо, что называется, собаку съѣлъ,—и, однако же, какъ часто стихи его нѣчего общаго не имѣютъ съ поэзіей! Черновыя рукописи образцовыхъ прозаиковъ ничѣмъ не отличаются отъ рукописей поэтовъ: корректуры Бальзака и Флобера представляли сплошную сѣть всевозможныхъ поправокъ и помарокъ. Въ газетахъ не такъ давно еще сообщалось о томъ, какихъ творческихъ усилій стоилъ послѣдній романъ Толстому; но вѣдь значитъ ли это, что Толстой писалъ его безъ вдохновенія, холодно рассчитывая—гдѣ выгоднѣе поставить подлежащее и гдѣ сказуемое? Если въ жизни никто не говоритъ стихами, то не то же ли самое нужно сказать и о художественной прозѣ, потому что кто же говоритъ въ просторѣчій языкъ Тургенева, Щедрина или Достоевскаго?

Всякое искусство по самой природѣ своей искусственно, и только отъ личныхъ свойствъ ума, склада душевной организаціи художника зависитъ, какому роду искусства онъ отдастся, въ какія формы съ наибольшимъ удобствомъ и силой отольются его идеи, эмоціи, образы. Пушкинъ и Лермонтовъ писали не только стихами, но и прозой. Эта проза — верхъ совершенства русской прозы; и однако, Пушкинъ и Лермонтовъ были по преимуществу стихотворцы, т. е. въ стихи вкладывали они лучшія силы таланта, наибольшую долю страсти, и значеніе того и другого для литературы, какъ стихотворцевъ, неизмѣримо большее, нежели прозаиковъ. Очевидно, стихотворная форма была для ихъ художественныхъ натуръ наиболѣе удобнымъ средствомъ общенія съ читателями.

Въ защиту стиховъ можно сказать еще и слѣдующее. Человѣческое слово способно выразить хотя и очень многое, но далеко

не все: есть нѣкоторыя смутныя, тонкія движенія души, которыя несравненно сильнѣе и ярче выражаются музыкой... Стихи съ ихъ музыкальной размѣренностью и плавностью ближе подходятъ къ музыкѣ, и, потому, въ нѣкоторыхъ случаяхъ они несравненно пригоднѣе холодной, отчетливой прозы; особенный *raison de'être* имѣютъ они, когда дѣло касается какихъ-либо патетическихъ сторонъ душевной жизни. Многія изъ „стихотвореній въ прозѣ“ Тургенева, навѣрное, безконечно бы выиграли, если бы были написаны *прекрасными* стихами... Попробуйте, съ другой стороны, переложить на прозу нѣкоторыя изъ лучшихъ стихотвореній Пушкина, обладавшаго такой величавой простотой выраженія, такимъ полнымъ отсутствіемъ вычурности, — и, навѣрное, даже эта проза вскорѣ утомитъ васъ, станетъ казаться излишне кудреватой...

Самая прекрасная проза не обладаетъ, наконецъ, такой способностью запечатлѣваться въ душѣ и памяти, какъ хорошіе стихи. Кромѣ развѣ рѣдкихъ чудаковъ, кто знаетъ наизусть хоть полстраницы прозы Тургенева, Толстого или—беря современныхъ беллетристовъ, пользовающихся шумной популярностью—г.г. Чехова, Горькаго? А, между тѣмъ, далеко не рѣдкость встрѣтить людей, которые прочтутъ вамъ наизусть одну или двѣ главы „Евгенія Онѣгина“, всего „Мцыри“, „Рыцаря на часъ“, „Пѣсню о соколѣ“ и цѣлыя десятки, даже сотни мелкихъ пьесъ Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Кольцова, Майкова, Тютчева, Полонскаго, Надсона и другихъ поэтовъ. Однимъ ли только тѣмъ объяснить это что рифмованныя и размѣренные строчки легче запоминаются? Не слѣдуетъ ли оставить кое-что и на долю большей прелести стихотворной формы, большей силы впечатлѣнія, которое она производитъ? Кто, напр., изъ поклонниковъ Толстого больше трехъ-четырехъ разъ втеченіе жизни прочиталъ „Войну и миръ“, это величайшее произведеніе величайшаго прозаика новыхъ временъ? Но тѣ же самые люди по десятку разъ перечитываютъ собранія сочиненій любимыхъ поэтовъ-стихотворцевъ... Стихи (конечно, хорошіе), очевидно, не только легче западаютъ въ память, но и читаются съ несравненно большимъ наслажденіемъ, нежели проза.

Впрочемъ, отъ защиты стиховъ мы перешли уже, повидимому, въ наступленіе... Серьезно доказывать, что стихи, какъ форма художественной рѣчи, выше прозы, мы, однако, не думаемъ,

такъ какъ хорошо сознаемъ, что это чрезчуръ субъективное мнѣніе, научному доказательству врядъ ли подлежащее.

Одно не подлежитъ для насъ сомнѣнію, что стихи—это особый языкъ, имѣющій такіе же законы и такое же право на существованіе, какъ и проза, языкъ, на который поэтъ переводитъ свои думы, свои ощущенія, и который понятенъ каждому человеку въ его лучшія, благороднѣйшія минуты. Стихотворная поэзія не должна, поэтому, умереть, и то сравнительное равнодушіе, съ какимъ въ настоящее время относятся къ ней критика и литературные слои общества,—явленіе чисто временное, объясняемое исключительно отсутствіемъ хорошихъ поэтовъ. Все измѣнится, какъ только явится крупный талантъ, который сумѣетъ „ударить по сердцамъ съ невѣдомою силой“... Передъ появленіемъ Пушкина тоже замѣчалось нѣчто подобное: высокопарныя оды и смѣшныя ихъ приторные романсы о нездѣшнихъ чувствахъ, баллады о мертвецахъ и привидѣніяхъ до того набили во всемъ оскомину, что къ стихамъ, въ общемъ, было едва ли лучшее отношеніе, чѣмъ въ наши дни. Но вотъ раздалась „звучи дивныхъ пѣсень“, брызнула живая вода настоящей поэзіи—и затрепетали восторгомъ мертвыя сердца, и стихи великаго чародѣя очутились на устахъ у всехъ! Ни общество русское, ни литература не собираются, конечно, умирать, и не одинъ еще разъ переживутъ они такую же бурю восторговъ и увлеченія стихами... Только когда же будетъ это? Когда появится, наконецъ, желанный гений? Увы! конечно, не раньше, чѣмъ когда измѣнится къ лучшему общія условія русской литературы и вдохновляющей ее жизни...

Но... когда еще солнце взойдетъ,—до той поры роса очей выѣстъ, и, пока-что, приходится скорбѣть не только объ оскудѣніи нашей поэзіи, но и о равнодушномъ отношеніи литературы къ этому оскудѣнію. Однако, намъ, быть можетъ, укажутъ на вышедшее въ нынѣшнемъ (1900) году восемнадцатое изданіе стихотвореній Надсона: кто же, какъ не литература и критика, разъяснилъ русскому обществу всю поэтическую прелесть, все нравственное значеніе безвременно погибшаго поэта? Къ сожалѣнію, въ томъ-то и дѣло, что критика была тутъ положительно не при чемъ: общество отдало Надсону свои симпатіи вполне свободно и независимо отъ какихъ бы то ни было литературныхъ вліяній,

проявивъ въ этомъ выборѣ много непосредственного художественнаго вкуса и душевной свѣжести; отношеніе же къ поэту литературы съ самаго начала отличалось неопредѣленностью и двусмысленностью... Начать съ того, что большихъ по объему статей авторитетныхъ критиковъ надсоновская поэзія ни разу не удостоилась; во множествѣ встрѣчались лишь короткія реценціи и бѣглыя замѣтки, авторы которыхъ охотно признавали Надсона поэтомъ симпатичнымъ и талантливымъ, распространялись о свѣтлой личности поэта-юноши и его трагической судьбѣ, но всё, точно сговорившись, тщательно избѣгали рѣшенія вопроса о мѣстѣ, какое Надсонъ долженъ занять въ ряду русскихъ поэтовъ XIX вѣка. Порой положительно что-то минорное звучитъ въ отношеніи къ Надсону критики, окрестившей его, между прочимъ, поэтомъ „безсилія“ и „нытя“! Выберемъ первый попавшійся примѣръ—энциклопедическій словарь Брокгауза и Ефрона, гдѣ такой тонкій цѣнитель и знатокъ художественной литературы, какъ С. А. Венгеровъ, въ интересно составленномъ очеркѣ новейшей русской литературы, пишетъ слѣдующее:

«Въ поэтической формѣ разладъ между требованіями чуткой совѣсти и нежеланіемъ активно противоdѣйствовать злу выразился въ первомъ періодѣ dѣятельности Н. М. Виденкина-Минскаго. Впослѣдствіи онъ сдѣлался проповѣдникомъ отрѣшенной отъ условій времени и мѣста «чистой красоты» и теоретикомъ эгоистически-индивидуалистическаго символизма («При свѣтѣ совѣсти»), но въ 70-хъ годахъ онъ приобрѣлъ широкую извѣстность, какъ пѣвецъ общественныхъ порывовъ и настроеній. И младшій сверстникъ Минскаго — С. Я. Надсонъ отразилъ ту же борьбу противоположныхъ теченій. Онъ не могъ стать поклонникомъ объективнаго и «чистаго искусства», но вмѣстѣ съ тѣмъ нѣжная и хрупкая душевная организація мѣшала ему быть борцомъ, и въ общемъ лирика его больше склоняется къ жалобамъ, чѣмъ къ протесту.»

Вотъ и все. Значеніе Надсона сужено въ этомъ отзывѣ до самыхъ скромныхъ размѣровъ, и самъ онъ въ поэтическомъ отношеніи поставленъ ниже такого, несомнѣнно, третьестепеннаго поэта, какъ г. Минскій („и младшій сверстникъ г. Минскаго“...).

Правда, почти всѣ критики, касавшіеся второго періода „dѣятельности“ г. Минскаго, неукоснительно ставили и ставятъ ему на видъ, отъ какой завидной доли истиннаго поэта онъ отказался, перейдя въ декадентскій лагерь, и въ полемическомъ увлеченіи сильно преувеличиваютъ ту популярность, какою онъ нѣкогда, будто бы, пользовался. Ностатья г. Венгерова въ энци-

кнопедическомъ словарѣ чужда полемическихъ задачъ, и отъ нея читатель былъ бы вправѣ ожидать чисто историческаго безпристрастія. Это безпристрастіе должно бы напомнить почтенному критику, что популярность г. Минскаго среди молодежи конца 70-хъ и начала 80-хъ годовъ ни въ какомъ случаѣ не могла идти въ сравненіе съ популярностью, выпавшей затѣмъ на долю Надсона. Довольно характерно, что стихотворенія этого поэта ни разу не попадали на страницы такого органа, какъ „Отеч. Записки“, а почти исключительно печатались въ „Вѣстникѣ Европы“, которымъ молодежь 70-хъ годовъ очень мало интересовалась. Кульминаціонными моментами радикальной поэзіи г. Минскаго были „Бѣлыя ночи“ (1879 г.) и „Пѣсни о родинѣ“ (1882 г.), но никому изъ помнящихъ литературныя увлеченія русской молодежи тѣхъ лѣтъ, конечно, не придетъ въ голову утверждать, что въ числѣ этихъ увлеченій были и названныя поэмы г. Минскаго. Стихи его многимъ нравились, но и только; никогда и никого не потрясали они до слезъ, до глубины души... И не трудно разгадать причину подобной слабости впечатлѣнія: чувствовалось всегда, при чтеніи самыхъ даже „красныхъ“ произведеній поэта, что онъ лишь поверхностно, скорѣе умомъ, нежели сердцемъ, затронулъ общимъ теченіемъ, что острые, боевые мотивы его поэзіи не вырываются изъ души, а навѣяны уже существующими литературными образцами... Прославленные, напр., „Бѣлыя ночи“ сильно сбивались на простое подражаніе некрасовскому „Рыцарю на часъ“; тамъ, гдѣ по замыслу долженъ былъ слышаться „крикъ сердца“, у г. Минскаго выходила одна шумливая риторика:

Прощай, прощай, страна невыплаканныхъ слезъ,

Страна порывовъ неоглядныхъ,

Силь неразбуженныхъ, неисполнимыхъ грезъ,

Страна загадокъ неразгаданныхъ;

Страна безмолвія и шумной болтовни,

Страна испуга и задора,

Страна терпѣнія и дѣтской хлопотни,

Страна неволи и простора;

Страна больныхъ дѣтей, безпечныхъ стариковъ,

Веселья мрачнаго, какъ тризна,

Ненужныхъ слезъ и жертвъ

Прощай, о сфинксъ! Прощай, отчизна!..

(«Пѣсни о родинѣ»).

Чуткія сердца отлично улавливали художественную фальшь подобныхъ стиховъ,—и крайне желательно, чтобы будущій историкъ литературы не повторилъ ошибки, въ которую впалъ г. Венгеровъ. Не лишень интереса фактъ, что первое изданіе стихотвореній г. Минскаго, еще не потерпѣвшее отъ автора того „вдохновеннаго погрома“, какимъ впоследствии восторгался г. Волинскій, вышло въ свѣтъ въ самый годъ смерти Надсона (1887 г.), въ довольно ограниченномъ числѣ экземпляровъ; тамъ были *in toto* согре и „Бѣлыя ночи“, и „На чужомъ пиру“, и „Пѣсни о родинѣ“—и, тѣмъ не менѣе, лишь десять лѣтъ спустя дождался г. Минскій слѣдующаго изданія своей книги!

То ли было съ дѣйствительнымъ „пѣвцомъ общественныхъ порывовъ и настроеній“, съ Надсономъ? Изъ публикуемыхъ Литературнымъ Фондомъ отчетовъ объ изданіяхъ Надсона видно, что за короткій періодъ 15 лѣтъ было выпущено въ свѣтъ 87 тысячъ экземпляровъ стихотвореній Надсона *)... Очевидно, имя поэта успѣло сдѣлаться на Руси классическимъ, извѣстнымъ наравнѣ съ лучшими именами родной литературы, а поэзія стала близкой и понятной широкимъ кругамъ общества, почти всякому юношѣ, въ которомъ просыпается интересъ къ литературѣ и поэзіи. Нашимъ декадентамъ и символистамъ остается, разумѣется, утѣшаться остроумной выдумкой г. Льдова (въ предисловіи къ собственной книжицѣ стиховъ): „я былъ бы непритворно (!) огорченъ, если бы моя скромная лирика совпала съ настроеніемъ большинства, которое удѣляетъ лишь мимолетное вниманіе человѣческому духу...“

Если Надсонъ не болѣе, какъ талантливый поэтъ зауряднаго значенія, то что же, наконецъ, означаетъ этотъ феноменальный, съ каждымъ годомъ все растущій успѣхъ? Вопросомъ этимъ мы отнюдь не хотимъ сказать, что то или иное распространеніе поэта въ публикѣ является для насъ мѣриломъ и его художественной цѣнности; довольно странно ироническое замѣчаніе одного критика, будто, согласно нашей оцѣнкѣ, Надсонъ

*) Въ апрѣлѣ 1902 г. выпущено XIX-е изданіе въ 6000 экз., а ровно черезъ годъ, въ апрѣлѣ 1903 г., XX-е въ 9000 экз. Итого, съ марта 1885 г., когда еще при жизни поэта вышла первая неполная тысяча его книги, за какихъ-нибудь 18 лѣтъ напечатано 100 тысячъ экземпляровъ стихотвореній Надсона.

долженъ быть поставленъ выше Пушкина и Лермонтова. Во-первыхъ, цѣнность поэзіи Надсона обставлена въ нашемъ этюдѣ, думается, болѣе серьезными доказательствами; что же касается сравненія его съ нашими великими поэтами, то невѣрно прежде всего мнѣніе, будто Надсонъ оставилъ ихъ за флагомъ въ дѣлѣ распространенія. Сочиненія Пушкина и Лермонтова, правда, расходились довольно слабо въ тѣ времена, когда стояли отъ 6 до 15 рублей, но съ момента удешевленія (въ 1887 и 1891 году) стали расходиться въ сотняхъ тысячъ, быть можетъ, въ милліонахъ экземпляровъ, и въ этомъ отношеніи никакая параллель между ними и Надсономъ невозможна.

Тѣмъ не менѣе, огромный успѣхъ этого поэта остается фактомъ, столько же любопытнымъ, сколько и поучительнымъ, и задуматься надъ его объясненіемъ положительно стоитъ. Наивно было, подобно г. Меньшикову, объяснять этотъ фактъ обаяніемъ личности Надсона, личности хоть и дѣйствительно прекрасной, но не представлявшей все же ничего исключительнаго *). Мелко было все объяснять безвременной смертью поэта, или яростными нападками г. Буренина. Безвременно умирали у насъ очень многіе поэты и писатели, и, однако, никому изъ нихъ не досталась на долю подобная слава; прошло, наконецъ, столько лѣтъ, трагедія ранней смерти давно утратила свою острую боль... Отъ „знаменитаго“ нѣкогда критика осталось въ литературѣ одно зловоніе раздавленного клопа; ореолъ же славы Надсона не только не меркнетъ, но, повидимому, только еще разгорается настоящимъ свѣтомъ... Секретъ успѣха,—комментируютъ другіе

*) Въ 1900 г., въ статьѣ о г. Горькомъ, г. Меньшиковъ разсуждаетъ уже иначе: «Задумчивый поэтъ захворалъ неизлѣчимою болѣзнью и умеръ на расцвѣтѣ своего таланта. Большой успѣхъ выросъ въ необычайный». И въ другомъ мѣстѣ: «Мнѣ вспоминается бѣдный, кроткій Надсонъ, который не только мухи никогда не убилъ, но которому самая мысль о кровавой борьбѣ казалась ужасной. Въ дружеской бесѣдѣ онъ отвергалъ всякій терроризмъ, а въ стихахъ у него «борьба» разсыпана чуть не въ каждомъ стихотвореніи, иногда по нѣсколько разъ. И нѣтъ сомнѣнія, эта «борьба», для публики звучавшая нѣсколько иначе, была одною изъ главныхъ пружинъ неслыханнаго успѣха Надсона». — Не говоримъ уже о томъ, что г. Меньшиковъ, очевидно, представляетъ себѣ русское образованное общество сборищемъ какихъ-то каннибаловъ, для которыхъ слово «борьба» не имѣетъ другого смысла, кромѣ кроваваго; но и вообще характерно это новое объясненіе, въ сущности, не менѣе наивное, чѣмъ и прежнее.

мудрецы,—заключается въ честной тенденціи надсоновскихъ стиховъ, въ гражданской скорби и гражданской добродѣтели. Но тутъ опять вспоминается г. Минскій: вѣдь ужъ до чего, кажется, былъ добродѣтеленъ! Обѣими руками писалъ свои гражданскіе стихи („что сердце терзало—то *руки* писали“), а вотъ подите же—популярности не снискалъ и принужденъ былъ изъ лагеря радикаловъ перебѣжать въ лагерь эстетовъ. Вспоминаются и болѣе крупные, болѣе искренніе поэты, хотя бы, напр., Никитинъ. Казалось бы, авторъ „Кулака“, „Портного“ и „Жены ямщика“ долженъ быть куда понятнѣе и ближе широкимъ слоямъ русскаго общества, а между тѣмъ, сравнительно съ Надсономъ, даже и Никитинъ имѣлъ очень скромный успѣхъ (за двадцать слишкомъ лѣтъ три изданія)*).

Очевидно, тайна заключается въ томъ, что Надсонъ сѣмѣлъ задѣть центральный нервъ общественной психики своего времени, и притомъ не такъ, какъ раньше задѣвали десятки другихъ оставшихся неизвѣстными поэтовъ, а—съ блестящимъ искусствомъ, съ неподражаемой силой, всепобѣждающей задущевностью...

Три года назадъ мы подробно развили эту мысль въ статьѣ, написанной по поводу десятилѣтняго юбилея Надсона, и теперь не станемъ повторяться. Думаемъ, что въ основѣ своей мысль наша справедлива. Однако, вотъ на что нельзя не обратить вниманія: переживаемые нами теперь дни уже значительно разнятся по настроенію отъ надсоновской эпохи; говорятъ, и молодежь нынѣшняя не та, что была когда-то... Не подлежитъ, наконецъ, сомнѣнію, что успѣхъ надсоновской поэзіи проникъ уже и въ тѣ слои, куда до-
~~ка~~зывается, обыкновенно, лишь смутный, далекій гулъ обществен-
ныхъ движеній и настроеній. А между тѣмъ, успѣхъ, какъ мы видѣли, не падаетъ, а все растетъ и расширяется... Пора, слѣдовательно, расширить и прежнее объясненіе, ставшее нѣсколько

*) Отмѣтимъ, хотя бы ради курьеза, и такое еще объясненіе: «Не можетъ быть и сомнѣнія въ томъ, что Мей былъ отъ природы талантливѣе (?) Надсона, и его вкладъ въ литературу гораздо значительнѣе (?) вклада Надсона, но въ смыслѣ *успѣха* ихъ нельзя и сравнивать между собою. Къ латинскому изреченію *habent sua fata libelli* мы, очевидно, должны присоединить русскую сентенцію-пословицу: не родись пригожъ и уменъ,—родись счастливъ... *Удача* писателя, его успѣхъ или неуспѣхъ зависятъ не только отъ степени его таланта, но и отъ нѣкоторыхъ другихъ условій, которыя можно назвать просто случайными»... (М. А. Протопоповъ, «Русская мысль» 1903 г., июнь). Объясненіе, дѣйствительно, простое, можно даже сказать — простодушное...

узкимъ и недостаточнымъ. Очевидно, есть и какое-то непреходящее, общее значеніе у этой столь популярной поэзіи, значеніе, независимое отъ даннаго времени и данныхъ историческихъ обстоятельствъ...

Заключается оно, думается намъ, въ томъ, что Надсонъ былъ не только пѣвцомъ своего поколѣнія, но и пѣвцомъ юности вообще, чистоты и свѣжести юнаго чувства, красоты дѣвственныхъ порываній къ идеалу. Болѣзненная раздвоенность, рефлексія, „нытье“ внесли, несомнѣнно, свою законную долю въ острую, почти болѣзненную популярность Надсона въ концѣ 80-хъ годовъ; но главная притягивающая сила и непреходящая прелесть его поэзіи—въ томъ, что въ ней, какъ въ зеркалѣ, отразилась вѣковѣчная красота молодости. „Тревога юныхъ силъ“, „боль за идеалъ и слезы о свободѣ“, мечты любви—не любви знойныхъ ночей и сладострастныхъ объятій, а любви—подвигъ и молитвъ, привязанность къ родинѣ до готовности стать ея „псомъ сторожевымъ“, взглядъ на жизнь, какъ на „келью святую дѣвственныхъ думъ и завѣтныхъ трудовъ“, всѣ эти трогательнѣйшіе мотивы надсоновской музыки—не что иное, въ сущности, какъ мечты, наполняющія и волнующія всякую здоровую юность.

Не хотѣлъ онъ идти, затерявшись въ толпѣ,
Безъ лишеній и жертвъ, по избитой тропѣ.
Съ дѣтскихъ лѣтъ онъ почувствовалъ въ сердцѣ своемъ,
Что на свѣтъ онъ родился могучимъ орломъ.
«День за днемъ бесполезно и слѣпо влачить,
Жить, какъ всѣ,—говорилъ онъ,—ужь лучше не жить!..
Пусть же рано паду я, подломленъ грозой,
Но на-вѣки оставлю я слѣдъ за собой.
Надъ людьми и землей, какъ стрѣла, я взвѣсьюсь,
Какъ виномъ, я просторомъ и свѣтомъ упыюсь!
И въ дали я обѣщанный рай разгляжу
И дорогу къ блаженству толпѣ укажу!»

Какъ далеки эти свѣтлыя альтруистическія мечты отъ „злости дня“ той или другой опредѣленной эпохи, какъ общи онѣ всѣмъ временамъ и народамъ! Но въ этомъ именно и заключаются права Надсона на бессмертіе. Указываютъ на его разладъ, на его „безсильное нытье“, какъ на такіе недостатки, которые, будто бы, низводятъ его въ разрядъ мелкихъ, третьестепенныхъ поэтовъ,—и не видятъ того, что „нытье“ Надсона, результатъ болѣзни и принадлежности къ мрачной эпохѣ, составляетъ лишь

трагическій фонъ для чуднаго гимна вѣчной юности и „святыни ея прекрасныхъ стремленій“. Перечитайте отдѣлъ „посмертныхъ“ стихотвореній Надсона, этотъ прелестный, трогательный дневникъ—исповѣдь молодой умирающей души, которая до послѣдняго вздоха все жаждетъ жить и любить жизнь и людей,—и скажите: есть ли въ исторіи нашей поэзіи другой образчикъ такого же чистаго и беззавѣтнаго идеализма? Многіе вспоминаютъ, быть можетъ, туманно мистическую музу Жуковского; но поэзія Надсона чужда мистицизма, и про нее съ несравненно большимъ правомъ можно сказать, что она—„есть Богъ въ святыхъ мечтахъ земли“. И то, чего не могла или не хотѣла оцѣнить авторитетная критика, оцѣнила чуткая молодежь: Надсонъ сдѣлался ея кумиромъ, признанъ пѣвцомъ и истолкователемъ ея завѣтныхъ думъ и стремленій...

III.

Не допѣтыя пѣсни.

Ровно пятнадцать лѣтъ прошло со дня смерти Надсона, и Литературный Фондъ, которому принадлежитъ право на литературное наслѣдство безвременно угасшаго поэта, ознаменовалъ грустную годовщину выпускомъ новой книги, въ которую вошли не изданныя до сихъ поръ стихотворенія, а также любопытныя выписки изъ юношескаго дневника. Къ книжкѣ приложены—неизвѣстный еще портретъ Надсона (въ офицерскомъ мундирѣ) и прелестная карточка той рано умершей дѣвушки (Наташи Дешевовой), идеальный образъ которой вдохновилъ поэта на многія изъ лучшихъ его стихотвореній и памяти которой онъ посвятилъ, какъ извѣстно, всю свою книгу.

Пятнадцатилѣтняя давность... А между тѣмъ, когда просматриваешь эти обрывки пѣсенъ, которые самимъ авторомъ, вѣроятно, никогда и не предназначались для печати, и въ которыхъ лишь мимолетно отразилось то или иное чувство, та или другая мысль,—испытываешь впечатлѣніе, будто они сейчасъ только набросаны на бумагу живою, лихорадочно дрожащей рукой... Такъ иногда обрывокъ стараго интимнаго письма, неожиданно найденный въ запыленномъ ящикѣ стола, сразу восстано-

вляеть въ душѣ любимый образъ и печаль объ утраченномъ... Съ новою силой просыпаются боль и скорбь объ этой безвременной, слишкомъ дорогой для русской поэзіи уtratѣ!

Правда, русская литература несла и болѣе тяжкія потери. Почти полувѣкомъ раньше погибъ гениальный Лермонтовъ, похищенный смертью также на зарѣ загоравшейся надъ нимъ славы. Но если ~~оставить~~ въ сторонѣ разницу талантовъ и общественнаго значенія обоихъ поэтовъ, то приходится признать, что къ Лермонтову судьба все же была не такъ жестока: онъ умеръ 27 лѣтъ отъ роду, будучи почти на три года старше Надсона (а три года въ этомъ возрастѣ имѣютъ страшно большое значеніе); но что всего важнѣе, Лермонтовъ былъ здоровый человѣкъ и съ могучей полнотою успѣлъ проявить свой великій поэтический талантъ. Не обладая, конечно, его гениемъ, Надсонъ былъ все же высокодаровитый поэтъ; но страшная болѣзнь уже съ отроческихъ лѣтъ держала его въ своихъ цѣпкихъ когтяхъ, и за полѣдніе два-три года почти не давала несчастному поэту-юношѣ вздохнуть свободно.

Названіе „Не допѣтыя пѣсни“, какъ нельзя лучше, подходитъ къ этимъ болѣею частью не оконченными и не отдѣланными стихотвореніями: въ душѣ Надсона, дѣйствительно, что-то непрерывно *тѣло*; она переходила отъ одной мелодіи къ другой, и болѣзнь поэтъ едва успѣвалъ переводить ихъ на бумагу...

Въ предлагаемыхъ отрывкахъ и наброскахъ читатель не встрѣтитъ, конечно, шедевровъ надсоновской музы; они не бросаютъ неожиданно-новаго свѣта на личность поэта, не явятся серьезнымъ вкладомъ въ сокровищницу русской поэзіи,—странно было бы и ожидать чего-либо подобнаго. Но не будутъ эти скромныя „не допѣтыя пѣсни“ и тѣмъ лишнимъ балластомъ, отъ котораго порой затемняется и расплывается образъ писателя. Цѣнители поэзіи пробѣгутъ ихъ съ живымъ удовольствіемъ, друзья и почитатели Надсона еще разъ услышатъ голосъ любимаго поэта... Сила его таланта и искренности ярко бросается въ глаза даже въ самыхъ незначительныхъ наброскахъ (въ 2—3 стиха), кинутыхъ бѣглой рукой на бумагу, забытыхъ тотчасъ же и оставленныхъ навсегда безъ окончанія, безъ отдѣлки, порой даже безъ соответствующей рифмы. Въ строгомъ смыслѣ это, конечно, не художественныя творенія, но въ нихъ слышишь теплоту искреннихъ слезъ, боль живого страданія...

Порой мнѣ кажется, что жизнь не начиналась,
 Что пережитое—какой-то смутный сонъ,
 Что впереди еще все свѣтлое осталось...

Святое, чистое, прекрасное страданье,
 Стоишь, съ кровью вырванный изъ искренней души,
 Мнѣ больно за тебя!
 торгаша...

Эти на полувзвукъ оборванные, глубоко-трогательные стоны кажутся намъ дороже и цѣннѣе увѣсистыхъ и безукоризненно-отдѣланныхъ поэмъ! Какая простота и вмѣстѣ сила выраженія: „прекрасное страданье“, „стоишь съ кровью вырванный“—это ли не истинно-поэтическая образность, не чистое золото поэзіи, добытое съ помощью одной только безконечной и беззавѣтной искренности, потому что труда и творческой выдумки здѣсь, очевидно, и слѣда не было?..

Но, кромѣ отрывковъ, есть въ новой книжкѣ и нѣсколько цѣльныхъ пьесъ, если не по красотѣ, то по силѣ впечатлѣнія мало уступающихъ лучшимъ надсоновскимъ вещамъ: „Изъ Джакометти“, „Герою“, „Художники ее любили воплощать“, „Изъ Гейне“, „Распахнулись тяжелыя двери“, „Какъ громъ отдаленный“, „Проснись, пѣвецъ“, „Всѣ говорятъ—поэзія увяла“, „Пѣвцу Италіи“ и др. Однѣхъ этихъ пьесъ было бы достаточно, чтобы окрасить яркимъ цвѣтомъ сборникъ любого изъ легіона современныхъ стихотворцевъ... Какъ любопытно, напр., слѣдующее прекрасное стихотвореніе:

Я росъ тебѣ чужимъ, отверженный народъ,
 И не тебѣ я пѣлъ въ минуты вдохновенья.
 Твоихъ преданій мѣръ, твоей печали гнетъ
 Мнѣ чуждъ, какъ и твои ученья.
 И если-бъ ты, какъ встарь, былъ счастливъ и силенъ,
 И если-бъ не былъ ты униженъ цѣлымъ свѣтомъ,—
 Инымъ стремленіемъ согрѣть и увлеченъ,
 Я-бъ не пришелъ къ тебѣ съ привѣтомъ.
 Но въ наши дни, когда подъ бременемъ скорбей
 Ты гнешь чело свое и тишью ждешь спасенья,
 Въ тѣ дни, когда одно названіе «еврей»
 Въ устахъ толпы звучитъ, какъ символъ отверженья;
 Когда твои враги, какъ стая жадныхъ псовъ,
 На части рвутъ тебя, ругаясь надъ тобою,—
 Дай скромно стать и мнѣ въ ряды твоихъ бойцовъ,
 Народъ, обиженный судьбою!

„Не допѣтыя пѣсни“ даютъ также не бывшій до сихъ поръ въ печати энергичный конецъ извѣстнаго стихотворенія „На могилѣ Герцена“.

Въ послѣднее время приходится иногда встрѣчать мнѣнiе, будто время Надсона отошло, будто поэзія его, поэзія ноющихъ, слабовольныхъ людей, не можетъ быть любима современной молодежью, полной бодрого и дѣятельнаго одушевленія. Когда же, однако, и кто придавалъ Надсону значеніе какого то литературнаго Тиртея? Но если содержаніемъ его пѣсенъ являлось по преимуществу душевное смятеніе поколѣнія 80-хъ годовъ, поставленнаго лицомъ къ лицу съ непосильно-огромными задачами, то источникомъ ихъ всегда была горячая любовь къ родинѣ, свѣтлая вѣра въ лучшія силы человѣческаго духа. Пѣвецъ „тревоги юныхъ силъ“ и „первыхъ чувствъ расцвѣта“, онъ близокъ и дорогъ рѣшительно всякому юношѣ, независимо отъ того—принадлежитъ ли послѣдній къ бодрому или ноющему поколѣнію. И, думается намъ, долго еще Надсонъ будетъ увлекать русскую молодежь своей хрустальной искренностью, теплой задушевностью и тонкимъ изяществомъ музыкальнаго стиха.

Современныя миниатюры.

(1896—1903).

I.

Н. М. Минскій.

Духъ запустѣнія царить надъ современной русской литературой — вотъ мнѣніе, ставшее избитымъ мѣстомъ; и если оно справедливо, то, конечно, прежде всего по отношенію къ стихотворной поэзіи. Послѣдніе могикане ея или давно уже покинули сцену жизни, или, дожидаясь своей очереди, не даютъ больше литературѣ ничего цѣннаго, ничего истинно поэтическаго. Остается такъ называемая молодая школа поэтовъ, изъ которыхъ одни, выступившіе въ 70-хъ и началѣ 80-хъ годовъ, находятся теперь въ среднемъ (и нѣкоторые даже почтенномъ) возрастѣ, а другіе, подлинно молодые, сидятъ еще на ученическихъ скамьяхъ или только что сошли съ нихъ. Эта послѣдняя категорія безчисленна, какъ песокъ морской. Не проходитъ дня безъ вновь появляющагося сборника стиховъ. Къ сожалѣнію, весь этотъ ливень поэзіи обдаетъ читателя ледящей струей какой-то духовной мертвенности, бездарности или, въ лучшемъ случаѣ, посредственности, какъ бы являясь живымъ символомъ родившаго его неглубокаго поколѣнія, ни въ одной сферѣ жизни и искусства не создавшаго ничего, сколько-нибудь отмѣченнаго печатью силы и убѣжденія. Кое-гдѣ, правда, мелькаютъ и искорки истиннаго дарованія, но онѣ такъ миниатюрны и въ то же время, по большей части, такъ надуты собою, страдаютъ такой маніей величія, что возлагать на нихъ какія либо серьезныя надежды трудно.

Въ довершеніе несчастія, завелся на Руси зловердный микробъ, еще ждущій своего Пастера, который открылъ бы способъ прививки и предохраненія отъ него. Этотъ губительный микробъ, особенно крѣпко присосавшійся къ нашей молодой поэзіи, называется символизмомъ и декадентствомъ. Манерностью, нелѣпыми претензіями и искусственной болѣзненностью этого занесеннаго съ чужой почвы направленія заражены чуть не поголовно всѣ

молодые наши поэты; но едва-ли не главными виновниками насаждения этихъ „черныхъ розъ“ въ садахъ русской литературы слѣдуетъ признать тѣхъ средняго возраста молодыхъ поэтовъ, объ одномъ изъ которыхъ мы намѣрены поговорить въ настоящей замѣткѣ. Г. Минскій одинъ изъ первыхъ поднялъ на Руси знамя декадентства. Однако, прежде чѣмъ говорить объ этомъ новомъ періодѣ его поэтической дѣятельности, слѣдуетъ упомянуть добромъ его первый, свѣтлый періодъ, когда г. Минскій, въ глазахъ многихъ, былъ одною изъ лучшихъ надеждъ нашей поэзіи. Нельзя и точно отрицать, что при всемъ отсутствіи въ его талантѣ непосредственности, задушевности, простоты и, прибавимъ, скромности, талантъ этотъ не подлежалъ ни малѣйшему сомнѣнію. Г. Минскій выступилъ въ половинѣ 70-хъ гг. въ одномъ изъ передовыхъ журналовъ съ симпатичными отзывами „музы мести и печали“ и, несмотря на явное подражаніе ей, хотя бы въ извѣстныхъ „Бѣлыхъ ночахъ“, встрѣтилъ въ передовыхъ частяхъ общества искреннее сочувствіе. Такія стихотворенія, какъ „Послѣдняя воля“, „Передъ зарею“, „На чужомъ пиру“, „Пѣсни о родинѣ“, „Геесиманская ночь“ и др., дѣйствительно были поэтическими произведеніями, цѣнными, несмотря на всѣ недостатки формы, о которыхъ теперь такъ злорадно кричатъ поклонники новаго „символическаго“ фазиса поэзіи г. Минскаго. Да и какъ же было не вѣрить наивной молодежи въ искренность поэта, такъ патетически восклицавшаго: „О, родина моя! О родина терзаній!“ Какъ было не любить его, утверждавшаго о себѣ, что онъ — „дитя, жрецъ кротости безсильной“, „родникъ любви неистощимой“, что богиня любви повела его „въ жилища грязныхъ труда и нищеты и почитать велѣла ихъ, какъ храмы“? Однако, недолго длились розовыя иллюзіи, и достойно замѣчанія, что еще въ этотъ періодъ усиленной гражданственности г. Минскаго осторожные и дальновидные люди прозрѣвали театральность его страдальческихъ жестовъ и стоновъ о родинѣ... Г. Минскій очень скоро сообразилъ, что такая поэзія не всегда и не вездѣ ко двору, и что слава и популярность даются еще и другого рода писаніями... И вотъ, быстрымъ и граціознымъ движеніемъ онъ накидываетъ себѣ на плечи, правда, обветшалый и кое гдѣ дырявый, но въ глазахъ толпы всегда остающійся красивымъ хитонъ разочарованія и гордаго презрѣнія къ людямъ. Появляется извѣстная книга о „мэонахъ“, претенціозная и пустозвонная книга, полная философическихъ потугъ въ прозѣ, встрѣченная единодушными насмѣшками всей серьезной части печати. Но г. Минскаго, какъ всѣхъ неисправимо-тщеславныхъ людей, насмѣшки не отрезвили, а только озлобили и еще больше „утвердили“ въ его новыхъ „убѣжденіяхъ“, и еще совсѣмъ недавно „въ товарищеской бесѣдѣ“ съ г. Волынскимъ (см. статьи послѣдняго въ „Сѣв. Вѣстн.“) онъ, „нервно загорѣвшись“, указалъ великому критику земли русской на какую-то страницу своей осмѣянной книги, гдѣ

были наиболѣе сконденсированы мѣстныя идеи... Въ первыхъ двухъ изданіяхъ своихъ стихотвореній г. Минскій проявилъ еще нѣкоторую нерѣшительность и оставилъ неприкосновенными ихъ прежніе мотивы; но въ третьемъ, лежащемъ теперь передъ нами, онъ, набравшись, должно быть, духа изъ поученій смѣлаго своего „товарища“, произвелъ, по счастливому выраженію все того же г. Волынскаго, „вдохновенный разгромъ“, и хотя послѣ этого разгрома сохранился небольшой отдѣлъ, пренебрежительно озаглавленный „изъ гражданскихъ мотивовъ“, но онъ представляетъ лишь жалкіе остатки былого величія. Любопытно и посвященіе всей книжки... ни болѣе, ни менѣе, какъ богинѣ свободы. („Я цѣпи старыя свергаю, молитвы новыя пишу“ и т. д.). Не пугайтесь, однако, читатель, это не какая-нибудь превратная и зловредная свобода—о, нѣтъ! Всякому овощу свое время, и свобода г. Минскаго такого рода овощъ, что его не сразу и раскусишь. Не такъ еще давно, когда г. Минскій былъ уже декадентомъ, его богиня рекомендовала себя нѣсколько иначе: „я—жажда истины, я—совѣсть мірозданья“; она общалась нашему поэту „показать ему ложь во всемъ, что онъ считалъ добромъ, и неизбежное—въ порочномъ и преступномъ“, предвѣщая, что мысль его превратится тогда въ „сожженную пустыню“. Прошло всего нѣсколько лѣтъ, и грозная богиня, очевидно, успѣла выполнить свое пророчество—она сожгла мысль несчастнаго г. Минскаго и превратила ее въ пустыню. Душу свою онъ рисуетъ съ тѣхъ поръ „усталой, измѣнившей всѣмъ, кого онъ когда-то любилъ, забывшей все, что было для него свято“,—словомъ, свободной отъ всѣхъ „старыхъ цѣпей“. Само собой разумѣется, что богиня послѣ этой страшной операціи надъ поэтомъ захотѣла переименовать свое названіе. Теперь она называется у него безразлично—то свободою, то смертью. „Я смерть свободою зову“, очень просто объясняетъ г. Минскій въ одномъ изъ своихъ стихотвореній.

Прослѣдимъ же идеи новѣйшаго, „сожженнаго“ г. Минскаго. Начнемъ съ народа, съ отношеній поэта къ этому неразгаданному сфинксу, которому не одно поколѣніе посвящало свои думы, свою любовь и самую жизнь. Было время, когда и самъ г. Минскій посылалъ „терпѣливому пахарю привѣтъ отъ грустнаго пѣвца“ и, улетаая мечтой въ грядущее, предвѣдалъ, что имъ обомъ дастся вѣнецъ отъ „родины счастливой“. Теперь это стихотвореніе попало въ число опасныхъ; его нѣтъ въ 3-мъ изданіи, и г. Минскій, горделиво приблизившись къ народу, спрашиваетъ его: „Кто лучше—я или ты?“—и отвѣтъ его на этотъ вопросъ долженъ вытекать, повидимому, изъ другого поставленнаго рядомъ вопроса, разгадку котораго онъ предоставляетъ, впрочемъ, читателю: „О, кто же ты, скажи—герой великодушный, или годный къ битвѣ конь, араппику послушный?“ Мысль поэта выступаетъ съ полной ясностью въ драмѣ „Смерть Кая Гракха“. „Лютую ехидну безопаснѣй прижать къ груди, чѣмъ полюбить народъ!“—восклицаетъ

въ ней призракъ Спурія Кассія. „Не вѣрь, не вѣрь народу!“ — добавляетъ тѣнь Манлія. А третій призракъ—Тиберія Гракха—выражается еще опредѣленнѣе: „Въ смерти часть, неожиданно наступившій, любовь моя (къ народу) вдругъ ненавистью стала, столь пламенной, какой была сама. И понялъ я, что больше правъ жестокій, чѣмъ тотъ, кто добръ,—преступникъ, чѣмъ судья,—бичъ міра, чѣмъ защитникъ простодушный. И пожалѣлъ, что молодости годы не посвятилъ забавамъ молодымъ, не притѣснялъ, не мучилъ, не глумился...“ Не совсѣмъ, правда, благородно со стороны поэта собственныя разочарованія приписывать прославленнымъ исторію борцамъ за счастье народное; но... Манлій, Тиберій Гракхъ—какая старина! Въ ихъ уста можно, конечно, вложить все, что угодно—мертвые не отвѣтятъ, и никакой Донъ-Кихотъ за ихъ честь не вступится. Къ сожалѣнію, г. Минскій не перемонится и съ живыми еще современниками (на его счастье, не имѣющими почему-либо возможности ему возразить), и одному изъ такихъ лицъ, портретъ котораго всякій узнаетъ очень легко, осмѣливается вмѣстѣ съ другими откровенными, но сомнительными признаніями, навязать такое, наприм., мнѣніе о судѣ потомства: „Что судъ исторіи! Что поздній судъ дѣтей! Ученыхъ праздный споръ, иль буйный крикъ невѣжды!..“ Бывшій либеральный поэтъ, очевидно, не понимаетъ, что дѣлаетъ!

Изъ другого, не болѣе добросовѣстнаго, стихотворенія явствуетъ, что все прекрасное и святое въ мірѣ заключается въ искусствѣ, и что презрѣніе къ этому величайшему изъ божествъ никогда не остается безнаказаннымъ.

Лишь та рѣка чрезъ степь до моря дотечетъ,
Истоки чьи живутъ нагорными снѣгами!
Лишь тотъ боецъ силенъ, кто въ міръ сошелъ съ высотъ
Великихъ помысловъ: онъ властвуетъ сердцами.
Но подвигъ вашъ, друзья, безслѣдно пропадетъ!
Своей карающей судьбой вы были сами.
Вы дерзко презрѣли искусство, божество:
Имъ долго не простить позора своего...
Надъ міромъ вы прошли, подобно бурѣ снѣжной,
Желая умертвить дыханьемъ ледянымъ
Все то, что міръ зоветъ прекраснымъ и святымъ.
Въ укоръ былымъ вѣкамъ, грядущимъ въ назиданье,
Вамъ грозный приговоръ потомство наречетъ,
Посмертнымъ терніемъ вѣнецъ вашъ обовѣтъ.

— Но *мы*, теперь еще живущіе, — великодушно заявляетъ г. Минскій въ заключеніе (разумѣя, очевидно, себя, г. Волынского, г-жу Гуревичъ и др. столповъ „Сѣвернаго Вѣстника“), — „любви заблудшейся съ любовью мы простимъ и скорбный вашъ урокъ слезой благословимъ...“

Итакъ, поколѣніе, къ которому поэтъ обращается съ своими упреками, потому именно погибло безслѣдно, что пренебрегало ис-

кусствомъ, т. е. не ставило выше всего на свѣтъ—стиховъ, живописи, скульптуры, музыки и др. красивыхъ и пріятныхъ вещей; „божество“ приплетено сюда, вѣроятно, только для рифмы, такъ какъ самъ г. Минскій (что явствуетъ изъ всей его поэзіи) никакихъ иныхъ божествъ, кромѣ „красоты“, не знаетъ и знать не хочетъ. Презрѣніе къ искусству для искусства — вотъ то роковое преступленіе, которое, по г. Минскому, повлекло за собой такіа гибельныя послѣдствія, и которое позволяетъ ему съ легкимъ сердцемъ сказать про свое поколѣніе: „Ты сошло въ міръ не съ высоты великихъ помысловъ; ты желало умертвить *все*, что міръ зоветъ прекраснымъ и святымъ!..“

Не спрашивайте, читатель, г. Минскаго о томъ, не существуетъ ли въ мірѣ чего-нибудь болѣе великаго, прекраснаго и святаго, чѣмъ любовь къ холодно-красивымъ и бездушно-отточеннымъ стихамъ гг. парнасцевъ (не любить которыхъ не значитъ еще не любить, напр., поэзіи Некрасова или Шевченка). Не спрашивайте г. Минскаго и о томъ, какимъ образомъ презрѣніе или любовь къ искусству могутъ быть рѣшителями какой-либо великой гражданской борьбы, и точно ли побѣдители всегда обладаютъ великими помыслами и любовью ко всему прекрасному и святому. Не спрашивайте ничего этого у человѣка, который порвалъ со стыдомъ также, какъ и съ логикой, и который лишь по какому-то печальному недоразумѣнію продолжаетъ называть „товарищами“ тѣхъ людей, чьи могилы только что оплевывались: если бы мертвецы могли встать изъ своихъ гробовъ, они, конечно, съ негодованіемъ отвергли бы подобное „товарищество“.

„Есть слова—я всѣ ихъ зналъ“,—вспоминаетъ г. Минскій,—„отъ высокихъ словъ не разъ я скорбѣлъ и ликовалъ, даже слезы лилъ подчасъ. Но усталъ я лепетать звучный лепетъ дѣтскихъ дней.“

— Что же и кого же теперь любите вы, г. Минскій? „Никого я не люблю, всѣ мнѣ чужды, чуждъ я всѣмъ, ни о комъ я не скорблю и не радуюсь ни съ кѣмъ“.

— Такъ... Ну, а какъ вы насчетъ заповѣди полагаете — любить ближняго, какъ самого себя? „Самъ себя презрѣнъ я карая, — отвѣчаетъ поэтъ: —какой-то сонъ божественный любя, въ себя и ложь, и правду презираю“. Выводъ отсюда ясный: „Всѣхъ людей, равно за всѣхъ скорбя, я не люблю, какъ самого себя!“ Для такого человѣка, очевидно, не существуетъ ни родины, ни человечества, ни высокихъ идеаловъ грядущаго, идеаловъ любви и братства на землѣ. „Давно я пересталъ словамъ и мыслямъ вѣрить!“ — продолжаетъ г. Минскій изрекать демоническія признанія. „Даетъ ли юноша въ любви святой обѣтъ, не вѣрь: какъ зимній вихрь, безплодны наши страсти. Кричить ли гражданинъ о жертвахъ, о борьбѣ, не вѣрь — и знай, что онъ не вѣритъ самъ себя“. — „Вашихъ ветхихъ словъ прочелъ я всѣ скрижали, и знаю: вы должны преслѣдовать меня!“ Ну, вотъ, наконецъ, и догово-

рились. Выводъ, правда, нѣсколько неожиданный, но надо же хоть разъ въ жизни повѣрить г. Минскому: его преслѣдуютъ... Подобно несчастной г-жѣ Гипшусъ, и онъ со всѣхъ сторонъ окруженъ врагами... Значить, за что же нибудь онъ борется. За что же? Во имя чего? Каковы его собственные положительные идеалы? Ихъ три: свобода (она же—совѣсть мірозданья, она же—смерть), красота, искусство. Мы уже узнали, насколько это было возможно, что разумѣетъ онъ подъ свободой. Искусство, въячающее побѣдителей и сыплющее клеветы на побѣжденных, также говорить само за себя. Остается посмотреть на красоту, какъ понимаетъ ее г. Минскій.

„Лишь формы я люблю и отраженья“, — заявляетъ поэтъ въ стихотвореніи „Облака“. Почему? Потому что „только ихъ сжигаетъ смерть лобзаніемъ свободы“, бессмертія же г. Минскій (должно быть, изъ скромности) боится... Его приводятъ въ восторгъ „всѣ проявленія смерти иль разлуки. Люблю я замирающіе звуки, неясныхъ чертъ исполненную даль. Но высшей радостью душа моя объята предъ зрѣлищемъ небесъ въ печальный часъ заката“. Какъ видитъ читатель, предъ нами на лицо всѣ обычные аксессуары декадентства. „Свобода и печаль, и смерть и красота“—вотъ чѣмъ „питается въ тишинѣ мечта“ г. Минскаго. Холодъ, снѣгъ, ледъ, смерть и безмолвіе—вотъ предметы, которые по преимуществу воспѣваетъ теперь г. Минскій въ „Холодныхъ словахъ“, „Городѣ смерти“ и другихъ въющихъ морозомъ и тѣнкомъ произведеніяхъ. Но врядъ ли и самъ авторъ серьезно вѣрить въ эту свою новую красоту. По крайней мѣрѣ, онъ усиленно призываетъ къ себѣ „гордое Молчанье“, это „душѣ больныхъ прибѣжище послѣднее, твердыню, гдѣ, неприступный для клеветъ людскихъ, молчитъ пророкъ осмѣянный“ и проч., а самъ въ это же время усиленно пишетъ и печатаетъ очень громкіе стихи, ни мало не желая молчать...

Надо-ли еще продолжать анализъ „сожженного“ г. Минскаго? Думаемъ, что и сказаннаго слишкомъ достаточно... Быть можетъ, мы были чересчуръ строги къ поэту? Но вѣдь кому дано много, съ того много и спрашивается. А мы были бы сами крайне неискренни, если бы сказали, что считаемъ талантъ г. Минскаго ничтожнымъ. Нѣтъ, талантъ у этого исковеркавшаго и изломавшаго себя неизвѣстно зачѣмъ поэта, несомнѣнно былъ и есть. Если взять даже область чистой красоты, чуждой всякой тенденціи въ ту или другую сторону, но лишь такой, какою она представляется всѣмъ людямъ съ поэтическимъ вкусомъ, то какъ же не назвать прекрасными такіа, напр., общеизвѣстныя пьесы, какъ „Херсонесъ“, „По вѣзморью бродилъ я“, „Робкому соловью“, „Наше горе“, „Напѣвъ любви, оя напѣвъ любимыхъ“, „Не мѣсяца за его печаль“ и т. д.? Конечно, и только что перечисленные пьесы не обходятся совершенно безъ свойственныхъ г. Минскому вычуръ и манерностей, но въ общемъ, повторяемъ, онъ пре-

красны. Въ позднѣйшемъ фазисѣ творчества истинная красота уже значительно рѣже несетъ свои дары г. Минскому; изломанности и всяческихъ кривляній въ его стихахъ замѣтно еще больше, но талантъ по прежнему чувствуется, а такое, наприим., стихотвореніе, какъ „Подъ темной сосною росъ блѣдный цвѣтокъ“, напоминаетъ лучшую пору нашего поэта. Не менѣе прекрасны пьесы „Надъ могилой Гаршина“, „Самоотреченіе“, „Тебѣ, я знаю, жить недолго суждено“, „Какъ сонъ, пройдутъ дѣла и помыслы людей“... Сохранилъ г. Минскій и способность живыми, пластическими красками описывать картины природы.

Вообще не таланта недоставало всегда г. Минскому, а искренняго и серьезнаго убѣжденія...

1896 г.

Книжка „Новыхъ Пѣсень“ г. Минскаго (1901 г.) открывается стихотвореніемъ, написаннымъ около 20 лѣтъ назадъ, задолго до той печальной эволюціи, которая во второй половинѣ 80-хъ годовъ произошла въ пѣвцѣ „прогрессивныхъ настроеній“ нашего общества. Правда, пѣликомъ стихотвореніе это появилось въ печати, сравнительно, лишь недавно (въ „Пушк. Сборникѣ“), но музыка г. Минскаго знавала счастливыя времена, когда нѣкоторыя изъ ея пѣсень еще до появленія на страницахъ журналовъ становились извѣстными и даже заучивались любителями поэзіи наизусть.

Для чего же г. Минскій, не разъ торжественно отрекавшійся, съ благословенія г. Водынскаго, отъ своей поэзіи либеральнаго періода, прибѣгаетъ теперь къ этой маленькой фальсификаціи? Неужели онъ созналъ, наконецъ, что его настоящія „новыя“ пѣсни никуда не годятся, и что ихъ необходимо скрасить старыми?

Кто крестъ однажды кочетъ несть,
Тотъ распинаемъ будетъ вѣчно,
И если счастье въ жертвѣ есть,
Онъ будетъ счастливъ безконечно.
Награды нѣтъ для добрыхъ дѣлъ.
Любовь и скорбь—одно и то же.
Но этой скорбью кто скорбѣлъ,
Тому всѣхъ благъ она дороже.
Какое дѣло до себя
И до другихъ и до вселенной
Тому, кто слѣдовалъ, любя,
Куда звалъ голосъ сокровенный?
Но кто, боясь за нимъ идти,
Себя сомнѣніемъ тревожитъ,
Пусть броситъ крестъ среди пути,
Пусть ницетъ счастья, если можетъ!

Эти прекрасные стихи изъ „Геесиманской ночи“ характеризуютъ настроеніе прежняго г. Минскаго, котораго мы любили, на котораго возлагали надежды. Судите же сами, читатель: есть ли тутъ что-либо общее съ авторомъ книги „При свѣтѣ совѣсти“, трагедіи „Альма“ и декадентскихъ стихотвореній, воспѣвающихъ презрѣніе къ человѣчеству и его страданіямъ? Мы не думаемъ, конечно, подробно останавливаться на „новой философіи“ г. Минскаго: его „новыя“ пѣсни, собственно, далеко не новы, такъ какъ значительная часть ихъ была напечатана еще на страницахъ „Сѣв. Вѣстника“. Тутъ фигурируетъ та же пресловутая, изобрѣтенная г. Минскимъ, Свобода (ничего общаго съ дорогой всѣмъ людямъ свободой не имѣющая), она же, повидимому, и Смерть, со всѣми свойственными этой послѣдней атрибутами—холодомъ, мракомъ, молчаніемъ... Г. Минскій до того „опьяненъ желаніемъ“ всѣхъ этихъ кладбищенскихъ прелестей, что даже изъясняется съ нами, жалкими смертными, согласенъ не иначе, какъ помощью какихъ-то „холодныхъ словъ“. Впрочемъ, онъ увѣряетъ, будто „слова *холодныхъ* пѣсенъ *нѣжныхъ*“ (каменное дерево?) лучше всякаго другого лѣкарства способны „исцѣлять боль сердце мятежныхъ“, и будто напѣвъ собственныхъ его, г. Минскаго, „стиховъ холодныхъ скрашиваетъ язвы міра“... Страдальцы всѣхъ вѣковъ и народовъ, утѣштесь: цѣлительный бальзамъ, наконецъ, найденъ...

Одному только нужно удивляться: зачѣмъ просить г. Минскій у Господа Бога прощенія за „дерзновеніе мысли“ (стр. 83)? Гдѣ, въ чемъ, какое дерзновеніе?! Вѣдь идеалъ г. Минскаго—мракъ, холодъ и тишина—такъ легко осуществимъ въ нашемъ благодатномъ климатѣ: не прибѣгая къ героическому средству самоуничтоженія, стоитъ только не топить день-другой печекъ, закрыть ставни, погасить огонь и наслаждаться, сколько душѣ угодно, „свободой“, отнюдь не рискуя быть обвиненнымъ въ какой-либо ереси!..

Со стороны поэтической формы „Новыя Пѣсни“ представляютъ нѣчто столь же притязательное и жалкое, какъ и со стороны содержанія. Утратилъ г. Минскій настроеніе, когда-то приподнимавшее и дѣлавшее интереснымъ его, въ сущности, скромный талантъ—и, вмѣстѣ съ „безстрастіемъ“, въ писанія его проникла струя холодной аллегоричности и надутой риторики. Неужели, въ самомъ дѣлѣ, поэзія—всѣ эти потуги „обнять необъятное“? Не говоря ужъ о „серебряномъ снѣ“ и „лучистомъ молчаніи“ (это ужъ по штату полагается главѣ декадентовъ: noblesse oblige!), у г. Минскаго можно встрѣтить даже „зеленые сны“ и „голубыя объятія“... Добро и зло „праздно играютъ“ у него „во вселенную“ (чуть-чуть не въ чехарду!). „Запахъ“ двухъ цвѣтковъ нашептываетъ его „мечтѣ“... всевозможную ерунду. Снѣгъ, „убитый“ весеннимъ солнцемъ, казалось бы, уже не существуетъ, но у г. Минскаго такой „убитый“ снѣгъ сравнивается съ блѣдными

щеками умершей дѣвушки. Другая дѣвушка, играющая на арфѣ, „къ мелодіи объятья простираетъ, и замираетъ у ней въ объятьяхъ (!) каждый звукъ“. Что касается рифмъ, то г. Минскій охотно и часто пользуется даже такими, какъ „правды“ и „Аргонавты“, „бока“ и „берега“, „могъ имъ“ и „немногимъ“, „дождя“ и „свистя“, „часъ“ и „трудясь“, „вершинъ“ и „святынь“ и т. п. Ай-ай, г. Минскій! Что скажутъ ваши собратья-парнасцы?..

Не смотря на все это, горды! поэтъ остается въ пріятномъ заблужденіи, что онъ „творитъ“, что муза вдохновеній посѣщаетъ его по-прежнему, и свою бесѣду съ нею изображаетъ такъ:

Слышу, внимаю, чую, замираю...

Вотъ обрадуется этому стиху г. Н. Абрамовъ, издавшій недавно „Опытъ словаря русскихъ синонимовъ“!

За исключеніемъ стоящей особнякомъ „Геесиманской ночи“, изъ всѣхъ 44 стихотвореній новой книги намъ кажутся удачными только— „Памяти В. С. Соловьева“, „Въ тотъ вечеръ облакомъ я былъ“, „Городъ вдали“ и „Волны“, да и то первое отзывается явнымъ подражаніемъ Пушкину, а второе—Лермонтову, на котораго г. Минскій, вообще, щитается походить. Въ общемъ, про свою новую книжку г. Минскій смѣло могъ бы сказать своимъ же стихомъ:

Эти пѣсни—гробница надъ силой моею...

II.

С. А. Андреевскій.

Рецензенты, какъ извѣстно, народъ ворчливый, весьма рѣдко изливающийся въ восторгахъ. Выпадаютъ, однако, счастливыя минуты, когда и ихъ суровыя лица озаряются торжествующей улыбкой, и на ихъ нахмуренномъ челѣ разглаживаются морщины. Олну изъ такихъ свѣтлыхъ минутъ подарилъ имъ небезызвѣстный пѣвецъ чистаго искусства, г. Андреевскій, выпустившій (1898 г.) второе изданіе своихъ стихотвореній.

Стихи г. Андреевскаго не такъ давно еще печатались на страницахъ „лучшихъ“ нашихъ журналовъ, а имя обязательно упоминалось всѣми историками и обозрѣвателями новѣйшей русской поэзіи. Правда, это нимало не мѣшало тѣмъ же историкамъ и читателямъ тѣхъ же журналовъ преусердно зѣвать при чтеніи стиховъ г. Андреевскаго, но, какъ бы то ни было, по какому-то недоразумѣнію, онъ занималъ на нашемъ Парнасѣ довольно видное мѣсто; выйди 2-е изданіе его стихотвореній

просто, безъ всякихъ авторскихъ комментаріевъ, критикамъ пришлось бы съ нимъ серьезно считаться, т. е. серьезно доказывать, что г. Андреевскій поэтъ безцвѣтный и посредственный, или же—при нежеланіи „развѣнчивать кумиръ“—наговорить кучу банальныхъ фразъ и сомнительныхъ похвалъ. Но скромный поэтъ счелъ нужнымъ выручить изъ этой бѣды критику и, какъ мы уже сказали, доставить ей радостную минуту. Въ авторскомъ предисловіи мы прочли: „Вотъ уже десять лѣтъ, какъ я не пишу стиховъ, и никогда болѣе къ нимъ не возвращусь“.

Признаемся откровенно, мы лично совсѣмъ не замѣтили столь долгаго отсутствія г. Андреевскаго на горизонтѣ нашей литературы, но, тѣмъ не менѣе, мы порадовались при чтеніи этихъ откровенныхъ строкъ: вѣдь такъ рѣдко, въ самомъ дѣлѣ, приходится встрѣчать беспощадное осужденіе авторами собственныхъ твореній! А г. Андреевскій довольно-таки беспощадно разбираетъ дальѣ свои поэтическія вдохновенія. Онъ настолько отъ нихъ отдалился, что могъ бы написать критическую статью—всѣ ихъ недостатки ему отлично извѣстны. Даже переводы подвергаются, повидимому, строгому осужденію: переложеніе въ стихи тургеневскаго „Довольно“ признается „дерзостью“ и „грѣхомъ“; переводъ „Ворона“ Поэ—вещью непоправимо неудавшейся, а „Ночей“ Мюссе—диллетантски-легковѣсной...

Все это прекрасно; но зачѣмъ же—спросить читатель—счелъ г. Андреевскій нужнымъ издавать въ такомъ случаѣ, свою книжку вторымъ изданіемъ? Почему онъ не предпочелъ, оставаясь послѣдовательнымъ, похоронить грѣхи юности „въ нѣмомъ кладбищѣ памяти своей“? Только что давъ торжественное обѣщаніе „никогда болѣе не возвращаться къ стихамъ“, г. Андреевскій довольно нелогично продолжаетъ въ томъ же предисловіи: „Однако же еще въ текущемъ году *какіе-то* любители пріобрѣтали послѣдніе экземпляры моихъ старыхъ стихотвореній. Это побудило меня привести въ порядокъ мой прежній сборникъ, отчасти сократить, отчасти *дополнить* его“ (т. е., значить, пришлось исправлять и вновь сочинять, иными словами—„возвращаться“ къ стихамъ?). А что если теперь, послѣ выхода 2-го изданія, найдутся „какіе нибудь любители“, которые выразятъ въ печати сожалѣніе по поводу намѣренія г. Андреевскаго покинуть поэзію? Не побудитъ ли его *это* отмѣнить трагическое рѣшеніе и выпустить еще 3-е, а быть можетъ, и 4-е изданіе съ новыми дополненіями и пр? Правда, онъ находитъ, напр., свой переводъ „Ночей“ Мюссе диллетантски легковѣснымъ, но... тутъ же и оговаривается, что „Ночи“ Мюссе и въ оригиналѣ отличаются „не-столько отдѣлкою и содержательностью подробностей, сколько именно—*взмахомъ и легкимъ полетомъ вдохновенія*“, и что „съ этой стороны“ оригиналъ переданъ имъ довольно близко...

Вотъ почему мы спѣшимъ поддержать г. Андреевскаго въ его самокритикѣ: да, поэтъ, вы правы, когда называете себя легко-

вѣснымъ диллетантомъ поэзіи, но вы ошибаетесь, полагая, что обладаете, тѣмъ не менѣе, какимъ-то „взмахомъ и полетомъ вдохновенія“. Ваши оригинальные стихи съ ихъ неглубокой, чисто салонной меланхоліей и виѣшнимъ, опять таки чисто-салоннымъ изяществомъ, слишкомъ прѣсны и безцвѣтны, чтобы могли оставлять въ душѣ читателя хоть какое-нибудь впечатлѣніе...

Вотъ одинъ изъ самыхъ характерныхъ образчиковъ поэзіи г. Андреевскаго:

Я ревнивъ къ этой зелени нѣжной,
Первой зелени вѣшнихъ лѣсовъ,
И до самой зимы бѣлоснѣжной
Любоваться бы ею готовъ.
И въ концѣ плодотворнаго мая,
Примѣчая богатство листвы,
Я ужъ думаю, грустно мечтая:
«Гдѣ ты, юность! О, юность... увы!»

Какъ это удивительно шаблонно и мелко! Какая скудость мысли и блѣдность образовъ у поэта конца XIX столѣтія, имѣющаго своими предшественниками—не говоримъ ужъ Пушкина, Лермонтова, Некрасова, но—Тютчева, Фета, Ал. Толстого, Майкова!

Пѣвецъ изящныхъ чувствъ и приличныхъ мыслей, г. Андреевскій, на свое насчастье, и стихомъ-то владѣть далеко не въ совершенствѣ. Такъ, изображая первый свѣтъ, онъ пишетъ:

Къ твоей косѣ *подкрася* онъ въ косынку,
Сѣдую пыль въ (?) рѣсницы заронилъ,
На край щеки привнесъ тебѣ слезинку,
И все рѣзвѣй, все *лучше семени*лъ,
Какъ будто вдругъ онъ *весь* пустился въ *танецъ*...

Справедливость, однако, заставляетъ насъ, сказать что г. Андреевскому принадлежит небольшая пьеска „Счастье“, живописнымъ и трогательнымъ языкомъ переведенная изъ нѣмецкаго поэта Гамерлинга:

О, не теряй на счастье упованья!
.....
Иди за нимъ съ надеждой терпѣливой—
Оно блеснетъ издалека,
Какъ свѣтъ зари, какъ радуга надъ нивой,
Какъ въ темной зелени рѣка.
Оно со звѣздъ падетъ росой алмазной,
Дождемъ сольется съ облаковъ;
Среди утратъ и скорби неотвязной
Къ его лобзанью будь готовъ!
Когда въ пескахъ томительной пустыни
Судьба смететъ его слѣды,
Оно, шутя, въ безжизненной равнинѣ
Раскинетъ райскіе сады.

Подъ сводомъ ли удушливой темницы
 Надежда крылья разобьетъ—
 Оно, какъ тѣнь залетной голубицы,
 Въ душѣ унылой промелькнетъ.
 Когда его ты въ юности не встрѣтилъ,
 Узнаешь въ зрѣлые года:
 Его приходъ не меньше будетъ свѣтелъ,
 Не будетъ позднимъ никогда!
 Оно прольетъ по жиламъ опьяненіе
 У старца, чуждаго мечтамъ,
 И можетъ дать въ предсмертныя мгновенья
 Блаженство стывнущимъ устамъ!

Къ сожалѣнію, нельзя того же сказать о большинствѣ переводовъ г. Андреевскаго, особенно изъ французскихъ поэтовъ, къ которымъ онъ по преимуществу обращается. Такъ, извѣстное бодларовское стихотвореніе „Амуръ и черепъ (старинная виньетка)“ онъ переводитъ: „Любовь и черепъ“, и получается такая картина:

У человечества безсмѣнно
 Любовь на черепъ садитъ
 И съ наглымъ хохотомъ надменно
 На тронъ пламенномъ царитъ.
 И т. д.

Извольте представить себѣ такую виньетку!..

III.

С. Г. Фругъ.

Первый томъ стихотвореній г. Фруга вполнѣ заслуженно дождался въ 1897 году уже третьяго изданія. Въ этомъ томѣ помѣщается все лучшее, что далъ г. Фругъ еще въ то время, когда возбуждалъ большія надежды, заставляя думать, что изъ узкаго круга національно-еврейскихъ симпатій онъ сумѣетъ подняться до сочувствія всѣмъ страдающимъ, обиженнымъ и угнетеннымъ людямъ, безъ различія ихъ расовыхъ или религіозныхъ особенностей. Ожиданія эти, къ сожалѣнію, не сбылись. Правда, г. Фругъ пытался одно время стать даже чисто-русскимъ пѣвцомъ, и слово „Русь“ очень часто звучало на его лирѣ вмѣсто прежняго „Сіона“; года три тому назадъ это неожиданное „обрусѣніе“, приведшее г. Фруга на страницы газеты „Свѣтъ“, приняло даже очень странный для прежняго еврейскаго патріота оттѣнокъ, очень похожій, во всякомъ случаѣ, на неискренность... Оно оттолкнуло отъ симпатичнаго и талантливаго поэта очень многихъ, страстныхъ когда-то поклонниковъ его

музы, даже изъ кровныхъ русскихъ, и съ той поры г. Фругъ совсѣмъ какъ-то стушевался и исчезъ изъ нашей большой литературы. Мы, по крайней мѣрѣ, давно уже нигдѣ не встрѣчаемъ его имени, нигдѣ, кромѣ спеціально еврейскаго органа „Восходъ“, гдѣ продолжаютъ печататься безчисленные „Легенды“ и „Поэмы“ г. Фруга, перелагающія въ мало звучные и довольнъ снотворные стихи разныя библейскія и талмудическія преданія. Пророчить, конечно, всегда рискованно, но можно серьезно опасаться, что пѣсня г. Фруга уже спѣта, что онъ въ состояніи написать еще сотни и даже тысячи такихъ же „легендъ“, но къ славы своей ничего этимъ не прибавитъ, и вся она будетъ покоиться только на первомъ томѣ стихотвореній, который лежитъ теперь передъ нашими глазами... Этотъ первый сборникъ, при всѣхъ недостаткахъ формы *) и замѣтной идейной узости, производитъ очень живое, мѣстами прямо чарующее впечатлѣніе по неподдѣльной искренности проникающаго его скорбнаго чувства, по свѣжести и силѣ разлитой въ немъ поэзіи. Длинныя „поэмы“, „легенды и сказанія“, по нашему мнѣнію, и въ этомъ сборникѣ составляютъ, сравнительно, слабую часть. Нѣтъ въ г. Фругѣ эпическаго таланта; онъ можетъ только рабски перелагать въ стихи то, что мы давно знаемъ изъ библіи, и прекрасный въ своей чисто-народной наивности подлинникъ только страдаетъ отъ этого переодѣванія въ интеллигентный нарядъ; для примѣра укажемъ, хотя бы, на поэму „Дочь Іефея“: какъ апопоеозъ человѣческаго жертвоприношенія, дѣла, по нашимъ современнымъ понятіямъ, чудовищно-дикаго, во имя чего бы оно ни совершалось, поэма эта звучитъ крайне антипоэтично.

Сила г. Фруга въ его чисто-лирическихъ пѣсняхъ, жалобахъ и признаніяхъ. Одинъ горькій мотивъ проходитъ по всѣмъ этимъ стихотвореніямъ яркою нитью:

Два достоянья дала мнѣ судьба:
Жажду свободы и долю раба.

И какъ бы ни былъ склоненъ русскій читатель прочесть

*) Прежде всего г. Фругъ, очевидно, не въ совершенствѣ владѣетъ русскою рѣчью. Онъ пишетъ: «спеленѣнные позоромъ»; «дѣтскую душу плѣня (плѣняя?)», тихо вставали картины»; «стоитъ много (многихъ?) мучительныхъ слезъ». Онъ допускаетъ массу самыхъ невозможныхъ удареній: «разрушѣнный», «холить»; «черпалъ», «зѣря» (только въ винит. пад. говорить «зрю бьютъ»), «выдѣлясь» вм. «выдѣлясь», «вздрогнулъ» вм. «вздрогнуль» и т. д. Рифмы бываютъ тоже довольно жалкія: «блестя» и «поля», «дня» и «заря», «обольщаетъ» и «накипають»; самый стихъ г. Фруга, за исключеніемъ немногихъ пьесъ, гдѣ слышится истинное вдохновеніе, далеко не такъ легокъ и образенъ, какъ стихъ Надсона или даже г. Минскаго въ лучшихъ его вещахъ.—Современные поэты наши, въ большинствѣ своемъ, такъ мало заботятся о грамотности, что мы сочли недлишимъ сдѣлать эти замѣчанія *хорошему* поэту.

поэту нотацію за его узкій взглядъ на современный еврейскій вопросъ, — онъ не можетъ не прислушаться съ сочувственной тревогой къ этимъ воплямъ, полнымъ тоски и страсти:

Народъ! народъ! Одинъ удѣлъ мнѣ данъ съ тобой —
Порывы мощные и связанные крылья...
Въ очахъ пылаешь гнѣвъ, душа кипитъ грозой,
Въ рукахъ — постыдное безсилъе!..
Мнѣ въ пѣснѣ не излить твоихъ тяжелыхъ мукъ,
А радостей, увы! такъ мало наберется;
Едва одна струна издастъ веселый звукъ,
Другая съ воплемъ оборвется!..
Не пѣсня здѣсь нужна!.. Не пѣсню излить
Народную печаль, неволю вѣковую,
Какъ слабой, кроткою слезой не потушить
Пожара искру роковую!..

Да, легко намъ упрекать, легко поучать, но каково провести жизнь, и особенно ея юные, бурно впечатлительные годы вотъ такъ, напр., какъ описываетъ г. Фругъ, обращаясь къ своему иновѣрному современнику:

Когда тебя рукой заботливой и нѣжной
Водила мать въ зеленныя поля,
И радостью живой и безмятежной
Дышала грудь свободная твоя,
Въ заброшенномъ углу, на камнѣ подъ заборомъ,
Въ конурѣ пса, забытый, я лежалъ,
И надъ моимъ грумился ты позоромъ
И надъ моею мукой хохоталъ.
Съ мечемъ ли война въ десницѣ всепобѣдной,
Съ вѣсами-ль правосудія въ рукахъ,
Во храмѣ ли науки заповѣдной,
Съ молитвой ли смиренной на устахъ, —
Все тотъ же ядъ вражды и ненависти жгучей
Ты въ грудь мою рукой жестокой лилъ...
О, сколько силы свѣжей и могучей
Во мнѣ ты этимъ ядомъ задушилъ.
Когда жъ, измучившись, не грозный вызовъ мщенья —
О, нѣтъ! — а лишь упрека полный взоръ,
Подъ гнетомъ долгой скорби и мученья,
Тебѣ порою брошу я въ укоръ, —
Пойми, пойми тогда, какъ я скорблю глубоко,
Мучительной тоскѣ излиться дай,
И за слова невольнаго упрека
Не осуждай, не осуждай!..

И кто же осудитъ несчастнаго поэта, кто, напротивъ, съ отвѣтной грустью и глубокой симпатіей не выслушаетъ его горькихъ жалобъ на судьбу „народа-раба“?

Бывали годы бѣды у всякаго народа,
 Рыдали ихъ пѣвцы, но каждому вдали
 Сіяли, какъ заря, грядущая свобода
 И счастье дальнее родной его земли.
 Но тщетно для тебя, народъ мой, въ Божьемъ мірѣ
 По мукамъ и скорбямъ искалъ я двойника,
 Искалъ пѣвца, на чьей найти могла бы лиръ
 Отзывный стояъ моя глубокая тоска.
 Я находилъ пѣвца съ рукою ополченной,
 Пѣвца съ кошницею и мирною сохой,
 А у меня въ рукѣ лишь факелъ похоронный
 Да заступъ роковой...
 Иди, безъ устали все рой да рой могилы,
 Надежды тщетныя изъ сердца изгони,
 Убитыя мечты, замученныя силы
 Навѣки хорони!
 И безъ просвѣта ночь... И безъ конца неволя...
 Рыдать и все рыдать... О, какъ же ты горька,
 Какъ ненавистна ты, мучительная доля
 Пѣвца-гробовщика!..

Иногда, впрочемъ, срываются со струнъ патріота-пѣвца и бодрые, полные надежды, звуки:

Пускай шумить гроза и мечеть по вѣтвямъ
 Губительный потокъ неистоваго гнѣва,—
 Не уступить тебѣ ни бурямъ, ни громамъ,
 Не умереть во вѣкъ твоимъ живымъ корнямъ,
 Мое могучее, мое родное древо!..
 И дни придуть, придуть—они должны прійти!—
 Въ тѣни твоихъ вѣтвей потомокъ отдаленный
 Нарветъ душистыхъ розъ и лилій, чтобъ сплести
 Вѣнокъ цвѣтущій, благовоанный.
 Онъ вспомнить дней былыхъ тяжелый, страшный гнѣтъ,
 Веселый взоръ его затмится грустной думой,
 Но тихо и легко, какъ тѣнь, она пройдетъ,
 И пѣсню новую онъ громко запоетъ
 Подъ шумъ листвы твоей угрюмой...

Но такіе свѣтлые моменты, моменты надежды и вѣры, очень рѣдко посѣщаютъ мечты поэта. Впереди будетъ, правда, хорошо, но теперь-то, пока-то..

...безмолвствуютъ могилы,
 Знамя старое въ пыли;
 Эти люди, эти силы
 Отгремѣли и ушли.
 И кругомъ не гнѣвъ, не злоба
 Негодующихъ людей,—
 Лишь порой во тьмѣ пзъ гроба
 Раздается стукъ костей...

Мрачно глядитъ г. Фругъ и на еврейскую молодежь своего поколѣнія:

Лѣтами юноши, душою старики,
 Мечту заветную насмѣшкой злой мы гонимъ
 И острый ядъ томящей насъ тоски
 Пугливо, какъ пятно постыдное, хоронимъ.
 Ключомъ познанья дверь надзвѣздныхъ тайнъ открывъ
 И сердце выстудивъ сомнѣніемъ холоднымъ,
 Безуміемъ зовемъ невольный мы порывъ.
 Надежду свѣтлую—броженіемъ безплоднымъ.
 И нѣтъ тебя у насъ, прекрасное дитя
 Фантазій живой!—И нѣтъ ни на мгновенье
 Ни сладкаго средь мукъ житейскихъ забвѣнья,
 Ни благодатнаго отъ горькихъ думъ забвенья...

Передъ нами лежатъ II и III томы стихотвореній г. Фруга, и, провѣряя на нихъ свое прежнее мнѣніе объ этомъ поэтѣ, мы видимъ, что въ общемъ оно совершенно справедливо. Немало есть въ новыхъ двухъ томахъ вещей, по искренности чувства и поэтичности ничуть не уступающихъ лучшимъ вещамъ перваго, однако, никакихъ новыхъ струнъ на лирѣ нашего поэта не оказывается, и мотивы и тонъ его пѣснопѣній все тѣ же. Не видно шага впередъ, хотя нѣтъ и упадка таланта... Лучшія пьесы попрежнему лирическаго характера; эпосъ попрежнему является слабой стороной г. Фруга. Къ сожалѣнію, именно къ эпосу-то онъ и чувствуетъ наибольшую склонность, и второй, напр., томъ почти цѣликомъ заполненъ довольно прозаическими переложеніями въ стихи разныхъ священныхъ сказаній. Есть, конечно, и среди нихъ недурныя вещи, но это, главнымъ образомъ, тѣ, которыя не превышаютъ размѣромъ одной страницы (укажемъ, хотя бы, на II-ю главу „Любови къ родинѣ“). Обыкновенно же г. Фругъ ужасно словообилителенъ,—это вообще крупнѣйшій изъ его недостатковъ. Ничего не стоитъ для него на цѣлый десятокъ страницъ размазать тему, которую истинный поэтъ (и самъ г. Фругъ въ свои счастливыя минуты) легко могъ бы использовать въ двухъ-трехъ десяткахъ стиховъ. Заговоривъ о недостаткахъ г. Фруга, упомянемъ еще нѣкоторую склонность его къ сантиментальничанію (всѣ эти „маленькій“, „стройненькій“, „свѣженькій“, „плечико“, „подросточекъ“); стихъ его въ общемъ вялъ и мѣстами прямо небреженъ: такія, напр., рѣзмы, какъ „меня—дитя“, „моя—тебя“, „облака—берега“, у него попадаютъ на каждомъ шагѣ. Попрежнему неприятно поражаютъ неправильныя ударенія (губящій, сока́ми, засу́ха, посланникъ) и странныя слова вроде: каменникъ, плетеница, радоница... Много и прямо не русскихъ оборотовъ: „не внимая воплямъ, крикамъ ни проклятій, ни молитвъ“; „и долго ждать-ли намъ тѣхъ дней“; „о, тяжело сказать прости родному краю, въ край далекій *уйдя*, *больной и одинокій*“; „всѣ божки ты изрубилъ, а *крупнѣйшій* (вм. крупнѣйшаго) ты оставилъ, а *сильнѣйшій* пощадилъ“...

Это относительно недостатковъ поэта. Но если отбросить тѣ высокія требованія, какія хотѣлось бы, по старой памяти, предъявить къ г. Фругу, и взять его такимъ, каковъ онъ есть, то нельзя не повторить, что передъ нами поэтъ истинный, глубоко искренній и симпатичный, поэтъ, которымъ вправѣ гордиться наше вообще бѣдное поэзіей, хотя и богатое поэтами, время. Даже въ его длинныхъ эпическихъ произведеніяхъ тамъ и сямъ мелькаютъ вспышки таланта, за которыя охотно прощаешь скуку цѣлыхъ страницъ. Отмѣтимъ, хотя бы, такія двѣ строчки:

Въ грозу падеть столѣтній лѣсъ,
Воскреснетъ травка луговая...

Всего двѣ строчки, а сколько въ нихъ глубокаго поэтического содержанія!

Не можемъ также удержаться, чтобы не сдѣлать изъ того же II тома и болѣе обширныхъ выписокъ. Поэтъ скорбитъ о забвеніи евреями родного, древне-еврейскаго языка:

О, нѣтъ нарѣчья, на которомъ
Онъ не молился-бъ, не рыдалъ,
Надъ вѣковымъ своимъ позоромъ,
Надъ горькой долей не стоналъ.
И лишь одинъ, какъ средъ пустыни
Цвѣтокъ долины въ полдневный зной,
Языкъ отцовъ, языкъ святыни,
О блудный сынъ, забыть тобой!
Забудь тобою кедръ единый,
Послѣдній стражъ ливанскихъ скалъ...
Чего не тронулъ вихрь пустынный,
Не затопилъ кипучій валъ
И не могли убить ни время,
Ни издѣательства враговъ,
Ни вѣковыхъ запретовъ бремя,
Ни пламя грозное костровъ,—
Убило темное забвеніе!..

И онъ съ горечью предвидитъ тотъ день,

Когда и надписи унылой
Мы не сумѣемъ прочитать
На ветхомъ камнѣ той могилы,
Гдѣ опочила наша мать.

Не менѣе жгучею болью звучатъ жалобы поэта на то, что, будучи русскимъ по воспитанію и умственнымъ привычкамъ, онъ принужденъ, сравнительно съ русскими сверстниками, нести двойной крестъ скорби, въ силу своего происхожденія:

Я—русскій... Съ первыхъ дѣтскихъ дней
Я не видалъ нѣмыхъ полей,

Иного не слыжалъ напѣва.
 Мнѣ пѣсни русской дорогъ былъ
 И грустный ладъ, и юный пылъ
 И вспышки сумрачнаго гнѣва.
 Я—русскій. Общей съ вами я
 Болѣлъ мучительною болью,
 Мечта завѣтная моя
 Неслась по милому раздолю
 Родныхъ луговъ, родныхъ полей;
 Но, скорбью гордые своей,
 И вы скорбящіе, не знали,
 Какъ жгучъ огонь моей печали.
 Какъ тяжекъ гнетъ моихъ цѣпей!

Рѣдко посѣщаютъ г. Фруга отрадные минуты душевнаго подъема, порывы надежды и вѣры, но тѣмъ трогательнѣе звучать такіа пѣсни, когда онѣ выходятъ изъ вѣчно печальныхъ устъ.

О, да, Господь разсѣялъ ихъ!—

съ гордымъ паѳосомъ восклицаетъ поэтъ въ одномъ изъ самыхъ красивыхъ и выдержанныхъ стихотвореній:

Взгляни: по каседамъ, трибунамъ,
 Въ горнилахъ духа, въ мастерскихъ
 Безсмертной мысли—сколько ихъ
 Науки плодъ святой дѣлѣютъ
 И сколько истины святой
 Они, разсѣянные, сѣютъ
 На нивѣ жизни вѣковой!..
 Господь повсюду ихъ разсѣялъ,
 И нынѣ, гдѣ бы въ мракѣ тучъ
 Ни загорѣлся правды лучъ
 И геній свѣта ни повѣялъ,
 Повсюду слышенъ голосъ ихъ,
 Питомцевъ рабства и невзгоды,
 Во славу дѣлъ и думъ благихъ,
 Въ защиту правды и свободы!

Превосходны также во II томѣ стихотворенія: „Я ихъ не звалъ — онѣ пришли“, „Въ безуміи“, „Песокъ и звѣзды“ и особенно „Молитва“, которая, къ сожалѣнію, слишкомъ велика, чтобы ее здѣсь выписать.

Третій томъ стихотвореній г. Фруга особенно любопытенъ тѣмъ, что, сохраняя и здѣсь обычное религіозное настроеніе, поэтъ, какъ будто, пытается выйти изъ тѣснаго круга чисто-еврейскихъ скорбей и несчастій и воспѣвать, вообще, „человѣческое горе“. Попытка въ высшей степени симпатичная, но, къ сожалѣнію, г. Фругъ нигдѣ не выставяетъ дать подъ своими произведеніями, такъ что для читателя остается открытымъ вопросъ, есть ли это позднѣйшій шагъ впередъ, или же, напротивъ, давно пройденная

и уже забытая ступень... Если память не изменяет намъ, нѣкоторымъ изъ этихъ пьесъ насчитывается уже около пятнадцати лѣтъ...

Наиболѣе поэтическія вещи этого тома, по нашему мнѣнію, слѣдующія: „Весною“, „Сонъ Прометѣя“, „Музыка“, „Пѣсня“, „Мечты“, „Fata Morgana“, „Два духа“, „Художникъ“, „Въ эрмитажѣ“, „Околдуй меня, очаруй меня“, „Вѣстники весны“, „Въ душѣ моей скорбной“ и „Три души“ (здѣсь, къ сожалѣнію, растянута рѣчь третьей души и есть такой неуклюжій стихъ: „*А твой путь чѣмъ былъ озаренъ*“, заключающій въ себѣ подъ рядъ пять односложныхъ словъ).

Въ заключеніе, мы хотѣли бы подать г. Фругу благой и искренній совѣтъ: изъ всѣхъ трехъ томовъ, состоящихъ изъ 300 или даже 400 названій, выбрать лучшія вещи (попытавшись при этомъ и ихъ нѣсколько сократить) и напечатать всего одинъ только—небольшой сборникъ. Давно уже сказано, что не въ многоглаголаніи спасеніе... Въ настоящее время перлы поэзіи г. Фруга приходится съ значительнымъ трудомъ розыскивать на пространствѣ цѣлыхъ трехъ книжекъ, обильно залитыхъ водою прозы, и не у многихъ хватаетъ столько терпѣнія и любви къ стихамъ. Поэтому читають г. Фруга, сравнительно, немногіе, а перечитываютъ еще рѣже... Но выпусти онъ небольшую книжку избранныхъ стихотвореній—и, мы глубоко увѣрены, она будетъ имѣть огромный успѣхъ, сразу широко раздвинувъ кругъ почитателей поэта.

1898 г.

IV.

К. Л Ъ Д О В Ъ.

„Въ теченіе двухъ (?) десятилѣтій Некрасовъ оставался неотъемлемымъ властителемъ думъ современниковъ,—пишетъ г. Льдовъ въ предисловіи къ „Лирическимъ стихотвореніямъ“ (1897 г.):—Посредственные стихотворцы, имена которыхъ давно уже поглотила „медленная Лета“, вторили ему дружнымъ хоромъ; всѣ остальные русскіе поэты пребывали въ забвеніи. Каждое новое произведеніе Некрасова заучивалось наизусть молодежью, съ увлеченіемъ декламировалось въ интеллигентныхъ кругахъ и съ подмостковъ. Обаяніе его имени и дарованія водворилось столь властно, что казалось почти кощунствомъ и безуміемъ оспаривать поэтическія достоинства модныхъ стихотвореній. Но прошло всего двадцать лѣтъ, и отъ преклоненія этого почти не осталось слѣда (!!). *Такое же несоответствіе между дарованіемъ и оцѣнкой публики* обнаружилось на нашихъ глазахъ, когда проникнутые „гражданскою скорбью“ стихи Надсона затмили своимъ успѣхомъ геніальныя произведенія нашей поэтической литературы“.

Истинными чародѣями слова, поясняетъ дальше г. Льдовъ, должны быть названы, кромѣ Пушкина,—Тютчевъ, Фетъ и Баратынскій (Лермонтовъ не удостоенъ упоминаніемъ, какъ поэтъ слишкомъ безпокойный, а, значитъ, и тенденціозный).

Въ авторѣ этихъ строкъ, очевидно, до того кипитъ личное озлобленіе, недовольство публикой, несущей лавровые вѣнки не туда, куда слѣдуетъ, что онъ даже не замѣчаетъ явнаго, грубаго противорѣчія въ собственныхъ словахъ: съ одной стороны отъ поклоненія гражданской поэзіи Некрасова *теперь не осталось, будто бы, и слѣда* (гдѣ? въ редакціи „Сѣв. В.“?), а съ другой—*проникнутые гражданской скорбью стихи Надсона теперь же затмѣваютъ своими успѣхами истинныхъ чародѣевъ слова*. Какъ же это такъ? Не ясно ли, что въ г. Льдовѣ говоритъ простая зависть къ Надсону, имѣющему до сихъ поръ дѣйствительно огромный успѣхъ, какого никогда, конечно, не имѣть ни одному изъ всей злобной клики, якобы равнодушныхъ къ славѣ міра сего, эстетовъ? Г. Льдовъ хочетъ дальше увѣрить насъ, будто самъ онъ напечаталъ свой сборникъ отнюдь не потому, что ищетъ сочувствія и домогается извѣстности. Даже больше того: „Я былъ-бы непритворно (sic) огорченъ, еслибы моя скромная лирика совпала съ настроеніемъ большинства, которое удѣляетъ лишь мимолетное вниманіе человѣческому *духу* (!?)“... Недурная лазейка на случай несовпаденія „скромной“ лирики съ настроеніемъ большинства, т. е., по просту говоря, на случай полного ея провала и неуспѣха!..

„Меня побуждало,—продолжаетъ скромный г. Льдовъ,—печатать мои стихи *простое* желаніе придать имъ наиболѣе отчетливое начертаніе, чтобы иногда перечитывать навѣянные мимолетными вдохновеніями строки“. Вѣдь этакая, подумаешь, младенческая простота!

„И можетъ ли истинный художникъ,—продолжаетъ витійствовать г. Льдовъ,—придавать хоть малѣйшее значеніе сужденіямъ людей, которые устремляютъ все свое вниманіе на вѣшнюю отдѣлку картины, не задавая (давая?) себѣ труда проникнуть въ ея смыслъ, въ ея идею? Вѣшнія формы и краски для нихъ лишь средство воспринять съ возможною полнотою полусознательныя и бессознательныя внушенія непостижимаго мірового начала (вы постигаете что нибудь, читатель? П. Я.). Писатель долженъ вдохнуть въ звучныя слова вѣвременное, идейное содержаніе. Произведеніе искусства, образно отвѣчающее на вѣковые запросы духа, никогда не утратитъ своего значенія“.

Относитъ ли г. Льдовъ всѣ эти разсужденія къ собственной „скромной“ книгѣ? Несомнѣнно, относитъ. „Какъ написалась эта книга?—спрашиваетъ онъ самъ себя:—Говоря по совѣсти (о, да!) я не постигаю основной причины, побуждающей меня выражать свои чувства, мысли и настроенія въ искусственной стихотворной формѣ. Когда во мнѣ начинаютъ слагаться созвучья, я бываю

каждый разъ пораженъ этимъ явленіемъ; окончивъ работу, перѣдко весьма кропотливую (спасибо и на этой маленькой оговоркѣ), я перечитываю стихи съ еще большимъ удивленіемъ: мнѣ кажется, что они написаны не мною, а къмъ-то внѣ меня, продиктованы невнятнымъ, таинственнымъ голосомъ, уловить который мнѣ удалось лишь съ величайшими усиліями“.

Ну, словомъ, — „небесъ избранныкъ“ — да и только! Къ нарисованной картинѣ г. Льдовъ добавляетъ еще, что настроеніе бываетъ у него во время творчества восторженное... Мы хотѣли было спросить, ломаетъ ли онъ въ это время стулья, но г. Льдовъ, скромно потупивъ глаза, поспѣшилъ пояснить: „... и, если осмѣлюсь такъ выразиться (дерзай, поэтъ, на все дерзай!), настроеніе молитвенное... Пѣвучія слова увлекаютъ меня въ безпредѣльную даль отъ видимаго міра“.

Однако, что это за чудной языкъ? Что то, какъ будто, давно знакомое, давно слышанное... „Внушенія непостижимаго мірового начала“, „вѣковые запросы духа“, „молитвенная восторженность“, „безпредѣльная даль отъ видимаго міра“... Ба! да вѣдъ это г. Волинскій, нашъ старинный знакомецъ, авторъ „раскаленныхъ глыбъ психологій“, главный столбъ „Свѣт. Вѣстн.“, мужъ краснорѣчія, совѣта и разума... Вы не ошиблись, читатель. Г. Льдовъ, опасаясь все равно быть уличеннымъ въ плагиатъ чужихъ мыслей, кончаетъ свое предисловіе глубокимъ-глубокимъ реверансомъ передъ учителемъ, „столь смѣло, своеобразно и убѣдительно“ развивающимъ на страницахъ „Свѣт. Вѣстн.“ тѣ же самыя идеи. „Нѣкоторыя изъ его статей повліяли на мое міросозерцаніе и, несомнѣнно, отразились на моемъ лирическомъ творествѣ. Я радуюсь, что эта книга даетъ мнѣ случай выразить мою искреннюю и горячую благодарность: произведенія его проникнуты любовью къ истинному и прекрасному, безъ которой было бы слишкомъ холодно и тоскливо на бѣломъ свѣтѣ“.

Кто только не смѣялся надъ бѣднымъ г. Волинскимъ, а между тѣмъ, вотъ, подите же... Умѣетъ человекъ плѣнять сердца! Давно ли г-жа Гиппіусъ публично изъяснялась ему въ своихъ чувствахъ? Совѣмъ почти на дняхъ г-жа Гуревичъ, въ предисловіи къ роману „Плоскогогорье“, пропѣла тому же г. Волинскому пламенный дифирамбъ; теперь дифирамбъ этотъ подхватываетъ г. Льдовъ. Но г. Волинскій — свирѣпый, нелицепріятный критикъ, и мы не разъ были свидѣтелями, какъ онъ раздѣлывалъ, что называется, подъ орѣхъ писателей и поэтовъ, печатавшихся на страницахъ его собственнаго журнала. Мы нимало не удивимся поэтому, если и въ настоящее время, на глубокой реверансѣ г. Льдова, онъ отвѣтитъ грубымъ ударомъ своей „критической“ нагайки; не удивимся, впрочемъ, если и послѣ того г. Льдовъ пропоетъ пламенную оду:

Заблудшей музы покровитель,
Смягчишь ли судъ суровый твой?

Взгляни: она къ тебѣ въ обитель
 Пришла съ повинной головой.
 Она скиталась въ вихрь свѣта,
 Въ пустынь будничныхъ заботъ,
 Но музу скорбнаго поэта
 Высокій умъ не оттолкнетъ...
 Такъ оглашенный—Божій плѣнникъ—
 Приноситъ въ храмъ святую дань,
 Когда простретъ къ нему священникъ
 Свою прощающую длань.

Стихотвореніе это, напечатанное въ сборникъ г. Льдова, полагаемъ, ни къ кому другому не можетъ относиться, кромѣ г. Волынскаго... Какъ ни любопытно и ни знаменательно это отношеніе разслабленныхъ духомъ и нервами учениковъ къ своему дерзающему на все учителю, намъ пора, однако, обратиться къ „вѣковѣчному“ содержанію книжки г. Льдова.

Въ первомъ же стихотвореніи нашъ поэтъ собирается умирать и заклинаетъ друзей не плакать надъ его могилой, такъ какъ онъ, поэтъ, живъ мечтою легкокрылой внѣ разстояній и временъ. Его душа останется между ними и будетъ пѣть „смирненными словами о вѣчной родинѣ своей“. Однако, не первый г. Льдовъ собирался умереть, да не умеръ, а только даромъ провелъ время. На второй страницѣ онъ уже „ищетъ призраковъ *безплотныхъ* невыразимой красоты“ и съ тоской вопрошаетъ:

Какой напѣвъ, какія сказки,
 Какія краски и черты
 Передадутъ святыя ласки (?)
 Невоплощенной красоты?

Такія черты и краски оказываются, однако, въ распоряженіи самого г. Льдова, потому что на другой же страницѣ онъ обѣщаетъ намъ „постигнуть непостижимое“, другими словами—объять необъятное... Въ читателѣ, разумѣется, пробуждается любопытство, и онъ еще переворачиваетъ страницу:

Въ ночи предчувствуя зарю
 И разсвѣтая въ ней,
 Я въ душу вѣчности смотрю
 Сквозь мракъ души моей.

Хорошо г. Льдову, который умѣетъ „разсвѣтать“, но для насъ, простыхъ смертныхъ, тутъ мракъ, полный мракъ.

Мы не думаемъ, конечно, удручать читателя столь-же подробнымъ ознакомленіемъ съ остальными пьесами перваго отдѣла, имѣющими „внѣвременное, идейное содержаніе“ и отвѣчающими на „вѣковѣчные запросы духа“. Читатель и безъ того видитъ, что всѣ эти громкія обѣщанія были одной пустой фанфаронадой; весь отдѣлъ „Думъ“ посвященъ все тому же никчемному и неинте-

ресному исканію „красоты“, да все тѣмъ-же похвальбамъ „уйти изъ древнихъ башенъ на вершины гордыхъ пѣсень“; все одни п тѣ же избитые, заѣзженные приемы и якобы поэтическія средства, вродѣ „кто-то“, „гдѣ-то“, „мнится“, „призракъ“ и пр. Единственные недурные стихи этого отдѣла:

Они не видятъ и не слышатъ,
Не вѣрятъ значеніямъ чудесъ,
И не для нихъ звѣздами вышитъ
• Коверъ полуночныхъ небесъ.
Къ землѣ прикованы судьбою.
Презрѣвши твердь и божество,
Они идутъ земной тропюю.
Какъ будто ищутъ подъ собою
Могиль для праха своего...

Не правда ли, хорошіе стихи? Одна бѣда г. Льдова, что они написаны (и даже несравненно лучше) лѣтъ сорокъ, если не больше, назадъ „чародѣемъ слова“ Тютчевымъ („Не то, что мните вы, природа“)... Подобная же непріятность случилась съ г. Льдовымъ и въ другомъ стих. „Пророкъ“:

Я простираю свои объятія
Въ порывѣ скорби и любви,—
Въ меня каменья и проклятія
Бросали ближніе мои.

Чудакъ Лермонтовъ тоже гораздо раньше написалъ „Пророка“ съ очень похожей на стихи г. Льдова строфой, извѣстной каждому школьнику на Руси... Но это, конечно, простое совпаденіе великихъ талантовъ!

Во второмъ отдѣлѣ сборника есть загадочная пьеса „Паломники“, гдѣ намекая, очевидно, на себя съ товарищами-символистами, г. Льдовъ говорить:

Сквозь сумраки (?) суровые,
Сосновые, еловые (!?),
Для насъ тропинки новыя,
Какъ змѣи, поползли.
Сквозь дебри непролазныя,
Гдѣ снѣтъ уроды разныя,
Нѣмые, безобразныя,
Мы ошущю пройдемъ,
Кропя водой священою
Трясину—мутъ зеленую,
• Безумную (?), влюбленную (?)
Въ загнившій буреломъ.

Проникнемъ мы, кропители,

(Ужъ не „кропатели“ ли? Не опечатка ли?)

Въ морозныя обители,
Гдѣ ждутъ насъ вдохновители,
Въ таинственный пріютъ.

Повторяемъ, стихотвореніе это, написанное „сосновымъ, еловымъ“ языкомъ для непосвященнаго читателя является настоящимъ ребусомъ...

Въ третьемъ отдѣлѣ — „Времена года“ — г. Льдовъ философствуетъ на манеръ графа Хвостова (хотя послѣдній бывалъ вразумительнѣе):

Кто превозмогъ предѣлы чиселъ,
Пространства мнимость (?) превозмогъ?
Пушилки огненнаго снѣга (?),
Кружатъ и вихряются міры,
Пути изъ горняго пробѣга (?)
Чертежъ невѣдомой игры (!).

Въ другомъ стихотвореніи тишина „заснула въ слезахъ“; въ третьемъ насъ убѣждаютъ:

Созерцайте паденіе снѣга,
Созерцайте паденіе (?!).

Дальше „дождь лѣниво моросить, точно изъ незримыхъ ситъ“, и осеннему вѣтру поэтъ задаетъ вопросъ:

Вѣстникъ бездны роковой,
Побѣжденный, но живой (?),
Чья въ тебѣ мятется сила?
Съ кѣмъ витѣствуетъ уныло
Богохульный голось твой?

Вѣтеръ, разумѣется, ничего не отвѣчаетъ на эту витѣватую чепуху, и, въ отчаяніи, г. Льдовъ, наконецъ, признается:

Я позабылъ земные звуки,
Утратилъ слова даръ земной...

Вотъ тебѣ, бабушка, и Юрьевъ день!..

Заглянемъ, наконецъ, въ послѣдній отдѣлъ книги „Напѣвы“, или—вѣрнѣе было бы сказать—„Перепѣвы“, такъ какъ большинство помѣщенныхъ здѣсь любовныхъ стихотвореній г. Льдова представляютъ слишкомъ явное подражаніе мало извѣстнымъ у насъ сонетамъ Петрарки; настоящіе переводы изъ послѣдняго помѣщены тутъ же. Однако, оригинальныхъ курьезовъ не обещаться и въ этомъ отдѣлѣ. Поэтъ мечтаетъ насладиться съ своею возлюбленною „сочетаньемъ, непостижимымъ для земли“. Какъ любить г. Льдовъ и почему разстался съ нею, можетъ понять лишь тотъ, кто „постигъ восторгъ несбыточныхъ стремлений“. У ея ногъ „лишь къ неотвязчивымъ загадкамъ мой духъ таинственно влекомъ“; „ждетъ насъ напитокъ заманчиво-сон-

ный (?)". Изъ бѣлыхъ крыльевъ серафима „бестѣлесно“ упало на землю перо, и изъ него создалась возлюбленная поэта.

Уже изъ этихъ немногочисленныхъ примѣровъ видно, какъ много фразистости и мало сердечности въ любовныхъ изліяніяхъ г. Льдова. Впрочемъ, эта „бестѣлесная“ и „непостижимая для земли“ любовь не прочь иногда и отъ игривостей:

О, тайныя мысли, о робкіе взгляды!
Къ чему лицемѣрить? Разрушимъ затворы,
Забудемъ людей и людскія преграды!
У нашей кареты опущены шторы...

Давно бы такъ! Вотъ онѣ, „тайныя мысли“ нашихъ расейскихъ Оскаровъ Уайльдовъ! Но какъ же все это скучно, дорогой читатель... И ужъ, конечно, не стали бы мы такъ подробно разбирать эти жалкія „лирическія стихотворенія“, если бы имъ не предшествовало такое по-истинѣ развязное предисловіе. Есть же всему мѣра!.. Когда въ роли вѣщателя новыхъ словесъ и разрушителя дорогихъ кумировъ выступаетъ не легкомысленный зеленый юнецъ, а человѣкъ, по собственному признанію, подвизающійся уже двадцать лѣтъ на литературномъ поприщѣ, видный сотрудникъ толстаго журнала, тогда невольно хочется остановить его: „Хоть ты и двадцать лѣтъ литераторствуешь, но... суди, дружокъ, не выше сапога“. Г. Льдовъ осмѣливается утверждать, что прошли тѣ времена, когда русское общество могла увлекать и трогать „муза мести и печали“, эта „блѣдная, въ крови, кнутомъ изсѣченная муза“, и что насталъ праздникъ для яснолобыхъ эстетовъ и декадентовъ. Къ счастью, этотъ праздникъ ему приснился, и русское общество еще не дожило до такого позора. Обаяніе скорбной поэзіи Некрасова, какъ и тѣсно связанной съ нею юной музы Надсона, слишкомъ еще бьетъ всѣмъ въ глаза, чтобы можно было подвергать его хотя бы малѣйшему сомнѣнію.

V.

К. М. Фофановъ.

Г. Фофановъ—фигура крайне своеобразная. Никогда не происходило съ нимъ никакихъ „эволюцій“, никогда не держалъ онъ въ рукахъ никакого знамени, за которое бы сражался или которому бы измѣнилъ. Какимъ выступилъ онъ передъ публикой въ 82 году на страницахъ иллюстрированнаго журнала „Живоп. Обзорѣніе“, такимъ же остался и до настоящаго дня, т. е. грубымъ талантомъ-самородкомъ (талантомъ очень скромныхъ, правда,

размѣровъ), лишеннымъ, очевидно, всякаго знакомства не только съ иностранными литературами, но даже и съ отечественными литературными направленіями и теченіями. Въ своемъ просто-душій г. Фофановъ никогда и не подозревалъ, вѣроятно, о существованіи гдѣ-либо на свѣтѣ символизма, декадентства и другихъ мудреныхъ „нѣмецкихъ“ выдумокъ, и если его провозгласили потомъ основателемъ и главою русской символической школы, то, право же, произошло это помимо его воли и желанія. Въ лицѣ г. Фофанова лишній разъ подтвердилось то положеніе, что только при широкомъ умственномъ кругозорѣ, который дается образованіемъ, можетъ спастись отъ крушенія талантъ среднихъ размѣровъ. Кольцовъ, правда, началъ писать хуже, вычурнѣе, когда понабрался мудростей европейской философіи, но вѣдь значеніе и сила Кольцова, какъ поэта чисто народнаго, и заключались, именно, въ его крестьянской непосредственности. Что касается г. Фофанова, онъ—не дитя народа и не пѣвецъ его жизни. Уроженецъ и постоянный житель Петербурга, онъ проникнутъ интересами, привычками и идеями того средняго слоя общества, который считается интеллигентнымъ. Мысли и вопросы, затрагиваемые въ его безыдейной въ общемъ поэзіи, — это все тѣ же вопросы и идеи, что занимаютъ и волнуютъ всѣхъ образованныхъ людей, и потому съ нашей стороны естественно требовать, чтобы такой поэтъ мыслилъ, чувствовалъ и пѣлъ въ униссонъ съ лучшей частью своего общества, вмѣстѣ съ нимъ страдая и стремясь къ одной цѣли. Г. Фофановъ не удовлетворяетъ этимъ справедливымъ требованіямъ, и за отсутствіемъ крупнаго таланта онъ спасся отъ забвенія лишь благодаря одной оригинальной чертѣ своей музыки — ея безумно-вдохновенному виду, всегда восторженному тону ея приподнятой, хотя и мало вразумительной рѣчи. То, что у поэта обыкновеннаго, такъ сказать—нормальнаго, безъ всякихъ обиняковъ было бы названо чушью или преднамѣренной декаденщиной (какъ у какого-нибудь Валерія Брюсова), г. Фофанову прощалось, или даже ставилось въ заслугу, какъ поэту-самородку, поэту-безумцу по призванію, едва-едва не пророку... А между тѣмъ, невѣрность эпитетовъ, аляповатость красокъ, вычурность мысли, наконецъ, простая безграмотность, все это въ стихотвореніяхъ г. Фофанова было поразительно съ самаго начала. Вспомните, напр., читатель, одну изъ „знаменитыхъ“ и, дѣйствительно, лучшихъ его пьесокъ:

Звѣзды ясныя, звѣзды прекрасныя
 Нашептали пѣтамъ сказки чудныя:
 Лепестки улыбулись атласные,
 Задрожали листы изумрудные.
 И цвѣты, опьяненные росами,
 Разсказали вѣтрамъ сказки нѣжныя,
 И распѣли ихъ вѣтры мятежныя
 Надъ землей, надъ волной, надъ утесами.
 И земля, подъ весенними ласками

Наряжаясь тканью зеленою,
 Переполнила звѣздными сказками
 Мою душу, безумно влюбленную...
 И теперь, въ эти дни многотрудные,
 Въ эти темныя ночи ненастныя
 Отдаю я вамъ, звѣзды прекрасныя,
 Ваши сказки задумчиво-чудныя!

Музыка превосходная; свѣжая струйка неподдѣльной поэзіи такъ и бьетъ изъ каждаго стиха, подкупаетъ и захватываетъ самого завзятаго скептика-читателя... Но отнесемъ безпристрастно къ идеѣ и формѣ этого стихотворенія. Какая, прежде всего, вычурность содержанія! Звѣзды, черезъ посредство цвѣтовъ, вѣтра и проч., нашептываютъ свои сказки безумно-влюбленному (въ кого? во что?) поэту, а поэтъ „отдаетъ“ эти сказки опять тѣмъ же звѣздамъ (хотя бы людямъ)! А какъ вамъ нравится опредѣленіе сказокъ—„задумчиво-чудныя“? Не все ли это равно, что, напр., сказать: „твердо-грустныя“ или „желто-холодныя“? Между тѣмъ, равныхъ этой пьескѣ по безукоризненности поэтической формы, наберется у г. Фофанова не болѣе одного, много—двухъ десятковъ стихотвореній. Вся остальная его поэзія представляетъ сплошной мусоръ, въ которомъ нужно разбираться, чтобы отыскать цѣнный жемчугъ. Два три безупречно красивыхъ, поэтическихъ стиха—и вдругъ выльнется какое-нибудь чудовище вроде:

Кажется луна окровавленный кончикъ,

и такого „кончика“ вполне бываетъ достаточно, чтобы погубить очарованіе цѣлаго прекраснаго стихотворенія: читатель со смѣхомъ закрываетъ книгу!

Страстно влюбленный въ природу и только въ цвѣняхъ о природѣ отыскивающий на своей лирѣ дѣйствительно-поэтическія струны, г. Фофановъ, къ несчастію, совершенно не знаетъ настоящаго сельскаго ландшафта и до зрѣлаго возраста, повидимому, не видалъ иной природы, кромѣ чухонскихъ предмѣстій Петербурга съ ихъ тусклымъ, чахлымъ солнцемъ, свѣтящимъ сквозь дымъ и копоть фабричныхъ трубъ, и съ ихъ не менѣе чахлой сѣверной растительностью. Конечно, поэтъ съ демократическимъ міросозерцаніемъ, поэтъ съ широкоразвитымъ умомъ найдетъ много своеобразной поэзіи и въ этой тусклой природѣ, и въ этой скудной жизни. Но бѣда г. Фофанова въ томъ, что у него нѣтъ, въ сущности, никакого міросозерцанія; онъ не прочь, правда, при случаѣ о чемъ угодно пофилософствовать—о жизни, о смерти, о вѣчности, точъ въ точъ какъ г. Аполлонъ Коринескій; но ничто не проносится надъ его челомъ „грозою“, и въ „пожорные звуки“ выливаетъ онъ только чисто внѣшнія черты и краски окружающей его обстановки.

Но, какъ это ни странно показалось бы человѣку, незнакомому съ условіями русской общественной жизни за послѣднія пятнад-

цать лѣтъ, именно въ отсутствіи то всякой идейности и заключа-
чалась причина эфемернаго успѣха и „славы“ г. Фофанова. Открылъ этого поэта въ 82 или 83 году г. Буренинъ, открылъ въ пикъ тогдашнимъ поэтамъ либеральнаго направленія, Надсону, г. Минскому (бывшему тогда еще либераломъ) и др.: „смотрите, молъ, вотъ истинная поэзія, чуждая всякой тенденціи!“ Дѣлая это, г. Буренинъ какъ бы прозиралъ въ далекое будущее. Пронеслась послѣ того волна почти поголовнаго увлеченія поэзіей Надсона, поэзіей „труда, свободы и скорбей“, и лишь спустя нѣсколько лѣтъ послѣ его смерти начались громкіе, неумѣренные восторги г. Фофановымъ, отчасти искренніе, отчасти поддѣльные восторги всѣхъ безпринципныхъ флюгеровъ нашей литературы и публики. И это очень характерный фактъ, что не г. Минскаго, не г. Мережковского (поэтовъ, во всякомъ случаѣ, болѣе талантливыхъ) стали называть главою молодой русской поэзіи... Г. Аполлонъ Коринфскій, приготовляющій книгу о современной поэзіи, въ анонсѣ объ этомъ сочиненіи такъ и озаглавливаетъ именемъ *Фофанова* отдѣлъ молодыхъ нашихъ поэтовъ, включая туда же и г. Минскаго съ г. Мережковскимъ (какой ударъ для самолюбивыхъ поэтовъ!). Со стороны г. Коринфскаго, очевидно, это лишь отголосокъ того, что давно уже говорится на заднемъ дворѣ нашей литературы. Искренно ли говорится? Мы думаемъ, что вполнѣ искренно, такъ какъ никто изъ нашихъ сколько-нибудь даровитыхъ поэтовъ, кромѣ г. Фофанова, не можетъ быть названъ съ такимъ правомъ и спойствиемъ за будущее—поэтомъ абсолютно-безпринципнымъ, знаменосцемъ полной бездѣятности и безличія въ нашей литературѣ... По Сенькѣ и шапка!

Брядъ ли кто, думаемъ мы, искренно восхищается и стихотвореніями г. Фофанова, написанными имъ въ позднѣйшее, а тѣмъ болѣе въ самое послѣднее время. Кругъ поэзіи его былъ страшно ограниченъ съ самаго начала: первый сборникъ пѣль, напр., исключительно о веснѣ, и изъ 200 входившихъ въ этотъ сборникъ пьесъ не отыщется и двадцати, гдѣ не было бы хоть упоминанія объ этомъ прекрасномъ времени года... Однако, нельзя же втеченіе пѣлыхъ десятиль лѣтъ (да еще послѣ Фета!) восторгаться и восторгаться, имѣя безумно-вдохновенный видъ, все лишь по поводу скромныхъ придорожныхъ фіалокъ, „усиковъ“ пыли, плавающихъ въ солнечномъ лучѣ, подобно рою усталыхъ танцовщицъ, серебристаго рога „колдующей“ луны и т. п., и т. п. Между тѣмъ, г. Фофановъ,—необыкновенно плодовитый и раньше,—ставъ знаменитымъ поэтомъ, сдѣлался чуть ли не еще плодовитѣе, и положительно трудно сыскать номеръ иллюстрированнаго изданія, гдѣ не было бы какого-либо его стихотворенія.

И необыкновенно жалкое впечатлѣніе производятъ эти не прекращающіяся ни на минуту потуги не молодой уже музы г. Фофанова, сисящейся сохранить все тотъ же безумно-вдохновенный, юношески-восторженный тонъ! Молодой наивности уже

нѣтъ и слѣда; искренній пафосъ былыхъ лѣтъ замѣняется нерѣдко рассчитанной вычурностью самаго шаблоннаго декадентства; и даже стихъ г. Фофанова, этотъ красивый, оригинальный стихъ его юношеской поры, сталъ теперь, въ большинствѣ случаевъ, неуклюжимъ, холоднымъ, прозячнымъ!

Передъ нами огромный, въ 500 страницъ, томъ стихотвореній г. Фофанова, съ портретомъ автора... Напрасно, однако, рассчитывать бы читатель найти здѣсь итогъ многолѣтнихъ трудовъ плодовитаго поэта: оказывается, что „Иллюзіи“ обнимаютъ всего лишь пять послѣднихъ лѣтъ (1895—1900) стихотворной дѣятельности г. Фофанова, и съ появленіемъ ихъ остаются въ полной силѣ пять ранѣ выпущенныхъ томиковъ: „Маленькія поэмы“, „Этюды въ рифмахъ“, „Снѣгурочка“, „Майскій шумъ“ и „Монологи“, при чемъ мы еще не ручаемся—вошелъ ли въ нихъ первый стихотворный сборникъ г. Фофанова, выпущенный въ 1887 г. безъ особаго заглавія. Такимъ образомъ, для того, чтобы получить ясное и полное представленіе о фофановской поэзіи, нужно проглотить шесть или семь книжекъ стиховъ... Не чересчуръ ли много это для г. Фофанова? Вѣдь такого убійственнаго залпа рифмъ не пускали въ публику и поэты несравненно крупнѣйшаго калибра, имѣвшіе за душой богатое содержаніе идей, чувствъ и образовъ.

Чтеніе „Иллюзій“ наводитъ на грустные размышленія. Никто не станетъ, разумѣется, отрицать поэтическій талантъ г. Фофанова, правда, небольшой и скромный; замѣтенъ онъ и въ этомъ томѣ-левіаеанѣ, но... замѣтенъ только, какъ искра подъ золой потухшаго костра... Въ общемъ передъ нами—удручающая скукой и безжизненностью пустыня съ рѣдкими цвѣтущими оазисами. Среди 200 почти названій, обнимающихъ полтысячи страницъ, можно считать не болѣе трехъ десятковъ небольшихъ пьесокъ (въ 30 страницъ текста), которыя читаются и даже перечитываются съ удовольствіемъ; прибавимъ къ этому большую, въ 100 страницъ, повѣсть „Поэтессу“; но все остальное, право же, можно прочесть лишь по невеселой обязанности рецензента... Печать ремесленничества и рифмачества лежитъ, увы! на огромномъ большинствѣ этихъ непродуманныхъ и невыношенныхъ въ сердцѣ „вдохновеній“. Чтобы не быть голословными, приводимъ примѣръ:

Все спокойно во мракѣ;
Только лаютъ собаки,
Только лаютъ собаки
Лишь одинъ
Въ сторонѣ.
Я иду по дорогѣ,
Полный смутной тревоги,

Полный смутной тревоги,
 Наобумъ,
 Полный думъ.
 Какъ бульвары пустыни!
 Молчаливы вершины;
 Молчаливо вершины
 Изъ оградъ
 Смотрять въ рядъ.
 О, покой безмятежный!
 Лейся въ грудь мнѣ, безбрежный,
 Лейся въ сердце, безбрежный,
 О покой
 Роковой!
 Истомился я страстно,
 И еще все напрасно,
 И еще все напрасно
 Счастья жду
 И иду.

Судя по послѣднимъ строчкамъ, можно думать, что въ основѣ стихотворенія лежало искреннее чувство, но что же вышло изъ него у г. Фофанова? Совершенно недостойное талантливаго поэта ломаніе и кривляніе въ ложно-декадентскомъ стилѣ. Никто, конечно, не заподозритъ насъ въ сочувствіи къ декадентской поэзіи, и, тѣмъ не менѣе, справедливость заставляетъ насъ признать, что бывають декаденты и декаденты. Стихи француза Верлена, содержаніе которыхъ граничало то съ безуміемъ, то съ мерзостью, временами всетаки возвышались до истинной поэзіи, когда выливались изъ сердца много грѣшившаго, но и много страдавшаго поэта; и какъ это характерно, что своихъ французскихъ собратьевъ, носившихъ парики и накладныя бороды символизма и декадентства, Верленъ презрительно обзывалъ „цымбалистами“! Въ поэзіи г. Фофанова, несомнѣнно болѣе чистой и благородной, нежели верленовская, есть все же большія, мистическія струны, въ искренности и естественности которыхъ нельзя сомнѣваться. За эти-то струны и ухватились наши русскіе цымбаллисты, съ середины 80-хъ годовъ начавшіе увѣрять молодого поэта, что онъ—законный и прирожденный глава русскаго символизма. Не повѣрилъ ли имъ г. Фофановъ, когда началъ сознательно усиливать природныя вычуры своей музыки, изобрѣтать оригинальные размѣры и рифмы и жертвовать для нихъ мыслью и чувствомъ? Не повело, конечно, къ добру и ремесленное многописаніе въ безчисленныхъ журнальчикахъ и листкахъ, вплоть до „Торгово-Промышленной Газеты“, гдѣ г. Фофановъ помѣщаетъ юмористическіе стишки, единственная соль которыхъ — этотъ противоестественный союзъ мечтателя-поэта съ „Торгово-Промышленной“ газетой... Послѣ пятнадцати слишкомъ лѣтъ неустанной бесѣды съ музами г. Фофановъ почти утратилъ тотъ пѣвучій, плѣнительно-музыкальный стихъ, какимъ

владѣль въ началѣ своего поприща; торопливость и неряшливость даютъ теперь знать себя на каждомъ шагѣ. Въ красивомъ вступительномъ стихотвореніи настоящаго сборника встрѣчаются стихи:

Но близко, близко возрожденье;
Иная жизнь, *иной сна...*

Что означаетъ это бессмысленное выраженіе?

Не все-ль равно бушующей рѣкѣ,
Чьихъ (?) облаковъ летучая прохлада
Надъ ней скользить и мечется въ тоскѣ?

Прелестный образъ погубленъ нецѣпимъ эпитетомъ, который первымъ пришелъ въ голову торопливому поэту. Вечерній сумракъ у него „весь *запахомъ цвѣтовъ*, весь звѣздами *горитъ*“... „*Сквозь дымку смутныхъ очертаній*“ весенней ночи онъ „ищетъ забвенія страданій“. Крылья мотылька сравниваются по прозрачности съ фарфоромъ; рубины—съ каплями росы... Умершій Майковъ возсѣдаетъ на Олимпѣ „въ созвѣздіи богинь“... Ломовики везутъ дрова, „отставая въ перегонки“. Въ погонѣ за созвучіемъ ничего не стоитъ г. Фофановъ пожертвовать правильнымъ удареніемъ слова: лебедь—терѣбить, дымящія трубы, кабы, плѣтня, знахарь; къ слову „жизнь“ онъ изобрѣтаетъ удивительную рифму „брызнь“, къ „погаснеть“—„тотчасъ нѣтъ“ и т. п. Въ угоду метру онъ охотно забываетъ грамматику и пишетъ:

Прощайте, слава, и прощайте, силы!

но—что еще хуже—въ угоду рифмамъ забываетъ и самую поэзію:

Въ его лицѣ загаръ пустынь,
Его хитонъ—*бѣлый простынь...*

Этотъ примѣръ безвкусія, данный г. Фофановымъ, поистинѣ заслуживаетъ безсмертія!

Однако, все это—мелочи, скажетъ, быть можетъ, читатель:—интереснѣе было бы узнать, какіе вопросы занимаютъ г. Фофанова, что волнуетъ его, заставляетъ страдать, радоваться, какъ понимаетъ онъ хотя бы задачи искусства. Вотъ вступительное къ „Иллюзіямъ“ стихотвореніе:

Ищите новые пути!
Сталь тѣсенъ миръ, его оковы
Неумолимы и суровы...
Гдѣ-жъ вѣчнымъ розамъ зацвѣсти?
Ищите новые пути!
Мечты истерпаны до дна,
Изякъ источникъ вдохновенія...
Но близко, близко возрожденье,

Иная жизнь, иного сна.

Мечты исчерпаны до дна... И т. д.

Довольно красивые стихи, не правда ли? Но при чемъ тутъ „оковы міра“, „вѣчныя розы“ (?), „исчерпанныя до дна мечты“? Не ради ли только рифмы пущены онѣ въ ходъ? Насколько можно понять стихи, въ нихъ идетъ рѣчь о поискахъ пресловутой „новой красоты“ и „новыхъ путей“ въ искусствѣ. По правдѣ сказать, поиски эти, сопровождаемые кликушескими воплями и криками, порядкомъ всѣмъ надоѣли и набили оскомину: дѣла никто не дѣлаетъ, „новой красоты“ не предъявляетъ, а всѣ только прорицаютъ и кормятъ посулами! Что касается г. Фофанова, то и къ нему можно примѣнить, еѣ нѣкоторымъ видоизмѣненіемъ, старую поговорку: то, что въ его поэзіи хорошо и красиво,—старо, а то, что претендуетъ на „новую красоту“, далеко не красиво и не хорошо...

Пытается г. Фофановъ вѣщать и на общественныя темы, но здѣсь результаты получаются совсѣмъ уже комическіе. „...Мы проснулись на зарѣ, въ счастливый часъ святого утра“, говоритъ онъ, имѣя, повидимому, въ виду эпоху 70-хъ годовъ, въ концѣ которыхъ начиналась и его собственная юность: „дышала легче и смѣлѣй освобожденная Россія“... И чѣмъ же спрашиваетъ поэта, почли мы „на насъ ниспосланное слово“? Что мы сказали?

О, ничего! Или сурово

Мы тали землю отъ земли...

И что сказали, что могли?

Что значить это странное обвиненіе, предъявляемое къ поколѣнію 70 хъ годовъ?

Характерно для г. Фофанова, что, вспоминая въ повѣсти „Поэтесса“ времена своей юности,—середину 80 хъ годовъ,—онъ можетъ отмѣтить одинъ только фактъ изъ общественной жизни той эпохи:

Тогда Буренинъ сталъ смѣяться

Еще язвительнѣй и злѣй...

Жалкая эпоха! Бѣдная юность!

Надо, впрочемъ, говорить правду: самъ г. Фофановъ отлично сознаетъ, что онъ не поэтъ борьбы, и рѣдко заносится въ несвойственныя ему сферы. Въ зрѣлые годы онъ поетъ все то же, о чемъ пѣлъ и на зарѣ жизни, 20 лѣтъ назадъ: весну—всего охотнѣе весну,—луну, звѣзды, цвѣты, ангеловъ, мечты о загробномъ мірѣ, суровый гнетъ житейской прозы, отравленную любовью, ужасъ безумія, отчаяніе... Къ сожалѣнію, послѣднія ноты начинаютъ звучать все чаще и громче. „Умерли желанья... Оборвались, словно лепестки на вѣнкѣ душистомъ, свѣтлыя мечтанья... Отзвучали струны понемногу... Темнымъ днямъ не видится конца... Какъ

могу молиться и какому Богу? Какъ мнѣ славить въ гимнахъ радость и Творца“?

Я и самъ хочу въ могилу,—

заявляетъ поэтъ въ другомъ стихотвореніи:

И борьбѣ своей не радъ,
И бреду я черезъ силу
Кое-какъ и не впадѣть.

Просто выраженные, но искренніе звуки горя и отчаянія примиряютъ читателя съ многочисленными недостатками стиховъ г. Фофанова,—они трогаютъ, они берутъ за душу... Взгляните также на портретъ автора удивительной работы Рѣпина: этотъ юноша съ скелетообразнымъ лицомъ и безумно вдохновеннымъ взоромъ, очевидно, дорогой цѣной страданія купилъ свой даръ грезъ и пѣсенъ; а съ той поры (портретъ писанъ въ 1888 г.) прошло много лѣтъ, тяжелыхъ лѣтъ, и цѣна, конечно, значительно увеличилась...

Мой міръ угрюмъ, какъ темный скитъ,
И блѣдный день меня томить,
И ночи нѣтъ!
Я стражду, плачу и молюсь—
Ищу забвенья и боюсь
Глядѣть на свѣтъ!
Растетъ холодная печаль,
Зіяетъ призрачная даль,
Какъ злая пасть
Глубокой бездны... Я молюсь—
И все робѣю, все боюсь
Въ нее упасть.

Эта глубоко-трогательная поэзія чужда, конечно, поисковъ „новой красоты“. Не ею вдохновлены и другіе, лучшіе мотивы г. Фофанова,—напр., слѣдующій:

Въ ея душѣ—разладъ, печаль въ ея мечтахъ;
Кому же нѣжный взглядъ, улыбка на устахъ?
Безмолвна, какъ тѣнь, сидитъ она въ саду
И смотритъ черезъ плетень въ томительномъ бреду.
Все ждетъ и ждетъ она невѣдомо кого,
И въ часъ, когда грустна, не знаетъ—отчего.
Вчера, когда закатъ, алѣя, догоралъ
И на больничный садъ прозрачный саванъ ткалъ,
Какъ лилія блѣдна, блуждая въ полуснѣ,
Запѣла пѣснь она въ рѣшетчатомъ окнѣ.
Та пѣснь была—не пѣснь, а слезы или кровь!
Ужасна, какъ болѣзнь, и знойна, какъ любовь.

Не смотря на исключительность сюжета, вѣдь это—самъ реализмъ, и безъ всякой „новой красоты“ образъ, нарисованный

г. Фофановымъ такъ просто и безыскусственно, находятъ путь къ нашему сердцу... Та же простота, та же безыскусственность и всегда идущая съ ними объ руку искренность придаютъ подкупающую прелесть и тѣмъ стихотвореніямъ, въ которыхъ отражается природная склонность нашего поэта къ мистицизму.

Вечерняя звѣзда, звѣзда моей печали,
Зажглася и горить межъ дымныхъ облаковъ.
Навстрѣчу ей огни земные заблитали,
Огни труда, моленій и пировъ.
Но не для нихъ мучительно и властно
Въ моей душѣ мечта пробуждена;
Земная ложь съ мечтами не согласна,
И пѣснями не тѣшится она.
Меня влечетъ звѣзда моей печали,
И пѣсни ей пою я въ полуснѣ,
Ея лучи мнѣ тайну напечатали
Иныхъ огней въ волшебной сторонѣ.
Иныхъ огней, — на алтарѣ небесномъ
Пылающихъ измученнымъ очамъ
Земныхъ борцовъ — сіяньемъ неизвѣстнымъ,
Лишь въ смутныхъ снахъ являющимся намъ.

Эта кроткая резиньяція, окружающая лучезарнымъ ореоломъ самое страданіе, очень часто звучитъ у г. Фофанова и является даже одной изъ характерныхъ чертъ его поэзіи, нѣсколько роднящей ее съ Бодлеромъ *).

Мой другъ, у нашего порога
Стучится блѣдная нужда,
Но ты не бойся, ради Бога,
Ея, сподвижницы труда.
При ней звучнѣе пѣснь поэта.
И лампада поздняя моя
Горитъ до бѣлаго разсвѣта,
Какъ лучъ иного бытія.
И міръ иной передъ очами —
То міръ восторговъ и чудесъ,
Гдѣ плачутъ чистыми слезами
Во имя правды и небесъ.
То міръ, ниспосланный отъ Бога
Для утѣшенья... И тогда
Стучится слава у порога
И плачетъ блѣдная нужда.

Тутъ мы имѣемъ дѣло почти съ религіознымъ экстазомъ, „во имя правды и небесъ“ жаждущимъ подвиговъ мученичества... И

*) Сравните, напр., «Вечернюю звѣзду», съ концомъ знаменитаго «Bénédiction» Бодлера, хотя о подражаніи здѣсь врядъ ли можно говорить.

тѣмъ же просвѣтленнымъ взоромъ экзальтированного мистика
глядитъ г. Фофановъ и на жизнь вѣшней природы.

Печальный реквиѣмъ звучитъ повсюду мнѣ:
И въ шорохѣ листовъ, шуршащихъ подъ ногами,
И въ шумѣ позднихъ пчелъ надъ поздними цвѣтами,
И въ крикѣ журавлей, летящихъ въ вышинѣ.
Прощай до вѣшнихъ дней, суровая краса
Таинственныхъ лѣсовъ! Прощайте, небеса
Съ улыбкою заря! Прощайте вы, зарницы,
Прощай, раскатъ громовъ,—я вѣрю, будетъ день,
Ты снова прогремишь, чтобъ вызвать изъ гробницы
Развѣчанной весны оправданную тѣнь!

Кромѣ отмѣченныхъ выше стихотвореній, украшеніемъ „Илюзіи“ служатъ, по нашему мнѣнію, еще слѣдующія пьесы: „Слово“, „Стансы“, „Въ этой мутно-сизой дымкѣ“, „Душа поэта“, „Кто я“, „Лѣто“, „Что тамъ, за рощей, проснулось“, „Заколдованный домъ“, „Ангелы“, „Завѣщаніе“, „Бѣлый снѣгъ“, „У меня горитъ лампада“, „Вечеръ“, „Какъ-будто раннею весной“, „Очарованный принцъ“, посвященіе повѣсти „Поэтесса“ памяти Бибикова. Кстати объ этой повѣсти. Большія вещи обыкновенно не удаются г. Фофанову, но „Поэтесса“ составляетъ счастливое исключеніе. Благодаря легкому, граціозному стиху, мѣстами только страдающему отъ явной небрежности и торопливости, она читается съ удовольствіемъ,—особенно первая, лучшая часть. Но если къ повѣсти предъявить строгія требованія и обратиться къ ея внутренней цѣнности, то, разумѣется, придется сказать, что банальность содержанія не выкупается красотой формы. Плохо мотивированное превращеніе заурядной мечтательницы-поэтессы въ страдальцу за народное благо совершенно не оправдываетъ заключительныхъ стиховъ поэта:

..... Прощай, живая сила
Упорной воли и труда!
Всегда конецъ тебѣ —могила,
А счастье только иногда.

VI.

А. А. Коринфскій.

Какъ изъ пѣсни слова не выкинешь, такъ, зайдя на современный Парнасъ русскій, встрѣчи съ г. Аполлономъ Коринфскимъ не минуешь. Онъ сидитъ тамъ на самой высокой вершинѣ горы и, по мнѣнію значительной части публики и критики, сидитъ по

праву. Въ иллюстрированныхъ изданіяхъ г. Аполлонъ Коринфскій игралъ бы роль полновластнаго царя современныхъ поэтовъ, если бы не было у него тамъ опаснаго соперника въ лицѣ г. Фофанова, слава котораго установилась гораздо раньше и все еще остается непоколебимо-прочной. Пишетъ г. Коринфскій, какъ и г. Фофановъ, довольно звучнымъ и легкимъ стихомъ, съ безупречно гармонирующими рифмами, и отличается при этомъ изумительной плодовитостью: почти ежегодно выпускаетъ онъ въ свѣтъ по объемуистому тому стиховъ, врядъ ли даже перепечатаывая въ нихъ все, что помѣщаетъ въ безчисленныхъ изданіяхъ мелкой прессы.

И, тѣмъ не менѣе, въ „большой“ литературѣ г. Коринфскому почему-то не везетъ: говорятъ о немъ здѣсь мало, а если и вспомнятъ когда, то похвалами не осыпаютъ... Друзья молодого поэта объясняютъ это партіозностью либеральныхъ журналовъ, тѣмъ, что онъ, какъ истинный поэтъ, стоитъ внѣ литературныхъ партій и готовъ печатать свои стихи въ органахъ какого угодно направленія... Изъ чувства безпристрастія приведемъ маленький образчикъ „дружеской“ критики. Вотъ что писалъ о г. Коринфскомъ на страницахъ „Книжекъ Недѣли“ ихъ литературный критикъ, историкъ, беллетристъ и поэтъ, г. Грибовскій:

„Съ Пушкинымъ у насъ *началась* національная идеализація тѣхъ чертъ русской жизни, которыя могутъ послужить къ созданію идеаловъ лучшаго будущаго на естественныхъ основаніяхъ. За Пушкинымъ *двинутое имъ* дѣло перешло въ руки Кольцова, Никитина, Хомякова, Тютчева, А. Толстого, Некрасова“, но всѣ они дѣлали свою работу не такъ, какъ слѣдуетъ. И вотъ явился, наконецъ, Аполлонъ Коринфскій, „поэтъ, одаренный широтою пониманія (чего?) и глубиною воспріятія. Онъ чувствуетъ и осмысливаетъ идущую мимо него жизнь и въ цѣломъ и въдробномъ видѣ (и оптомъ и въ розницу. П. Я.). Чего же больше надо (вотъ именно!) для того, чтобы занять почетное мѣсто среди другихъ представителей русскаго поэтическаго творчества, *такъ сказать* гармонируя съ ними въ общемъ хорѣ... Переработавъ въ своей душѣ мотивы предшественниковъ, г. Коринфскій выступилъ національнымъ поэтомъ, но со своимъ личнымъ обликомъ. Черезъ Кольцова и А. Толстого поэтъ *установилъ непосредственную связь, преемственность съ вѣщими баянами древности*; но, не довольствуясь, *такъ сказать*, теоретическимъ изученіемъ признанныхъ образцовъ современности и старины по завѣтамъ Пушкина, г. Коринфскій прикоснулся прямо къ груди матери-земли (вотъ такъ фунтъ!), чтобы отъ нея почерпнуть силы“.

Какъ видитъ читатель, по утвержденію критика „Недѣли“ (а ея ли критикомъ не вѣрить?), г. Ап. Коринфскій несравненно выше Пушкина: тотъ „началъ“ только, „двинулъ“ дѣло, а этотъ уже совершилъ его...

Что же это за поэтъ? Какова его поэтическая и, вообще, ду-

ховная фізіономія? Каковы причины его популярности въ одной части публики и литературы и непопулярности—въ другой.

Мода—главнѣйшее пристрастіе и главнѣйшій бичъ нашего все еще зеленого духомъ, хотя и довольно уже стараго годами, общества. Во второй половинѣ восьмидесятыхъ годовъ существовало нѣсколько модныхъ увлеченій. Едва ли не главнымъ изъ такихъ увлеченій былъ въ извѣстныхъ слояхъ прессы и публики подъѣмъ „національнаго чувства“. Сколько разговоровъ было тогда объ успѣхахъ русской литературы за границей, о томъ, что отечество наше, при желаніи, могло бы закидать иностранцевъ шапками положительно во всѣхъ сферахъ искусства, науки и даже жизни. Оказывалось, что русскій человѣкъ не нуждается рѣшительно ни въ какихъ иностранныхъ выдумкахъ, вродѣ тамъ разныхъ убѣжденій и принциповъ; онъ по природѣ—самородокъ ума и чувства, для котораго никакой законъ не писанъ. Вотъ въ эту-то горделивую полосу нашего „общественнаго сознанія“, насколько намъ помнится, и расцвѣли на полѣ русской поэзіи „черныя розы“ г. Аполлона Коринфскаго, съ первыхъ же шаговъ начавшаго пѣть въ народномъ духѣ, народнымъ слогомъ и складомъ. Не будемъ останавливаться на самомъ первомъ его сборникѣ „Пѣсни сердца“, какъ относящемся къ слишкомъ далекому времени; передъ нами лежатъ „Черныя розы“ и „Тѣни жизни“, стихотворенія 93—97 гг.

На пиру всѣмъ честь и мѣсто,
Только, пѣсня, нѣтъ тебѣ.
Вдохновенныхъ думъ невѣста
И сестра мнѣ по судьбѣ!

Жалуется г. Аполлонъ Коринфскій въ стихотв. „На чужомъ пиру“.

Съ *простодушной* музой нашей
Не прилиси мы ко двору!
Здѣсь пѣвцы поютъ другіе,
Пира шумнаго льстецы (?),
Отъ разгула не впервые
Захмѣлѣвшіе пѣвцы...
Мѣсто наше—*за пороюмъ*
Этихъ праздничныхъ хоромъ;
По проселочнымъ дорогамъ
Мы, сестра, съ тобой поидемъ.
Мы послушаемъ, понщемъ,
Что и какъ поютъ въ глуши;
Съ каждымъ путникомъ и нищимъ
Погуторимъ отъ души.
Перехожею калачкой,
Скоморохомъ-гусяромъ
Мы по всей Руси великой
Съ пѣсней-странницей—*вдвоемъ.*
.....
Гряньте пѣсню дружнымъ ладомъ

Какъ пѣвали встарину.
 Русскимъ словомъ, русскимъ складомъ,—
 Подпѣвать я вамъ начну...

Вотъ какія задачи ставить себѣ „простодушная“, но обиженная въ „праздничныхъ хоромахъ“ литературы, муза г. Коринфскаго. Но легко, видно, захотѣть, да нелегко на самомъ дѣлѣ запѣть настоящимъ „русскимъ словомъ и русскимъ складомъ“, стать понятнымъ „каждому путнику и нищему“, сдѣлаться дѣйствительнымъ народнымъ поэтомъ, Кольцовымъ, Шевченкомъ, Бернсомъ, Беранже... Г. Аполлонъ Коринфскій, при всемъ желаніи, сѣмѣлъ сдѣлаться только *«гусяромъ-ско-морохомъ»*. Выписавъ себѣ въ тетрадку и хорошенько заучивъ сотню другую славянскихъ и старинныхъ русскихъ словечекъ, являющихся теперь уже не народнымъ, а скорѣе книжнымъ достояніемъ, нашъ отважный поэтъ пестрить ими безъ разбора свои стихотворенія и наивно полагаетъ, что его муза—простодушная муза. А что она народная—въ этомъ служатъ ему порукой двукратныя повторенія одного и того же слова, вроде „ноченька-ночка“, „заря-заряница“, „диво-чудо“, „просторъ-приволье“, или позаимствованія изъ народныхъ пѣсенъ ихъ обычныхъ эпитетовъ и выраженій. Кое-что сочиняетъ и самъ г. Коринфскій (въ томъ же якобы духѣ и тонѣ), и этогъ-то арлекинскій костюмъ, насквозь пропахшій потомъ труда и масломъ лампы, кажется ему самому и это невыскальзывающимъ поклонникамъ—признакомъ истинно-народной поэзіи.

То не бѣлая купавица
 Расцвѣла надъ синью водъ,—
 Съ красной Горки раскрасавица,
Ярко-зеленью идетъ.
 Пава-павой, поступь ходкая,
 На ланитахъ—маковъ цвѣтъ,
 На устахъ улыбка кроткая.
Свѣтелъ-радошень привѣтъ.
 Красота голубокая,
 Глубже моря ясный взглядъ,
 Шея—*кипень*, грудь высокая,
 Руса-косынька—до пять.
Лѣтникъ—празелень, оборчатый
 Облегаетъ стройный ставъ;
 Голубой подъ нимъ, узорчатый
Аксамитный сарафанъ.

П т. д., и т. д.

Это описывается „Красная весна“, и, право же, врядъ-ли кто могъ бы догадаться по этому описанію, что рѣчь идетъ о ней. Дальше въ томъ же стихотвореніи встрѣчаются: „зернь“, „первоцвѣтъ“, „медунница“, „делянки“, „чистотѣль“, „левада“, „травы-цвѣтики“, „злато-серебро“, „жизнь поселѣская-попольная“ и пр. Въ другихъ пьесахъ ночь у г. А. Коринфскаго называется „без-

потемной"; тоску онъ приглашаетъ своихъ друзей „растосковать“; заглавія нѣкоторыхъ его „бывальщинъ“ таковы: „Златоогненный цвѣтъ“, „Потайный сказъ“ и т. п. Все это надо вѣдь придумать, а если не придумать, то откуда-нибудь выкопать, потому что непосредственный, простодушный талантъ и дѣйствительная жизнь ничего подобнаго не внушаютъ поэту. Эта многолѣтняя погоня за мнимой народностью привила къ небольшому, очень небольшому дарованію г. Коринфскаго (которое у него несомнѣнно было, какъ и до сихъ поръ еще есть) такую приторную вычурность, что читать его долго и не почувствовать тошноты почти невозможно. Тотъ же, якобы народный, національно-русскій складъ и слогъ (который сколько-нибудь умѣстенъ еще въ его „народныхъ“ бывальщинахъ и фантазіяхъ) онъ перенесъ и въ свою лирику. Но тутъ получилось уже нѣчто прямо невозможное:

Вѣру сердца не теряючи,
За любовь, любя, страдаючи,
Полюбивъ—не разлюбляючи (!),
Знойнымъ пылѣмъ сгораючи,
Какъ ты жилъ, такъ и живи,
и т. п.

Чтобы такъ постоянно писать, конечно, никакихъ потугъ вдохновенія не хватитъ, и г. Коринфскому вполне естественно было придти къ давно уже извѣстной на Руси вычурности Бенедиктова и раздражительности нашихъ романсовъ 30-хъ годовъ. Вотъ какъ описываетъ онъ, напр., свою бурнопламенную любовь:

Больше, о больше любви!..
Пусть, пламенѣя послѣдней, смертельной отравой,
Кровь забунтуетъ, заплещетъ губительной лавой..
Сердце, ты разомъ всю полную жизнь отживи!
Яду мнѣ, яду скорѣй!..
Жизнь! Гдѣ палачъ твой, гдѣ твой чародѣй-отравитель?
Смерть? Гдѣ отъ жизненной лжи твой (?) мудрецъ-
избавитель?
Въ сердце отраву свою, прямо въ сердце мнѣ лей!

Вѣдь это настоящія „ужасти“!.

Вычурность и манерность, вмѣстѣ съ чрезмѣрной плодовитостью, сѣли въ конецъ маленькое дарованіе г. Коринфскаго. Онъ сталъ занимать свои вычуры даже у нашихъ декадентовъ, съ которыми не имѣетъ, въ сущности, ничего общаго, и свой необыкновенно жизнерадостный, въ общемъ, сборникъ назвалъ почему-то „Черными розами“. Посвященіе къ нимъ мы перечитали не меньше десяти разъ, стараясь самымъ добросовѣстнымъ образомъ понять его, но понять такъ и не могли: какая-то она, осмѣянная и озлобленная жизнью, пришла молчаливою гостьей къ г. Аполлону Коринфскому и въ блѣдный вѣнокъ его вдохно-

веній вплела почему-то черныя розы; и вотъ, послѣ этого она опять повстрѣчалась съ грезами счастья и былыми мечтами.

И надъ могилою прошлаго розы
Пышно цвѣтутъ въ дни тревоги и зла;
Съ черными розами свѣтлыя грезы
Ты въ пѣсни сердца вплела.

Лучше передать невозможно содержаніе этого посвященія; а мы слышали, между прочимъ, что оно считается шедевромъ поэзій г. Коринфскаго... Быть можетъ, и вправду считается; но скажите, ради Бога: можно-ли придумать что-нибудь болѣе искусственное, вычурное и неискреннее?

Съ большой охотой пишетъ г. Коринфскій картинки природы, родного Поволжья и пр. Быть можетъ, этотъ родъ поэзій и есть настоящее его призваніе; но и тутъ все дѣло портить отсутствіе простоты, какъ въ стихѣ, такъ и въ образахъ, — всѣ эти „Русь русская“, „зорька-заряница“, сравненіе котловинъ между горами съ гигантскими чашами, налитыми до краевъ „зеленымъ виномъ“, отъ котораго пьянѣетъ вѣтеръ и пр. и пр.

Последній сборникъ г. Аполлона Коринфскаго, названный почему-то „Тѣнями жизни“ (причемъ и на обложкѣ нарисована какая-то безобразная тѣнь вродѣ скелета), представляетъ собой лишь надоедливое повтореніе прежнихъ его мотивовъ и недостатковъ. „Тѣни, что камни (!), за грудю грудя, падаютъ съ неба“; Микула Селяниновичъ ѣдетъ „съ распахнутой душой“ и „могучей силой—мочью“; зима развѣшивааетъ „лебяжьи опахала по куполамъ деревъ“; самъ поэтъ „съ безумной жаждою“ ищетъ для чего-то повсюду враговъ... повидимому, для того только, чтобы позвать руку „прямому, честному врагу“...

А вотъ какія „импровизаціи“, будто-бы, сочиняетъ г. А. Коринфскій.

Глубоко, глубоко
Въ лазурной дали серебристой
Сіяетъ безстрастный,
Надъ страстно горящими звѣздами властный,
Царь-мѣсяцъ въ коронѣ лучистой,
Такъ близко отъ темной земли. такъ далеко
и пр. и пр.

Обратите, читатель, вниманіе на сочетанія рифмъ въ этихъ стихахъ и скажите: неужели вы повѣрите „простодушной“ музѣ г. Коринфскаго, что это плодъ непосредственнаго чувства, импровизація?

Но мы ничего не сказали до сихъ поръ объ идеяхъ г. Ап. Коринфскаго, вообще о духовномъ облнкѣ его поэтической фizioноміи. Но что сказать объ нихъ? Ни за какими особенными идеями нашъ поэтъ не гонится, если не считать, впрочемъ, его ненависти въ какой-то „роковой, туманомъ повитой“ лжи, кото-

рую онъ не одинъ разъ принимается проклинать въ своихъ стихотворенiяхъ. Пофилософствовать онъ никогда, повидимому, не прочь,—пофилософствовать о „вѣчности“, о „жизни“, о „смерти“,—но нельзя не видѣть, что и здѣсь для него самое важное—не философія, а оригинально размѣренные строчки стиховъ, красивая игра словами.

Жизни,—

Жизни значеніе понять я не въ силахъ,
Если конецъ ей въ безмолвныхъ могилахъ...
Нѣтъ ей границы! Мы въ жизни земной
Страстно ссѣраемъ свой путь роковой
Къ вѣчной отчизнѣ, къ *безстрастной* отчизнѣ...

Вотъ образчикъ этой дешевой философіи. Широкій размахъ русской природы и русской души, бурнопламенность чувствъ русского человѣка, вообще „Русь русская“—вотъ основные мотивы поэзіи г. А. Коринфскаго. Фраза, да еще пахнущая сколько-нибудь русскимъ стариннымъ духомъ, всегда можетъ плѣнить нашего поэта, и онъ не прочь бываетъ даже о „свободѣ“ почирикать.

Братья, поэты-пѣвцы (?), не терзайтесь тоскою безсилія!
Пусть, что ни день, тяжелѣй злого безвременья гнетъ,—
Садъ нашъ еще не заглохъ (хоть не мало и въ немъ
чернобылья)...

Вѣрьте: свобода найдетъ, гдѣ расправить орлиныя крылья,
Русская сила жива, живъ богатырь нашъ—народъ!

Но какихъ-либо твердыхъ, ясныхъ представленій о „зломъ безвременья“ и о томъ, что должна противопоставить ему наша литература въ лицѣ лучшихъ, честнѣйшихъ своихъ представителей, у г. Коринфскаго нѣтъ: самъ онъ, хотя и не пишетъ ничего реакціоннаго (судимъ по двумъ разбираемымъ сборникамъ), охотно и безъ малѣйшаго стѣсненія печатаетъ плоды своихъ вдохновеній и на страницахъ органа, проповѣдующаго племенную ненависть, и на страницахъ другихъ изданій, составляющихъ оплотъ нашего „злого безвременья“...

Дальнѣйшая карьера этого безпринципнаго поэта для насъ ясна. Въмѣсто десятковъ сочиненныхъ уже „бывальшинъ“, онъ сочинитъ ихъ еще цѣлыя тысячи; кромѣ изданныхъ до сего дня трехъ стихотворныхъ сборниковъ, издастъ еще десятки, но судьбы своей не избѣжитъ. Подививъ нѣкоторое время своей муравейникъ и поблестѣвъ, какъ мыльный пузырь, онъ, какъ мыльный же пузырь, и лопнетъ, не оставивъ послѣ себя и слѣда на нивѣ русской поэзіи; въ его лицѣ повторится судьба Кукольника, Бенедиктова, Мей и многихъ другихъ поэтовъ, которые раньше его и нерѣдко гораздо искуснѣе думали добиться популярности ложнымъ народничаньемъ и манерной вычурностью, а не простымъ и искреннимъ чувствомъ.

VII.

О. Н. Чюмина (Михайлова).

Г-жа Чюмина известна не только, какъ переводчица иностранныхъ поэтовъ, но и какъ плодовитый авторъ оригинальныхъ стихотвореній, мотивы которыхъ настолько разнообразны, что иногда доходятъ до діаметральной противоположности одинъ другому. Намъ приходилось, по крайней мѣрѣ, читать за ея подписью юбилейно-патріотическія пѣснопѣнія на страницахъ изданій, подобныхъ „Свѣту“, однако ей же принадлежитъ и стихотвореніе „На стражѣ“, первоначально напечатанное въ „Вѣстникѣ Европы“, а теперь стоящее во главѣ разбираемаго нами сборника („Стихотворенія. Спб. 1897“):

Но души есть, гдѣ истина все та же,
Гдѣ тотъ же свѣтъ божественной любви,—
И если вы, стоящіе на стражѣ,
Погасите свѣтильники свои,
И если вы бѣжите съ поля брани,—
Кто въ сумеркахъ, сгустившихся кругомъ,
Укажетъ намъ невѣдомыя грани,
Различье межъ добромъ и зломъ?

Пусть небеса удушливы и мрачны;
Чѣмъ гуще тѣма—тѣмъ путнику нужнѣй
Сіяющій во тьмѣ огонь маячный,
Отрадный свѣтъ сторожевыхъ огней!

Хорошіе стихи, читатель, не правда ли? Очень недурна также другая пѣса:

Я безумной слышу оттого, что мнѣ кажется тѣсенъ
Этотъ будничныи міръ, полный мелкихъ тревогъ и заботъ,
Оттого, что душа жаждетъ свѣта, простора и пѣсенъ,
И свободной мечтой я стремлюсь впередъ.
Я безумной слышу оттого, что болѣзненно-чутко
На чужую печаль, на чужой отдаленіи призывъ,
Оттого, что—взамѣнъ хладнокровныхъ рѣшеній разсудка
Признаю я всегда лишь горячій сердечный порывъ.
Я безумной слышу оттого, что открыто и смѣло
Я неправду и зло никогда и ни въ комъ не щажу,
Оттого, что въ борьбѣ за любимое кровное дѣло
Я всѣ силы свои, да и самую жизнь положу!

Къ сожалѣнію,—да простить намъ г-жа Чюмина!—мы боимся, что все это одни лишь красивыя слова... Мы боимся, что никакого такого „любимаго кровнаго дѣла“ у нея нѣтъ, да и упоминается о немъ только въ одномъ этомъ стихотвореніи... О чемъ

пѣть, какія рифмы подбирать—нашей поэтессѣ, повидимому, рѣшительно все равно. Въ одномъ мѣстѣ у нея говорится:

Меня теченіе несетъ
Куда? Къ какой странѣ?

Вотъ именно эти слова могли бы служить прекраснымъ эпиграфомъ ко всей поэзіи г-жи Чюминой. Красота фразы, красота ситуации имѣютъ надъ ней власть необоримую... Умираетъ, напр., въ Парижѣ, въ расцвѣтѣ таланта и молодости, извѣстная Башкирцева,—и г-жа Чюмина, не раздумывая долго, пишетъ тотчасъ же стихотвореніе „Умирающая художница“, гдѣ Башкирцева (какъ извѣстно, себя только одну во всю жизнь любившая) говоритъ: „такъ все любить—природу и людей—и умереть?!“ Вотъ одинъ изъ многочисленныхъ образчиковъ нечуткости нашей поэтессы. Уловить, поэтому, какой-либо опредѣленный характеръ и физиономію ея оригинальной поэзіи является довольно затруднительнымъ дѣломъ.

Съ наибольшей любовью и охотой воспѣваетъ г-жа Чюмина блѣдныя краски осени и неясныя чувства, внушаемыя этой грустной порой года.

Мнѣ что-то говорить, что лѣто ужъ прошло,
Что осень близится, а съ нею день итога!..

Къ чести г-жи Чюминой слѣдуетъ сказать, что она совершенно избѣгла декадентской и символической заразы, и въ ея стихахъ, къ тому же отличающихся большей частью недурной обработкой, всегда все просто и ясно.

Изъ 300 страницъ ея новой книги 230 занимаютъ переводы. Г-жа Чюмина имѣетъ репутацію очень добросовѣстной переводчицы; нельзя, однако, и здѣсь не отмѣтить того обстоятельства, что для нея, повидимому, совершенно безразлично, кого ни переводить. У нея нѣтъ какого-либо излюбленнаго писателя, въ котораго она по-преимуществу вкладывала бы свою душу, и въ настоящемъ, напр., сборникѣ помѣщены переводы—шутка сказать!—изъ 22 поэтовъ, относящихся часто одинъ къ другому, какъ огонь къ водѣ: вы встрѣтите здѣсь Байрона съ Викторомъ Гюго, но встрѣтите и Готье съ Катюллою Мендесомъ и Хозе-Маріа де-Эредіа... Лучше всего, на нашъ взглядъ, удаются г-жѣ Чюминой переводы не лирическаго, а описательно-эпического характера.

VIII.

А. Д. Облеуховъ.

Какъ извѣстно, на Страстномъ бульварѣ существуютъ не только публицисты, но и поэты. Одинъ изъ нихъ, г. Облеуховъ, выпустившій лежащій передъ нами сборникъ стиховъ („Отраженія“. Оды, поэмы, лирика. Москва. 1898), прославился тѣмъ, что въ лицѣ покойнаго Каткова открылъ русскаго... Прометея. Вотъ въ краткихъ чертахъ содержаніе трактующей объ этомъ поэмы. Искра, вложенная въ души людей титаномъ древности, давно погасла; то-есть, она не совсѣмъ погасла, а скрылась на сѣверѣ, въ какомъ-то горномъ ущельи, и чудомъ, понятнымъ только г. Облеухову, попала въ грудь безпощадныхъ вонтелей - варяговъ. Последніе поколотили затѣмъ славянъ, и нужно ли удивляться, что прометеева искра перескочила при этомъ въ поколоченныхъ (варяги ушли себѣ за море, и неизвѣстно, осталось ли что-нибудь и на ихъ долю отъ чудодѣйственной искры).

Пробудился отъ сна богатырь-всликанъ,
И гигантское сердце забило!

И славянъ никто ужъ не могъ съ этихъ поръ одолѣть—ни татары, ни „ослѣпленные злобой славянства сыны“—поляки, ни французы 12-го и 54 годовъ, потому что всегда въ этихъ случаяхъ „среди гибельной тьмы разгоралась всевластная искра“. Но вотъ, опять наступило страшное время:

Вѣтеръ Запада смерти дыханье тлетворное
На отечество наше принесъ.
Западъ, западъ! блудница, позоромъ клейменная,
Но одѣтая въ царскій виссонъ,
Преходящую призрачную славой прельщенная,
Пьетъ теперь обольстительный сонъ.

.....
Было время, Россія заразу ужасную,
Эту немощь больного ума,
Привила въ свое сердце, и силою властною
Вдругъ вездѣ воцаряется тьма.
Вотъ когда твоя искра подъ черною тиною
Погибаетъ, титанъ-Прометей!
Вотъ когда приближается царство змѣиное
И владычество рабскихъ затѣй!
Приближается время неслыханной мерзости...

Но не все погибло: Катковъ носилъ въ себѣ чувство народное, явился съ „золотымъ Прометеемъ огнемъ“ и спасъ великую страну.

Такъ поэты пишутъ исторію (да и одни ли поэты?). Невольно является однако желаніе поглубже проникнуть въ психику этого рода „поэтовъ“, познакомиться ближе съ ихъ умственнымъ и душевнымъ строемъ. Достойна въ этомъ отношеніи вниманія лирическая поэма г. Облеухова „Вѣчное зло“. Нашъ поэтъ, оказывается, равнодушенъ къ страданіямъ людей; самъ онъ живетъ мгновениемъ и не знаетъ, зачѣмъ живетъ. Природа ему противна, какъ противенъ и песъ, лежащій у его ногъ и грѣющійся на солнцѣ.

Лежитъ онъ спокойно на бѣломъ пескѣ,
 Съ печальною лаской глядитъ на меня,
 А духъ мой томится въ безплодной тоскѣ
 И въ злобѣ, палящей, какъ искра огня.
 Постыдная жизнь! Я терзаюсь и жду
 Увидѣть горящій сочувствіемъ взоръ,
 Но всюду встрѣчаю нѣмую вражду,
 Являющее слово и ѣдкій укоръ.
 Любовь нахожу я въ собакѣ одной!
 И холодъ по жиламъ моимъ пробѣжалъ,
 И ненависть вдругъ поднялася волной,
 И злоба вонзилась, какъ тысячи жалъ.
 Собака немного съ земли поднялася,
 Какъ будто хотѣла мнѣ слово сказать
 И трепетнымъ взоромъ доверчивыхъ глазъ
 Съ печальною ласкою смотреть опять.
 Я тихо взялъ камень... Болѣзненный жаръ
 Меня опалилъ, былъ я злобой объятъ!
 И камнемъ нанесъ я собакѣ ударъ,
 И рѣзкихъ ударовъ посыпался градъ.
 Не помню, что было...
 Но помню, я чувствовалъ теплую кровь,
 И помню я жалкій, провизгательный взглядъ,
 Во взглядѣ предсмертномъ свѣтилась любовь,
 И эта любовь отравляла, какъ ядъ.

Это дико-откровенное или откровенно-дикое (не знаемъ, какъ назвать) стихотвореніе является, повидимому, ключемъ ко всей поэзии г. Облеухова. Вездѣ звучитъ у него все та же безпредѣльная злоба, постоянно одинъ и тотъ же хаотическій мракъ окутываетъ его больную душу. Не свѣтлыя и свободныя грезы, а дикія и мрачныя видѣнія даютъ пищу его вдохновеніямъ: „сверкая огнемъ ярко-красныхъ зрачковъ“, вѣдьмы сидятъ на кладбищѣ и „съ тайнымъ страхомъ ѣдятъ ужасную пищу“; „колдунья въ избушкѣ лѣсной ласкается змѣю и младенческой кровью понить жабу, сестру дорогую свою“; изъ устъ милой дѣвушки, станъ которой поэтъ держитъ въ объятіяхъ, вдругъ выставляется рядъ хищныхъ зубовъ; онъ держитъ въ рукахъ безчувственный трупъ, и—о, ужасъ! ошупываетъ рукой шерсть: это, оказывается, „собака, когда-то убитая мной, въ моихъ распаленныхъ объятіяхъ лежитъ“...

Я въ страгѣ мучительномъ камень схватилъ
И камнемъ себя поражаю въ високъ!

Что это? Къ среднимъ вѣкамъ, къ ихъ мрачнымъ кошмарамъ съ шабашами вѣдьмъ и ужасами костровъ возвращаемся мы, что-ли? Доходили ли хоть до чего-нибудь подобнаго наши доморощенные декаденты, недавно поднимавшіе такой шумъ и воспѣвавшіе „мертвецовъ при лунѣ“ и прочую чепуху? Въ большинствѣ стихотвореній г. Облеухова приходится наткаться на кровь, злобу и какое-то непонятное страданіе. Онъ доходитъ до того, что пытается опоэтизировать самого Нерона, это классическое чудище свирѣпости, обрызганное кровью родной матери... Подобно этому своему герою, онъ высказываетъ постоянное „презрѣніе къ міру“. Да и къ міру ли только! Въ одной изъ своихъ поэмъ онъ называетъ *страдальцемъ*, добровольно надѣвшимъ на себя „терновый вѣнокъ“, властителя, который предпочиталъ миръ и спокойствіе - шуму браней и пролитію крови! Какъ-будто въ послѣднемъ и заключается, именно, человѣческое счастье!..

При всемъ этомъ мы очень благодарны г. Облеухову за то, что онъ издалъ отдѣльнымъ томомъ свои поэмы и оды, съ которыми равнѣе мы имѣли удовольствіе знакомиться только на страницахъ извѣстныхъ московскихъ изданій: теперь для насъ въ значительной степени пріоткрывается душевный складъ и строй очень многихъ изъ сотрудниковъ этихъ изданій... Сколько въ ихъ душѣ мрака, ужаса и болѣзненной, сладострастной жестокости! Кого они могутъ любить, эти удивительные поэты и публицисты, какому богу молиться, когда въ сердцахъ ихъ нѣтъ ничего, кромѣ ужасающей, мрачной пустоты и тупой, безпричинной ненависти ко всему живому?..

IX.

К. Д. Бальмонтъ.

Г. Бальмонтъ писатель еще молодой, ему всего лишь тридцать лѣтъ, какъ видно изъ одного вошедшаго въ новый его сборникъ („Тишина“. Лирич. поэмы, 1898 г.) стихотворенія, и едва ли онъ насчитываетъ болѣе 5—6 лѣтъ литературной дѣятельности. И однако, это не мѣшаетъ ему пользоваться уже довольно обширной извѣстностью. Можно лишь удивляться плодовитости и энергій нашего поэта-символиста. Какъ переводчикъ, г. Бальмонтъ предпринялъ огромный трудъ передачи на русскій языкъ стиховъ Шелли, одного изъ величайшихъ и сложнѣйшихъ поэтическихъ гениевъ Англіи, но параллельно съ этимъ онъ переводилъ и Эдгара Поэ, и Гофмана, и исторію скандинавской литературы

Горна, и исторію итальянской литературы Гаспари; теперь онъ готовить къ печати драмы Кальдерона... Какъ поэтъ оригинальный, г. Бальмонтъ выпускаетъ уже третій сборникъ стиховъ съ неизмѣнно громкими заглавіями: „Подъ сѣвернымъ небомъ“, „Въ безбрежности“, „Тишина“... Не выступая въ родной литературѣ въ качествѣ критика или публициста, нашъ поэтъ, однако, и на этомъ полѣ не прочь пожать лавры: онъ печатаетъ въ иностранныхъ журналахъ оригинальныя критическія обзоры, гдѣ „Сѣверный Вѣстникъ“ объявляется, напр., лучшимъ литературнымъ органомъ въ Россіи, а г. Волинскій „знаменитымъ“ критикомъ, и, кромѣ того, читаетъ иногда за-границей публичныя лекціи о той же русской литературѣ, гдѣ, разумѣется, проводятся не менѣе самостоятельныя взгляды... Это ли не изумительно-плодovitая дѣятельность и не серьезныя права на громкую извѣстность?

Въ глубокомъ сознаніи этихъ своихъ правъ, г. Бальмонтъ такъ обращается въ одномъ изъ стихотвореній, помѣщенныхъ въ сборникѣ „Тишина“, къ Шелли:

Мой лучший братъ, мой свѣтлый геній
Съ тобою слился я въ одно.
Межъ нами цѣпь однихъ мученій,
Однихъ небесныхъ заблужденій
Всегда чистое звено.
И я, какъ ты, люблю равнины
Безбрежныхъ стонущихъ морей,
И я съ душою андрогинны
Нѣжнѣй, чѣмъ лилія долины,
Живу, какъ тѣнь, среди людей.
И я, какъ свѣтъ, вскормленный тучей,
Блещаю вспышкой золотой,
И мнѣ открытъ аккордъ пѣвучій
Неумирающихъ созвучій,
Рожденныхъ вѣчной красотой.

Каково! Человѣкъ самъ объявляетъ свои стихи бессмертными, а самого себя вспышкой молніи... Но это бы куда еще ни шло,—мы въ достаточной степени привыкли къ самолюбію нашихъ новѣйшихъ сыновъ Феба; куда бы ни шло и то, что г. Бальмонтъ зоветъ себя „нѣжнымъ, какъ лилія долины“—и къ этому мы тоже привыкли; безмолвно выслушали бы мы, пожалуй, и признаніе въ томъ, что онъ чувствуетъ себя андрогинной: языкъ человѣческій, безъ говорится, безъ костей и можетъ болтать, что ему угодно... Но, признаемся, насъ удивило публичное братанье съ Шелли! Вѣдь это все равно, какъ если бы покойный Гербель назвалъ своимъ братомъ Байрона или Шекспира, или г. Минскій—Гомера!.. Переведа изъ Шелли нѣсколько десятковъ стихотвореній и еще не дождавшись серьезной оцѣнки своего труда, г. Бальмонтъ уже спѣшитъ высокѣйше объявить, что между нимъ и Шелли нѣтъ, въ сущности, большой разницы...

Однако, не слишкомъ ли вы торопитесь, гордый поэтъ? Нѣкоторая разница всетаки, думается, есть... Любить природу, любить „равнины безбрежныхъ стонущихъ морей“ способны не одни только великіе люди: вѣдь и гоголевскій Маниловъ мечталъ жить подъ тѣнью „этакое какого-нибудь вяза“... Но развѣ значеніе великаго англійскаго поэта заключалось въ одномъ обожаніи природы, въ умѣннѣ живописать ее яркими, оригинально-свѣжими красками, а не въ томъ, главнымъ образомъ, что онъ былъ однимъ изъ пророковъ новаго человѣчества, однимъ изъ смѣлыхъ бойцовъ за его грядущее счастье? Неправда, г. Бальмонтъ, будто Шелли жилъ, какъ тѣнь среди людей! Тѣни—жилыцы кладбища и могилъ, порожденія истлѣвшаго или истлѣвающего прошлаго, а жизнерадостная поэзія Шелли—колыбель свѣтлаго будущаго, и если нужно сравнить съ чѣмъ-нибудь этого поэта, то ужъ скорѣе всего съ солнечнымъ лучомъ, а никакъ не съ тѣнью. И поэзія его, и его жизнь вытекали изъ одного и того же яркаго источника любви къ человѣчеству, были продолженіемъ одна другой. Вотъ объ этой-то маленькой разницѣ вы и забыли, торопливый поэтъ!

Оригинальная муза г. Бальмонта, дѣйствительно, является блѣдной, безжизненной тѣнью изъ какого то луннаго міра. Людей съ ихъ живыми радостями и муками для нея, точно, не существуетъ:

Мнѣ странно видѣть лицо людское,
Я вижу взоры существъ иныхъ.
Со мною вѣтеръ и все морское (!),
Все то, что чуждо для думъ земныхъ.

Очевидно, духъ шеллевской поэзіи усвоенъ г. Бальмонтомъ крайне односторонне: онъ взялъ изъ нея лишь то, чѣмъ плѣняется и въ Эдгарѣ Поэ и въ Гофманѣ, — любовь ко всему туманному, неземному, фантастическому, таинственному. Но у Шелли это была лишь форма, — правда, иногда странная и болѣзненная, — въ которую облакалось великое содержаніе, у г. Бальмонта это — все. И намъ думается, что если бы г. Бальмонтъ родился не въ концѣ XIX вѣка, не въ современномъ русскомъ обществѣ, главной отличительной чертой котораго является глубокій реализмъ, ясная душевная трезвость, а въ началѣ, наприм., столѣтія, когда изъ глазъ нашихъ бабушекъ столько слезъ исторгала „Эолова Арфа“ Жуковского, тогда вокругъ мечтательнаго пѣвца „Свѣтланы“ и „Громобая“ и онъ, быть можетъ, могъ бы вращаться маленькимъ спутникомъ. Въ своихъ оригинальныхъ стихахъ онъ повторяетъ давно и невозвратно уже пройденные русской поэзіей зады романтизма: мы встречаемъ въ нихъ опять ту же луну съ мчащимися подъ нею „духами ночи“, тѣ же безплотные и безкровные призраки и то же неясное стремленіе dahin, dahin, wo die Zitronen blühen... Но Жуковский обладалъ тѣмъ великимъ свойствомъ истинныхъ

поэтовъ, котораго у г. Бальмонта, какъ впрочемъ, и у всей школы русскихъ символистовъ, и въ поминѣ нѣтъ: замѣчательной простотой формы и не менѣе замѣчательной искренностью чувства. Имѣя очень небольшой талантъ и безсознательно (а быть можетъ, и сознательно) чувствуя всю наивную допотопность своихъ поэтическихъ вкусовъ, г. Бальмонтъ, конечно, съ превеликой радостью долженъ былъ ухватиться за новыя „символистскія“ теоріи, дающія право писать всякую чепуху подъ ярлыкомъ недоступной простымъ смертнымъ глубины, и вотъ однимъ изломаннымъ, манернымъ и неискреннимъ поэтомъ стало у насъ больше. Посмотрите, читатель, чего стоитъ одинъ этотъ жеманный, явно придуманный, а не изъ сердца, какъ у Шелли или у Жуковского, выливающийся языкъ, которымъ онъ долженъ писать, чтобы казаться „глубокимъ“! Ни одного самаго маленькаго стихотвореньца вы не найдете у него, написаннаго въ простотѣ, — каждое съ какой-нибудь ужимочкой символизма. Вѣтеръ не просто дуетъ, а „бьетъ дыханьемъ твердь“; корабли — „выброски зыбей“; валъ „мятежится“; путники жаждутъ „качанья нѣмыхъ кораблей“; для нихъ „развернула свой свитокъ сѣдая печаль“; поэтъ сумѣетъ найти въ своей душѣ „безконечный расцвѣтъ златоока“ (?); въ своемъ воздушно-лучистомъ замкѣ онъ полонъ „нѣмымъ упоеньемъ безстрастной звѣзды“; въ темной ночи жизни *дышетъ* сначала звонъ заоблачныхъ соборовъ, а потомъ и какая-то „ткань свѣтлѣй земныхъ узоровъ“; очень недурны также: „звучная волна забытыхъ сочетаній, шепчущій родникъ давно умолившихъ дней“; „непонятная лазурь“; „улыбка волны“; „тучка — воздушная нѣга“; „призракъ упованій запредѣльныхъ, тайна радостей прозрачныхъ и безцѣльныхъ“; „жажда сліянья съ лучомъ отеревенья“; „мерпаніе мира и лѣни“; „быстрый ропотъ испуганныхъ столѣтій“; „часъ преступленья, улыбокъ и сна“; „въ туманности ээира огни безвременной росы“... По сравненію съ этими выдумками простымъ дѣтскимъ лепетомъ кажутся знаменитые бенедиктовскіе перлы риторики, отмѣченные нѣкогда Бѣлинскимъ: „живыя иглы штыковъ“; „откованный въ горнилѣ сердца стихъ“; „мысль, заряженная огнемъ гремучихъ вдохновеній“; „въ развалинахъ столбы — изгнанники высотъ“; „поэтъ — пѣвучій пловецъ, безъякорный въ жизненномъ морѣ“ и пр., и пр. И развѣ мы не вправѣ повторить вопросъ великаго критика: „Неужели же это поэзія?“ А если намъ возразятъ, что это, молъ, символическая поэзія, которой не зналъ Бѣлинскій, то мы скажемъ: возможно, но въ такомъ случаѣ символизмъ и поэзія, по крайнему нашему разумѣнію, двѣ совершенно разныя вещи...

Стихъ г. Бальмонта пользуется репутаціей необыкновенно музыкальнаго, виртуознаго стиха, и мы, пожалуй, готовы признать это, только какой же цѣной покупается эта „чарующая“ музыкальность? Поэтъ никогда не затрудняется смысломъ своихъ

стиховъ, вѣрностью или точностью эпитетовъ, и если въ умѣ его прозвучить счастливая рима (а богатство и обиліе римъ—слабая струнка г. Бальмонта), то ужъ непременно быть ей на его арканѣ, хотя бы новая строка и не имѣла никакой логической связи съ предыдущими!

Идейное содержаніе всѣхъ трехъ сборниковъ г. Бальмонта до утомительности однообразно и скучно: это все то же, что воспѣваютъ и гг. Льдовъ, Сологубъ et tutti quanti, — какая то невѣдомая красота, „медленно (по истинѣ медленно!) встающая въ даляхъ невозможнаго“, какая-то „цѣльность забвенія въ безднѣ безцѣльности“, стремленіе въ „пустыню“, любовь къ холоду, смерти, тишинѣ... Бр! какъ все это холодно, мертвенно и, главное, скучно, скучно!

Выпишемъ цѣликомъ одно изъ характернѣйшихъ стихотвореній новаго сборника г. Бальмонта, такъ и просящееся на пародію. Называется оно почему то „Бромелія“ (въ сборникѣ есть, между прочимъ, цѣлый отдѣлъ стихотвореній, озаглавленный: „Воздушно-бѣлые“... — кто, что — одному Богу извѣстно!):

Въ окутанной снѣгомъ плѣнительной Швеціи
На зимнія стекла я молча глядѣлъ,
И ярко мнѣ снились каналы Венеціи
Мнѣ снился далекій забытый предѣлъ.
Впивая дыханье цвѣтущей бромелии.
Цвѣтка золотого съ лазурной каймой,
Я видѣлъ въ глазахъ наклонившейся Лесии
Печаль, затѣненную страстью нѣмой.
Встрѣчались взоры съ отвѣтными взорами,
Мы были далеко, мы были не тѣ (?)
Баюкала насъ иней своими узорами.
Звала насъ бромелія къ дальней мечтѣ.
И снова, какъ прежде (?), звеня отголосками,
Волна (?) сладкозвучно росла за волной
И свѣтлыя тѣни, подъятыя всплѣсками (?),
На гондолахъ плыли подъ блѣдной луной.

Какое будущее предстоптъ г. Бальмонту? Онъ самъ рисуешь его себѣ въ слѣдующемъ видѣ:

Было много... Сны, надежды, свѣжесть чувства, чистота,
А теперь душа измята, извращенна и пуста.
Я усталъ. Весна поблекла. Съ небомъ порванъ мой завѣтъ.
Тридцать лѣтъ моихъ я прожилъ, больше молодости нѣтъ.
Я въ безцѣльности блуждаю, въ безпредѣльности грущу
И, утративъ счетъ ошибкамъ, больше Бога не ищу.
Я хотѣлъ отъ сердца къ небу перебросить свѣтлый мостъ,—
Сердце прожало созвѣзды, сердце хочетъ лучшихъ звѣздъ (?)
Что же мнѣ еще осталось? Съ каждымъ шагомъ холодѣть?
И на все, что просить счастья, съ безучастіемъ глядѣть?
О, послѣдняя надежда, свѣтъ измученной души,
Смерть, услада всѣхъ страданій, смерть, я жду тебя, спиши!

Такимъ образомъ, г. Бальмонту, какъ человѣку, по собственному его сознанію, осталось одно — умереть. Нужно надѣяться, что, по свойственной ему склонности къ фразѣ, онъ преувеличиваетъ безвыходность своего житейскаго положенія, но врядь ли за то можно сомнѣваться, что пробуждающееся сознаніе общества очень скоро поставитъ окончательный крестъ надъ его мертворожденной поэзіей...

Красный, ярко огненный и ярко-красавый цвѣтъ такъ и бьетъ въ глаза въ новыхъ пѣснопѣніяхъ неутомимаго декадентскаго поэта („Горящія Зданія“. Лирика соврем. души. М. 1900)... Первый же отдѣлъ книги называется „Отсвѣтами зарева“, и въ первой же пѣснѣ г. Бальмонтъ восклицаетъ:

Я хочу кричащихъ зданій,
Я хочу горящихъ бурь!

А дальше идутъ такіе перлы:

И своею опьяненный и чужою *красной кровью*,
Я хочу быть первымъ въ мірѣ, на землѣ и на водѣ!
Я хочу *цвѣтовъ багряныхъ*, мною созданныхъ вездѣ.

.....
Я увижу солнце, солнце, *красное, какъ кровь!*

Въ слѣдующемъ стихотвореніи встрѣчаемъ такое признаніе:

Быть можетъ, предокъ мой былъ честнымъ палачомъ:
Мнѣ маки грезятся, согрѣтые лучомъ,
Гвоздики алые и, полныя угрозы,
Махрово-алчные, раскрывшіяся розы.
И кровь поетъ во мнѣ...
Ты слышишь, предокъ мой? Я буду палачемъ!

Съ чѣмъ и поздравляемъ... Облобызавъ, далѣе, „красавыя губы вампира“, поэтъ, наконецъ, братается съ самимъ... Нерономъ!

Если я въ мечтѣ поджегъ города,
Пламя зарева со мной навсегда.
О, мой братъ! Поэтъ и царь, сжегшій Римъ!
Мы сжигаемъ, какъ и ты, — и горимъ.

Но этого мало:

Чума, проказа, тьма, убійство и бѣда,
Гоморра и Содомъ, слѣпые города,
Надежды хищныя съ раскрытыми губами,—
О, есть же и для васъ въ молитвѣ череда!
Во имя Господа, блаженнаго всегда,
Благодаряю васъ, да будетъ счастье съ вами!

До такого юродства, пожалуй, не договаривался еще ни одинъ изувѣръ на землѣ!

Читатель изумленъ, пожалуй, даже испуганъ... Какъ! Среди бѣла дня, на улицахъ просвѣщенной столицы человѣкъ бѣгаетъ нагишомъ и прославляетъ чуму, проказу, убійство и поджогъ! Что же это такое? Анархизмъ, или сумасшествіе?

Успокойтесь, любезный читатель. Г. Бальмонтъ столь же не повиненъ въ какихъ-либо анархическихъ идеяхъ (а тѣмъ паче поступкахъ), какъ пятимѣсячный младенецъ, лежащій въ колыбельѣ, задрравъ къверху голенькія красныя ножки... Онъ, правда, символистъ и декадентъ, но не французскій вѣдь или аглицкій, а нашъ собственный, расейскій! „Какой-нибудь Поль Верленъ или Оскаръ Уайльдъ,—говорилъ недавно по этому поводу Н. К. Михайловскій,—дѣйствительно, „порочны“, а нашъ Осипъ Яковлевъ (декадентскій поэтъ, объявившійся въ „Сѣверн. Курьеръ„)*) только еще собирается:—Я хочу, я хочу быть порочнымъ“... Точно также и г. Бальмонтъ. Онъ только „хочетъ“ горящихъ зданій, онъ только „въ мечтѣ“ поджигаетъ города, благословляетъ чуму и убиваетъ людей, но вѣдь мало ли чего онъ хочетъ!

Я хочу кинжальныхъ словъ

И предсмертныхъ восклицаній!!!

Просто „ужасти“... И, однако, никого еще г. Бальмонтъ не зарѣзалъ своими кинжально-страшными стихами, да и самъ онъ, не смотря на всѣ предсмертные вопли и хрипы, слава Богу, живетъ еще и... пишетъ. Вотъ уже четвертый по счету сборникъ стиховъ имѣемъ мы удовольствіе рекомендовать вниманію читателей; дождемся, Богъ дастъ, и пятого, и шестого и двадцатаго...

Однако, что выигрываетъ русская поэзія отъ этихъ многолѣтнихъ и вполнѣ безкорыстныхъ стараній? Вотъ вопросъ. Прочитавъ отъ доски до доски „Горящія зданія“, мы лично пришли къ мало утѣшительному для автора выводу, что въ книжкѣ нѣтъ и самой маленькой крупинки поэзіи,—одно лишь сплошное *стараніе* быть оригинально-нелѣпымъ (вотъ странное самолюбіе!), сплошное реверанство и выдумка. Пусть хоть сумасшествіе-то было-бы настоящее, а то и оно фальшивое, поддѣльное,—что-то въ родѣ парика или накладной бороды...

Х.

Валерій Брюсовъ.

Странная репутація выпала на долю г. Валерія Брюсова. Въ то время, какъ произведенія его собратьевъ по духу, гг. Бальмонта, Мережковского, Минскаго, Соллогуба et tutti quanti, при-

*) Какъ извѣстно теперь, это псевдонимъ г. Скитальца.

нимаются и публикой, и критикой въ серьезъ (даже смѣются надъ ними въ серьезъ), къ г. Валерію Брюсову установилось какое-то двусмысленное отношеніе: не то—наивный младенецъ, не то остроумный шутникъ, сознательно доводящій до крайностей вычуры символизма, чтобы лучше ихъ высмѣять. Это ему вѣдь, а не кому другому, принадлежитъ знаменитое стихотвореніе, состоящее всего изъ одной строки:

О, закрой свои блѣдныя ноги!

Послѣ второй „книги“ стиховъ, посвященной „вѣчности и искусству“, г. Брюсовъ на нѣсколько лѣтъ совсѣмъ исчезъ съ горизонта литературы.

Оказалось, однако, что за это время онъ лишь набирался силъ и подготавливалъ въ тиши „третью книгу пѣсенъ“, которую московское книгоиздательство „Скорпіонъ“ и выпустило теперь (въ 1900 г.) въ свѣтъ. Внѣшность книжки (обложка, заголовокъ— „Tertia vigilia“) отличается все тѣми же декадентскими претензіями, что и прежнія изданія г. Брюсова, но внутри есть и кое-что новое. Такъ, въ предисловіи авторъ торжественно заявляетъ, что онъ теперь „равно любить и вѣрныя отраженія зримой природы у Пушкина и Майкова, и порыванія выразить сверхчувственное, сверхземное у Тютчева или Фета, и мыслительныя (?) раздумья Баратынского, и страстныя рѣчи гражданского поэта, скажемъ, Некрасова“. Короче,—г. Брюсовъ пересталъ быть декадентомъ и сдѣлался просто-индифферентистомъ въ искусствѣ. Вспоминая о своемъ недавнемъ прошломъ, онъ говоритъ въ одномъ стихотвореніи:

Мы были деревки, были дѣти,
Намъ все казалось въ яркомъ свѣтѣ...
Далеко первая ступень:
Пять бѣглыхъ лѣтъ—какъ пять столѣтій!

Въ читателѣ возбуждено невольное любопытство, и онъ перелистываетъ книжку. Читаетъ одно стихотвореніе, другое, третье, десятое... Что за чортъ! гдѣ же перемѣна, въ чемъ? Рѣшительно все то же, что и прежде. Правда, грамматическаго смысла стало, какъ будто, побольше, но въ содержаніи—чуши и дичи не оберешься по-прежнему!

О, великая сладость—узнать, утаить отъ вселенной!
Мнѣ довольно знать,—что я свершилъ,—одному.

Поклоняются многіе мнѣ
Въ часы нечерніе,
Но молитвы къ блѣдной лунѣ
Еще размѣрнѣе.

И когда меня ты убьешь,
Ты надѣнешь бѣлое платье,
И свѣчи у трупа зажжешь,
И сядешь со мной на кровати.

А вотъ оригинальное описаніе весны:

Вблизи, вдали все мнѣ твердить о смѣнѣ:
И стая птицъ, кружащихъ надъ крестомъ,
И ручеекъ, звеня, бѣгущій въ пѣнѣ,
И женщина съ огромнымъ животомъ.

И, однако, все-таки нужно признать, что природа не отказала г. Валерію Брюсову въ нѣкоторомъ поэтическомъ дарованіи. Тамъ и сямъ замѣтны проблески недурнаго эстетическаго вкуса, попадаются счастливыя выраженія, но—что самое главное—въ книжкѣ есть одно стихотвореніе, подписаться подъ которымъ не отказался бы, вѣроятно, и настоящій поэтъ. Мы имѣемъ въ виду, написанное прекраснымъ народнымъ стихомъ, „Сказаніе о разбойникѣ“, къ сожалѣнію, чересчуръ длинное, чтобы выписать его здѣсь цѣликомъ. При чтеніи этого стихотворенія у насъ, признаемся, „душа смутилася трепетомъ“, трепетомъ за тѣ безобразныя жизненныя условія и вліянія, которыя развили въ г. Брюсовѣ уродливыя художественныя вкусы и создали изъ него не свѣжей и гуманный талантъ, а посмѣшище глупыхъ и умныхъ людей—россійскаго декадента нашего времени. Впрочемъ, нужно замѣтить, что даже и въ области декадентскихъ бредней г. Брюсовъ, на нашъ взглядъ, пріятно отличается отъ своихъ собратьевъ: доводя иногда уродливое и пошлое до чудовищнаго, онъ бываетъ, видимо, и искренно проникнутъ идеалистическимъ настроеніемъ, наивными мечтами о какой-то великой предстоящей ему и другимъ „символистамъ“ работѣ.

Мы бродимъ въ неконченномъ зданіи
По шаткимъ, дрожащимъ лѣсамъ,
Въ какомъ-то тупомъ ожиданіи,
Не вѣря вечернимъ часамъ (?)

Здѣсь будутъ проходы и комнаты!
Всѣ стѣны задвинутся сплошь!
О, думы упорныя, вспомните!
Вы только забыли чертежъ.
Свершится, что вами замыслено —
Громада до неба дойдетъ,
И въ глубь, разумно расчисленной,
Замкнетъ человѣческій родъ.

Характерно также его обращеніе къ „братьямъ соблазненнымъ“.

Свѣтлымъ облакомъ плѣненные,
Долго мы смотрѣли вслѣдъ.

Полно, братья соблазненные!
 Это только бѣглый свѣтъ.
 Развѣ есть предѣлъ мечтателямъ?
 Развѣ цѣль намъ суждена?
 Назовемъ того предателемъ,
 Кто намъ скажетъ—здѣсь она!
 Развѣ рѣдко въ прошломъ ставили
 Мертвый идолъ красоты?

Подымайте жъ, братья, посохи!
 Дальше, дальше, какъ и шли!
 Паруса развѣйте въ воздухѣ,
 Дерзко правьте корабли.
 Жизнь не счастье, не томленіе,
 Но—презрѣнъс, но борьба.
 Все впередъ—отъ возрожденія
 Къ возрожденію сквозь гроба!

Если это, дѣйствительно, не кокетничанье красивыми фразами, то нужно искренно пожалѣть, что поэзія г. Брюсова лишена всякаго человѣческаго содержанія. Теперь она вся состоитъ изъ подражаній Маріи-Хозе Эредіа и... г. Бальмонту. Увлеченіе послѣднимъ особенно бьетъ въ глаза. Любопытенъ, между прочимъ, сонетъ „Къ портрету К. Д. Бальмонта“:

Угрюмый обликъ, каторжника взоръ!

 Но я въ тебѣ люблю, что весь ты—ложь,
 Что самъ не знаешь ты, куда пойдешь,
 Что высоту считаешь самъ обманомъ.

Въ одномъ отношеніи г. Брюсову далеко до своего образца въ красотѣ стиха. За рифмы сходятъ у него, напр., такія грубыя созвучія: „антихристъ“ и „утихнеть“, „Астарта“ и „ярко“, „Гб-спода“ и „доступа“, „дѣвственница“ и „лѣстница“...

XI.

В. Г. Т а н ъ.

Г. Танъ — поэтъ, ни въ какомъ отношеніи не похожій на большинство современныхъ ему лиробрацателей. Для послѣднихъ на первомъ планѣ виртуозность формы и личное „я“, съ которыми они, какъ всѣ господа эстеты, не устаютъ носиться, словно курица съ только что снесеннымъ яйцомъ; г. Танъ, напротивъ, главное значеніе въ поэзіи придаетъ идеѣ, честной мысли и искреннему чувству. Онъ мечтаетъ быть цѣвцомъ родины и ея страданій... Къ величайшему, однако, сожалѣнію, оказывается,

что для поэзіи недостаточно и честной мысли такъ же, какъ недостаточно музыкальности формы. Капризное вообще существо эта госпожа Поэзія!.. У иного изъ ея рыцарей, кажется, имѣется на лицо рѣшительно все, чего только требуютъ піитика и риторика, а нѣтъ! „Пусть идетъ себѣ мимо,—отвѣчаетъ Поэзія,—я не отворю ему чертоговъ безсмертія“... Мы, скромные рецензенты, можемъ лишь гадательно указывать на причины этого страннаго своенравія. Въ нѣкоторыхъ журналахъ, отозвавшихся на книжку г. Тана (1900 г.), подчеркивались, напр., чрезмѣрные длинноты и расплывчатость его стихотвореній; но намъ думается, этотъ—самъ по себѣ, конечно, крупный—недостатокъ является лишь частнымъ показателемъ того, что передъ нами не настоящій поэтъ, причины же его слабости лежатъ несравненно глубже. Г. Танъ—интересный рассказчикъ и недюжинный наблюдатель реальной жизни; въ его прозаическихъ произведеніяхъ свѣтятся и живой умъ, и несомнѣнно правдивое чувство, но у него совсѣмъ нѣтъ или, по крайней мѣрѣ, очень мало того дара *мыслить и чувствовать образами*, который зовется поэзіей. Быть поэтомъ вовсе не значитъ нагромождать образъ за образомъ, сравненіе за сравненіемъ, эпитетъ за эпитетомъ, но мысли и, особенно, чувства, выражаемые поэтомъ, должны какимъ-то чудомъ искусства проникать людямъ въ душу, — употребляя выраженіе Толстого, *заразить* ее собою. Кто не умѣетъ „заражать“—тотъ и не поэтъ.

Сравненій и образовъ у г. Тана не оберешься, но чувствуется, что всѣ они вылились не изъ поэтической природы его сердца, а изъ ума,—изъ ума живо чувствующаго и внимательно наблюдающаго человека. Вотъ почему добрая половина его „образовъ“ положительно неудачна и производитъ самое жалкое впечатлѣніе. Такъ, обращаясь къ любимой дѣвушкѣ, онъ восклицаетъ:

Ибо (sic!) сердце мое, *словно рать* безъ вождя,
Безъ твоихъ погибаетъ очей!

Это сравненіе сердца съ *войскомъ* притянуто, что называется, за волосы...

Страданье мнѣ рѣчи точило, какъ ножъ,
Острило слова мнѣ, какъ жало;
Смертельной обиды безмолвная *дрожь*
Проклятъя, какъ молотъ, ковала.

Развѣ истинный поэтъ способенъ на такую риторику? Вѣдь это языкъ Бенедиктова и его позднѣйшихъ подражателей...

Полдень яркій,
Слишкомъ жаркій
Краткій отдыхъ намъ дарить,—

такими, между прочимъ, „поэтическими“ штрихами рисуетъ г. Танъ жизнь природы. Мы отнюдь не думаемъ сомнѣваться въ полной искренности г. Тана, какъ человѣка, но, какъ поэтъ, онъ, повторяемъ, почти лишень дара затрагивать наше сердце, и стихотворенія его (за очень рѣдкими исключеніями) кажутся несносной риторической шумихой и нагоняютъ ничѣмъ непобѣдимую зѣвоту. Окончательно же губить ихъ отсутствіе... художественнаго такта. „Я солнцу гимнъ пою торжественный и *стройный*“, не совсѣмъ скромно отзывается онъ о своихъ порядочно-таки дубовыхъ пѣснопѣніяхъ, — мой голосъ рвется вдаль, мой голосъ рвется ввысь“, въ лицо безстыдному обману“ онъ похвально бросить упрекъ, „отточенный, какъ ножъ“, поразить врага „плетью *своихъ* словъ“. Вообще, стихи г. Тана звенять, по его мнѣнію, „какъ яростный громъ“...

Любилъ ли я? Я трепеталъ любовью,
Живымъ огнемъ, какъ свѣточъ, я горѣлъ,
Я отдалъ жизнь, я узы залилъ кровью (?)...

Не странно ли нѣсколько, что поэтъ, до сихъ поръ, благодареніе Богу, живой и здравствующій, говорить о своихъ подвигахъ такіа... ну, по меньшей мѣрѣ, несообразныя вещи? А ихъ очень много у г. Тана, и производятъ онѣ поистинѣ удручающее впечатлѣніе.

И свѣжестью дышетъ *румянецъ ланитъ,*
И *мраморъ* чела не тускнѣетъ.

Такъ выражается нашъ поэтъ о самомъ себѣ.

Большинство пѣснь г. Тана представляетъ простые перепѣвы Лермонтова, Надсона и даже г. Фруга, причемъ перепѣвъ звучить иногда, какъ безсознательная пародія (напр., имѣвшіе та-кой успѣхъ „Разбойники пера“). Единственная въ книжкѣ вещь съ оригинальными мотивами и неподдѣльно - поэтическими обра-зами—„Въ дорогѣ“—испорчена непомѣрной длиннотою. Точно чело-вѣкъ самъ почувствовалъ, что попалъ на необыкновенно - сча-стливую тему, —и ужъ онъ мажетъ ее, мажетъ, ни за что не хо-четъ разстаться!

Сила и главное значеніе такихъ поэтовъ, какъ г. Танъ, въ ихъ боевомъ настроеніи,—въ томъ, впрочемъ, случаѣ, если граж-данская фізіономія поэта опредѣленна и устойчива. Къ сожалѣ-нію, г. Танъ и въ этомъ отношеніи неудовлетворителенъ. Лю-бовью къ чему „трепеталъ“ онъ? За что „отдалъ жизнь“? Какіе идеалы согрѣваютъ его въ настоящее время? Стихотворенія: „Въ былые дни святой мечтѣ я вѣрилъ“ и „Оставь свои настойчивыя рѣчи“ положительно ставятъ читателя, ищущаго отвѣта на эти вопросы, втупикъ... Вотъ второе изъ нихъ:

Оставь свои настойчивыя рѣчи
О подвигахъ и жертвахъ безъ конца!

Я не волю креста себѣ на плечи,
 Я не хочу терновой вѣнца.
 Не говори: «Всеміруму страданью
 Великій долгъ несешь ты на себѣ,
 И жизнь твоя должна явиться данью
 И выкупомъ разгнѣванной судьбѣ.»
 Свободенъ я... Ничто меня не свяжетъ,
 Изъ всякихъ узъ навѣки (?) выросъ я.
 Твоя рука стези мнѣ не укажетъ:
 Я самъ себѣ вожатый и судья
 Я жить хочу. Въ необозримомъ мірѣ
 Я жизнь цѣню, какъ лучший изъ даровъ,
 И грань ея хочу раздвинуть шире
 И сбросить прочь назойливый покровъ.
 Хочу теплою и свѣтомъ я упиться,
 Изгибы жидъ съ природою сплести (?),
 И вглубь земли корнями жадно впиться,
 Какъ дубъ растеть, всю жизнь свою расти!

Г. Танъ, повидимому, объявляетъ здѣсь о полномъ разрывѣ со всѣми лучшими завѣтами собственнаго своего прошлаго, всецѣло примыкая къ такъ называемому „новому настроенію“, для котораго высшее изъ божествъ—интересы отдѣльнаго „я“, а не общества... Грустное превращеніе!

ХІІ.

Владиміръ Соловьевъ.

Красивая, импозантная фигура сошла съ литературной сцены... Владиміръ Соловьевъ обладалъ рѣшительно всѣми данными, какія только можно вообразить, для того, чтобы привлекать къ себѣ вниманіе публики: массой разнородныхъ талантовъ и знаній (онъ былъ богословъ, философъ, публицистъ, ораторъ, поэтъ, критикъ и даже юмористъ), оригинальнымъ сочетаніемъ въ одной личности—мистика аскета съ свободнымъ мыслителемъ, борцомъ за свѣтъ и просторъ. Одно время онъ числился даже въ рядахъ пострадавшихъ за гражданскія убѣжденія... Наконецъ, и наружность у него была въ высшей степени эффектная, благородная, напоминающая собою ликъ Христа... И не одинъ разъ имя Владиміра Соловьева окружалъ шумъ успѣха или, по крайней мѣрѣ, удивленія.

Къ сожалѣнію, причины, вызывавшія этотъ шумъ, были не однородны и неравноцѣнны. Лѣтъ двадцать назадъ голосъ его вызвалъ сочувствіе передовой части русскаго общества, а не дальше, какъ въ началѣ текущаго 1900 года, онъ нашумѣлъ сказаніемъ объ антихристѣ... Противорѣчіе шло за противорѣчіемъ.

Глубоко начитанный богословъ, знавшій даже древне-еврейскій языкъ, вѣрный сынъ православія, Соловьевъ серьезно мечталъ о соединеніи церквей подъ верховнымъ владычествомъ римскаго папы. Христіанинъ и гуманный мыслитель, горячій противникъ смертной казни, онъ выступалъ убѣжденнымъ апологетомъ войны, т. е. массоваго убійства людей, и въ предсмертномъ стихотвореніи, посвященномъ императору Вильгельму, заявилъ, что „крестъ и мечъ—одно“. Антинаціоналистъ и всечеловѣкъ, въ китайскомъ вопросѣ онъ не обнаружилъ, однако, философскаго безпристрастія. Нанеся рядъ жестокихъ ударовъ друзьямъ отечественнаго регресса и мракобсія, въ другихъ случаяхъ онъ относился къ нимъ терпимо и даже любовно.

Двухъ становъ не боецъ, а только гость случайный,—

могъ бы сказать онъ о себѣ словами Ал. Толстого,—

За правду я бы радъ поднять мой добрый мечъ,
Но споръ съ обоими—досель мой жребій тайный,
И къ клятвѣ ни одинъ не могъ меня привлечь!
Союза полнаго не будетъ между нами...

Безконечныя противорѣчія заходили даже въ нейтральную область поэзіи: ведя остроумную и побѣдоносную борьбу съ русскими „символистами“, самъ Соловьевъ писалъ, однако, стихи, символичности которыхъ нерѣдко могли бы позавидовать и его противники...

И вотъ, большой публикѣ часто казалось, что Вл. Соловьевъ—правда, очень талантливый, но крайне неуравновѣшенный писатель, сегодня способный съ жаромъ отстаивать одно, а завтра совсѣмъ другое, чуть не противоположное мнѣніе. Трудно сейчасъ рѣшить, насколько права или близорука была публика, хотя кое-гдѣ и встрѣчаются уже попытки доказать, что всѣ кажущіяся противорѣчія въ писательской дѣятельности Соловьева были, въ сущности, не противорѣчіями, а, такъ сказать, направленными въ разныя стороны лучами одного и того-же солнечнаго ядра, сложной душевной организаціи, организаціи *бойца* по преимуществу. Подчеркивается при этомъ то не подлежащее сомнѣнію обстоятельство, что при всѣхъ частныхъ видоизмѣненіяхъ мысли, при всѣхъ увлеченіяхъ и даже заблужденіяхъ чувства Соловьевъ неизмѣнно, въ теченіе всей своей жизни, оставался вѣрнымъ,—и не пассивно только, но активно вѣрнымъ—идеѣ свободы во всѣхъ ея видахъ и проявленіяхъ, свободы мысли, совѣсти, слова. Это его великая, конечно, заслуга,—и русская литература объ ней не забудетъ. И однако, за всѣмъ тѣмъ, „кажущіяся“ непоследовательности такъ рѣзко бросались въ глаза, что примирить ихъ очень и очень нелегко; онѣ-то и были, разумѣется тѣмъ главнымъ тормазомъ, который мѣшалъ Соловьеву, при всѣхъ бле-

стящихъ данныхъ, приобрести широкую и прочную популярность. Читатель никогда не видѣлъ *центрального нерва* его писательской дѣятельности, основной идеи, руководившей его многостороннимъ, но мятущимся талантомъ.

Впрочемъ, здѣсь мы имѣемъ въ виду высказаться только о стихахъ покойнаго философа, не принадлежавшихъ, къ тому же, къ самымъ яркимъ лучамъ его богато одаренной натуры. Однако, и тутъ съ самаго начала возникаетъ вопросъ: почему, обладая несомнѣннымъ, хоть и не крупнымъ, поэтическимъ даромъ, Соловьевъ, какъ поэтъ, пользовался такой скромной извѣстностью? Книжка его стиховъ выдержала, правда, цѣлыхъ три изданія, но и критика, и публика всегда глядѣли на эти стихи, какъ на стихи диллетанта, въ обзорахъ современной поэзіи имя Владимира Соловьева не упоминалось; существовало какъ-бы безмолвное соглашеніе, что успѣхъ этотъ своего рода *succès d'estime*...

Дѣло въ томъ, что въ стихахъ Соловьева не только не чувствовалось яркой поэтической индивидуальности (они постоянно сбивались то на Тютчева, то на Хомякова, то даже на Гейне), но, какъ во всей его дѣятельности, оставалось не вполне яснымъ и то, что выше назвали мы центральнымъ нервомъ, если не считать, конечно, тяготѣнія къ мистикѣ и метафизикѣ. Обычная неуравновѣшенность мысли даетъ себя и здѣсь чувствовать, и притомъ иногда довольно курьезно. Такъ, въ предисловіи къ книжкѣ авторъ не безъ гордости указываетъ, что стихи его не служили „ни единымъ словомъ простонародной Афродитѣ“, и что это единственное неотъемлемое достоинство, какое онъ можетъ и долженъ за ними признать. И однако, что же мы видимъ? Въ той же книжкѣ стиховъ напечатаны слѣдующія двѣ пьесы „Изъ Гафиза“:

1.

Если-бъ вѣдалъ умъ, какъ сладко
Жить сердцамъ въ плѣну кудрей,
Поспѣшилъ-бы онъ, конечно,
Самъ съ ума сойти скорѣй.

2.

Языковъ такъ много, много!
И во всѣхъ звучить одно:
По-ромейски, по-фарсійски—
Вѣрь въ любовь и пей вино!

Но это, конечно, мелочи, хотя и характерныя. Стихи Соловьева не потому кажутся публикѣ скучными, что это философскіе стихи (философская поэзія часто пользуется у насъ шумной популярностью), но единственно по причинѣ самаго характера ихъ философіи, оторванной отъ жизни, метафизичной, туманной...

Впрочемъ, отиѣтимъ прежде всего безспорно поэтическія и импатичныя ноты. Въ первомъ ряду стоятъ здѣсь стихотворенія,

посвященные природѣ, преимущественно бѣдной и суровой природѣ Финляндіи, къ озерамъ и скаламъ которой аскетически настроенная муза нашего поэта-философа чувствовала чисто родственное влеченіе. Назовемъ нѣсколько прекрасныхъ пьесокъ, вдохновенныхъ озеромъ Саймой („Тебя полюбилъ я, красавица нѣжная“, „Вся ты закуталась шубкой пушистою“), „Шумъ далекій водопада“, „Колдунъ-Камень“, „По дорогѣ въ Упсалу“. Въ видѣ образчика выпишемъ послѣднее стихотвореніе:

Гдѣ ни взглянешь—всюду камни.
Только камни да сосна...
Отчего-же такъ близка мнѣ
Эта бѣдная страна?
Здѣсь, съ природой въ вѣчномъ спорѣ,
Человѣка духъ растетъ
И съ бушующаго моря
Небесамъ свой вызовъ шлетъ.
И средь смутныхъ очертаній
Этихъ каменныхъ высотъ
Въ блескѣ сѣверныхъ сіяній
Къ царству духовъ виденъ входъ.
Знать не даромъ изъ Кашмира
И съ полуденныхъ морей
Въ этотъ край съ начала міра
Шли толпы богатырей!

И вотъ еще нѣсколько строчекъ:

Если воздухъ прозрачный доносить порой
Дѣтскій крикъ или бубенчики стада,—
Здѣсь и самые звуки звучатъ тишиной,
Не смущая безмолвной отрады.
Такъ остаться-бъ навѣкъ—и свѣтло, и тепло
Здѣсь, на чистомъ не тающемъ снѣгѣ.
Злая память и скорбь—все куда-то ушло,
Все расплылось въ чарующей нѣгѣ.

Поэтиченъ этотъ мягкій способъ живописанія природы, хотя, понятно, въ немъ нѣтъ ничего оригинальнаго. Тютчевская манера доходитъ здѣсь даже до усвоенія тютчевскаго эпитета „злой“ („злая жизнь“, „злая память“). Мечтательно-нѣжные, скорбные настроенія тоже находятъ у Соловьева удачную форму. Мелодично и трогательно стихотвореніе „Сонъ на яву“: ступая по глубокому снѣгу, поэтъ одиноко бродитъ въ пустынѣ, направляясь къ „загадочной цѣли“, и слышитъ таинственный голосъ—

Конецъ уже близокъ, неожиданное сбудется вскорѣ!

Нѣжно звучатъ и стихотворенія, посвященные воспоминанію о невозвратномъ быломъ.

Бывшія мгновенія поступью беззвучною
 Подошли и сняли вдругъ покрывала съ глазъ.
 Видять что-то вѣчное, что-то неразлучное,—
 И года минувшіе, какъ единый часъ!

Не объ утраченныхъ друзьяхъ скорбить поэтъ,—

..... О нѣтъ, они вернутся!
 Того мгновенія жаль, что сгинуло навсегда.
 Его не воскресить, и медленно влекутся
 За мигомъ вѣчности тяжелые года.

Это кроткое, мечтательное настроеніе роднитъ Владимира Соловьева съ Жуковскимъ, и многіе отдѣльные стихи его (напр., „Не вѣрь мгновенному, люби и не забудь“!), точно будто, написаны поэтомъ-романтикомъ 20-хъ годовъ.

Отчего же день распѣта
 Для меня печали день?
 Отчего на праздникъ свѣта
 Я несу ночную тѣнь?
 Съ пробудившейся весною
 Разлучень, въ нѣмой странѣ
 Кто-то съ тяжкою тоскою
 Шепчетъ: вспомни обо мнѣ!

Развѣ, читая эти стихи, вы не вспоминаете тотчасъ же „Жалобу Цереры“?

Но пусть это явное подражаніе; все же передъ нами неподдѣльная поэзія. Она и давалась Соловьеву всякій разъ, когда самъ онъ, не мудрствуя лукаво, отдавался непосредственнымъ влеченіямъ сердца и, спускаясь съ заоблачныхъ высотъ аскетизма и мистики, чувствовалъ себя не платоновской идеей, а человѣкомъ, сыномъ земли.

И тогда онъ жизнерадостно восклицалъ:

Владычица—Земля! Твоя крива негнѣнна,
 И свѣтлый богатырь безсмертенъ и могучъ!

Мечтательность сама по себѣ не вредитъ поэзіи—она вѣдь законный элементъ человеческой природы, у Соловьева же мечтательность эта осмысливалась и озарялась неустаннымъ стремленіемъ къ истинѣ, возвышеннымъ исканіемъ красоты и правды жизни.

Если желанья бѣгутъ, словно тѣни,
 Если обѣты—пустыя слова,
 Стоить ли жить въ этой тьмѣ заблуждений,
 Стоить ли жить, если правда мертва?

 Жизнь—только подвигъ, и *природа живая*
 Свѣтитъ безсмертемъ въ истлѣвшихъ гробахъ.

Вотъ истинное призваніе неяркой, мало самостоятельной, но все же симпатичной музы Соловьева: быть рыцаремъ „живой правды“... Но, къ сожалѣнію, поэтъ былъ задавленъ въ немъ метафизикомъ и резонеромъ. Кто пойметъ и объяснить „Пѣсню офитовъ“? Какой ребусъ скрывается въ стихотвореніи „Зачѣмъ“, на которое въ свое время не безъ злорадства указывали автору осмѣянные имъ символисты? „Эфирныхъ волнъ созвучныя струи“ несутъ здѣсь къ порогу какой-то красавицы „желаній пламень бурный“, и она „отряхаетъ (?)“ тоску и любя, тяжкій сонъ житейскаго сознанья“... И такихъ стихотвореній у Владиміра Соловьева множество; для уразумѣнія ихъ смысла необходимы, по меньшей мѣрѣ, пространные комментаріи, но комментаріи... вѣдь это—могила поэзіи! Что такое, какъ не та же декадентская вычурность, такіа (довольно частыя у Соловьева) выраженія, какъ „зыбкая насыпь надеждъ и желаній“, названіе цвѣтовъ „бѣлыми думами, живущими у завѣтныхъ тропинокъ душъ“ и т. п.? „Философскіе“ стихи Соловьева большею частью совершенно непонятны „толпѣ“ и, потому, не производятъ ни малѣйшаго впечатлѣнія. Другія мудрствованія, напротивъ, чересчуръ банальны и не кажутся такими развѣ потому только, что выражены въ туманной формѣ.

Вообще въ отношеніи формы (не смотря на отдѣльныя удачныя выраженія, способныя стать „крылатыми“) Владимір Соловьевъ очель слабъ. Объясняется это, быть можетъ, тѣмъ, что онъ, сравнительно, поздно началъ писать и печатать стихи. У него нерѣдкость такіа тяжеловѣсныя вирши:

И если нѣкогда надъ этими гробами
Нсжданно прозвучитъ призванный голосъ твой,
Лишь отзвукъ каменный застывшими волнами
О той пустынѣ, что лежитъ межъ нами,
Тебѣ пошлетъ отвѣтъ холодный и нѣмой.

Обычное смѣшеніе въ одной и той же пьесѣ пяти и шестистопнаго ямба также не придаетъ особой музыкальности его стиху. Форма часто настолько владѣетъ нашимъ поэтомъ, что у него встрѣчаются такіе курьезы, какъ: „дождались *меня* бѣлыя ночи“; и даже въ одномъ изъ лучшихъ стихотвореній („Въ туманѣ утреннемъ“), обошедшемъ чуть-ли не всѣ посмертныя характеристики Соловьева, есть неуклюжее выраженіе „душа, *схващенная* снами“...

Упрямая склонность, во что бы ни стало, философствовать и резонировать губитъ у поэта Соловьева даже и несомнѣнно сильныя, непосредственныя чувства. У насъ нѣтъ, напр., никакого права усомниться въ томъ, что темою „Трехъ свзданій“ было „самое значительное изъ того, что случилось съ нимъ въ жизни“ (слова его собственнаго признанія), но вышла у него изъ этой темы, какъ говорится, одна печаль... Написать серьезную „философскую“ поэму не хватило, очевидно, поэтическихъ средствъ,

и онъ попробовалъ внести элементъ шутки. Идея сама по себѣ очень странная—шутить по поводу „самаго значительнаго въ жизни“, но и шутка-то вышла плоская, не остроумная. То же слѣдуетъ сказать и объ извѣстномъ „Словѣ увѣщательномъ къ морскимъ чертямъ“: тутъ положительно не знаешь, чему больше удивиться—самому ли стихотворенію, или примѣчанію къ нему, помѣщенному въ предисловіи...

Жалкіе результаты получаются и тогда, когда Соловьевъ пишетъ стихи на политическія темы (онъ вообще мнилъ себя глубокимъ и тонкимъ политикомъ). Какъ прикажете, напр., понимать слѣдующую удивительную пьесу:

Вѣтеръ съ западной страны
Слезы навѣваетъ.
Плачетъ небо, стонетъ лѣсъ,
Соснами качаетъ.
То изъ края мертвецовъ
Вопли къ намъ несутся...
Сердце слышитъ и дрожитъ,
Слезы льются, льются...
Вѣтеръ съ запада утихъ,
Небо улыбнулось,
Но изъ края мертвецовъ
Сердце не вернулось.

Въ 1892 г., къ которому относятся эти стихи, „вѣтеръ съ запада“ конечно, давно уже утихъ въ нашемъ отечествѣ; но если *сердце* философа-поэта оттуда не вернулось, зачѣмъ же всетаки называетъ онъ западъ „краемъ мертвецовъ“? Или, быть можетъ, мы ошибаемся, и стихи эти имѣютъ совсѣмъ другой, чуждый политикѣ, смыслъ? Во всякомъ случаѣ это не поэзія, а—ребусъ.

Есть у Соловьева одно, уже несомнѣнно, политическое стихотвореніе, получившее громкую извѣстность и давшее нѣкоторымъ критикамъ поводъ сравнивать его автора съ Хомяковымъ. Мы имѣемъ въ виду „Ex oriente lux“, кончающееся такими стихами:

О Русь! въ предвидѣннѣ высокомъ
Ты мыслью гордой занята.
Какимъ же хочешь быть Востокомъ—
Востокомъ Ксеркса, или Христа?

Въ стихотвореніи этомъ, дѣйствительно, есть красиво выраженные общія мѣста, но въ смыслѣ поэзіи оригинальнаго нѣтъ ничего, и самая аналогія притянута за волосы. Если по отношенію къ Риму свѣтъ, въ видѣ ученія Христова, пришелъ съ Востока, то вѣдь нашествію Ксеркса самъ же поэтъ противопоставляетъ „небесный даръ Прометея“, принадлежавшій Элладѣ, т. е. странѣ Запада?

Съ искреннимъ огорченіемъ узнали мы, между прочимъ, изъ „Сѣв. Цвѣтовъ“ 1901 г., что стихотвореніе „Поэту-Отступнику“

относится къ Некрасову. Перечитывая въ 1885 г. „Послѣднія пѣсни“ великаго печальника горя народнаго, эти пѣсни, на которыхъ лежитъ печать не только высокой одухотворенности но и истинно-поэтической красоты (довольно вспомнить хотя-бы „Баюшки-баю“),—Соловьевъ имѣлъ безвкусіе и безтактность написать и послать Фету слѣдующіе аляповатыя вирши (которыя помѣстилъ затѣмъ и въ собраніи своихъ стихотвореній):

Восторгъ души—разсчетливымъ обманомъ (?)
И рѣчью рабскою (!)—живой языкъ боговъ,
Святыню мирную—крикливымъ балаганомъ
Онъ замѣнилъ и обманулъ глупцовъ.
Когда же самъ, разбить, разочарованъ (?),
Онъ вспомнить захотѣлъ былую красоту,—
Языкъ кошунственный, къ земной пыли прикованъ.
Напрасно призывать нетлѣнную мечту.
Тоскующей любви плѣнительные звуки
Животной злобы крикъ позорно заглушалъ (?!),
Не поднимались коснѣющія руки,
И блѣдный призракъ тихо ускользалъ.

Даже для идеалиста Соловьева, очевидно, не прошло даромъ многолѣтнее общеніе съ Фетомъ, Страховымъ и имъ подобными господами... Нѣтъ, не въ мудрствованіяхъ метафизическаго и политическаго характера заключалось истинное призваніе Владиміра Соловьева. Миръ твоему праху, рыцарь живой правды!

XIII.

Allegro.

Поэтическая дѣятельность Фета, пѣвца неуволнимыхъ ощущеній, расцвѣла въ эпоху, когда въ обществѣ русскомъ происходило небывалое и неслыханное оживленіе, и теорія искусства для искусства находилась въ полнѣйшемъ загонѣ. Но поэтъ не унывалъ и продолжалъ пѣть о звенящихъ вокругъ черемухи пчелахъ, о печальной березѣ, разубранной прихотью мороза, и тому подобныхъ прекрасныхъ вещахъ, и, если хотите, въ этихъ пѣсняхъ былъ свой историческій смыслъ. Не все же въ заоблачномъ мірѣ идеаловъ витать и не все гражданскимъ заботамъ предаваться,—непреступно порой и чисто-органической жизнью пожить, и звона пчелъ послушать, и черемуху понюхать, и подъ березой посидѣть. Возможно, что своего рода предельность чувствованій въ фетовской поэзіи и тѣ, кто сильнѣе всѣхъ ее высмѣивалъ и разносилъ...

Но вотъ наступило другое время. Общественная жизнь померкла, дѣйствительность превратилась въ какой-то тусклый, безрадостный сонъ,—и, какъ и слѣдовало ожидать, теорія искусства

для искусства высоко подняла голову въ литературѣ. Фетиковъ, если позволено такъ выразиться, появилась тѣма тѣмущая... Что ни поэтъ нынче—то и пѣвецъ „смутныхъ настроеній“! И никто ихъ теперь не высмѣиваетъ (конечно, если сами они падятъ здравый смыслъ и русскую грамматику), никто на нихъ пародій не пишетъ à la Конрадъ Лиліеншвагеръ. Поэты должны бы, по-видимому, торжествовать—на ихъ улицѣ праздникъ. Вся бѣда (или счастье) въ томъ, что ихъ теперь мало читаютъ!

Передъ нами книжка стихотвореній (1899 г.) принадлежащихъ одному изъ современныхъ пѣвцовъ „неуловимыхъ ощущеній“, и мы скажемъ сразу, что поэтический талантъ молодого автора не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнью. Какой то своеобразный, нѣжно грустный, женственно-граціозный колоритъ лежитъ на этихъ всегда краткихъ, до нельзя сжатыхъ стихотвореніяхъ, мотивы которыхъ—бѣгло мелькающія въ молодой душѣ и неясныя ей самой настроенія, смутныя воспоминанія о чемъ-то прекрасномъ и печальномъ, свѣтлые сны, какъ звѣзды пронизывающіе на мгновеніе туманную даль жизни,—мысли, похожія на чувства, и чувства, похожія на мысли, облеченныя въ изящный, поэтический образъ. Но эти крошечныя пьески, въ большинствѣ случаевъ не превышающія дюжины строкъ, при чтеніи въ журналахъ не оставляли иногда никакого слѣда въ душѣ, теперь же, собранныя въ одно цѣлое, онѣ производятъ несравненно болѣе выгодное для автора впечатлѣніе. Повторяемъ: талантъ г. Allegro (псевдонимъ г-жи Поликсены Соловьевой) не подлежитъ никакому сомнѣнью. Со стороны формы слѣдовало бы сдѣлать автору одинъ только упрекъ: отъ такихъ миниатюрныхъ вещей можно бы требовать болѣе тщательной виѣшней отдѣлки, большей безупречности метра, рифмы (тучей—могучимъ, ненастья—счастьемъ, блѣднѣютъ—нѣмѣетъ) и т. п. Но это, конечно, неважно. Несравненно важнѣе то, что внутренняя цѣнность его поэзіи, по нашему мнѣнію, ничтожна... Говоря такъ, мы отнюдь не имѣемъ въ виду пресловутую „гражданскую скорбь“ и чинило не скорбимъ о томъ, что нашъ поэтъ ей не предается. Зачѣмъ же непременно скорбѣть? Радуйтесь, ликуйте, бейте въ литавры, если можете (уносясь, напр., мыслью въ свѣтлое грядущее, или отыскивая въ современномъ обществѣ „отрадныя явленія“), но—подъ однимъ непременнымъ условіемъ: будьте мыслящимъ современнымъ поэтомъ! Пусть на первомъ планѣ стоитъ въ вашихъ пѣсняхъ живое человѣческое чувство, пусть мы будемъ видѣть въ васъ брата или сестру, живущихъ не въ какомъ-то неземномъ мірѣ воздушныхъ эльфовъ, а бокъ-о-бокъ съ нами, съ нашими радостями, тревогами и страданіями. Изъ стиховъ же г. Allegro, за рѣдкими исключеніями, совсѣмъ, въ сожалѣнію, не видно что они изданы наканунѣ XX вѣка, въ одномъ изъ просвѣщенныхъ (какъ-никакъ) государствъ Европы...

Звучно, поэтично, удивительно тонко, но... и все тутъ.

Книжка г. Allegro украшена прекрасными виньетками собственной работы автора. Виньетки эти очень хороши, и намъ уже приходилось слышать ядовитые отзывы, что виньетки г. Allegro лучше его стиховъ... Одну странность отмѣтимъ въ этихъ виньеткахъ: нѣкоторыя изъ нихъ совершенно не отвѣчаютъ содержанию относящихся къ нимъ пьесъ. Такъ, надъ стихотвореніемъ „Одѣвшись холодною тучей, зима не сдается веснѣ“ съ заключительными стихами:

Мнѣ чудится свѣтъ примиренья,
Я вѣрю—любовь побѣдитъ!—

нарисована... воробьиная голова, простая воробьиная голова. За-
чѣмъ? Почему?

XIV.

А. М. Федоровъ.

Поэтъ совсѣмъ въ другомъ родѣ г. Федоровъ. На первой книжкѣ его стихотвореній (1898 г.) стоитъ эпиграфъ:

Есть старинное повѣрье:
Кто въ крови своей омочитъ
Стрѣлы острыя, тотъ ими
Попадетъ, куда захочетъ.
Эти пѣсни съ кровью сердца
Я пустилъ звенящимъ роємъ.
Неужель сердца людскія
Взволновать не суждено имъ?

Вотъ о чемъ мечтаетъ г. Федоровъ—„взволновать“ людскія сердца. Это именно то самое, о чемъ мечтаемъ и мы, читатели, такъ сильно истосковавшіеся по истинной поэзіи и такъ давно ея жаждущіе!—Но, увы! не смотря на то, что г. Федоровъ въ душѣ несомнѣнный поэтъ, и что ему искренно кажется, будто въ свои пѣсни онъ вкладываетъ „кровь сердца“,—не смотря на все это, пѣсни его пролетаютъ надъ нами „звенящимъ роємъ“, ничуть не задѣвая и не тревожа сердецъ... Для этого требуется слишкомъ многое, чѣмъ молодой поэтъ совершенно, повидимому, не обладаетъ. И прежде всего, нужна, хоть въ малой дозѣ, оригинальная поэтическая фязіономія. Г. Федоровъ безумно любитъ поэзію—онъ носитъ ее въ душѣ, онъ отдаетъ ей лучшія свои силы и помышленія; у него, несомнѣнно, есть и искренность, и версификаторскій талантъ—и однако... какъ странно это! Чѣмъ объяснить такую загадку?—на „лирѣ“ его не звучитъ ни одной *своей*, не заимствованной у какого-нибудь другого поэта струны.

Читаешь эти недурные, звучные стихи—и то вспоминаешь г. Фофанова („Очаровано вешними ласками“), то Надсона („Нѣтъ, не просите у пѣвца“, „Есть дни, когда ко мнѣ ласкается печаль“, „Я весеннею нѣгою боленъ“, „Ты не любишь его“ и т. д.), то Полонскаго.

Слѣдуетъ и то еще сказать: чтобы волновать сердца, надо имѣть нѣсколько пошире кругозоръ. Прочитайте книжку г. Ѳедорова отъ доски до доски—и вы рѣшительно не поймете, кто онъ такой и что такое.

Обращаясь къ своему малюткѣ-сыну, поэтъ говоритъ: „живи во имя идеала добра и красоты. Не забывай что кровь народа твоя родная кровь, что съ нимъ у васъ одна свобода, и благо, и любовь. Твой дѣдъ былъ рабъ... Онъ мнѣ въ наслѣдство оставилъ слѣдъ цѣпей. Мое безстрастное дѣтство угасло безъ лучей“. Вотъ симпатичная и вѣрно прозвучавшая струна, и къ ней-то и слѣдовало бы всецѣло прилѣпиться г. Ѳедорову, какъ сыну народа. А между тѣмъ, этотъ звукъ очень рѣдко и очень блѣдно повторяется въ его книгѣ. Такъ, въ одномъ мѣстѣ читаемъ:

...Меня на борьбу за собой
Звали блѣдныя тѣни, какъ брата,
На борьбу съ беспощадною тьмою
Противъ злобы, насилья, разврата,
И клянусь, я готовъ
Быть средь полчищъ враговъ
Умереть благородно и свято!

Какъ безцвѣтны и слабы эти общія фразы?..

Книжка г. Ѳедорова посвящена, главнымъ образомъ, или безсильному нытью по поводу какого-то „ушедшаго счастья“ и какихъ-то „больныхъ думъ“, или изображеніямъ разныхъ картинъ природы, родной и экзотической. Послѣднія (картины) болѣе или менѣе удаются нашему поэту, хотя страдаютъ нерѣдко и вычурностью: снѣгъ—самый обыкновенный зимній снѣгъ—оказывается „жертвой небесъ“, въ которой „надежда земли на спасенье“ (и такого спасенья, очевидно, нѣтъ для тропическихъ странъ, не знающихъ снѣга); „звѣзды съ тихою дрожью звенятъ въ вышинѣ“; „отъ счастья въ лучахъ прослезились цвѣты“... Встрѣчаются даже такіе стихи:

Падаютъ, падаютъ осени слезыньки,
Плачутъ осины, дубы и березыньки...

Съ особенной охотой разрабатываетъ также г. Ѳедоровъ прелестный надсоновскій мотивъ—„тревоги юныхъ силъ“, но здѣсь у него выходитъ вотъ что:

Все какіе-то сны на яву,
Все какія-то свѣтлыя грезы.
Въ сердцахъ нѣжная грусть и любовь,
А въ глазахъ непонятныя слезы!

Нѣтъ, трудно г. Ѳедорову тягаться съ Надсономъ!

Тѣмъ не менѣе, намъ не хотѣлось бы произносить надъ молодымъ поэтомъ окончательное сужденіе. Кто знаетъ—не вырабатается ли изъ него что-нибудь въ будущемъ? Онъ искрененъ, чутокъ и тѣмъ ужъ однимъ симпатиченъ, что не ломается, подобно большинству своихъ нынѣшнихъ собратьевъ. Что онъ талантливъ—это показываютъ его переводы изъ иностранныхъ поэтовъ и нѣсколько удачныхъ собственныхъ стихотвореній („Гдѣ ты молодость“, „Страхъ“, „Подъ шумъ дождя“, „Оттремѣли въ дымныхъ тучахъ“).

Вотъ трогательное обращеніе его къ поэзіи:

Ты—вдохъ небесъ. Твой непорочный пламень.
Неугасимъ! Ты имъ сердца живишь.
Мгновеннымъ сномъ бессмертіе даришь.
Явись ко мнѣ! Отъ пошлости надменной
Мой шаткій духъ къ святынѣ вознеси!
Пусть онъ падетъ къ стопамъ ея, смиренный!
Поэзія, спаси меня, спаси!
Спаси меня! Какъ мрачныхъ думъ Саула,
Коснись души могуществомъ крыла!
Ты въ грудь мою святой огонь вдохнула,
Но силы мнѣ для битвы не дала.
О, вѣрю я,—хоть умъ туманитъ горе,—
Есть правда здѣсь, есть Богъ на небеси.
Но человѣкъ—песчинка въ бурномъ морѣ...
Молюсь тебѣ съ надеждою во взорѣ:
Поэзія! Спаси меня. спася!

Дарованіе г. Ѳедорова не подлежитъ сомнѣнію. Разносторонняя поэтическая восприимчивость, наблюдательность, умѣніе играть стихомъ, живописать природу и движенія души человѣческой, наконецъ, мягкое, любящее сердце—казалось бы, что еще нужно поэту для того, чтобы овладѣть сердцами читателей? А между тѣмъ—странное дѣло: появляясь въ журналахъ, стихи г. Ѳедорова прочитываются не безъ удовольствія, но, когда тѣ же стихи преподносятся публикѣ въ видѣ отдѣльно изданныхъ книжекъ, она равнодушно проходитъ мимо... За какихъ-нибудь пять лѣтъ поэтъ выпускаетъ уже второй сборникъ своихъ вдохновеній (1903 г.), если не считать третьяго, переводовъ изъ Ады Негри,—и ни тотъ, ни другой не оставляютъ ни малѣйшаго слѣда въ литературѣ...

Не въ томъ ли заключается разгадка этого секрета, что поэтическія струны г. Ѳедорова звучатъ не въ тактъ съ біеніемъ сердецъ читающей публики? Не плыветъ ли нашъ поэтъ противъ передового теченія родной современности? Но стоитъ прочесть лишь два стихотворенія изъ его новой книги: „Пора! ужъ тишина давно гнететъ кошмаромъ“ и „Степную дорожку“,

чтобъ согласиться, что въ лицѣ г. Оедорова мы имѣемъ искренняго друга лучшихъ чаяній и стремленій нашего общества. Въ такомъ случаѣ, въ чемъ же дѣло? А въ томъ, думается, что стремленія эти не захватили души поэта всецѣло, не зажгли ея страстью, не взволновали огнемъ.

Возьмите хотя бы это поразительное разнообразіе или, правильнѣе говоря, безразличіе темъ, выбираемыхъ имъ для своихъ изъясненій. Сегодня пишетъ онъ „Степную дорогу“, гдѣ въ совершенно некрасовскомъ духѣ и тонѣ воспѣваетъ горе и страданія родного народа, а завтра, глядишь, уже заняты красотою Сорренто, Венеціи, Босфора, орхидеями, грозой въ Индійскомъ океанѣ или какою-то таинственною „женщиной въ траурѣ“, умудрившейся „воздушнымъ мракомъ вуаля“ коснуться сердца поэта и сдѣлать его „холоднымъ и мертвымъ“. Въ этой обширной гаммѣ доступныхъ г. Оедорову звуковъ и красокъ встрѣчаются, безспорно, красивыя вещи.

Пустыня мертвая пылаетъ, но не дышетъ.
Елеститъ сухой песокъ, какъ желтая парча,
И даль небесъ желта и горяча;
Миражъ струится въ ней и сказки жизни пишетъ.
Такая тишина, что, мнится, ухо слышитъ
Движеніе облака, дрожаніе луча.
Во снѣ бредетъ верблюдъ, какъ будто зной влача,
И всадника въ сѣдлѣ размѣренно колышетъ.
Порою на пути, обмытыя пескомъ,
Блѣбютъ путниковъ покинутыя кости
И сердцу говорятъ беззвучнымъ языкомъ:
«О, бѣдный пилигримъ! Твой путь и намъ знакомъ:
Ты кровью истекалъ, ты слезы лилъ тайкомъ.
Добро пожаловать къ твоимъ собратьямъ въ гости!»

Не правда ли, читатель, очень недурной сонетъ? Одно только: не нашли-ль бы вы вполне естественнымъ, если бы въ подзаголовкѣ стояла, напр., пометка „Изъ Мицкевича“? Эта красивая картинка такъ же мало характерна для поэзіи г. Оедорова, какъ и большинство его стихотвореній... Или, вотъ, другіе стихи:

Все, какъ сонъ далекій:
Ночь. Звенящій (?) воздухъ.
Прудъ. Камышь высокій.
Небо въ блѣдныхъ звѣздахъ.
Тишь. Съ далекой нивы
Свистъ перепелиный.
Мельница и ивы,
Ивы за плотиной.
Звѣзды въ сердцѣ гдѣ-то.
Въ звѣздахъ прудъ глубокій.
Двое въ лодкѣ. Лѣто (!).
Все, какъ сонъ далекій.

Кто это—Фетъ? Нѣтъ, все тотъ же г. Федоровъ. А въ стихотвореніи „Другъ мой! Сердцу не вѣрь ароматной весной“, гдѣ влюбленному юношѣ подается благоразумный совѣтъ „не скрѣплять чаръ любви у воротъ алтаря, узы брачныхъ цѣпей не спѣшить уловить“, слышится уже тонъ „поэзіи“... г-на Будищева.

Расплывчатость и неопредѣленность поэтической фізіономіи, способность чрезвычайно легко поддаваться литературнымъ вліяніямъ, часто совершенно ничтожнымъ,—вотъ ахиллесова пята г. Федорова!

Среди пестраго разнообразія мотивовъ его творчества, такъ называемымъ гражданскимъ удѣлено третъестепенное мѣсто, при чемъ нужно отмѣтить, что и отъ выше указанныхъ нами удачныхъ гражданскихъ пьесъ вѣтъ нѣкоторымъ холодкомъ: чувствуется, что написаны онѣ умнымъ, чуткимъ художникомъ, но не поэтомъ-борцомъ. Въ другихъ стихотвореніяхъ этого рода отсутствіе страсти, одушевленія еще замѣтнѣе.

Будь ты проклятъ, безпощадный,
Будь ты проклятъ, страшный голодъ!

И какой-то голосъ дальній
Льется въ душу, точно съ неба:
«Успокойся, другъ печальный,
Будетъ всѣмъ довольно хлѣба.
За великій трудъ въ награду,
За великое смиренье
Людямъ Богъ пошлетъ отраду.
А полямъ—благословенье».

Стихи эти прозаичны и, не смотря на жгучую тему, никого тронуть не могутъ.

Но если въ поэтическомъ темпераментѣ г. Федорова приходится подчеркнуть недостатокъ огня и силы, то самъ поэтъ, по-видимому, не сознаетъ этого и не прочь порою нарядиться даже въ демоническій плащъ. И, конечно, изъ попытокъ этихъ получается одна печаль.

Кипи, шуми, бушуй, мятежный водопадъ,
Двойникъ души моей и другъ ея, и братъ!

Душѣ моей сродни твоей бѣгъ и гулъ тревожный:
Не такъ же-ль стиснута она всегда была
Недвижной пошлостью насилія и зла?
Не такъ же-ль на просторъ рвалась и роптала
И надъ собой сама *безумно хохотала!*

Читатель, уже просмотрѣвшій весь сборникъ г. Федорова и изъ него познакомившійся съ мягкой и добродушной фізіономіей поэта только улыбнется такому самоопредѣленію.. И совсѣмъ уже неподходящими кажутся въ стихотвореніи „Везувій“ витѣватые возгласы à la г. Минскій:

Шипящія пары хлопочутъ подъ ногами.
 Запахло сѣрою. Кружится голова...
 И вотъ, надъ кратеромъ, съ горящими глазами,
 Стою я, полный думъ, восторга, торжества.
 Вулканъ вздрогнуаъ, и вдругъ въ клубахъ волнистыхъ дыма
 Кровавый свѣтъ блеснулъ. Пылай, земной алтарь!
 Я здѣсь передъ тобой останусь недвижимо.
 Какъ твой священный жрецъ и твой мгновенный царь.
 Таинственный твой гнѣвъ и гибельная сила
 Не робость, а восторгъ въ душѣ моей зажгли.
 Ты губишь города, но кратеръ твой—могила
 Лишь только тѣмъ, кто ждалъ земного отъ земли.
 А мнѣ не страшенъ онъ...

Слѣдуетъ отмѣтить еще, что въ погонѣ за тонкостью ощуще-
 ній и красокъ г. Федоровъ впадаетъ нерѣдко въ вычурность и
 въ этомъ отношеніи сильно напоминаетъ г. Бунина; у него тотъ
 же „запахъ талаго снѣга“, „янтари созвѣздій“, „ужасъ отчаянья
 липкій“, „растроганная земля“, „смущенъ предвѣдніемъ тай-
 нымъ“, поэтъ чувствуетъ „отлетъ холодныхъ сновъ“, на поверхности
 озера онъ различаетъ не только „рыбы легкіе кружочки“, но и
 „царапины стрижа“ и т. п.

И всетаки,—повторимъ въ заключеніе,—г. Федоровъ поэтъ
 талантливый, въ общемъ посвящающій свое дарованіе идеямъ
 добра и человѣчности. Пожелаемъ ему лишь меньше расплывча-
 тости и мнимой разносторонности, тождественной, въ сущности,
 съ подражательностью, пожелаемъ больше устойчивости на одной
 какой нибудь струнѣ, наиболѣе сродной его сердцу. Не всякому
 дается всеобъемлющая широта Гете или Пушкина, но хорошо,
 если поэтъ можетъ сказать вмѣстѣ съ Альфредомъ Мюссе: „у меня
 маленькій стаканъ, но я пью изъ собственнаго стакана“.

XV.

Иванъ Бунинъ.

Всего лишь пять лѣтъ назадъ (1898) выпустилъ г. Бунинъ
 первый сборникъ своихъ стихотвореній, „Подъ открытымъ не-
 бомъ“. Стихи молодого поэта отличались простотой и безыску-
 сственностью, такъ симпатично гармонизовавшими съ нашимъ сѣ-
 вернымъ буднично-сѣренькимъ пейзажемъ; безъ удовольствія нельзя
 было читать такое, напр., описаніе лѣтней грозы:

. . . Но вотъ по тополямъ и кленамъ
 Холодный вихорь пролетѣлъ...
 Сухой бурьянъ зашелестѣлъ...
 Окно захлопнулось со звономъ,

Блеснула молнія огнемъ...
 И вдругъ надъ самой крышей дома
 Раздался трескъ короткій грома
 И тяжкій грохотъ... Все кругомъ
 Затихло сразу и глубоко,
 Садъ потемнѣвшій присмирѣлъ,—
 И благодатно и широко
 Весенній ливень зашумѣлъ.

Вотъ еще нѣсколько образчиковъ тонкой наблюдательности г. Бунина и его близкаго знакомства съ жизнью природы въ его первомъ сборникѣ: „по лощинамъ, звѣзды отражая, ямы свѣтятъ тихою водой“; „запахли медомъ ржи, на солнцѣ бархатомъ пшеницы отливаютъ“; „сосенъ красныя колонны“; „отъ паровоза бѣлый дымъ, какъ хлопья ваты, расползаясь, плыветъ“; „въ сизыхъ ржахъ васильки зацвѣтаютъ, бирюзовый виднѣется лѣнъ“; „по межѣ тушканъ таинственно, какъ духъ, несется быстрыми слышными прыжками“... Всѣ эти мелкія, но вполне реальныя и характерныя черточки составляли главную цѣнность книги г. Бунина, хотя, нужно сознаться, въ погонѣ за ними поэтъ и тогда уже вдавался иногда въ вычурность (таковъ, напр., довольно сомнительный „теплый запахъ талыхъ крышъ“).

Настоящимъ призваніемъ симпатичнаго, на очень скромно дарованія г. Бунина и было, думается намъ, — рисовать безхитростныя картинки родной природы, утреннія и вечернія зори, весеннія половодья, занесенные снѣгомъ хутора, жизнерадостныя настроенія молодой здоровой души. Къ сожалѣнію, — какъ это нерѣдко случается съ нашими талантами послѣдняго времени, — поэту захотѣлось подняться выше своихъ способностей: быть можетъ, лавры г. Бальмонта не давали ему спокойно спать... И вотъ, во второмъ его сборникѣ („Листопадъ“), выпущенномъ подъ страшнымъ клеймомъ московскаго „Скорпіона“, уже можно было встрѣтить такія строки:

Старыхъ предковъ я наслѣдье чую,
 Звѣремъ (!) въ полѣ осенью ночую,
 На зарѣ добычу жду...

Въ сущности, это тотъ же „теплый запахъ талыхъ крышъ“, съ тѣмъ лишь различіемъ, что оригинальныхъ, тонкихъ штриховъ г. Бунину захотѣлось теперь искать не въ мертвой природѣ, а въ живой душѣ человѣка. Но это путь, какъ извѣстно, довольно скользкій: начинается дѣло съ поисковъ особенно тонкихъ ощущеній, а кончается — равнодушіемъ, или даже презрѣніемъ, къ горестямъ и радостямъ простыхъ смертныхъ...

На одной изъ первыхъ же страницъ новой книжки г. Бунина читаемъ:

На высотѣ, на снѣговой вершинѣ,
 Я вырѣзалъ стальнымъ клинкомъ сонетъ.

И весело мнѣ думать, что поэтъ
 Меня пойметъ. Пусть никогда въ долину
Ею толпы не радуетъ привѣтъ!
 На высотѣ, гдѣ небеса такъ сини,
 Я вырѣзалъ въ вечерній часъ сонетъ
Лишь для того, кто бродитъ на вершинѣ!

Какое великолѣпіе! И какъ хороши должны быть сонеты г. Бунина, предназначенные имъ „лишь для того, кто бродитъ на вершинѣ“! Не имѣя въ распоряженіи этихъ удивительныхъ сонетовъ, мы принуждены судить о поэтѣ лишь по его опубликованнымъ произведеніямъ.

. . . Весело жить
 И весело думать о небѣ,
 О солнцѣ, о зрѣющемъ хлѣбѣ,
 Чтобъ (?) радостью ихъ (?) дорожить,
 Съ открытой бродить головой,
 Глядѣть, какъ разсыпали дѣтя
 Въ бесѣдкѣ песокъ золотой...
Иного нѣтъ счастья на свѣтѣ!

Настроеніе, если хотите, знакомое всякому: бываютъ минуты, когда бездумно наслаждаешься процессомъ жизни, не представляя себѣ никакого другого счастья. Но у г. Бунина это не просто только настроеніе: черезъ всю книжку „новыхъ стихотвореній“ онъ настойчиво проводитъ рискованную мысль — „иного нѣтъ счастья на свѣтѣ“.

И, упиваясь красотой
 И въ ней живя полнѣй и шире,
 Я знаю—*все живое въ мѣрѣ*
Живетъ въ одной любви со мной!

Не совсѣмъ это вразумительно... Быть можетъ, на то самое, что намъ съ г. Бунинимъ кажется красотою, какой-нибудь удавъ или филинъ взглянетъ съ совсѣмъ иной точки зрѣнія... Но допустимъ, что это простая поэтическая гипербола, и что подъ „всѣмъ живымъ“ г. Бунинъ разумѣетъ, главнымъ образомъ, своихъ двуногихъ собратьевъ. Странно, однако, что, такъ много толкуя о своемъ единеніи съ ними въ красотѣ и любви (слово „любовь“, какъ и красота, почти не сходитъ у него съ языка), поэтъ рѣшительно нигдѣ не даетъ почувствовать, что это—любовь живого человѣка къ живымъ же, бокъ-о-бокъ съ нимъ страдающимъ существамъ. Вспоминая въ стихотвореніи „Ночь“, что та же величавая картина звѣзднаго неба, которою онъ сейчасъ любитъ, открывалась взору людей и въ эпоху пирамидъ, и сопоставляя эти двѣ отдаленныя эпохи, онъ и на всемъ пространствѣ чело-вѣческой исторіи ничего не видитъ, кромѣ все той же красоты и любви. „Есть одно“,—патетически восклицаетъ онъ,—

... что вѣчной красотой
Связуетъ насъ съ отжившими. Была
Такая жъ ночь—и къ тихому прибою
Со мной на берегъ дѣвушка пришла...

Не то важно, что люди на протяженіи вѣковъ мыслили, страдали, боролись и шли къ идеалу лучшаго будущаго, устывая свой крестный путь трупами борцовъ-героевъ, — важно то, что и теперь, какъ встарину, они умѣютъ влюбляться и упиваться красотой. Въ этомъ—и лишь въ этомъ—неизмѣнная „связь“ между отжившими, живущими (и, вѣроятно, также грядущими) поколѣніями! А въ довершеніе всего, поэтъ насъ увѣряетъ, будто, и любя женщину, онъ счастливъ не самою любовью къ живому, определенному человѣку, а — чувствомъ „слиянья въ одной любви съ любовью всѣхъ временъ“... Что-то черезчуръ мудрено и холодно!

Красота и любовь... Третій китъ, на которомъ стоитъ поэтическое мировоззрѣніе г. Бунина,—жажда жизни, или, пользуясь терминомъ г. Горькаго, „жадность къ жизни“. Оказывается, этой яркой формулой съ удобствомъ могутъ покрываться или даже идеализироваться и чисто-звѣриныя инстинкты:

Любилъ онъ ночи темныя въ шатрѣ,
Степныхъ кобылъ залихватое (?) ржанье,
И передъ битвой волчье завыванье
И коршуновъ на сумрачномъ бугрѣ:
И, жажду жизни силясь утолить,
Онъ за врагомъ скакалъ, какъ изступленный,
Чтобъ, дерзостью погони опьяненный,
Горячей кровью землю напоить.

Прошли вѣка, но слава древней были
Жила въ вѣкахъ... Нѣтъ смерти для того,
Кто жизнь любилъ, и пѣсни сохранили
Далекое наслѣдіе (?) его.
Онъ поютъ печаль воспоминаній,
Онъ безсмертье вѣчнаго поютъ.
И жизни, отошедшей въ міръ преданій,
Свой братскій зовъ и голосъ подаютъ.

Итакъ, по мнѣнію современнаго поэта, „нѣтъ смерти для того, кто любитъ жизнь“ (хотя бы это была, въ сущности, любовь къ жизни—тигра или ягуара), и онъ готовъ, съ своей стороны, подать ему „свой братскій зовъ и голосъ“.

Куда поведетъ г. Бунинъ дальше это этическое безразличіе, мы предсказывать не беремся...

Нельзя не отмѣтить еще, что художественная форма поэта, столь влюбленнаго въ красоту, особеннымъ изяществомъ не блещетъ. Нерѣдко хромаютъ даже рифмы (встрѣтить — отвѣтить, раз- слышать—колышетъ, покоя—земное). Въ настоящемъ сборникѣ уже значительно меньше красивыхъ пьесъ и отдѣльных поэти-

ческих образовъ, подкупавших насъ раньше. Несомнѣнно красиво, напр., стихотвореніе „Съ кургана“; хороша слѣдующая картинка дождя (напоминающая, правда, „Деревенскія новости“ Некрасова):

Вдругъ капля, какъ шляпка гвоздя,
Упала—и, сотнями иголъ
Затоны прудовъ бороздя.
Сверкающій ливень запрыгалъ,
И садъ зашумѣлъ отъ дождя.

Живописно рисуется также змѣя, когда она,

...Шурша листвою дубовой,
Зашевелилася въ дуплѣ
И въ лѣсъ пошла, блестя лиловой
Пятнистой кожей по землѣ.

Но все чаще и чаще бросаются теперь у г. Бунина въ глаза вычурность и манерность. „Ликъ зарницы“, „всепрощающая даль“, „цвѣты, ведущіе въ поляхъ хороводы“ „небесъ просторы голубые“, „тонкій запахъ свѣжей росы“—это самые обычные его обороты. Въ стремленіи сказать нѣчто оригинальное и необычайно-тонкое, г. Бунинъ пишетъ иногда совершенно изломанные и непонятныя вещи, вроде „Веснянки“.

Я замиралъ, я трепеталъ отъ скорби,
Стоналъ, какъ звѣрь, и плакалъ, расточая
Безумныя и вѣжныя слова...

Но, какъ ни замираетъ онъ, подобно г. Бальмонту, какъ ни рычитъ, подобно поэтамъ изъ „Скорпіона“,—ничего не выходитъ. И по очень простой причинѣ. Сдается намъ, г. Бунинъ—человѣкъ отъ природы благодушный, вполне нормальный, безъ всякихъ бурь и зияющихъ пропастей въ душѣ... „Скудна жизнь моя, расцвѣтшая въ неволѣ“—самъ же не такъ давно признавался онъ, а наряжаться для чего-то сталъ въ демоническій плащъ сверхчеловѣка!..

— О, если-бъ проще былъ я и спокойнѣй!—

закончимъ нашъ отзывъ стихомъ самого г. Бунина.

XVI.

М. А. Лохвицкая.

Передъ нами безспорный поэтический талантъ. Среди массы современныхъ стихотворцевъ, заблудившихся въ туманныхъ дебряхъ декадентской риторики, г-жа Лохвицкая блеститъ, если и не звѣздой среди ночи, то, во всякомъ случаѣ, красивой ночной ба-

бочкой... По нашимъ антипоэтическимъ временамъ и это уже много!

Поэзія г-жи Лохвицкой—музыка здоровой и сильной молодой души, отъ будничной прозы окружающей жизни порывающей въ солнечный край мечты, гдѣ все—любовь, счастье и полнота жизни. Царство природы—настоящій храмъ для такой поэзіи, въ которомъ поются ея лучшіе гимны и отыскиваются лучшія утѣшенія.

Поля, закатомъ позлащенные,
Уходить въ розовую даль.
Въ мои мечты неизреченныя
Вплелась вечерняя печаль.
Я вижу, тамъ, за гранью радостной,
Гдѣ краски дня сбѣгаютъ прочь,
На вечеръ ясный, вечеръ благостный
Глядитъ тоскующая ночь.
Но въ жизни тусклой и незначущей
Бываютъ радостные сны.
Они къ страдающей и плачущей
Слетятъ съ воздушной вышины.
Нашепчутъ райскія сказанія
Вѣтвямъ акацій и березъ
И выпьютъ въ медленномъ лобзаніи
Росу невыплаканныхъ слезъ.

Изъ человѣческихъ страстей любовь—самое сильное и прекрасное чувство, во все времена и у всехъ народовъ по преимуществу окрылявшее молодость и вдохновлявшее поэтовъ, и г-жа Лохвицкая также умѣетъ выражать это чувство въ граціозной и поэтической формѣ.

Я люблю тебя, какъ море любить солнечный восходъ,
Какъ нарцисъ, къ волнѣ склоненный,—блескъ и холодъ сочныхъ водъ.
Я люблю тебя, какъ звѣзды любить мѣсяцъ золотой,
Какъ поэтъ—свое созданье, вознесенное мечтой.
Я люблю тебя, какъ пламя—однодневки-мотыльки,
Отъ любви изнемогая, изнывая отъ тоски.
Я люблю тебя, какъ любить звонкій вѣтеръ камыши,
Я люблю тебя, всей волей, всеми струнами души.
Я люблю тебя, какъ любить неразгаданные сны:
Больше солнца, больше счастья, больше жизни и весны!

Не только граціозно, но и трогательно выражена въ ея стихахъ и юная материнская любовь:

Ангелъ безгрѣшный, случайно попавшій на землю,
Сколько ты счастья привнесъ! Какъ ты мнѣ дорогъ, дитя!
Весь ты—какъ облачко, свѣтомъ зари залитое,
Чистый, какъ ландышъ лѣсной,—майскій прелестный цвѣтокъ!

Все лучшіе мотивы ея стихотвореній относятся къ жизни природы, къ страданіямъ и грезамъ молодой женской души. Назо-

вѣтъ цѣлый рядъ такихъ прекрасныхъ пьесъ: „Нѣтъ, мнѣ не надо ни солнца, ни яркой лазури“, „Къ солнцу“, „Царица Савская“, „Покинутая“, „Мое небо“, „И вѣтра стоить, и шепотъ мрачныхъ думъ“, „Четыре всадника“ (т. I); „Есть что-то грустное и въ розовомъ разсвѣтѣ“, „Предчувствіе грозы“, „Грѣзы безсмертія“ (т. II); „Въ моемъ незнаньи такъ много вѣры“, „Серафимы“, „Восточныя облака“, „Въ наши дни“, „Памяти Пушкина“, „Далекія звѣзды“. „Я хочу умереть молодой“, „Энисъ-Эль-Джаллисъ“, „Я хочу быть любимой тобой“ и т. п. Но настоящими перлами поэзіи г-жи Лохвицкой, гдѣ всего громче и полнѣе звучатъ струны ея сердца, являются, по нашему мнѣнію, двѣ драматическія фантазіи довольно значительнаго объема,— „На пути къ Востоку“ и „Ванделинъ“. Какіе граціозные образы, легкіе и прекрасные, какъ майская грѣза! Да, это — поэзія, неподдѣльная, полная чуднаго очарованія!

Какъ приятно было бы намъ этимъ и закончить отзывъ о стихахъ г-жи Лохвицкой; но, къ сожалѣнію, говоря объ нихъ, невозможно ограничиться однѣми похвалами, а приходится поставить даже очень длинное „но“. И прежде всего, слѣдуетъ указать на прямо-таки изумительную узость духовнаго кругозора нашей поэтессы, на ея чисто-институтскую наивность и неразвитость, особенно во всемъ, что касается положенія женщины въ обществѣ. Передъ нами, точно будто, не образованная писательница, живущая въ просвѣщенной странѣ и на зарѣ XX вѣка, а какая-то „восточная роза“, для которой міръ ограничивается стѣнами гарема, гдѣ женщина—рабыня или царица, наложница и одалиска, а мужчина—повелитель, ласка котораго—высочайшее счастье, о какомъ только она можетъ мечтать! Эти взгляды и чувства до того первобытно-дики, что значительную долю вины за нихъ, несомнѣнно, нужно возложить на какія-либо исключительныя условія личнаго воспитанія г-жи Лохвицкой. Несомнѣнно, что именно эти исключительныя (хотя и неизвѣстныя намъ) условія были тѣмъ проклятіемъ ея симпатичной поэзіи, которое „дохнуло отравой ядовитой на дѣвственный разсвѣтъ ея весеннихъ дней“... Мы имѣемъ въ виду ту печальную (и, увы, справедливую!) извѣстность, какую пріобрѣла г-жа Лохвицкая охотнымъ допущеніемъ въ своя стихи двусмысленнаго и даже прямо скабрёзнаго элемента.

Въ стихотвореніи „Первая гроза“ дѣвушка входитъ во время грозы въ гротъ. На небѣ грохотъ громъ.

Его раскатамъ я внимала,
Томясь въ убѣжищѣ моемъ...
То не грозы ли обаянье
Такъ взволновать меня могло?
Вдругъ чье-то жаркое дыханье
Мнѣ грудь и плечи обожгло...
За мигъ блаженства—вѣкъ страданья!

Оказывается такимъ образомъ, что „блаженство“ можетъ быть получено даже отъ неизвѣстнаго за минуту передъ тѣмъ „кого-то“... Въ pendant къ этому, весталка г-жи Лохвицкой грезить во снѣ о „богѣ веселья, любви и вина“... Содержаніе стихотворенія „Мигъ блаженства“, изображающаго, какъ „любовь-чародѣйка бросила насъ въ объятья другъ друга въ полночный таинственный часъ“ и что изъ этого произошло, положительно неудобно для цитированія. Таковы же „Первый поцѣлуй“, „Я жажду знойныхъ наслажденій“ и нѣкоторые „сонеты“. Довольно сказать, что во II изъ этихъ сонетовъ „она“ гонитъ возлюбленнаго прочь отъ себя на томъ основаніи, что „зачѣмъ, молъ, напрасно страсти возбуждать и упиваться ядомъ поцѣлуя, когда... тебѣ отдаться не могу я“. Что это—цинизмъ, или институтское непониманіе?.. Бурнопламенная страстность россійской Сафо прямо необычайна для сѣвераой женщины. Стихи ея то-и-дѣло пестрятъ: „Я жажду губъ твоихъ“, „Я желала тебя“, „И сплелись мы съ собою“, „Отъ лобзаній твоихъ обезсиѣла я“, „Сжимай, обнимай горячѣй и сильнѣй“, „Темный знакъ, прожженный поцѣлуемъ (?!), я храню на мраморѣ груди“ и т. д. и т. д.

Тороплюсь сорвать запястія,
Ожерелье отстегнуть...
Неизвѣданнаго счастья
Жаждетъ трепетная грудь!

Положительно стыдно становится за неподдѣльный поэтический талантъ г-жи Лохвицкой, способной воспѣвать подобное „счастье!“ Иногда она усиленно подчеркиваетъ, что томится вовсе не жаждой земного наслажденія, что любимый человѣкъ долженъ любить ее только любовью брата и друга, но вдругъ роняетъ одно какое-нибудь неосторожное слово, одинъ эпитетъ—и подозрительно настроенный (благодаря всему предшествующему) читатель уже боится, что эти аскетическія увѣренія—одна фальшь, что и тутъ воображеніе поэта не совсѣмъ чисто.

Мнѣ донесся въ часъ заката—
Ароматъ твоихъ кудрей...
Ты меня любовью брата
Оживи и отогрѣй.

И т. д.

или:

Чтобы очи, какъ звѣзды, остались чисты,
Чтобъ несмѣтными были подъ нами цвѣты...

Въ осенней грѣзѣ у пылающаго камина ей чудится „въ потокахъ сіянья пурпурнаго мраморныхъ ногъ красота“. Почему непременно—ногъ? Неужели въ ногахъ, хотя бы и мраморныхъ, высшая человѣческая красота?..

Но довольно! Одно только добавимъ, что лично намъ во

всемъ этомъ чувствуется не столько преднамѣренный цинизмъ, сколько та наивность и умственная неразвитость, о которыхъ мы говорили выше. Г-жѣ Лохвицкой, повидимому, вообще не хватаетъ художественнаго чувства, требующаго, напр., чтобы поэтъ не рассказывалъ о собственной наружности; а г-жа Лохвицкая не только о наружности, но даже и о красѣ своей очень охотно распространяется... Именно мы узнаемъ изъ ея стиховъ, что у нея имѣются „густыя волны тяжелыхъ русыхъ косъ“, причемъ „въ каштановыхъ кудряхъ есть много прядей золотистыхъ“; она также счастливая обладательница „дѣтски-звонкаго голоса“ и „горячаго взора“. Не кажется нашей поэтессѣ зазорнымъ и собственные стихи похваливать, да еще какъ: ея строфы „звучною волною бѣгутъ, послушны и легки, свивая избранному мною благоуханные вѣнки“. Кстати, объ этомъ избранномъ, котораго г-жа Лохвицкая любитъ также называть „единственнымъ“. Обаяніе „единственного“, повидимому, неодолимо...

Встрѣчая взглядъ очей твоихъ восточныхъ,
Я жду чудесъ несбыточнаго сна.
И близостью *тидной* *полночныхъ*

(опять!)

Моя душа смятенная полна.

О, Божество мое съ восточными очами,
Мой деспотъ, мой палацъ, взгляни, какъ я слаба!

Въ густомъ шелку твоихъ рѣсницъ дремучихъ
Разсудокъ мой потерянь навсегда.

Послѣднему охотно вѣримъ, только вотъ что нужно замѣтить. Поэты очень часто воспѣваютъ физическія достоинства своихъ Лауръ и Беатриче, и мы относимся къ этому благосклонно; однако, мы чувствуемъ тошноту и отвращеніе, когда *женщина*, захлебываясь, описываетъ физическія же прелести *мужчины*. Быть можетъ, это непослѣдовательно, глупо, но такъ ужъ исторически сложились наши понятія, и поэзія-то, во всякомъ случаѣ, должна съ ними считаться.

Цѣну стихотвореній (5 руб. за три небольшихъ томика) нужно признать неумѣренной. Публика, однако, раскупаетъ ихъ хорошо; хотѣлось бы только знать: какая сторона поэзіи г-жи Лохвицкой привлекаетъ къ себѣ такое вниманіе?..

Передъ нами уже IV томъ стихотвореній г-жи Лохвицкой (1900—1902). Къ сожалѣнію, приходится констатировать, что талантливая поэтесса, повидимому, уже исчерпала свое небольшое дарованіе и вступила въ область выдумки. Думаемъ, что вся-

кій, кто прочелъ ея пятиактную драму „Безсмертная любовь“, согласится съ нами, что испытаніе это немалое... Растянутый на 132 страницы бѣлыхъ стиховъ мучительный кошмаръ, гдѣ собраны въ одну кучу всѣ мыслимые и немыслимые на свѣтѣ ужасы и пытки, какой-то злой, мрачный сонъ безъ пробужденія и, увы! безъ малѣйшей, уловимой здравымъ разсудкомъ, связывающей всѣ эти нелѣпицы идеи. Да и какъ можетъ сплошная нелѣпость вязаться съ какой-либо идеей? Она рассчитана на одно только—трепаніе нервовъ досуженныхъ и безвольныхъ людей.

Отдѣлъ мелкихъ стихотвореній въ новой книжкѣ г-жи Лохвицкой производитъ также тяжелое впечатлѣніе, хотя и въ другомъ родѣ. Не мало непріятныхъ и даже отталкивающихъ чертъ было и въ прежнихъ сборникахъ нашей поэтессы, но имѣлось въ нихъ одно безспорное достоинство: чуялось временами горячее дыханіе живой страсти, сверкали яркія, живыя краски неподдѣльной молодости. Теперь все это, словно, померкло и полиняло...

Чтобы не быть голословными, вспомнимъ стихотвореніе г-жи Лохвицкой „Я люблю тебя, какъ море“ (см. выше).

Это было когда-то... А вотъ какъ холодно и риторично воспѣваетъ наша поэтесса теперь то же чувство:

Я люблю тебя ярче *закатнаю* (?) неба огней,
Чище хлопьевъ тумана (!) и словъ сокровенныхъ нѣжнѣй,
Ослѣпительнѣй стрѣлъ, прорѣзающихъ тучи во мглѣ,
Я люблю тебя больше, чѣмъ можно любить на землѣ.
Какъ росинка, что свѣтлый въ себѣ отражаетъ зенитъ,
Я объемлю все небо любви, безпредѣльной, какъ міръ,
Той любви, что жемчужиной скрытой сіяетъ на днѣ;
Я люблю тебя глубже, чѣмъ любить въ предутреннемъ свѣ.
Солнцемъ жизни моей мнѣ любовь засвѣтила твоя.
Ты—мой день. Ты—мой сонъ (?). Ты—забвеніе отъ мукъ бытія.
Ты—кого я люблю и кому повинуюсь (!), любя.
Ты—любовью возвысившій сердце мое до себя!

Или—еще лучше:

Въ вѣнкѣ цвѣтущемъ вѣчныхъ былей (?)
Безсмертный лавръ—любовь моя!
То—бѣлизна саронскихъ лилій,
То—отблескъ ангельскихъ воскресій,
То—блескъ нагорнаго ручья.

Въ такомъ же духѣ, фразисто и вяло, написаны и всѣ остальные стихотворенія, раздѣленные на девять отдѣловъ, какъ двѣ капли воды похожихъ одинъ на другой и вычурно озаглавленныхъ: „Брачный вѣнокъ“, „На высотѣ“, „Демоны віолончели“ и пр. Пытаясь затронуть новые мотивы, наша поэтесса все топчется около набившей всѣмъ оскомину „красоты“ (спасибо еще, что не „новой“) и услаждаетъ нашъ слухъ такимъ институтски-наивнымъ лепетомъ:

Не убивайте голубей!
 Ихъ оперенье—бѣлоснѣжно (?),
 Ихъ воркованіе такъ нѣжно
 Звучитъ во мглѣ земныхъ скорбей,
 Гдѣ все—или тускло, или мятечно.
 Не убивайте голубей!
 Не обрывайте васильковъ!
 Не будьте алчны и ревнивы;
 Свое зерно дадутъ вамъ нивы
 И хватить мѣста для гробовъ.
 Мы не единымъ хлѣбомъ живы,—
 Не обрывайте васильковъ!
 Не отрекайтесь красоты!
 Она безсмертна безъ куреній;
 Къ чему ей слава пѣснопѣній
 И ваши гимны, и цвѣты?
 Но безъ нея безсиленъ геній, —
 Не отрекайтесь красоты!

„Не отрекаться красоты“ (если позволено такъ выразиться по-русски) убѣждаетъ насъ г-жа Лохвицкая, но какой же именно красоты? Какъ извѣстно, прежде воспѣвала она, и порой не безъ успѣха, красоту и любовь въ самомъ земномъ пониманіи этихъ словъ... Въ настоящее время поэтесса, какъ-будто, нѣсколько утомлена, какъ-будто хочетъ принять образъ... кающейся Магдалины. „Майскимъ днемъ, подъ грезой вдохновенья, расцвѣли въ саду моемъ цвѣты: алый макъ минутнаго забвенья, миртъ любви, фіалки отреченья (?), розы сновъ и лиліи мечты“. Но не успѣла придти осень, какъ налетѣли какіе-то злые вихри и смяли лучшіе цвѣты... А между тѣмъ, близокъ уже часъ прихода Жениха (?),—и какъ встрѣтить его бѣдная поэтесса безъ брачнаго вѣнка? И вотъ, пошла она „странницей смиренной на призывъ не меркнувшей звѣзды“. Повстрѣчался ей въ пути нѣкій „вдохновенный странникъ“ и, на просьбу указать „вѣчные сады“, отвѣчалъ таинственно и строго:

Отрекись отъ тлѣнной красоты!
 Высоко вѣдетъ твоя дорога,
 Въ свѣтлый край, въ сады живого Бога,
 Гдѣ цвѣтутъ безсмертные цвѣты.

И г-жа Лохвицкая покорно отправилась „на высоту“, какъ гласитъ одинъ изъ отдѣловъ новыхъ ея стихотвореній. Но, увы! на этой „высотѣ“, пока что, пустынно и холодно... Живыхъ цвѣтовъ поэзіи на ней не растеть...

XVII.

Т. Л. Щенкина-Куперникъ.

„Прекрасной фантазіей“ и „даромъ волшебныхъ пѣсень“, любуясь съ „живою гармоніей“ и „пламенной силой“, надѣлила судьба г-жу Щепкину-Куперникъ... по крайней мѣрѣ, по увѣренію самого автора. Чего-чего, а ужъ „нѣжности музыкальной фразы“ и „трепета пламенной мечты“ ей не занимать! „И за мои фантазіи и сказки какъ заплатили мнѣ твои уста!“—обращается поэтесса къ возлюбленному: „За поцѣлуй—чистѣйшій жаръ сонета, за трепетъ сердца—трепетъ приемъ моихъ!“ Немного странный гонораръ, не правда ли? Но, конечно, такой обмѣнъ есть дѣло вступающихъ въ соглашеніе сторонъ, и третьему человѣку тутъ нечего, собственно, дѣлать. Но, вотъ, въ другомъ стихотвореніи той же книги читаемъ:

Открою я ларецъ свой драгоцѣнный
И звонкихъ рифмъ разсыплю жемчуга,
И пусть они звенятъ по всей вселенной,
Какъ мнѣ твоя улыбка дорога!

Такъ какъ мы и себя считаемъ маленькой частицей вселенной, то здѣсь, какъ-будто, ужъ и насъ дѣло касается. Мы приглашаемъ слушать звонъ „жемчуговъ“, а, слѣдовательно, имѣемъ право и сдѣлать имъ собственную расцѣпку...

„Живая гармонія“ стиха, „нѣжность музыкальной фразы“... Превосходно, но спрашивается: зачѣмъ же при этомъ пренебреженіе къ самымъ элементарнымъ правиламъ и законамъ родного языка? Г-жа Щ.-К., напр., пишетъ:

То—ожиданіе, рой будущего гѣней,
Туда *придущихъ* сновъ, тамъ *прозвучающихъ* словъ.

Любопытно бы узнать, согласно какой грамматикѣ произведены эти причастія будущего времени?.. „И *безъ тебя* принадлежишь ты мнѣ“, пишетъ наша поэтесса въ другомъ мѣстѣ, должно быть, завидуя славѣ г-жи Лохвицкой, которой принадлежитъ безсмертное „двѣ меня“... „Ей потемнѣло все вокругъ“; „*ночь* взо-
ромъ бабушки играютъ ребятишки“; *Помни*,—въ день, когда яркое солнце цѣлый міръ озарить изъ-за тучъ,—*что*...“—подобныя перлы въ щедромъ изобиліи украшаютъ „Мои стихи“. По мнѣнію автора, сердце можно „держать рукой“, чтобы оно не выскочило изъ груди; ему кажется также, что стихотворная форма допускаетъ: „съ бѣньемъ сердца“, „тѣнистый“, „недугъ“, „окобъ“ и т. п. Встрѣчаются также стихи: „Грудь мою придавить *мраморъ* *бѣлой* *тяжестью* *своей*“,—сочетаніе словъ, которому могъ бы позавидовать и г. Бальмонтъ съ комп.

Но, разумеется, это чисто-внѣшніе недостатки, и мы торопимся перейти къ тому, что сама поэтесса называетъ „трепетомъ пламенной мечты“. Увы! пламени-то, прежде всего, и нѣтъ въ этой холодной и — *sit venia verbo* — прѣсной поэзіи... Въ самомъ дѣлѣ, не вѣстъ ли на васъ холодомъ, читатель, отъ такихъ, напр., стиховъ, обращенныхъ къ родинѣ:

Моя смиренная печальница Россія!
 Вы, рощи тихія, вы, сосны вѣковыя,
 Вы, изумрудные ковры лѣсныхъ полянъ,
 Ты, утра ранняго серебряный туманъ,
 Вы, рѣки свѣтлыя и золотыя нивы.
 О, какъ вы хороши!..

Или:

Кто слезы лилъ, кто клялъ нужду,
 О, въ наступающемъ году
 Тѣхъ съ новымъ счастьемъ!

Чувствуя пристрастіе къ гражданскимъ мотивамъ, г-жа Щ.-К. тѣшится идти по слѣдамъ Некрасова. Стремленіе, заслуживающее всяческихъ похвалъ; но въ то время, какъ стихи знаменитаго „печальника горя народнаго“ согрѣты вездѣ истиннымъ чувствомъ, звучатъ искреннимъ пафосомъ любви и гнѣва, у его современной ученицы, къ сожалѣнію, одна лишь холодная декламація. Намъ преподносятся цѣлыя газетныя передовицы въ стихахъ:

Бояться мы должны не грознаго возстанья,
 Не хитростей подпольныхъ, не враговъ.
 Бояться мы должны тяжелаго незнанія
 И вѣчнаго невѣжества оковъ.
 Не противленія власти и законамъ,
 Не смѣлыхъ подвиговъ должны бояться мы—
 Но равнодушія къ людскимъ слезамъ и стонамъ,
 Но прозябанья въ царствѣ мрачной тьмы.
 Невѣжество—вотъ врагъ непобѣдимый,
 Что родину лишаетъ лучшихъ силъ, и т. д.

Послѣ написанной полвѣка назадъ „Убогой и нарядной“ Некрасова вотъ какими вялыми и безцвѣтными стихами изображаетъ г-жа Щ.-К. ужасную долю женщины, гибнущей въ вертепахъ порока:

Она идетъ въ радушный тотъ пріютъ,
 Откуда нѣтъ спасенья и возврата,
 Въ разсадники законнаго разврата,
 Гдѣ тысячи ея (?) подобныхъ ждутъ.
 Тамъ шумъ и хототъ дикаго похмеля,
 Продажныхъ ласкъ несущій гибель ядъ.

И эта прѣсная іереміада занимаетъ 24 строки, которыя бесильно топчутся на одномъ мѣстѣ и сами себя повторяютъ:

Ихъ сотни тамъ, въ притонахъ преступленья,
Ихъ тысячи!..

Еще черезъ 10 стиховъ можно бы сказать: „десятки тысячъ ихъ и сотни тысячъ тамъ!“—но развѣ это тронуло бы чье-либо сердце?.. Врядъ-ли заслуживаютъ названія поэзии и такія, напр., вирши:

О мѣстѣ нечего ужъ было и мечтать.
Платить хозяину во что бы то ни стало;
Сверхъ этого ему на хлѣбъ едва хватало,
А часто и того не успѣвалъ достать.

Въ области „чистой“ дирики г-жа Щ.-К. не идетъ дальше избитаго шаблона: если первый куплетъ стихотворенія начинается словами „безъ лунны небеса не ясны“, а второй—„безъ цвѣтотъ нѣтъ душистой весны“, то вы, и не заглядывая въ третій, уже знаете, что тамъ будетъ—„безъ любви“... А когда авторъ восклицаетъ въ другомъ мѣстѣ: „Я хочу быть свободной, свободной“, „я умру, я умру безъ свободы!“—вы сразу чувствуете, что это только красивая фраза, взятая напрокатъ у нашихъ поэтовъ декадентскаго толка. Встрѣчаются стишки и совсѣмъ даже писарского пошиба:

Въ одни глаза я влюблена,
Я упиваюсь ихъ игрою.
Какъ хороша ихъ глубина...
Но чьи они—я не открою! и т. д.

Абсолютно ли, однако, лишена г-жа Щ.-К. поэтического дарованія? Отнюдь нѣтъ. Правда, рѣдко, но ей удаются все же и красивые, сильныя вещи. Выдается въ этомъ отношеніи стихотвореніе „Неурожай“:

Истощена земля, не въ силахъ хлѣба дать.
Напрасно къ небу шлютъ моленья люди.
Несчастная примолкла, точно мать,
Которая боится зарыдать,
Держа ребенка у изсохшей груди.
А онъ—виновный безъ вины—
Страдаетъ, плачетъ онъ, не зная,
За что его караетъ грудь родная...
Такъ плачетъ и народъ моей страны.
Съ отчаяньемъ его рыданьямъ внимаю...
Повсюду слезы, слезы... Сколько ихъ!
Но, видно, мало слезъ людскихъ,
Чтобъ напоить сухую землю!

Правда, и это маленькое стихотвореніе не строго выдержано (можно бы отмѣтить 2—3 вялыхъ или лишннихъ стиха), но отъ основного образа вѣетъ красотой и сердечностью. Другихъ такихъ же стихотвореній въ книжкѣ, къ сожалѣнію, нѣтъ (хотя недурны,

напр., „Куранты“, „На кладбищѣ“, „Сказка луннаго луча“), и характерной чертой поэзіи г-жи Ш.-К. остается не задѣвающая за живое декламація. Къ этому слѣдуетъ прибавить, что, не смотря на пристрастіе къ гражданскимъ темамъ, міровоззрѣніе нашей поэтессы не можетъ быть названо широкимъ; общественные идеалы ея не выходятъ за черту филантропическаго сентиментализма.

Все просто, ясно все! Прочь міръ кошмаровъ смутный!
И тайный голосъ мнѣ твердитъ:—Живи, живи!
Люби свой милый трудъ, свой уголокъ уютный,
Ни счастья яркаго, ни тайны не зови.
Но все (?) люби кругомъ; въ покоѣ повседневномъ
Всѣхъ, кто придетъ къ тебѣ съ отчаяньемъ душевнымъ.
Съ тоскою горькихъ слезъ—посильно облегчи,
И въ этомъ ты найдешь поэзіи лучи.

Завидная, по-истинѣ, доля! Есть у человѣка „милый“ трудъ, есть и „уютный“ уголокъ; наслаждаясь „повседневнымъ покоемъ“, онъ „посильно“ облегчаетъ приходящихъ къ нему (sic!) несчастныхъ и обиженныхъ и... въ этомъ занятіи находитъ „поэзіи лучи“! Добрый паничка-мальчикъ или паничка-дѣвочка за свою доброту получаютъ каждый разъ конфетку! Мы думаемъ только, что поэзія, воспѣвающая такое счастье, есть не болѣе, какъ сладкая розовая водица...

Вторая половина сборника состоитъ изъ рассказовъ въ стихахъ,—это излюбленный г-жей Ш.-К. родъ поэзіи. Но и какъ эпическій поэтъ, она представляется намъ въ томъ же освѣщеніи. Въ одномъ изъ лучшихъ рассказовъ („Пѣсенка дровъ“) старому, одинокому богачу горящія въ каминѣ дрова напѣваютъ разнаго рода упрёки: даромъ прожилъ онъ жизнь, никого и никогда не обогрѣлъ... Старикъ выходитъ тогда на улицу и, встрѣтивъ двухъ нищихъ малютокъ, заводитъ ихъ въ трактиръ, гдѣ и угощаетъ сытнымъ ужиномъ. Когда дѣти собираются послѣ того снова исчезнуть въ холодъ и мракъ столичнаго омута, онъ приглашаетъ ихъ къ себѣ.

«Да мы... пожалуй, что жъ... Чуръ, только насъ не бить!»

— Нѣтъ, нѣтъ... Придется вамъ другому научиться...

«Чему же? Я готовъ... Съ ней (указывая на сестренку) не пришлось бы биться».

— Нѣтъ... научу я васъ... «Чему?»—Меня любить!..

Эффектъ во вкусѣ идиллій Виктора Гюго. Но г-жа Ш.-К. не умѣетъ быть краткой и размазываетъ свой скромный сюжетъ на 270 строчекъ, недостаточно яркихъ и мѣстами прозаичныхъ.

Мелодрамой отдаетъ отъ другихъ рассказовъ. Женщину-врача призываютъ къ больному ребенку. Опытный глазъ сразу подсказываетъ ей, что единственнымъ спасеніемъ можетъ быть немедленная операція. Мать на все согласна; она молить, плачетъ, цѣлуетъ доктору руки... Вдругъ приходитъ отецъ, и женщина, въ

рукахъ которой находится теперь жизнь его ребенка, узнаетъ въ немъ человѣка, разбившаго нѣкогда ея счастье, обманувшаго ея любовь. „Да, да, пришла расплата! Я накажу его спокойно, какъ палачъ,—уйду!“ Но вотъ раздался дѣтскій плачь...

И, мать несчастную съ колѣнъ приподнимая,

Вся краскою стыда и боли залитая,

Она промолвила: «Не бойтесь ничего (?),

Ребенокъ будетъ живъ, я вамъ спасу его.»

Или вотъ, напр.,—„Христосъ“. Въ пасхальную ночь крестьяне избиваютъ до полусмерти пойманнаго конокрада. Стоны его услышала слѣпая, выжившая изъ ума старуха и приняла за стоны замученнаго врагами Христа. Съ помощью своей дочери и ея жениха она перенесла избитаго конокрада въ свою избушку, и когда на другой день несчастный, придя въ себя, узналъ, за кого былъ принять, то

... озвѣрѣлый волкъ заплакалъ, какъ дитя,

И въ свѣтѣ неземномъ и въ славѣ небывалой

Христосъ, Христосъ воскресъ въ душѣ его усталой!

Такъ же „правоучительны и чинны“ и остальные рассказы, и при этомъ всѣ они—длинные, длинные, длинные!..

XVIII.

Г. А. Галина.

Въ туманныхъ дебряхъ современнаго російскаго стихослагательства цѣлыми годами тщетно ищешь искорки настоящей поэзіи. Точно комары надъ болотомъ, надоѣдливо-монотонно, безцвѣтно-скудно жужжать и звенять наши безчисленные, какъ комары же, виршеплеты—и какую радость испытываетъ читатель, цѣнящій и любящій поэзію, всякій разъ, когда среди этого нестройнаго, слухъ раздражающаго хора неожиданно раздастся, хотя бы слабый и робкій, но живой и искренній звукъ. Точно веселый лучъ солнца ворвется вдругъ въ сѣрую, залитую скукой и холодомъ, жизнь! Такое именно впечатлѣніе производитъ небольшой томикъ стиховъ г-жи Галиной (1902). Очень скромная, правда, узенькая полоска свѣта, но источникъ ея—настоящая, неподдѣльная поэзія.

Передъ нами,—выражаясь точно,—даже не „стихотворенія“, не то, что всѣ привыкли разумѣть подъ этимъ словомъ. Стихотворение есть плодъ искусства; въ созданіи его непременно участвуетъ и сознательный расчетъ художника. Короткія, пѣвучія

строчки г-жи Галиной скорѣе слѣдуетъ называть „пѣснями“: онѣ льются такъ же свободно и непосредственно, какъ трели поющей на зарѣ птицы. „Я пою свободная, какъ птица, жизнь безъ пѣсенъ станетъ мнѣ темна“—говорить про себя и сама поэтесса. Легкость и музыкальность ея стиха временами удивительна; кажется, будто автору не стоило ни малѣйшаго труда сдѣлать его такимъ, каковъ онъ есть. Правда, звучный стихъ не такая ужъ большая рѣдкость у современныхъ поэтовъ, особенно изъ декадентскаго лагеря, но тамъ эта легкозвучность достигается съ помощью полнаго почти отреченія отъ здраваго смысла: „голубой пѣвецъ“, „громкозвучная тишина“ и чуть ли не „каменное дерево“—все это такія вещи, передъ которыми въ этомъ лагерѣ не принято отступать, и не мудрено, если цѣною такого обращенія съ логикой и языкомъ вышняя структура стиха достигаетъ порою дѣйствительно высокой степени музыкальности. Г-жа Галина, по счастью, не декадентка, она не особенно гонится даже за богатыми рифмами, и одно изъ главныхъ достоинствъ ея поэзіи—простота рѣчи, образовъ, всѣхъ средствъ, которыми она производитъ свои эффекты.

Какъ хорошо... Взгляни, вдали
Огнемъ горить рѣка;
Цвѣтнымъ ковромъ луга леги,
Бѣлѣютъ облака.
Здѣсь нѣтъ людей... Здѣсь тишина...
Здѣсь только Богъ да я.
Цвѣты, да старая сосна,
Да ты, мечта моя!

Не говоря уже о мелодичности этихъ стиховъ, какъ они, въ самомъ дѣлѣ, безыскусственны! Или, напр., эти:

На языкѣ твоємъ родномъ
Я говорить хочу...
Я говорить хочу о томъ,
О чемъ пока молчу.
На языкѣ твоємъ родномъ
Словечко есть одно:
Нигдѣ въ нарѣчій иномъ
Такъ не звучитъ оно!
И знаю я, что только въ немъ
Всю душу изолю,
На языкѣ твоємъ родномъ
Сказавъ тебѣ: «Люблю!»

Никакихъ особенныхъ ухищреній („изолю“ не совсѣмъ даже ладно рифмуется съ „люблю“), а между тѣмъ, слова этой пѣсни такъ и просятся на музыку... Правда, и сюжетъ приведенныхъ стихотвореній довольно элементаренъ; большинство затрагиваемыхъ молодой поэтессой темъ, къ сожалѣнію, вообще не отли-

чается новизной или глубиной содержанія. При всей музыкальности формы, образы ея довольно монотонны и бѣдны; бѣденъ и самый словарь, въ которомъ „ели“, „сирени“, „лепестки“ и „уголки“ повторяются несчетное число разъ... Родная природа, красота скуднаго сѣвернаго пейзажа, чувство сліянія съ жизнью природы мечтательной женской души—вотъ чѣмъ охотнѣе всего вдохновляется ея муза. Прибавьте къ этому два—три другихъ родственныхъ мотива,—жуткое чувство одиночества, страхъ передъ людьми, способными грубой рукой коснуться душевнаго міра поэта, и въ то же время жажда людскаго участія, жажда любви,—и передъ вами, собственно говоря, вся поэзія г-жи Галиной въ моментъ ея настоящаго развитія. Конечно, этого слишкомъ мало, чтобы „ударять по сердцамъ“, и желательно, чтобы молодой, симпатичный талантъ выросъ въ сторону идейнаго содержанія. Что послѣднее возможно, показываетъ, напр., большая пьеса „Искушеніе“, отличающаяся довольно сложнымъ содержаніемъ и, однако, выполненная вполне удачно. Напомнимъ также очень недурную пѣсню о рубкѣ „молодого, зеленаго лѣса“... Будемъ надѣяться, что г-жа Галина освободится и отъ нѣкоторыхъ довольно существенныхъ недостатковъ,—напр., отъ той наивной, почти дѣтской сентиментальности, которая изрѣдка можетъ нравиться, но въ большомъ количествѣ становится приторной...

О старомъ и новомъ настроеніи *).

I.

Въ 1834 году на страницахъ „Молвы“ появилась статья неизвѣстнаго до тѣхъ поръ критика Бѣлинскаго—„Литературныя Мечтанія“. Необыкновенную сенсацію произвело категорическое утвержденіе молодого писателя, что въ Россіи нѣтъ литературы...

Въ самомъ дѣлѣ, если и теперь еще не одинъ юноша серьезно взволнуется, услышавъ, что литература, обладавшая уже Ломоносовымъ, Державинымъ, Фонвизиннымъ, Крыловымъ, Жуковскимъ, Батюшковымъ, Грибоѣдовымъ, Пушкинымъ (самимъ Пушкинымъ!) и первыми сочиненіями Гоголя, не имѣла права называться „литературой“, то можно представить себѣ, что должны были испытывать наши дѣдушки и бабушки, услышавъ подобную ересь! Вообразимъ только, что въ наши дни явился бы дерзновенный критикъ, который печатно объявилъ бы: „Да вѣдь и теперь дѣло обстоитъ немногимъ лучше! У насъ по прежнему нѣтъ еще литературы“. Что сказали бы мы на это? Какимъ убивающимъ ироническимъ взглядомъ смѣрили бы подобнаго чудака? Именно плодомъ страсти къ чудачеству, къ оригинальничанью сочли бы мы, навѣрное, подобное утвержденіе. Какъ! у насъ нѣтъ литературы, когда даже тамъ, на гордомъ Западѣ, въ Лондонѣ и Парижѣ, художественная литература наша гремитъ и вѣнчается лаврами, когда писателей въ родѣ Толстого, Тургенева и Достоевскаго сама европейская критика приняла уже въ сонмъ вѣковыхъ корифеевъ? А развѣ у насъ только и свѣта въ окошкѣ, что Тургеневъ, Толстой да Достоевскій? Вѣдь за тѣ десятки лѣтъ, что

*) Настоящія замѣтки писались нѣсколько лѣтъ назадъ, но положеніе русской литературы въ общемъ съ тѣхъ поръ мало измѣнилось,—напротивъ, нѣкоторыя отмѣченныя нами черты даже усилились.—Къ поэзіи (которой, главнымъ образомъ, посвящена предлагаемая книга) замѣтки эти не имѣютъ прямого отношенія, но изъ нихъ яснѣе видна основная точка зрѣнія автора на вопросы искусства.

протекли со времени написанія „Литературныхъ мечтаній“, мы видѣли такихъ еще великановъ-художниковъ, какъ Лермонтовъ, Кольцовъ, Гоголь „Ревизора“ и „Мертвыхъ душъ“, Гончаровъ, Некрасовъ, Островскій, Щедринъ, Глѣбъ Успенскій, а въ публицистикѣ и критикѣ имѣли самого Бѣлинскаго, Герцена, Чернышевскаго, Добролюбова и т. д., и т. д. Это ли не имена, это ли не литература?..

Мы не хотимъ оригинальничать, не хотимъ огорчать почтенныя патріотическія чувства, и потому не выразимся такъ прямо и рѣзко: „у насъ все еще нѣтъ литературы!“ Не скроемъ, однако, что чтеніе „Литературныхъ мечтаній“ вызываетъ въ насъ каждый разъ глубокую грусть, такъ какъ сама собою напрашивается параллель между состояніемъ нашей литературы въ серединѣ 30-хъ годовъ и въ настоящее время.

Строго говоря, утвержденіе Бѣлинскаго было, конечно, парадоксомъ даже и для 1834 года, хотя въ горечи этого парадокса было много вѣрнаго и справедливаго. Припомнимъ прежде всего, въ какихъ именно выраженіяхъ высказанъ былъ взглядъ Бѣлинскаго, такъ возмущившій патріотовъ того времени. Какъ понималъ онъ самое слово „литература“?

„Одни говорятъ,—пишетъ Бѣлинскій,—что подъ литературой какого-либо народа должно разумѣть весь кругъ его умственной дѣятельности, проявившійся въ письменности“. Согласно такому пониманію, и крестовый календарь будетъ, конечно, явленіемъ литературнымъ, но само собою разумѣется, что Бѣлинскій далекъ отъ такого пониманія. „Другіе подъ словомъ „литература“ понимаютъ собраніе извѣстнаго числа изящныхъ произведеній, т. е., какъ говорятъ французы, *chef—d'oeuvres de littérature*“. Ну, разумѣется, и такое пониманіе не могло бы лишить насъ литературы ни въ 1834, ни, тѣмъ болѣе, теперь, когда мы обладаемъ довольно большимъ числомъ „изящныхъ произведеній словесности“. „Но есть еще третье мнѣніе,—продолжаетъ Бѣлинскій,—мнѣніе, непохожее ни на одно изъ обоихъ предыдущихъ, мнѣніе, вслѣдствіе котораго литературой называется собраніе такого рода художественныхъ словесныхъ произведеній, которыя суть плодъ *свободнаго вдохновенія* и дружныхъ (хотя и не условленныхъ) усилій людей, созданныхъ для искусства, дышащихъ для одного его и уничтожающихся внѣ его, *вполнѣ выражающихъ и воспроизводящихъ въ своихъ изящныхъ созданіяхъ духъ того народа, среди котораго они рождены и воспитаны, жизнью котораго они живутъ и духомъ котораго дышатъ, выражающихъ въ своихъ творческихъ произведеніяхъ его внутреннюю жизнь до сокровеннѣйшихъ глубинъ и біений* (курсивъ нашъ). Въ исторіи такой литературы нѣтъ и не можетъ быть скачковъ; напротивъ, въ ней все послѣдовательно, все естественно, нѣтъ никакихъ насильственныхъ или принужденныхъ переломовъ, происшедшихъ отъ какого-либо чуждаго вліянія“. И ниже критикъ прибавляетъ: „Литература

непремѣнно должна быть народной, если хочетъ быть прочной и вѣчной“.

Вотъ точка зрѣнія Бѣлинскаго, и если хотите—она, повторяемъ, нѣсколько парадоксальна. Не говоримъ уже о странности требованія, чтобы писатель „дышалъ для одного искусства и уничтожался вмѣстѣ его“,—требованія, которое, въ связи съ поставленной въ скобки оговоркой, что дружныя усилія литераторовъ не должны быть заранее условленными, быть можетъ, объяснялось отчасти цензурными условіями времени; но если и съ остальными требованіями подойти къ любой изъ современныхъ литературъ Запада (хотя бы, напр., французской), то и про нее вѣдь можно будетъ сказать, что она не воспроизводитъ *вполнѣ* духъ своего народа, не выражаетъ въ своихъ творческихъ созданіяхъ его внутреннюю жизнь *до сокровеннѣйшихъ глубинъ и біеній*.. Неужели же, въ самомъ дѣлѣ, недавній декадентскій разливъ французской литературы выражалъ собою „духъ“ большинства французскаго народа? Большинство французской интеллигенціи — это еще возможно, но, какого бы низкаго мнѣнія ни держался кто о французскомъ народѣ, врядъ ли онъ рѣшится сказать, что большинство его—декаденты... Въ исторіи всякой литературы возможны временныя „скачки“, болѣзни, заблужденія, паденія и подъемы, и врядъ ли отыщется какая-нибудь въ мірѣ литература, гдѣ все и всегда идетъ послѣдовательно и естественно. Въ этомъ отношеніи Бѣлинскій, несомнѣнно, увлекается.. И, тѣмъ не менѣе, въ словахъ его заключается большое зерно правды. Литература, прежде всего, должна быть, конечно, плодомъ „свободныхъ вдохновеній“, потому что если оды поэтовъ и статьи публицистовъ станутъ сочиняться по чьему-либо заказу, то совокупность такихъ произведеній, хотя бы и очень изящныхъ, ни въ какомъ случаѣ не будетъ достойна названія литературы. Вполнѣ или не вполнѣ, до сокровеннѣйшихъ или хотя только до главнѣйшихъ біеній, но литература, достойная этого имени, должна всетаки отражать духовную фizioномію своего народа и своего вѣка, должна страдать ихъ страданіями, радоваться ихъ радостями, дышать ихъ потребностями: въ противномъ случаѣ она будетъ экзотическимъ растеніемъ, быть можетъ, и полезнымъ, но не больше, чѣмъ бываетъ полезенъ „лѣтомъ вкусный лимонадъ“.

И вотъ, если съ этой точки зрѣнія, на которой, думается намъ, долженъ стоять всякій критикъ и историкъ литературы, посмотрѣть хотя бы на современную „словесность“ русскую, то, право, грустные размышленія полѣзутъ въ голову... Есть ли современная литература русская плодъ „свободныхъ“ вдохновеній, чуждыхъ всякихъ независящихъ, внѣшнихъ вліяній и условій? Удовлетворительно ли отражаетъ она внутреннюю жизнь своего народа? Можно ли назвать ее органомъ общественнаго самосознанія, связаннымъ кровною связью съ родной почвой, а не являющимся на ней лишь чужеяднымъ наростомъ, который можно и удалить безъ особыхъ поврежденій для организма?..

Откровенно сознаемся, у насъ не хватитъ смѣлости и сердечной легкости утвердительно отвѣтить на эти простые вопросы. Нѣтъ, мы думаемъ, что и теперь, какъ 70 лѣтъ назадъ, Бѣлинскій могъ бы написать свою грустную „элегію въ прозѣ“, и что теперь она была бы даже много грустнѣе... Помните ли, читатель, какимъ пламеннымъ призывомъ къ работѣ, какими ободряющими словами надежды и вѣры заканчивалъ онъ свои „Литературныя мечтанія“: „Она наступитъ (эпоха настоящаго искусства), будьте въ томъ увѣрены! Но для этого надо сперва, чтобы у насъ образовалось общество, въ которомъ бы выразилась фizioномія могучаго русскаго народа; надобно, чтобы у насъ было просвѣщеніе, созданное нашими трудами, возвращенное на родной почвѣ“. *«У насъ нѣтъ литературы: я повторяю это съ восторгомъ, съ наслажденіемъ, ибо въ этой истинѣ вижу залогъ нашихъ будущихъ успѣховъ»*. „Дай Богъ, чтобы поскорѣ всѣ разувѣрились въ нашемъ литературномъ богатствѣ! Благородная нищета лучше мечтательнаго богатства! Придетъ время—просвѣщеніе разольется въ Россіи широкимъ потокомъ, умственная фizioномія народа выяснится, и тогда наши художники и писатели будутъ на всѣ свои произведенія налагать печать русскаго духа“.

Видите ли, Бѣлинскій „съ восторгомъ, съ наслажденіемъ“ повторяетъ свой печальный выводъ объ отсутствіи у насъ литературы. Въ наше время такой восторгъ показался бы нѣсколько страннымъ, но именно такъ долженъ былъ чувствовать юный левъ литературы, на зарѣ ея исторіи начинавшій свой славный путь. Литературы еще нѣтъ — но она будетъ! И это даже къ лучшему, что ея нѣтъ: тѣмъ болѣе гордыя надежды можно питать на ея будущее!.. Ну, а что же теперь сказалъ бы онъ? Каковы теперь были бы заключительныя слова его „элегіи въ прозѣ“?

Правда, стоя одной ногой на почвѣ XX вѣка и оглядываясь на огромный, пройденный съ 34 года русской литературой путь, Бѣлинскій съ справедливой гордостью могъ бы указать на рядъ знаменитыхъ и даже великихъ именъ, произведенныхъ ею; больше того — онъ могъ бы указать на годы и даже на цѣлыя десятилѣтія, когда въ литературѣ нашей господствовало необычайное оживленіе, и казалось, что вотъ она уже прочно вросла въ почву родной земли, соединяется съ нею органическими, кровными узами... Да, временами казалось такъ. Но превращались ли свѣтлыя мечты въ дѣйствительность? Увы! „знаменитыя“ и „великія“ имена проносились яркими метеорами, воочию показывая намъ,

Что можетъ собственныхъ Платоновъ
И быстрыхъ разумомъ Невтоновъ
Россійская земля рождать;

проносились — и гасли одинъ за другимъ, такъ до сихъ поръ и не создавъ кровной, органической связи между литературой и жизнью. Какъ прежде, такъ и теперь, писатель нашъ продолжаетъ „пописывать“, а читатель „почитывать“, и одно ничуть не обуславливаетъ другого: писатель часто такое пописываетъ, чего читателю и читать вовсе неохота... Литературы въ истинномъ, высокомъ смыслѣ этого слова такъ и не создалось. И не въ томъ, по нашему мнѣнiю, главная бѣда, что послѣднiя пятнадцать-двадцать лѣтъ были такъ изумительно, такъ рѣдко безплодны и безсильны на созданiе гениальныхъ писателей, отмѣчающихъ своимъ именемъ цѣлую эпоху. Нѣтъ, бѣда и горе въ томъ, что въ литературѣ нашей, какъ будто, изсякъ или почти ужъ изсякаетъ живой источникъ, изъ котораго она должна пить жаждущую мысль общества, что даже и существуетъ-то она, повидимому, больше для формы, точно по инерцiи, нежели по необходимости, нежели изъ живой потребности дня. Загляните въ современные журналы: какiя животрепещущiя темы, облитыя жаромъ и пыломъ рвущейся наружу общественной мысли, затрагиваютъ наши талантливѣйшiе публицисты и критики? Почему лучшiе изъ беллетристовъ пишутъ такъ мало и неохотно, и почему въ такомъ ходу теперь у нашихъ художниковъ изображенiе разныхъ далекихъ окранныхъ, незнакомыхъ и чуждыхъ нравовъ, обстановокъ, условiй жизни? Почему наши поэты... Ахъ, да мы вѣдь давно уже и представить себѣ не въ состоянiи, чтобы стихи (какое это смѣшное слово стало—*стихи*!) могли „ударить по сердцамъ съ невѣдомою силой“!

Правда, насъ упрекаютъ въ излишнемъ пессимизмѣ; намъ указываютъ, что жалобы на оскуднѣнiе талантовъ въ литературѣ теперь чуть ли не болѣе, чѣмъ когда-либо, произвольны; приводятъ десятки именъ несомнѣнно даровитыхъ „молодыхъ“ беллетристовъ, среди которыхъ есть даже высокоталантливые, а также поэтовъ, у которыхъ нельзя отрицать искры Божiей, и спрашиваютъ: да какого же рожна вамъ еще надо?—Но вѣдь „талантовъ“ мы и не думали никогда отрицать. Конечно, гг. Минскiй, Бальмонтъ, Мережковский, Фофановъ и даже Сологубъ поэты не безъ дарованiй; конечно, г. Горькiй и г-жа Микуличъ беллетристы очень талантливы; конечно, г. Чеховъ извѣстенъ уже и за-границей, какъ гордость современной литературы... „Недѣля“ провозгласила его даже великимъ писателемъ... Все это прекрасно. Но посмотрите, господа, о чемъ поютъ, что изображаютъ всѣ эти поэты и беллетристы. Не сожметса ли у васъ сердце отъ жалости и боли при видѣ того, какъ въ концѣ столѣтiя, подарившаго намъ столько великихъ, столько полныхъ огня и энергiи образцовъ поэзiи, наши молодые поэты такъ минорно, такъ безнадежно настроены, полны такого невѣрiя въ силы и будущее своей родины? Откуда взялся этотъ мрачный скептицизмъ, это холодное отчаянiе? Почти 60 лѣтъ назадъ вели-

кій русскій поэтъ, приходя въ ужасъ отъ современной ему, на самомъ дѣлѣ ужасной, дѣйствительности, негодуя на свое „къ добру и злу равнодушное“ поколѣнiе, не терялъ всетаки вѣры въ торжество добра и правды, съ надеждой обращался къ суду потомства.

И прахъ нашъ, съ строгостью судьи и гражданина,
Потомокъ оскорбить презрительнымъ стихомъ,
Насмѣшкой горькою обманутаго сына
Надъ промотавшимся отцомъ!..

Другой знаменитый поэтъ, 35 лѣтъ тому назадъ, писалъ:

Да не робѣй за отчизну любезную...
Вынесъ достаточно русскій народъ,
Вынесетъ все, что Господь ни пошлетъ!
Вынесетъ все—и широкую, ясную
Грудью проложить дорогу себѣ!

Наконецъ, еще позже, послѣднiй изъ поэтовъ, достойный этого имени, говорилъ:

Другъ мой, братъ мой, усталый, страдающiй братъ,
Кто-бъ ты ни былъ, не падай душой!
Пусть неправда и зло полновластно царятъ
Надъ омытой слезами землею,
Пусть разбить и поруганъ святой идеалъ
И струится невинная кровь:
Вѣрь, настанетъ пора—и погибнетъ Ваалъ.
И вернется на землю любовь!

А вотъ что пишетъ поэтъ второй половины 80-хъ годовъ:

Какъ прежде, въ рай земной насъ больше не влекутъ
Ни солнце знанiя, ни зарево свободы.
Отрады нѣтъ ни въ чемъ—ни въ грезахъ дѣтскихъ лѣтъ,
Ни въ скорби призрачной, ни въ мимолетномъ счастьи.
Даетъ ли юноша въ любви святой обѣтъ,
Не вѣрь: какъ зимнiй вихрь, его безплодны страсти.
Твердить ли гражданинъ о жертвахъ и борьбѣ,
Не вѣрь—и знай, что онъ не вѣритъ самъ себѣ!
Бороться—для чего? Чтобъ труженикъ злосчастный
По тернiямъ прошелъ къ вершинѣ нашихъ благъ
И водрузилъ на ней печали нашей стягъ,
Иль знамя ненависти страстной?
Любить людей—за что?..

Точь въ точь такое же презрѣнiе къ „борьбѣ“, ко всѣмъ завѣтамъ и идеаламъ недавняго прошлаго находимъ и у болѣе молодого изъ современныхъ поэтовъ, отмѣченныхъ печатью „таланта“:

Среди другихъ обманчивыхъ утѣхъ
Есть у меня завѣтная утѣха—

Забуть, что значить плачь, что значить смѣхъ,
 Будить въ горахъ грохочущее эхо
 И въ бурю созерцать, подъ громъ и вой,
 Величіе пустыни міровой.

Какая, по истинѣ, странная метаморфоза произошла съ русскимъ поэтомъ!

Бывало, мѣрный звукъ его могучихъ словъ
 Воспламенялъ бойца для битвы,

а нынче онъ лишь „будить въ горахъ грохочущее эхо“!.. И для того, чтобы совершилась эта метаморфоза, понадобилось пять-шесть десятилѣтій того самаго вѣка, который славится своимъ прогрессомъ. Вотъ и вѣрьте послѣ того въ прогрессъ! Или, быть можетъ, прогрессъ россійской дѣйствительности былъ настолько огроменъ за эти десятилѣтія, что не стало, наконецъ, ни малѣйшей надобности ни въ какихъ „битвахъ“, что уже „воплощенъ завѣтный идеалъ“, и вмѣсто традиціоннаго терноваго вѣнка поэтъ нашъ получилъ законное право увѣнчиваться лаврами и миртами и пѣть, о чемъ ему Богъ на душу положить, хотя бы и о грохочущемъ въ горахъ эхо? Неужели такъ?

Кинемъ бѣглый взглядъ и на современныхъ художниковъ прозаиковъ. О чемъ они пишутъ, какими скорбями они страдаютъ? Какъ относятся, хотя бы, напр., къ родному народу?

Глѣбъ Успенскій, крупнѣйшій художникъ предшествующей эпохи, зналъ свой народъ и далеко его не идеализировалъ, но русскій народъ очерковъ Успенскаго и, напр., „Мужиковъ“ г. Чехова—совершенно разныя вещи. Съ одной стороны, передъ нами крестьянинъ-человѣкъ, со всѣми недостатками и пороками, свойственными живому человѣку (поставленному, къ тому же, въ страшно ненормальныя жизненныя условія), а съ другой—крестьянинъ-скотина... Даже не „святая“, а просто скотина... Мы не думаемъ, конечно, отрицать большого, даже огромнаго художественнаго дарованія г. Чехова, но для насъ важно отмѣтить здѣсь настроеніе современнаго писателя и сравнить его съ настроеніемъ писателя предшествующаго поколѣнія, полнаго любви къ народу и вѣры въ народъ. Редакція „Русской Мысли“, гдѣ первоначально помѣщены были „Мужики“ г. Чехова, въ одной изъ позднѣйшихъ книжекъ сдѣлала поясненіе, какъ глядѣла она на вопросъ, печатая у себя произведеніе талантливаго писателя: по ея мнѣнію, г. Чеховъ вовсе и не думалъ рисовать типичную фізіономію русскаго крестьянина, а хотѣлъ только сказать намъ: „Смотрите, каковы *бываютъ* на Руси мужики подъ гнетомъ нужды и невѣжества, смотрите и ужасайтесь“. Странное объясненіе! Но если оно вѣрно, то для чего же далъ г. Чеховъ своему разсказу столь обобщающее названіе (коротко вѣдь и ясно: „Му-жи-ки!“)? Хорошо, впрочемъ, извѣстно, что и культурная жизнь, и интеллигентные слои рус-

скаго народа производить въ изображеніяхъ г. Чехова впечатлѣніе не менѣе тяжелой тоски и безнадежности. „Скучно на этомъ свѣтѣ, господа!“—закончилъ Гоголь одинъ изъ своихъ рассказовъ. Г. Чеховъ могъ бы взять эпиграфомъ ко всѣмъ своимъ произведеніямъ слова: „Пошло, гадко на этомъ свѣтѣ, господа!“ Подобно своему современнику-поэту, ни въ чемъ и нигдѣ не видитъ онъ отрады, „ни въ солнцѣ знанія, ни въ заревѣ свободы“; даже „милолетное счастье“ всегда отравлено у его героев какими-нибудь пошленькими и гаденькими привкусами; о борьбѣ за идеалъ, за далекое счастье людей-братьевъ герои его, какъ-будто, и не слышали... А вѣдь г. Чеховъ—одна изъ центральныхъ фигуръ современной художественной литературы! *).

Возьмемъ ли, далѣе, такой вѣковѣчный мотивъ поэзіи и искусства, какъ мученія и радости личной любви, мы и тутъ увидимъ, что нынѣшніе беллетристы совсѣмъ не такъ разрабатываютъ его, какъ писатели прежнихъ поколѣній. Вспомните любовь молодыхъ дѣвушекъ въ произведеніяхъ Тургенева, вспомните эти мечты, залитыя волшебнымъ луннымъ свѣтомъ, эти гордые порыванія въ высь, эту героическую готовность на жертву и подвигъ. Даже и въ тѣхъ случаяхъ, когда счастье любви омрачается облакомъ скорби, какимъ благоуханнымъ цвѣткомъ поэзіи развертывается передъ нами юношески-чистая, прекрасная и *сильная* душа тургеневской дѣвушки, какъ возвышаетъ и окрыляетъ чтеніе этихъ трогательныхъ и глубоко-поэтическихъ рассказовъ о любви! Прочтите же теперь, хотя бы, рассказъ „Черемуха“, принадлежащій перу современной писа-

*) Въ статьѣ «Что такое земледѣльческіе идеалы» («Начало», апр.) г. Богучарскій напомнилъ намъ о «Деревнѣ» Григоровича, также имѣющей обобщающее заглавіе и также, будто бы, доказывающей глубокую безчужденность и совершенное отсутствіе нравственнаго смысла въ народномъ быту. «Ни состраданія, ни раскаянія, ни страха (?), ни даже живой привязанности между единокровными—авторъ ничего не нашелъ въ русской «деревнѣ»—цитируетъ г. Богучарскій изъ «Москвитянина», писавшаго въ оно время о повѣсти Григоровича. Оставимъ въ сторонѣ критику «Москвитянина», что завело бы насъ слишкомъ далеко, оставимъ въ покоѣ и самого Бѣлинскаго, великую тѣнь котораго г. Б. также счелъ нужнымъ потревожить, сдѣлавъ изъ него сомнительно подходящіе выписки,—скажемъ нашему критику лишь слѣдующее: Григоровичъ изображалъ, прежде всего, русскую деревню крѣпостной эпохи, когда Россія, по выраженію поэта, была «глубоко-несчастной страной, подавленной, рабски-безсудной», а это, по нашему мнѣнію, очень много значитъ. Но самое главное—въ его повѣсти нѣтъ и тѣни противопоставленія (въ худшую сторону) деревни городу; напротивъ, онъ рѣзко подчеркиваетъ, что развратъ приходитъ въ деревню съ фабрики, что основныя причины мужицкаго невѣжества, пьянства, безпричинной злобы и насильничества, всего этого мрака и ужаса лежатъ не въ самомъ народѣ, не въ деревнѣ: вѣдь деревней же создана и симпатичная героиня рассказа?... Страннымъ показалось намъ также замѣчаніе, будто въ своей замѣткѣ мы присоединились къ «хору хулителей г. Чехова».

тельницы г-жи Микуличъ и тоже посвященный изображенію любви молодой дѣвушки. Конечно, мы и не думаемъ приравнивать талантъ г-жи Микуличъ къ тургеневскому, но нельзя все-таки отрицать, что это одно изъ украшеній современной беллетристики, и, очевидно, не въ однихъ только размѣрахъ таланта кроется причина того, что по прочтеніи „Черемухи“ читатель чувствуетъ себя не просвѣтленнымъ, не поднятымъ къ небу, а, напротивъ, точно надломленнымъ, пришибленнымъ, пристыженнымъ... Отчего же это происходитъ? Героиня г-жи Микуличъ тоже вѣдь чиста и прекрасна, исторія ея первой нераздѣленной любви тоже такъ поэтична и трогательна? Причина—въ совершенно другомъ настроеніи автора. „Черемуха“—это повѣсть молодости слабой и робкой, любви, безъ всякой активной борьбы отдающейся „въ пошлой лѣни усыпляющему“ житейскому опыту. Это молодость и любовь времени общественной апатіи и упадка душевныхъ силъ, коснувшаяся, очевидно, и самого автора...*)

Темъ любви, впрочемъ, вообще не везетъ въ нынѣшней беллетристикѣ. Наиболѣе крупные и чуткіе таланты, какъ будто, даже намѣренно избѣгаютъ этой вѣковѣчной и, повидимому, столь благодарной для художниковъ темы. Невольно возникаетъ вопросъ—почему? И почти также невольно является отвѣтъ: да потому, вѣроятно, что чуткому художнику не хочется идти по проторенной дорожкѣ, разрабатывая мотивъ любви въ его шаблонно-абстрактномъ видѣ; для того же, чтобы вдвинуть его въ рамки живой и широкой общественной жизни, написать подлинный романъ нашего времени, не отыскивается подходящихъ условій. Слишкомъ это сложная и трудная задача—романъ нашего времени... Дѣло въ томъ, что, какъ ни сильно регрессировали мы въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ сравнительно, напр., съ 60-ми годами, время и сила вещей имѣли все-таки свое значеніе, и житейскія требованія и идеалы нашихъ дней стали и значительно шире, и выше. Отцы наши до самозабвенія могли увлекаться вопросами личной морали, мечтами о реформахъ семейной жизни; для беллетристовъ той поры любовь сама по себѣ являлась одной изъ самыхъ жгучихъ, животрепещущихъ темъ. Въ наше время любовь могла бы представить жгучій интересъ лишь въ связи съ болѣе важными проблемами и интересами социальнаго характера. При разработкѣ такой широкой и сложной темы художнику пришлось бы столкнуться не только съ препятствіями чисто-внѣшняго характера (порой прямо неодолимыми), но, быть можетъ, и съ еще болѣе неодолимыми препятствіями, которыя кроются въ переходномъ характерѣ современнаго общества, въ обуревающей его психической смутѣ, въ трудности схватить типическія черты нарождающагося новаго...

Переходность переживаемаго нашей дѣйствительностью мо-

*) Когда писались эти строки, на горизонтѣ русской беллетристики не появлялся еще г. Андреевъ съ его «Бездной», «Въ туманѣ» и т. п.

мента, устарѣлость разрабатываемыхъ литературою темъ, экзотичность отражаемыхъ ею настроеній, во всякомъ случаѣ, давно уже не могутъ подлежать сомнѣнью. Свою природную миссію, указанную еще Бѣлинскимъ, современная литература русская исполняетъ хуже, чѣмъ когда-либо: наши писатели и художники не хотятъ, не умѣютъ или не могутъ писать о томъ, что назрѣло и кипѣло въ душѣ русскаго народа и общества. Нѣтъ у насъ недостатка ни въ талантливыхъ поэтахъ, ни въ даровитыхъ художникахъ-беллетристахъ. Въ звучныхъ стихахъ, увѣнчиваемыхъ пушкинскою преміей, г-жа Лохвицкая-Жиберъ не устаетъ воспѣвать „знойныя наслажденія во тмѣ потушенныхъ свѣчей“; въ не менѣ красивыхъ стансахъ г. Бальмонтъ приглашаетъ насъ „жизнь проспять свою“; въ высокоталантливой прозѣ г. Чеховъ изображаетъ мужиковъ-скотовъ и не болѣе возвышенныхъ героевъ изъ культурнаго общества... Но, Боже правый! неужели во всемъ этомъ вѣрно отражается духовная фizioномія, внутренняя жизнь, мечты, идеалы, чаянія лучшей части русскаго народа и русской интеллигенціи? Вѣдь это было бы поистинѣ ужасно!

Мучительно хочется вѣрить, что все это не больше, какъ тяжелый временный кризисъ, что какъ ни блѣдно и апатично наше общество, какъ ни пригнетенъ мракомъ невѣжества и нищеты нашъ народъ, а современная литература русская безконечно отъ нихъ отстала, что она не отражаетъ въ себѣ и сотой доли ихъ „сокровеннѣйшихъ глубинъ и бѣдъ“!..

Въ самые послѣдніе годы у насъ появилось теченіе, которое можно назвать антинародническимъ. Употребляемъ этотъ отрицательный терминъ потому, что, полагая, не положительная сторона теоріи создала ей видимый успѣхъ. Призывъ идти на выучку къ капитализму, мечта—переварить въ фабричномъ котлѣ русское крестьянство, готовность привѣтствовать количественный ростъ гаршинскихъ „глухарей“—все это отзывается или дѣтскимъ незнакомствомъ съ родной дѣйствительностью, или бездушно жесткой, чисто-аракчеевскою рѣшимостью пренебречь живыми интересами живыхъ людей, все принести въ жертву идеалу, построенному книжно-умозрительнымъ путемъ. Нѣтъ, главная причина успѣха новаго ученія заключалась, по нашему мнѣнію, въ его отрицательной сторонѣ, въ той страстной критикѣ, съ какой оно обрушилось на наше современное, шаблонное и устарѣлое народничество, возложившее всѣ упованія на трехъ китовъ земли русской (общину, артель и кустарные промыслы) и побѣдоносно успокоившееся въ лонѣ „малыхъ дѣлъ“ и „симпатичныхъ начинаній“. Съ народническими теоріями и идеалами были когда-то связаны всѣ лучшія мечты и надежды русскаго общества, но тогдашнее народничество было нѣчто совсѣмъ другое, и тогдашніе народолюбцы тоже были сортомъ повыше. Крушеніе ихъ надеждъ

въ началѣ 80-хъ годовъ было причиной разочарованія общества и въ самыхъ идеалахъ. Сначала взошло пышнымъ цвѣтомъ восьмидесятиничество съ его бездушнымъ отношеніемъ ко всякимъ общественнымъ интересамъ и „большимъ дѣламъ“, а позже создалось (все на той же почвѣ разочарованія) и современное равнодушіе „марксизма“ къ судьбѣ и положенію русскаго крестьянства... Битвы между этой послѣдней партіей и нынѣшними народниками еще у всѣхъ въ памяти. И нужно сознаться, что народники, не смотря на всѣ ошибки и нелѣпости противниковъ, не вышли изъ этой борьбы побѣдителями. Интересы ли чисто-временной тактики, другія ли какія соображенія — побудили ихъ собрать подъ свои знамена самые разношерстные элементы, нерѣдко имѣвшіе между собой только одну общую черту—интересъ къ народу. Такимъ образомъ, составилъ крайне пестрый лагерь, гдѣ фигурируютъ и лебеди, рвущійся въ облака, и ракъ, пятящійся назадъ, и щука, тянущая въ воду. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ не ракомъ, пятящимся назадъ, слѣдуетъ назвать, напр., писателя, который проповѣдуетъ индифферентизмъ къ лучшимъ завоеваніямъ человѣческой личности, достигнутымъ западноевропейской мыслью? Или не щукой, тянущей въ воду, писателя, для котораго весь свѣтъ заключается въ окошкѣ „малыхъ дѣлъ“ и другихъ „недѣльныхъ“ благоглупостей и благопошлостей? И не вполнѣ ли послѣ этого естественно, что многіе изъ истинныхъ „друзей народа“ предпочитаютъ отказаться отъ чести стоять подъ однимъ знаменемъ съ современнымъ „народничествомъ“ и носить эту затасканную, а отчасти и загаженную кличку?..

Однако, какія бы клички ни принимали литературныя направленія, какой бы временный успѣхъ ни имѣла проповѣдь равнодушія къ интересамъ живущихъ нынѣ поколѣній народа, невозможно сомнѣваться въ томъ, что вся эта путаница, въ концѣ концовъ, распутается, и вмѣсто мрака наступитъ свѣтъ. А свѣтъ этотъ будетъ заключаться въ давно открытой, но временно преданной теперь забвенію истинѣ, что всякая литература, достойная своего имени, должна быть литературой *народной*, т. е. должна служить интересамъ *всѣхъ* трудящихся и обездоленныхъ слоевъ населенія безъ различія, тѣхъ слоевъ, которые во всякой современной странѣ составляютъ главную народную массу. Крайне сомнительно, прямо невозможно, чтобы истинные интересы одного какого-либо изъ этихъ слоевъ серьезно противорѣчили столь же истинно понятымъ интересамъ другихъ тружениковъ; мы глубоко убѣждены, что въ борьбѣ за право и счастье армія обездоленныхъ можетъ идти дружнымъ и тѣснымъ строемъ, нога въ ногу, рука объ руку, не взирая ни на какія различія языка, религіи и, тѣмъ болѣе, орудія своего труда. Намъ сilyтся доказать противное и даже настаиваютъ почему-то, что интересы 1½ миллионъ фабричныхъ рабочихъ („товаро-производителей, освобожденныхъ отъ средствъ производства“, какъ любятъ теперь выра-

жаться даже въ общелитературныхъ статьяхъ) должны быть поставлены впереди интересовъ цѣлыхъ десятковъ миллионовъ крестьянъ („мелкихъ товаро-производителей — собственников“). Признаемся откровенно, мы, простые смертные, такую странную ариметику не совсѣмъ понимаемъ... Не понимаемъ мы также и другого утвержденія сторонниковъ моднаго ученія, будто „писатель-идеологъ“, какъ бы ни былъ онъ лично далекъ отъ интересовъ одного какого-либо класса и какъ бы ни считалъ самъ себя свободнымъ отъ классовой точки зрѣнія, фактически *не можетъ* трактовать о пользѣ *всего* общества, стоять на *общечеловѣческой* точкѣ зрѣнія. Гл. ученые этой школы пытаются всячески высмѣять подобную точку зрѣнія, доказать, что она — *non sens*, что даже такіе благородные и проникательные мыслители, какими были Робертъ Оуэнъ или русскій авторъ примѣчаній къ Миллю, не могли „выскочить“ въ своихъ теоретическихъ построеніяхъ изъ рамокъ интересовъ одного какого-либо класса, которому сознательно или безсознательно наиболѣе сочувствовали. „Чтобы обойти противорѣчія классовыхъ интересовъ, — иронизируетъ авторъ одной статьи по этому вопросу, — идеологъ выставляетъ какой-нибудь классовый идеалъ, какъ идеалъ общечеловѣскій, присущій всѣмъ людямъ, и, исходя изъ него, смотритъ на современные ему общественныя отношенія, какъ на уклоненіе общества отъ этого идеала, уклоненіе, явившееся вслѣдствіе „ошибки или насилія“ („Научное Обозрѣніе“, янв. 98 г.). Автору этихъ строкъ почему-то представляется, что „идеологъ“ непремѣнно долженъ пытаться „примирить“ интересы различныхъ классовъ, разъ онъ хочетъ стоять на общечеловѣческой точкѣ зрѣнія; ему, какъ-будто, и въ голову не приходитъ, что нашъ идеологъ можетъ и просто-напросто скидывать со счетовъ трудящагося человѣчества интересы того, напр., класса, который является экспроприаторомъ труда большинства. А что касается остальныхъ двухъ экономическихъ группъ, на которыя разбивается всякое современное общество, то, повторяемъ, мы не видимъ никакого коренного противорѣчія въ ихъ интересахъ, и говорить о необходимости „примиренія“ между ними не приходится (и особенно у насъ въ Россіи можно сказать это съ увѣренностью). Такимъ образомъ, всѣ толки о томъ, будто „писатель-идеологъ“ непремѣнно долженъ стоять на классовой точкѣ зрѣнія, а точки зрѣнія общечеловѣческой и народная есть, будто бы, смѣшная и вздорная претензія разныхъ „субъективистовъ“, не выдерживаютъ ни малѣйшей критики, являясь продуктомъ метафизическихъ или просто полемическихъ ухищреній. Вѣдь само же собой разумѣется, что когда говорятъ о *благѣ всего* народа, *всего* человѣчества (не теоретическаго, а въ лицѣ живущихъ нынѣ поколѣній), то имѣютъ въ виду не разныхъ півавокъ — міроѣдовъ, живущихъ на чужой счетъ, а лишь ту большую часть народа и человѣчества, которая дѣйствительно трудится и дѣйствительно является въ настоящее время обездоленной.

Вообще, думается, — въ послѣднее время слишкомъ ужъ начинаютъ злоупотреблять выраженіями „общественный классъ“, „антагонизмъ классовъ“, „классовая борьба“ и „классовая точка зрѣнія“ и слишкомъ презрительно относиться къ слову „народъ“, въ виду его туманнаго, якобы, содержанія. Въ Западной Европѣ, гдѣ разслоеніе общества на классы, благодаря прочно вѣдрившемуся капитализму, шло дѣйствительно гигантскими шагами, и гдѣ интересы рабочаго класса являются въ настоящій моментъ интересами огромной и важнѣйшей части населенія, интересами *всего* народа, терминологія эта, какъ нельзя лучше, выражаетъ положеніе вещей, и нашъ протестъ противъ нея былъ бы тамъ по меньшей мѣрѣ страннымъ. Но иное дѣло—наше отечество. Новая терминологія, столь усердно теперь пропагандируемая, въ связи съ тѣмъ пренебреженіемъ къ народу и къ общественнымъ интересамъ, которое вообще въ такой модѣ у насъ съ половины 80-хъ годовъ, является, по нашему мнѣнію, крайне несвоевременной и вредной.

Однако, повторяемъ, мы глубоко вѣримъ, что существующій идейный туманъ разсѣется и истина восторжествуетъ. Изъ смуты литературныхъ настроеній и понятій, быть можетъ, незамѣтнымъ образомъ выработается здоровая программа борьбы за прогрессъ и за общее счастье, и слово „народъ“ опять единодушно будетъ написано на знамени всѣхъ лучшихъ органовъ и представителей нашей литературы. Это ея традиціонный боевой кличъ, и въ немъ ея сила и законная гордость! *)

1898 г.

*) Ненависть г. Богучарскаго къ «земледѣльческимъ идеаламъ» не знаетъ предѣловъ. «Поэзія Кольцова, — пишетъ онъ въ упомянутой уже статьѣ, — ясно показываетъ, какъ возмутительна *крѣпостная* зависимость крестьянина отъ его кормилицы-земли» — и совершенно упускаетъ изъ виду, что съ неменьшей, если не большей основательностью могли бы мы указать на возмутительность крѣпостной зависимости городского рабочаго отъ его кормилицы — фабрики, этого дѣтища излюбленнаго критикомъ капитализма. Тѣмъ великолѣпнѣе самоотверженная готовность г. Б. пожалѣть несчастненькихъ мужичковъ: «Мы отлично сознаемъ всю тяжесть происходящихъ въ настоящее время родовъ исторіи. Мы ясно видимъ весь ужасъ положенія тѣхъ, для кого переживаемый Россією моментъ отмѣчается прежде всего голодомъ и всѣми сопряженными съ нимъ бѣдствіями; мы, конечно, жслаемъ, чтобы было сдѣлано (кѣмъ?) все возможное для облегченія положенія несчастныхъ; мы рѣзко протестуемъ противъ слышащихся иногда обвиненій, будто бы «ученики» высказываются *противъ* помощи голодающимъ», но... Но всѣ эти «мы», «мы» нисколько не мѣшаютъ г. Богучарскому съ единомышленниками презрительно относиться къ русскому народу въ лицѣ его трудящагося большинства. Очень не вправится ему наша «вѣра» въ то, что слово «народъ» опять единодушно будетъ написано на знамени всѣхъ лучшихъ органовъ и представи-

II.

Но когда-то еще Улита будетъ—пока что, она только ѣдетъ. Часть „учениковъ“ продолжаетъ пѣть хвалы растущей силѣ російскихъ Деруновыхъ и Колупаевыхъ, въ предвидѣніи отъ этого роста великихъ и богатыхъ милостей для другой силы—истины, просвѣщенія, свободы... Но въ самое послѣднее время проявилась еще и другая часть „учениковъ“, которымъ нѣтъ, повидимому, никакого дѣла до породившаго ихъ общаго учителя и его идеаловъ, и которыхъ поэтому справедливѣе было бы называть мудрецами жизни“.

Слова: „жертва“, „подвигъ“, „любовь къ народу“, чувства жадности и состраданія вообще подвергаются со стороны этихъ господъ всѣмъ возможнымъ стрѣламъ ироніи, сарказма и заушенія, и производится вся эта, якобы, научная критика во имя... „трезвой правды дѣйствительности“. Наиболѣе усердія проявляютъ въ этомъ отношеніи два литературныхъ критика „Жизни“: г. Евгений

телей нашей литературы. Иронизируя надъ этими «патетическими» строками, г. Богучарскій замѣчаетъ: «Г. Гриневичъ *глубоко впритъ*... Что же, это дѣйствуетъ очень успокоительно на душу, ибо давно уже сказано — «блаженъ, кто вѣруеть». А, вотъ, у насъ такой вѣры нѣтъ, и *убѣждены* мы, что на знамени лучшихъ органовъ литературы будетъ стоять не «народъ», а другое слово, выражающее опредѣленную *часть* народа, или, еще правильнѣе, «народовъ». Г. Гриневичъ смотритъ не впередъ, а назадъ, и въ этомъ лежитъ причина всѣхъ ошибокъ его мысли».

Г. Богучарскій, видите ли, «убѣжденъ», а мы—«вѣримъ»: онъ человѣкъ науки, а мы—отсталые романтики. Къ сожалѣнію, человѣкъ науки такъ и не удостоиваетъ насъ объясненія, почему это и съ какихъ это поръ ставитъ *часть* выше *цѣлаго*—значитъ глядѣть впередъ, а не назадъ.... Это остается пока его тайной. Не лишено, однако, своеобразнаго интереса, что въ той же книжкѣ журнала, гдѣ помѣщена разносящая русскій народъ статья г. Богучарскаго, этотъ злополучный русскій народъ беретъ подъ свою защиту другой столпъ марксизма, г. Струве.

«Въ одной изъ своихъ статей,—пишетъ г. Струве,—г. Розановъ договорился въ романтическомъ изувѣрствѣ до того, что безъ всякихъ околичностей заявляетъ, будто русскому народу чуждо стремленіе къ прогрессу, идея котораго противорѣчитъ «русскому духу»; къ счастью для себя и читателей, г. Розановъ на своемъ собственномъ примѣрѣ опровергъ и продолжаетъ опровергать эту дикую теорію—клевету на русскій народъ, выдуманную для апофеоза эпохи реакціи, якобы воплотившей въ себѣ завѣтное стремленіе русскаго народа къ застою. Страшенъ сонъ, да милостивъ Богъ!»

Не добрый ли это признакъ, показывающій, что крайности марксизма набили, наконецъ, оскомину и нѣкоторымъ изъ собственныхъ его представителей? Не пора ли, въ самомъ дѣлѣ, одуматься, господа, и пойти на уступки проклятому вами на всѣхъ путяхъ міровоззрѣнію конца 70-хъ, начала 80-хъ годовъ?..

Соловьевъ и, какъ двѣ капли воды, на него похожій г. Андреевичъ *).

Второй изъ нихъ беретъ на себя неблагодарное дѣло защиты восьмидесятиничества. Правда, онъ дѣлаетъ это не прямо и откровенно, а лишь послѣ длинныхъ экивоковъ и оговорокъ. „О! я мало, очень мало могу сказать въ защиту литературнаго поколѣнія 80-хъ годовъ. Я самъ принадлежу къ нему и до точности знаю, чѣмъ оно было. Я отъ души радъ, что оно прошло, похоронено, забыто. У меня звучать еще въ ушахъ его дикіе возгласы...“ Критику вспоминаются г.г. Дѣдловъ, Волинскій, „Новое Время“... „Но развѣ это все?“ восклицаетъ, тѣмъ не менѣе, г. Андреевичъ и обращается къ г. Михайловскому съ укоромъ за то, что, благодаря предвзятому взгляду и „какому-то своему упорному недовѣрію ко всякимъ новымъ силамъ, не получившимъ его благословенія“, онъ взялъ да и похерилъ сразу всю эту литературную эпоху. Вѣдь „нехорошо въ концѣ концовъ,—поучаетъ онъ г. Михайловскаго уму-разуму,—быть человѣкомъ, полагающимъ, что онъ всю истину носитъ въ жилетномъ карманѣ“. Не только въ концѣ концовъ, а и въ началѣ всякаго начала, думается намъ, нехорошо быть такимъ человѣкомъ, и мы ждемъ, что г. Андреевичъ великодушно подѣлится съ нами своей истиной, т. е. откроетъ, наконецъ, въ чемъ заключались положительныя стороны литературной эпохи 80 гг., къ которой онъ самъ имѣлъ честь принадлежать. Однако, онъ не отвѣчаетъ на поставленный вопросъ прямо и продолжаетъ кружиться вокругъ до около. „Литературная эпоха 80 годовъ была во многихъ отношеніяхъ пренаипаскуднѣйшая,—я объ этомъ говорилъ и повторять этого же самаго не буду. Было въ избыткѣ и наглости, и самодовольства“,—тутъ же, впрочемъ, повторяется г. Андреевичъ. Хорошенькая была эпоха, нечего сказать, если такъ аттестуетъ ее ея же защитникъ! Но въ чемъ же, наконецъ, заключается положительная сторона „пренаипаскуднѣйшихъ“ 80-хъ годовъ?

Они, видите ли, были въ то же время и *критической* эпохой не малаго значенія. „Пусть критика происходила въ темнотѣ и сумбурѣ, но все же происходила критика“.

Ну, такъ назовите намъ, г. Андреевичъ, эту „критику“, назовите имена критиковъ и ихъ произведеній, имѣвшихъ такое большое значеніе! Оказывается, однако, что г. Андреевичу некого и нечего назвать, и что „критику“ онъ отождествляетъ съ „кризисомъ“... Столпы народническаго идеализма, будто бы, пошатнулись въ серединѣ 80 годовъ, ослабѣли, и горькое чувство какой-то своей ненужности, въ преувеличенномъ даже видѣ, овладѣло ими... Раздавались грустныя пѣсни Надсона, и даже смѣхъ Щедрина „какъ будто“ утерялъ свою бодрость и все больше и больше становился озлобленнымъ...

*) Позже обнаружилось, что это одинъ и тотъ же писатель.

Щедринъ, такимъ образомъ, попадаетъ въ ряды разочаровавшихся народниковъ и чуть-чуть не восьмидесятниковъ; Надсонъ, оказывается, пѣлъ свои грустные пѣсни потому, что утратилъ вѣру въ народъ. „Настало время азартнаго исканія, — продолжаетъ г. Андреевичъ, — но не все азартнаго и самонадѣяннаго, а часто тоскливаго“. Разобраться въ смыслѣ этой фразы, равно какъ и въ ея грамматическомъ строеніи, довольно трудно: подъ „азартнымъ исканіемъ“ новаго слова г. Андреевичъ разумѣетъ, повидимому, толстовское движеніе (хотя невольно является вопросъ: какое же отношеніе имѣло толстовство къ „критикѣ“ народничества?), подъ „тоскливымъ“ — произведенія г. Чехова первой половины его литературной дѣятельности. Объ этихъ послѣднихъ не мѣшаетъ сказать нѣсколько словъ. Теперь, когда намъ извѣстны позднѣйшія произведенія талантливаго писателя, конечно, легко заднимъ числомъ находить „тоску по общей идеѣ“ и въ его прежнихъ сочиненіяхъ, но чтобы эта тоска, это мучительное исканіе правды чувствовались обществомъ и критикой 80-хъ годовъ въ безчисленныхъ чисто-анекдотическихъ разсказахъ г. Чехова той поры, это — смѣемъ увѣрить г. Андреевича — плодъ его фантазій.

Другой критикъ „Жизни“, г. Евг. Соловьевъ, идетъ дальше: онъ пытается развѣнчать и высмѣять предшествовавшіе восьмидесятымъ — семидесятые годы, эту эпоху жалѣнія, состраданія, любви, жертвы, всѣхъ этихъ ненужныхъ и непонятныхъ теперь словъ, эпоху „субъективнаго метода“, „критическихъ мыслящихъ личностей“ и т. п. жалкихъ выдумокъ близорукихъ людей... Странная была, въ самомъ дѣлѣ, эпоха, — и сыновья 80-хъ годовъ (по возрасту ли только?), гг. Евгѣніи Соловьевы и Андреевичи тщетно ломаютъ свои мудрыя головы, въ усиліяхъ понять и разгадать ее! „На вѣрѣ въ народъ строились надежды и возводились упованія, — краснорѣчиво, хотя и не вполне грамотно, восклицаетъ, иронизируя, нашъ критикъ, — и, конечно, прогрессъ, какъ общее счастье и общая обезпеченность, былъ тѣмъ фетишемъ, заподозрѣтъ божественное происхожденіе котораго никто не рѣшался“. А вотъ г. Соловьевъ, смѣлый человѣкъ, рѣшился! Что для него прогрессъ, какъ общее счастье и общая обезпеченность? Что ему Гекуба и что онъ Гекубѣ? Онъ силится, прежде всего, установить тотъ фактъ, что исторіи и историкамъ нѣтъ и не можетъ быть ни малѣйшаго дѣла до *справедливости*, которой наивные семидесятники отводили такъ много мѣста.

«Чѣмъ бы ни закончился историческій процессъ, какихъ бы дворцовъ изъ паросскаго мрамора они (?) ни настроили, въ какомъ бы веселіи ни проводили они (?) жизнь свою, — я не вижу, какъ могутъ они (?) даже тогда, въ дни могущества и летанія по воздуху, расплатиться съ своими страдавшими предками, искупить ихъ слезы и муки? А разъ этого нѣтъ и не будетъ и не можетъ быть, разъ въ психическое взаимодействіе между живыми и мертвыми вѣрятъ только: 1) спириты, 2) проф. Карѣвъ и 3) Владиміръ Соловьевъ, — то спрашивается, о какой справедливости тутъ можетъ быть рѣчь? Мону-

менты развѣ будутъ воздвигнуты страдавшимъ предкамъ? Или память ихъ почтутъ вставаньемъ и сосредоточеннымъ умилениемъ? Или еще какимъ-нибудь способомъ?» — «Конечно, о счастья грядущихъ поколѣній говорить можно, одинаково можно рассчитывать на него; о справедливости же историческаго процесса *никогда ни слова,—это самое лучшее*».

Не правда ли, это великолѣпное „никогда ни слова“ г. Евг. Соловьева достойно войти въ пантеонъ безсмертія? Однако, представимъ себѣ такой случай. Г. Евг. Соловьевъ взялъ у Ивана Петрова въ долгъ извѣстную сумму денегъ, неуплата которой въ срокъ была бы для послѣдняго и для его семьи весьма чувствительна. Но Иванъ Петровъ умеръ, не дождавшись желаннаго срока, и когда къ г. Евгенію Соловьеву явился за долгомъ сынъ Ивана Петрова—Сидоръ Петровъ, то нашъ уважаемый критикъ воскликнулъ патетически: „О какой расплатѣ ты говоришь? Вѣдь твой отецъ умеръ? Правда, на его деньги я построилъ себѣ дворецъ изъ паросскаго мрамора, правда, я въ веселіи провожу жизнь свою, я даже летаю по воздуху отъ одного литературнаго парадокса къ другому, но я, право, не вижу, какъ могу я даже теперь, въ дни своего могущества, расплатиться съ твоимъ страдальцемъ-отцомъ, отдавшимъ мнѣ послѣднія свои крохи? Вѣдь въ психическое взаимодействіе между живыми и мертвыми вѣрятъ только спириты, да гг. Карѣвъ и Вл. Соловьевъ,—о какой же справедливости можно здѣсь говорить? Нѣтъ, нѣтъ, Сидоръ Петровъ, объ ней лучше никогда ни слова!“

Да простить намъ г. Соловьевъ такую невозможную фантазію (мы вполне увѣрены, что у него никакихъ долговъ нѣтъ, и что онъ и безъ того весьма удовлетворительно летаетъ по воздуху), но допустимъ на минуту возможность такой фантазіи. Г. Соловьевъ будетъ, несомнѣнно, правъ съ своей великолѣпной точки зрѣнія, однако, что скажетъ Сидоръ Петровъ? Что скажутъ—гражданинскій уставъ и, наконецъ, сами читатели журнала „Жизнь“, съ такимъ удовольствіемъ слѣдящіе теперь за его статьями о бессмысленности какой-то тамъ „цѣны прогресса“, „расплаты“ и пр., и пр.?

Въ подтвержденіе своей точки зрѣнія г. Евг. Соловьевъ приводитъ цитату изъ „Основъ соціологіи“ австрійскаго мыслителя Гумпловича (примыкающаго въ соціологіи къ Спенсеру), по мнѣнію котораго объ исторической справедливости можно говорить только, какъ о соотвѣтствіи слѣдствій причинамъ.

«Другой справедливости нѣтъ, какъ нѣтъ ея и въ природѣ. Альфа и омега соціологіи, ея высшая истина и ея послѣднее же слово.—человѣческая исторія, какъ естественный процессъ. И хотя близорукіе люди, признавая по традиціи свободу самоопредѣленія, думаютъ, что эта истина уничтожаетъ «нравственность», въ дѣйствительности какъ разъ наоборотъ — она является вѣнцомъ всей человѣческой морали, ибо только она провозглашаетъ полное самоотреченіе (!), подчиненіе людей закону природы, закону, который только и управляетъ исторіей». — «Содѣйствуя познанію этого закона, соціологія

кладеть основаніе новой морали мудраго самоотреченія, т. е. морали болѣе высокой, нежели современная, покоющаяся на воображаемости личнаго самоопредѣленія, создающая непомятное возвеличеніе индивида и, тѣмъ самымъ, непомятныя желанія и стремленія его, которыя неизбѣжно приводятъ къ ужаснымъ преступленіямъ противъ естественно-законнаго строя».

Согласно этой, апробованной г. Соловьевымъ, тирадѣ, въ „близорукіе“ люди долженъ попасть и, напр., авторъ „Опыта исторіи мысли“, котораго грѣшно было бы, однако, обвинить въ традиціонной вѣрѣ въ „свободу самоопредѣленія“... Пассивное подчиненіе законамъ природы Гумпловичъ (а за нимъ и г. Соловьевъ) признаетъ самоотреченіемъ болѣе высокимъ, нежели современная мораль, „вънцомъ всей человѣческой морали“! Человѣческій разумъ совершенно игнорируется и превращается въ слѣпое орудіе природы! Стремленіе критически мыслящихъ индивидовъ вліять на свойства и условія соціальной среды объявляется „ужаснѣйшимъ преступленіемъ противъ естественно-законнаго строя“! Конечно, Гумпловичъ—знаменитость и большой авторитетъ для нашихъ „учениковъ жизни“; и однако, мы не можемъ не выразить нашего искренняго мнѣнія, что приведенная изъ него г. Евгениемъ Соловьевымъ цитата—прекрасный образчикъ кабинетно-ученаго безсердечія и общественнаго квіетизма! Движеніе человѣчества къ кооперативному общественному устройству происходитъ, конечно, путемъ естественнаго, неизбѣжнаго развитія, но оно не должно обходиться безъ сознательнаго воздѣйствія людей. Другой вопросъ—достигнемъ ли мы когда-нибудь совершеннаго устройства, но наша обязанность, какъ мыслящихъ существъ, принимать участіе въ естественномъ ходѣ событій, подталкивать, сдерживать, регулировать его...

Впрочемъ, г. Соловьеву слова „долгъ“ и „обязанность“ непонятны, а упрекъ въ кабинетно-ученомъ безсердечіи нестрашенъ. Онъ—поклонникъ Спенсера, сторонникъ того мнѣнія, что „мы не дѣлаемъ исторіи“, и что наше личное отношеніе къ фактамъ прошлаго или настоящаго—наше личное дѣло, о которомъ можно, разумѣется, говорить (ибо кто же намъ запретить это?), но все же благоразумнѣе молчать, такъ какъ говорить—безполезно. Мы можемъ только „объяснять“ факты, заниматься же такими пустяками, какъ оцѣнка ихъ съ точки зрѣнія добра или зла, могутъ развѣ только критики и публицисты „субъективной школы“, а никакъ не настоящіе „ученые“. Это вѣдь только „въ духъ времени“ могла видѣться г. Михайловскому „другая наука, которая была бы гимномъ прогрессу, оправданіемъ добра и нашихъ упований, наука, не упускающая изъ виду „дѣйны прогресса“, т. е. пролитыхъ уже человѣчествомъ слезъ и разрѣшающая обществ. вопросы съ высоты нашихъ нравственныхъ требованій... Какой вздоръ мерещился г. Михайловскому! Его пресловутый „субъективный методъ“ былъ лишь простымъ „совсѣмъ наоборотъ“ строго-объективнаго метода Спенсера, Липперта и Гумпловича,

а не плодомъ мысли настоящаго ученаго; вѣдь даже извѣстный предшественникъ г. Михайловскаго, принимавшій участіе въ созданіи этого страннаго метода, какъ бы предугадывая увлеченіе своего ученика, писалъ:

«Подобно всякому научному дѣятелю, въ изслѣдованіи матеріала исторіи и въ его группировкѣ историкъ обязанъ противопоставлять объективизмъ научнаго знанія, опирающагося на точную критику, колеблющейся области субъективныхъ мнѣній. Разъ научный методъ убѣдилъ его въ объективной истинѣ даннаго факта, его нельзя уже ни поколебать, ни скрыть во имя субъективнаго внутренняго міра личности съ ея желаніями и нравственными убѣжденіями (курсивъ г. Соловьева).—«Въ научномъ пониманіи исторіи нѣтъ мѣста логическому субъективизму случайнаго и произвольнаго мнѣнія; его слѣдуетъ исправить, устранить или подтвердить критикою, а до тѣхъ поръ оно должно быть признано, какъ болѣе или менѣе вѣроятная гипотеза, — не болѣе. Еще менѣе права на мѣсто въ научномъ пониманіи исторіи имѣетъ субъективное представленіе, вытекающее изъ недостатка свѣдѣній». — «Столь же противорѣчить научной мысли вообще субъективизмъ личнаго эффекта, искажающій пониманіе пристрастіемъ (къ личности, національности и т. п.).»

По мнѣнію г. Евг. Соловьева, зрѣлище для г. Михайловскаго мало утѣшительное: знаменитый предшественникъ здорово-таки урѣзывалъ его субъективный методъ! И какъ же это г. Михайловскій не доглядѣлъ? За что только г. Соловьевъ признаетъ въ немъ и „большой талантъ“, и „не малое остроуміе“? Вѣдь посмотрите, читатель, какія страшныя преступленія противъ науки и простаго здраваго смысла открыты теперь въ его сочиненіяхъ тѣмъ же г. Соловьевымъ. Подумайте только: г. Михайловскій училъ, что собирать историческій матеріалъ историкъ можетъ такъ, какъ Господь на душу положить, безъ всякой точной провѣрки; онъ училъ, что во имя субъективныхъ желаній и убѣжденій личности можно колебать истину, устранять и даже вовсе ее скрывать; онъ училъ выдавать болѣе или менѣе вѣроятныя гипотезы за провѣренныя научныя теоріи; онъ училъ—не имѣя достаточныхъ свѣдѣній, судить обо всемъ съ апломбомъ ученаго знатока; онъ училъ искажать пониманіе исторіи личными и національными пристрастіями; онъ училъ... Нѣтъ, и злодѣй же этотъ г. Михайловскій! Его мало казнить, его надо... оклеветать на страницахъ журнала „Жизнь“! Однако еслибъ мы знали кого-нибудь изъ личныхъ пріятелей г. Евг. Соловьева, мы искренно посовѣтовали бы ему отозвать почтеннаго критика къ сторонкѣ и шепнуть: „Послушай, ври—да знай же мѣру“!

Къ сожалѣнію, такого знакомаго у насъ нѣтъ, и г. Соловьевъ невозбранно продолжаетъ критиковать, изобличать, высмѣивать, поучать и вѣщать. Когда самъ имѣешь довольно смутныя представленія о соціологіи, то очень легко, конечно, отыскиваешь безсмыслицу въ мнѣніяхъ противника, и что мудренаго, если и г. Соловьевъ прихитрился, напр., открыть въ извѣстной „формулѣ прогресса“ г. Михайлов-

скаго „очень и очень много метафизики и даже средневѣковой метафизики, приписывавшей природѣ человѣческія страсти—любви, ненависти, страха и т. д.“! И какъ подумаешь, просто открытъ онъ это—глазамъ даже не вѣрится: не даромъ же говорятъ, что все великое совершается просто... Г. Михайловскій въ заключеніи своей статьи „Что такое прогрессъ?“ писалъ: *„безнравственно, несправедливо, вредно, неразумно все, что задерживаетъ приближеніе къ цѣлостности недѣлимыхъ“*. Казалось бы, простой грамматическій и логическій смыслъ требовалъ понимать эту фразу только такъ: факторы регресса (или прогресса) принадлежать къ различнымъ категоріямъ, и тѣ изъ нихъ, которые можно назвать, напр., вредными, отнюдь не всегда будутъ также и безнравственными и т. п. Изъ фразы: „хромые, слѣпые, безрукіе и горбатые называются увѣчными“—нелѣпо и даже безграмотно заключать, что хромой въ то же время непременно и горбатый... И могъ ли думать г. Михайловскій, когда въ 1869 г. ставилъ рядомъ четыре выше подчеркнутыхъ прилагательныхъ, что тридцать лѣтъ спустя въ нашихъ гимназіяхъ такъ плохо будутъ изучать грамматику и логику, что кто-нибудь изъ молодыхъ критиковъ начнетъ философствовать: „Какъ же, молъ, такъ... Вотъ лиссабонское, напр., землетрясеніе... Оно было, конечно, вреднымъ факторомъ для прогресса Португаліи, но развѣ же его можно назвать неразумнымъ, или безнравственнымъ? А-а-ахъ, г. Михайловскій! А еще въ свое время передовымъ философомъ считались... Да вѣдь вы схоластикъ, вы прямо средневѣковой метафизикъ—вотъ кто!“

Такъ именно и философствуетъ теперь г. Евгений Соловьевъ. Ему-то именно и принадлежитъ глубокомысленное разсужденіе о лиссабонскомъ землетрясеніи.

«Семидесятые годы, — продолжаетъ критикъ удивляться наивности той эпохи, — отличались огромной требовательностью по отношенію къ каждому отдѣльному человѣку, явно желали задѣть его совѣсть, представляя ему безмѣрность цѣны прогресса и выставя на видъ всю полноту его нравственной отвѣтственности передъ страданіями прошлаго и настоящаго». — «Безконечныя разсужденія *Отеч. Записокъ* о тенденціяхъ въ художественныхъ произведеніяхъ—*сухи и мертвы въ настоящее время, но въ то же время они поразительно характерны. Тамъ постоянно проводилась одна и та же мысль объ обязанностяхъ художника служить своему времени, возбуждать жалость и состраданіе къ обиженнымъ и униженнымъ, проводить прогрессивныя идеи*». — «Въ проповѣдяхъ того времени настойчиво повторялось слово «уплата», и даже серьезные люди охотно принимали тонъ моралистовъ и проповѣдниковъ. Создаются формулы прогресса, сочиняются философскіе и историческіе труды, и все это имѣетъ единственною, главною цѣлью воздѣйствовать на совѣсть слушателя. — «Атмосфера была насыщена нравственной отвѣтственностью и считалось чѣмъ-то пошлымъ и прямо буржуазнымъ говорить о правѣ каждого на личное счастье». — «Можно ли наваливать на человѣческую совѣсть слишкомъ большую ношу? Не устанетъ ли она, наконецъ, отчего могутъ произойти въ высшей степени нежелательные результаты? Не вреденъ ли нравственный ри-

горизмъ вообще, не позволяющій человѣку сдѣлать и глотка свѣжаго воздуха ради самого себя, обрекающій его на безпокое существованіе? Разсчитливо ли это, наконецъ, вѣчно твердить ближнему своему: «ты долженъ, ты долженъ... Пора же подумать о расплатѣ».—«Если въ человѣка вложена органическая потребность личнаго счастья, то какъ же можно препятствовать ему стремиться къ его достиженію?»

Мы привели эти длинныя выдержки изъ статьи г. Соловьева, чтобы лучше уяснить читателю тонъ и содержаніе его удивительно-откровенныхъ ламентаций. Не хуже любого восьмидесятника изъ „Книжечъ Недѣли“, онъ называетъ дѣломъ „сухимъ и мертвымъ въ настоящее время“ служеніе литературы „прогрессивнымъ идеямъ“ своего времени, угнетеннымъ и обиженнымъ *). Его въ высшей степени возмущаетъ, что дѣятели и публицисты 70-хъ годовъ употребляли всѣ доступныя имъ усилія для воздѣйствія на человѣческую совѣсть; онъ беретъ подъ свою защиту свободу человѣческой личности, т. е. то, что онъ разумѣетъ подъ свободой, право личности на „небезпокое существованіе“, „глотаніе свѣжаго воздуха ради самого себя“ и тому подобныя блага „личнаго счастья“. Ему вообще кажется, что 70-е годы пригнетали и *забивали* человѣческую личность, хотя тутъ же онъ и противорѣчитъ себѣ, говоря, что сдѣлать это было невозможно, такъ какъ стремленіе къ личному счастью органически присуще человѣку. Но противорѣчія—не въ счетъ; будемъ говорить лишь объ общемъ характерѣ нападокъ г. Соловьева на семидесятые годы. Что эти годы нимало не забывали личности, проповѣдуя какое-то безцѣльное, самодовлѣющее монашество, что они, напротивъ, поднимали ее, открывали передъ ней великія перспективы,—смѣшно было бы доказывать этотъ общеизвѣстный фактъ. Самъ же г. Соловьевъ признаетъ, что философомъ-знаменосцемъ эпохи былъ Н. К. Михайловскій, а философія этого послѣдняго

*) Справедливость заставляетъ насъ оговориться, что фраза эта обидѣла г. Соловьева, и онъ заявилъ, будто называлъ мертвыми и сухими *только разсужденія* «Отеч. Зап.», а не самое служеніе прогрессивнымъ идеямъ. Разъясненіе это, признаемся прямо, совсѣмъ сбиваетъ насъ съ толку... До сихъ поръ мы думали, что самое *настроеніе* эпохи 70-хъ годовъ, съ ихъ жаждой до самопожертвованія служить дѣлу страдающихъ и угнетенныхъ, кажется нашему критику наивнымъ, смѣшнымъ, старомоднымъ, *ненужнымъ* въ наши трезвенные дни господства принципа «экономіи силъ»; теперь же оказывается, — все дѣло въ томъ, что «Отеч. Записки» сухо, бездарно и безцвѣтно разсуждали объ этихъ вещахъ, совсѣмъ не такъ, какъ толкуютъ объ нихъ въ настоящее время болѣе живые и талантливые сотрудники «Жизни». Послѣ такого пассажа мы ровно ничего не понимаемъ въ писаніяхъ г. Евгения Соловьева о семидесятихъ годахъ и, пожалуй, готовы согласиться, что «въ большинствѣ случаевъ» онъ, дѣйствительно, «находится подъ гнетомъ неосновательныхъ подозрѣній»... Только кого же винить въ этомъ прискорбномъ обстоятельстве, какъ не собственное его неясное и сбивчивое перо?

въ чемъ же другомъ и заключалась, какъ не въ проповѣди все-сторонняго развитія личности, какъ не въ гимнѣ свободному человѣку? Не его ли и не автора ли „Опыта исторіи мысли“ упрекаетъ тотъ же г. Соловьевъ въ „непомѣрномъ возвеличеніи индивида, его желаній и стремленій“? Что касается вопроса о томъ, *какъ чувствовала* себя „личность“ въ 70-е годы, была ли она счастливой или несчастной, глотала свѣжій или испорченный воздухъ, то кто отвѣтитъ на этотъ вопросъ? Какъ кто понимаетъ счастье и свѣжій воздухъ... Представители 70-хъ годовъ, подавленные, по мнѣнію г. Евгенія Соловьева, непосильной ношей нравственнаго ригоризма, быть можетъ, съ презрѣніемъ отвернулись бы отъ картинъ „личнаго счастья“, рисуемыхъ современными мудрецами жизни...

Впрочемъ, ради безпристрастія слѣдуетъ прибавить, что въ концѣ концовъ и самъ критикъ признаетъ, что все здѣсь зависитъ отъ того, *когда, кому и къ чему* говорятъ ригористическія слова,—что для однихъ они могутъ явиться рѣшающимъ въ жизни моментомъ, а для другихъ — пустымъ сотрясеніемъ воздуха... Но въ такомъ случаѣ для чего же было и огородъ городить?

Эпоха 70-хъ годовъ представляется г. Соловьеву „фанатической“ эпохой, когда нравственность замѣняла собой религію. „Было признано, что надо страдать (неужели просто „страдать“, безъ всякой цѣли и смысла, изъ одной любви къ страданію? П. Г.). Надъ короткой человѣческой жизнью, надъ ея жадной свѣта, приволья и счастья — требовательная, ригористическая этика набросила мрачную, пугающую тѣнь“. Не правда ли, читатель, можно подумать, что рѣчь идетъ о какой-нибудь суровой, угрюмой пуританской сектѣ, которая въ корнѣ считала зломъ всякія мечты о „свѣтѣ, привольѣ и счастья“ на этой грѣшной землѣ? Приходится объяснять г. Соловьеву, что въ „мрачной, пугающей тѣни“, которая, дѣйствительно, висѣла надъ эпохой семидесятыхъ годовъ, была повинна вовсе не этика ея публицистовъ...

Да, на разныхъ языкахъ говорятъ представители двухъ столь близкихъ хронологически и уже столь далекихъ по духу поколѣній! Но, казалось бы, зачѣмъ же и браться писать (да еще въ столь мало подходящій моментъ!) о чуждыхъ и непонятныхъ вещахъ и идеяхъ?..

1899 г.

III.

Постоянный критикъ журнала „Міръ Божій“, г. А. Б., выступилъ въ январьской книжкѣ 1900 г. съ оригинальной защитой символизма въ нашей литературѣ. Въ настоящее время, говоритъ г. А. Б., у насъ происходитъ смѣна не поколѣній только, а цѣ-

лыхъ міросозерцаній. Среди современной молодежи намѣтились два типа (марксисты и символисты), представляющіе живое и здоровое зерно, изъ котораго разовьется мощный организмъ будущаго. Относительно перваго изъ этихъ типовъ критикъ ограничивается на этотъ разъ туманнымъ указаніемъ на то, что изъ узкаго доктринерства первыхъ дней уже выдѣляется жизненное и вполне законмѣрное исканіе новыхъ рѣшеній вопроса, который на порогѣ новаго вѣка представляется далеко не столь простымъ, какъ въ началѣ. Но тѣмъ больше вниманія и сочувствія удѣляетъ г. А. Б. символизму. Здѣсь, на чисто литературной почвѣ, вопросъ представляется ему до того „простымъ“ и яснымъ, что онъ приходитъ къ самымъ неожиданнымъ по своей категоричности выводамъ. Онъ утверждаетъ, будто и русскую литературу, подобно западной, „постепенно охватываетъ предчувствіе новаго въ искусствѣ, *которое въ старой своей реалистической формѣ отстало отъ жизни* (курсивъ, какъ и ниже, нашъ. П. Г.)“...

Спрашивается: откуда сіе? Чѣмъ доказывается положеніе, будто искусство Бальзака, Диккенса, Теккерея, Тургенева, Достоевскаго, Рѣпина и Толстого „отстало отъ жизни“ и, потому, требуетъ коренныхъ измѣненій въ своей формѣ и творческихъ пріемахъ? Въ видѣ тяжелой артиллеріи г. А. Б. выдвигаетъ на сцену модныя нынче словечки *усложненіе жизни и усложненіе психики* современнаго человѣка *). „За послѣднюю четверть вѣка опредѣлился рядъ общественныхъ явленій, имѣющихъ огромное значеніе, почти стихійно вліяющихъ на жизнь каждаго изъ насъ. Капитализмъ, милитаризмъ, паровая машина и весь переворотъ, ею обусловленный, печать (русская печать?!),—вотъ явленія послѣдняго времени, *подавляющія единичную жизнь* и, несомнѣнно, оказывающія вліяніе на нашу психику. Мы не можемъ не поддаться очарованію этихъ новыхъ социальныхъ силъ, всѣми фибрами существа своего ощущая ихъ біеніе и испытывая ихъ неотвратимое воздѣйствіе... Древній грекъ (дѣлаетъ критикъ маленькую экскурсію въ древнюю исторію) *въ эпоху высшаго расцвѣта своихъ свѣтлыхъ силъ съ такою же страстью испытывалъ надъ собой вліяніе невѣдомаго Бога*, котораго онъ называлъ рокомъ, и въ рядѣ символовъ пытался воспроизвести это роковое начало жизни, тяготѣвшее надъ нимъ („Прикованный Прометей“ Эсхила, „Эдипъ“ Софокла)“. Отсюда выводъ, по мнѣнію критика, ясный: чтобы выразить „сущность“ нашей усложненной эпохи, *средства прежняго реалистическаго искусства безсильны*, и оно должно обратиться къ символизму“...

И выводъ вполне неожиданный, и доказательства крайне сомнительныя. Не говоря уже о томъ, что *comparaison n'est pas*

*) Противъ самого факта усложненія жизни мы, конечно, ничего не имѣемъ, отрицать его не думаемъ. П. Г.

raison, г-ну А. Б. не мѣшало бы, толкуя о символизмѣ и мистицизмѣ Эсхила и Софокла, вспомнить, что въ основѣ его лежалъ историческій, *народный* мистицизмъ древнихъ грековъ, и что всѣ образы—символы великихъ греческихъ трагиковъ были заимствованы ими у народной поэзіи временъ Гомера. Оттого-то произведенія Эсхила и Софокла и отличаются такой величавой и вмѣстѣ трогательно-наивной простотой, такой неподдѣльной поэзіей. Никто не докажетъ намъ, чтобы „старецъ“ Софоклъ и „младенецъ“ Гомеръ были представителями *по существу* различныхъ и враждебныхъ школъ древне-греческаго искусства. А современные символисты? Какую почву имѣетъ подъ собою утонченный, искусственный мистицизмъ, который они несутъ народамъ—скептикамъ, эпохѣ—если и „высшаго расцвѣта“, то никакъ не „свѣжихъ народныхъ силъ“, а лишь такихъ затхлыхъ продуктовъ человѣческаго духа, какъ милитаризмъ и капитализмъ?

Но увлеченному блестящей аналогіей, г-ну А. Б. нѣтъ дѣла до явныхъ противорѣчій въ собственной аргументаціи, и онъ продолжаетъ: „Самъ натурализмъ, повидимому, столь чуждый и враждебный символизму, подготовилъ ему почву, раскрывъ въ романахъ, напр., Золя *коллективную душу социальныхъ явленій*, власть неодушевленнаго міра вещей надъ единичной душой“. И тотчасъ же вслѣдъ за этими строками, „душа“ романовъ Золя перестаетъ быть „душой“, и г-ну А. Б. символика Золя уже представляется „грубой по существу“ (?), потому что она обрисовываетъ только „*внѣшность вещей*“, а не выражаетъ „внутренняго состоянія“ человѣчества. Какъ образчикъ, „намекающій“ на символика высшаго типа, на символизмъ ближайшаго будущаго, г-нъ А. Б. приводитъ чье-то описаніе одной изъ картинъ Рошграсса:

Богатый промышленный городъ, безобразный и беспокойный; небо задрнуто дымомъ и испареніями нездоровой, бесполезной работы. И вотъ, охваченная отчаянной, неукротимой жадью богатства, почестей, блеска и возвышенія, толпа въ братоубійственной свалкѣ встаетъ въ видѣ какой то живой пирамиды, давя и толкая другъ друга, падая и снова вставая, цѣною міра, цѣною красоты, цѣною жизни подымаясь все выше и выше къ золотой Fortunѣ, которая съ насмѣшливой улыбкой пролетаетъ тамъ, вверху, надъ протянутыми къ ней пустыми руками и . . . исчезаетъ.

Мы не видали символическихъ картинъ Рошграсса, да и критикъ „Міра Божьяго“ говорить о нихъ, точно съ чужихъ словъ (приведенная только что цитата стоитъ у него въ кавычкахъ). Но это не важно, такъ какъ разбираемая статья, обильная ссылками на произведенія Эсхила, Софокла и Золя, касается—надо думать—вопросовъ искусства не въ спеціальному смыслѣ искусства—живописи, а въ широкомъ, обнимающемъ всѣ проявленія человѣческаго генія; къ тирадѣ, посвященной Рошграссу, мы позволяемъ себѣ поэтому отнести, какъ къ чисто-литературному произведенію, вродѣ стихотворенія въ прозѣ.

Картинка, согласимся, поэтическая и выразительная, не смотря на нѣкоторую вычурность. Однако, что же такого въ ней *новаго по существу*, въ содержаніи или формѣ, чего нельзя было бы сыскать у десятковъ поэтовъ всѣхъ временъ и народовъ, какъ у романтиковъ, такъ и реалистовъ, у Байрона, у Гете, у Гюго и Пушкина? Довольно вспомнить, хотя бы, извѣстную арію Мефистофеля:

На землѣ весь родъ людской
Чтитъ одинъ кумиръ священный...

Отъ символовъ, какъ поэтическихъ образовъ, не отказывался еще ни одинъ поэтъ въ мірѣ, даже и такой, напр., ультрареалистъ, какъ нашъ Некрасовъ.

Чу! восклицанья слышались грозныя,
Топотъ и скрежетъ зубовъ.
Тѣнь набѣжала на стекла морозныя...
Что тамъ?—Толпа мертвецовъ.
То обгоняютъ дорогу чугунную,
То сторонами бѣгутъ.
Слышишь-ли пѣніе: «Въ ночь эту лунную
Любо намъ видѣть нашъ трудъ.»

Развѣ этотъ простой, но понятный нашему чувству образъ менѣе красивъ и выразителенъ, чѣмъ отзывающаяся искусственностью „сложная“ картина Рошгросса? Развѣ мужики того же Некрасова, съ непокрытыми головами и обутыми въ лапти окровавленными ногами стоявшіе у роскошнаго подѣзда вельможи, не символизировали собой всего состоянія дореформенной Россіи, и притомъ несравненно сильнѣе, чѣмъ, напр., „Шабашъ вѣдьмъ“ въ романѣ г. Мережковского—демонію концъ среднихъ вѣковъ? А „Мѣдный всадникъ“ Пушкина развѣ не могучій символъ эпохи нашего собственнаго ренессанса? А „Тьма“ Байрона, или „Фаустъ“ Гете? А весь Шелли? На послѣдняго символисты нашихъ дней, правда, уже пытались надѣть узду своихъ мертворожденныхъ теорій, но одного никакъ не могли они вытравить изъ этой свободной, гордой поэзіи—истинной поэтичности ея образовъ, вытекавшихъ изъ проникнутаго пантеизмомъ *духа* великаго поэта, равно какъ ея глубокой человѣчности, т. е. всего того, чего и слѣда нѣтъ въ ихъ собственныхъ, *умомъ вымученныхъ*, твореніяхъ. Все чаще и чаще встрѣчаются въ послѣднее время попытки объявить „символистами“ и многихъ другихъ великихъ поэтовъ, начиная съ Гете и кончая даже Пушкинымъ; но если такъ, если символистами были и Софокль съ Эсхиломъ, и Данте съ Кальдерономъ, и Гете, и Пушкинъ и Шелли, то не лучше ли, не сильнѣе ли всего говорить это *противъ* символистскихъ теорій, главное основаніе которыхъ—усложненіе *современной* жизни и современной человѣческой психики?..

Господа символисты, впрочемъ, оговариваются: то были лишь первые лучи утренней зари, намеки, предчувствія новаго... Прочитировавъ Рошгросса, г. А. Б. прибавляетъ: „Еще утонченнѣ этотъ символизмъ въ картинахъ англійскихъ перерафаэлитовъ и у нѣмецкихъ художниковъ, какъ Беклинъ и Клингеръ, которые цѣликомъ уходятъ въ міръ сложныхъ ощущеній того осложненнаго существа, какимъ является современный человѣкъ. И этотъ символизмъ вполне законенъ, какъ въ свое время было законно реальное направленіе, уничтожившее мертвую манерность ложно-классицизма“. Такъ раскрываетъ въ концѣ-концовъ свои карты замысловатый критикъ: онъ приглашаетъ русскую литературу и русское искусство къ подражанію англійскимъ перерафаэлитамъ, къ „погруженію цѣликомъ“ въ мутный океанъ утонченныхъ и извращенныхъ чувствъ, такъ называемаго „эстетическаго идеализма“... Положительно не хочется этому вѣрить; невольно надѣешься, что здѣсь кроется какое-нибудь недоразумѣніе, что почтенный критикъ „Міра Божьяго“ просто чего-нибудь не дописалъ или... переписалъ, что ли. Иначе было бы слишкомъ ужъ грустно... Вѣдь подумать только: Толстымъ и Тургеневымъ предстоитъ въ самомъ близкомъ будущемъ горькая участь, постигшая нѣкогда „мертвыхъ и манерныхъ“ лже-классиковъ, и замѣнять ихъ у насъ доморощенные Оскары Уайльды, перерафаэлиты и символисты!.. И, притомъ, символическая поэзія недалекаго будущаго будетъ состоять „слошъ, цѣликомъ“ (на этомъ настаиваетъ г. А. Б.) изъ картинъ-символовъ вродѣ тѣхъ, на какія „намекаетъ г. Рошгроссъ. Вмѣсто того, чтобы, напр., сказать простую фразу: „отворивъ дверь, онъ вышелъ“, символисты станутъ изъясняться: „блеснула черная дыра—и отъ него осталось воспоминаніе“. или что-нибудь въ этомъ родѣ. Не знаемъ, конечно, что это будутъ за люди—читатели будущаго, умы, усложненные милитаризмомъ, утонченные паромъ, электричествомъ и проч., но и они, думается, могутъ, наконецъ, всплакаться отъ излишняго обилія цвѣтовъ краснорѣчія! Что касается настоящаго, то, не находясь еще подъ „очарованіемъ новыхъ соціальныхъ силъ“, мы никакъ не можемъ уразумѣть, почему это для выраженія, напр., стремленія къ возвышенному и идеальному пригоднѣ ребяческіе образы символистовъ (постройка высокихъ башенъ и восхожденіе на колокольни), чѣмъ правдивое изображеніе жизненныхъ коллизій, какое находимъ у реалистовъ. Развѣ жизнь, живая человѣческая жизнь не богата положеніями несравненно болѣе головокружительными, чѣмъ самыя высокія на свѣтѣ башни и колокольни? Если, напр., Гильда, фантастически-безплотная героиня ибсеновскаго „Строителя Сольнеса“, символизируетъ собою беззавѣтное чувство женщины, сливающей порывъ къ идеальному съ личностью любимаго человѣка, то не въ тысячу ли разъ жизненнѣе, прекраснѣе и—если ужъ на то пошло,—сложнѣе вполне реальный образъ тургеневской Елены? Беремъ

первый подвернувшійся примѣръ, но вѣдь ихъ можно набрать сотни.

Хуже всего въ этихъ спорахъ о нарождающемся „новомъ“ въ искусствѣ то, что сами прозелиты его и защитники, очевидно, далеко не уяснили себѣ, что такое они разумѣютъ подъ этимъ *новымъ*, и на каждомъ шагу забавно противорѣчатъ другъ другу. Такъ, напр., одинъ изъ первыхъ у насъ провозвѣстниковъ „символизма“, г. Волынский, опредѣлялъ „новое искусство“, какъ „сочетаніе въ художественномъ изображеніи міра явленій съ міромъ божества“. Не совѣмъ это было ясно, но за то, по крайней мѣрѣ, глубокомысленно... Но вотъ читатели узнаютъ недавно отъ г-жи Гуревичъ, помѣщающей въ журналѣ „Жизнь“ обзорѣнія новѣйшихъ литературныхъ теченій во Франціи и Германіи, что символизмъ есть не что иное, какъ „идейно-психологическая литература... Вотъ такъ открытіе! Когда въ „Сѣв. Вѣстникѣ“ опредѣляли символизмъ, какъ „сочетаніе міра божества съ міромъ явленій“, тогда было, по крайней мѣрѣ, понятно, во имя чего Мальбругъ въ походъ собрался; но идейно-психологическая литература... Что же здѣсь „новаго“? Въ художественныхъ произведеніяхъ какой школы нѣтъ идей, нѣтъ психологій?

Что касается г. А. Б., то онъ предпочелъ воздержаться отъ общаго опредѣленія символизма, предоставивъ не только читателю, но и самому себѣ полную въ этомъ отношеніи свободу. И это былъ весьма дальновидный ходъ, такъ какъ свобода понадобилась критику даже раньше, чѣмъ можно было разсчитывать. Статья г. А. Б., въ которой похоронено реальное искусство, напечатана въ январской книжкѣ „Міра Божьяго“, а уже въ февральской книжкѣ тому же г. А. Б. понадобилось съ колѣнопреклоненіемъ воскурить еиміамъ передъ новымъ произведеніемъ „великаго писателя земли русской“... Вспомнивъ объ „Аннѣ Карениной“ и „Войнѣ и Мирѣ“, критикъ находитъ, что въ „Воскресеніи“ съ той же „широтой захвата жизни, легкостью и естественной простотой геніальный авторъ переноситъ насъ изъ тюрьмы въ залу суда, изъ суда въ великосвѣтское общество, изъ деревни въ столицу, изъ пріемной министра въ камеру сибирскаго этапа. При этомъ не чувствуется ни малѣйшей дѣланности, какъ будто *сама жизнь развертывается передъ нами во всемъ своемъ разнообразіи. И какъ развертывается!* Вы испытываете одновременно и потрясеніе отъ видимаго ужаса и несправедливости человѣческихъ отношеній, и умиленіе и радость за неугасимую жажду правды, которая все время чувствуется въ каждомъ моментѣ этихъ отношеній“.

Итакъ, съ одной стороны „реальное искусство отстало отъ жизни“, а съ другой — оно „развертывается передъ нами жизнь во всемъ ея разнообразіи“, да еще какъ развертывается! Что же теперь дѣлать читателямъ „Міра Божьяго“? Январской или февральской книжкѣ журнала вѣрить? Не знаемъ, какъ поступать

читатели, но г-ну А. Б. остается, кажется, одно: объявить Толстого символистомъ...

Предыдущая глава замѣтокъ была уже написана, когда мы обратили вниманіе, что г. А. Б. уже и въ январьской своей статьѣ, посвященной восхваленію символизма, отзывается о „Воскресеніи“ Толстого съ тѣмъ же чувствомъ глубокаго удивленія и уваженія, называя романъ явленіемъ огромнымъ, произведеніемъ „колоссальнымъ“. Выходить, какъ будто, что мы взвели неосновательный поклепъ на почтеннаго критика, и никакого противорѣчія самому себѣ, никакой быстроты въ перемѣнѣ взглядовъ у него нѣтъ, — прославленіе символизма онъ прекрасно умѣетъ совмѣщать съ признаніемъ истинныхъ заслугъ реальной школы. Къ сожалѣнію, въ мимолетнемъ январьскомъ отзывѣ г. А. Б. о „Воскресеніи“ есть маленькая оговорка, которая все уничтожаетъ и благодаря которой, вѣроятно, и самый отзывъ въ свое время не остановилъ на себѣ нашего вниманія: новый романъ Толстого, по мнѣнію критика, настолько исключительное произведеніе, что къ нему совершенно непримѣнимы обычныя *мѣрки*... Это сама, молъ, дѣйствительность, сама правда („ужасная правда“), а никакъ не продуктъ искусства, подлежащій обычнымъ законамъ творчества. „Толстой нисколько не *старается*“ (курсивъ г. А. Б.) въ художественномъ смыслѣ, онъ непостижимымъ образомъ творить ту жизнь, которая окружаетъ насъ на каждомъ шагѣ“. Мысль очень странная и, конечно, невѣрная. Что въ произведеніяхъ крупныхъ художниковъ мы, читатели, не видимъ ихъ черновой работы, ихъ художественныхъ „стараній“ — это такъ и должно быть; ничего тутъ специально свойственнаго толстовскому генію нѣтъ; намъ вѣдь отлично извѣстно, что за кулисами своей поэтической работы „старался“ даже самъ Пушкинъ, неустанно „старается“ и Левъ Николаевичъ... Сомнительный комплиментъ понадобился нашему критику, очевидно, для того только, чтобы поставить великаго романиста въ положеніе исключительное, свободное отъ всякихъ *мѣрокъ* и *школъ* и, тѣмъ самымъ, предоставить себѣ свободу „мѣрять“, какъ угодно, всѣ остальные произведенія литературы и искусства. Приѣмъ этотъ по существу своему представляется намъ невѣрнымъ, такъ какъ законы человѣческаго искусства должны быть всегда и всюду одни и тѣ же, какъ для бездарностей, такъ и для геніевъ. Какъ ни великъ Толстой, онъ все же не богъ; да и развѣ есть что-либо постыдное для него въ томъ, что Европа признаетъ его единственнымъ въ настоящее время главою своего реальнаго искусства? Мы продолжаемъ, поэтому, и теперь утверждать то же самое: въ одной книжкѣ журнала г. А. Б. развѣнчиваетъ реальное искусство, а въ другой —

поетъ ему хвалы, въ лицѣ законнаго главы и представителя школы...

Настъ нѣсколько смущаетъ другое возможное возраженіе со стороны г. А. Б. „Не о реальной вовсе школѣ въ литературѣ говорилъ я, а лишь — въ искусствѣ, въ живописи... Вѣдь говорилъ я почти исключительно о картинахъ Беклина, Клингера, Рошгросса... И, притомъ, я далеко не поклонникъ современнаго россійскаго символизма, его бездарнаго и пошлаго оригинальничанья! Въ той же инкриминируемой статьѣ я писалъ: „Такой символизмъ напоминаетъ символику дѣтей, когда они рисуютъ кривыя фигурки и серьезно видятъ въ нихъ принцевъ и фей. Чтобы увлечься такимъ символизмомъ, надо самому стать ребенкомъ. Не нужно быть пророкомъ, чтобы предсказать такому искусству скорый конецъ. Это та накипь, которая всплываетъ на поверхность при первомъ закипаніи воды, и не ей, конечно, суждено быть тѣмъ здоровымъ зерномъ, изъ котораго разовьется искусство будущаго. Замѣчательно, что ни одного таланта не создала эта новая группа. Всѣ сколько-нибудь талантливые — люди зрѣлаго возраста, проявившіе свои способности совсѣмъ въ иной области. Изъ молодыхъ же — никого, не только талантливаго художника, но даже просто способнаго, ни въ поэзіи, ни въ живописи,—признакъ роковой для любого направленія“.

Да, все это, дѣйствительно, сказано въ январскихъ „критическихъ замѣткахъ“ г. А. Б., какъ сказано въ нихъ и многое другое, изъ чего можно вывести самые неожиданные и противорѣчивые выводы... Критика г. А. Б., вообще, очень тонкое и сложное кружево, въ узорахъ котораго намъ, обыкновеннымъ читателямъ, легко запутаться... Совершенно справедливо, что къ современнымъ представителямъ россійскаго символизма онъ относится безпощадно сурово*) но, не въ обиду будь сказано г-ну А. Б., литературный предшественникъ его по проповѣди символизма, г. Волюнскій, — по собственному его картинному выраженію, — тоже вѣдь въ три кнута хлесталъ пресмыкавшихся у его ногъ символистовъ-поэтовъ, рѣшительно ни за кѣмъ изъ нихъ не признавая настоящаго таланта. Что касается возможности ограниченія вопроса рамками искусства въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, то, мы надѣемся, г. А. Б. не прибѣгнетъ къ такому странному объясненію своей статьи: не говоря уже о томъ, что въ статьѣ этой трактуется далеко не объ одной живописи, — съ какихъ это поръ дороги литературы и искусства разошлись такъ радикально, что настала пора установленія совершенно различныхъ законовъ для той и другой сферы творчества? Мы ждемъ, что всѣ наши

*) Любопытно, однако, что на страницахъ того же «Міра Божія», гдѣ столько разъ «безпощадно-сурово» оцѣнивалась, напр., поэзія г. Бальмонта, появилась въ самое послѣднее время статья, восхваляющая эту поэзію («М. Б.» 1903, октябрь).

недоумѣнія г. А. Б. разъяснить въ скоромъ времени самымъ основательнымъ образомъ... *)

Отчетъ г. А. Б. о весеннихъ выставкахъ, помѣщенный въ только что вышедшей апрѣльской книжкѣ „Міра Божьяго“, ничего рѣшающаго въ этомъ отношеніи не даетъ. Не имѣя возможности личнымъ опытомъ провѣрить художественныя впечатлѣнія критика, большинство читающей публики видитъ одно, что и здѣсь г. А. Б. выступаетъ противникомъ реалистовъ-передвижниковъ и сторонникомъ символистовъ-академиковъ. Охотно допуская, что художники-реалисты на этотъ разъ оплошали, что въ ихъ средѣ нѣтъ въ настоящее время крупныхъ и свѣжихъ талантовъ, мы однако не сдѣлали бы отсюда никакого обобщающаго вывода: отсутствіе силы не обозначаетъ еще и отсутствія права... Да и самъ г. А. Б., констатировавшій въ январѣ мѣсяцѣ убожество нашихъ символическихъ талантовъ,—какъ однако распинался онъ за будущее символической школы! Теперь онъ, напротивъ, усиленно подчеркиваетъ слабость представителей реального искусства, желая видѣть въ этомъ явленіи дряхлость, замкнутость и оторванность школы отъ „современнаго настроенія“... За то критикъ въ полномъ восторгѣ отъ выставки академиковъ, которыхъ невѣжественная публика легкомысленно и несправедливо окрестила „декадентами“. Помилуйте, какіе же это декаденты! Нелѣпости у нихъ, конечно, есть, но и эти нелѣпости имѣютъ свой *raison d'être*, такъ какъ, благодаря имъ, лучше отбѣняется высокая красота настоящихъ символическихъ перловъ. Одинъ изъ такихъ перловъ представляетъ, напр., по мнѣнію г. А. Б., „Баллада“ г. Рушица. „Мчащаяся лѣсомъ карета, подъ шумъ и трескъ бури, гнущей и ломающей деревья, тревожно несущіися облака и таинственно мигающій сѣвозъ деревьевъ свѣтъ—невольно охватываютъ зрителя дрожью, какъ предчувствіемъ какого-то преступления, только что совершившагося (?), чего-то таинственнаго, страшнаго и неизбежнаго. Это чувство жуткаго страха передано г. Рушицемъ превосходно въ каждомъ штрихѣ картины, чувство страха и безсилія *передъ рокомъ* (очевидно, рокъ—это пупъ символическаго царства! П. Г.), отъ котораго не уйти, какъ не уйти и этой бѣшено несущейся каретѣ. Картина проникнута *однимъ* настроеніемъ тревоги, и въ томъ ея огромное достоинство, помимо техники, тоже заслуживающей вниманія новизною приѣма, что, впрочемъ, лучше видно на картинахъ другого художника того же направленія, г. Зарубина—„Солнце садится“ и „Забытая дорога“. *Новизна этого приѣма вначалѣ смущаетъ зрителя, который, стоя вблизи, вплотную къ картинѣ, ничего не видитъ, кромѣ странныхъ и грубыхъ мазковъ и пятенъ, не*

*) Ожиданіе не оправдалось. Г. А. Б. ограничился тѣмъ, что мѣсяца три спустя послѣ появленія нашей замѣтки пренебрежительно назвалъ насъ «нѣкимъ ратоборцемъ, подвизающимся въ Р. Б.»—и величественно прошелъ мимо.

дающихъ никакого цѣльнаго представленія. „Что за нелѣпости!“ — вотъ первое заключеніе. Но когда тотъ же зритель, отойдя отъ картины, случайно оглянется, онъ пораженъ: предъ нимъ вполнѣ определенное и яркое изображеніе, вполнѣ гармоничное въ мельчайшихъ деталяхъ, оставляющее вполнѣ определенное впечатлѣніе“.

О другой подобной же картинѣ критикъ говоритъ, что и она „*облизи ничего не даетъ, кромѣ пятенъ и смутныхъ кружковъ странной, на первый взглядъ, окраски*. Краски эти кажутся неестественными, но на разстояніи, сливаясь въ общемъ, производятъ иллюзію полнѣйшей естественности“. Этотъ фокусъ-покусъ кажется г. н у А. Б. настоящимъ чудомъ искусства, квинтэссенціей художественности, и онъ отъ него въ восторгѣ сверхъ всякой мѣры. Объ одномъ только онъ жалѣетъ: пріемъ этотъ представляется ему чрезвычайно труднымъ, почему безталанные художники, пробуящіе имъ пользоваться, кончаютъ полнѣйшей неудачей, какъ, напр., г. Ціонглинскій, импрессионизмъ котораго ничего не вызываетъ, кромѣ недоумѣнія. То же, хотя съ нѣкоторыми оговорками, можно сказать и о многочисленныхъ картинахъ г. Пурвита, который пытается воспроизвести нѣжные оттѣнки весеннихъ красокъ, зелени и особой прозрачности воздуха весною. Самое большое его полотно „Весна“, въ одномъ сплошномъ свѣтло-зеленомъ тонѣ, съ какой стороны къ ней ни *подходи*, все остается сплошнымъ зелено-желтымъ пятномъ, весьма-таки некрасивымъ“.

Но позвольте, почтеннѣйшій критикъ! Не поторопились ли вы съ приговоромъ? Точно ли *со всехъ сторонъ* подошли вы къ картинѣ г. Пурвита? А что если этотъ художникъ-символистъ похитрѣ и поискуснѣ гг. Рущица, Зарубина и К^о, и нужно забраться на потолокъ для того, чтобы увидать какой-нибудь смыслъ въ его „зеленожелтомъ, весьма-таки некрасивомъ“ пятнѣ? Быть можетъ, сумѣй зритель подойти къ картинѣ *съ этой* неожиданной стороны, — передъ нимъ по свѣтло-зеленому фону запрыгаютъ такіе зайчики, что онъ будетъ пораженъ: „Какъ это ново! Какъ хорошо! Весна, настоящая весна!“—Въ томъ-то воиъ и дѣло, что все это „новое искусство“ черезчуръ фокусъ покусно, черезчуръ условно, зависитъ отъ всякаго рода настроеній, угловъ и точекъ зрѣній; средній, нормальный наблюдатель рискуетъ не увидать въ немъ ничего, кромѣ „странныхъ и грубыхъ пятенъ“ и остаться при своемъ мнѣніи профана, что искусство это—декадентское. Не поторопился ли, поэтому, г. А. Б. восторженно заключить о „новыхъ теченіяхъ въ нашемъ искусствѣ, о поискахъ новыхъ средствъ для выраженія *измѣнившихся взглядовъ* (какихъ же это именно?) для болѣе тонкаго повиманія природы и болѣе глукаго отраженія *современныхъ настроеній*“. На этой выставкѣ, продолжаетъ критикъ, „чувствуется свѣжее вѣяніе (?), присутствіе молодого духа, стремительнаго и подчасъ ударающагося въ крайности. Последняго никто не станетъ отрицать (ну, еще бы!), но

общій колоритъ сверкаетъ и искрится, какъ молодой задоръ, что увлекаетъ и зрителя, уходящаго освѣженнымъ и бодрымъ. Крайности исчезнуть со временемъ, а новые таланты, которые здѣсь есть несомнѣнно, выбьются на истинный путь, *свой* путь, какъ все оригинальное и даровитое, что не можетъ удовлетвориться даннымъ шаблономъ и топтаться на мѣстѣ. Въ движеніи—сила, все—лучше, чѣмъ застой и неподвижность, печать которыхъ такъ ярко лежитъ на выставкѣ передвижниковъ текущаго года“.

Неужели *движеніе* (хотя бы то было кривляніе паяцовъ), дѣйствительно, самая желанная вещь въ искусствѣ? Неужели *все*, рѣшительно *все*, всякая нелѣпость и безобразіе, лучше, чѣмъ временная, выжидающая, полная грустной заботы и раздумья — неподвижность?..

Мы видѣли выше, что въ пестромъ и сложномъ калейдоскопѣ современности г. А. Б. отмѣтилъ два главныхъ теченія, за которыми призналъ будущее,—символизмъ и марксизмъ; но мы видѣли также, что символизмъ есть нѣчто въ высшей степени смутное, неопредѣленное, сбивчивое, чего не уразумѣли еще въ достаточной мѣрѣ и сами его литературные провозвѣстники. Въ конечномъ выводѣ символизмъ, какъ и декадентство, есть не болѣе, какъ писательскій зудъ сказать что-то новое и великое, не имѣя за душой ровно ничего не только великаго, но и просто интереснаго. О другомъ отмѣченномъ г. А. Б. теченіи я предпочту вовсе умолчать: со всѣхъ сторонъ идутъ слухи и толки о какомъ-то глубокомъ и благотворномъ броженіи, совершающемся въ нѣдрахъ современнаго марксизма; говорятъ, будто первоначальныя антипатичныя стороны теоріи, доктринерская односторонность, сомнѣніе, презрѣніе къ человѣческой личности начинаютъ по-немногу исчезать; говорятъ, будто кое въ чемъ уже наблюдается возвратъ къ осмысленному старому... Дай-то Богъ! Поживемъ—увидимъ!

Но, что-бы ни сулило ближайшее будущее, одинъ фактъ навсегда, думается, останется безспорнымъ фактомъ: первоначальный марксизмъ внесъ свою ложку дегтя въ пресловутое „новое настроеніе“ нашихъ дней. Создалась своеобразная литературная группа, усвоившая основныя положенія экономическаго матеріализма и какъ-то удивительно сумѣвшая связать ихъ съ нѣкоторыми идеями Ницше и идейками символистовъ. Связь, повидимому, совершенно противоестественная: ничшеанство принципиально враждебно толпѣ, символизмъ тяготеетъ къ небу и презираетъ все грубо-матерьяльное; наоборотъ, марксизмъ изучаетъ законы жизненныхъ условій трудящихся массъ и больше всего чуждается всякаго фантазерства. И, тѣмъ не менѣе, какія-то точки касанія между противоположными міровоззрѣніями нашлись: это было, прежде всего, отрицательное отношеніе марксизма къ „народу“, ровно какъ грубыя нападки на эпоху 70-хъ годовъ,

которую наши эстеты имѣли слишкомъ много причинъ ненавидѣть...

Наиболѣе характерной, центральной идеей 70-хъ годовъ была, какъ извѣстно, мысль о „народѣ“, воплотившемъ въ себѣ труды и страданія не только настоящей минуты, но и цѣлаго ряда прошедшихъ вѣковъ. „Критически-мыслящая личность“ должна была придти на помощь его стихійной мощи и общими усилиями повернуть колесо исторіи въ благопріятную сторону. Стимуломъ ея героической дѣятельности являлась благородная идея расплаты за огромную „цѣну прогресса“, благами котораго, купленными кровью и слезами трудящихся поколѣній, пользуются, главнымъ образомъ, культурные и интеллигентные слои, стоящіе наверху общественной лѣстницы... Таковъ былъ, въ краткихъ словахъ, кодексъ общественной морали 70 хъ годовъ; таково было „старое настроеніе“. Нужно ли оговариваться, что идея „долга“ не была какимъ-то дамокловымъ мечемъ, съ угрозой висѣвшимъ надъ головой современнаго интеллигента, что у философовъ, публицистовъ и поэтовъ эпохи имѣлась одна только власть—власть свободной (да и то вполне ли?) проповѣди, обращенія къ уму и къ сердцу современниковъ? Излишне также пояснять, что выдающіеся дѣятели того времени сами, быть можетъ, безконечно меньше своихъ теперешнихъ противниковъ нуждались въ напоминаніяхъ о „долгѣ“ для того, чтобы неустанно и самоотверженно служить интересамъ народа; высоко развитая личность иначе не представляеть себѣ личнаго счастья, какъ справедливо выдѣленной изъ общаго блага доли, и если общество страдаетъ—она органически неспособна чувствовать довольство и счастье. И, тѣмъ не менѣе, горячая проповѣдь долга, любви къ народу, самопожертвованія имѣла глубокій практическій смыслъ: она воспитывала юношество, она создавала въ обществѣ повышенную нравственную атмосферу, зажигая даже лѣнливыхъ и равнодушныхъ и удваивая силы натуръ героическихъ.

„Ученики“ все это упразднили... И прежде всего, вмѣсто великаго слова народъ, написали на своемъ знамени определенную *часть* народа, борющуюся за свои *классовые* интересы; интеллигенціи отвели послѣднее мѣсто въ исторіи, объявивъ ее *quantité négligeable*... Идея „долга“ становилась, при такой постановкѣ вопроса, какой-то ребяческой, романтически ненужной погремушкой; ее должны были замѣнить „желѣзные законы“ исторіи, холодное и трезвое сознаніе того, что только та идеологія сильна и прочна, которая опирается на классовые интересы.—Эти основныя идеи экономическаго матеріализма пришлись какъ нельзя болѣе по душѣ тому русскому интеллигенту, дряблую совѣсть котораго безмѣрно удручала проповѣдь отреченія предшествующей эпохи: не было силъ ни откровенно и громко сознаться въ желаніи пребывать въ станѣ ликующихъ и равнодушныхъ, ни пойти по иному пути. Новыя формулы совершенно развязывали этому

безвольному интеллигенту руки, потому что объявляли его свободнымъ отъ всякихъ долговъ передъ кѣмъ бы то ни было,—и все это на строгихъ основаніяхъ объективной науки! Радость была безмѣрна; освобожденный „узникъ“ чувствовалъ себя, по всей вѣроятности, какъ теленокъ, выпущенный весной изъ душной и тѣсной загородки на свѣжую, зеленую травку. Какъ онъ брыкался, какъ рѣзвился! Какъ храбро и побѣдоносно бодался воображаемыми рожами!

Выше мы говорили уже о критикѣ, писавшемъ: „Конечно, о счастья грядущихъ поколѣній говорить можно, но о справедливости процесса никогда ни слова, это самое лучшее“.

Аппетитъ, какъ говорятъ французы, vient en mangeant, и вскорѣ оказалось, что „самое лучшее“ — никогда ни слова не говорить также и о счастья грядущихъ поколѣній... Къ г. Соловьеву, очевидно, день и ночь скакали курьеры, очень много курьеровъ, цѣлыхъ тридцать пять тысячъ курьеровъ, все умоляя его сказать, наконецъ, что есть истина, и вотъ онъ придумалъ собственную „формулу прогресса“, основанную исключительно на принципѣ „экономіи силъ“ (вѣдь не даромъ же все-таки г. Евг. Соловьевъ съ лѣваго боку—экономическій матеріалистъ!). „Все, что увеличиваетъ силы человѣка“, гласитъ формула, „все, что позволяетъ ему достигать большихъ результатовъ при тѣхъ же усиліяхъ, или тѣхъ же результатовъ при меньшихъ усиліяхъ,—все это должно быть отнесено къ области прогрессивныхъ явленій“ и наоборотъ; но „обеспечиваетъ ли такой процессъ счастье—мы не знаемъ“, меланхолически прибавляетъ критикъ. Обеспечено зато безконечное развитіе техники и промышленности, обеспечено владычество человѣка надъ мертвой вселенной—и это чего-нибудь да стоитъ *). Пускай люди превратятся, по новой формулѣ, въ тѣ чудовищныя существа, которые изображены англійскимъ писателемъ Уэльсомъ въ его фантастическомъ романѣ „Борьба міровъ“: могущіе знаніемъ повелители „желѣзныхъ рабовъ“, пусть они будутъ совершенно лишены сердца, пусть будутъ внушать ужасъ и отвращеніе нашему современному чувству,—что изъ того! Вѣдь человѣческая исторія,—учить насъ объективная наука,—есть не болѣе, какъ естественный процессъ, управляемый своими „желѣзными“ законами, и въ немъ не можетъ быть мѣста идеаламъ справедливости и человѣчности. Додой же эту устарѣлую мишуру наивной романтической эпохи! „Самое лучшее“—не думать и не говорить никогда ни о какихъ идеалахъ.

Оставь свои настойчивыя рѣчи
О подвигахъ и жертвахъ безъ конца!

*) Возражая на эту замѣтку, г. Соловьевъ увѣрялъ читателей «Жизни», будто мы обвинили его въ заботахъ о безконечномъ развитіи «торговли или, по-просту говоря, упрощеніи власти денегъ въ современномъ обществѣ». Откуда взялъ это почтенный критикъ—мы оставляемъ на его совѣсти...

*Я не возьму креста себѣ на плечи,
Я не хочу терновую вѣнца.
Свободенъ я. Ничто меня не свяжетъ,
Изъ всякихъ узъ на вѣки выросъ я.*

*Хочу тепломъ и свѣтомъ я упиться,
Изгибы жплъ съ природою сплести
И въ глубь земли корнями жадно впиться,
Какъ дубъ растетъ, всю жизнь свою расти.*

Такъ на страницахъ „Жизни“ одинъ поэтъ изображаетъ душевное состояніе людей, проникнутыхъ „новымъ настроеніемъ“.

Эта по-истинѣ „дубовая“ мечта, съ откровенностью нестыдящейся наготы объявляющая полный разрывъ съ лучшими заветами прошлаго, кажется намъ необыкновенно характерной. То, что у г.г. Соловьевыхъ, Андреевичей и другихъ публицистовъ и критиковъ надо по словечку выуживать изъ десятковъ и сотенъ страницъ, искусно выпрастывая изъ затѣйливой сѣти всяческихъ экивоковъ, здѣсь, у экспансивнаго поэта, все какъ на ладони, оголенное, высказанное рѣзко и прямо: „сверхчеловѣкомъ хочу быть, да и полно! Изгибы жплъ хочу съ природою сплести, а на человечество и его горе мнѣ наплевать!“

Но какъ же это грустно, читатель, какъ тяжело-обидно... Два столь близкихъ хронологически поколѣнія—и уже говорятъ на столь различныхъ языкахъ! Да добро бы еще два дѣйствительно разныхъ поколѣнія, а то сплошь и рядомъ одни и тѣ же люди...

Пора, однако, кончить. Еще разъ напомнимъ указаніе г. А. Б., что на порогѣ новаго вѣка вопросы, еще недавно казавшіеся многимъ столь простыми и ясными, представляются уже далеко не такими... Дѣйствительно, тамъ и сямъ раздаются голоса, что и роль „критически мыслящей личности“ не такъ ужъ безмѣрно-ничтожна, и даже понятіе „долга“ не такъ ужъ наивно-нелѣпо... Прекрасно! является, значитъ, утѣшительная надежда, что храмъ Діаны Эфесской будетъ вновь выстроенъ руками сжегшаго его Герострата. Удастся ли только?... Прекрасное созданіе искусства могъ въ одну ночь уничтожить полоумный славолобецъ, но и сотня геніевъ не могла бы возстановить его во всей прежней красотѣ! Не такъ-то просто и скоро возрождаются погибшія общественныя настроенія... Буря прошла, но раскочавшіеся волны долго еще будутъ оглашать берегъ плескомъ, и долго еще мы будемъ присутствовать при печальномъ зрѣлищѣ литературной пошлости и безпринципности!

1900 г.

ЗАМѢЧЕННАЯ ОПЕЧАТКА.

На стр. 120 (въ примѣч.) напечатано: «юридическими разборами ученыхъ книгъ». Слѣдуетъ читать: «критическими».

СОДЕРЖАНІЕ.

	СТРАН
Отъ автора	3
Пѣвецъ гуманной красоты	5
Муза мести и печали	91
<div style="margin-left: 40px;"> I. Неудачный литературный дебютъ. II. Грустное дѣтство.—Мать и отецъ.—Удаленіе изъ гимназій. III. Тяжелая рабочая юность.— Не умирающій идеаль.— Смерть матери. IV. Гуманная школа Бѣлинскаго.—Неизгладимое вліяніе режима «ежевыхъ рукавицъ».—Герой-рабъ. V. Поэтъ находитъ свое призваніе. VI. Основные черты некрасовской лирики.— Мелкіе недостатки и великія достоинства. VII. Критики и читатели Некрасова.—Прочность его славы. IX. Объ изданіяхъ Некрасова. </div>	
Чудеса „вседневнаго міра“	192
На высотѣ	213
Пѣвецъ тревоги юныхъ силъ	241
<div style="margin-left: 40px;"> I. Къ десятилѣтней годовщинѣ смерти С. Я. Надсона. II. Нужны ли стихи.—Молодежь и критика. III. Не допѣтыя пѣсни </div>	

Современныя миниатюры 281

- I. Н. М. Минскій.
- II. С. А. Андреевскій.
- III. С. Г. Фругъ.
- IV. К. Льдовъ.
- V. К. М. Фофановъ.
- VI. А. А. Коринфскій.
- VII. О. Н. Чюмина.
- VIII. А. Д. Облеуховъ.
- IX. К. Д. Бальмонтъ.
- X. Валерій Брюсовъ.
- XI. В. Г. Танъ.
- XII. Владиміръ Соловьевъ.
- XIII. Allegro.
- XIV. А. М. Федоровъ.
- XV. Иванъ Бунинъ.
- XVI. М. А. Лохвицкая.
- XVII. Т. Л. Щепкина-Куперникъ.
- XVIII. Г. А. Галина.

О старомъ и новомъ настроеніи 370

1971

1972

A FINE IS INCURRED IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW.

CHARGE

STALL STUDY
CHARGE

CANCELLED

WIDEN
BOOK DUE
AUG 3 1981
3300

CANCELLED
AUG 2 1980
3125 800

WIDEN
BOOK DUE
JUL 1 1985
1429408 1985